

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



2 Q45 A

f3(.a

ď.

77.

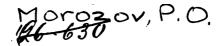
Библиотека очень просит бережнее обращаться с книгами

Книги портиятся от сырости (если кладут книгу на мокрый стол, выносят на улицу незавернутой в сырую погоду) от грязи (перелистывают книгу невымытыми руками, кладут рядом с обеденной посудой и т. п.) Очень портится книга, если ее перегибают (крышка с крышкой) или кладут раскрытой на стол переплетом вверх, если закладывают книгу карандашом, спичкой, если загибают углы страниц и т. п.



* 3. ₁₃





Л. Морововъ.



минувшій в ткъ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

Изъ исторіи карикатуры. — Русская литература XIX въка. — Изъ исторіи русской литературной критики. — Пушкинъ. — Потъхинъ. — Островскій. — Герценъ.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА "ОБРАЗОВАНІЕ".



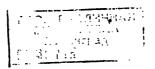
7911

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Типо-литографія А. Лейферта, Б. Морская, 65 1902.

.

P63011 M62



Въ составъ этой книжки вошли нѣкоторыя изъ моихъ статей по исторіи русской литературы, напечатанныхъ въ разное время въ разныхъ изданіяхъ, — преимущественно въ журналѣ "Образованіе". Здѣсь онѣ являются въ исправленномъ и отчасти дополненномъ видѣ.

П. М.

Спб., авг. 1902.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

									Стр.
Изъ исторін карикатуры									. 1
Русская литература въ XIX въкъ .									. 128
Изъ исторіи русской литературной	к)H	ги	ки					. 240
Пушкинъ									. 321
А. А. Потъхинъ									. 392
Литературные дебюты Островскаго									. 416
Герпенъ									. 444

10.....

, on

.

.

.

Изъ исторіи карикатуры.

Thomas Wright. Histoire de la carinature et du grotesque dans la litt fature et dans l'art, trad. par Oct. Sachot. i 75. Champfleury. Histoire de la car. ature antique. P. 1872.

- Hist. de la caricature au moye. - âge et sous

la Renaissance. P. 1876.

 Hist. de la caricature sous la Réforme et la Ligue. P. 1880.

 Hist. de la caricature sous la République, l'Empire et la Restauration. P. 1879.

- L'Imagerie populaire. P. 1869.

Ровинскій, Д. А. Русскія народныя картинки. С.-Пб., 1881.

Mieulx est de ris que de larmes escripre, Pour ce que rire est le propre de l'homme. Rabelais.

T.

Одно изъ общеизвъстныхъ свойствъ человъческой природы заключается въ стремленіи къ наглядности. Статуя, картина, даже плохенькій рисунокъ всегда производять впечатление более сильное и дольше сохраняемое въ памяти, чвмъ самое точное ихъ описаніе. Чтеніе какогонибудь разсказа требуетъ, сравнительно, большаго умственнаго развитія, способности отчетливо представлять въ воображении то, о чемъ повъствуется въ книгъ; между тым какы тоты же разсказы, представленный "вы лицахъ", делается гораздо доступне для пониманія даже и мало развитыхъ людей. Всякій знаеть, что, напр., д'єти очень любять картинки и не любять читать книгъ, лишенныхъ этой приманки. Ваяніе и живопись явились на свътъ гораздо раньше письма, и до нашихъ дней продолжають служить, во многихъ случаяхъ, необходимымъ дополненіемъ литературы. Стремленіе изображать различные предметы, лица, сцены въ смѣшномъ, преувеличенномъ или сатирическомъ видъ (гротескъ, шаржъ, карикатура) также едва ли не современно первымъ попыткамъ ваянія и живописи, такъ какъ смёхъ составляетъ настолько же неотъемлемое свойство человъческой природы, какъ и всв прочія ощущенія. Въ первобытныя времена, когда люди не имъли еще понятія объ искусствъ и письменности, дикарь навърное уже смъялся надъ своими непріятелями, надъ ихъ слабостью, пеловкостью, физическими недостатками и т. д., давалъ имъ насмъщливыя клички, разсказывалъ о нихъ комическія исторіи. Впоследствіи, когда этотъ дикарь научился строить жилища и украшать ихъ, сюжетами для украшеній служили для него, между прочимъ, и изображенія, дълаемыя ради смъха. Издъваясь надъ непріятелемъ на словахъ, онъ старался придать своей насмышкь болье прочную и, вивств съ темъ, более наглядную форму — и неумилою рукой чертилъ смъшную фигуру на стънахъ своего дома, на скаль или на чемъ-нибудь другомъ.

Таково — логически — должно было быть происхожденіе шаржа и карикатуры, хотя последовательный ходъ ихъ развитія нѣтъ возможности прослѣдить по памятникамъ. Извъстная намъ исторія древнихъ народовъ начинается только съ той эпохи, когда они уже достигли, сравнительно, довольно высокой степени цивилизаціи; но и относительно этой эпохи перваго появленія народовъ на историческомъ поприщъ, наши свъдънія ограничиваются, почти исключительно, памятниками религіозными и историческими въ строгомъ смыслѣ этого слова. Таковы, напримъръ, памятники древняго Египта, исторія котораго переносить насъ къ отдаленивищимъ временамъ цивилизаціи. Египетское искусство, вообще, отличается массивностью, мрачностью, внушительностью своихъ произведеній; эти пирамиды съ подземными усыпальницами, колоссальные сфипксы и статуи царей, величественноспокойныя, пережившія десятки в'іковь, вообще пред-

ставляють мало веселаго, пріятно-радостнаго, не дають ничего, что могло бы вызвать улыбку. Однако же и самые древніе египетскіе художники, при всемъ стараніи придать своимъ произведеніямъ грандіозный видъ, не всегда скрывали естественную наклонность къ смфшному: доказательствомъ служатъ различныя подробности орнаментаціи обелисковъ и другихъ памятниковъ. Такъ, напр., въ развалинахъ древнихъ Өивъ сохранились фрески, изоразличныя историческія событія, поб'єды бражающія царей, судъ надъ мертвыми и пр., а также и нѣсколько сценъ изъ домашней жизни. Въ числъ послъднихъ представлена, между прочимъ, пирушка, судя по которой, можно заключить, что египетскія дамы не всегда соблюдали умфренность въ употреблени вина. Одна изъ этихъ дамъ, напр., зоветъ служанку, которая подпимаетъ ее со стула; другая чуть не надаеть на руки стоящихъ за нею людей; наконецъ, третья, въ припадкъ тошноты, наклонила голову надъ чашкой, которую держить служанка, не успъвшая подбъжать во-время. Сцены, подобныя этой, оказываются, при впимательномъ изследованіи, изображенными даже на барельефахъ и фрескахъ царскихъ гробницъ. Конечно, трудно предположить, что художникъ хотълъ серьезно быть върнымъ дъйствительности и руководился только требованіями строгаго реализма, а не желаніемъ пошутить.

Одною изъ особенностей человъческаго міросозерцапія—особечностью, чрезвычайно распространенной и общей всъмъ временамъ и народамъ, является сравненіе человъка, по качествамъ характера, съ различными животными. Одинъ храбръ какъ левъ, другой трусливъ какъ заяцъ, въренъ какъ песъ, хитеръ какъ лиса, грязенъ какъ свинья. Названіе того или другого животнаго неръдко дается человъку какъ кличка, и затъмъ онъ изображается въ этомъ видъ. Такого рода изображенія, составляющія pendant къ животному эпосу и баснъ, встръчаются уже въ глубокой древности; нъкогда они служили для нагляднаго поясненія метемпсихозы или вѣры въ переселение душъ, общей многимъ первобытнымъ религіямъ. Такъ, на египетскихъ памятникахъ находимъ, напр., изображение человъческой души, осужденной возвратиться на землю въ теле свиньи. Но затемъ обычай представлять людей въ видъ животныхъ получилъ дальнъйшее развитие и повое примънение. Такъ, сначала стали изображать животныхъ, занимающихся различными человъческими дълами, затъмъ, перемънивъ роли человъка и животныхъ, стали представлять послъднихъ въ видъ полновластныхъ распорядителей судьбою подчиненныхъ имъ людей. Эта последняя идея нашла обширное распространеніе въ средніе вѣка; но слѣды первой мы встрвчаемь, опять-таки, въ самой отдаленной древности. Въ собраніи древностей Британскаго музея находится, между прочимъ, длинный египетскій папирусъ, покрытый изображеніями этого рода: здёсь кошки подносять мышамъ, важно сидящимъ на стульяхъ, кушанья и цвъты, левъ играетъ въ шашки съ единорогомъ, котъ пасетъ стадо гусей, лиса несеть ведро и играеть на свиръли, годп и

Въ Греціи карикатура, шаржъ и вообще комическія изображенія получили широкое распространеніе, особенно благодаря установившемуся тамъ, съ незацамятныхъ временъ, культу Діониса, бывшему источникомъ греческой комедіи. Шумныя вакхическія процессіи, отличавшіяся необузданною безцеремонностью въ ръчахъ и тълодвижепіяхъ, имфли, какъ извістно, характеръ шутовскихъ пародій съ переод'вваніями, похожихъ на позднівшія римскія сатурналіи и современный карнавалъ. Впослёдствіи, съ развитіемъ комедіи, эта основная черта вакханалій обозначилась еще определенные. Достаточно прочесть двътри сцены изъ "Облаковъ" Аристофана, гдъ фигурируетъ Сократъ, достаточно взглянуть на комическія маски, изображенія которыхъ во множестві дошли до насъ, чтобы признать, что древняя греческая комедія имъла преимущественно карикатурный и пародическій карактеръ. Эта пародія не щадила ничего—ни религіи, ни философіи, ни общественныхъ учрежденій и правовъ, ни литературы, ни домашней жизни; любая сцена изъ греческой комедіи, нарисованная на картинъ, представитъ карикатуру; доказательствомъ служатъ греческія и этрусскія вазы, на которыхъ сохранилось немалое количество подобныхъ рисунковъ. Рисунки эти, безъ сомпъпія, живьемъ взяты съ театральныхъ подмостковъ. Комическая маска и шутовская поза не миновали даже боговъ; существуетъ нъсколько изображеній громовержца Зевса и лучезарнаго Феба—одпо другого уморительнъе; о подобныхъ же картинахъ, до насъ не дошедшихъ, сообщаютъ и древніе писатели, напр. Плиній.

Склонность грековь къ сатирическимъ изображеніямъ и пародіи перешла и къ римлянамъ. Ствиная живопись Помпеи и Геркулана даеть множество чрезвычайно любопытныхъ образцовъ этого рода произведеній. Приведемъ одинъ примъръ, наиболъе выразительный. Извъстенъ трогательный разсказъ Виргилія о томъ, какъ во время разрушенія Трои Эней, посадивъ къ себ'є на плечи отца своего, старца Анхиза, и взявъ за руку маленькаго сына Юла, бъжалъ изъ злополучнаго города. Эта сцена не разъ вдохновляла римскихъ художниковъ, и до нашего времени сохранилась пара барельефовъ, представляющихъ ее совершенно согласно съ текстомъ Энеиды. На стънахъ одного помпейскаго дома изображенъ тотъ же самый сюжеть, представляющій, какъ будто, точную копію съ этихъ барельефовъ: тъ же фигуры, — только вмъсто людей мы видимъ передъ собою обезьянъ съ собачьими головами (кинокефалы). Пародія, не требующая поясненій.

Въ драматическомъ искусствъ римляне, какъ извъстно, были подражателями грековъ, отъ которыхъ они заимствовали и внъшнюю обстановку театра, въ томъ числъ и маски. Послъднія были усовершенствованы такимъ образомъ, что отверстіе для рта, обыкновенно очень ши-

рокое, стало делаться изъ меди, въ форме воронки, для того, чтобы усилить голосъ актера *). До насъ дошли рисунки, представляющие нъкоторыя сцены изъ рамскихъ комедій, напр. изъ Теренція; судя по этимъ рисункамъ, надо полагать, что утрировка телодвиженій считалась въ то время необходимымъ условіемъ для комическаго актера. Комическая маска пользовалась у римлянъ большою популярностью и, повидимому, служила символомъ всего сміхотворнаго. Съ театральныхъ подмостковъ она перешла въ праздничныя народныя процессіи (напр. луперкаліи), а отсюда-и въ среднев вковые карнавалы, и въ нашъ современный маскарадъ; эту же маску слъдуеть, по всей в роятности, считать родоначальницей тъхъ смъхотворно-безобразныхъ фигуръ, которыя такъ часто встръчаются въ средневъковой орнаментаціи. У римлянъ особыя типичныя маски получили постоянное, такъ сказать — нарицательное, значеніе, унаслідованное впоследствіи итальянской народной комедіей: таковы шутовскіе типы гаера Санніона, забавлявшаго публику своими плясками, обжоры Мандука, плутоватыхъ Макка и Паппа, комическія фигуры съ огромными носами, усердно надълявшія другъ друга оплеухами и палочными ударами, и пр. Эти излюбленныя маски составляли необходимую принадлежность народныхъ развлеченій, отличавшихся извъстною античною безцеремонностью; ихъ изображенія сохранились какъ въ скульптуръ, такъ и въ стънной живописи.

Обращаясь собственно къ римской карикатурѣ, мы должны, прежде всего, упомянуть о многочисленныхъ изображеніяхъ такъ-называемыхъ пигмеевъ. Повѣрье о существованіи пигмеевъ — народа-карлика, ведущаго постоянную и кровопролитную войну съ журавлями, — относится къ отдаленной древности; о пигмеяхъ упоми-

^{*)} Потому-то маска и называется у римлянъ персоною (persona, отъ personare, громко звучать).

наеть еще Гомеръ. У римлянъ это повърье, какъ видно, было очень распространено, потому что стыны помней. скихъ домовъ покрыты множествомъ рисупковъ, на которыхъ представлены всевозможныя сцены изъ жизни воображаемыхъ карликовъ, --- сраженія, домашнія занятія, совъщанія, процессіи и т. д. Большая часть этихъ рисунковъ имъетъ характеръ совершенно карикатурный: пигмеи представлены съ огромными, сравнительно, головами на очень маленькомъ тълъ, съ микроскопическими ручками и пожками, - пріемъ столь излюбленный карикатуристами нашего времени; нъкоторыя сцены, изображенныя такимъ способомъ, очень комичны. Къ произведеніямъ того же порядка следуеть отнести бронзовыя и глиняныя статуэтки, представляющія важныя фигуры сенаторовъ и т. п. съ головами различныхъ животныхъмедвідя, собаки, крысы и т. п. Въ подобныхъ случаяхъ римскій художникъ, безъ сомнінія, руководился тою же идеей, какая заставляеть современнаго карикатуриста рисовать, напр., собраніе общественныхъ діятелей въ видъ барановъ, важно засъдающихъ вокругъ стола, во фракахъ и бълыхъ перчаткахъ.

Нъть сомивнія, что у римлянъ процвътала также карикатура политическая и личная; примъромъ служатъ многочисленныя, дошедшія до насъ произведенія, особенно — камеи; но большая часть этихъ изображеній отличается совершенно "непечатнымъ" характеромъ, такъ что описывать ихъ нътъ никакой возможности. Извъстно, что понятія древнихъ римлянъ о нравственности и приличіи были совсъмъ не похожи на наши...

Паконецъ, упомянемъ еще о рисункахъ и надписяхъ, начерченныхъ чѣмъ-нибудь острымъ (напр. ножемъ) на стѣнахъ домовъ. Такіе рисунки и надписи, которымъ присвоено техническое названіе граффитовъ (graffiti), во множествѣ попадаются въ развалинахъ Помпеи; пѣкоторые изъ пихъ имѣютъ характеръ карикатурный; но это — карикатуры совершенно дѣтскія, въ родѣ тѣхъ,

какія можно видёть и у насъ на заборахъ. Какой нибудь Ванька, обиженный Өедькой, чертить на заборь кругъ съ точками на мъстъ глазъ и рта и съ крючкомъ на мъстъ носа, и подписываетъ "Өедька дуракъ". Въ числѣ такихъ граффитовъ есть, однако, одинъ, заслуживающій особаго и серьезнаго вниманія. Въ Римѣ, 1857 году, случайно найдена часть древней ствны, на которой надарапанъ рисунокъ, изображающій распятаго на кресть человъка съ ослиной головой; передъ крестомъ стоить человькь, подпимающій руку кверху. Подъ рисункомъ подпись (по-гречески): "Алексаменъ поклоняется богу". Смыслъ изображенія понятенъ: это — карикатура на христіанъ, придуманная язычникомъ; римляне, какъ извъстно, преслъдовали христіанъ не только казнями, но и всевозможными клеветами и насмъшками. Царапая на ствив свой рисунокъ съ именемъ Алексамена, карикатуристь въ то же время чертилъ и доносъ: зная первоначальную исторію христіанства, нетрудно предположить, что Алексаменъ погибъ жертвой карикатуры.

Вотъ, въ главныхъ чертахъ, почти все, что извѣстно намъ о древней карикатурѣ, если не придавать этому слову такого широкаго значенія, какъ дѣлаетъ Шанфлери, видящій иногда карикатуру тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ, напр. въ символическихъ изображеніяхъ различныхъ насѣкомыхъ (стрекозъ, пчелъ и пр.) и птицъ. Фигура льва, ѣдущаго въ колесницѣ, запряженной двумя пѣтухами, сама по себѣ не представляетъ еще ничего комическаго; это просто — фантазія художника-орнаментиста на общераспространенную тему, точно такъ же, какъ и фигура кузнечика, играющаго на лирѣ, и т. п.

IT.

Главные мотивы античной карикатуры—сатирическое изображение людей подъ видомъ животныхъ и комическая,

безобразно-смѣшная маска—получили въ слѣдующую эпоху дальнѣйшее развитіе и широкое примѣненіе.

Переходъ отъ классической древности къ среднимъ въкамъ совершался довольно медленио. Литературные памятники, дошедшіе до насъ отъ той переходной эпохи, заключаются преимущественно въ серьсзныхъ богословскихъ трактатахъ и житіяхъ святыхъ. Сценическое искусство совершенно замерло; о театръ и циркъ не было и помину; не смотря на то, мимы и шуты, безцеремонныя пляски и прибаутки которыхъ такъ нравились римлянамъ, пережили паденіе римской имперіи и по прежнему продолжали забавлять публику-теперь уже новую, "варварскую". Съ четвертаго въка по десятый мы встръчаемъ цълый рядъ церковныхъ запрещеній и мъропріятій, направленныхъ противъ "гнусныхъ, развратныхъ и бъсовскихъ" игрищъ и пъсенъ: судя по такимъ выраженіямъ, надо думать, что эти "игрища" продолжали сохранять свой древній, языческій характерь, не смотря на то, что они происходили во время христіанскихъ праздниковь, и даже въ самыхъ церквахъ. Церковь же, какъ это ни кажется съ перваго взгляда страннымъ, сдълалась, такъ сказать, родиною средневъковой карикатуры. Въ числъ рабочихъ и художниковъ, которые строили и украшали первые христіанскіе храмы въ Европ'в, было пемало такихъ людей, которые, слъдуя преданіямъ языческаго искусства, вводили въ орнаментацію этихъ зданій ть же комическія фигуры, гротески, маски, безобразныя лица, къ какимъ пріучила ихъ римская старина; эти художники нисколько не считали неумъстнымъ копировать древніе образцы или подражать имъ въ томъ же духів. Они даже, можно сказать, злоупотребляли орнаментами, щедрою рукою разсыпая ихъ повсюду и придавая имъ по преимуществу карикатурный характеръ. Смёхотворныя фигуры изображались, конечно, съ цёлью привлечь вниманіе публики: потому-то художники и украшали ими зданія, наиболье посыщаемыя народомь; а такими зданіями въ средніе въка были именно церкви. Вотъ отчего средневъковой храмъ представляеть нѣчто вродъ музея карикатуры. Наряду и въ перемежку съ изображеніями Спасителя и святыхъ, сценами изъ ветхозавѣтной и евангельской исторіи, на барельефахъ церквей кишмя кишатъфантастическія чудовища, отвратительные гномы, бъсы, шутовскія фигуры въ самыхъ неприличныхъ позахъ, карикатурные звѣри, птицы, скандальныя картины изъ жизни духовенства и монаховъ, и пр. и пр., поражающія воображеніе своей неожиданностью и странностью.

На объяснение этой странности потрачено много усилій и остроумія; ей посвящены цілые томы спеціальпыхъ изследованій. Сначала археологи везде усматривали христіанскую символику, для каждой гримасы старались подыскать, при помощи всевозможныхъ натяжекъ, будто бы подходящій тексть св. писанія. При этомъ мистическая фантазія доходила до крайнихъ предёловъ. Затемъ комментаторы перешли на политическую почву; противники католицизма стали искать въ церковныхъ украшеніяхъ новыхъ аргументовъ въ свою пользу. Каждый барельефъ служилъ поводомъ къ горячимъ спорамъ; въ наивныхъ орнаментистахъ стали видъть доктринеровъ, свободныхъ мыслителей и пр.; ихъ произведенія признавались то назидательными, то скандальными, то благочестивыми, то безобразными, то, наконецъ, революціонными Склонность къ символизму, какъ извъстно, была въ средніе въка очень сильна, а въ украшеніяхъ, о которыхъ идетъ ръчь, символика, дъйствительно, играетъ важную роль; достаточно указать на изображенія смерти, дьявола, рая и ада, гръховъ и пороковъ и пр. Но затъмъ, всетаки, остается еще множество фигуръ, совершенно не поддающихся ни символическому, но политическому толкованію, — тімъ боліве, что политика явилась на сцену лишь въ концъ среднихъ въковъ, паканунъ реформаціи. Объясненія надо искать въ иномъ мъсть, именно - въ народной словеспости съ ея фантастическими и забавными выныслами. Такъ, напр., во Франціи наиболье замьчательные памятники архитектуры относятся къ XII—XIII вв. т. е. именно къ эпохъ наибольшаго развитія и процвътанія въ литературъ фабльо, знаменитаго романа о Лисъ и другихъ подобныхъ произведеній, изъ которыхъ художники объими руками черпали сюжеты для скульптурныхъ и иныхъ украшеній. Баснословные разсказы о далекихъ, чудесныхъ странахъ, населенныхъ необыкновенными людьми и животными, были, какъ извъстно, въ большомъ ходу въ Европ'в до XVI в'вка; псевдо-Каллисоеново жизнеописаніе Александра Македонскаго, наполненное всевозможными чудесами въ этомъ родъ, сборники вродъ физіологовъ, бестіаріевь, космографій—все это также доставляло фаптазіи художника обильный матеріаль. Сначала орнаментисты изображали просто фантастическихъ полу-людей, полу-животныхъ, стараясь сдёлать эти изображенія какъ можно замысловатье; затьмь, повторяя издревле извъстный мотивъ, стали представлять животныхъ въ видъ людей, заставляя ихъ пародировать различныя человъческія дъйствія; потомъ естественная склонность къ шуткъ, желаніе позабавиться самому и позабавить другихъ, сділали свое д'вло: животныя и чудовища явились д'вйствующими лицами въ разныхъ комическихъ сценахъ и положеніяхъ.

Наконецъ, въ числъ сохранившихся до нашего времени скульптурныхъ украшеній средневъковыхъ церквей есть и такія, которыя, съ нерваго взгляда, представляются совершенно несоотвътствующими достоинству того мъста, гдъ находятся. Такъ, напримъръ, на капителяхъ колоннъ, поддерживающихъ куполъ храма, посътитель съ изумленіемъ видитъ вполпъ отчетливыя изображенія такихъ частей человъческаго тъла, которыя теперь не принято выставлять на показъ, или такихъ дъйствій, которыя въ наше время совершаются людьми не иначе какъ въ усдиненіи. Надо, однако, имъть въ виду, что четыре или пять въковъ тому назадъ понятія о приличіи были совсъмъ иныя, и шутка, которая въ наше время была бы

сочтена непозволительно-пошлою, въ тѣ времена могла бы вызвать только одобрительную улыбку. Припомнимъ здѣсь, кстати, что въ замкѣ Блуа, въ спальнѣ Людовика XII, арки оконъ поддерживаются художественно исполненными фигурами, которыя, нисколько не стѣсняясь присутствіемъ королевы, приняли самыя безцеремонныя позы.

Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ средневъкового искусства, Віоле-де-Дюкъ, говоря объ архитектур'в вообще, замъчаетъ, что она является наиболье върпымъ отраженіемъ народныхъ инстинктовъ, интересовъ, идей, потребпостей и умственнаго развитія. Это замічаніе, можеть быть, нёсколько пристрастное, такъ какъ оно исходитъ отъ ученаго архитектора, едва ли, однако, можетъ быть оспариваемо въ примѣненіи къ архитектуръ среднихъ въковъ. Произведенія среднев вкового зодчества во многихъ отношеніяхъ можно даже поставить выше произведеній среднев вковой поэзіи. Дівло въ томъ, что всякое поэтическое произведение необходимо является трудомъ аналитическимъ; для того, чтобы достигнуть известной степени совершенства, оно предполагаетъ въ своемъ авторѣ основательное знаніе человъческаго сердца, зрълость вкуса, способность владеть языкомъ, уже достаточно развитымъ и выработаннымь для передачи всевозможныхъ оттънковъ чувства и мысли. Всв эти качества редко можно встретить въ литературъ, только что начинающей формироваться, - какова и была европейская среднев вковая литература; они пріобр'ятаются путемъ медленнаго, постепеннаго развитія. Архитектура, напротивъ, есть искусство синтетическое; идеи выражаются ею, такъ сказать, въ сыромъ, неразработанномъ видъ; положенія и характеры представляются наглядно, формами и группами. Потому-то древныйшие исторические народы оставили памъ памятники почти исключительно архитектурные, а не литературные. Все, что намъ извъстно, напр., о пеласгахъ, ассиріянахъ, египтянахъ, основывается, главнымъ образомъ, на изучении оставшихся отъ нихъ построекъ. Сфинксы, пирамиды, обелиски съ своими гіероглифами, символическій языкъ скульптуры и живописи—таковы древнѣйшіе изъ извѣстныхъ намъ памятниковъ человѣческой мысти

Подобную же, и еще болъе популярную, роль играетъ архитектура и въ средніе въка; для народа, для неграмотной массы, она является предшественницею и за-ивною книгопечатанія. Рукописи составляють редкость и дорогую роскошь; къ тому же, только немногіе счастливцы умьють разбирать таинственныя строчки, замысловато начертанныя на пергаменъ. За то всякій можеть, когда угодно, читать легенду, изображенную въ лицахъ на порталь готического храма, - смотрыть, толковать и поучаться. Въ глазахъ толпы мертвый камень оживляется и передаетъ свою чудную повъсть, принимая самыя смълыя, самыя величественныя и самыя странныя формы. Такой готическій храмъ является настоящей поэмой, обширной каменной эпопеей, въ которой выразились идеи, ожиданія, надежды, опасенія целаго столетія и целаго народа. Не даромъ на паперти одного изъ такихъ храмовъ красуется многозначительное посвящение: «Sanctae plebi Dei».

Средневъковой готическій соборъ есть произведеніе въ такой же степени общенародное, какъ и любая богатырская былина или сказка; онъ является не только благочестивымъ приношеніемъ божеству, но и символомъ самостоятельности свободной городской общины. Горажане, этотъ "подлый" народъ (vilains), эти вчерашніе рабы, только что успѣвшіе избавиться отъ феодальнаго гнета и почувствовать свою силу, спѣшать воздвигнуть монументъ, который свидѣтельствовалъ бы объ ихъ сплоченности и могуществъ. Эти громадныя, рвущіяся къ небу, базилики, передъ которыми склоняются горделивыя башни рыцарскихъ замковъ, служатъ для города и памятникомъ славы, и видимымъ знакомъ расплаты за прошлое. Это, такъ сказать, медали, на которыхъ народъ отчеканилъ свое

изображеніе, въ честь рожденія своей независимости. Это — общее достояніе и предметь общей гордости.

Наши ныпѣшнія постройки, какъ бы онѣ ни были важны въ различныхъ отношеніяхъ, не могуть дать пикакого понятія о томъ одушевленій, съ какимъ воздвигались готическіе храмы въ концѣ XII и началѣ XIII стольтія. Въ ту пору для постройки церквей производился такой же добровольный наборъ желающихъ, какъ за стольть передъ тѣмъ—для арміи крестопосцевъ. Мужчины, женщины, дѣти—всѣ сходились громадною толпой, всякій хотѣлъ принять участіе въ общемъ трудѣ, хотя бы самое ничтожное; жили въ палаткахъ, подъ открытымъ небомъ, питаясь доброхотными даяпіями; трудясь, по обѣту, въ потѣ лица три-четыре года, каждый надѣялся только на одну награду — на похвалу за доброе, богоугодное дѣло, въ которое вкладывали всю свою силу, все свое умѣнье десятки тысячъ людей, одушевленныхъ одною общей идеей.

Въ древности два народа — египтяне и римляпе прославились громадностью и прочностью своихъ построекъ. Римское государство, сильное своими завоеваніями и впутреннимъ строемъ, но не знавшее оригинальности въ искусствъ, наложило на всъ свои произведенія отпечатокъ торжественнаго и холоднаго величія, не заботясь о склонностяхъ и вкусахъ многочисленныхъ народовъ, жившихъ подъ гнетомъ безжалостнаго римскаго единства. Фараоны построили пирамиды — эти въчные памятники безсознательнаго, безличнаго, стаднаго труда изъ-подъ палки. Совсъмъ не таковы памятники средневъковые, на которые народъ наложилъ яркую печать своего религіознаго и поэтическаго вдохновенія. Храмъ, созданный въ честь божества и на пользу народу, служилъ для последняго местомъ молитвы, собраній, библіотекой и музсемъ. Его наружныя и внутреннія стіны, сверху до низу покрытыя барельефами, его разрисованныя оконныя стекла, капители колоппъ кажутся страницами громадной книги, въ которую народъ вписалъ свои восноминанія о прошломъ, свои воззрѣнія на настоящее и свои надежды на будущее. Великій законъ равенства всѣхъ людей передъ неподкупнымъ высшимъ судомъ краснорѣчиво выразился въ этихъ скульптурныхъ легендахъ, гдѣ перемѣшаны между собою всѣ классы общества. Горожанинъ, слишкомъ бѣдный для того, чтобы, подобпо богатому барону, украшатъ своимъ изображеніемъ стѣны своего жилища или могильную плиту, въ церкви видитъ свою фигуру наряду съ апостолами и святыми; здѣсь онъ торжествуетъ вмѣстѣ съ Іовомъ и бѣднымъ Лазаремъ, самодовольно смотря, какъ рыцари, закованные въ желѣзо, епископы въ своихъ митрахъ, короли въ золотыхъ вѣнцахъ корчатся въ адскомъ пламени наряду съ убійцами и татями...

Въ ту самую эпоху, когда городскія общины пріобрѣтаютъ политическую свободу, въ церковную науку вторгается живительная струя раціонализма, а въ церковное искусство — свътскій, скажемъ даже — простонародный элементъ. Покуда постройка и украшение церквей оставались монополіей духовенства, до тіхь порь художникь быль рабомъ богослова и долженъ быль держаться строго опредёленныхъ преданіемъ, однообразныхъ нормъ, какъ это мы и видимъ въ искусствъ византійскомъ; когда же монополія перестала существовать и обратилась въ общее дъло, искусство получило дальнъйшее развитіе, художнику дана была возможность руководиться своимъ личнымъ вдохновеніемъ. Съ начала XIII віка постройка церквей почти вездъ переходить въ руки свътскихъ мастеровъ, артелей "вольныхъ каменьщиковъ", которые, вмъстъ съ тъмъ, были и свободными мыслителями. Это были люди, конечно, върующіе; но ихъ въра не знала стъснительныхъ нормъ; то была въра широкая, независимая, артистическая, отдававшая предпочтеніе духу передъ буквой. Призванные къ посредничеству между церковью и народомъ, они, въ своемъ стремленіи къ наглядности и изобразительности, очень часто смешивали священныя преданія

съ свътскими сюжетами романа, богатырской былины, фабльо. Народъ, войдя въ храмъ съ своими инструментами — молоткомъ, пилой, рубанкомъ, — приводилъ съ собою и обычныхъ своихъ спутниковъ — осла, вола, собаку; вслъдъ за ними туда же являлось цълое стадо животныхъ — ручныхъ и дикихъ, дъйствительныхъ и аллегорическихъ: пътухъ, свинья, медвъдь, лиса — герой комическаго романа, символическіе звъри изъ Апокалипсиса, единороги, саламандры, драконы и пр. Всъ эти фигуры образовали множество самыхъ причудливыхъ группъ.

Свободно пользуясь этимъ разнообразнымъ матеріадомъ, художникъ неръдко обращался въ сатирика-моралиста, и подъ его ръзцомъ камень зачастую могъ соперничать въ нескромности съ любимыми буржуазными фабльо. Церковь ипогда скандализировалась такою, слишкомъ дерзкою, профанаціей; но чаще смотрыла на артистическую вольность сквозь пальцы, оправдывая даже наименье скромныя фигуры, какъ наглядныя пособія для изобретательныхъ проповъдниковъ. Такая терпимость къ обще-человъческой слабости достаточно объясняетъ, почему наряду съ картинами на библейскіе сюжеты, съ изображеніями чудесь святыхь, являлись сцены изъ домашняго обихода, иногда шутливыя, иногда сатирическія, съ крѣпкимъ букетомъ своеобразнаго народнаго юмора, точно такъ же какъ къ священнымъ гимнамъ присоединялся, при случав, насм'єтливый прип'євь, къ чтенію Евангелія secundum I ucam — евангеліе secundum Lupum и т. п. Такимъ обравомъ сатира, сначала только терпимая, впоследствии была освящена давностью обычая, и, наконецъ, заняла первенствующее мъсто. Въ этомъ отношении развитие искусства шло совершенно параллельно съ развитіемъ литературы. И здёсь, какъ въ среднев вковомъ театрв, нравоучительное представленіе, moralité, предшествовало сатирическимъ "дурачествамъ" (soties) и фарсамъ, наивность — хитрой насмъшкъ. Сначала являются нравоучительно-философскія аллегоріи, вродь изображенія возраста человьческаго", Bereit

встричающагося въ нисколькихъ старинныхъ французскихъ церквахъ и перешедшаго потомъ на лубочныя гравюры: нально отъ зрителя восемь фигуръ, отъ ребенка до зрълаго человека, поднимаются, одна за другою, на гору (старшіе впереди); направо также восемь фигуръ спускаются съ горы. Первыя изображають постепенное возмужаніе человіка, вторыя — постепенный упадокъ силь и одряхлівніе. На вершині горы, на троні, сидить человінь среднихъ лътъ. Подобная же картинка есть и у насъ (Ровинскій, № 737). На ней представлена лъстница на двё стороны: вверху ея стоить человекь 50-ти лёть; къ нему, слъва по шести ступенямъ, восходятъ: дъти одного года, двухъ, десяти и взрослые — 20-ти, 30-ти и 40 лътъ; справа, по пяти ступенямъ, сходятъ внизъ старики: 60-ти, 70-ти, 80-ти, 90-ти леть и столетній старецъ въ монашескомъ одъяніи. Въ разныхъ мъстахъ картинки сделаны соответствующія надписи.

Мало по малу сатира становится смёлёе. Въ XIII въкъ она еще скромно ютится на нижнихъ или второстепенныхъ частяхъ зданія, извивается вокругъ капителей, выглядывая изъ-за листьевъ и арабесокъ, лепится по краямъ портала, по водосточнымъ трубамъ, строитъ рожи изъ-за угла, почтительно уступая болбе видныя мъста серьезнымъ сюжетамъ. Религовное настроеніе, очевидно, сильно ее ограничиваеть. Въ XIV вък она становится отважнье и выдвигается впередъ. жизнь духовенства, ереси, борьба свытеки сударей съ папами, возрастающая безцеремонность паредностиски и побасенки внушають художниками больно высти. Въ XV въкъ матеріализмь, господствующий въ обществъ и литературь, начинаеть сказываться также и въ искусствъ. Художникъ пользуется ръзцомъ, какъ процовъдникъ-словомъ, нисколько не стесняясь въ выборъ формъ для выраженія своей мысли. Сатира доходить, какь на словахъ, такъ и въ картинахъ, до крайняго предёла

> ИВИНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НЛУЧНАЯ БИВПИОТЕКА

ръзкости и цинизма; карикатура и гротескъ торжественно выставляются на самыхъ видныхъ мъстахъ. Въ церковъ врывается настоящій карнавалъ комическихъ масокъ людей и животныхъ; тогда-то являются и монахи съ свиными головами, и проповъдники съ ослиными ушами и пр. Здъсь воочіс изображенъ весь тотъ выразительный словарь кръпкихъ словъ, которымъ внослъдствіи пользовались, въ своихъ ръчахъ противъ католическаго духовенства, Лютеръ и Кальвинъ.

Наряду съ скульптурными и животными украшеніями церквей и свътскихъ зданій должны быть поставлены миніатюры, которыми такъ изобилують среднев вковыя рукописи. И здесь, и тамъ, мы видимъ одни и те же главные мотивы, одни и тъ же пріемы, одинъ и тотъ же стиль; нередко какая-нибудь лицевая Библія, Псалтирь, Часословъ, неожиданно даютъ, наряду съ миніатюрами благочестиваго содержанія, рисунки иного рода, изображенія фигуръ комическихъ, шутовскихъ, сценъ "вольнаго обращенія" и т. п. Изъ заглавныхъ буквъ и заставокъ выглядывають столь популярныя въ то время дурацкія рожи съ уморительными гримасами; страницы обведены фигурной рамкой, въ которой кувыркаются черти, карлики, шуты, обезьяны: на канедръ стоить лиса въ монашеской рясь и поучаеть курь христіанскому смиренію; осель въ епископской митръ играетъ на скрипкъ, и т. п. Тъ же мотивы впоследствіи, съ изобретеніемъ гравюры, перешли въ народныя картинки и послужили основой для дальнвитаго развитія карикатуры.

Народная скульптура и живопись были, такимъ образомъ, въ тъсной связи съ народною словесностью и служили ея дополненіемъ. Извъстно, какою популярностью пользовались въ средніе въка басни и апологи, въ которыхъ дъйствующими лицами были животныя; имя Эзопа было однимъ изъ самыхъ любимыхъ именъ, и его біографія, прикрашенная множествомъ замысловатыхъ разсказовъ, обошла всю Европу въ рукописяхъ, народныхъ книжкахъ

и картинкахъ. Въ скульптуръ и живописи басня отразилась изображеніями животныхъ, пародирующихъ различныя челов'вческія д'яйствія. Въ числ'я этихъ животныхъ первое мъсто занимаеть Лиса, олицетворение хитрости, коварства и интриги. Какъ и многія другія животныя, лиса нолучила особую кличку или собственное имя-Рейнгарть, Рейнеке, --- которое во Франціи до такой степени слилось съ представлениемъ объ этомъ животномъ, что обратилось въ нарицательное, вытёснивъ старое названіе лисы (goupil—renard). Сначала животныя изображались въ одиночку, безъ всякой связи между собою; но, подъ вліяніемъ басни, вскоръ явились изображенія цълаго ряда сценъ изъ жизни царства зверей, которое приравнивалось къ царству человическому. Левъ, волкъ, медвидь, баранъ, котъ, заяцъ, пътухъ, журавль, ворона и пр. получили опредъленныя роли, соотвътствующія ихъ характеру, и сдёлались дёйствующими лицами обширной эпопеи, въ которой сатирически отразилось средневъковое общество со всвии своими пороками и недостатками. Такимъ образомъ составился знаменитый "Романъ о Лисъ" (Le Roman de Renart).

Въ средніе вѣка сатира была наиболье полнымъ выраженіемъ свободной мысли. Подъ гнетомъ неумолимаго церковнаго и школьнаго догматизма, видъвшаго ересь въ мальйшей самостоятельности мнѣній, духъ критики могъ всего удобнѣе пробиться наружу въ шуткѣ и пародіи. И воть, бокъ-о-бокъ съ драмой серьезныхъ историческихъ событій, развивается шутовской фарсъ, съ разноголосицей тысячи дѣйствующихъ лицъ, со множествомъ намековъ, аллегорій, неожиданныхъ сопоставленій и контрастовъ. Сатира мало-по-малу широкимъ потокомъ разливается повсюду, принимаетъ всевозможныя формы, начинаетъ говорить на всѣхъ языкахъ; гусли, перо, кисть, рѣзецъ—все служить орудіемъ для ея цѣлей. На нлощади она, устами уличнаго пѣвца, бросаетъ толпѣ смѣлое, вольное слово; она завоевываетъ себѣ почегное мѣсто на порта-

лахъ церквей и даже на надгробныхъ памятникахъ; она проводить въ церковь шумную, веселую толпу-остатокъ языческихъ сатурналій, строить противь алтаря подмостки для балаганнаго скоромнаго фарса; она, **ипотребляя** метафору современнаго итальянскаго поэта, олицетвореніемъ "Сатаны" — этой неумолимой силы отрицанія, неустанно работающей надъ разрушеніемъ старыхъ понятій, безжалостно низводящей старыхъ боговъ съ ихъ высокаго пьедестала. Эта оборотная сторона средневъкового церковно-феодального склада представляеть обширную, всеобъемлющую трилогію, въ которой каждый вікъ является какъ бы отдёльной пьесой, и каждая пьеса имъетъ своего главнаго героя: въ XIII въкъ на первомъ планф-Лиса, въ XIV-Дьяволъ, въ XV-Смерть.

III.

Громадная, пестрая сатирическая процессія среднихъ въковъ медленно подвигается впередъ, извиваясь подобно гигантской змъв и напоминая вакхическій хорь-эту разнузданную и безпорядочную толиу фавновъ, сатировъ, вакханокъ, съ криками, песнями, нестройной трубъ и кимваловъ, -- толпу, среди которой въ тріумфѣ несется въчно-юный и въчно-радостный богъ вина, сынъ блестящей греческой фантазіи. Среднев вковой готическій маскарадъ лишенъ этой послъдней радости; его веселье отличается мрачнымъ, отчасти мистическимъ колоритомъ. Здась пестро и причудливо перепутались вса классы общества, всв царства природы: рыцари, монахи, аббаты, купцы, крестьяне, горожане, люди и звъри, папы и короли. Во главъ шествія выступаеть Лиса съ своей узкой, длинной мордой, которая дышеть коварствомъ и насмѣшкой, съ своимъ хитрымъ и презрительнымъ взглядомъ: за ней идеть ея "кумъ" и преемникъ-рогатый Дьяволъ, покрытый шерстью, съ копытами на ногахъ и когтями на

рукахъ, съ отвратительно-саркастической физіономіей въчнаго соблазнителя и безжалостнаго насмъшника; наконецъ, появляется Смерть въ видъ длиннаго, изсохшаго, безобразнаго скелета, съ глубокими впадинами на месте глазъ, съ пустою костяною грудью и страшной усмъшкой обнаженныхъ челюстей. Таковы три корифея этой нескончаемой процессіи, которая окружаеть стіны церквей и замковъ, развертывается на улицахъ, площадяхъ и кладбищахъ, заходитъ во дворцы, не минуя и жалкой лачужки крестьянина. Среди этой толны видное мъсто занимаютъ трубадуры, менестрели, уличные пъвцы, шуты, паяцы, обезьяны, съ пъснями, шутками, музыкой и пляской; здесь и важныя лица-въ коронахъ, тіарахъ, митрахъ, рясахъ, капюшонахъ, судейскихъ тогахъ и докторскихъ беретахъ, и шуты въ арлекинскомъ платьъ, съ побрякушками и бубенчиками, окружающие собственнаго папу въ картонномъ колпакъ; здъсь и "господинъ оселъ", торжественно шествующій въ храмъ, и цёлый карнавалъ фантастическихъ чудовищъ, драконовъ, саламандръ, сиренъ, кентавровъ, и пр. и пр. Наконецъ, въ хвостѣ процессіи — "базошскіе клерки" (Clercs de la Bazoche) и "беззаботные ребята" (Enfants sans soucy), —толпа безнардонной молодежи, которая весело хоронить средніе въка, не тревожась о завтрашнемъ днъ...

Романъ о Лисѣ, этотъ обширный эпическій циклъ, представляетъ коллективное произведеніе средневѣковой опнозиціонной мысли, нѣчто въ родѣ тѣхъ готическихъ соборовъ, надъ постройкою которыхъ трудились цѣлыя ноколѣнія, смѣняя другъ друга въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій. Созданіе эпохи, которая была эпохой борьбы между наслѣдіемъ старой цивилизаціи и элементами новой, между феодализмомъ и общинною свободой, между вѣрою и разумомъ, церковью и государствомъ,— эта исполинская компиляція, странная, фантастическая, лишенная всякаго плана и системы, тянется по всему пространству среднихъ вѣковъ, захватывая всѣ стороны

жизни, развѣтвляясь на безчисленное множество отдѣльныхъ эпизодовъ, связанныхъ между собою только единствомъ главнаго дѣйствующаго лица. Каждый изъ этихъ эпизодовъ есть плодъ индивидуальнаго вдохновенія, работавшаго надъ идеей, которая принадлежала цѣлому вѣку. Лиса является типомъ новаго поколѣнія, которое начинаетъ разочаровываться въ превосходствѣ грубой силы и выдвигаетъ на первый планъ хитрость, ловкость, интригу, словомъ—то, что впослѣдствіи стали звать "политикой".

Maître Renart вовсе не похожъ не героевъ стараго рыцарскаго эпоса и chansons de geste. Эти герои одарены, обыкновенно, чрезмърною силой, изумительною храбростью, какъ и наши былинные богатыри; они разрубають скалы однимь ударомь меча, очертя голову бросаются въ самыя опасныя предпріятія; имъ помогають добрыя феи и благодьтельные волшебники. Renart—герой совершенно прозаическій; силы у него маленькія; съ волшебствомъ и чудесами онъ никогда не встречался; не имъя понятія о строгой рыцарской чести, онъ неръдко задаеть тягу передъ сильнымъ непріятелемъ, но всегда успъваетъ ему манакостить. Наконедъ, Renart-вовсе не знатный баринь, вродь медвьдя Бурки или леопарда Спъсивца; онъ-мелкій и бъдный дворянинъ. Онъ живеть съ своемъ замкъ "Скверная Дыра" съ женой и троими сыновьями, которымъ частенько приходится голодать въ то время, какъ онъ рыщетъ по свъту, подлизываясь къ сильнымъ и богатымъ и пускаясь на всевозможныя выдумки, лишь бы промыслить кусочекъ живности для себя и для семьи. Онъ могъ бы сказать о себъ, какъ Фигаро, что онъ на то, чтобы жить, каждый день тратить больше ума, чемъ самъ Левъ на то, чтобъ управлять своимъ звъринымъ царствомъ. Но онъ не любить философствовать; онъ заботится только о томъ, какъ-бы получше поживиться на счеть окружающихъ. Когда нужно, онъ исповедуется, надеваеть власяницу,

дълается крестоносцемъ, служитъ молебны, что нисколько ни мъщаетъ ему издъваться надъ церковью и пародировать ея обряды, какъ не мъщаетъ скушать до-чиста своего исповъдника—коршуна. Софистъ, дипломатъ, кляузникъ, ханжа, обжора, развратникъ, наглый лжецъ,—онъ свободенъ отъ всъхъ "предразсудковъ"; онъ можетъ сдълаться чъмъ угодно—шутомъ, врачемъ, монахомъ, воромъ, нисколько не считая этой послъдней профессіи хуже другихъ.

Таковъ герой средневѣковой сатиры. Вокругъ него группируется многочисленное общество, которое онъ не устаетъ водить за носъ. Первой его жертвой служитъ куманекъ" Изенгринъ-волкъ, сильный, грубый и глупый обжора; затѣмъ слѣдуетъ царь Левъ, величественный, набожный и вмѣстѣ простоватый, крайній эгоистъ, гордый своею властью, и постоянно обманываемый своими совѣтниками; медвѣдь Бурка, важный баринъ, который, однако, пороху не выдумаетъ; оселъ Бернаръ, придворный ученый, ораторъ и каноникъ; котъ, олень, баранъ, пѣтухъ, барсукъ, и пр. и пр., въ лицѣ которыхъ представлены различные типы средневѣкового общества.

Основною темой романа служить борьба Лисы съ волкомъ Изенгриномъ, — борьба хитрости съ грубою силой. Лиса, конечно, побъждаетъ, счастливо увертывается отъ всъхъ опасностей и, при содъйствіи придворныхъ дамъ, умъетъ устроить свои дъла такимъ образомъ, что попадаетъ въ большую честь. Въ этой длинной эпопев подвиговъ Лисы сатира не пощадила ничего, что пользовалось въ средніе въка популярностью и уваженіемъ: богомолье, крестовые походы, чудеса, благочестивыя легенды, судебные поединки, рыцарство, папство — все отдано въ жертву пародіи; духовенству достается больше всего. Въ дальнъйшемъ своемъ развитіи романъ о Лисъ все болье и болье теряетъ первоначальный характеръ басни и переходить въ прямое обличеніе, въ аллегорически-правоучительномъ тонъ. Маître Renart, видя что ему все удается,

возмечталь о себъ высоко; онъ уже не довольствуется легкою возможностью промыслить курочку или кусочекъ колбасы; онъ помышляеть уже о королевствъ. Съ этою цълью онъ поступаетъ въ монастырь и цълый годъ обучаетъ монаховъ своему лисьему искусству, такъ что всъ они становятся великими мастерами въ этомъ дёлё. Затемъ, узнавъ о болезни царя Льва, онъ является къ нему въ рясъ аббата-исповъдника и убъждаетъ завъщать свой престоль не тому, ето всёхъ сильнее, а тому, кто всъхъ умнъе. Хитрость удается. Maître Renart становится королемъ и покоряетъ весь свътъ; онъ отправляется въ Святую Землю, пріобретаеть тамъ славу чрезвычайно храбраго и святого воителя и, возвратившись въ Парижъ, становится законодателемъ морали, галантности и изящнаго вкуса. Наслышавшись объ его качествахъ, самъ папа призываеть его къ себъ и дълаеть своимъ ближайшимъ совътникомъ. Съ тъхъ поръ никто уже не можетъ расчитывать на успёхъ въ свёте, если не обучился, какъ слёдуетъ, лисьему искусству. "Старые боги" рыцарства и феодализма уходять, старые богатыри переводятся; Лиса завладела всемъ міромъ и царствуеть въ немъ безгранично, раздъляя свое могущество только съ двумя другими героями среднев вковой трилогіи— Дьяволомъ и Смертью.

Мы обозначили только канву романа, не вдаваясь въ передачу его содержанія, которая отвлекла бы насъ слишкомъ далеко отъ главной темы настоящаго очерка. Этотъ соблазнительный тріумфъ пронырства и мошенничества, завоевывающаго себѣ всѣ почести и блага міра, славу и святость, находитъ себѣ параллель въ исторіи средневѣкового общества: при всей своей непривлекательности, онъ, все-таки, означалъ побѣду слабаго надъ сильнымъ; а такою именно была побѣда буржуазіи надъ феодальной аристократіей. Въ этомъ заключалась, можетъ быть, одна изъ главныхъ причинъ особенной популярности и распространенности романа о Лисѣ.

Обращаясь собственно къ сатирическимъ изображе-

ніямъ, имъющимъ связь съ этимъ романомъ, мы замъчаемъ, что среднев вковые скульпторы и рисовальщики особенно охотно изображали Лису въ видъ лица духовнаго; въ такомъ видъ она фигурируетъ и въ архитектурныхъ украшеніяхъ, и въ миніатюрахъ рукописей. Въ народь существоваль, вообще, довольно непріязненный взглядъ на служителей церкви, слишкомъ безцеремонныхъ въ своей эксплуатаціи; скоромные фабльо и анекдоты про поповъ и монаховъ были въ большомъ ходу, и самыми любимыми карикатурами были тъ, которыя изображали этихъ лицъ въ скандальномъ видъ. Ръзкія обличенія недостойнаго образа жизни духовенства встричаются даже въ церковной литературъ того времени. Такъ, одинъ французскій пропов'єдникъ XV стольтія разсказываеть, что св. Бригитта, находясь въ храм'в св. Петра, въ Рим'в, имъла видъніе: храмъ внезапно наполнился свиньями въ кардинальскихъ облаченіяхъ, и съ неба раздался голосъ: "Таковы нынъшіе прелаты". Le cochon mitré было въ средніе в ка однимъ изъ любимыхъ сатирическихъ изображеній.

Въ церковной скульптуръ Лиса изображалась преимущественно въ видъ монаха-проповъдника. Съ высоты церковной канедры maître Renart обращается къ собранію куръ или утокъ съ трогательною ръчью, призывая Бога въ свидътели своего искренняго желанія помъстить ихъ у себя въ желудкъ, и хватая за шиворотъ тъхъ, которыя зазъваются. Во Франціи, Фландріи, Англіи древнія церкви наполнены подобными изображеніями на сюжеты изъ Roman de Renart. Въ Страсбургъ до сихъ поръ сохранилось наглядное свидетельство того, какъ народъ, овладъвъ этими сюжетами, примъняль ихъ къ различнымъ случаямъ жизни. Въ этомъ городъ есть улица "Лисыпроповъдника", въ которой существуетъ вывъска съ соотвътствующимъ изображениемъ. Относительно этой вывъски разсказывають, что въ 1600 г. здъсь жилъ-былъ нвито Фуксъ (Fuchs — лиса), который, разсыпая зерна,

приманиваль на свой дворь соседских птиць и ловиль ихъ, закидывая имъ петли на шею. Однажды онъ быль застигнуть на мъстъ преступленія, и городской судъ заставиль его, въ видъ наказанія, прибить на воротахъ изображеніе Лисы-проповъдника, съ надписью: "Это случилось въ 1600 году, во время посъщенія утокъ господиномъ Фуксомъ" (лисою).

Въ Страсбургъ же, въ его знаменитомъ соборъ, находились берельефы, имъющіе очень близкое отношеніе къ роману о Лисъ и послужившіе поводомъ даже къ судебному процессу. Эти барельефы, на капители одной изъ центральныхъ колоннъ собора, были вылъплены въ 1298 году и изображали торжественное погребение Лисы. Теперь они уничтожены, но въ XVI стольтіи они были срисованы, и рисунки эти дошли до насъ. Здёсь видимъ полную похоронную процессію: вперели идеть медвёдь съ кропиломъ, за нимъ волкъ съ большимъ крестомъ, какой носять обыкновенно на котолическихъ похоронахъ, и заяцъ съ факеломъ; кабанъ и козелъ несутъ носилки, на которыхъ лежитъ Лиса; маленькая собачка заигрываетъ съ хвостомъ кабана. Шествіе направляется къ алтарю, передъ которымъ олень служитъ мессу, а сзади него осель поеть по нотамъ, которыя держить котъ. Эти барельефы въ XVI вѣкѣ обратили на себя вниманіе дівятелей реформаціи, которые усмотрівли здісь сатиру на католическій обрядъ. Іоганнъ Фишарть издаль гравюру, на которой была воспроизведена похоронная процессія, и прибавиль къ ней стихи, направленные противъ папства. Изданіе это до такой степени раздражило страсбургскихъ церковниковъ, что они настояли на сожженіи брошюры Фишарта рукою палача, а книгопродавца, у котораго продавалась эта брошюра, подвергли публичному церковному покаянію. Однако, нісколько лість спустя, въ продажв снова появилась — уже не бротюра, а листовая картинка съ тъми же фигурами и съ тъми же стихами Фишарта. Католикамъ не оставалосъ ничего лучтаго, какъ увърять, что это карикатура на невъжество еретиковъ-протестантовъ; но, вмъстъ съ тъмъ, они сильно не взлюбили злополучныхъ страсбургскихъ барельефовъ и въ 1685 г. сочли за нужное ихъ совсъмъ уничтожить.

Этимъ дѣло, однако, еще не кончилось. Въ 1728 году, у одного букиниста - протестанта семинаристъ - католикъ нашелъ картинку "погребенія Лисы" и представилъ ее по начальству. Букиниста обыскали, посадили въ тюрьму и, въ концѣ концовъ, "за безстыдную продажу гравюръ, содержанія самаго нечестиваго и оскорбительнаго для религіи", приговорили къ значительному денежному штрафу, къ публичному церковному покаянію съ веревкой на шеѣ и къ вѣчному изгнанію изъ Страсбурга; гравюры, конечно, были сожжены всенародно, рукою палача. Такимъ образомъ, то, что въ ХІШ вѣкѣ считалось вполнѣ дозволенною шуткой, въ ХУШ обратилось въ преступное святотатство.

Лиса, впрочемъ, не всегда представляется торжествующею: иногда — по крайней мъръ, въ скульптуръ куры ловять ее и разделываются съ нею короткимъ судомъ, по закону Линча. Эта казнь лисы курами-гонителя гонимыми — вводить насъ въ новую серію шуточныхъ-изображеній. Это такъ-называемый "Свёть на изнанку" (Le Monde bestorné), гдѣ животныя представляются, напр., въ роли людей, а люди-въ роли животныхъ: заяцъ тдетъ верхомъ на собакъ и преслъдуетъ охотника; воль пашеть плугомь, въ который запряжена пара людей; заяцъ, убивъ охотника, жаритъ его на вертель; лошади, верхомъ на людяхъ, сражаются между собой на турниръ; птицы ловять людей силками; рыбы ловять людей же удочкой, и т. п. Эта тема, очень популярная въ средніе в ка, перешла потомъ и въ народныя картинки и, обойдя всю Европу, зашла, какъ увидимъ ниже, и къ намъ въ Россію.

Кром тисы, особенным вниманіем среднев ковых орнаментистов пользовался осель. Имя этого животнасо

съ давнихъ поръ служить синонимомъ глупости, которая, какъ извъстно, въ средніе въка также была въ большой чести. Въ романъ о Лисъ оселъ—maître Bernard—ученый и придворный проповѣдникъ, съ глубокомысленнымъ видомъ и съ огромными очками на носу; въ скульптурныхъ и миніатюрныхъ изображеніяхъ онъ является еще въ видъ музыканта, играющаго на скрипкъ, арфъ или віолъ *), а также и въ видъ пъвца. Животное, болъе всъхъ другихъ подвергавшееся всевозможнымъ насмъшкамъ и за свой видъ, и за поступь, и за голосъ, въ ХШ въкъ играло во Франціи очень видную роль: оно было главнымъ действующимъ лицомъ въ ежегодномъ торжестве, извъстномъ подъ названіемъ "ослинаго праздника". Въ этотъ день оселъ, въ церковномъ облаченіи, приводился въ храмъ, гдъ передъ нимъ служили шутовскую объдню, кадили старыми подошвами, жарили сосиски и пъли особенную кантату, на которую maître Bernard благосклонно отвъчалъ своимъ благозвучнымъ голосомъ. Вмъстъ съ другими подобными же праздниками "невинныхъ" (или "невмъняемыхъ"), "дураковъ" и пр., вмъстъ съ маскарадными процессіями въ честь лисы, ослиный праздникъ былъ однимъ изъ актовъ французской буржуазной сатурналіи, противъ которой церковь находила невозможнымъ, а пожалуй и излишнимъ, бороться энергическими мърами. Духовенство, уступая порывамъ веселаго "галльскаго духа" (ésprit gaulois), терпьло подобныя шутки и умћло съ избыткомъ вознаграждать себя за нихъ дълахъ серьезныхъ.

Изъ другихъ изображеній животныхъ, пародирующихъ

^{*)} Віолой мы называемъ здѣсь средневѣковой музыкальный инструменть, по-французски называемый vielle, а по-нѣмецки dic Leier. У насъ въ Россіи въ XVII в. его называли "рылѣ" или "фіоля". Это нѣчто вродѣ гуслей или бандуры, внутри которой находится валъ съ колками, задѣвающими по струнамъ, натянутымъ надъ верхнею доскою. Музыкантъ одной рукой вертить валъ, а другой перебираетъ по грифу. "Рылѣ" и до сихъ поръ сохранилось въ Малороссіи, гдѣ на немъ играютъ т.-наз. лирники, поющіе на ярмаркахъ преимущественно духовные стихи.

человъческія дъйствія, укажемъ на "прядущую свинью". Въ скульптурныхъ орнаментахъ это изображеніе встръчается уже въ ХПІ стольтіи; его и до сихъ поръ можно еще видъть на вывъскахъ гдъ-нибудь въ захолустьяхъ Франціи, Германіи или Англіи. То же изображеніе повторялось и въ народныхъ картинкахъ.

IV.

Однимъ изъ самыхъ простыхъ и грубыхъ средствъ для возбужденія см'єха съ незапамятных временъ служили и до сихъ поръ служать шутовскія гримасы и позы. Посмотрите на балаганнаго масляничнаго "старика": не говоря ни слова, стоить онъ передъ толпой, и вдругъ неожиданно подмигнеть и высунеть языкъ или, выражаясь по просту, "скорчить рожу" и "выкинеть кольнце": вся толпа, какъ одинъ человъкъ, разражается взрывомъ хохота. Другой паяцъ наклеить себъ носъ въ полъ-аршина и посадить на него верхомъ громадныя очки; достаточно выйти въ такомъ виде на подмостки, чтобы вызвать общую веселость. Въ такихъ случаяхъ толпа довольствуется очень малымъ. Въ средніе вѣка, когда и все общество, въ совокупности, ничъмъ не отличалось, по своимъ эстетическимъ понятіямъ, отъ нынѣшней простонародной толпы, гримасы и шутовскія позы всёми одинаково принимались и всемъ одинаково правились, тогда какъ другія, болъе утонченныя шутки требовали, сравнительно, высшаго умственнаго развитія. Поэтому среди украшеній храмовъ и другихъ зданій того времени почетное місто занимають такъ-наз. гротески, или фигуры, чудовищныя и безобразныя, вызывающія сміхъ или отвращеніе именно своею непропорціональностью, -- "рожи" и "коленца". Подобныя фигуры мы встрвчаемъ и въ классической древности: но тамъ онъ служили только для нагляднаго представленія комическихъ типовъ, созданныхъ литературой; античная комическая маска, напримъръ, смъшна не

;

столько сама по себъ, сколько потому, что она олицетворяеть изв'єстный персонажь. Въ средніе в'яка, напротивъ, намъреніе художника-орнаментиста не шло далье формы: гротески, какъ и гримасы площаднаго шута, вполнъ удовлетворяли зрителя однимъ своимъ внъшнимъ видомъ. Если имъ иногда и давалось какое-нибудь толкованіе, то это толкованіе было грубо-сатирическое и легко угадывалось всякимъ при первомъ же взглядъ на фигуру, такъ что ни въ какихъ намекахъ и иносказаніяхъ не было и надобности; достаточно, напр., увидеть раздувшагося до невозможной степени монаха, чтобы тотчасъ же понять, куда метить художникь. Лица съ огромными ртами, носами, ушами, съ высунутыми длинными языками и пр., фигуры въ самыхъ причудливыхъ и невозможныхъ въ дъйствительности позахъ кишмя кишать въ средневъковой орнаментикъ и поражаютъ своимъ разнообразіемъ, благодаря которому систематическое описаніе ихъ делается рѣшительно невозможнымъ. Наряду съ ними стоятъ чудовища, части тъла которыхъ заимствованы у различныхъ животныхъ и у человъка (напр., человъческая голова на птичьемъ туловищъ съ лошадиными ногами и т. п.). Фантастичность и разнообразіе подобныхъ фигуръ также превосходять всякое описаніе; иногда он' просто отвратительны, иногда же въ нихъ ясно сказывается стремленіе художника къ шуткъ и комическимъ сочетаніямъ.

Въ числѣ этихъ чудовищныхъ фигуръ есть одна, которая получила въ средніе вѣка особенное развитіе и распространеніе, какъ наглядное олицетвореніе очень популярнаго символа. Это фигура дьявола.

Изъ всёхъ символическихъ идей едва ли какая-нибудь имѣетъ столь сильное вліяніе на умы, какъ идея дьявола — этой антитезы божества. Недаромъ дуализмъ представляетъ одну изъ наиболѣе живучихъ и распространенныхъ религіозныхъ концепцій. Противоположность свѣта и тьмы — въ мірѣ физическомъ, добра и зла — въ мірѣ нравственномъ издавна поражала воображеніе и побуждала его создавать образы двухъ, взаимно другъ друга дополняющихъ и въ то же время одна другую отрицающихъ, категорій. Исторія дьявола (принимая это названіе въ общемъ, родовомъ его смыслѣ) представляеть, безспорно, величайшій интересь и занимаеть очень видное місто въ исторіи развитія человіческой мысли; на изображеніе этого злого духа поэты и художники потратили огромный запась творческой фантавіи. Въ католическое міровоззрѣніе дьяволъ перешелъ съ аттрибутами отчасти ветхозавътно-апокрифическими, отчасти восточными, какъ исконный врагь рода человъческаго, въчный искуситель, отецъ лжи и всяхъ пороковъ; увлекая людей страстями, онъ становится ихъ властелиномъ и безпощаднымъ палачемъ; онъ царитъ въ гееннъ, уготованной гръшникамъ, гдв слышится въчный плачь и скрежеть зубовъ. Его изображали обросшимъ шерстью, съ отвратительнымъ лицомъ, рогами, хвостомъ, когтями и т. д.; всѣ животныя считавшіяся почему-либо лукавыми и нечистыми - змізя, лиса, собака, кошка, свинья, обезьяна, козель, — давали ему свою форму и свои аттрибуты, и народъ боялся встръчи съ этими животными, видя въ нихъ воплощеніе духа тьмы. Но уже въ XIII стольтіи дьяволъ начинаетъ измѣнять свой характеръ: онъ становится не столько ужаснымъ, сколько лукавымъ, и его физіономія, вмѣсто прежняго свирѣпаго или дикаго выраженія, пріобрѣтаетъ оттънокъ все болье и болье ироническій, даже комически-карикатурный. Въ легендахъ и фабльо этого времени дьяволы являются въ роли германскихъ эльфовъ, лешихъ и домовыхъ, которые живуть въ лесахъ, на поляхъ, въ водъ, въ домахъ, и любятъ шутить надъ людьми злыя шутки. Въ классической миоологіи существами того же разряда были фавны и сатиры. Вмёсто того, чтобъ объявить эти существа вымышленными и небывалыми, средневъковое духовенство стало поучать, что всъ они — созданія дьявола, и такимъ образомъ, признавъ ихъ существованіе, значительно расширило эту область,

не могло не повліять и на ея характеръ. Древній, грандіозно - ужасный дьяволъ мало-по-малу опошлился и обратился въ простого чорта, который, забывая о своей основной роли, очень часто не прочь "выкинуть кол'внце", и нер'вдко самъ попадается на зубы какому нибудь смертному док'в, который его надуваетъ, колотитъ палкой или заставляетъ принимать разныя комическія положенія.

Жилище дьявола-адъ, наполненный грешными душами, которыхъ онъ постоянно мучить и которыхъ всеми средствами старается набрать какъ можно больше. Изъ разнообразныхъ сценъ, гд в обыкновенно участвуетъ этотъ врагь рода человъческого, едва ли не самою характерною является сцена "взвъшиванія душъ", имъющая очень часто комическій видъ. Эта сцена, изображенная на многихъ христіанскихъ памятникахъ, перешла въ Европу изъ древняго Египта, гдф она составляла непремфиную часть въ изображеніяхъ "страшнаго суда". Въ средніе въка взвъшивание душъ представлялось въ видъ торжественнаго акта, который совершается въ присутствіи ангеловъ и демоновъ. Всякая душа, праведная или гръшная, взвъшивается на особыхъ въсахъ, которые держитъ выходящая изъ облаковъ рука (на нашихъ изображеніяхъ "страшнаго суда", во всемъ почти сходныхъ съ западными, эти въсы называются "мъриломъ праведнымъ"). Ангелы являются здісь въ роли защитниковъ, дьяволы — въ роли обвинителей взвъшиваемыхъ душъ; "отецъ лжи" неръдко плутуетъ, какъ лавочникъ, обвѣшивающій покупателя, но иногда и по праву получаеть свою добычу, и съ хохотомъ, подпрыгиваньями и гримасами, тащить цёлыя охапки папъ, императоровъ, королей, монаховъ, рыцарей, судей и т. д. въ огромную, широко раскрытую, чудовищную пасть, изображающую "челюсти ада". Съ приближениемъ къ эпохъ Возрожденія, дьяволь все болье и болье утрачиваеть этоть ужасный видъ и характеръ и обращается въ простого чорта, полу-обезьяну, полулису, съ которымъ народъ привыкаеть обходиться уже за панибрата, заставляя его про-

дълывать разныя смъхотворныя штуки. Въ то же время народная фантазія тесно связываеть фигуру дьявола съ фигурой женщины. Древній змій, искусившій Еву и сдізлавшій первую женщину виновницей грѣхопаденія всего человъческаго рода, возрождается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, причемъ женщина очень часто является его союзницей или въ силу своихъ спеціальныхъ познаній (в'єдьмы) или благодаря общимъ свойствамъ своей природы. Этотъ сюжетъ трактуется во множествъ литературныхъ произведеній — фабльо, новелль, шуточныхъ разсказовъ и мизантропическихъ разсужденій о женской злобъ и хитрости; средневъковая скульптура и живопись дають громадное количество относящихся сюда изображеній, иногда чрезвычайно комического характера. Изъ множества примъровъ выбираемъ одинъ, довольно часто попадающійся въ миніатюрахъ и упоминаемый также у Раблэискушение св. Мартина. Благочестивый составитель сборника, извъстнаго подъ названіемъ "Золотой легенды", Яковъ де-Ворагине, разсказываетъ, что однажды, въ то время какъ св. Мартинъ служилъ объдню, двъ кумушки, сидя въ церкви, безъ устали мололи языками. Дьяволъ принялся записывать этотъ разговоръ, съ цёлью разсмёшить святого. Исписавъ всю свою хартію и не находя уже на ней свободнаго мъста для записыванія все еще продолжавшейся бесеры, чорть началь зубами вытягивать пергаменть; но последній разорвался, и бедный стенографъ сильно ударился головой о церковный столбъ. Этотъ разсказъ и соотвътствующія ему комическія изображенія были очень распространены въ среднев вковой Европъ и, какъ увидимъ впослъдствіи, повторились, въ нъсколько измъненной формъ, и у насъ.

Среднев вковой чорть, однако, не сразу освоился съ этой шутовской ролью; сначала онъ очень не любиль, когда его изображали въ отвратительномъ или смешномъ видь, и мстиль за такія изображенія. Такъ, одного мо-

наха, который особенно хвастался своимъ искусствомъ рисовать отвратительныхъ чертей, последние несколько разъ предостерегали, и, наконецъ, видя, что онъ ихъ не слушается, однажды столкнули въ реку, черезъ которую онъ переходилъ, пробираясь, безъ настоятельскаго благословенія, вечеркомъ, къ одной гостепріимной девице. Бедный художникъ, конечно, погибъ бы, если бы, не смотря на свое знакомство съ девицами, не былъ благочестивымъ монахомъ и не читалъ сто разъ въ день Ave Maria. Матерь Божія смилостивилась надъ нимъ и, отогнавъ чертей, помогла ему выплыть на берегъ. Мораль этого разсказа—несомненно, монастырскаго—очевидна.

Во всёхъ средневековыхъ изображеніяхъ дьявола преобладаетъ элементъ комическій, и мы нигдѣ не встрѣчаемъ типа, который можно было бы назвать истинно-сатанинскимъ. Черти смѣшны, но вовсе не страшны; видъ ихъ вызываетъ только улыбку, но не ужасъ. Есть, впрочемъ, одно исключеніе, гдъ средневъковому художнику удалось представить дъйствительно злого духа въ видъ серьезной, а не шутовской фигуры. На балюстрадъ внышней галлереи собора Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) находится статуя, величиною въ обыкновенный человьческій рость, изображающая дьявола, который какъ будто любуется грышнымъ городомъ. Эта статуя можетъ быть названа превосходнымъ олицетвореніемъ зла, безъ всякой посторонней примъси. Это настоящій сатана, на лицъ котораго отпечатлълись всъ смертные гръхи. Но эта фигура, повторяемъ, въ своемъ родъ единственная.

Главный герой народной фантазіи въ XIV стольтіи, безконечно разнообразный въ своихъ проявленіяхъ, дьяволь и впослъдствіи продолжалъ пользоваться громадною популярностью, которая пережила средніе въка. Въ XVII стольтіи онъ является героемъ знаменитой поэмы Мильтона; позже, среди разрушенія всъхъ старинныхъ върованій, переставъ быть предметомъ религіознаго ужаса, онъ обращается въ любимое дъйствующее лицо романа,

пародіи и сатиры. Ускользнувъ отъ Лесажа, онъ возрождается въ гетевскомъ Мефистофель; Кардуччи привътствуеть его восторженнымъ гимномъ, какъ "мстящую силу разума"... Наконецъ, подъ старость, уступая обычаю всъхъ знаменитыхъ особъ, онъ пишетъ, въ назиданіе потомству, свои мемуары въ замѣчательныхъ трудахъ Роскоффа (Geschichte des Teufels, Lpz. 1869, 2 Bde) и Помпейо Хепера (Gener. La Mort et le Diable, P. 1880).

Съ похожденіями чорта въ лубочныхъ картинкахъ мы познакомимся впослъдствіи.

V.

Главнымъ действующимъ лицомъ последняго акта среднев вковой трилогіи является—Смерть. Въ XV в в кв она царить и въ поэзіи, и въ искусствъ, отражающихъ въ себъ разложение церковно-феодальнаго режима. Старый міръ, по выраженію Гете, "расползается, какъ гнилая рыба"; всв его основы, казавшіяся прежде ввчными и несокрушимыми, -- и неограниченный, всепроникающій авторитеть католической церкви, и рыцарство, и схоластическая наука, — падають въ борьбъ съ новыми началами — приближается въкъ реформаціи. Стольтняя война между Англіей и Франціей, ужасная чума 1346 года, ожиданіе кончины міра въ 1492 г. (7000 г. отъ сотворенія міра), —все это постоянно возбуждало въ умахъ идею о бренности всего земного, о гибели и смерти. Еще въ XIII въкъ начала распространяться знаменитая легенда о "трехъ живыхъ и трехъ мертвыхъ". Благочестивый отшельникъ, св. Макарій, встретилъ однажды такт 10ворила она, - троихъ молодыхъ королей, которые весело гарцовали на красивыхъ коняхъ, съ пъснями и хохотомъ. Святой остановиль ихъ и указаль на три гроба, въ которыхъ лежали мертвые цари. Мораль этого разсказа понятна. Пропов'єдники, стихотворцы, художники быстро овладели этой темой и дали на нее множество варіацій.

Особенно излюбили это Memento mori доминиканцы, находившіе въ немъ неисчерпаемый источникъ для поученія благочестивой толпы; они повсюду распространяли эту легенду въ проповъдяхъ, драматическихъ представленіяхъ и картинахъ. Въ конць XIV или въ началь XV стольтія художникъ, стремясь обобщить эту идею въ наглядной формь, изобразиль эмблему смерти—скелеть въ непосредственномъ общени съ представителями различныхъ классовъ общества. Картины этого рода, на которыхъ изображалось иногда очень много лицъ, увлекаемыхъ Смертью въ бъшеной пляскъ туда, гдъ нътъ страданій и заботь, получили чрезвычайно широкое распространеніе по всей Европ'в и изв'єстны подъ названіемъ "Пляски Смерти", — Danse de la Mort, или Danse macabre. Послѣднее слово нѣкоторыми изслѣдователями связывается съ именемъ св. Макарія, легенда о которомъ дала толчекъ развитію этого рода представленій; в вриве, однако, производство danse macabre отъ Chorea Macchaваеогит, такъ какъ въ разговорахъ Смерти съ разными лицами принимали, между прочимъ, участіе семь братьевъ Маккавеевъ.

Духъ эпохи, въ продолженіе которой идея о смерти постоянно была у всёхъ передъ глазами, когда смотрёли на жизнь какъ на мимолетный сонъ, чрезвычайно благопріятствовалъ распространенію этой философски-иронической картины; она является украшеніемъ не однихъ только кладбищъ и церквей, но и парадныхъ залъ въ королевскихъ и рыцарскихъ дворцахъ и замкахъ, и книжныхъ миніатюръ. Она сдёлалась проповёдью въ лицахъ, предостереженіемъ, обращеннымъ къ силѣ, къ могуществу, къ знанію, къ красотѣ, —ко всему, чему свѣтъ привыкъ поклоняться и льстить. Папа, король, полководецъ, простой солдатъ, врачъ, астрологъ, герцогиня, старуха, молодая повобрачная, монахъ, пастухъ, словомъ, —всѣ, всѣ безъ исключенія, богатые и бѣдные, сильные и слабые, благородные и простые, должны принять участіе въ этомъ

хороводъ. Смерть провозглашаетъ полное равенство. "Все погибнеть ", — говорить она: — "одъвайтесь възолото, живите въ роскошныхъ дворцахъ, пейте изысканныя вина, -- все равно, вы умрете точно такъ же, какъ и последній нищій, покрытый рубищемъ, который дрожить отъ холода въ нетопленной лачужкъ и не знаетъ, будеть ли онъ завтра ість. Вы всі равны. Ты, земледілець, вісишь на моихъ въсахъ столько же, сколько и баронъ, берущій у тебя десятину; ты, завоеватель, уничтожающій цёлыя арміи, самъ будешь уничтоженъ мною; тебъ, суетный царедворецъ, Смерть не станетъ льстить. Ты, богачъ, отказывающій въ подаяніи нищему, самъ не получишь подаянія, даже въ видь слезъ твоихъ родственниковъ. Дорогія ткани, покрывающія твое ложе, будуть для тебя гробовымъ покровомъ. Ты, красавица, продаешь свое тело за сотни и тысячи; Смерть получить его даромъ... «

Карикатуристы всъхъ временъ прекрасно поняли цъль этой мрачной сатиры и воспользовались ею. Развитіе этой темы чрезвычайно богато всевозможными подробіюстями; насмъшливая гримаса обнаженнаго черена, шутовская поза скелета, который тащить за собой свою жертву, это соединение въ одномъ и томъ же образѣ возвышеннаго и пошлаго, мистически-ужаснаго и смешного-вдохновляло многихъ замъчательныхъ художниковъ. Изъ множества примъровъ укажемъ на одинъ, наиболъ популярный. Это—53 гравюры Ганса Гольбейна, изданныя въ первый разъ въ 1538 г. въ Ліонъ. У него Смерть, приближаясь къ своей жертвъ, употребляетъ всякій разъ особенную уловку, смотря по общественному положенію жергвы. Съ рыцарями она сражается, сидя верхомъ на лошади, причемъ вмъсто меча ей служить человъческая кость; съ молодыми дъвицами она любезничаетъ; птицелову ставить съти; врачу показываеть новое лъкарство и т. д. Остановимся подробнее на некоторыхъ, особенно замвчательныхъ, рисункахъ Гольбейна.

Король сидить за столомъ, уставленнымъ всевозмож-

ными яствами. Изъ толпы, подобострастно его окружающей, выдъляется шуть; онъ наливаеть своему повелителю чашу вина,—и изъ-подъ дурацкаго колпака выглядываеть глобно осклабившаяся челюсть Смерти...

Монахъ, ожиръвшій отъ слишкомъ продояжительнаго поста, льниво перелистываетъ свой молитвенникъ. Изсохшій скелеть, въ епископской митръ, съ хохотомъ закипувъ голову назадъ, хватаеть его за рясу и въ припрыжку тащить за собою...

Ростовщикъ весело считаетъ свои проценты, забывъ о неизбъжномъ кредиторъ, который уже пришелъ и смъло протянулъ руку къ его туго-набитому кошельку...

Молодая невъста кокетливо наряжается цередъ зеркаломъ, собираясь идти къ вънцу. "Надо торопиться", говоритъ ей служанка-Смерть, надъвая на нее жемчужное ожерелье своими костлявыми руками...

Проповѣдникъ всходитъ на каоедру; онъ поучаетъ своихъ слушателей, говоря о краткости человѣческой жизни, и въ пылу импровизаціи не замѣчаетъ, какъ подкрадывается къ нему скелетъ въ образѣ церковнаго служки. "Теперь моя очередь, говоритъ Смерть: ты разсуждалъ пространно, я скажу лишь пару словъ. Ты говорилъ о краткости жизни,—я беру тебя въ примѣръ.."

Пахарь, съ приближеніемъ солнца къ западу, спѣшить окончить свою полосу. Неожиданный помощникъ—Смерть погоняеть его лошадей...

Могучій богатырь побиль цівлое полчище непріятелей и уже занесь мечь, чтобы разрубить черепь дерзкому воину, выступившему противь него съ костью; но мечь выпадаеть у него изъ обезсилівшей руки, и онъ самь падаеть къ ногамъ своей побідительницы—Смерти. Эта послідняя картинка иміветь много общаго съ русскими лицевыми изображеніями— "Преніе живота со смертью" и "Аника-воинъ". Разпица только въ одномъ—и очень характерная. "Сильный и храбрый Аника-воинъ",—говорится въ текстів нашей лубочной картинки,— "іздиль по

чисту полю, и пріиде къ нему Смерть, и рече ему: "О человъче, азъ къ тебъ пришла, погубити тебя". И рече Аника-воинъ: "Что ты за баба и что за пьяница? И азъ тебя не боюся, ни кривыя твоея косы и оружія твоего не устрашуся. Азъ есмь воинъ; взжу по чисту полю; много побиваль царей и королей и сильныхъ богатырей ". - "Да азъ къ тебъ пришла, погубити тебя". Потомъ Аника-воинъ въ силъ своей изнеможе и рече ей: "О Смерте, мати моя! дай мнь сроку... И рече Смерть: "Нътъ тебъ сроку ни на полчаса", и подкоси его кривою косою... "Смерть изображена въ видъ скелета и съ высунутымъ языкомъ; въ рукахъ у нея коса, а за плечами -кузовъ съ разнымъ оружіемъ (топоры, копья, вилы и пр.). Это же сказаніе объ Аникъ послужило сюжетомъ для интермедіи, которая разыгрывалась фабричными и вся соль которой заключается въ задорной похвальб воина передъ Смертью и въ споръ между ними, обильно крѣпкими приправленномъ оборотами простонародной рвчи.

Таково траги-комическое изображеніе "Пляски Смерти", торжества этой все-нивелирующей силы, издѣвающейся надъ человѣчествомъ. Съ особенно дикою радостью пабрасывается она на тѣхъ, кто добываетъ себѣ наслажденія цѣною страданій ближняго. Ихъ застаетъ она въ самомъ разгарѣ оргіи и злобно хохочетъ надъ ужасомъ, овладѣвающимъ ими при ея нежданномъ появленіи. За то, когда ей приходится имѣть дѣло съ жалкимъ нищимъ, съ несчастной старухой, изнемогающей подъ непосильною ношей, съ ребенкомъ, который, лежа въ люлысѣ, беззаботно тянется къ ней своими рученками,—она ласково обнимаетъ ихъ, нашептывая утѣшительныя слова: "Смерть лучше жизни!"

Какъ фигура комическая, Смерть давала художнику гораздо меньше матеріала, чѣмъ ея предшественники въ этой области—Лиса и Дъяволъ; но и этимъ скуднымъ матеріаломъ сатира сумѣла воспользоваться очень искусно.

Художники умъли придавать изсохшему скелету всевозможныя позы, его безжизненному лицу — всевозможныя выраженія, драпировали его въ самые разнообразные костюмы. Съ теченіемъ времени основной характеръ -Пляски Смерти" измёнился: она утратила свой первоначальный мистико-религіозный смысль, перестала быть предметомъ нравоученія и обратилась въ произведеніе широкой артистической фантазіи. Сатира все болбе и боле вступала въ свои права надъ нею. Въ XVI столетіи протестанты пользовались ею для карикатуръ на папу и на римское духовенство; такова, напр., знаменитая "Пляска Смерти", изображенная Николаемъ Мануэлемъ въ Бернъ, — нъчто въ родъ сатирической галлереи всъхъ знаменитостей того времени, гдв наряду съ Францискомъ I и Карломъ V фигурирують папа Клименть VII и продавецъ индульгенцій Самсонъ. Громадный успъхъ рисунковъ Гольбейна породиль особаго рода спекуляцію на изображенія Смерти; миніатюры рукописей того времени кишать черепами, скелетами, человъческими костями и прочими принадлежностями тлѣнія; первопечатныя книги не устунають имъ въ этой роскоши *). Затъмъ, окончивъ свою назидательную роль и пройдя черезъ карикатуру, Смерть обратилась въ карнавальнаго шута: итальянская пантомима поставила ее на одну доску съ Полишинелемъ, и последнею ея метаморфозой быль "Арлекинъ-скелеть". Sic transit!

VI.

Очень важнымъ дъйствующимъ лицомъ средневъкового карнавала былъ шутъ. Прямой потомокъ римскихъ мимовъ, веселый и остроумный "дуракъ" пользуется въ средневъковой Европъ чрезвычайною популярностью; его

^{*)} Cm. Seelmann, Die Totentänze det Mittelalters, Norden 1893; Wessely, Die Gestalten des Todes etc. in der darstellenden Kunst, Leipz. 1876.

шутки и прибаутки, его комическія приключенія служать постояннымь источникомь общаго удовольствія; онь, какъ "нищій духомь", блаженный "божій человѣкъ", не стѣсняется въ выраженіяхъ, и ему все сходить съ рукъ, даже и при дворѣ, гдѣ онъ, забавляя короля, издѣвается надъ вельможами. "Съ дурака взятки гладки, ему законъ не писанъ, въ немъ и царь не волёнъ, съ него и Богъ не взыщетъ",—такъ отзывается народъ о своемъ любимцѣ, который ловко умѣетъ пользоваться привилегіей глупости для того, чтобы высказывать сильчымъ міра, подъ видомъ шутки, самыя горькія истины.

Когда именно "дуракъ" сдълался придворной особой — достовърно неизвъстно. Полагають, что обычай держать при дворъ особыхъ шутовъ появился первоначально въ Германіи, въ XIII стольтіи, и оттуда перешелъ во Францію и въ другія страны Европы. Въ XIV векв эта должность установилась уже окончательно, со всёми присвоенными ей правами и преимуществами. Къ этому же времени относится, в роятно, и происхождение традиціоннаго шутовского костюма изъ разноцветных в лоскутковъ, увъшаннаго бубенчиками; непремънною принадлежностью этого костюма были капюшонъ съ ослиными ушами и погремушка въ видъ куклы, изображавшей шута въ миніатюрь (marotte; часто это была просто палка съ шутовской головой и бубенчиками). Изображенія шутовъ въ такомъ костюмъ начинаютъ попадаться въ миніатюрахъ рукописей и на скульптурныхъ орнаментахъ съ половины XV въка, когда шутъ уже окончательно вошелъ въ силу.

Но и гораздо раньше этого времени шуты уже пользовались большею популярностью; "Глупость - матушка" (Mère Folie) была въ народѣ предметомъ, можно сказать, особаго культа, который нерѣдко являлся пародіей на церковныя церемоніи. По примѣру и въ посмѣяніе монашескихъ орденовъ, веселые люди составляли свои шутовскія компаніи, избирая себѣ собственныхъ епископовъ,

кардиналовъ, папъ-или королей. У нихъ были свои особые праздники, которые-какъ это ни странно-торжественно справлялись въ церквахъ и даже-по крайней мъръ, въ первое время, - подъ ссобымъ покровительствомъ католического духовенства: праздникъ Дураковъ, праздникъ Ословъ, праздникъ Невмфняемыхъ (такъ, кажется намъ, слъдуетъ перевести въ данномъ случаъ названіе innocents, примѣнявшееся къ шутамъ) и т. п. Во всѣхъ значительныхъ городахъ Европы существовали шутовскія корпораціи съ собственными уставами и обрядами. Во время упомянутыхъ праздниковъ въ перквахъ пѣлись пародіи на богослужебные гимны, читались пародіи на Евангеліе и нер'вдко разыгрывались небольшія драматическія сцены, — разумбется, сатирическаго характера, въ соотвътствующихъ костюмахъ. Эти комическія представленія, съ куплетами, полными намековъ на разныя современныя лица (иногда очень высоко поставленныя) и на событія, были для среднев вковой толпы тымь же, что для насъ карикатура -- общая или личная. Особенно доставалось при этомъ духовному сословію; но бывали случаи, когда и самъ король не избъгалъ жестокой, неръдко пинической. насмёшки.

Эти церковно-шутовскіе праздники и обряды были, по мнѣнію большинства изслѣдователей, отголоскомъ древне-римскихъ сатурналій, съ которыми они, дѣйствительно, совершенно однородны по характеру; они были особенно распространены во Франціи и Италіи, начиная чуть ли не съ VI или VII вѣка. Толедскій соборъ 633 г. запрещаетъ такъ-называемый праздникъ иподіаконовъ, — sous diacres — названіе, изъ котораго французы дѣлали впослѣдствіи soûls-diacres (пьяныхъ дьяконовъ). Первыя упоминанія о праздникѣ Ословъ во Франціи относятся къ XI вѣку; пародія на церковную службу, разыгрывавшаяся въ этотъ день, сохранилась въ пѣсколькихъ редакціяхъ; она помѣщалась въ церковныхъ миссалахъ и требникахъ, и духовенство, повидимому, писколько этимъ

не скандализировалось. О праздникъ Дураковъ мы имъемъ подробныя свёдёнія отъ XI — XVI вёка. Этоть праздникъ, особенно богатый всевозможными шутовскими деремоніями, справлялся на святкахъ и начинался избраніемъ и посвященіемъ "дурацкаго папы" въ соборъ. Новопоставленный папа, облачившись въ соответствующія одежды, выходиль, въ сопровождении "дурацкихъ" кардиналовъ, епископовъ, аббатовъ, монаховъ, монахинь и клириковъ, къ народу и давалъ ему торжественное благословеніе, держа въ рукахъ вмъсто посоха погремушку или палку, на которую привязывался пузырь съ сухимъ горохомъ. Затемъ, возвращаясь вместе съ народомъ въ церковь, "папа" начиналъ служить объдню, во время которой дьяконы тли колбасу, играли въ карты или въ кости, кадили старыми подошвами и т. п. По окончаніи службы, народъ, собравшійся въ церкви, предавался всевозможнымъ безчинствамъ, — кто во что гораздъ, — всв плясали, пъли, кувыркались, иные даже раздъвались до-гола и въ такомъ видъ разгуливали по улицамъ... Этотъ праздникъ былъ окончательно запрещенъ только въ 1552 году, постановленіемъ дижонскаго парламента.

Въ XIV стольтіи во Франціи образовались свытскія компаніи, повидимому, не имѣвшія никакой связи съ духовенствомъ или церковью, но отличавшіяся тымъ же шутовскимъ характеромъ, какъ и ты, о которыхъ мы только-что упомянули. Старыйшею изъ пихъ была компанія "Базошскихъ клерковъ" въ Парижы, предсыдатель которой былъ чымъ-то вроды шутовского короля. Другая, подобная же, корпорація, существовавшая также въ Парижы, носила названіе "Общества Беззаботныхъ Ребятъ" (Enfants Sans-Soucy) и состояла, главнымъ образомъ, изъ молодыхъ студентовъ: они выбирали себы предсыдателя или старшину, которому давался титулъ "князя дураковъ" (le prince des sots). Эти двы компаніи занимались сочиненіемъ и разыгрываніемъ сатирическихъ пьесъ—фарсовъ и "дурачествъ" (soties).

Вещественными памятниками существованія этихъ корпорацій остались особыя монеты или жетоны, выбитые въ честь высшихъ сановниковъ шутовской іерархіи. Такихъ жетоновъ во Франціи сохранилось довольно много. Райть описываеть два изъ нихъ: на первомъ, съ одной стороны представленъ "дурацкій папа", въ тіарв и съ двойнымъ крестомъ; рядомъ съ нимъ — шутъ съ погремушкой; нъсколько поодаль — два человъка въ докторскихъ беретахъ. Надпись гласитъ: "Moneta nova Adriani stultorum pape". На оборотъ — "Глупость-матушка" съ своей погремушкой, передъ которой преклоняется кардиналъ. Надписью служитъ изръченіе, бывшее постояннымъ девизомъ шутовства: "Stultorum inf nitus est numerus" *). На другомъ жетонъ изображенъ кольнопреклоненный и благословляющій толпу епископъ; вмёсто настырскаго посоха у него въ рукф-шутовская погремушка.

Замѣчательно также изображеніе шута въ борьбѣ со Смертью. На старинныхъ картинахъ, представляющихъ "пляску Смерти", послѣдняя увлекаетъ за собою шута, наравнѣ съ прочими; иногда и сама она является въ шутовскомъ нарядѣ. Но на позднѣйшихъ гравюрахъ шутъ является уже побѣдителемъ, и весело колотитъ но черепу Смерти своею вѣчной погремушкой: Глупость безсмертна и царству ея не будетъ конца.

Въ исходъ XV стольтія это новое царство окончательно смѣнило собою мрачное господство Смерти. Наканунъ реформаціи, ноэты начинаютъ воспъвать, а художники—изображать человъческую глупость во всевозможныхъ ея проявленіяхъ.

Первымъ поэтомъ, воспѣвшимъ господство Глупости, былъ страсбургскій ученый Себастіанъ Брантъ. Въ 1494 г. онъ напечаталъ книгу, которая вскорѣ пріобрѣла громадную популярность и въ Германіи, и за границей, и была

^{*)} Ср. наши пословицы: "Сколько дней у Бога впереди, столько и дураковъ"; "На Руси, слава Богу, дураковъ непочатой уголъ", и т. п.

переведена на очень многіе языки, — "Корабль Дураковъ" (Narrenschiff). Книга эта состоить изъ 115-ти карикатурныхъ изображеній, изъ которыхъ каждое сопровождается текстомъ въ стихахъ. Корабль дураковъ, отправляющійся въ дурацкую землю Наррагонію, не можеть, не смотря на свою обширность, вмъстить всъхъ пассажировъ: число дураковъ безконечно, и авторъ, въ 115-ти главахъ своей поэмы, указываеть только главные виды этого обширнаго и разнообразнаго сорта людей. Юморъ XV стольтія не отличается легкостью, да Бранть и не тутить, не смотря на сатирическую основную идею своего произведенія. Порокъ, по его мивнію, заслуживаеть наказанія вовсе не потому, что онъ "оскорбителень для образа и подобія Божія", а потому, что онъ противоръчить разуму; порочные люди-глупы, и порокъ-какъ всякое проявленіе челов'вческой глупости — смітонь. Такое широкое пониманіе глупости даеть возможность изображать въ дурацкомъ видъ всевозможные недостатки и пороки, начиная съ пьянства и кончая гордостью и честолюбіемъ. Скупые богачи, развратники, злыя женщины, придворные льстецы, дворяне, гордящіеся своимъ происхожденіемъ, влюбленные, ханжи, недостойные попы и монахи, обманщики астрологи и т. н. персонажи проходять, одинь за другимь, въ обширной галлерев рисунковъ и стихотворных карактеристикъ Бранта. Чисто-народный языкъ, изобилующій пословидами и поговорками, грубоватый, но меткій и образный, немало содействоваль успѣху и распространенію книги, имѣвшей множество изданій, переділокъ и подражаній. Знаменитый страсбургскій пропов'ядникъ, современникъ Бранта, Гейлеръ изъ Кейзерсберга, написалъ (по-латыни) болъе сотпи пропов'вдей на темы "Корабля дураковъ" (Stultifera navis). Съ особенною энергіей возставаль онъ противъ порчи духовенства и монашескихъ орденовъ, предсказывая, съ дерковной канедры, близкое наступление реформации. Его пропов'єди, вм'єсть съ вдохновлявшею его книгой Бранта,

сослужили немалую службу виновникамъ начавшейся вскоръ послъ того великой церковной борьбы.

Двадцать-пять льть спустя, другой ученый, Эразмъ Роттердамскій, воспользовался идеей Бранта и переработалъ се за-ново. Бранть, хотя и упрочившій за собой, благодаря своей книгь, литературную репутацію, по профессіи быль, собственно, юристь и политикь; Эразмъ, напротивъ. всю свою жизнь посвятиль литературь. Ученый гуманисть, всецьло проникнутый лучшими идеями реформаціонной эпохи, филологъ и критикъ, Эразмъ много путешествовалъ, постиль Италію и Англію и находился въ дружескихъ отношеніяхъ со многими выдающимися людьми своего времени, между прочимъ и съ знаменитымъ авторомъ "Утопіи", Томасомъ Моромъ, которому онъ и посвятиль свою "Похвалу Глупости" (Encomium Moriae). этимъ заглавіемъ явилась небольшая книжка на латинскомъ языкъ, заключавшая въ себъ сатирическое изображеніе всего современнаго автору общества. "Матушка-Глупость и является здёсь собственною персоной, и съ каоедры произносить сама себъ похвальное слово. Она говорить о своемъ знатномъ происхождении, указываетъ на членовъ своей семьи — софистовъ, риторовъ, самозванныхъ ученыхъ и мудредовъ, описываетъ свое рождение и воспитаніе. Вліяніе ея на міръ и ея авторитеть — безпредъльны. Весь міръ управляется ею, и ей одной обязанъ родъ человъческій встмъ своимъ благополучіемъ; потому-то самыми счастливыми періодами жизни человъческой бывають дётство, когда разумъ еще не появлялся, и старость, когда онъ уже исчезъ. Следовательно, еслибъ люди захотъли оставаться всегда върными Глупости, то вся ихъ жизнь была бы въчною юностью. Разумъ приводить только къ бъдствіямъ (что доказывается гибелью Сократа и другими подобными примърами), а потому истинная мудрость заключается въ томъ, чтобы быть какъ можно глупъе. Ръзкими сатирическими штрихами очерчиваетъ Эразмъ надутыхъ и невъжественныхъ "ученыхъ", алхимиковъ, игроковъ, охотниковъ, духовидцевъ, торговцевъ индульгенціями, ханжей, школьныхъ учителей, поэтовъ, ораторовъ, писателей, юристовъ и философовъ, наконецъ-и въ особенности-теологовъ съ ихъ догматическими странностями. "Глупость" безпощадно бичуеть монаховь, этихъ смертельныхъ враговъ гуманизма, представителей сословія, которому Эразмъ быль обязань всеми бедствіями своей жизни. Она изображаеть ихъ невъжество и распутство, пародируеть ихъ проповёди, выставляеть на показъ всевозможныя ихъ безобразія. Придворные, князья и правители, кардиналы и папы также не избавлены отъ комплиментовъ со стороны восхваляющей себя Глупости. Книга заключается желчными нападками на Сорбонну — этотъ высшій трибуналь среднев вковой схоластики. "Умъ, — говорить Эразмъ, — дълаеть людей робкими; потому-то умные люди и прозябають въ нищеть и въ удалени отъ свъта, который ихъ презираеть, между твмъ какъ глупцы пользуются почетомъ, богатствомъ и властью. Если вы полагаете свое благополучіе въ томъ, чтобы быть въ милости у сильныхъ и вести кампанію съ разволоченными вельможами, — на что вамъ умъ? Въдь они презираютъ его. Если вы стремитесь къ церковнымъ бенефиціямъ и теплымъ мъстечкамъ, то знайте, что осель достигаетъ этой цъли гораздо скоръе мудреца. Подите куда угодно, —къ папамъ, къ правителямъ, къ судьямъ, къ друзьямъ или врагамъ, къ сильнымъ или слабымъ, - всюду, для успѣха, необходимы деньги; а такъ какъ мудрецъ презираетъ ихъ, то всюду двери ему заперты".

"Похвала Глупости" представляеть одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній европейской сатирической литературы по силѣ, яркости красокъ и живости юмора; а такъ какъ проявленія человѣческой глупости во всѣ времена и у всѣхъ народовъ одинаковы, то книга Эразма, вмѣстѣ съ "Кораблемъ" Бранта, благодаря своему вѣчноюному и всегда современному содержанію, сохраняетъ

свою цвну и до нашего времени *). Упомянутый уже нами художникъ Гольбейнъ, желая, какъ самъ онъ говоритъ, "позабавить Эразма", съ которымъ онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ, иллюстрировалъ "Похвалу Глупости" рядомъ сатирическихъ рисунковъ, которые, впрочемъ, не всегда точно соотвътствуютъ тексту.

Господство глупости и ея воспъвание сатирическими поэтами иродолжалось и въ XVI стольтіи, въ эпоху продолжительной и ожесточенной борьбы за освобождение европейскаго общества отъ среднев вкового гнета. Изобр втеніе книгопечатанія им'тло однимь изъ ближайшихъ результатовъ появленіе множества летучихъ листковъ и брошюръ съ лубочными картинками, которые, назначаясь для народа, служили вфрнымъ средствомъ распространенія новыхъ идей. Большая часть этихъ рисунковъ и брошюрь имъють сатирическое содержаніе; надъ составленіемъ ихъ трудились лучшіе умы того времени; ученые богословы, проповъдники, юристы не гнушались этимъ занятіемъ. О карикатурахъ періода реформаціи мы будемъ говорить послъ; теперь же назовемъ лишь два произведенія изв'єстнаго страсбургскаго пропов'єдника Томаса Мурнера, имъющія связь съ обширной эпопеей шутовства и глупости и въ свое время очень распространенныя. Это, во-первыхъ "Дурацкій заговоръ" (Narrenbeschwerung) — сатира, направленная противъ всъхъ классовъ общества, не исключая и духовенства, такъ какъ Мурнеръ издалъ ее еще до объявленія Лютеромъ войны противъ напства (впоследстви Мурнеръ былъ однимъ изъ рьяных противников реформаціи). Эта небольшая книжка особенно замъчательна помъщенными въ ней рисунками. На одномъ изъ нихъ, напр., Глупость изображается въ видь съятеля: она бросаеть въ землю свои дурацкія съмена,

^{*)} Въ пачалъ 70-хъ годовъ былъ напечатанъ русскій переводъ "Похвалы Глупости", но не вышелъ въ свътъ по независъвшимъ отъ издателя обстоятельствамъ.

и дураки быстро и въ изобиліи произрастають на ея нивѣ. Другой рисунокъ представляеть шута, почтительно подносящаго дурацкій колпакъ папѣ, главѣ имперіи и толпѣ вельможъ, которымъ, какъ видно, очень желательно получить этотъ знакъ отличія.

Другое произведеніе Мурнера, изложенное, какъ и первое, стихами, носить названіе "Плутовского цеха" (Schelmenzunft), и также замѣчательно украшающими его картинками. Плутовство разсматривается здѣсь, по примѣру Бранта, какъ одна изъ худшихъ формъ глупости. Сатира Мурнера, повидимому, задѣвала не только публику вообще, но и нѣкоторыхъ частныхъ лицъ, такъ что авторъ получалъ даже предостереженія съ угрозами, что его убьютъ; литературные противники относились къ нему также довольно сурово. Къ тому же онъ имѣлъ несчастіе выступить противъ людей, которые пользовались несравненно большею популярностью и вліяніемъ и, конечно, были гораздо талантливѣе его,—противъ передовыхъ бойцовъ реформаціи—Лютера, Гуттена и друг.

Для полноты обзора шутовскихъ изображеній упомянемъ еще о рисункахъ, представляющихъ, какъ женщины ловятъ въ свои сѣти дураковъ — старыхъ и молодыхъ, знатныхъ и простыхъ. Сцены эти изображались совсѣмъ буквально: женщины разставляютъ сѣти и капканы съ приманками, иногда совершенно нецензурнаго вида, а дураки стремглавъ летятъ и бѣгутъ въ нихъ. Подобные рисунки были очень распространены во всей Европъ.

VII.

Лица, бывшія главными представителями сатиры въ средніе въка—менестрели и жонглеры ("игрецы")—сами нисколько не были ограждены отъ сатирическихъ напа-

докъ. Они принадлежали, обыкновенно, къ низшему классу общества, не имъвшему почти никакихъ правъ, и служили только для потёхи другихъ; не смотря на то, что знатные господа иногда щедро ихъ награждали, жонглеры не пользовались въ обществъ никакимъ уваженіемъ; напротивъ, ихъ, скорве, презирали, какъ бездомныхъ бродягъ, шатающихся гдф день, гдф ночь, и не особенно разборчивыхъ въ пріискиваніи себъ пропитанія. Церковь громила ихъ за безнравственность и грозила имъ отлученіемъ; "порядочные люди" отъ нихъ отворачивались, нисколько, однако же, не считая для себя заворнымъ смотръть наихъ шутовскія представленія и слушать ихъ пъсни и мувыку. Посвящая свои таланты осмъянію другихъ, жонглеры и сами, естественно, должны были сдълаться предметомъ осмѣянія и карикатурнаго изображенія. Подобными изображеніями изобилують среднев вковые памятники. Извъстно, до какой степени заразительно дъйствуеть въ области искусства примъръ: достаточно было одному художнику представить музыканта въ видъ свиньи, осла или собаки и насмѣшить этимъ средневѣковую толпу, жадную до всякой потёхи, — и другіе художники тотчасъ же овладъвали новой идеей и начинали повторять ее въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Музыканты-животныя кишмя-кишать въ среднев вковой орнаментикв, и археологи-символисты совствить напрасно хотять видеть въ этихъ изображеніяхъ нравоучительную цёль, говоря, что здёсь, будто бы, осм'вяно стремленіе иныхъ людей стать выше того состоянія, какое предназначено имъ провидініемъ. Смыслъ шутки ясенъ самъ по себъ, и никакой морали она въ себъ заключать не можетъ.

Въ изображеніяхъ музыкантовъ въ видѣ животныхъ особенно характерна фигура свиньи, играющей на скрипкѣ: она аккомпанируеть поющему по нотамъ поросенку. Другая свинья играеть на свирѣли, кормя своихъ дѣтей: одипъ изъ нихъ, очевидно, увлекшись музыкой, бросилъ

материнскую грудь и спѣшить присоединить свой голосъ къ звукамъ свирѣли. Наиболѣе популярные инструменты—скрипка, віола, волынка, тамбуринъ—очень часто изображаются въ рукахъ комически-безобразныхъ фигуръ людей и животныхъ. Этотъ мотивъ перешелъ впослѣдствіи и къ намъ, и на извѣстной картинѣ "Мыши кота погребаютъ" мы видимъ нѣсколько подобныхъ же изображеній: "Мышка изъ нѣмецкой лавки взяла свирель въ лапки", "Чурилка сурначъ (музыкантъ на сурнѣ) въ сопель играетъ, ладу не знаетъ", "Мышь Оринка играетъ въ волынку", "Крыса... по нотной книгѣ воспѣваетъ" и т. пол.

Менестрели и жонглеры своими сатирическими пѣснями и шутками оказывали значительное вліяніе на народные нравы вообще. Слѣды этого вліянія встрѣчаются почти во всѣхъ памятникахъ средневѣкового быта; оно сказывалось и въ искусствѣ, и когда художнику приходилось украшать рѣзьбою или иллюстрировать поля рукописи, первыя идеи, приходившія ему въ голову, естественно, были отголосками народной поэзіи, жонглерскихъ пѣсенъ и разсказовъ. И народный пѣвецъ, и художникъ вдохновлялись одними и тѣми же сюжетами.

Въ числѣ наиболѣе популярныхъ въ то время сатирическихъ сюжетовъ были сцены изъ домашняго быта. Домашняя жизнь въ ту пору отличалась вообще грубостью и представляла много сторонъ, подлежавшихъ карикатурному изображенію. Сатирическія поэмы и фабльо, народныя сказки, проповѣди лицъ, желавшихъ перемѣны въ положеніи дѣлъ, миніатюры въ рукописяхъ, скульптурныя украшенія на колоннахъ и стѣнахъ пеизмѣнно представляютъ женскую часть семьи въ полномъ подчиненіи у католическаго духовенства, злоупотребляющаго своимъ вліяніемъ въ ущербъ отцамъ и мужьямъ. Мужъ, жена и духовное лицо — вотъ обычныя дѣйствующія лица средневѣковаго фарса; сцены изъ этого "ménage en trois", — сцены, иногда очень двусмысленнаго харак-

тера — всего чаще встрвчаются на барельефахъ и рисункахъ. Въ страсбургскомъ соборв до 1728 года существовала мъдная дверь, на которой, въ числъ прочихъ изображеній, было представлено, какъ монахи выходятъ съ крестнымъ ходомъ на встрвчу одному изъ братіи, который несетъ къ нимъ на плечахъ—дъвицу вольнаго обращенія. Эразмъ, самъ вышедшій изъ монастыря и отлично знавшій монастырскую жизнь, говоритъ, что монахи всегда стараются заслужить титулъ от цовъ, которымъ величаютъ ихъ міряне. Лицевыя Библіи наполнены изображеніями подобныхъ сюжетовъ; пьянство, обжорство и развратъ духовенства и монашества, давшіе тему для множества разсказовъ, не могли не перейти въ карикатуру.

Изъ другихъ карикатурныхъ изображеній домашняго обихода особенною популярностью пользовались въ средніе вѣка сцены школьнаго сѣченья и драки между малыми и большими, а спеціально—между мужемъ и женой. Буквальное пониманіе французской поговорки "c'est la femme qui porte la culotte", означающей, что въ извѣстной семьѣ первенство принадлежитъ женѣ, а не мужу, подало поводъ къ разсказамъ о спорахъ и дракахъ между мужемъ и женой за обладаніе этой частью костюма. По словамъ фабльо, побѣда осталась на сторонѣ мужа; карикатура часто противорѣчитъ этому увѣренію, представляя во всевозможныхъ видахъ торжество жены.

Наряду со сценами изъ домашняго быта неизсякаемымъ источникомъ карикатурныхъ сюжетовъ служила мода, всегда представляющая, какъ извъстно, немало странныхъ и смъшныхъ крайностей. Изображенія уродливостей костюма, головныхъ уборовъ и обуви часто встръчаются на памятникахъ средневъкового искусства; особенно доставалось при этомъ женскимъ модамъ, которыя доходили до крайняго безобразія и вызывали громы церковной проповъди, усматривавшей въ нихъ дъявольское навожденіе. Соотв'єтственно этому и туалеть модницы тіхъ времень изображался въ виді произведенія нечистой силы, которая изобр'єтаеть новыя прически, новыя формы рукавовь, башмаковь и пр. На одномь изъ подобныхь рисунковь при од'єваніи модницы присутствуеть ц'єлая толпа чертенять: одинь вертить передь нею зеркало, другой вставляеть гребень въ косу, третій затягиваеть шнуровку, пара другихь, забравшись въ длинный и широкій рукавь платья, качаются тамъ, какъ на качеляхъ, и т. п. Впосл'єдствіи мы еще будемь им'єть случай указать на подобныя же карикатурныя изображенія изъ эпохи, бол'є близкой къ нашему времени.

VIII.

Ло сихъ поръ мы имели дело, такъ сказать, съ детствомъ карикатуры, съ ея первыми, робкими шагами и наивнымъ лепетомъ. Полнаго развитія и серьезнаго значенія она достигла только въ последующую эпоху, — въ эпоху реформаціи, когда сатирическій духъ, жившій въ обществъ, нашелъ себъ сильнаго противника въ лицъ католической церкви. Папство, само того не желая и не ожидая, всего более содействовало тому, что карикатура сдълалась однимъ изъ самыхъ популярныхъ орудій борьбы, начавшейся въ XVI веке противъ римскаго господства. Иятнадцать въковъ прошло прежде, чъмъ сатирическія изображенія. отказавшись отъ условнаго символизма, получили характеръ, соотвътствующій назначенію карикатуры, какъ понимается она въ наше время, и, возбуждая смёхъ, стали, вмёсте съ темъ, служить сильнымъ средствомъ для распространенія новыхъ идей.

Мы укажемъ здъсь лишь на нъкоторыя, наиболье характерныя, карикатуры реформаціоннаго періода. Борьба представителей новаго движенія съ защитниками старины,

какъ извъстно, далеко не отличалась дипломатическою деликатностью; противники, не исключая и высокоученыхъ богослововъ и философовъ, постоянно сулили другъ другу костры и висълицы и черезъ два слова въ третье посылали другь друга къ чорту въ самыхъ непринужденныхъ выраженіяхъ. Политическія брошюры, памфлеты, летучіе листки съ карикатурами, назначавшіеся, главнымъ образомъ, для народной массы, конечно, еще менъе были связаны какими бы то ни было соображеніями о приличіи; народный юморь всегда и вездь, а въ подобныя возбужденныя эпохи-въ особенности, изобиловаль весьма крыпкимъ и прянымъ остроуміемъ; поэтому нътъ ничего удивительнаго, что въ наше время подробное описаніе сатирическихъ рисунковъ XVI века можетъ быть сделано только "для немногихъ". Въ наше время карикатуристъ неръдко имъетъ въ виду не столько рисунокъ, сколько удачную и остроумную подпись къ нему, такъ что многія карикатуры безъ подписей являются совершенно непонятными; въ то время, наоборотъ, главное вниманіе обращалось на рисунокъ: онъ долженъ былъ быть исполненъ такимъ образомъ, чтобы и неграмотный, взглянувъ на него, сразу догадался, въ чемъ дъло; подпись же играла второстепенную роль. Въ самомъ деле, если была нарисована, напр., свинья въ папской тіаръ, то это понятно и безъ всякой подписи. Эта особенная обстоятельность сатирическихъ изображеній XVI вЪка и составляетъ ихъ наиболье характерную черту; здысь; какъ въ іероглифической системф, каждое слово нужно было объяснять рисункомъ; а такъ какъ слова-то употреблялись преимущественно непечатныя, то легко себ'в представить, каковы выходили объяснительныя иллюстраціи. Возьмемъ наиболе приличный примеръ. Лютеръ, говоря въ одной изъ своихъ речей о папъ, обозвалъ его и сановниковъ римской церкви "чортовыми сынами". Карикатуристь, желая иллюстрировать это изръчение, долженъ быль наглядно представить

самый процессь происхожденія дітей дьявола отъ ихъ родителя; и воть, является картинка, напоминающая извістную эпиграмму: "Орликомъ и въ колпаків"... Обів враждующія стороны заботились, повидимому, только о томъ, чтобы вылить другь на друга какъ можно боліве грязи, — и трудно сказать, кому принадлежить пальма первенства въ этомъ состязаніи — реформаторамъ, или ихъ противникамъ; вітрно только одно, что этотъ способъ полемики нравился толпів и былъ ей вполнів по плечу, чіть и обусловливался успіть этого рода произведеній.

Упомянемъ сначала о карикатурахъ, направленныхъ противъ Лютера и его сподвижниковъ. Въ числъ этихъ карикатуръ видное мъсто занимаютъ иллюстраціи памфлетовъ уже упомянутаго выше д-ра Мурнера, одного изъ самыхъ неутомимыхъ противниковъ реформаціи. Таковы, напр., рисунки въ текстъ брошюры — "О большомъ дуракъ Лютерв, и о томъ, какъ д-ръ Мурнеръ его заворожилъ". Здёсь фигурируеть самъ достопочтенный докторъ въ видё кота, одътаго въ рясу францисканца; Лютеръ же изображается въ видъ заплывшаго жиромъ монаха въ дурацкомъ колпакъ съ погремушками. На одной изъ гравюръ котъфранцисканецъ затягиваеть петлю вокругь толстой шеи Лютера, который, вследствіе этой операціи, изрыгаеть цылый рой маленькихъ дурачковъ. Другая гравюра изображаетъ Лютера съ огромнымъ мѣшкомъ, который биткомъ набитъ дураками: это - его последователи и ученики. Карикатуристь, желая наглядно показать, что Лютерь есть орудіе дьявола, изображаеть последняго играющимь на волынкъ; волынка сдълана изъ головы Лютера; труба, въ которую дьяволъ трубить, входить въ ухо этой головы, а другая труба, откуда выходить звукь, составляеть продолжение Лютерова носа.

Реформаторы, съ своей стороны, не оставались въ долгу у католиковъ. Самъ Лютеръ былъ, какъ извъстно, большой юмористъ; наиболъе талантливые изъ его современниковъ, литераторы и художники, стали подъ его знамя. Послѣ женитьбы реформатора, паписты пустили въ ходъ старинную легенду, въ которой говорилось, что антихристь долженъ родиться отъ брака между монахомъ и монахиней; этимъ давалось понять, что если самъ Лютеръ, можеть быть, еще и не антихристь, то онъ легко можеть сдълаться отцомъ антихриста. Реформаторы, въ свою очередь, приводили всевозможныя доказательства, что антихристъ есть не что иное, какъ эмблема папства, что въ этомъ видъ онъ давно уже царствуетъ на землъ и что теперь его царству пришель конець. Въ 1521 г. другъ Лютера, знаменитый живописецъ Лука Кранахъ, выпустилъ въ свътъ замъчательный альбомъ рисунковъ подъ названіемъ "Лицевого изображенія противоположности между Христомъ и антихристомъ" ("Antithesis figurata vitæ Christi et Antechristi"). Это — небольшая брошюра въ четверку, гдъ слъва помъщены картинки изъ евангельской исторіи, а справа, en regard, картинки изъ жизни антихристапапы. Младенецъ-Христосъ лежить въ ясляхъ, на соломъ; папа возседаеть на троне, окруженный пышнымъ и блестящимъ дворомъ. Христосъ омываетъ ноги апостоламъ; цари и короли благоговъйно лобызають ногу папы. Христосъ въвзжаеть въ Іерусалимъ на ослъ; папа вывзжаеть на площадь на богато убранномъ конъ, въ сопровождении многочисленной конной и пътей свиты. Христосъ изгоняетъ торговцевъ изъ храма; богатые и сильные міра приносять свои сокровища папъ. Воины быотъ Христа и издеваются надъ нимъ, надевая на него терновый венецъ; папа вънчается драгоцънною тіарой — и все преклоняется передъ нимъ. Наконецъ, последняя картинка изображаетъ вознесеніе Христа на небо; въ pendant къ ней, дьяволы низвергаютъ папу въ геенну огненную, гдв его уже ожидаеть цёлая толпа монаховъ и кардиналовъ. Альбомъ Кранаха долженъ быль пользоваться большою популярностью, такъ какъ художникъ сумълъ вполнъ ясно и

ръзко выразить свою идею. Понятно, почему католики считали своею обязанностью истреблять экземпляры этихъ ненавистныхъ имъ изображеній, сдълавшихся теперь, благодаря этому, библіографическою ръдкостью.

Чудовищныя изображенія фантастическихъ людей и животныхъ, бывшія, какъ мы видели выше, однимъ изъ любимыхъ сюжетовъ скульптурной и живописной средневъковой орнаментики, съ теченіемъ времени обратились, въ воображени народа, въ дъйствительных существъ. Наивно удивляясь этимъ фигурамъ, народъ начиналъ върить, что где-то и въ самомъ деле существують гака чудовища; онъ ощущаль, при взглядь на эти изображенія, суевърный страхъ, принимая ихъ за порождение дьявола, за апокалицтических звърей, появление которыхъ предвъщаетъ великія бъдствія, или даже кончину міра. Въ XV столетіи довольно часто являлись известія объ открытіи подобныхъ чудовишъ, и лубочныя картинки, ихъ изображавшія, составляли, надо полагать, выгодную статью торговли для разносчиковъ. Двъ изъ такихъ картинокъ пріобрѣли, въ эпоху реформаціи, особенную славу: то были изображенія папы-осла и монаха-тельца, издававшіяся множество рази съ объяснительнымъ приписываемымъ Лютеру или Меланхтону, — довольно грубыя эмблемы папства и злоупотребленій римской церкви, съ предсказаніями скораго ея паденія. "Папаосель" (Der Papstesel), будто бы, быль вытащень мертвымъ изъ Тибра въ 1496 г.; его изображение представляеть человъческую фигуру, покрытую, кромъ головы, груди и живота, чешуей; голова ослиная; правая рука оканчивается ступней слона, левая-человеческая; правая нога оканчивается раздвоеннымъ копытомъ, лѣвая-когтями; надъ хвостомъ-старческое лицо; хвостомъ служитъ драконъ съ пътушиной головой. Каждая изъ этихъ подробностей рисунка получаеть обстоятельное символическое истолкованіе: ослиная голова, неумъстная на человъческомъ тѣлѣ, означаетъ, что и папа точно также неумѣстенъ во главѣ церкви; кромѣ того, она означаетъ глупость и брутальность римскаго первосвященника; слоновья ступня означаетъ духовную власть папы, которая тяжело давитъ на совѣсть; человѣческая рука—свѣтскую власть, стремящуюся къ захвату; женскія груди — развратъ духовенства, и т. д. въ томъ же родѣ. Монахътелецъ, будто бы, родился въ Фрибургѣ отъ преступной связи монаха — съ кѣмъ, легко догадаться...

Упомянемъ еще о картинкъ, на которой наклеенъ подвижной листокъ такимъ образомъ, что если его опустить, то получится портретъ прославившагося своими пороками папы Александра VI (Родерико Борджіа) въторжественномъ облаченіи; если же поднять, то является дьяволъ, также въ папскомъ облаченіи, съ огромными рогами и вилами вмъсто посоха. Подпись: "Я — папа". Такая же подпись находится подъ картинкой, гдъ изображенъ оселъ, увънчанный тіарою и играющій на волыпкъ.

Одинъ итальянскій монахъ написалъ противъ реформаціи поэму, въ которой, между прочимъ, утверждаетъ, что Лютеръ родился отъ фуріи Мегеры, которая нарочно для этого была выслана изъ ада въ Германію. Лютеранскіе карикатуристы тотчась же воспользовались этимъ сюжетомъ и обратили его противъ папы. Цёлый рядъ рисунковъ, подъ названіемъ "Рожденіе и возрастаніе антихриста", представляеть, какъ папа рождается отъ Мегеры, кормится ея грудью, и пр., и пр. На другой карикатуръ представленъ тріумфъ Лютера. Левъ Х сидитъ на тронъ-на краю пропасти; его кардиналы и прелаты стараются удержать его отъ паденія; но на противоположномъ краю пропасти является Лютеръ съ своими приверженцами; онъ поднимаетъ Библію — и папа, съ "соборомъ нечестивыхъ", стремглавъ летитъ бездну, "уготованную діаволу и аггеламъ его".

Защитники папства издали противъ Лютера множество памфлетовъ, наполненныхъ самыми скандальными повъствованіями. Чаще всего они представляли его пьяницей и развратникомъ; этому представленію соотвътствуетъ множество карикатурныхъ рисунковъ. На одномъ изъ нихъ, напр., Лютеръ изображенъ въ видъ кота, одътаго въ рясу и ухаживающаго за веселой монахиней, которая наигрываетъ на гитаръ; на другомъ — онъ отплясываетъ въ присядку съ своей женой-монахиней, держа въ рукъ чарку съ виномъ; на третьемъ онъ везетъ на тачкъ собственное брюхо, раздувшееся отъ обжорства, и несетъ на спинъ полный коробъ дураковъ — своихъ послъдователей; за нимъ идетъ жена съ новорожденнымъ ребенкомъ на рукахъ, съ огромной Библіей за плечами, и т. д.

Подобными же пріемами пользовались и кальвинисты противъ католиковъ, предпочитая, однако, вести полемику памфлетами, а не карикатурами. Ими было отчеканено нъсколько свинцовыхъ и бронзовыхъ медалей, на которыхъ, напр., голова папы соединена съ головою дьявола такъ, что если повернуть медаль тіарой вверхъ, то вы видите изображение папы, а если перевернуть тіару внизъ, то — изображеніе дьявола. Кругомъ надпись: "Ecclesia perversa tenet faciem diaboli". Другая медаль представляеть подобное же сочетание головы кардинала съ головою тута; надпись гласить: "Et stulti aliquando sapientes". Этимъ же орудіемъ воспользовались и католики, соединивъ на медали голову дьявола съ головою шута и надписавъ: "Calvinus heresiarcha pessimus" *). Литературною сатирой кальвинисты владели очень ловко, но къ карикатурамъ прибъгали, повидимому, неохотно. До насъ дошелъ одинъ очень характерный рисунокъ, пред-

^{*)} Flögel's Geschichte des Grotesk-Komischen, neu bearbeitet von D-r Fr. Ebeling. Leipz., 1862, S. 443 u. Taf. XXX.—5-e изд.—Leipz., 1888, S. 468 u. Taf. XL.

ставляющій папу въ обществъ Кальвина и Лютера; оба реформатора съ ожесточеніемъ деруть римскаго первосвященника за волосы; онъ отвъчаетъ имъ тъмъ же; въ тоже время Лютеръ теребить за бороду Кальвина, который, въ свою очередь, колотить его толстой книгой. Здъсь наглядно представлены взаимныя отношенія двухъ главнъйшихъ противниковъ римской церкви.

Наконецъ, слъдуетъ упомянуть еще о замъчательномъ—потому-что оно въ своемъ родъ единственное—изображеніи, сохранившемся въ Тулузъ, въ одной изъ церквей, на ръзной спинкъ скамъи. Здъсь представленъ оселъ, сидящій на каоедръ, передъ которою съ благовъніемъ стоятъ три человъка; одинъ изъ нихъ—на колъняхъ. На каоедръ надпись: "Calvin le père"; очевидно, что здъсь старинной фигурой проповъдующаго осла воспользовались для насмъшки надъ женевскимъ проповъдникомъ. По мнънію другихъ изслъдователей, въ проповъдующемъ животномъ слъдуетъ видъть не осла, а свинью, и, соотвътственно этому, надпись должна читаться: "Calvin le porc" (послъднее слово испорчено, такъ какъ во вторую его букву вбитъ большой гвоздь).

IX.

Карикатура, какъ политическая въ современномъ смыслѣ этого слова, такъ и личная, не могла развиваться въ средніе вѣка, пока не было изобрѣтено книгопечатаніе, и гравировальное искусство не достигло достаточной степени развитія. Въ самомъ дѣлѣ, для успѣха карикатуры необходимо, чтобъ она могла быстро и легко расходиться въ болѣе или менѣе обширномъ кругу публики. Политическая или сатирическая пѣсня разносилась повсюду странствующими пѣвцами-менестрелями; но сатира наглядная, существовавшая только въ одномъ экземплярѣ —

въ скульптурѣ или рисункѣ, — неминуемо должна была имѣть характеръ общій, символическій, рискуя, въ противномъ случаѣ, утратить всякое значеніе; обстоятельства мѣста и времени для нея не должны было существовать. Понятно поэтому, какъ много обязана карикатура гравированію и книгопечатанію: благодаря имъ, она получила и новыя формы, и новое значеніе, несравненно болѣе важное, чѣмъ то, какое она имѣла прежде; благодаря имъ, она имѣла возможность сослужить свою службу дѣлу реформы церковной и политической.

Печатаніе картинокъ деревянными досками было извівстно въ Европъ съ давняго времени: нъкоторые ученые возводять попытки такого гравированія къ XII въку; но старьйшая изъ известныхъ намъ гравюръ на деревнъ помѣчена 1423-мъ годомъ; она изображаетъ св. Христофора, несущаго младенца-Христа черезъ ръку. Въ первые въка своего существованія гравюра оставалась на степени простого ремесла; все внимание граверовъ было обращено не на художественное исполнение картинокъ, а на ихъ содержаніе; гравюра служила прежде всего общественнымъ нуждамъ и потребностямъ. Слъдя за религіозными требованіями народа, она доставляла ему дешевыя изображенія почитаемыхъ имъ святыхъ-цёлыя изданія Апокалипсиса и Библіи, разныя легенды о кресть, страшномъ судъ, антихристъ, лицевыя изображенія молитвъ, страстей Христа и апостоловъ. Отзываясь на нравственныя потребности народа, и преимущественно-простыхъ людей, гравюра давала зердало человъческаго спасенія, ars moriendi и т. п. Для удовлетворенія житейскихъ потребностей народа гравирование на деревъ произвело дешевыя игральныя карты, дешевыя сатирическія сочиненія, каковы: книга о восьми плутовствахъ, басня о больномъ львъ, жалоба противъ смерти, тяжба человъка со смертью. Наконецъ, для удовлетворенія научныхъ потребностей народа, воспроизводились виды городовъ, описаніе Рима— столицы

католическаго міра, — хиромантія и первая космографія Птолемея. Словомъ, гравюра на деревъ старалась замънить для народа, и въ особенности для бъдныхъ и неученыхъ людей, тъ дорогіе манускрипты съ миніатюрами, которые по своей цънъ были доступны только для богатыхъ и дълали изъ науки и знанія достояніе немногихъ избранныхъ.

Удовлетворивъ первымъ нуждамъ народа, гравированіе на деревѣ уступило свое мѣсто имъ же созданному книгопечатанію, которое вполнѣ замѣнило его на этомъ поприщѣ и послужило къ распространенію въ народѣ знанія и грамотности съ еще большею легкостью и дешевизной. Въ концѣ XV вѣка гравюра на деревѣ переходить, мало по малу, въ область художества. Рисунки на деревянныхъ доскахъ дѣлаются знаменитыми живописцами того времени—Альбрехтомъ Дюреромъ, Гольбейномъ и др.; прежніе же граверы-ремесленники употребляются только для самаго процесса гравированія, т. е. для вырѣзки сдѣланныхъ на доскахъ рисунковъ.

Съ усовершенствованіемъ гравированія и книгопечатанія (что, приблизительно, совпадаетъ съ эпохой реформаціи), въ Германіи и другихъ европейскихъ странахъ стали во множествѣ являться брошюры и отдѣльные листки съ картинками содержанія религіознаго, аллегорическаго, научнаго и сатирическаго. Эти картинки, гравированныя преимущественно на деревѣ, и притомъ, по большей части, очень спѣшно и грубо, такъ какъ онѣ назначались для распространенія въ массѣ парода и стоило очень дешево, извѣстны подъ общимъ названіемъ л убочныхъ *). Мы видѣли, какъ пользовались дѣятели

^{*)} Это названіе, въ настоящее время у насъ общеупотребительное, въ старинной литературъ, по замъчанію г. Ровпискаго, не встръчается. Оно появилось, какъ кажется, только въ началъ нынъшняго стольтія; Снегиревъ производить его слова лубъ, т. е. липовая кора, а также и липовое дерево, на которомъ эти кар-

реформаціи и ихъ противники этимъ новымъ средствомъ пропаганды; вообще, въ простонародно-лубочной литературъ "забавные листы" занимають очень видное мъсто, и еще прежде реформаціи были уже достаточно изв'єстны и распространены; еще раньше карикатуры, вызванной на свъть борьбою съ напствомъ, явилась карикатура политическая. Одна изъ первыхъ картинокъ этого рода, можеть быть, даже самая старая изъ известныхъ доселе карикатуръ политическаго содержанія, относится въ 1499 году. Она носить название "Превратности швейцарской игры" и появилась, несомнонно, во Франціи. Французскій король Людовикъ XII, женившись на Аннъ Бретанской, задумаль предпринять походь въ Италію, съ цълью завоевать Неаполитанское королевство. Этотъ походъ затрогивалъ интересы многихъ государствъ, и Людовику XII пришлось вести дипломатическую игру съ своими сосъдями, изъ которыхъ многіе были ръшительными противниками его честолюбивыхъ плановъ. Особенно враждебно отнеслись къ нему швейцарцы, тайно поддерживаемые Англіей и Нидерландами. Людовикъ XII, однако-же, восторжествоваль надъ ихъ оппозиціей и возобновиль союзь, разстроившійся при его предшественникъ, Карлъ VIII. Эти-то отношенія Франціи къ Швейцаріи и прочимъ государствамъ и дали сюжетъ для описываемой карикатуры. За карточнымъ столомъ сидятъ: король французскій, венеціанскій дожъ (союзникъ Франціи) и швейцарецъ. Людовикъ XII объявляетъ, что у него на рукахъ хорошая игра; швейцарецъ пасуетъ, а дожъ складываеть свои карты. Французскій король и въ самомъ д'ял'я остался въ выигрышт. Въ углу стоитъ Генрихъ VIII англійскій; онъ спорить съ испанскимъ королемъ; помъ-

тинки гравированы; другое объясненіе, приводимое г. Ровинскимъ,— что это названіе произошло отъ лубочныхъ коробовъ, въ которыхъ картинки разносились по деревнямъ ходебщиками - офенями, — кажется намъ гораздо болъе искусственнымъ.

стившаяся сзади нихъ инфанта Маргарита перемигивается съ швейцарцемъ, заглядывая въ карты его партнеровъ. Рядомъ съ принцессой - герцогъ Вюртембергскій, а передъ нимъ-папа Александръ VI, который тщетно старается разглядьть игру своего союзника, короля французскаго. Сзади дожа стоить итальянскій эмигранть Тривульчи, преданный слуга Франціи, а далбе-императоръ, который, держа другую колоду картъ, повидимому, радуется, что ему удастся нъсколько испортить игру Людовика XII. Слъва графъ-палатинъ и маркизъ Монферратскій ожидають исхода игры; за ними стоить герцогь Савойскій, помогавшій французамъ. Герцогъ Лотарингскій наливаетъ игрокамъ вино, а герцогъ Миланскій, игравшій въ то время двусмысленную роль, поднимаеть карты, упавшія на поль, чтобы подобрать себ'я подходящую масть. Людовикъ XII осуществиль свои замыслы. Герцогь Миланскій, Лодовико Сфорца, по прозванію Моро (мавръ), проиграль свою партію, лишился герцогства и умерь въ плену.

Таково содержание первой карикатуры чисто-политическаго характера. Во время реформаціи, религіозный вопросъ не только сталъ наряду съ вопросами полити. ческими, но даже, можно сказать, почти заслониль ихъ собою. До реформаціи политическая карикатура касалась только королей и высшей аристократіи: народъ политики не зналъ и ею не интересовался; благодаря новой религіозной пропов'єди, началось обширное соціальное движеніе, захватившее своею волной народную массу съ ея чувствами и интересами. Съ этихъ поръ начинается постепенное возвышение среднихъ классовъ общества, -- такъназываемаго третьяго сословія. Начиная съ XVI стольтія, это новое общественное движеніе иллюстрируется соотвётственными рисунками. Такъ, напр., на одной изъ гравюръ того времени епископъ, рыцарь и земледвлець (духовенство, дворянство и народь) поставлены рядомъ, и каждый изъ нихъ получаетъ съ неба

аттрибуты своего званія: епископъ — Библію, земледѣлецъ—плугъ, а рыцарь—мечъ, чтобы защищать ихъ обоихъ. Эту гравюру можно считать прототипомъ позднѣйшихъ изображеній "трехъ сословій", — изображеній отчасти символическихъ, отчасти карикатурныхъ, какія наводнили Францію во время великой революціи.

Въ эпоху религіозныхъ войнъ XVI въка карикатура, какъ уже замъчено выше, появлялась во Франціи очень редко. Реформація имела тамъ скоре аристократическій, чъмъ народный характеръ, и ея сторонники не особенно старались действовать на массу, которая, въ общемъ, относилась къ нимъ неблагопріятно. Къ тому же, проповъдь Кальвина отличалась суровымъ, мрачнымъ характеромъ, и религіозныя партіи во Франціи старались не столько осмъивать, сколько истреблять одна другую. Немногіе образцы карикатуры, дошедшіе до насъ отъ той эпохи, отличаются крайне грубымъ, ругательнымъ содержаніемъ. Таковы, напримъръ, карикатуры лигистовъ на короля Гериха III Валуа и на его "гермафродитовъ". Въ свою очередь, сторонники Генриха IV изображали лигу въ видъ трехголовой гидры, которая стремится овладъть короной и скипетромъ, но погибаеть въ когтяхъ доблестнаго бурбонскаго льва.

Въ Англіи карикатура получаеть серьезное значеніе въ XVII стольтіи, во времена страстной политической и религіозной борьбы. Отличительною чертой англійской карикатуры этого времени является особенная серьезность и преобладаніе символизма. Благодаря этимъ качествамъ, карикатурныя изображенія извъстныхъ дъятелей эпохи нуждались въ очень подробныхъ комментаріяхъ; первенствующее значеніе имълъ обширный аллегорическій или сатирическій тексть, которому рисунки служили лишь очень слабыми иллюстраціями. Оттого англійская карикатура XVII и XVIII стольтій далеко не пользовалась

такой популярностью и не имѣла такого широкаго распространенія въ массѣ, какъ, напр., нѣмецкая. Для ея пониманія требовалась извѣстная степень образованности, необходимо было быть au courant политическихъ событій своего времени, — качества, которыми рѣдко отличается народная масса.

Итакъ, успъхи гравированія и печатанія, совпавшіе съ эпохой сильнаго возбужденія въ европейскомъ обществъ, дали толчекъ развитію карикатуры и обратили ее, съ одной стороны, въ орудіе политической, религіозной и сословной борьбы, а съ другой — въ орудіе морали, девизомъ которой было "ridendo castigare mores" и, выставляя въ смъшномъ, преувеличено безобразномъ видъ недостатки жизни общественной и домашней, семейной, содъйствовать ихъ исправленію. Но, кромъ этой тенденціозной карикатуры, существовала, какъ мы видёли, еще карикатура простая, лишенная всякой тенденціи и, подобно гримасничающимъ фигурамъ среднев вковыхъ барельефовъ, имфвшая единственною цфлью — возбудить веселое настроеніе, вызвать сміхъ. Наряду съ новыми сюжетами сатиры политической и общественной, въ народную лубочную гравюру перешли и старые сюжеты средневъковыхъ орнаментовъ, скульптурныхъ и рукописныхъ, указанные нами въ первыхъ главахъ этихъ очерковъ; нъкоторые изъ нихъ получали, съ теченіемъ времени, дальнъйшее развитие и новое примънение, иные же какъ бы окаменъли и остались донынъ почти въ томъ же самомъ видь, какой имьли пять въковь тому назадь. Таковы именно сюжеты, лишенные тенденціозности.

X.

Исторія русскаго искусства, сравнительно съ исторією среднев вкового искусства европейскаго, представляеть го-

раздо меньше матеріала, подходящаго къ предмету нашихъ очерковъ. Наши старинныя церкви орнаментировались, за очень немногими исключеніями, въ строговыдержанномъ стилъ, не допускавшемъ никакихъ, а тъмъ болье смъхотворныхъ уклоненій; здысь почти всецьло господствовала византійская иконопись, не дававшая фантазіи художника никакого простора; кътому же и взглядъ на значение храма быль у насъ совершенно иной, чъмъ на Западъ. Орнаментація рукописей (заставки, фигурныя заглавныя буквы и пр.) представляеть, правда, множество замысловатыхъ гротесковъ, фигуръ фантастическихъ животныхъ, а иногда и людей; но она вовсе не отличается тъмъ веселымъ характеромъ, какой мы видъли въ произведеніяхъ западныхъ орнаментистовъ, и, въ сущности, довольно однообразна; лицевыя изображенія, иллюстрирую щія содержаніе рукописей, отличаются также сухимъ, постнымъ стилемъ, и если иногда и впадаютъ въ карикатуру, то, очевидно, безъ всякаго намфренія со стороны орнаментиста, а единственно вследствіе его наивности и неумьныя справиться съ сюжетомъ, или вследствіе буквальнаго пониманія какого-нибудь аллегорическаго текста. Такъ, напр., если иллюстраторъ, желая наглядно изобразить слова церковной пъсни: "Во всю землю изыде въщаніе ихъ и во всю вселенную глаголы ихъ", рисоваль людей съ безконечно длинными языками, то, разумъется, онъ настолько же быль далеко отъ намъренія вызвать улыбку, насколько и его западный собрать, пояснявшій евангельское изръчение о сучкъ въ глазу ближняго (Мато. VII, 3 — 5) изображеніемъ челов'єка, у котораго изъ глаза торчить огромное бревно и который, не зам'вчая этого, указываетъ на соринку, попавшую въ глазъ сосъда. Намъренная комическая тенденція встръчается только въ иллюстраціяхъ къ легендамъ, гдв изображаются черти въ изысканно безобразномъ и смѣшномъ видѣ. Эти изображенія совершенно аналогичны съ теми, какія мы указывали выше въ произведеніяхъ искусства западно-европейскаго; ихъ можно видёть не только въ рукописныхъ рисункахъ, но и на церковныхъ фрескахъ, въ особенности на папертяхъ, по стѣнамъ которыхъ нерѣдко расписывались разныя исторіи и апокрифическія повѣсти.

Но собственно карикатурные или вообще забавные рисунки, въ самостоятельномъ виде, являются у насъ только въ концѣ XVII стольтія, когда лубочная гравюра получаеть широкое распространение въ народъ. Самое название этихъ рисунковъ фряжскими или нъмецкими потъшными печатными листами ясно указываеть на ихъ происхождение. По своему формату и стилю они ближе всего подходять къ немецкимъ народнымъ картинкамъ (изданія Ганса Сакса и др.); по содержанію же представляють или простые снимки съ западныхъ образцовъ, или иллюстраціи сюжетовъ, заимствованныхъ изъ "Римскихъ дъяній", "Великаго Зерцала", сборниковъ жартъ и фацецій, переходившихъ къ намъ черезъ Польшу, и только очень немногія можно признать вполнъ оригинальными по замыслу и исполненію. Сначала он' копировались съ лубочныхъ гравюръ нъмецкихъ и голландскихъ, затъмъ, во второй половинъ XVIII стольтія, образцами для нихъ служили преимущественно французскія картинки (images d'Epinal); наконецъ, уже въ XIX столетіи, стали являться копіи съ европейскихъ политическихъ карикатуръ. Нередко бывало и такъ, что рисовальщикъ копировалъ иностранную картинку и, не понимая приложеннаго къ ней текста, присочиняль новый тексть отъ себя, руководствуясь собственной фантазіей. Сравненіе подобныхъ коній съ оригиналами очень любопытно, такъ какъ изъ него можно видёть, въ чемъ собственно заключалась "самобытность" нашихъ сочинителей потёшныхъ текстовъ къ народнымъ картинкамъ. Во французской лубочной литературѣ существуеть, напримъръ, весьма распространенная повъсть

"Histoire du Bonhomme Misère". Жиль быль бъднякъ, по имени Нужда (Misère); однажды, въ непогоду, попросились къ нему переночевать апостолы Петръ и Павелъ, ходившіе въ ту пору по земль въ видь странниковъ, и онъ принялъ ихъ очень радушно. Желая наградить его за гостепріимство, они спросили его, чего ему хотвлось бы на этомъ свъть. Нужда отвъчалъ, что все его достояніе заключается въ грушѣ, которая растеть передъ его хижиной и съ которой онъ собираетъ плоды для продажи, и тъмъ питается; но воть уже другой годъ, какъ на эту грушу повадился лазить ворь, отнимающій у Нужды последнее средство къ жизни; поймать его никакъ не удается; нельзя ли сделать такъ, чтобы никто, забравшись на дерево, не могъ слъзть оттуда безъ хозяйскаго разрёшенія? Апостолы пооб'єщали исполнить просьбу Нужды; и въ самомъ дълъ, въ тотъ же день, возвратившись изъ города домой, онъ увидёль вора на своей грушт. Послт усиленных просьбъ о пощадъ, Нужда отпустиль вора, который съ техъ поръ обходиль его грушу больше чвмъ за версту. Нужда, избавившись оть воровь, зажиль припъваючи. Но воть, наконець, пришла къ нему и Смерть, и велъла собираться въ путь. "Что-жь, я всегда готовъ! -- говоритъ Нужда. -- Мнъ терять нечего; жаль только воть этой груши. Исполни мою просьбу, дай мнв въ последній разъ полакомиться". Смерть согласилась; но Нужда увърилъ ее, что самъ не въ силахъ взлёзть на дерево; услужливая Смерть полёзла сама — и попалась въ ловушку: сойти не можеть; а Нужда стоить себь, да посмъивается. Смерть, наконець, взмолилась, и хозяинъ отпустилъ ее, но только взявъ съ нея клятву, что она не придетъ за нимъ, пока міръ существуеть. Съ техъ поръ и живеть Нужда на светв по-прежнему, и будеть жить до скончанія въка.

Одинъ изъ рисунковъ, приложенныхъ къ этой повъсти, изображаетъ ту минуту, когда Нужда подходитъ къ своей групѣ и видить на ней вора. Русскій "художникъ" скопировалъ этотъ рисунокъ и пишетъ подъ нимъ: "Воръ на яблонѣ". Сторожъ говоритъ: "Каналія, сойди со древа, не наведи на меня гнѣва, явно тебя сгублю, дерево топоромь срублю; лучше тебѣ добровольно слѣзть, да отдать мнѣ достойную честь". Воръ отвѣчаетъ ему на это такими любезностями въ чисто-"народномъ" стилѣ, которыхъ мы здѣсь даже привести не можемъ (любопытный читатель найдетъ ихъ у г. Ровинскаго, т. І, стр. 435, № 203).

Для объясненія этой своеобразной "свободы слова", благодаря которой огромное большинство нашихъ старинныхъ народныхъ юмористическихъ картинокъ кишмякишить самыми непечатными фигурами и выраженіями, нужно имъть въ виду, что, по странной игръ случая, даже во времена сильнъйшаго господства цензурнаго произвола *), народныя картинки до 1850 года выходили въ свътъ почти безъ всякой цензуры. Прежде, хотя и было приказано "свидътельствовать" картинки въ "Управъ Благочинія", но приказаніе это почти всегда обходилось; лишь изрѣдка, по требованію властей, какія-нибудь особенно выразительныя слова замінялись другими, меніве выразительными, и одинъ только разъ цензура сдълала настоящее чудо (это было въ 1820-хъ годахъ), превративъ некую неблаговонную жидкость - въ розовую воду. Картинка (І, № 187) потеряла отъ этого всякій смыслъ, но за-то уже смёло могла явиться въ любой гостиной... Наконецъ, въ 1850 году, предсъдателемъ знаменитаго въ исторіи русской цивилизаціи комитета, учрежденнаго для провърки "нътъ ли чего вреднаго въ сочиненіяхъ, одобренныхъ цензурою", д. т. с. Бутурлинымъ былъ под-

^{*)} Г. Ровинскій (V, 33, прим.) указываеть на "простой, линованный, безсловесный транспаранть", съ цензурнымъ одобреніемъ. Рѣчь идеть, въроятно, о томъ знаменитомъ "транспаренть", который и теперь еще иногда попадается на глаза п на которомъ выставлено: "Печатать дозволяется. Цензоръ Елагинъ" (1858).

нять вопрось о лубочных картинках и произведеніях печати, назначенных для обращенія въ народь. Вопрось этоть разсматривался разными въдомствами, и результатомь этого обсужденія было то, что московскій генеральгубернаторь приказаль заводчикамь народных картинокь уничтожить всё доски, не имъвшія цензурнаго дозволенія, "и впредь не печатать таковых безь онаго". Исполняя это приказаніе, заводчики собрали всё старыя мъдныя доски, изрубили ихъ, при участіи полиціи, въ куски, и продали въ ломъ въ колокольный рядъ. Такъ прекратило свое существованіе наше безцензурное народное балагурство.

Впрочемъ, нужно замътить, что эта безцензурность касалась только балагурства въ собственномъ слова, т. е. картинокъ — хотя бы и грубо-циническихъ, но не обнаруживавшихъ никакой претензіи на болье или менъе серьезное содержаніе; когда же являлась подобная претензія, соотв'єтствующій рисунокъ и его тексть встрвчали преграду, причемъ иногда устранялись "опасные" политические намеки тамъ, гдф ихъ, въ сущности, вовсе не было. Поэтому, за очень немногочисленными, случайными исключеніями, у насъ не существовало ничего похожаго на европейскую карикатуру среднихъ въковъ и эпохи Возрожденія; не только наши лицевыя картинки, но и печатная литература, по справедливому зам'вчанію г. Ровинскаго, представляють, въ этомъ разрядъ, одни беззубые, безжелчные и, въ большинствъ случаевь, крайне незатыйливые тексты. Нашъ самобытный домострой устраниль всякую серьезность по части сатиры даже и въ рукописной литературь, и въ народномъ обиходь, въ котодавняго времени поселились нескончаемыя тмод СЪ кляузы, съ огульнымъ обвинениемъ всёхъ и каждаго въ самыхъ дрянныхъ и безчестныхъ поступкахъ, на манеръ старинныхъ доносовъ о словъ и дълъ. Народный юморъ, бойкій и міткій въ сказкі, пословиці, присловый, подъ

печатнымъ станкомъ какъ-то съеживался, испарялся, опошливался, а въ лицевыхъ изображеніяхъ обращался въ остроуміе самаго грубо-первобытнаго свойства, зачастую выражавшееся только въ завътныхъ "трехъ-этажныхъ" словечкахъ, да и то только до тъхъ поръ, пока "благочиніе" смотрёло на нихъ сквозь пальцы. Моментовъ, благопріятствовавшихъ развитію сатиры, серьезнаго протеста противъ общественной неурядицы. въ нашей исторіи было чрезвычайно много; но, благодаря особенностямъ нашей жизни, богатый запасъ народныхъ юмористическихъ наблюденій и обобщеній лишь очень редко, и то чуть заметными намеками, прорывался въ рукопись, въ печать и въ картинку. "Всякъ Еремей про себя разумьй", говорить пословица, и наши Еремеи не безъ основанія находили, что пускать свои наблюденія въ общій обиходъ, на вътеръ, далеко не всегда удобно.

Къ этому следуетъ прибавить еще одно соображение. Существовавшія и существующія у насъ "народныя" лубочныя изданія и картинки называются этимъ именемъ потому только, что они изготовлялись для народа, ради его назиданія или увеселенія, - людьми, настоящему народу, собственно, посторонними. Сначала этимъ дѣломъ занялись граверы, учившіеся, для казенной надобности, у иностранныхъ мастеровъ и, по минованіи надобности, оставшіеся безъ дёла и вынужденные работать изъ-за куска хлеба, что попало; затемъ, мало-по-малу, устроились цёлыя фабрики лубочныхъ изданій и картинокъ, также подъ руководствомъ какихъ-нибудь недоучившихся или безталанныхъ "художниковъ". Всѣ эти производители заботились, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы наработать и сбыть какъ можно больше, и не старались, да и не могли быть особенно разборчивыми въ сюжетахъ. Было бы только пестро, ярко и смъшно, чтобы бросалось въ глаза покупателю, а тамъ-что ни нарисуй, все равно:

попадется картинка французская, немецкая, голландская, — копирують съ нея; не попадется — ищуть вдохновенія въ сборникахъ, наводнившихъ нашу письменность въ XVII стольтіи, — въ "Римскихъ Дьяніяхъ", "Великомъ Зерцалъ", шутливыхъ повъстяхъ; нътъ подъ рукою такого сборника, — обращаются къ народнымъ сказкамъ, передълывая и пріукрашивая ихъ по собственному вкусу. Собственно оригинальные народные сюжеты занимають въ этомъ производствъ послъднее мъсто: гораздо легче было брать съ готоваго, чемъ придумывать самому. Притомъ же "мастера" лубочнаго производства были уже не простые "сърые" люди народной массы; по образованію они ушли отъ нея очень недалеко, но наклонности и вкусы ихъ были уже не тъ, что у толны; работая на городскихъ фабрикахъ и сбывая свой товаръ преимущественно въ Москвѣ, они, конечно, должны были стремиться болве всего угодить на вкусъ "чистаго" покупателя, --- купца, посадскаго, подъячаго, --- словомъ, на вкусъ "средняго сословія", а не настоящаго мужика, который, по своей неприхотливости, возьметь все, что ему дадуть, между тъмъ, какъ "чистый" покупатель гораздо разборчивъе и требовательнъе. Но "чистый" покупатель — человъкъ обстоятельный, и серьезной сатиры не одобряеть, считая ее глупостью: въдь если искать сюжетовъ для серьезнаго сибха, то придется, пожалуй, посмбяться и надъ самимъ собой, За-то въ досужее время, "послъ трудовъ праведныхъ", приходя въ веселое настроеніе, онъ ищеть случая "поскалить зубы", "сшутить шутку", хотя бы и такую, которая больно отзовется на бокахъ безсильнаго ближняго, лишь бы она не разсердила сильныхъ и "нужныхъ" людей, съ которыми нужно жить въ ладу. Этой потребности погоготать вполнъ удовлетворяли, въ числъ прочихъ зрълищъ и увеселеній, потъшные листы съ ярко-расписанными "дурацкими персонами" и наборомъ кръпкаго, съ ногъ-сшибательнаго острословія. Затъмъ, онъ пожалуй не прочь и умилиться, и "воздохнуть" въ элегическомъ тонт о гртхахъ и о смертномъ часъ: тутъ ему подвертывается подъ руку "божественная" картинка съ соответствующими текстами, какоенибудь аляповатое воспроизведение знаменитыхъ "Плясокъ Смерти"; но серьезная сатирическая идея, вдохновлявшая мистика-художника XV въка, въ этихъ воспроизведеніяхъ почти стушевывается и, во всякомъ случав, на обстоятельнаго читателя не производить глубокаго впечатлёнія. Изображенія этого рода находили гораздо больше сбыта въ совершенно иной средъ, — тамъ, гдъ возникла и развилась потребность въ сознательномъ отношеній къ религіознымъ вопросамъ, возбудившая серьезное критическое отношение къ "основамъ" и суровый протесть противъ новшества, разрушающаго завътныя преданія старины. Тамъ, въ расколь, благодаря особеннымъ условіямъ среды, создалась почва и для развитія строгой, идейной сатиры, и для появленія серьезной, политической карикатуры; тамъ мы встретимся и съ наиболе оригинальными, хотя, къ сожаленію, очень немногочисленными, произведеніями настоящаго народнаго юмора.

XI.

Разсматривая потышные сатирически-моральные листы, бывшіе въ народномъ обращеніи, мы будемъ держаться, приблизительно, того же порядка, въ какомъ приводили прежде образцы карикатуры европейской, причемъ сначала будемъ указывать на заимствованія и варіаціи ходячихъ западныхъ сюжетовъ, а затымъ на произведенія болье или менье оригинальныя.

Остановимся прежде всего на гротескахъ, шаржированныхъ фигурахъ людей и животныхъ, которыя на За-

падъ переходили, со стънъ и колоннъ средневъковыхъ соборовъ и рукописныхъ миніатюръ, въ лубочныя картинки, распространившіяся по всей Европ' и занесенныя къ намъ въ XVII въкъ, какъ надо полагать, преимущественно черезъ Польшу *). Однимъ изъ главныхъ источниковъ для подобныхъ изображеній служило, какъ мы уже говорили выше, исевдо-Каллисееново житіе Александра Македонскаго, очень распространенное у насъ; отсюда художникъ могъ объими руками черпать самыя фантастическія изображенія "дивіихъ" людей и животныхъ. Для той же цёли годились и различные бестіаріи, физіологіи, космографіи, статьи изъ хронографовъ и пр. Не останавливаясь подробно на этомъ предметъ, имъющемъ для нашихъ очерковъ только второстепенное значеніе, приведемъ лишь нісколько изображеній, заимствованныхъ изъ классической миоологіи, чтобы показать, въ какомъ видъ доходило до насъ это наслъдіе античнаго міра.

"Много есть чудныхъ людей въ далекихъ странахъ (на крак свёта), — говорится въ одной рукописи XVII стольтія, — у иныхъ песьи главы, а иные безъ главъ, а на грудяхъ зубы, а на локтяхъ очи; а иные о двухъ лицахъ, а иные о четырехъ очесахъ, а иные по шести рогъ на головахъ носятъ... а всё тѣ люди (прибавляетъ книжникъ, вѣрный библейскому сказанію) на вселенную пошли отъ одного человѣка, рекше Адама, и за умноженіе грѣховъ тако ся учинили". Такъ, напримѣръ: "люди есть, зовомые пилмѣи (т. е. пигмеи), живутъ въ индійскихъ земляхъ, ростомъ невелики, только локтя единаго, и недолговѣчны, только по осьми лѣтъ вѣкъ ихъ. А жены ихъ родятъ въ пятый годъ, а дерутся съ журавлями о корму,

^{*)} Обзоръ старинныхъ польскихъ картинокъ въ сравненіи съ тёми, какія обращались у насъ на Руси, могь бы, въроятно, привести къ интереснымъ и поучительнымъ результатамъ. Къ сежалѣнію, г. Ровинскій не обратиль вниманія на эту сторому вопроса.

а ѣздять на козлахъ, а стрѣляють изъ луковъ... Жюди, зовомые и с а т о р ы (т. е. сатиры), живуть въ лѣсахъ и по горамъ; хожденіемъ скоры, никто ихъ не догонитъ; ходять нагіе, обросли шерстью; рѣчи не имѣють, только кричать... Опокентавръ звѣрь Китоврасъ, иже отъ главы яко человѣкъ, а отъ ногъ яко оселъ... Дѣвица Г о р г он ѣ я, имуща лице и перси и руки человѣчески, а ноги и хвостъ имѣетъ аки у коня; на главѣ же ея за власъ мѣсто змѣй имѣетъ".

Изъ классическихъ "дивіихъ звѣрей" на наши лубочныя картинки попали:

Гарпія— "чудовище, живущее въ водѣ и на землѣ. Сіе чудовище имѣеть 10 футовъ въ длину; его лицо подобно человѣку; широкій ротъ, два воловьи рога, ослиныя уши и долгую гриву, подобную львиной, и крылья летучей мыши. Оной ползаетъ на двухъ толстыхъ, короткихъ лапахъ, вооруженныхъ 5-ю когтями... Поимано тенетами многими людьми въ озерѣ Фагуа, въ провинцѣ Хигле, въ Сѣверной Америкѣ" (картинка издана въ XIX вѣкѣ).

"Рыба Медуза, въ окіянѣ морѣ живеть, близь еві-опскія пучи".

"Птица райская, зовомая Сиренъ; гласъ ея въ пѣніи зѣло силенъ; на востоцѣ въ раю пребываетъ, непрестанно пѣніе красно возвѣщаетъ... аще кому слышати случится, таковый житія сего отлучится". Такимъ образомъ, гомеровская сирена, прельщавшая хитроумнаго Одиссея, превратилась у насъ въ райскую птицу, съ дѣвичьимъ лицомъ, въ коронѣ и съ распущеннымъ павлиньимъ хростомъ. Въ такомъ видѣ она изображена, между прочимъ, на наружной стѣнѣ церкви Вознесенія - на - горѣ, въ Костромѣ.

Фантастическіе разсказы о "дивіихъ" людяхъ и зв'єряхъ нер'єдко создавались и въ нов'єйшее время досужимъ воображеніемъ путешественниковъ и охотниковъ, и служили предметомъ для соотвътствующихъ картинокъ, бывшихъ въ ходу въ Европъ и оттуда иногда заходившихъ и къ намъ. Таково, напр., "Изображеніе мужика съ птичьей головой, поиманнаго въ Гишпаніи въ 1821 г.", или извъстіе 1739 года о двухъ чудахъ, лъсномъ и морскомъ, пойманныхъ тоже въ Испаніи: "Копія изъ гишпанскаго мъстечка Вигоса... выписана изъ печатныхъ санктпитеръбурскихъ въдомостей, полученныхъ маія 20 дня сего 1739 года, подъ номеромъ 41", и т. п.

Гораздо интереснѣе для насъ уже прямо-сатирическія изображенія животныхъ съ аттрибутами и въ роли людей. Здѣсь, прежде всего мы встрѣчаемъ знаменитый въ средніе вѣка "Свѣтъ навыворотъ" ("Le Monde bestorné"), въ видѣ картинки, гравированной въ половинѣ прошлаго вѣка, слѣдующаго содержанія:

"Выкъ не захотвлъ быть быкомъ, да и сдвлался мясникомъ; когда мясникъ сталъ бить его въ лобъ, то, не
стерия удара, ткнулъ рогами въ бокъ; а мясникъ съ ногъ
долой свалился; то быкъ выхватить топоръ у него потщился, отрубимши ему руки, повъсилъ его вверхъ ногами и сталъ таскать кишки съ потрохами. — Овца, искусная мастерица, велитъ всъмъ пастухамъ стричься. — Мужукъ, нарядясь, въ стулъ сидитъ, хочетъ стряпчихъ, судей и подъячихъ судить. — Оселъ мужика погоняетъ, за
то, что не скоро онъ выступаетъ. — Малыя дъти старика
спеленали, чтобы не плакалъ, всячески забавляли. —
Вабы осла забавляли, посадивъ въ карету, по улицамъ
катали. — Дворянинъ за пряслицею дома сидитъ, а жена
его на караулъ съ копъемъ стоитъ. — Попугай мужика
въ клътку посадилъ, чтобы онъ говорилъ" и т. д.

Наряду съ заимствованіемъ общеизвъстныхъ, чуть не со временъ египетской древности, изображеній, въ этой картинкъ есть кое-что оригинальное; потому-то, въроятно, она и подвергалась неоднократнымъ запрещеніямъ. Бдительное начальство смущалось то быкомъ, который, будто-

бы, изображаеть крѣпостного крестьянина, расправляющагося съ бариномъ, то мужикомъ, судящимъ господъ, то попугаемъ, посадившимъ мужика въ клѣтку, видя въ этомъ сатиру на сельскихъ "засѣдателей", и пр.

Pendant къ этой картинкѣ, только уже въ совершенно иномъ, серьезномъ тонѣ, находимъ въ текстѣ замѣчательной, большой гравюры "Притча о житіи человѣческомъ и о состарѣніи" (второй половины XVIII в.). Здѣсь, между прочимъ, читаемъ:

"Зри, каковы времена жизни сея и чести, охъ, увы! отовсюду наполненной горестыя лести: кони убо и пси въ великой чести пребывають, а человѣцы во хлѣвѣ и наготѣ рыдаютъ; волы и боровы пренасыщаемы жируютъ, а нищіе, бѣдные, сихъ лишаемы горюютъ; бараны же и козлы въ гордости высоко скачутъ, а безпомощни людіе обидими горюютъ и плачутъ. Сего ради должно намъ сіе (неправду) оставляти, а человѣковъ со скоты и со псы пе равняти" и пр. Къ этой гравюрѣ мы еще возвратимся внослѣдствіи.

Изъ отдёльныхъ изображеній животныхъ въ видё людей отмётимъ уже извёстную намъ "прядущую свинью": у насъ, впрочемъ, она получила особенный, нравоучительный смыслъ. Картинка изображаетъ женщину, заснувшую у прялки; вокругъ нея—семь свиней, которыя выполняютъ обязанности спящей: одна изъ нихъ прядетъ прялку, другая мнетъ ленъ, третья чешетъ его, четвертая разматываетъ нитки и пр. Въ виршахъ, помъщенныхъ подъ картинкой, указывается, что лёность вредна, и что человѣкъ, бросающій свое дѣло, уподобляется свиньѣ. Объясненіе, очевидно, не совсѣмъ удачно приложенное къ рисунку.

Съ иностранныхъ образцовъ скопированы, далѣе, картинки, изображающія обезьянъ-музыкантовъ; надписи къ нимъ придъланы собственнаго сочиненія, съ неизоѣжными крѣпкими словами. На одной изъ эгихъ картинокъ обезьяна, съ копьемъ въ рукѣ и скрипкой на перевязи, обучаетъ

ивнію кота съ кошкой: "Коть вступиль въ науку, взяль и ноту въ руку, а кошка за гусли свла. Учитель сбирается свчь; кошка испугалась, бъжать хочеть въ печь..." На другой картинкъ "три обезьяны у себя имъють органы, нарядились въ разные кафтаны. Одна возить и въ рогь трубить, а задняя мъхомъ (въ нее) дуетъ", и т. д.

Упомянемъ еще "веселое гулянье на мышахъ", картинку 20-хъ или 30-хъ годовъ XIX стольтія: котъ съ кошкой катаются въ коляскъ, на шести мышахъ, запряженныхъ цугомъ; "кучеръ на козлахъ сидя, усердно погоняетъ, а слуга, сзади стоя, сердцемъ содрагаетъ, чтобы господъ своихъ не прогнъвить, себя жизни не лишитъ". Черта, очевидно, имъющая отношеніе къ кръпостному праву.

Далье слыдують двы лицевыя сказки — пародіи на наше старинное судопроизводство. Первая изъ нихъ извъстная "Повъсть о Ершъ, Ершовъ сынъ, Щетинниковъ , на котораго лещъ подалъ челобитную, что онъ насильно завладълъ лещевою вотчиной — ростовскимъ озеромъ. Судьи — осетръ, бълуга и бълорыбица, — допросивъ по формѣ истца, отвѣтчика и свидѣтелей, приговорили ерша "обвинить и въ соль осолить, и противъ солнышка повъсить". Услышавъ такой приговоръ, ершъ "вильнулъ хвостомъ", ушелъ въ хворостъ, "только ерша и видъли". Эта повъсть о ершъ была очень распространена въ нашей рукописной литературъ XVII и XVIII стольтій; на лубочной картинкь она представлена въ очень сокращенной редакціи, въ полномъ же своемъ видь даеть очень интересное стихотворное изображение стариннаго суда, со всвии его формами и обрядами, съ толстыми, ленивыми и глуповатыми судьями, съ юркими приставами, не упускающими случая сорвать взятку, съ разнохарактерными свидътельскими показаніями и ябедническимъ крючкословіемъ. На нашей картинкъ къ разсказу о судъ прибавлена еще цълая исторія истребленія ерша, въ 33-хъ фигурахъ, въ родѣ слѣдующихъ: "Послали міромъ Першу, велѣли заложить вершу; пришелъ Богданъ, ерша Богъ далъ; пришелъ Павелъ, котелъ поставилъ; пришелъ Демидъ, сталъ ерша дымитъ; пришелъ Мина, мякнулъ Демида въ рыло; пришелъ Яковъ, одинъ ерша смякалъ", и проч.

Другая, подобная же, пародія — "Сказка о петухе и курицъ" (первой половины XVIII в.). Это-по формъ написанная челобитная куръ своему господину на мужа ихъ, пътуха, который отъ нихъ сбъжалъ. Истицы, подробно описывая приметы беглеца и жалуясь, что "некоторыя въ домъ старыя куры присмотръли за нимъ немалые амуры", слезно молять "объ оновъ написать билеты и обыскать во всёхъ улицахъ, не сыщется ли гдё при чужихъ курицахъ". Господинъ приказываетъ учинить по прошенію. Ифтуха ловять и приводять къ допросу по пунктамъ, послѣ котораго слѣдуетъ приговоръ: "Настоящимъ деломъ учинить штрафъ падъ петухомъ белымъ: за отлучку его изъ дому отъ своихъ куръ и за имѣніе съ чужими амуръ посадить въ курятникъ въ двѣ колодки... И послъ трехъ дней въникомъ бить при собраніи куръ въ строй... и объявить, ежели впредь будеть такъ поступать, то не такой штрафъ учинять и никакихъ опредъленіевъ не послушають, пріятно въ пирогъ скушають".

Переходимъ, наконецъ, къ послѣдней картинкѣ этого разряда, къ знаменитому въ нашемъ лубочномъ мірѣ изображенію, "Какъ мыши кота погребаютъ". Это несомнѣнно — самое оригинальное и самое смѣлое произведеніе нашего народнаго юмора. Г. Ровинскій довольно убѣдительно доказываетъ, что въ этой картинкѣ слѣдуетъ видѣть карикатуру на Петра I, пародію на его погребеніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на шутовскія процессіи, которыя онъ любилъ устраивать въ своемъ "парадизѣ" — Петербургѣ — для препровожденія времени. Понятно, что цензура очень рано стала преслѣдовать изображенія этой похоронной

процессіи, такъ-что въ наше время въ нихъ не остается уже и слъда тъхъ намековъ и остроумныхъ замъчаній, какія бывали прежде. Въ настоящемъ, "истовомъ", полномъ видъ картинка изображаетъ слъдующее:

Вверху — общее заглавіе: "Небылица въ лицахъ, найдена въ старыхъ светлицахъ, оберчена въ черныхъ тряпицахъ, какъ мыши кота погребаютъ, недруга своего провожають. — Быль престарёлый коть казанскій, умъ астраханскій, разумъ сибирскій (пародія на титуль), а усь сь уса стерскій (т. е. торчащій кверху); жиль славно, плелъ лапти, носилъ сапоги, сладко влъ... умре въ сърый мъсяцъ, въ шестопятое число, въ жидовскій шабашъ... когда въ живности пребывалъ, то по цѣльному мышенку глоталъ". На самой картинкъ, раздъленной на полосы, представлено похоронное шествіе, причемъ надъ каждой фигурой сдёланы соотвётствующія надписи. Коть лежить, со связанными лапами, на чухонскихъ дровняхъ, запряженныхъ восемью мышами цугомъ: впереди дровней — пъвчіе ("старая крыса по нотной книгъ воспъваеть) и музыканты ("веселыя пъсни воспъвають, безъ кота добро жить возвъщають"; затъмъ, въ облаченіяхъ, — "мышь съ Рязани сива въ сарафанъ идучи горько плачеть, а сама въ присядку пляшеть; мыши-Елеси идуть, хвосты повъся; мыши-Ермаки надъли колпаки". За дровнями следують депутаты "оть вольныхъ домовъ, изъ питейныхъ погребовъ" съ водкой и закуской; туть-же двѣ мыши "оть чухонки вдовы" тащуть ушать мерзлаго пива; за ними идуть мыши "лазаретскія", пострадавшія въ баталіяхъ, и представители разныхъ національностей: мыши олонки, мыши-корелки, охтенскія переведенки, тупера изъ Шлюпина, мыши изъ-подъ татарской мечети, которыя "промежь собой по-татарски лепечуть, какъ-бы поглубже кота зарыть", мышь изъ Крыма, мыши новогородки, мыши съ Рязани, по прозванью Макары, — всякая съ своими принадлежностями, съ шутовской закуской для поминальнаго объда. Далъе мышка, сидя на боченкъ съ водкой, "тянетъ табачишко" изъ коротенькой голландской трубочки; мыши изъ Ямской хворыхъ на себъ везутъ, прогоновъ не берутъ; идутъ и трубър разныя шутовскія персоны въ мышиномъ образъ, всъ въ большой радости по случаю смерти кота, поютъ, скачутъ, играютъ и бранятъ возницъ, чтобы скоръе везли, поспъщал и съ веселіемъ кота поминатъ и похмъльныхъ охмълятъ. Шествіе замыкается мышами кухонными: "послъдняя мышь полевая поддорожница, чинная пирожница, горазда печь пироги съ саломъ и для знаку ходитъ со скаломъ" (не Меньшиковъ-ли?).

Изъ этого короткаго перечисленія главнѣйшихъ фигуръ картинки ясно видна ея политическая цѣль. Это была шутовская тризна обиженныхъ мышей надъ своимъ недругомъ, который "когда въ живности пребывалъ, живьемъ ихъ глоталъ". Картинка эта, до сихъ поръ, даже и въ нынѣшнемъ, обезображенномъ видѣ, пользующая ся особенною популярностью, была, надо думать, съ особеннымъ удовольствіемъ принята раскольниками, которые, несомнѣнно, участвовали и въ ея композиціи ("мышка тянетъ табачишко"). Сюжеть ея — совершенно оригинальный, и не только не заимствованъ откуда-либо, но даже не имѣетъ подходящихъ параллелей въ лубочной литературѣ Европы *).

XII.

Изображенія чорта и смерти на нашихъ лубочныхъ картинкахъ почти ничёмъ не отличаются отъ западныхъ,

^{*)} См. разборъ сочиненія Ровинскаго, В. В. Стасова, въ ХХУ присужденіи наградъ гр. Уварова (1883 г.), стр. 1—105.

съ которыхъ они, очевидно, и копировались. встрвчаются преимущественно въ лицевыхъ легендахъ благочестиваго, хотя иногда и очень наивнаго содержанія, гдь они всячески пакостять людямь. На картинь Страшнаго Суда (которая, заметимъ въ скобкахъ, еще въ 1840-хъ годахъ издавалась у насъ Академіей Наукъ) изображается обыкновенно "мърило праведное", или въсы, на которыхъ взвъшиваются добрыя и злыя дъла человъка; два чорта силятся перетянуть чашку въсовъ, но ангелъ отгоняеть ихъ копьемъ. Чорть является непрошеннымъ гостемъ при всякомъ произношеніи его имени; на этотъ предметъ существуетъ особая, курьезная картинка, представляющая, какъ некій добродетельный мужъ, придя домой, крикнулъ слугв своему: "Чортъ, разуй меня! " — и тотчасъ же сапоги стали сами собою сниматься съ превеликимъ трещаніемъ и скоростію, и перенеслись въ непотребное мъсто. За трапезой нечестиваго человъка черти выкидывають самыя комическія колънца: одинъ пакоститъ въ кушанье, другой играетъ на дудкъ, третій пляшеть трепака; но и съ благочестивыми людьми они продълывають то же самое, стараясь ввести ихъ въ искушение. Въ нашей литературъ извъстна лицевая легенда о св. Макаріи и св. Антоніи, къ которымъ бѣсы приходили толпами, въ видъ разныхъ фантастическихъ звърей и курьезныхъ фигуръ, заимствованныхъ съ западныхъ оригиналовъ Калло и Теньера. Мы говорили выше о среднев вковомъ рисункв, изображающемъ, какъ чорть пытался записать разговорь двухъ болтливыхъ кумушекъ и стукнулся головой о столбъ. Нечто подобное представляеть наша легенда о двухъ монахахъ, удалившихся въ пустыню. Однажды старцы собрались побесъдовать "духовив" и незамётно свернули на житейское; подъ конецъ, однако же, опомнились, и стали просить другъ у друга прощенія. Сынъ-отрокъ, бывшій при этомъ, началъ "безстудно смъяться", и на вопросы старцевъ отвъчаль, что бъсы записывали ихъ суетную бесъду на хартіяхъ, когда же хартіи были уже исписаны, бъсы стали писать на себъ, и исписались до того, что на нихъ не осталось пустого мъста. Въ это время старцы стали просить другъ у друга прощенія, вслъдствіе чего хартіи и писаніе на бъсахъ загорълись, и бъдные протоколисты, палимые огнемъ, начали скакать по кельъ съ воплемъ: "Охъ, намъ, увы! сами себя погубихомъ!"...

Существуетъ еще картинка аллегорическаго содержанія, изображающая женитьбу дьявола на неправдъ. Новобрачные сидять за столомъ, уставленнымъ кушаньями; неправда ласкаетъ чорта за бороду. За столомъ же сидять еще два крылатыхь бъса; третій подносить новобрачнымъ чару; сзади двое чертенять наигрывають одинъ на флейтъ, другой на гудкъ. Внизу представлены семь дочерей, родившихся отъ этого брака. Пять изъ нчхъ попечительный отецъ пристроилъ замужъ: гордостьза богатыхъ людей, скупость — за простыхъ людей, лесть — за деревенскихъ мужиковъ, зависть — за мастеровыхъ людей, лицемвріе — за церковниковъ; шестую дочь, спъсь, послаль къ женщинамъ, а седьмую, блудницу, оставиль ходить по свёту. Всё онё успёшно уловляють людей во ада, который представлень туть же, по обыкновенію, въ вид'в громадной пасти чудовищнаго звѣря.

Упомянемъ еще о передълкъ на русскій ладъ французской картинки XVII въка "Le Grand Diable d'argent". На нашей картинкъ, гравированной въ 1776 году, съ очень любопытнымъ текстомъ, представленъ "летящій денежный дьяволъ"; объими руками онъ сыплетъ деньги; деньги же сыплетъ онъ и сзади, другимъ способомъ. Эти деньги нодбираютъ "господинъ [пасторъ" и цъловальникъ" (въ рюмку); живописецъ стръляетъ въ дьявола изъ ружья; "хлъбникъ" тянетъ къ себъ дьявола веревкой; "раба" подбираетъ деньги съ пола; сзади

стоить, сложивши руки на животь, "дама" (въ оригиналѣ — une fille de joie). Съ другой стороны дьявола тащуть къ себъ "сапожникъ" (веревкой) и "портной" последній тянуль дьявола такъ сильно, что оторваль у него полхвоста и раздавиль ногой собаку, надъ которой надписано: "верна собака". Вверху, вследъ за дъяволомъ, вдетъ верхомъ на чортв "господинъ стряпчій", держась за хвость своего возницы. Въ текстъ этой картинки замътна — конечно, сравнительная — сатирическая тенденція. Такъ, напримъръ, здъсь говорится: "Такъ-то, господа, не издъвайтесь надъ этими ловцами; у нихъ уже для васъ отвътъ готовъ: у другихъ видите сучекъ, а у себя бревна не чуете. Зри всякъ: давно уже, какъ купецъ-ростовщикъ, судья-мадоимецъ, секретарь-лихоимецъ, господинъ-наглецъ безъ милости съ крестьянина дереть; спроситка гуся, не зябнуть ли ноги?... Одна только слава идеть между прочими на пасторовъ, на пасновъ и на жидовъ, какъ на важнъйшихъ примъровъ что они только завидливы до денегь: но милуеть ли ростовщикъ должника? не тащить ли ненасытный мызникъ последнюю корову отъ беднаго подчиненнаго? не посматриваеть ли канцеляристь подъ бумагу, а повыше его — подъ сукно, не кормитъ ли завтраками просителя для нажитку? Всв бобры, всв равны; позавидоваль, видно, горшокъ котлу, а оба на одномъ очагъ и у обоихъ дны-то закоптвли", и пр.

Наконецъ, оригинальная роль чорта въ нашихъ лубочныхъ картинкахъ заключается въ охотъ за пьяными мастеровыми, которыхъ онъ отыскиваетъ по кабакамъ, чтобы купить у нихъ душу за полштофъ сивухи, и, достигнувъ своей цъли, тащитъ упившуюся жертву прямо въ адъ, наводя "страхъ велій" на остальную кабацкую публику. Вообще, впрочемъ, нало замътить, что наша лубочная картинка если иногда и потъщается надъ бъсомъ, то несравненно умъреннъе, чъмъ это дълается, напримъръ, въ народныхъ сказкахъ; какъ будто рисовальщики имъли въ виду извъстный разсказъ о томъ, какую пакость устроилъ чортъ однажды монаху - живописцу, осмълившемуся представить его въ безобразно-смъшномъвидъ...

Лицевыя изображенія Смерти, появившіяся у насъ въ XVII столетіи, представляють очень много сходства съ западными "плясками". Но между тъми и другими есть и весьма существенная разница. Въ западныхъ "пляскахъ" противоположность между жизнью и смертью усиливается тъмъ, что послъдняя является всегда съ шутовскимъ оттънкомъ и торжествуетъ побъду, безжалостно издъваясь надъ своими жертвами; это, если можно такъ выразиться, Смерть живая, веселая, приводящая въ ужасъ именно этой своей веселостью, именно тъмъ, что она всъхъ безжалостно заставляеть плясать подъ свою музыку. У насъ ничего подобнаго нътъ. Наша Смертьстрогая, византійски-безстрастная, візчно одинаковая; она дълаеть свое дъло безъ всякаго удовольствія, безъ всякаго издъвательства надъ жертвами; ея голыя челюсти никогда не искривляются въ язвительную улыбку; въ ея фигуръ нътъ ничего комическаго; она никогда не рядится въ маскарадные костюмы и не знаетъпляски. Словомъ, это — настоящая мертвая Смерть, иконописное воплощеніе отвлеченной идеи. Видъ ея возбуждаетъ мистически-мрачное настроеніе. Западная пляска Смерти представляеть финаль житейской трагикомедіи; наши изображенія Смерти напоминають о началь страшнаго, невыдомаго будущаго, говорять намъ не столько о мірской "суеть суеть", сколько о томъ, что "сей свътъ прелестенъ закрываеть отъ насъ свёть безвёстенъ".

Эта противоположность воззрвній западных и наших художниковъ-морадистовъ въ особенною полнотой выразилась въ упомянутой уже нами обширной гравюрв подъзаглавіемъ "Притча о житіи человвческомъ". Любопытный

тексть этой гравюры представляеть, мъстами, почти дословный переводъ съ французскаго текста, подобныхъ же назидательныхъ картинъ; но составитель нашей картинки бралъ у французскаго оригинала только то, что считалъ подходящимъ для своей цъли. Сущность понятія о смерти выражается здъсь въ слъдующихъ словахъ: "Костей зракъ смерти знакъ—зри сіе всякъ—помалъ будеши такъ". Это тементо тогі варьируется, затъмъ, въ цъломъ рядъ похоронныхъ причитаній въ такомъ родъ:

"Гдѣ нынѣ князи пресвѣтліи, играющи со птицами небесными и со звѣрьми? Смерть во гробъ послала, веселіе ихъ и славу забрала... Гдѣ суть нынѣ славніи царіе и мучителіе, владѣющіи многими странами? Вси безъ намяти свѣта лишени. Гдѣ нынѣ воины горделивые и мучители невинныхъ злочестивые? Гдѣ строгіе и страшные гетманы, гдѣ тунеядцы и ласкатели? Гдѣ слава, вѣнцомъ вѣнчанная, гдѣ красота, гдѣ сладкая рѣчь и высокій разумъ?.. Ничто-же зрю отъ сихъ, токмо кости, и черви, и пепелъ... Все привидѣніе, все сонъ, все тѣнь и дымъ, все бѣжитъ мимо, какъ безводное облако"...

Изображенія Смерти встрѣчаются преимущественно въ заголовкахъ синодиковъ, т. е. тетрадей, куда вписывались имена усопшихъ для церковнаго поминовенія. Встрѣчаются, впрочемъ, и отдѣльные листы съ подобными изображеніями. На одномъ ихъ "маловременная красота міра сего" представлена въ видѣ картинки съ приклееннымъ къ ней клапаномъ; когда онъ опущенъ, вы видите кавалера и даму въ роскошныхъ нарядахъ, если же поднять клапанъ, то эти разряженныя фигуры обращаются въ безобразные скелеты.

Эта мрачная мистическая мораль нашего memento mori, съ ея ръшительнымъ отрицаніемъ міра и всего, что въ мірѣ, въ юдоли плача и грѣха была особенно по душѣ нашимъ сектантамъ, отвѣчала тому настроенію, какое возбуждалось въ нихъ гоненіями за вѣру. Въ этой про-

повъди равенства гонителей и гонимыхъ передъ неизбъжнымъ и неумолимымъ судомъ Смерти они находили себъ нъкоторое нравственное удовлетвореніе, и несомнънно, что многія изъ картинъ этого характера обязаны своимъ происхожденіемъ именно сектанству. Для сектанта, преслѣдуемаго за свои убъжденія, въ этомъ мірѣ не могло существовать ничего привлекательнаго, радостнаго, ничего, кром' гръховной тьмы и суеты; у него оставалась только одна надежда — на Смерть, которая всёхъ уравняетъ, и на судъ, который, не взирая на лица, воздастъ каждому должное. Недаромъ составитель приведеннаго выше текста съ особеннымъ удареніемъ указываеть на ничтожество "мучителей". На другой картинкъ эта идея выражена еще нагляднъе и смълъе: Смерть попираетъ четыре головы, изъ которыхъ самая заметная представляетъ несомнънное сходство съ портретомъ Петра Великаго. Издъваясь надъ "гонителемъ", раскольникъ сочиниль ему шутовскія похороны съ мышами; помышляя о суеть суеть, онь постарался напомнить своимъ собратіямъ объ общей участи, которой не избъгнеть и сильный владыка: наконець, въ отместку за преследования и въ утвшение преследуемымъ, онъ изобразилъ того же Петра, ненавистного своими "бусурманскими" новшествами, въ видъ антихриста, низвергаемаго Христомъ въ преисподнюю *)...

Представление о Смерти неразрывно связано въ нашихъ текстахъ съ представлениемъ о страшномъ судѣ, котя на лицевыхъ картинахъ послѣдняго Смерть и не появляется. На этихъ картинкахъ для насъ любопытны только пояснительныя надписи къ отдѣльнымъ группамъ грѣшниковъ, которыхъ сатана стягиваетъ цѣпью и тащитъ въ адъ,—надписи, не лишенныя нѣкотораго сатириче-

^{*)} Картинка "Отъ Христа паденіе Антихриста" съ текстомъ изъ посланія ап. Павла.

скаго оттънка. Здъсь находятся, напримъръ, нищіе, которые "пронырствомъ и лукавствомъ, не ради пропитанія, но ради обогащенія милостыни принимали"; ремесленники, которые "неправдою рукодъліе свое дълали, обманомъ и съ клятвою дорогою цъною продавали"; земледъльцы идутъ въ муку въчную, между прочимъ, за то, что "на господъ роптали и междуусобную брань творили" (нътъ ли тутъ намека на пугачевщину?); "женскій полъ"—за чары и "за безчинное убъленіе лицъ, и за прелестное украшеніе ризъ, и за прочіе злобы и соблазны" и т. д.

XIII.

Умнымъ людямъ у насъ не посчастливилось, и философамъ, по космографіи XVII вѣка, отведенъ для жительства "островъ пустъ"; за-то шутовъ, паяцовъ и вообще дураковъ во всѣ времена было довольно. "На Руси, слава, Богу дураковъ лѣтъ на сто припасено", говоритъ одна пословица, а другая еще рѣшительнѣе увѣряетъ, что "сколько дней у Бога впереди, столько и дураковъ". Всякая область обширной русской земли имѣетъ въ этомъ отношеніи свои спеціальныя привилегіи, свои мѣстныя легенды: одни рака съ колокольнымъ звономъ встрѣчали другіе блинами острогъ конопатили, третьи толокномъ Волгу замѣсили, четвертые свинью за бобра убили, и т. д., и т. д. Словомъ, всевозможныхъ "дурацкихъ персонъ", повидимому, не занимать-стать. Были, однако, и заимствованія.

Музыка, пъніе и пляска повсюду составляють главную народную забаву; и у насъ, какъ и у другихъ народовъ, образовался—и, надо думать, еще въ очень давнія времена, особый классъ людей, спеціально занимавшихся увеселеніемъ публики. Историческія свидѣтельства объ

этихъ игрецахъ, глумцахъ, скоморохахъ, восходятъ къ очень отдаленной поръ. Подобно западнымъ менестрелямъ, наши скоморохи были и музыкантами, и пъвцами, и плясунами, и, вмёстё съ темъ, шутами, увеселявшими толпу своими выходками и остротами. Изображенія такихъ шутовъ находятся, между прочимъ, на знаменитыхъ фрескахъ Кіево-софійскаго собора. Не смотря на постоянныя осужденія "дьявольских скаканій" церковною пропов'тдью, такія пот'тхи не только не прекращались, но, напротивъ, все болѣе и болѣе развивались и разнообразились. Народъ веселился самъ, безъ всякихъ стесненій; люди познативе, ствсняясь приличіями, сами не рвшались пускаться въ плясъ, но за-то любили развлекаться скоморошьими потёхами, замёнявшими для нихъ танцовальные вечера, театры и концерты. На княжескихъ и боярскихъ пирушкахъ толпа скомороховъ съ гудками, бубнами, свирълями и прочей музыкой, неръдко въ шутовскихъ костюмахъ и "харяхъ" (маскахъ), была необходимою принадлежностью; скоморохи играли, плясали, кувыркались, дрались между собою, отпуская крыпкія остроты, и, такимъ образомъ, удовлетворяли потребности посмъяться. Впослъдствім изъ ихъ же среды выдълился особый типъ-придворнаго или двороваго дурака или шута, обязанность котораго заключалась въ томъ, чтобы всячески потвшать своихъ господъ. Какъ придворное должностное лицо, дуракъ является у насъ, въроятно, въ подражаніе западнымъ шутамъ, кажется, довольно поздно,чуть ли не впервые при Иванъ III; по крайней мъръ, если ранбе этого времени онъ и залеталъ въ высокія хоромы, то бываль въ нихъ только случайнымъ гостемъ, а не постояннымъ жителемъ. При Иванъ Грозномъ придворные дураки уже въ полномъ ходу, и съ тъхъ поръ не переводятся. Въ подражание царскому двору, бояре также начинаютъ вербовать дураковъ изъ своей дворни и держать ихъ при себъ. Въ своемъ красномъ кафтанъ

и такой же шапкъ съ погремушками дуракъ свободно расхаживаеть по царскимъ или барскимъ палатамъ, поетъ пъсни, пляшеть, вреть что придется и получаеть когда лакомый кусокъ и чарку, а когда и затрещину. Последнее, впрочемъ, ръже. Дуракъ — особа привилегированная: съ него "взятки гладки", ему, по пословицъ, законъ не писанъ, "на немъ и Богъ не взыщеть, въ немъ и царь не волёнъ". Пользуясь этой привилегіей, дуракь-особенно, если онъ себъ на умъ — иногда говорить чрезвычайно смъло и рѣзко; его остротъ побаиваются; его ублажають; онъ можеть иногда, впору и кстати ввернувъ словечко, подвести кого угодно подъ гнъвъ и подъ милость; про него говорится, что "глупый-то свиснеть, а умный-то и смыслить". Кром'в шутовъ, бывали еще и шутихи, или, какъ ихъ въ свое время называли, "дъвки-дурки", подвизавшіяся на женской половин' дарскихъ и боярскихъ палать. Къ этому же сорту людей относились карлики, карлицы, всякіе уроды и пр.

При дворъ Петра Великаго было до сотни дураковъ, раздёленныхъ на разряды; изъ нихъ особенною славой до сихъ поръ пользуется въ народъ знаменитый Балакиревъ, легендарная біографія котораго издавалась и до сихъ поръ издается не только книжками, но и въ видъ картинокъ. Всемъ известенъ основанный Петромъ "всепьянъйшій и всешутьйшій соборь", на которомъ самь онъ, въ видъ шутовской персоны протодьякона Пахома Михайлова", играль главную роль; извъстны шутовскія процессіи этого собора и изобрѣтенный "протодьякономъ" чинъ избранія и рукоположенія князя-папы, представляющій пародію на церковные обряды; изв'єстно также, что Петръ очень любилъ устраивать всевозможныя маскарадныя потехи, въ которыхъ первое место всегда отводилъ "Бахусу". Почетная и выгодная должность придворнаго дурака составляла предметь зависти, и многіе наперерывь другь передъ другомъ старались доказать свою способность къ занятію этого важнаго поста. При дворѣ Анны Ивановны мы уже встрѣчаемъ титулованныхъ шутовъ.

Народныя картинки дають намъ очень много изображеній дурацкихъ персонъ, какъ заимствованныхъ съ иностранныхъ оригиналовъ, такъ и доморощенныхъ, причемъ и тъ, и другіе вовсе не отличаются остроуміемъ. Изъ иностранныхъ картинокъ у насъ копировались преимущественно итальянскія изображенія типовъ commedia dell'arte и каллотовскіе рисунки въ этомъ родь, напр., Balli di Sfessania. Таковы, напр., изображенія шутовской музыки и пляски, въ которой вмъстъ съ скоморохами участвуетъ и "дама Арина". Музыкальными инструментами здъсь являются преимущественно волынки, віола (рылѣ) и гудокъ. "Пляши, братъ, дътинка", -- говоритъ одинъ скоморохъ другому, — "надулась моя волынка; разгибай только свои ножки, видишь-пищать трубы, яко кошки; возымьй ту ухватку, хвати, брать, въ присядку... Преизрядная музыка — забава очень велика; ежели бы къ ней рылъ были, то-бъ не такъ развеселили... "

Оффиціальными придворными шутами въ нашихъ народныхъ картинкахъ являются Гоносъ и Фарносъ, оба заимствованные изъ итальянской пантомимы. Первый - дуракъ въ шапкъ съ ослиными ушами-ъдетъ верхомъ на палочкъ съ лошадиной головой и рекомендуется такъ: "У меня дурака имя Гоноса, тяжко и велико бремя носа; брада власами аки лёсъ густая, а голова мозгомъ что дупло пустая". Второй разъезжаеть на "иноходной" свинь в и играеть на скрипкв. "Здравствуйте, почтенные господа" — говорить онъ: — "я прівхаль къ вамъ музыканть сюда. Не дивитесь на мою рожу, что я имъю у себя не очень пригожу. А зовуть меня Петруха Фарносъ, потому что у меня большой носъ... " "Сзади: держу ворону, отъ комаровъ оборону; къ тому-жь изъ себя духъ испущаю, тъмъ себя отъ нихъ и защищаю". Фарносъ встръчается на картинкахъ довольно часто, въ различныхъ положеніяхъ; онъ же, подъ именемъ Петрушки, является героемъ народной кукольной комедіи.

Есть еще и другія "дурацкія персоны", взятыя съ иностранныхъ образцовъ, но до такой степени незатъйливыя, что о нихъ не стоитъ и говорить. Вся ихъ претензія на остроуміе ограничивается откровенными позами, да двумя-тремя столь же откровенными словами. Упомянемъ, впрочемъ, объ одной картинкъ, которая была очень распространена по всей Европъ; представлено два шута въ смѣшныхъ позахъ, а подъ ними подпись: "Трое насъ съ тобою (т. е. съ тъмъ, кто смотритъ на картинку) шальныхъ блажныхъ дураковъ". У Шанфлери (Hist. de la car. sous la Réf., 127) воспроизведенъ такой же нъмецкій эстампъ XVII въка, съ подписью: "Еу, Lieber, schau doch frey, wie lachen wir all drey".

Среди шутовъ оригинальныхъ, русскихъ, первое мѣсто занимають два брата — "Оомушка-музыканть да Еремапоплюханть"; у обоихъ у нихъ носы большіе, бороды какъ бороны, а усы какъ кнуты; оба они брюхаты и пузаты, и умомъ оба равны; при этомъ Оома кривъ, а Ерема шелудивъ. Они берутся, по-дурацки, за всякія дъла, но нигдъ не видятъ удачи, и кончаютъ тъмъ, что, пустившись ловить рыбу, оба идуть на дно. Лубочная картинка представляеть, въ очень сокращенномъ и скомканномъ видъ, повъсть о похожденіяхъ двухъ братьевъ, извъстную во многихъ, иногда очень пространныхъ варіантахъ, и, несомнънно, очень популярную у насъ. Но такова ужъ судьба народной картинки нашей, что въ ней не только устно-сказочные, но и рукописные повъствовательные сюжеты всегда какъ-то съеживаются, путываются и теряють значительную долю своего остроумія.

Изъ другихъ шуточныхъ фигуръ на нашихъ картинкахъ часто встръчаются: пономарь Парамошка, кулачный боецъ и кабацкій завсегдатай, Савоська-игрокъ, Софронка и Хавронья съ неизмънными воронами—любимой дурацкой птицей, Данила съ Вавилой и разныя другія персоны топорно-комическаго характера.

Такимъ же характеромъ отличается и лицевое изображеніе "Вятской баталіи", — какъ вятское гражданство противу серпа воевало. Картинка представляеть, однако, не серпъ, а какое-то чудовище, въ родъ огромнаго хамелеона, на избіеніе котораго собрался весь городъ съ вилами, лопатами, кирками, ухватами и разнымъ другимъ оружіемъ. Но никто не знаеть, какъ приступить къ этому дълу, и ни одинъ изъ воителей не ръщается идти впередъ; пономарь въ набатъ бьеть, народъ тревожить, а кто упаль, тоть отъ страху встать не можеть; всв кричать: "напирайте, ступайте, валяйте" и т. п., и никто не двигается съ мъста. Одинъ воитель откровенно сознается, что "лучше кочки марать, нежели на баталіи умирать", другой рекомендуеть свой "порохъ внутренній", который "легко стръляеть, а оть пуль его раненъ никто не бываетъ"; двъ бабы тянутъ водку изъ кувшина--для храбрости, два мужика едуть верхомъ на воле, спинами другъ къ другу, крича: "Ступай, погоняй, поспъщай! пропадеть вся нифантерія, ежели не поспъеть летучая наша кавалерія", и проч. въ томъ же родъ.

XIV.

Изъ сатирическихъ изображеній, относящихся къ быту общественному и домашнему, прежде всего обращають на себя вниманіе нѣсколько шутовскихъ картинокъ, въ которыхъ видны грубые намеки политическаго характера. Таково, напримѣръ, изображеніе, "какъ баба-яга дерется съ крокодиломъ". Баба-яга представлена здѣсь верхомъ на свиньѣ, съ пестомъ въ рукѣ: волосы у нея распущены, за поясомъ заткнуты топоръ и грабли; на головѣ—круглая шапка, отороченная мѣхомъ; рукава и подолъ

платья общиты каймою съ узорами, на манеръ чухонскихъ вышивокъ. Крокодилъ, съ человъческимъ лицомъ, лапами обезьяны и пушистымъ хвостомъ, сидить на заднихъ лапахъ; подъ нимъ — корабликъ съ парусами. Невдалекъ-склянка съ виномъ, изъ-за которой, какъвидно, и произошла драка. Чухонскій костюмъ бабы-яги, корабликъ и вся обстановка картинки показывають, что она сдълана не спроста, а съ цълью посмъяться надъ тъмъ, кого наши сектанты прозвали "лютымъ звъремъ крокодиломъ" и кого они изобразили на другой картинкъ въ видъ погребаемаго мышами кота. По замъчанію г. Ровинскаго, лицо бабы-яги даже несколько напоминаеть лубочные портреты Екатерины I. На другой, подобной же картинкъ "яга-баба съ мужикомъ, съ плъшивымъ старикомъ, скачутъ, пляшутъ, въ волынку играютъ, а ладу не знають". Третья картинка имфеть отношение къ разсказамъ, ходившимъ въ народѣ о большой слабости Петра къ шведской девице: здёсь изображается, какъ "нѣмка ѣдеть на старикѣ, на старомъ..., на большой бородъ, посулила ему скляницу вина да курганъ пива, да съ ногъ его сбила". Сюжеть картинки заимствованъ изъ ходячаго въ средніе вѣка Lai d'Aristote, —разсказа о томъ, какъ любовница Александра Македонскаго осъдлала влюбившагося въ нее философа. Эта исторія изображалась неръдко и на барельефахъ средневъковыхъ церквей. Весьма въроятно, что наша картинка была скопирована съ какого-нибудь иностраннаго рисунка просто ради потъхи, безъ всякой задней мысли, и только впослъдствіи противники Петра придали ей политическое толкованіе, примънивъ къ частному случаю ходячую мораль о женской "злобъ и хитрости".

Воть, съ добавленіемъ котова погребенія, и всё картинки наши, въ которыхъ— и то не безъ натяжки—можно видёть какіе-нибудь политическіе намеки. Карикатуры 1812 года, направленныя противъ Наполеона и фран-

цузовъ, составляютъ совершенно особый отдълъ, разсмотръніемъ котораго мы займемся впослъдствіи; притомъ, онъ не могутъ идти въ счетъ собственно народныхъ картинокъ: народнаго въ нихъ ровно столько же, сколько и въ знаменитыхъ ростопчинскихъ афишкахъ и во всъхъ позднъйшихъ причитаніяхъ въ якобы народномъ духъ, до которыхъ у насъ и теперь есть охотники. Изъ уваженія къ русскому народу, мы не можемъ принисывать ему солидарности съ людьми, пытавшимися, поддълываясь подъ мужицкую ръчь, льстить самымъ грубымъ и пошлымъ инстинктамъ базарной толпы, и видъвшими въ этомъ задачу гражданина-патріота.

Какъ мы уже говорили выше, сатирическій элементь въ нашихъ народныхъ картинкахъ вообще очень слабъ. Пересматривая эту галлерею съ цёлью отыскать въ ней сатирическія изображенія различныхъ сторонъ общественнаго быта, различныхъ классовъ общества, даже хотя бы такихъ, которые всего сильнее давали народу чувствовать свою тяжелую руку, -- мы приходимъ къ результатамъ крайне незначительнымъ. Баринъ-помѣщикъ, напримъръ, вовсе не затрогивается народною карикатурой, если не считать изображеній плясуновь, объёдаль и опиваль въ "господскомъ" платьъ; "купчина-толстопузый" — точно также почти вовсе здёсь не встрёчается; священникъ и монахъ представлены въ высшей степени благоприлично въ сравненіи съ тъмъ, что разсказывается о нихъ въ сказкъ, пъснъ и легендъ'—какъ будто рисовальщики не рёшались пользоваться этими темами, вспоминая, что въ "Хожденіи Богородицы по мукамъ" описываются "огненные столы", на которыхъ горять люди, не почитавщіе духовныхъ. Возьмемъ примъръ, всего болъе подходящій къ предмету нашихъ очерковъ. Въ стихотворномъ разсужденіи о пьянственной страсти (XVII в.), вино, между прочимъ, говоритъ: "Аще содружится со мною попъ, и онъ будетъ аки кабацкій котъ; аще содружится со

мною игуменъ, — ходить начнетъ съ сумою межь гуменъ; аще содружится со мною чернецъ, — и онъ будетъ аки верченый жеребецъ". Это разсужденіе перешло впослѣдствіи въ картинку; въ ней, однако же, приведенныя вирши смягчены до послѣдней возможности, не смотря на то, что онѣ, по силѣ и выразительности, далеко уступаютъ тому, что говорится въ народѣ о духовныхълицахъ.

Вообще, попъ въ нашихъ лубочныхъ картинкахъ не встрвчается вовсе, исключая развв изображеній страшнаго суда, гдв дьяволь, въ числе прочихъ грешниковъ, тянеть въ адъ и "духовный чинъ". Въ числъ лицъ, гонящихся за "денежнымъ дьяволомъ", является, какъ мы видъли выше, "господинъ пасторъ", которому "не жаль и скуфьи, только насыпь ее полну денежекъ-то любезныхъ"; да въ "Женитьбъ дьявола" упоминается, что чорть выдаль лицемфріе за "церковниковъ". При такой почтительности (хотя и невольной) къ духовному чину особенно удивляеть своимъ появленіемъ картинка, изображающая весьма ръзкими карикатурными чертами пьянство и обжорство монастырскихъ отшельниковъ. Это-"Просьба Кашинскому архіепископу отъ монаховъ Калязинскаго монастыря", изданная въ половинъ прошедшаго стольтія. На картинкъ вверху, сльва, представленъ архіепископъ, къ которому монахи приходять съ жалобой; справа, вдали, виденъ монастырь; впереди экзекуція: трое крылошанъ растянули раздътаго монаха на земль, двое стегають его двухвостыми плетьми. На все это смотрить клирь, состоящій изъ восьми монаховъ, а вдали, у забора, — самъ отецъ игуменъ. Калязинскій монастырь не пользовался въ народъ доброй славой, и въ этомъ отношеніи даже упоминается въ народныхъ пъсняхъ; впрочемъ, отъ него не отставали и другіе монастыри; въ иныхъ пьянство доходило до того, что передъ всенощною въ алтарь приносились ведра съ пивомъ и медомъ, и

монахи поочередно ходили прикладываться къ нимъ, откуда явилась поговорка: "правый клиръ поеть, а лівый въ алтаръ пиво пьетъ". Текстомъ для нашей картинки послужила смехотворная челобитная, составленная въ конце XVII въка; только на картинкъ она сокращена и изложена нъсколько иначе. Монахи жалуются на своего архимандрита Гавріила, говоря, что онъ "живеть весьма не порядочно, забывъ страхъ божій и монашеское свое объщаніе": научиль пономарей въ колокола звонить, и тъ ни днемъ, ни ночью не даютъ монахамъ покоя; у воротъ поставиль кривого Фалелея съ шелепомъ, чтобы не пускать монаховъ въ слободу -- "скотнаго двора присмотръть, молодымъ коровницамъ благословение подать"; приказалъ старцу въ полночь ходить по кельямъ съ дубиной и будить монаховъ, чтобы шли въ церковь; "а мы кругъ ведра въ однъхъ свиткахъ въ кельяхъ сидимъ и не поспъемъ въ девять ковшей келейнаго правила отправить". Онъ же, архимандрить, началь монастырскій чинь разорять, старыхъ пьяницъ всёхъ разогналъ и чуть не привелъ монастырь въ совершенное запустъніе, такъ что некому уже и пиво варить; насилу удалось розыскать безграмотныхъ трехъ поповъ, да дьякона съ двумя пѣвчими, которые это правило сдержать могутъ. Трапеза монастырская, благодаря тому же архимандриту, стала совсъмъ изъ рукъ вонъ: ръпа да хрънъ, да старецъ съ шелепомъ Ефремъ: "а по нашему бы смыслу", -говорять честные отцы, -- пради постных дней на столь поставляти вязигу съ уксусомъ, звѣно бѣлужье, уху стерляжью, бълую рыбицу, семушку варену; а въ братинахъ бы было пиво мартовское, да медъ паточный ... Онъ же, архимандрить, разоряя монастырскій чинь, завель земные поклоны; "а у насъ богомольцевъ", говорять жалобщики, "въ уставъ нашемъ сказано, чтобы надъ старыми остатки часы говорить: блаженна была въ ведрахъ; надъ вчерашнимъ пивомъ-слава и нынъ на печь до свъту спать". Въ виду всего этого, богомольцы просять церковь замкнуть,

а колокола снять, да въ городъ Кашинъ сослать, на пиво да на вино промѣнять. "А ежели ему, архимандриту, перемѣны не будетъ (добавляетъ челобитная), и мы, богомольцы, ударимъ объ уголъ плошки да ложки, а въ руки возьмемъ по сошкѣ, да пустимъ по дорожкѣ въ иной монастырь, а гдѣ пиво да вино найдемъ, тамъ и поживемъ; а когда тутъ допьемъ, въ иной монастырь пойдемъ".

Смѣлость этой карикатуры объясняется особыми обстоятельствами: она была пущена въ народъ именно въ то время, когда Екатерина II только - что составила свой планъ объ отобраніи у монастырей недвижимыхъ имѣній; картинка, безъ сомнѣнія, издана съ ея разрѣшенія, безъ котораго издатели, въ виду пикантности сюжета, могли бы подвергнуться обвиненію не только въ кощунствѣ, но и въ богохульствѣ.

Судьямъ и приказнымъ посчастливилось меньше, чѣмъ духовенству, хотя и не такъ, какъ можно было бы ожилать. Ихъ касается лицевое изображеніе знаменитаго "Шемякина суда", гдѣ разсказана исторія судьи, который, ради обѣщанной взятки, рѣшилъ три дѣла въ пользу отвѣтчика, а послѣдній, на вопросъ о посулѣ, отозвался, что "если бы судья не по немъ судилъ, онъ-бы его убилъ,—то ему сулилъ". Сюда же относятся карикатурныя изображенія "приказныхъ крючковъ", сюжетами для которыхъ служать преимущественно басни Сумарокова и Измайлова.

XV.

Съ особенною любовью останавливается народная картинка на женщинахъ и на пьянствъ. Здъсь сюжеты чрезвычайно разнообразны и многочисле нны. Источниками вдохновенія для рисовальщиковъ служили, въ болъе старыя времена, объемистые сборники повъстей, жартъ,

фацецій и "прикладовъ"; "Римскія Дівнія", "Великое Зерцало" и т. д., затъмъ, въ ближайшее къ намъ времякартинки нъмецкія, голландскія; Эзоповы басни; различные анекдоты, преимущественно французскаго производства; Лафонтенъ, Сумароковъ, Хемницеръ, Измайловъ; книга "Старичекъ Весельчакъ, разсказывающій давнія московскія были" (С.-Пб., 1790), въ которой попадаются нъсколько боккачьевскихъ новеллъ; наконепъ, знаменитое въ своемъ родъ произведение профессора математическихъ наукъ Н. Г. Курганова: "Россійская универсальная грамматика или общее письмословіе" (1-е изд. С.-Пб., 1769). Эта книга, въ которой, между прочимъ, находятся "краткія вамысловатыя повъсти" очень нескромнаго содержанія, въ духв второй половины нашего XVIII стольтія, имела громадную популярность; ея изданія следовали одно за другимъ въ продолжение многихъ десятковъ лётъ, расходились въ огромномъ количеств в экземпляровъ и, подобно народнымъ картинкамъ, исчезали въ народъ отъ употребленія и времени. Въ свою очередь, всё сюжеты разсказовъ, обработанныхъ названными выше русскими писателями, заимствованы изъ иностранныхъ источниковъ, такъ что громадное большинство относящихся сюда картинокъ нельзя считать оригинальными, а только передъланными на русскій ладъ. Есть между ними, конечно, и оригинальныя, блистающія вполнъ самобытной композиціей рисунка и смілостью текста, не поддающагося перепечаткъ. Вообще, приводить обстоятельныя выдержки изъ текстовъ этого отдела довольно затруднительно, такъ что о многихъ картинкахъ приходится ограничиваться только упоминаніемъ, отсылая за подробностями къ драгоценному сборнику Ровинскаго.

Самыя старыя картинки этого рода составлены по ходячимъ теоріямъ "Пчелы" и аскетическихъ пропов'єдниковъ о "женской злобь". Эти теоріи, занесенныя къ намъ изъ Византіи и съ Востока и быстро снискавшія себ'ь популярность, мы встрычаемъ еще въ древныйшемъ

нашемъ литературномъ памятникѣ, — въ "Изборникѣ" Святослава (XI в.). "Жена, соблазнившая Адама, — говорится тамъ, — положила начало всякому грѣху. Не слушай злой жены; медъ каплетъ изъ устъ ея, но онъ скоро будетъ горчѣе желчи и острѣе ножа обоюдуостраго. Женщина уловляетъ души честныхъ людей и низводитъ ихъ въ адъ; пути адови — пути ея. Добраго мущину найдешь одного въ тысячѣ, а доброй женщины не встрѣтишь ни одной и въ десяткѣ тысячъ"... (слъдуютъ библейскіе примъры).

Составители христоматій, изв'єстныхъ подъ названіемъ "Пчелъ", особенно усердствовали въ подборъ сильныхъ эпитетовъ для выраженія своего презрѣнія къ женщинъ. "Злая жена, — говорится въ одной изъ такихъ христоматій, есть съть, дьяволомъ сотворенная. Она прельщаеть лестью, свётлымъ лицомъ, очами поводить, языкомъ поеть, гласомъ скверное глаголеть, словами чаруеть, злыми дълами многихъ язвить и губить... Она прехитро себя украшаеть, пріятныя сандаліи обуваеть, и въжды свои ощиплеть, и духами учинить, и лице и выю вапами (бълилами) повапить, и черности въ очесъхъ себъ украсить; когда идеть, ступаеть тихо, и шею слегка обращаеть, а зрвніемь умильно взираеть, уста сь улыбкой отверзаеть, и всь составы къ прелести ухищряеть, и многія души огнепальными стрелами устреляеть", и т. д. Нътъ такого браннаго слова. котораго бы не было употреблено здёсь по отношенію къ женщинь; изобретательность древне-русскихъ книжниковъ въ этой области просто изумительна. Впрочемъ, такое отношение къ женщинъ не составляло спеціально-русской особенности: у насъ оно явилось результатомъ чужой культуры, и вообще въ среднев ковой Европъ было въ большомъ ходу.

Вся эта брань, эти притчи и глупые анекдоты живо распространялись въ народѣ и отражались въ ходячихъ пословицахъ и поговоркахъ, въ родѣ слѣдующихъ: "курица не птица, баба не человѣкъ; баба да бѣсъ—одинъ

у нихъ въсъ; собака умнъй бабы, на хозяина не лаетъ; кто бабъ повъритъ, тотъ трехъ дней не проживетъ; у бабы семь пятницъ на недълъ, 72 увертки въ денъ и т. п. *).

Старинныя картинки нравоучительно - сатирическаго содержанія, им'єющія предметомъ женскую "злобу", представляють рядь лицевыхь изображеній кь упомянутымь нами текстамъ, а позднейшія—къ шуточнымъ народнымъ пъснямъ. Наиболъе элементарнымъ изъ рисунковъ, описанныхъ у Ровинскаго, являётся небольшая картинка, гравированная однимъ очеркомъ, безъ тѣней; здѣсь представлена съ одной стороны Далила, обстригающая волосы спящему Сампсону, съ другой-дьяволъ и змъя; вдали Ева соблазняеть Адама яблокомъ. Внизу-подпись: "Золъ змьй; злые змыя дьяволь; злые всего злая жена. Другія картинки гораздо пространнъе и замыслова тъе. Такъ, на одной изъ нихъ представлено въ лицахъ, въ 24 отдъленіяхъ, "Изъ книги Цветника слово св. Василія Великаго о злобахъ женскихъ и о взоръ на лицахъ", гдъ приводятся цитаты изъ "Пчелы", изъ Соломона и даже "изъ Книги ариеметики", которая будто бы, учить не върить жалобамъ жены на слугъ и рекомендуеть поучать злую жену "древомъ", — какъ извъстно, это одинъ изъ наиболъе распространенныхъ на Руси педагогическихъ методовъ. Подобнаго содержанія, только гораздо короче. "Слово св. Іоанна Златоустаго о злыхъ женахъ" (въ десяти отдъленіяхъ).

Сюда же можно отнести двѣ позднѣйшія (второй половины XVIII столѣтія) картинки, предметомъ которыхъ служить доброе и худое домоправительство. На первой представлены мужъ съ женою: они сидять, обнявшись, на диванѣ. На плечахъ у нихъ—коромысло, на которомъ виситъ гиря; супруги поддерживаютъ ее руками. На гирѣ надпись: "Прочь, горе, престань бременемъ насъ стра-

^{*)} Даль. Пословицы, І, 437—440.

шить; прочь, зависть и грусть не можеть разлучить ". На столь—книги съ виршами о счастливомъ супружествъ. Вторая картинка скопирована, безъ всякихъ измѣненій, съ нѣмецкаго оригинала; подписи представляють также безграмотный переводъ безграмотнаго нѣмецкаго текста. Мужъ дерется съ женою; онъ стащилъ съ нея чепецъ и вырваль изъ косы клокъ волосъ; жена правой рукой сдернула съ него парикъ, а лѣвой замахивается на него связкою ключей. Дъяволъ надуваетъ ей въ ухо мѣхами.

Извъстный "Домострой", въ которомъ также немало говорится о "злыхъ женахъ", повидимому, вовсе не имълъ вліянія на наши народныя картинки. Это объясняется, можеть быть, твмъ, что "Домострой" служить отраженіемъ семейнаго быта только высшаго класса современнаго ему русскаго общества. Во французской народной литературъ наставленія по части домоводства гораздо полиже. Существуеть, напр., наставление новобрачной, какъ ей въ первый разъ входить въ спальню супруга, "стыдливо, но съ рѣшимостью пожертвовать собой сесть цѣлыя сочиненія, руководящія неопытныхъ супруговъ въ діль любви, съ скандальными картинками; есть и правила, какъ обществъ: не слъдуетъ вести себя въ порядочномъ грызть ногтей, не ковырять въ зубахъ, не харкакь, не вонять, не сморкаться въ руку или въ рукавъ, чихать съ учтивостью и не икать; если же будеть позывъ на рвоту, то рвать въ уголъ *). Въ собраніи г. Ровинскаго имфется только одна картинка этого рода, изданная во второй половинъ XVIII стольтія. Картинка эта замъчательна тьмъ, что въ ней заглавіе не вяжется съ текстомъ, а текстъ-съ содержаніемъ рисунка. Последній представляеть копію съ картины голландскаго художника начала XVII въка, Исаака-ванъ-Остада — "Кабачекъ": одинъ изъ пирующихъ стоитъ, поднявъ кверху стаканъ; другой сидитъ на стуль, -- его рветь; за столомъ

^{*)} Nisard. Hist. des livres populaires. Paris, 1854, I, 227, 312; II, 385.

двое играють въ кости, третій обнимаеть женщину, четвертый стоить съ балалайкой подъ мышкой. Картинка озаглавлена: "Знай себя, указывай въ своемъ домѣ"; а текстъ состоить изъ виршей, въ которыхъ изложены правила "благоповеденія", въ родѣ слѣдующихъ:

"Гдѣ посадятъ, тутъ и сиди, а гдѣ не велятъ,—не гляди. Что поднесутъ то и пей, а питья на землю не лей: и самъ ты сіе помнишь, что питіемъ землю не наполнишь. Сиди въ бесѣдѣ, не ворчи; но лучше сидя промолчи: за доброе честь воздадутъ, а за худое въ лобъ попадутъ. Сиди кротко, не вертися, а на грубыя слова не сердися", и т. д.

Гораздо большею оригинальностью, разнообразіемъ и многочисленностью отличаются потъшные листы, изображающіе другія стороны супружеской жизни, именно-тъ "72 увертки", о которыхъ говоритъ народная пословица. Анекдоты "Великаго Зерцала" и "Римскихъ Дъяній", новеллы Боккаччіо, францувскія фабльо и произведенія русскихъ баснописцевъ иллюстрированы здёсь часто довольно забавнымъ и наивнымъ образомъ. "Женатый волокита", "Старый мужъ и молодая жена", скабрезные разговоры между супругами, расправа мужа съ невърной женой, издъвательства жены надъ мужемъ и пр. — таковы сюжеты этихъ произведеній. Между ними нередко встречаются картинки, прямо скопированныя съ иностранныхъ (преимущественно французскихъ) оригиналовъ, причемъ тексть, по обыкновенію, присочинень самостоятельный. Особенно курьозно изображение рогоносца, взятое съ нъмецкой картинки, причемъ название Hahnreiter переведено буквально: "Рейтаръ на п'ьтухъ": кавалеръ, въ шляпъ, украшенный рогами и ослиными ушами, скачеть верхомъ на петухе. Двумя пальцами правой руки онъ кажеть рога. Вдали видно цълое войско, верхомъ на изтухахъ, съ знаменами и трубами. Надписи объясняють, въ чемъ дъло: "Рейтаромъ на пътухъ меня называють, и всъ прелюбодейницы такъ признавають. Вду я на петухе,

стяжанномъ моею женою ... Внизу, подъ картинкой, изображенъ гербъ: плачущій рогоносецъ, съ пѣтухомъ и рогами на шляпѣ. Pendant къ этой картинкѣ представляетъ "Рейтарша на курицѣ", разряженная дама, верхомъ на курицѣ; правою рукой кажетъ кукишъ. Вдали цѣлый полкъ амазонокъ на курахъ. Внизу—гербъ: щитъ, въ которомъ ухватъ, болванка и связка ключей.

Сюда же относятся изображенія "терпѣливыхъ отцовъ". Одинъ изъ нихъ, въ круглой шляпѣ, черезъ которую поднимаются вверхъ два оленьихъ рога, обвѣшанъ со всѣхъ сторонъ спеленанными ребятами: "Поспѣшать скорѣй домой,—говорить онъ:—не родился ли еще какой?" Другой, у котораго родился ребенокъ на двадцатой недѣлѣ послѣ свадьбы, вполнѣ соглашается съ доводами своей жены, что иначе и быть не можетъ, и пр.

Вообще, картинки скабрезнаго содержанія были у насъ въ большомъ ходу, особенно въ царствованіе Екатерины II, когда наряду съ знаменитымъ поэтомъ Барковымъ славился не мѣніе знаменитый рисовальщикъ Чуваевъ. Распространенію подобныхъ сюжетовъ, конечно, не мало содъйствовали своеобразные придворные обычаи того времени, когда, по удачному выраженію г. Ровинскаго, извъстную пословицу о пьяныхъ бабахъ ("баба пьяна-всякому жена") можно было примънить и къ большинству трезвыхъ женщинъ. Въ народныхъ картинкахъ той поры представлены въ лицахъ всевозможныя любовныя продълки, большею частью въ самой безцеремонной, цинической формъ. Тутъ видимъ и лакеевъ, дворниковъ, кучеровъ съ кухарками и судомойками, и франтовъ, пристающихъ къ разнымъ "жеманницамъ", и охотниковъ за, пастушками, и старыхъ "немцевъ", которые выпрашивають у молодыхъ "нёмокъ" любви— "хоть изъ милости" е и "нѣмку верхомъ на старикъ" — русское воспроизведені-средневъковаго Lai d'Aristote, съ намекомъ на Петра Ве ликаго. Длинный рядъ этихъ картинокъ достойно завершается миніатюрною книжечкой подъ заглавіемъ "Гадательный способъ, для увеселенія". Здёсь на двадцати листочкахъ со всею откровенностью представлены разныя любовныя забавы, съ соотвётственными надписями.

Къ тому же отдълу принадлежить заимствованное изъ нъмецкихъ народныхъ листовъ изображеніе "голландскаго лъкаря", помолаживающаго старухъ. Лъкарь стоитъ слъва, съ большой дубиной въ рукъ; старая старуха подаетъ ему конвертъ съ надписью: "90 лътъ"; два мужа вез утъ къ нему въ тачкахъ своихъ старыхъ женъ. Вдали происходитъ самый процессъ лъченія: поставлены двъ огромныя печи, раздуваемыя мъхами; работники взносятъ по лъстницъ раздътыхъ старухъ и сбрасываютъ ихъ въ печь, изъ которой снизу старухи выскакиваютъ уже молодыми.

Нъсколько любопытныхъ и долго пользовавшихся особенною популярностью картинокъ посвящено сватовству и разсужденіямъ о женитьбъ. Тексты ихъ, вообще отличающіеся многословіемъ, составлены въ дурацкомъ стилъ и представляють народіи на росказни старинныхъ свахъ. Таковъ, напр., разговоръ между женихомъ и свахой. Женихъ стоитъ въ какомъ-то фантастическомъ костюмв, съ огромнымъ носомъ, съ шляпой съ перомъ подъмышкой и трость держа въ лѣвой рукѣ; передъ нимъ сваха--старуха съ клюкой, въ коротенькой шубейкв и капорв. Онъ просить ее найти ему подходящую невъсту. "Надъйся на меня, -- говорить ему сваха: -- будешь доволень; я имъю приворотный корень; видя твою дурацкую рожу, приведу съ рогами къ тебъ козу". На другой картинъ того же содержанія фигуры жениха и свахи скопированы съ рисунковъ Калло "Balli di Sfessania": это-полишинель и танцовщица; стихи текста взяты изъ кургановскаго Письмовника.

Сваха предлагаеть жениху списки невъсть и описи приданаго; "Реестръ о дамахъ и о прекрасныхъ дъвицахъ" перечисляеть ихъ качества: "Наглая спъсь Маремьяна; толста да проста Афросинья; худое соврать Агафья; поскакать да поплясать Афимья; въ любви пожить Надежда;

наварныя щи Анисья; винца испить Аксинья" и т. д. "Росписи приданому" — пародіи на старинныя "рядныя записи", въ которыхъ приданое невъсты высчитывалось до самаго ничтожнаго хлама. Картинка изображаетъ круглый столь, за которымъ сидить женихъ; передъ нимъ лежить роспись, на которую указываеть сваха; около стола стоить разряженная невыста; сзади-господинь во французскомъ кафтанъ подноситъ жениху рюмку водки, а съ другой стороны слуга несеть ему же стаканъ пива. Текстъ начинается словами: "Роспись приданому, тебъ, молодцу удалому; слушай, женихъ, не вертись, а что написаноне сердись". Затъмъ слъдуетъ перечисление движимаго и недвижимаго имущества—въ такомъ родъ: "Изъ посуды липовые два котла, да и тъ сгоръли до тла... Изъ платьядва полотенца изъ дубоваго полѣнца; праздничный уборъ, въ которомъ лазятъ красть куръ черезъ заборъ; юбка съ рукавами, опушена блохами... Жениху дюжина рубахъ моржовыхъ, да столькожь штановъ ежовыхъ". Недвижимое имфніе составляють: "два лукошка земли въ Ломовф, да гнилое болото въ Ростовъ; пустошь по четыре десятины, а свется по четыре дубины; деревня межь Кашина и Ростова, позади Кузьмы Толстова; корова бура, да и та дура"... Наконецъ, слъдуетъ статья о красотъ невъсты: "Невъста въ полосьма аршина, поперекъ ея половина; во рту калина, а въ носу выросла рябина, бъла и румяна какъ обезьяна... А живетъ оная невъста за Яузой на Арбатъ, на Ворондовскомъ скатъ, близь Вшивой горки на Покровкъ, не доходя Петровки" (перечисляются самыя противоположныя мъстности).

Упомянемъ еще о карикатурахъ на моды и прически, явившійся у насъ съ конца прошлаго стольтія. Всь онъ скопированы съ французскихъ оригиналовъ, такъ какъ Парижъ, законодатель моды, самъ же первый надъ нею и потьшался. Необыкновенныя шляпы, сапоги съ широкими отворотами и узкими, загнутыми кверху, носками, фраки съ полами въ четверть и фалдами въ два аршина,

конечно, были предметами посмъянія; но, какъ и въ наше время, женскіе костюмы и прически заставляли см'вяться надъ собою гораздо больше, чемъ мужскіе. Срисовывая иностранныя модно-карикатурныя изображенія этихъ уборовъ, русскіе художники объясняли ихъ по-своему, иногда очень курьозно. Такъ, напр., на одной картинкъ представлены дама въ головномъ уборъ аршина въ полтора вышиною и испуганный этимъ безобразіемъ мужъ, который ищеть спасенія въ бъгствъ. Въ текстъ, для объясненія этого чуда, сочинена цілая исторія о томъ, какъ мужъ ругалъ жену за ея малый ростъ и какъ она, съ досады, "навертьла платковь, колпаковь, подвязокь, чулковъ, кульковъ... И сделавши на голове высокую машину, вошла къ мужу-господину, себя въ одинъ мигъ показала несмысленной скотиной... Мужь испугался, кошка заворчала, собака завизжала, попугай встрепенулся, а мужъ отъ страху перекувырнулся и просилъ прощенья". Русскій рисовальщикъ, въ своей наивности, очевидно, не допускаль даже и мысли, чтобы такая нельцость, какъ аршинная прическа, могла требоваться законами "хорошаго тона", а не являлась только случайною глупою причудой.

На другой картинкъ того же рода дама сидить въ головномъ уборъ громадной вышины. Парикмахеръ, стоя на высокой лъстницъ, завиваетъ щипцами букли на верхней части убора. Мужъ угломъромъ измъряетъ высоту прически.

Вообще, моды XVIII вѣка такъ интересны и поучительны съ точки зрѣнія исторіи человѣческой глупости, что, перелистывая модныя картинки той поры, вы невольно задаетесь вопросомъ: не карикатуры ли это, — и, наоборотъ, разсматривая карикатуры, не всегда отличите ихъ отъ настоящихъ модныхъ картинокъ. Сегодня нарядная дама изображаетъ изъ себя нѣчто въ родѣ вѣчевого колокола, завтра она похожа на сложенный дождевой зонтикъ; сегодня она носитъ на груди огромпую воронко-образную кирасу, а на шеѣ—десятки лежащихъ другъ на другѣ

воротничковъ, завтра преображается въ полуобнаженную греческую нимфу, чтобы на другой день снова изчезнуть въ тысячъ сборокъ и складокъ. Особенною причудливостью всегда отличались прическа и вообще головные уборы. шляпки, наколки и т. п. Парикмахеръ становится важной особой; ежедневно изобрътая новыя, все болье и болье странныя формы, онъ вплетаетъ въ прическу маленьжія зеркала, перья, ленты, бусы, драгоценные камни, кружева волото, серебро. Однажды Марія-Антуанета, не найдя ничего подходящаго для украшенія своей прически, бро сила куаферу пару чулокъ; "художникъ" тотчасъ же вплела ихъ въ волосяную пирамиду, построенную имъ на голово королевы. Фрегату "La Belle-Poule" удается отмичеться. въ морскомъ сраженіи; на другой же день по полученія извъстія объ этомъ г-жа Полиньякъ является на упри дворный баль съ целымъ кораблемъ на голове. Но вержомъ совершенства въ отношени причудливости и нелъпости была, въ свое время, прическа герцогини Шартрской, матери Луи-Филиппа. На головъ герпогини можно было видьть: 1) кормилицу, сидящую въ кресль, съ ребенкомъ (герцогомъ Валуа) на колъняхъ; 2) попугая, клюющаго вишню; 3) негра, ведущаго собачку на шнуркъ; 4) локонъ волось герцога Шартрскаго, мужа герцогини; 5) локонъ волосъ герцога Пантіевра, ея отца; 6) локонъ волосъ герцога Орлеанскаго, ел тестя; 7) миніатюрный салонъ со стульями, столами и картинами.

Вообще, объ этихъ прическахъ можно сказать, что модныя дамы теряли изъ-за нихъ голову, къ великой радости художниковъ-жанристовъ и карикатуристовъ. Ихъ произведенія, отчасти переходившія и къ намъ, представляють цілый музей, очень любопытный.

Карикатура костюма и прически соединяется часто съ насмѣшкой надъ щеголями и щеголихами, у которыхъ, по словамъ народной пословицы, "на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣщелкъ." Такъ, одинъ франтъ въ богатомъ кафтанѣ, съ аршинымъ тупеемъ на головѣ, въ чулкахъ и

башмакахъ съ груглыми пряжками, объясняется съ разряженней дамой въ головномъ уборъ исполинскихъ размёровъ: "Когда жилъ въ Казане, бродилъ въ сарафане: прибыль въ Шую, надъль козлиную шубу; нынъ... но модъ убираюсь, пруткомъ подпираюсь, въ прекрасныхъ садикахъ гуляю, амурныя песенки попеваю". Другой щеголь, при шпагъ, въ высокомъ парикъ съ косичкой и треуголкой, обращается къ просто одътому знакомому, "Одолжи, батенька, копъекъ двадцать-пять, — нужда, брать, одноколку нанять: мнв къ сосвдкв хочется щегольски появиться, а мною она, надъюсь, плънится .--"Удивляюся, — отв'ячаеть тоть, — твоей щегольской одеждь, а пуще-безстыдной твоей рожь: убравшись въ такомъ дорогомъ кафтанъ, надобно имъть пятьдесять рублевъ въ карманъ", и пр. На третьей картинъ представленъ франтъ — "хвостъ веретеномъ, дома-щи безъ крупъ, а въ людяхъшапка въ рубль".

Следуеть упомянуть еще — "Оду о прекрасномъ уборе", къ которой приложено изображение господина съ высочайшимъ хохломъ, на вершину котораго посаженъ петухъ. За этимъ франтомъ идетъ дама, тоже очень эксцентрично причесанная; шлейфъ ея несутъ два пажа; тутъ же стоитъ разукрашенная лошадь; шествіе замыкаетъ оффиціантъ съ корзиной цветовъ. Текстомъ къ этой картине взято, совершенно произвольно, искаженное стихотвореніе, кажется, принадлежащее перу знаменитаго непечатнаго поэта екатерининскимъ временъ:

"Всеобщая людей отрада, Начало жизни и прохлада, Она-веселостей всёхъ мать: Ее хочу я прославлять", и пр.

Наконецъ, укажемъ еще, какъ на курьезъ, на слъдующее "объяснение въ любви". Щеголь на колъняхъ передъ щеголихой; оба во французскихъ костюмахъ и чрезвычайныхъ прическахъ. Подпись гласитъ: "Человъкъ, вдавшійся любострастію, представляетъ самую бъднъйшую

тварь, и гнусною илѣненный любовью неминуемому подвергаеть себя паденію".

Припоминая исторію надзора за нашею печатью, невольно хочется спросить: ужь не принадлежить ли эта мораль перу усерднаго цензора, на одобреніе котораго была представлена картинка и который однажды уже совершиль чудо претворенія непечатной жидкости въ розовую воду?

XVI.

Кабакъ или, по старинъ, государево кружало, всегда игралъ видную роль въ русскомъ общественномъ быту. Сюда шли и съ радости, и съ горя, и съ голоду, и съ холоду, и съ хвори; здёсь, въ этомъ единственномъ русскомъ народномъ клубъ, собирались и повеселиться, и обсудить разныя дёла, и вершить сдёлку, люди всёхъ званій и состояній; здісь постоянно пребывали кабацкіе засъдатели-голи да ярыги съ зернью (костями), картами и табачнымъ зельемъ; сюда же сходились и "веселыя персоны". сдълавшія изъ любви доходное ремесло (такова, на нашихъ народныхъ картинкахъ, дамская персона Херсоня, которая "по ночамъ не усыпаеть, все панамъ услужаеть . Но главною привлекательною силой кружала, конечно, было вино. Не даромъ въ богатомъ и обильномъ языкъ нашемъ существуютъ (какъ у арабовъ-для верблюда) сотни названій для веселящаго душу напитка, сотни терминовъ для обозначенія различныхъ видовъ и степеней пьянства, сотни глаголовъ, равносильныхъ слову напиться пьянымъ. У насъ напиваются даже по сословіямъ и спеціальностямъ: сапожникъ — настукался, портной — настегался, купецъ — начокался, музыканть наканифолился, приказный — нахлестался, чиновникъ нахрюкался, лакей—нализался, баринъ — налимонился, нъмецъ-насвистался, служивый-подгуляль, и т. д. до безконечности *). Неудивительно, что и въ народной картинной галлерев кабакъ занимаетъ почетное мъсто.

Относящіяся сюда картинки, по своему содержанію, дълятся на два разряда: однъ-болъе старыя-поучительныя, другія позднівшія—юмористическія. Семнадцатый вък, старавшійся сохранить степенность даже и въ самомъ развратъ, повторяетъ ту же самую проповъдь противъ пьянства, какъ порока душевреднаго и бъсоугоднаго, . какая началась на Руси еще за 600 леть передъ темь, и съ тъхъ поръ не прекращалась; но, повторяя эту проповедь, моралисты XVII века заботятся о томъ, чтобы сдълать свои поученія доступнъе, придать имъ болье популярную форму риомованныхъ сентенцій. Таково, напр., "Разсужденіе въ міру вина пити, а черезъ міру себя губити" и "Слово о омраченномъ піанствъ". Приведемъ изъ послъдняго слова небольшой отрывокъ, по тону своему очень близко подходящій къ текстамъ старинныхъ картинокъ, изображающихъ пьянство.

"Піанство многихъ погуби, душу нужно отъ тѣла разлучи. Святаго покаянія лиши, таинъ пріяти отлучи. Мыслити полезная возбрани, пещися духовнѣ отсѣче. Тѣло показа надменно, лице опухлостію потупленно. Во храмъ Господень внити возбрани, а на кабакъ двери отвори. Піаница рано ставаетъ, церковь Божію минаетъ, къ кабаку спѣшитъ, хощетъ и послѣдніе у себя порты пропитъ. Изо рта у него воняетъ, а рукъ умыти незнаетъ. Полонъ ротъ вина наполняетъ, едва и чарки не проглотаетъ. Сожралъ-бы соленаго и кислаго, хотя бы изъ судна нечистаго", и пр.

Къ первой, нравоучительной, категоріи картинокъ относятся изображенія Хмѣля, олицетвореннаго пьянства, и его подвиговъ. "Азъ есмь хмѣлъ, высокая голова, —говорить онъ о себъ, — болѣ всѣхъ плодовъ земныхъ". Перечисляются печальные результаты запойства для всѣхъ сословій — для князей, поповъ, купцовъ, мастеровыхъ, кре-

^{*)} Даль. Пословицы, И, 378.

стьянъ и т. д., съ соотвътствующими рисунками и ссылками на Іоанна Златоуста, Василія Великаго, Кирилла и "Анахариса", философовъ, поученіями своими предостерегавшихъ отъ пьянства.

Особенною подробностью и обстоятельностью отличается двухлистовая картинка "пьянственной страсти". Въ срединъ, въ овалъ, два голыхъ Бахуса *), въ виноградныхъ вънкахъ, сидять другъ противъ друга, верхомъ на бочкахъ; одинъ другому наливаетъ въ бокалъ вино. Внизу "чумакъ" (названіе кабацкаго сидъльца) цъдить изъ бочки водку. Вдали видны пьяные въ разныхъ положеніяхъ: двое дерутся дубинами, двоихъ рветъ. Одинъ повалился спать, другой играеть на волынкъ, третій, съ удивленіемъ смотря на нихъ, бредеть домой. Кругомъ-надпись: "Оле невоздержнаго піянства и всепагубнаго злолютаго запойства!" Въ текстъ разсказывается происхождение Хмъля (отъ насажденія діаволя) и перечисляется весь его родь. У него шестеро сыновей: Прокуси-Кувшинъ, гнусный Мокроусъ, вздорный Заусайло, наглый Обусайло, обжорливый Обусило и шестой — "скаредный пьяница, зловонить какъ смрадная отходная ямица". Далье излагаются, въ виршахъ, послъдствія цьянства, сначала по степенямъ, по числу чарокъ (всъхъ чарокъ-десять: "первую питьздорову быть, повторить — умъ обвеселить, утроить — умъ устроить, четверту пить-неискусну быть, и чемъ дальше, тъмъ все хуже: "десятую выпивать—себя въ грязи валять"), потомъ-по сословіямъ, далве-по физическимъ немощамъ и нравственной репутаціи. Наконецъ сл'вдуетъ нравоученіе: "Ей, лучше оть гъянства престати или м'врно, здравія ради, вкушати, или трезвенный квасъ пити, и тъмъ себя доволити".

^{*)} Фигура Бахуса скопирована съ печати, пожалованной Петромъ I войску Донскому. На этой печати былъ представленъ голый казакъ, сидящій на бочкъ, съ ружьемъ въ правой и чаркой—въ лъвой рукъ.

Такого же содержанія, съ незначительными варіантами— "Поученіе о еже не упиватися", украшенное изображеніями пьяницъ, мучимыхъ чертями въ аду.

Какъ мы уже имъли случай замътить, обличительный тексть этихъ картинокъ сильно смягченъ въ сравненіи съ старинными поученіями противъ пьянства, въ которыхъ этотъ порокъ рисуется гораздо болбе ръзкими чертами. Особенно замътно это по отношенію къ духовенству, о которомъ народная картинка всегда упоминаетъ лишь въ самыхъ робкихъ и осторожныхъ выраженіяхъ, между темъ, какъ десятки проповедей и соборныхъ актовъ XI-XVIII вековъ свидетельствують о распространенности "всепагубнаго злолютаго запойства" именно среди этого класса общества. О томъ же говорять и посъщавшіе Россію иностранцы. Такъ напр., у Хитрея (De Russorum religione narratio, 1582) о тогдашнихъ духовныхъ лицахъ сказано: "In tabernis publicis vinum adustum totos dies potant; cumque jam nec mens, nec pedes officium taciunt, saepe velut emortui in mediis plateis concidunt et obdormiscunt" ("По цълымъ днямъ въ кабакахъ пьютъ горълку, и когда уже и умъ, и ноги перестаютъ служить, неръдко падають, какъ мертвые, середь пола, и засыпають"). Другой путешественникъ, двъсти лътъ спустя, писалъ (Briefe aus Russland, Braunschw, 1770, S. 169): Lesen, schreiben, etwas herschreien, was er selbst nicht versteht, gut trinken und-das ist alles, was ein russischer Geistlicher weiss". О монахахъ въ этомъ смыслъ много поучительнаго можно найти, напр., въ "Духовномъ Регламентъ" и въ трактатъ Өеофана Прокоповича о монашескомъ житіи *).

Переходомъ ко второй категоріи картинъ, посвященныхъ пьянству, — юмористическихъ, — служитъ лицевая притча о мастеровомъ, предавшемся бъсу за скляницу

^{*)} Подробности относительно поученій противъ пьянства читатель найдетъ въ "Очеркахъ" Буслаева, I, 556—572.

вина. Изображеніе пьянаго мастерового, постоянно сваливающагося въ грязь и навозъ и опохмѣляемаго чертомъ, очень комично; но составитель картинки этимъ не ограничился, а присовокупилъ еще поученіе; "Братіе, оставите піянства и злого запойства. Когда намъ по вся дни упиватися, то и до смерти не проспатися. Уже супостать нашъ, діаволъ, трезвъ есть, а не піянъ, ищеть поглотити піяныхъ и лежащихъ аки мертвыхъ гнилости ради піанственной". Эта картина была, повидимому, очень популярна, такъ какъ встрѣчается во многихъ изданіяхъ (до 1840 годовъ) и съ разными варіантами.

Съ петровскою реформой взглядъ на пьянство измѣняется, и отношеніе къ нему изъ степенно-поучительнаго переходить въ шуточное. Царь преобразователь, какъ извѣстно, очень жаловалъ "Ивашку Хмѣльницкаго" и учредилъ въ честь его всешутѣйшій и всепьянѣйшій соборъ, въ которомъ самъ игралъ видную роль протодьякона. Составленный имъ чинъ посвященія членовъ этого собора, представляющій пародію на посвященіе въ высшій духовный санъ, начинается разговоромъ поставляющаго и поставляемаго:

- "Что убо, брате, пришелъ еси и чесого просиши отъ нашея немърности?
- "Еже быти сыномъ и сослужителемъ вашея немѣрности.
- "Піянство Бахусово да будеть съ тобою! Како содержиши законъ Бахусовъ и во ономъ подвизаещися?
- "Ей, Орла подражательный и всепьянъйшій отче! Возставъ по утру, еще тьмъ сущей и свъту едва являющуся, а иногда и о полунощи, вливъ двъ или три чарки, испиваю. И продолжающуся времени не инако, но симъ же образомъ препровождаю. Егда же придетъ время объда, пью по чашкъ немалой; такожде перемъняющимся брашномъ всякій рядъ разными питьями, паче же виномъ, яко лучшимъ и любезнъйшимъ даромъ Бахусовымъ, чрево свое, яко бочку, добръ наполняю; тако, что иногда и

ядемъ мимо рта моего носимымъ отъ дрожанія моея десницы и предстоящей во очесёхъ моихъ мглѣ. Инако же мудрствующія отвергаю, и яко чужды творю, и анасематствую всёхъ пьяноборцевъ. Но яже выше тѣхъ, творити обѣщаюсь во вся дни живота моего, съ помощію отца нашего Бахуса, въ немъ же живемъ, а иногда и съ мѣста не движемся, и есть ли мы или нѣтъ—не вѣдаемъ. Еже желаю тебѣ, отцу моему, и всему вашему собору получити. Аминь".

— Піянство Бахусово да будеть съ тобою, затемнѣвающее и дрожащее, и валящее и безумствующее тя во вся дни живота твоего.

Затьмъ ставленника облачають, при соотвытственныхъ возгласахъ архижрецовъ; налагають на него руки, и первый архижрецъ читаетъ: "Рукополагаю азъ пьяный сего нетрезваго, во имя всыхъ кабаковъ, во имя всыхъ табаковъ, во имя всыхъ водокъ, во имя всыхъ винъ", и т. д. Потомъ налагаетъ шапку, съ возгласомъ: "Вънецъ мглы Бахусовой возлагаю на главу твою, да не познаеши десницы твоей, ниже шуйцы твоей во піянствъ твоемъ!" Послычего поютъ: "Аксіосъ!" и архижрецъ сядетъ на свой престолъ, и вкушаетъ Орла, и прочимъ подаетъ. И тако оканчивается". (Ровинскій, IV, 234—235).

Пародіей на эту пародію явилась, до н'вкоторой степени, картинка, представляющая "посвященіе изъ простыхь людей въ чиновные чумаки". Здісь, въ собраніи ціловальниковъ и кабацкихъ ярыгъ съ пьяными бабами, хозяинъ кабака — "въ щегольскомъ плать , им в на голов высокій валеный колпакъ въ два локтя, на ногахъ тупоносыя туфли и подпоясанъ по выстроченной по подолу рубашк в шелковымъ поясомъ" — обращается къ посвящаемому съ такими словами: "Ежели будешь в тренъ, то я хочу надъ цілымъ мірникомъ тебя поставить. Остави ты мірскія работы и прилівпися къ винной мірь, пріучай же пьяныхъ подъ свою стойку, растворяй

скупыхъ карманы и привлекай ихъ складывать кафтаны ... Затъмъ совершается дурацкій обрадъ посвященія.

Въ собраніи рукописей И. Д. Бъляева, перешедшихъ послъ его смерти въ московскій публичный музей, находится небольшая тетрадка, писанная въ концъ XVII стольтія и заключающая въ себъ "Праздникъ кабацкихъ ярыжекъ", въ формъ церковной службы—вечерни и заутрени. Вотъ нъсколько отрывковъ изъ этого характернаго произведенія стариннаго русскаго книжника—обличителя пьянства:

"Мѣсяца Китовраса въ нелѣпый день, иже въ неподобныхъ кабака шального, нареченнаго въ иноческомъчину Курехо, и съ нимъ страдавшихъ трехъ самобратій по плоти: Гомзина и Алафіа и Омельагу, буявыхъ служителей христіанскихъ...

"На малъй вечерни поблаговъстивъ въ малыя чарки, такожде позвонивъ въ полведришка пивишка, стихиры въ меньшей закладъ... Подобенъ: Вседневному обнаженію"...

Далее следують стихиры съ запевами, сначала на вечерни—малой и великой,—потомъ на утрени:

"Запъвъ 1. Да уповаетъ пропойца на корчмъ испивъ лохомъ...

"Стихира 1. Въ три дни очистился еси, якоже есть писано, піаницы царствія Божія не наслѣдять, безъ воды на сушѣ тонуть. Быль со всѣмь, а сталь ни съ чѣмъ. Перстни, человѣче, на рукахъ мѣшають, а портки и ногавицы тяжело носить. И ты ихъ на пиво мѣняеши"...

Кремъ стихиръ, переложены въ примъненіи къ кабакамъ и пьяницамъ и другія церковныя пъсни и молитвы, между прочимъ: Отче нашъ, Нынъ отпущаещи, нъкоторые псалмы, пареміи (подъ заглавіемъ: "Отъ мірскаго житія чтеніе"), и проч., а на утрени ноложенъ, кромъ того, канонъ съ ирмосами, съдальнами и проч. Напримъръ:

"Канонъ бражникамъ. Гласъ пустошной. Пѣснь 1. Тормосъ. "Воду прошедъ, болото перебрелъ, изъ двора вышелъ, отъ жены злой журбы убъжалъ, на кабакъ зашелъ, три выпилъ чарки винца, хватился за мошну, мошны не сыскалъ, пъснь побъдную воспълъ, едва и платьишкомъ пролъзъ".

"Пѣснь 6. Очистилъ мя еси, кабаче, донага: много было имѣнія, изъ дому все выносилъ и на тебѣ пропилъ, и къ женѣ прибрелъ, и нагъ и босъ борже спать повалился, а въ нощи пробудился, и слышахъ жену и дѣтей злословящихъ мя: ты пьешь и бражничаешь, а мы съ голоду помираемъ".

Встръчаются стихи, направленные спеціально противъ духовенства, напр.:

"Мечуще одѣяніе свое, ходяще безпрестани на корчму, другъ ко другу глаголаху съ похмѣлья попы и діаконы, складъ чиняху и на медъ посылаху ведро, глаголюще: пропьемъ однорядку темнозеленую, да повеселимся; не пощадимъ кафтана зеленаго, сорокоустными деньгами окупимся. Сице попы помышляюще пьяные, коего бы мертвеца съ зубовъ одрать. Черными сермягами оболчемся, и у мужиковъ во братчинахъ пропьемъ, и отъ попадей журбы убѣжимъ..."

Въ одномъ стихѣ, кромѣ духовенства, исчисляются и другія сословія:

"Что ти принесемъ, веселая корчма?.. Попы и дьяконы—скуфьи и шапки, однорядки и служебники, чернцы манатьи, рясы, клобуки и свитки, и всѣ вещи келейныя; дьячки—книги, и переводы, и чернилы, и всякое платье и бумажники пропиваютъ, а мудрые философы мудрость свою на глупость премѣняютъ; служилые люди хребтомъ своимъ на печи служатъ; князи и боляре и воеводы за меду мѣсто величаются , и т. д. *).

Интересна въ бытовомъ отношеніи картинка, изображающая "Аптеку цълительную съ похмълья", т. е. ка-

^{*)} Викторовъ, А. Е. Собраніе рукописей ІІ. Д. Бъляева. М., 1881, стр. 33—35.

бакъ, въ два яруса. Внизу, за стойкой, стоитъ цѣловальникъ въ колпакѣ; надъ нимъ, на полкѣ, "водки всякія". Подъ стойкой подписано: "Пожалуйте, господа, ежели деньги у васъ карманы станутъ драть, извольте къ намъ за стойку подавать, мы оныя можемъ сберегать, чѣмъ у васъ даромъ пропадать". Вокругъ стойки изображается обычное кабацкое препровожденіе времени. Тутъ и солдатъ, и трое дерущихся между собою мужиковъ, и Савоська въ позѣ, излюбленной Теньеромъ; на верху—кавалеръ съ дамой; мужикъ съ бабой; Савоська да Парамошка въ карты играютъ; скоморохъ съ Прѣсни наигрываетъ пѣсни.

Въ кабакѣ же (на другой картинкѣ) происходитъ "Разговоръ пьющаго съ непьющимъ": послѣдній усовѣщиваетъ перваго, доказывая вредъ и зазорность пьянства, но пьющій посрамляетъ его: "Сколько вы ни говорили, а виномъ меня не напоили; сказалъ чумаку: налей, братъ, вина крючекъ, вотъ тебѣ за него пятачекъ; и сказалъ: здравствуй я, да милость моя, а вамъ, сударь (непьющему), неприлично здѣсь словесъ плести, пора тебѣ со двора брести".

Шутъ Фарносъ съ своей женой Пигасьей также являются въ кабакъ и просять чумака опохмѣлить ихъ, такъ какъ у него же они наканунѣ все пропили. Чумакъ отвѣчаетъ имъ словами кабацкой мудрости: "Сегодня за деньги, завтра въ долгъ".

Митя плачеть надъ разбитой косушкой: "Плачь—безъ надежды, грусть—безъ отрады, печаль—безъ утѣхи!"

Наконецъ, укажемъ еще на картинку, изображающую пьяницу между бочками вина, съ виршами въ лакейскокабацкомъ стилъ:

"Очень гнусно забывать, пить безъ мъры и мотать, Такъ за бочкою валяться, себя мотомъ представлять. Какъ богатъ, ты пилъ напитки и красотокъ надълялъ, А теперь во всемъ убытки, все съ безчинствомъ прогулялъ.

Ходиль часто пить въ кабакъ, сталь всемъ гнусенъ и дуракъ".

Другая картинка представляеть сцену уже изъ трактирной жизни, следовательно, рисуеть, такъ сказать, более высокую ступень цивилизаціи. Это — переводъ стараго французскаго анекдота о томъ, какъ "безстыдный" зашель въ трактиръ, подсель къ столу, где ужинали "веселые люди", и, не обращая вниманья на ихъ протесты, выдолбивъ себе ложку изъ хлебной корки, поёлъ у нихъ щи и кашу, а затёмъ нагадилъ у ихъ постели, за что трактирщикъ ихъ же выгналъ вонъ.

Съ пьянствомъ неразлучно обжорство, которое является въ карикатурѣ въ чудовищно - преувеличенныхъ размерахъ. Въ нашей народной галлерев существуетъ мъчательная по своей исторіи. Рисунокъ этотъ скопированъ съ французской политической карикатуры: "Le cidevant grand couvert de Gargantua moderne en famille", гдъ въ видъ Гаргантюа представленъ Людовикъ XVI. Здёсь въ самой грубой форм' выражена идея, что король живеть на счеть всей Франціи и одинь поглощаеть все ея достояніе. Гаргантю а сидить за столомь, съ своей семьей. Множество прислуги подаеть къ столу разную провизію - жареную птиду, рыбу, пироги, омаровъ; работникъ и работница взбираются по лестнице, приставленной къ столу, и изъ корзинъ ссыпають на блюдо золото и ассигнаціи. Король подняль на вилкъ цълаго поросенка; передъ нимъ-большое блюдо жареныхъ сердецъ. Сзади стоитъ королева съ стаканомъ въ рукъ; Булье цедить въ этоть стаканъ кровь изъ горла работника. Внизу-стихи:

> Que dans un seul repas il consume de vivres! Un boeuf pour lui n'est qu'un lapin, D'un coup il vide un muid de vin, Il ne fait qu'un morceau d'un pain de douze livres, etc.

Людовикъ XVI и въ самомъ дѣлѣ пользовался славою человѣка съ большимъ аппетитомъ. Шанфлери приводитъ еще двѣ карикатуры на него по этой части. Одна пред-



ставляетъ арестованіе короля въ Вареннѣ (21 іюня 1791 г.), въ то время, когда онъ сидитъ за обильно уставленнымъ столомъ; на ней написано: "Les gros oiseaux ont le vol lent" (намекъ на неудачный побѣгъ короля). Другая представляетъ Людовика сидящимъ по горло въ винной бочкѣ, кругомъ которой валяется множество бутылокъ; Генрихъ IV въ изумленіи озирается кругомъ и спрашиваетъ: "Ventre-saint-gris, où donc est mon petit-fils Louis?!"

Этотъ же мотивъ ненасытнаго обжорства примѣнялся впослѣдствіи къ различнымъ лицамъ и обстоятельствамъ. Англійскій карикатуристъ Джильрей издалъ, напр., въ 1792 г., рисунокъ—"Un petit souper à la parisienne", представляющій революціонеровъ— мущинъ, женщинъ и дѣтей—обжирающихся человѣческими головами и внутренностями. Во время наполеоновской экспедиціи въ Египетъ въ Лондонѣ вышла карикатура, на которой Джонъ Вуль пожираетъ, съ помощью ножа и вилки, цѣлый флотъ и т. д.

Въ упомянутой нами русской картинкъ семейство Гаргантюа отсутствуеть, и объёдало пожираеть провизію одинъ. Подробности также переиначены на русскій ладъ. Видно, что нашъ рисовальщикъ, познакомившись съ французской картинкой и не зная языка ея надписей, не поняль ея смысла, поразился только представленіемь обжорства, и воспроизвелъ рисунокъ по-своему, присочинивъ къ нему собственный текстъ: "Онъ самъ объ себв объявляеть: когда быль маль, тогда въ прожорствъ себъ подобнаго не сыскаль, а когда сталь молодець, тогда вль всъмъ не въ образецъ... Въ одинъ разъ четверть вина выпиваю, пудовымъ хлебомъ заедаю; быка почитаю за теленка... Кто мою пузу наполнить, пять дюжинъ бурлаковъ накормитъ". Предполагаемые "господа зрители" удивляются, спрашивая другь у друга: "Кто такъ много ъсть, кто такъ много пьеть? развъ тотъ уродъ, что стояль въ Тверской-Ямской, близъ Трухвальныхъ Воротъ? тотъ по возу въ день свна съвдаль и по десяти ушатовъ... это, видно, братцы, онъ, что назывался въ стары годы слонъ".--

"Ха, ха, ха, господа, — отвъчаетъ объъдало, — сочли вы меня за слона! Въдь только за мной и мастерства, что наъмся, напьюсь, да и спать повалюсь".

Впослѣдствіи и русской картинкѣ старались придать политическое значеніе, какого она, конечно, не имѣла. Старообрядцы увѣряють, что объѣдало представляеть Петра I, который, какъ извѣстно, очень любилъ плотно покушать и хорошо выпить; другіе же говорять, что эта картинка имѣетъ въ виду знаменитаго Таврическаго князя Потемкина, который отличался рѣдкостнымъ аппетитомъ.

Въ англійскихъ народныхъ листкахъ есть исторія туземнаго объбдалы: "The great eater of Kent, or past of the admirable teeth and stomach exploits of Nicholas Wood of Harrison... Ву John Taylor" (Lond. 1630). Этотъ господинъ съблъ заразъ цълаго барана, и тъмъ увъковъчилъ свое имя въ исторіи вды.

Апоееозу разгула, пьянства и обжорства представляеть лицевое изображение двухъ самыхъ любимыхъ и самыхъ пьяныхъ народныхъ праздниковъ-последняго зимняго и перваго весенняго, масленицы и семика. Этобольшая, двухлистовая картина, въ центръ которой представлены Семикъ и Масленица, въ видъ жениха и невъсты. Они стоятъ, въ русскихъ костюмахъ, по бокамъ стола, на которомъ лежатъ три вѣнка; въ открытую дверь видны три березки. Надпись: "Сказаніе о честномъ Семикъ и о честной Масленицъ, честь и похвала. Масленица Семика къ себъ въ гости звала". Кругомъ размъщено 26 маленькихъ квадратиковъ, въ которыхъ наглядно показаны разныя масленичныя дъйствія и приключенія: двое паяцовъ, двое пьяныхъ и двое хмѣльныхъ ("нынъ вамъ объявляется, о масленицъ возвъщается"); пъсенники, музыканты, гуляющіе посадскіе, ямщики съ санями. Къ воротамъ подъважаетъ повадъ: впереди-два пъшихъ музыканта, одинъ съ гудкомъ, другой — съ дудкой; сзади ихъ-еще два музыканта, верхомъ на свиньяхъ, одинъ съ волынкой, другой съ чеканомъ (флейтой); за

ними — пляшущіе паяцы, окруженные толпою зрителей. Далве — сцены домашнія: двв бабы пекуть блины, гости объдають за столами, приговаривая: "Мы для нея станемъ подливать, съ самаго четверга подпивать"; немного дальше — восемь мужиковъ дерутся на кулачкахъ; за столомъ сидятъ четверо; мужъ дерется съ не узнаютъ женою; пятеро пьяныхъ другъ Четверо гулякъ несуть въ кабакъ, въ закладъ, одежу ("а хоть и съ себя что заложить, а масленицу проводить"); впереди парень подаеть цъловальнику, въ окно, шанку; сзади стоить другой, котораго рветь цёлымъ ручьемъ; въ заключение дожидаются очереди мужикъ събабой. Вирши выражають надежду, что масленица, встречаемая жареными пряженцами и пшеничными блинцами, будетъ "играть и плясать, яко коза, а другимъ подбиты будутъ и глаза", и сожальють о томь, что "веселіе сіе недолго будеть продолжаться, но вскорт изволить въ свой путь отправляться".

Наши народныя картинки дають только слабые намеки на излюбленный европейскими карикатуристами сюжеть противоположности между толстыми и тощими, и вовсе не знають, столь распространеннаго на Западъ въ средніе въка и послъ, сказанія о побоищъ Масленицы съ Постомъ, которому посвящено множество интересныхъ рисунковъ. Укажемъ, для примъра, на этюды голландскаго художника Петра Брейгеля (XVI в.): "Толстые и тощіе", въ которыхъ представлена въ лицахъ самая ръзкая и комическая антитеза человъческихъ темпераментовъ, и на произведенія Раблэ, иллюстрированныя въ манерѣ того же Брейгеля. Здёсь аппетиты всёхъ сортовъ и размеровъ представлены степенью ожирфнія. Тощій человфкъ, — говоритъ Раблэ, — загадка; толстякъ-откровенная исповедь. Загадка тягостна, исповъдь радостна. На цвътущей физіономіи толстяка вы можете видеть следы, оставленные виномъ, женщинами, пирами. Толстякъ со всею искренностью выставляеть наружу вст свои качества. Тощій неспокоень, подозрителенъ, сдержанъ; у него всякое чувство заперто на свою особую задвижку. Осторожный, холодный, флегматичный, онъ всегда старательно затворяетъ всё окна своей души, и больше изучаетъ другихъ, чёмъ обнаруживаетъ самого себя. Толстякъ представляетъ собою двё фигуры: первообразную и вторичную, которая служитъ для первой чёмъ-то вродё рамки и состоитъ изъ толстыхъ наслоеній жира—продукта цивилизаціи. У тощаго вы найдете только желчь да мрачныя мысли; толстякъ имѣетъ видъ бочки добраго бургонскаго.

Вотъ въ чемъ заключается философскій смыслъ смѣхотворнаго культа толщины на Востокѣ и на Западѣ. Раблэ, изучая старинныя фаблье, проникся такимъ же уваженіемъ къ тучности, какимъ отличались авторы этихъ стихотворныхъ анекдотовъ, въ числѣ которыхъ видное мѣсто занимаетъ "Баталія Поста съ Мясоѣдомъ" ("Bataille de Caresme et de Chairnage").

Король Людовикъ-такъ гласитъ преданіе -- созвалъ въ Парижѣ, по случаю праздника, всѣхъ своихъ вассаловъ. Въ числъ прочихъ явились сюда два могущественныхъ феодала, каждый со своею свитой. Первый звался Мясоъдомъ и имътъ много друзей среди королей, герцоговъ и прекрасныхъ дамъ; имя другого было Постъ; онъ былъ обладателемъ богатыхъ аббатствъ и верховнымъ повелителемъ надъ прудами, ръками и морями. Хотя его всъ недолюбливали, однако, завидъвъ среди его свиты жирныхъ лососей и осетровъ, всъ оказали ему любезный пріемъ. Это возбудило зависть соперника-Мясовда, который бросиль Посту перчатку и ополчился на него войною. Оба герцога немедленно отправились въ свои владенія и кликнули бранный кличъ, созывая върныхъ вассаловъ и слугъ своихъ. Постъ выбралъ въ гонцы сельдь, которая съ быстрогой стрылы пронеслась по всым морямь и сообщила всёмъ рыбамъ объ обиде, нанесенной ихъ сюзерену. Всё рыбы пообъщали свое содъйствіе. Мясоъдъ послаль къ своимъ вассаламъ жаворонка. Журавли и цапли первыми явились на зовъ; лебеди и утки стали на стражѣ на устьяхъ рѣкъ, чтобы не пропускать ни одного непріятеля; свиньи, бараны, телята, поросята, зайцы, индюки, куры, гуси—всѣ, не исключая и кроткаго голубя, откликнулись на призывъ Мясоѣда.

Пость, вооруженный съ головы до ногь, выступаеть въ походъ, верхомъ на ослъ. Шлемъ у него изъ сыра, латы изъ камбалы, шпоры изъ рыбыхъ костей, мечъ изъ мягкаго паштета, шпоры изъ птичьихъ клювовъ, и пр.

И грянуль бой... Сухіе, тощіе вассалы Поста поб'яждены жирными, упитанными защитниками Мясо'єда, Пость вынуждень просить мира. Гордый своею поб'єдой Мясо'єдь сначала требуеть, чтобы Пость совс'ємь ушель изъ христіанскихь странь; но зат'ємь уступаеть, и заключаеть съ своимъ противникомъ торжественный договорь, въ силу котораго Посту предоставляется право удержать въ своей власти сорокъ дней въ году и, кром'є того, два дня изъ каждой недёли...

Мы наметили, въ этихъ беглыхъ и неполныхъ очеркахъ изъ исторіи карикатуры, главнъйшіе моменты ея развитія на Западъ, главные сюжеты, которыми она занималась, и, параллельно съ этимъ, старались указать на зачатки русской карикатуры въ народныхъ картинкахъ. Подойдя къ концу XVIII стольтія, къ эпохъ, бывшей свидътельницею окончательнаго паденія средневъкового уклада въ европейскомъ обществъ и начала новаго строя политической и общественной жизни, мы должны остановиться, потому что далье никакое сравнение западной карикатуры съ русскою уже невозможно. На Западъ карикатура еще въ эпоху реформаціи сділалась, наряду съ народными летучими листками и памфлетами, однимъ изъ могучихъ орудій общественной мысли, и съ того времени постоянно стремилась упрочить за собою это значеніе. Съ конца XVIII въка она ръшительно достигаетъ этой цъли

и обращается въ популярную форму для выраженія самыхъ разнообразныхъ, и нерѣдко очень важныхъ, идей политическихъ и общественныхъ. У насъ ничего подобнаго никогда не было и быть не могло, а потому карикатура западная и наша представляютъ двѣ величины совершенно несоизмѣримыя.

Сравненіе, сдъланное нами въ предыдущихъ главахъ, заставляеть сознаться, что наша народная юмористика, поскольку она выразилась въ рисункахъ, имъетъ, въ сущности, лишь весьма условное право называться народною, русскою, такъ какъ она, за весьма немногими, единичными исключеніями, не была и не остается плодомъ свободнаго и самостоятельнаго народнаго творчества. Между тъмъ какъ на Западъ народная потъшная картинка всегда шла параллельно съ другими произведеніями народнаго ума, у насъ, въ силу особыхъ условій, неблагопріятныхъ для развитія этой области народнаго юмора, она всегда стояла, и по замыслу, и по исполненію, далеко ниже произведеній устной пародной словесности. Наши рисовальщики-юмористы очень мало пользовались народными сюжетами, а предпочитали заимствовать чужое, случайно попадавшее имъ подъ руку. Иностранные образцы, и сами по себъ не особенно высокаго достоинства, еще болъе искажались и опошлялись вследствіе безтолковой передълки ихъ на русскій ладъ. Бъдность идей, отсутствіе мальйшихъ признаковъ талантливости въ ихъ обработкъ, плоскость, беззубость и пошлость "сатиры", недостойной этого названія—воть каковы родовыя качества нашей домашней карикатуры, не только старинной, но и современной, не только той, какая фабрикуется лубочными граверами для "свраго" мужика, которому что ни дай, все сойдеть, лишь бы было красно, сине и зелено, —но и той, которая изготовляется особыми спеціалистами для еженедъльнаго услажденія "чистой" публики. Въ этомъ отношеніи "спеціальная" наша карикатура даже во многомъ уступаетъ лубочной, если принять во вниманіе разницу во вкусахъ потребителей. Впрочемъ, какъ на ту, такъ и на другую существуетъ одинаково сильный спросъ, и если наши такъ-называемые "сатирическіе" листки на-кодятъ читателей и покупателей, то объ этомъ можно только сказатъ словами народной мудрости: "По Сенькъ и шапка".

Русская литература въ XIX въкъ.

Въ исторіи русской литературы, какъ и вообще въ исторіи умственной жизни русскаго общества, минувшій въкъ имъетъ очень важное значеніе. Въ продолженіе этого стольтняго періода не только доведень до возможной степени совершенства нашъ литературный языкъ и выработаны формы поэтического творчества, но существенно изм'внилось и самое содержаніе литературы: изъ неопредъленно-космополитической и подражательной, какою она была въ предшествующемъ стольтіи, она сдълалась національною, пріобрѣла жизненный характерь и глубокое общественно-воспитательное вліяніе. При этомъ и кругь людей, посвящающихъ себя литературной дёятельности, и кругъ читателей, которые ищутъ въ литературъ не одного только препровожденія времени, серьезнаго общественнаго содержанія, въ теченіе въка все болье и болье расширяется; по мьрь того, какъ образованіе проникаеть изъ верхнихъ слоевъ все глубже и въ массу, прежде ему не причастную, глубже внизъ, эта масса начинаетъ выдълять изъ себя и писателей, являющихся выразителями ея интересовъ, и людей, интересующихся литературою. Этотъ процессъ постепеннаго расширенія той сферы, которую стремится охватить литература, и вмъстъ съ тъмъ — процессъ ея демократизаціи, и составляеть одну изъ наиболе характерныхъ

особенностей нашего литературнаго развитія въ XIX вѣкѣ. Какое литературное наслѣдство досталось XIX вѣку отъ его предшественника?

Въ теченіе XVIII стольтія наша литература усвоила извъстныя условныя формы, заимствованныя у французскихъ классиковъ и ихъ подражателей, выучила наизусть правила Буало и позднъйшихъ его послъдователей, старалась выработать опредёленный языкъ и слогъ, отчасти знакомилась и съ тъми идеями, которыми жило въ ту пору передовое европейское человъчество; но знакомство это было случайно и непрочно, какъ случайны были и вкусы небольшого кружка тогдашней русской интеллигенціи, для которой литература еще не успъла пріобръсти серьезнаго значенія. Большинство писателей, даже выдающихся по таланту, смотрели на свои литературные труды, какъ на второстепенное занятіе; кругь распространенія и вліянія литературы быль еще слишкомъ незначителенъ, и она не могла претендовать на самостоятельность, какъ не могла и освободиться отъ позолоченныхъ оковъ условнаго французскаго вкуса. Но уже и въ эти ранніе ученическіе годы нашей литературы она чутьемъ угадывала свой настоящій путь и, въ лицѣ наиболѣе умныхъ и даровитыхъ своихъ представителей, обращалась къ изученію и воспроизведенію русскаго быта, хотя бы и обработаннаго ею по иностраннымъ правиламъ, — стремилась быть выразительницею идеаловъ русскихъ мыслящихъ людей или, по крайней мъръ, хотъла освъщать явленія русской жизни тъми идеями, которыя воспринимались ею съ Запада. Тесная связь изящной литературы съ моралью, бывшая однимъ изъ характерныхъ явленій европейскаго XVIII въка, отразилась и у насъ, — и на рубежѣ новаго стольтія наша литература уже носить въ себъ зародыши будущаго общественнаго учительства, которое стало впоследстви главной ея задачей и источникомъ ея жизненной силы. Литературныя формы и понятія, унаслідованныя отъ прошлаго, скоро оказались обветшальми и были отброшены; освобожденный отъ условныхъ правилъ, книжный языкъ получилъ возможность быстраго развитія и обогащенія, которыя скоро сділали его живымъ словомъ: старинное "стихотворство" все боліве и боліве уступаетъ свое місто настоящей поэзіи.

Этоть переходъ отъ XVIII въка къ XIX-му совершается съ большой постепенностью: последнія нити прошлаго тянутся далеко въ глубь новаго періода; но, съ другой стороны, новыя понятія пускають все болбе и болье глубокіе корни въ сознаніи образованнаго общества, численность котораго медленно, но постоянно растеть. Реакція последнихь леть XVIII столетія заглушала слабые ростки общественнаго мнвнія; новые всходы могли явиться только въ первомъ десятильтіи XIX въка, когда сразу почувствовалось въяніе живыхъ освободительныхъ идей, которыми увлекался въ то время молодой государь Александръ I; но и въ эту пору исключительное господство французскаго классическаго литературнаго вкуса и вліянія тормозило развитіе нашей литературы и все еще держало ее на ходуляхъ, надъ уровнемъ дъйствительной жизни, въ которую она спускалась только изръдка, да и то неловко и несмъло. Въ общественныхъ понятіяхъ господствовала путаница, смутно чувствовалась слабая сторона традицій, руководившихъ русскою жизнью, ощущалась потребность въ новой, боле соответствующей положенію общества, обстановкі, — потребность въ діятельности для нарождавшихся свѣжихъ силъ; но до яснаго сознанія и сколько-нибудь определенной формулировки желаемаго было еще далеко... Наполеоновскія войны, политически сблизившія Россію съ остальной Европой, открыли намъ возможность более близкаго и серьезнаго знакомства съ европейскими литературами и европейской жизнью и дали новый толчекъ русской мысли, заставляя глубже вдумываться въ общественныя отношенія, сравнивать свое съ чужимъ и опредълять, чего именно намъ недостаеть. Въ обществъ началось броженіе, глухая борьба новыхъ идеаловъ и понятій со старыми, борьба еще смутнаго, неопредъленнаго стремленія къ свету съ обскурантизмомъ и мыслебоязнью, превосходно подмеченная Грибоедовымъ въ его знаменитой комедіи, въ которой выведены были на сцену характерные типы тогдашняго русскаго общества, представленные съ замъчательнымъ искусствомъ и талантомъ. Глубокая мысль, положенная въ основу этой комедіи, соединеніе элемента, который въ извъстной степени можно назвать философскимъ, съ элементомъ общественнымъ, необыкновенно мъткое изображение современной дъйствительности, ръзкая индивидуальность характеровъ, въ то же время переходящая въ совершеннъйшую типичность, сердечный жаръ, истинная національность какъ во всей внутренней сущности пьесы, такъ и въ ея языкѣ, благодаря которому многое изъ "Горя отъ ума", подобно баснямъ Кры-лова, перешло въ пословицы и поговорки, наконецъ, превосходный, впервые появившійся у насъ въ формъ стихъ, за которымъ утвердилось название "грибоъдовскаго", все это дълаетъ безсмертную комедію единственнымъ въ своемъ родъ произведеніемъ и сохраняеть за нею непреходящее художественное значеніе. "Она, замъчаеть Гончаровъ въ своей стать в "Милльонъ терзаній", какъ стольтній старикъ, около котораго всв, отживъ по очереди свою пору, умирають и валятся, а онъ ходить, бодрый и свежий, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходить, что настанеть когда-нибудь и его чередъ..." — "Чацкій, говорить тоть же писатель въ другомъ мѣстѣ своей статьи, — неизбъженъ при каждой смънъ одного въка другимъ... Чацкіе живутъ и не переводятся въ обществъ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домъ, гдв подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ,

гдѣ два вѣка сходятся лицомъ къ лицу въ тѣснотѣ семейства, — все длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ, и все бъются въ поединкахъ, какъ Гораціи и Куріаціи, миніатюрные Фамусовы и Чацкіе. Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ, и едва ли состарѣется когда-нибудь грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ — и вся комедія".

Эта борьба старыхъ понятій съ новыми проникаетъ въ первой четверти XIX въка всъ области литературы: она проявляется то въ видъ споровъ грамматическихъ и стилистическихъ, принимающихъ подчасъ довольно острый характеръ, то въ видъ яростныхъ схватокъ върныхъ по-клонниковъ стариннаго французскаго классицизма съ "романтиками", провозглашающими принципъ свободы поэтическаго вдохновенія и творчества, то, наконецъ, получаетъ уже болъе серьезное значеніе борьбы двухъ міросозерцаній на почвъ идей политическихъ и общественныхъ, причемъ—хотя еще робко и неопредъленно—затрогиваются нъкоторые коренные вопросы тогдашней русской жизни, напр., вопросъ о кръпостномъ правъ...

Однако, литература, хотя и стремившаяся къ новому содержанію, все еще оставалась достояніемъ и выраженіемъ исключительно тёснаго вруга умственной аристократіи, которая въ тё времена обычно соединялась съ аристократіей рожденія. По вёрному выраженію одного изъ историковъ этой эпохи *), "большой свётъ" становился, самъ собою, какъ бы хранителемъ просвёщенія на Руси и лучшимъ доказательствомъ его дёйствительнаго существованія въ нашемъ отечестветь. Но этотъ представитель отечественнаго развитія имёлъ настолько единства, насколько имёетъ его калейдоскопъ, глотающій различные узоры при всякомъ сотрясеніи. Обрывки разнохарактерныхъ ученій и направленій, сталкивающихся въ

^{°)} Анисиковъ. Пушкинъ въ Александровскую эпоху С.-Пб., 1874, стр. 86.

обществъ между собою, придавали ему своего рода живописность, которую можно было, по ошибкъ, принять за многосторонность развитія, какъ это и ділали иногда современники; на самомъ же дълъ отношение тогдашней русской интеллигенціи къ европейскимъ идеямъ лучше всего опредъляется какъ дилеттантизмъ. "Необычайная и страстная влюбчивость въ идеи, попадавшія на глаза, -говорить Анненковъ, — сдълалась господствующей чертой нашего общества послѣ заграничныхъ войнъ и замѣняла ему настоящее образованіе". Влюбчивость "та и была причиной водворенія у насъ почти всёхъ явленій европейской мысли и цивилизаціи, потерявшихъ, однако же, на новосельъ свои природныя формы и краски. Происходило это, главнымъ образомъ, отъ того, что почти всъ подобныя явленія рисовались въ воображеніи своихъ новыхъ обожателей чрезвычайно ярко, но уже безъ всякаго масштаба для опредъленія ихъ относительной величины и размъра. Идеи являлись тогда, какъ кумиры, съ затерянной генеалогіей, но требовавшія безусловнаго поклоненія. Воть почему каждое свъдъніе, каждое представленіе, а тъмъ болье—каждая теорія, захваченная въ ученыхъ нашихъ наовгахъ на Европу, представлялись тогда-и еще гораздо поздиве-такъ, какъ будто передъ ними никогда ничего не было и ничего не остается за ними, постоянно объявлялись чуть не спасеніемъ рода челов ческаго... "

Эта "влюбчивость въ идеи", характеризующая первыя десятильтія XIX въка, — "дней Александровыхъ прекрасное начало", — указываетъ на пробужденіе въ русскомъ обществъ того времени самосознанія, выразительницею котораго стремится стать литература. Болье широкое знакомство съ европейскими литературами малоно-малу освободило нашихъ писателей отъ французскаго вліянія, хотя и не могло избавить ихъ отъ подражательности. Превосходные переводы Жуковскаго изъ нъмецкихъ и англійскихъ поэтовъ значительно расширили нашъ поэтическій горизонтъ, который до тъхъ поръ ограничи-

вался лишь французскими классиками, и внесли въ литературу свъжую струю романтизма, получившаго въ то время въ Европъ господствующее значеніе; прежняя расчитанная и далекая отъ жизни риторика стала подъ вліяніемъ этого новаго направленія уступать живому чувству. Въ публикъ сталъ все больше и больше развиваться вкусь къ чтенію; кругь людей, интересующихся литературою, постепенно расширялся; но сама литература все еще не могла достигнуть самостоятельности, -- какъ будто чья-то сильная рука держала ее на воздухъ и не давала ей прикоснуться въ земль, не желая, чтобы она получила отъ этого прикосновенія новую, свіжую силу. Лишь изръдка эта рука словно ослабъвала, -- и тогда въ литературъ являлись замъчательные факты, вродъ басенъ Крылова, совершенно отличающихся своимъ тономъ и языкомъ отъ другихъ современныхъ имъ произведеній. Но главной задачей литературы въ эту пору все еще оставалось усвоеніе новыхъ формъ и неизвъстныхъ прежде понятій, расширеніе сферы поэтическаго творчества, выработка языка и стиля, - въ особенности стихотворнаго. Въ этомъ преимущественно и заключается литературная заслуга Батюшкова и Жуковскаго. Последній, кроме того, внесъ въ нашу литературу совершенно новое для нея время понятіе о поэзіи, какъ о вдохновенвъ номъ творчествъ, представляющемъ своего рода откровеніе Божества въ челов'єк'в, --и о высокой роли искусства въ умственной и нравственной жизни. Что касается идейнаго содержанія литературы, то источникомъ его служили исключительно произведенія литературь западноевропейскихъ; домашняя общественная жизнь отражалась въ литературь очень слабо и бледно, - какъ потому, что внѣшнія условія печати были далеко не всегда благопріятны, такъ и потому, что въ тѣ времена въ Россіи. по выраженію князя Вяземскаго, еще не было общества, а было только народонаселеніе. Очень небольшой кружокъ дъйствительно образованныхъ и мыслящихъ людей,

"влюбленныхъ въ идеи", плавалъ по поверхности этого народонаселенія, которое сверху до низу представляло собою почти однородную по невъжеству массу, еще мало доступную литературнымъ воздействіямъ. Кружокъ этотъ увеличивался весьма медленно, по мъръ того, какъ развивалось у насъ среднее и высшее образованіе, сильно стъсненное въ послъдніе годы царствованія Александра I подъ вліяніемъ идей Священнаго Союза. Тъмъ не менъе, и въ этомъ немногочисленномъ кружкѣ образованныхъ русскихъ идеалистовъ первой четверти въка, внимательно, насколько позволяли обстоятельства, следившихъ движеніемъ европейской мысли, все болье сознательно проявлялось унаследованное отъ передовыхъ людей XVIII въка стремление къ національному содержанію литературы, постоянно усиливались запросы на поэвію, болье близкую къ русской жизни, болье отвычающую духовнымъ потребностямъ русскаго мыслящаго человѣка.

Отвътъ на эти запросы данъ былъ величайшимъ изъ русскихъ поэтовъ, -- Пушкинымъ, дъятельностью котораго русская литература освобождена была отъ подражательности и постановлена на новый, самостоятельный путь. Поэзія Пушкина, въ последовательномъ своемъ развитіи, прошла черезъ всѣ фазы, пережитыя до него русской литературой: воспитанный на французскихъ писателяхъ XVIII и начала XIX стольтія, онъ поочередно перебываль и классикомъ, и сентименталистомъ, и романтикомъ; юношескія его стихотворенія, которыя онъ началь писать еще "въ тъ дни, когда въ садахъ лицея онъ безмятежно расцвъталъ", носять на себъ слъды близкаго знакомства съ французскими классиками, въ особенности-съ Вольтеромъ, и съ эротической поэзіей Парни, Шолье; Шенье и др., подражателемъ которыхъ выступалъ также и Батюшковъ; въ этихъ стихотвореніяхъ чувствуется вліяніе, такъ наз., антологической поэзіи вмѣстѣ съ туманною сентиментальностью Оссіана и меттательнымъ романтизмомъ

Жуковскаго... Ссылка на югъ Россіи,—сперва въ полудикій Кишиневъ, потомъ въ Одессу, личныя душевныя тревоги, совпадающія съ общимъ тревожнымъ настроеніемъ того времени, полнаго политическихъ броженій (карбонаризмъ, борьба за свободу Греціи и пр.), содъйствовали особенно сильному и продолжительному увлеченію Пушкина Байрономъ, — этимъ "властителемъ думъ" современнаго ему покольнія: байроновская поэзія въ ту пору отвъчала складу мыслей русскаго образованнаго общества, которое чувствовало въ себъ силу и способность дъйствовать и неопредъленно порывалось къ дъятельности, но практически осуждено было на полное бездъйствіе. Эта невольная праздность, къ которой общество пріучалось, такъ сказать, съ дътства и которую устранить собственными силами оно было не въ состояніи, порождала апатію, разочарованіе, мрачный взглядь на дійствительность, стремленіе удалиться оть нея "въ мечтательный міръ"; въ байронизмѣ были черты, нѣсколько родственныя этому настроенію, — хотя объясняемыя совсѣмъ иными причинами; вотъ почему поэзія Байрона могла им'єть и въ самомъ дълъ имъла — особенно сильное вліяніе на русское образованное общество, темъ более, что истолкователемъ ея у насъ явился поэтъ, обладавшій невиданнымъ до того времени талантомъ, и еще небывалою прелестью стиха. Для самого Пушкина байронизмъ явинся естественнымъ послъдствіемъ противоръчій между идеальными порывами поэта и грубою дъйствительностью, отрицавшею права личности и возмущавшею чувство, въ столкновеніяхъ съ которою прошла лучшая пора молодости Пушкина.

Вліяніе байроновскаго настроенія проявляется въ поэзіи Пушкина непосредственно вслѣдъ за "Русланомъ и Людмилой", въ которой поэтъ обработалъ русскія сказочныя темы отчасти въ духѣ Аріосто, отчасти—въ стилѣ Парни. "Вольнолюбивыя мечты" юныхъ друзей поэта, увлеченіе "туманнымъ призракомъ свободы", проявившееся

въ нѣсколькихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, вмѣстѣ съ разочарованнымъ взглядомъ на жизнь людей, — все это сказалось уже въ "Кавказскомъ Плѣнникѣ" (1821), а затѣмъ съ большею силой повторилось въ "Бахчисарайскомъ Фонтанѣ" и, особенно, — въ "Цыганахъ" (1824). Въ эту же пору Пушкинъ задумалъ поэму и драму изъ древней русской исторіи, въ гражданскомъ направленіи рылѣевскихъ "Думъ", и началъ (1822) въ стилѣ байроновскаго "Донъ-Жуана" своего "Онѣгина", который былъ оконченъ только восемь лѣтъ спустя и уже въ иномъ настроеніи.

Покинувъ югъ и переселившись въ уединенную деревенскую глушь Псковской губерніи, Пушкинъ скоро разошелся съ Байрономъ въ своихъ поэтическихъ созерцаніяхъ. Непрерывное и разнообразное чтеніе ввело его въ кругъ иныхъ понятій; болье спокойное отношеніе къ жизни, стремленіе поэта "въ просвъщеніи стать съ въ-комъ наравнъ" и пріобрътенная имъ въ эту пору привычка "удерживать вниманье долгихъ думъ" привели къ болъе широкому взгляду на задачи поэзіи и къ болъе полному и разностороннему развитію поэтическаго таланта Пушкина. Съ этихъ поръ выдающееся мъсто въ ряду мотивовъ его поэзіи занимають впечатльнія русской жизни и природы. Обращеніе къ историческому прошлому, вызванное появленіемъ "Исторіи Государства Россійскаго" Карамзина, сильно возбудило фантазію поэта и дало ему тему для "Бориса Годунова": это было первое въ русской литературѣ и до сихъ поръ еще никѣмъ не превзойденное произведеніе въ новомъ драматическомъ родѣ,—въ стилѣ шекспировскихъ хроникъ. Увлекшись карамзинскою точкою зрѣнія на Бориса и Самозванца, Пушкинъ далъ исторически-невърныя характеристики этихъ лицъ; но ихъ историческая невърность, обнаруженная только полвъка спустя, искупается ихъ внутренней психологической правдой и художественнымъ воспроизведениемъ русской жизни въ драмъ. "Я знаю, что силы мои развились совершенно и чувствую, что могу творить", —писалъ Пушкинъ, работая надъ этой пьесой. Эта работа имѣла для поэта очень важныя послѣдствія: онъ почувствовалъ свою кровную связь съ русской стариной, съ давно минувшей жизнью, живѣе сталъ сознавать себя гражданиномъ своей земли и началъ искать источниковъ для вдохновенія въ своей родной почвѣ. Съ этихъ поръ Пушкинъ становится поэтомъ вполнѣ самобытнымъ, чуждымъ подражательности; въ его лицѣ русская поэзія впервые пріобрѣтаетъ вполнѣ національный характеръ, а его могучій талантъ проявляетъ себя какъ стихійная сила, несмотря на крайне тяжелыя внѣшнія условія для его развитія.

Еще во время своей невольной жизни на югѣ Пушкинъ задумываль бъжать за границу; та же мысль еще настойчивъе преслъдовала его въ деревенской ссылкъ; но у него не хватило рѣшимости осуществить этотъ планъ. Получивъ, въ началѣ царствованія Николая І, позволеніе жить гдв угодно, онъ просиль отпустить его за границу, но просьба не была уважена. Сознаніе своего почти полнаго одиночества, - послъ погрома, разсъявшаго его друзей, - въ окружавшемъ его обществъ, лишенномъ возвышенныхъ чувствъ и идеаловъ, въ этой толпъ, въ которой поэтъ видълъ только "тупую чернь", —приводитъ къ тому, что Пушкинъ все больше и больше замыкается въ самомъ себъ. "Пошлость и глупость нашихъ объихъ столицъ, пишетъ онъ, -- одна и та же, хотя и въ различномъ родъ... Это житье довольно пошло, и я горю желаніемъ измѣнить его тыть или инымъ образомъ. Шумъ и суета Ileтербурга сдёлались мнё совершенно чужды, и я съ трудомъ ихъ переношу... " Натура поэта требовала широкой общественной жизни, дъятельности осмысленной и одушевленной идеаломъ, --- а окружавшая его среда могла предоставить ему только пустую и праздную свётскую жизнь съ ея низменными интересами. Это обстоятельство объясняеть намь, почему Пушкинь въ теченіе нёсколькихъ льть вель скитальческую, безпокойную жизнь: чымь дальше

отходиль онъ отъ мертвящихъ столичныхъ впечатленій, тъмъ бодръе становился его духъ, тъмъ оживленнъе работала его творческая фантазія. Особенно плодотворнымъ для его поэтической дъятельности быль 1830 годъ, когда онъ оставался до поздней осени въ своей нижегородской деревнъ. Въ эту пору онъ закончилъ "Онъгина", съ которымъ не разставался во всъхъ своихъ скитаніяхъ въ продолжение восьми лътъ и въ которомъ, кромъ яркихъ картинъ русской жизни и природы, отразилось такъ много субъективныхъ впечатльній поэта, — "ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замьтъ". Романъ предполагается въ девяти главахъ, но одна изъ нихъ, заключавшая въ себъ описаніе путешествія Онъгина, была выброшена авторомъ и стала извъстна, въ болъе или менъе связныхъ отрывкахъ, только въ наше время. Это путешествіе даеть яркую картину скитаній самого Пушкина, тревожной ногони за свъжими впечатлъніями человъка мыслящаго и глубоко чувствующаго, который "не можетъ въ душт не презирать людей", а, между тти, долженъ не только жить съ ними, но и ежеминутно ощущать на себъ ихъ давленіе... "Онъгинъ, — говоритъ по этому поводу одинъ изъ нашихъ критиковъ, Онъгинъ, пришедшій въ равладъ съ своимъ обществомъ вследствіе того, что оно не могло дать ему никакой деятельности по душе, остался среди него существомъ пассивнымъ, способнымъ размышлять и растравлять свое сердце размышленіями, скучающимъ и празднымъ... Онъ долженъ былъ признать надъ собой силу этой массы людей, которая назвала себя обществомъ: она дала почувствовать себя не какъ сила разумная, но какъ сила стихійная, какъ сліпая, но гнетущая судьба, отъ которой не уйти челов ку, вздумавшему, по несчастью, не поладить съ нею. Разладъ не принесеть ему счастья, и лишь только онъ отдёлился отъ нея, -- участь его решена: победителемь онъ не останется, а масса будетъ прозябать по своему, признавая силу, а съ нею – и право, на своей сторонъ. Не та-ли же судьба

тягответь и надъ несчастною Татьяною, правда, подчинившеюся массв, но противъ воли, противъ своего сердечнаго влеченія, и все же создавшею свой собственный мірь? Давленіе этой стоячей массы поэть долженъ былъ чувствовать и на самомъ себь: онъ не могь не сознавать, что ему пришлось дорого поплатиться за всь тъ противорьчія, въ которыя онъ ставилъ себя съ этою массою, не желая съ нею сливаться, не могь не видъть своего безсилія передъ нею, не могь и примириться съ ея требованіями. Воть это-то впечатльніе оть такой общественной силы и выразилось въ "Онъгинъ", надъ которымъ съ такой любовью много льть работала фантазія Пушкина..."

Тогда же быль написань Пушкинымь цёлый рядь драматическихъ сценъ: "Скупой Рыцарь", "Моцартъ и Сальери", "Каменный Гость". "Пиръ во время чумы", —и пять разсказовъ въ прозъ, изданныхъ подъ общимъ заглавіемъ: "Повъсти Бълкина". Замъчательно, что всъ драматическія сцены и нъкоторыя мелкія стихотворенія, одновременно съ ними написанныя, вводять насъ въ кругъ жизни европейской, преимущественно — средневъковой, нъкоторыя даже навъяны произведеніями европейскихъ поэтовъ. Здъсь Пушкинъ расширилъ сферу своей поэзіи и показаль, что. ему одинаково доступна какъ русская, такъ и чужая жизнь, что его творческая фантазія въ состояніи проникаться духомъ иноземной жизни даже и при отсутствіи непосредственныхъ впечатленій, подъ вліяніемъ одного чтенія. Какъ геніальный поэть, онъ отразиль въ себъ черту новаго русскаго человъка, воспитаннаго подъ могучимъ вліяніемъ европейскаго общечеловъческаго просвъщенія: эта способность создавать себъ представленія о чужой жизни, которой мы сами не видъли, развивается у насъ издътства и составляеть какъ бы національную черту русскаго человъка, сознающаго свою связь съ Европой, какъ природнаго европейца. Съ другой стороны, "Повъсти Бълкина", хотя и небогатыя содержаніемъ, выдълялись изъ массы однородныхъ произведеній того времени прекраснымъ языкомъ и мастерствомъ въ описаніяхъ русской жизни и природы. Къ русской жизни, русской исторіи и народной поэзіи снова обратился Пушкинъ въ сказкахъ, "Русалкъ", "Дубровскомъ". "Капитанской Дочкъ", "Мъдномъ Всадникъ" и др.

Пушкина справедливо считаютъ наследникомъ всего предшествовавшаго періода нашей литературы и источникомъ дальнъйшаго ея развитія. Геніальный поэтъ широкимъ и разнообразнымъ содержаніемъ своего художественнаго творчества не только создалъ новую эпоху въ русской поэзіи: онъ върно опредълиль и ясно указаль тоть путь, на которомъ наша литература только и могла пріобръсти серьезное содержаніе, вступить въ тъсную связь съ жизнью общества и стать выражениемъ идеаловъ лучшей его части, а слъдовательно — и необходимою руководящею силою, насколько это было возможно при тъхъ условіяхъ, въ какія поставлено было ея существованіе. Эти условія бывали иногда очень тяжелы; но со временъ Пушкина и благодаря его деятельности, которая привлекла къ литературь широкій кругь читателей, литература становится уже существеннымъ элементомъ русской жизни и получаетъ все болве и болве важное значение для общества; "Дружина ученыхъ и литераторовъ", о которой Пушкинъ говориль, что она должна всегда стоять впереди, "во всъхъ набъгахъ просвъщенія, на всъхъ приступахъ образованности", -- постепенно увеличивается и, знакомясь съ данными европейской мысли и литературы, начинаеть малопо-малу примънять ихъ къ анализу явленій русской жизни. Рядомъ съ этой дружиной появляется другая -- дружина молодыхъ поэтовъ, изъ которыхъ многіе были сверстниками Пушкина и развивались подъ его вліяніемъ. Изъ числа представителей этой "пушкинской плеяды" выдізлялись въ свое время: бар. Дельвигь, кн. Вяземскій, Баратынскій, Козловъ, Рылбевъ, Веневитиновъ, Языковъ и др. Некоторые изъ нихъ усвоили только внешнія формы пушкинской поэзіи, но многіе вдохновились и серьезными

сторонами ея внутренняго содержанія: въ произведеніяхъ Рылъева сказалось глубокое патріотическое чувство, возмущенное равнодушіемъ толны къ высшимъ стремленіямъ; основнымъ мотивомъ поэзіи Козлова явилось меланхолическое разочарованіе; лирическія стихотворенія талантливаго юноши Веневитинова, наобороть, отличаются свът--кат ча оборба обоннышивеов и онеиж вы смоделзев смыл. дущую судьбу человъчества; въ лирикъ Баратынскаго философское міросозерцаніе отзывается какой-то растерянностью, словно придавленностью, въ которой чувствуется вліяніе эпохи, не поощрявшей высокаго паренія мысли... Нъсколько въ сторонъ отъ этихъ поэтовъ стоить Полежаевъ, — типичный показатель этого, по выраженію Пушкина, "жестокаго въка", поэть мрачнаго отчаннія не заимствованнаго, не байроновскаго, а глубоко прочувствованнаго имъ самимъ въ собственной многострадальной жизни. Лучшія, самыя сильныя произведенія Полежаева представляють крикь души, разбитой безсмысленнымь ударомъ, вопль "живого мертвеца", который "видить въ мысли быстротечной слёды минувшихъ лучшихъ дней, но мукой, тяжкою и въчной, наказанъ въ ярости своей..."

Время блестящей дѣятельности Пушкина—третье и начало четвертаго десятилѣтія XIX вѣка—было также временемъ сравнительнаго оживленія нашей журналистики, начавшей заботиться о болѣе серьезномъ содержаніи, насколько оно было достижимо при тѣхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, въ какія была поставлена тогдашняя наша печать. Бѣлинскій, слова котораго въ данномъ случаѣ могутъ быть приняты только съ большими оговорками, говоритъ, что пушкинскій періодъ "былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени"; этими словами критикъ, конечно, хотѣлъ указать на значительное, по сравненію съ прежними десятилѣтіями, возбужденіе въ обществѣ интереса къ литературѣ, начинавшей, въ свою очередь, обнаруживать интересъ къ русской жизни. Лалѣе Бѣлинскій высказываеть, что въ эту пору ожив-

ленія "мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю (?) умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ черезъ Балтійское море; мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взростивши, не взлелѣявши, не создавши сами. За насъ трудились другіе, а мы только брали гэтовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимовѣрной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимовѣрной непрочности..."

Эхо умственной жизни Европы отдавалось, однако, въ нашей тогдашней литературѣ очень негромко, а многихъ голосовъ и вовсе не было слышно. Гораздо сильнъе сказывалось вліяніе европейскихъ идей въ интимныхъ бесъдахъ, въ тъсномъ кругу образованныхъ людей, привыкавшихъ дълиться другъ съ другомъ мыслями, разсуждать и спорить о вопросахъ, рождавшихся на Запалѣ, и объ ихъ примъненіи къ русской жизни. Двадцатые, тридцатые, сороковые годы были временемъ последовательно смънявшихъ другъ друга увлеченій сначала Шеллингомъ, потомъ-Гегелемъ, затъмъ-Сенъ-Симономъ, Фурье и пр.; въ области поэзіи высшими авторитетами признавались сперва Гете и Шиллеръ, затъмъ—Гюго и французскіе романтики и, наконецъ, Жоржъ Сандъ, какъ представительница новаго соціальнаго направленія. Нъкоторые изъ нашихъ литературныхъ дъятелей того времени имъли возможность знакомиться съ различными направленіями европейской мысли у самаго источника, — на лекціяхъ профессоровъ германскихъ университетовъ, въ личныхъ бесъдахъ съ европейскими учеными и писателями; многіе получали новыя идеи изъ вторыхъ рукъ, а большинство знало и судило объ нихъ только по наслышкъ. Разумъется, эти идеи имъли сильное вліяніе на нашихъ писателей, открывая имъ совершенно невъдомый до того времени кругъ понятій; но въ печатной литературъ идеи эти пробъгали только легкой тънью, намеками, и крайне ръдко принимали более определенныя очертанія... Въ журнали-

стикъ 20-хъ и 30-хъ годовъ первое мъсто принадлежало "Московскому Телеграфу" Полевого и "Телескопу" Надеждина, въ которомъ выступилъ Белинскій; эти три имени, принадлежавшія людямъ весьма незнатнаго происхожденія, служать свидетельствомь того, что литература въ эту пору уже успъла въ значительной степени утратить свою прежнюю, преимущественно аристократическую, окраску и спуститься въ боле широкій и боле энергичный средній классь общества. Условія русской жизни того времени были таковы, что всв лучшія общественныя силы, не находя себв иного примъненія, направлялись въ литературу, стараясь возбуждать умственные общественные интересы путемъ художественнаго слова и постепенно вырабатывая новыя мысли и новыя формы для ихъ выраженія; между писателями и обществомъ устанавливалась все болье и болье тысная нравственная связь, облегчавшая взаимное пониманіе; критическая мысль, однажды пробужденная, уже не могла остановиться, искала себъ простора и мало-по-малу старалась расширять тъсныя рамки печатнаго слова. Послѣ Пушкина нельзя уже было писателю занять сколько-нибудь видное положеніе въ литературъ, не будучи надіональнымъ, не поставивъ себъ задачею изученія или воспроизведенія различныхъ сторонъ русской жизни, художественное разъяснение тахъ или иныхъ задачъ и потребностей русскаго общественнаго развитія.

Поэты "пушкинской плеяды", о которыхъ сказано выше, занимаютъ въ литературѣ очень скромное мѣсто по сравненію съ самымъ младшимъ изъ послѣдователей Пушкина—Лермонтовымъ, который промелькнулъ въ нашей поэзіи блестящимъ метеоромъ и оставилъ по себѣ яркій слѣдъ, хотя его дѣятельность продолжалась всего какихъ-нибудь четыре года и была прервана именно въ ту минуту, когда его поэтическое дарованіе только что вступило на путь самостоятельнаго развитія. Лермонтовъ, въ главныхъ своихъ произведеніяхъ, явился выразите-

лемъ, въ байроновскомъ стилъ, того мрачнаго отрицательнаго настроенія, которое было результатомъ вынужденной праздности общественныхъ силъ, — напряженнаго возбужденія нервовъ чувства при параличь нервовъ движенія, — и вело къ отчаянію и гнетущей тоскъ. Глубокій разладъ между идеалами и дъйствительностью, не удовлетворявшею требованіямъ общественнаго самосознанія, въ прежнее время заставляль мыслящихь людей успокоенія въ масонствъ, мистицизмъ, бользненной религіозности, романтическомъ католицизмѣ; затымъ эти убыжища возбужденной мысли перестали удовлетворять ее и были оставлены для политическихъ утопій, нав'янныхъ европейскимъ броженіемъ 20-хъ годовъ; когда же и эти утопіи потерпъли крушеніе и оказались призрачными, тогда на сміну имъ явился байронизмъ, въ виді гнівнаго разочарованія жизнью и презрінія къ окружающей обстановкъ. Типы людей этого склада, введенные въ нашу литературу Пушкинымъ, долгое время держались въ ней, видоизмъняясь сообразно съ требованіями времени, — и послѣ Пушкина, вскорѣ ихъ оставившаго, съ особенной силой и выразительностью представлены были Лермонтовымъ.

Поэзія Лермонтова находится въ тѣсной связи съ его личной жизнью. Еще въ раннемъ дѣтствѣ бывшій свидѣтелемъ семейнаго разлада, воспитанный бабушкою въ отчужденіи отъ отца, нервный и крайне впечатлительный, онъ скоро обнаружилъ необычное для своихъ лѣтъ умственное развитіе и дѣятельную фантазію. Сначала — студентъ московскаго университета, потомъ — юнкеръ школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ и гусарскій корнетъ, Лермонтовъ тяготился пустотою своей праздной жизни, не зная, куда направить свои далеко недюжинныя силы. Въ годы юности онъ увлекся Байрономъ, въ поэзіи котораго нашелъ много родственнаго своей душѣ и которому сочувствовалъ болѣе, чѣмъ всѣ прочіе

ему современные поэты. Подъ вліяніемъ Байрона имъ написанъ рядъ поэмъ и драмъ, въ которыхъ изображается все одна и та же сильная натура, одаренная энергической волей и глубокимъ чувствомъ, но не находящая себь плодотворной дъятельности въ условіяхъ русской жизни и замыкающаяся въ гордомъ презрѣніи къ людямъ. Лирическія его стихотворенія, проникнутыя преимущественно тяжелымъ чувствомъ разочарованія, знакомять нась съ душой поэта, -- бурной, порывистой, полной стремленія къ высокому, гордаго сознанія своихъ силь и презрѣнія ко всему пошлому, безсильному и отжившему... Особенно сильно у него впечатление романтической природы Кавказа и жизни горцевъ, --жизни дикой, но свободной и бурной, полной настоящей борьбы и представляющей контрасть тому мертвому оптентнію, какое поэть видьль въ свътскомъ кругу. "Герой нашего времени" Печоринъ является дальнъйшимъ развитіемъ типа Онъгина: онъ представляетъ собою отрицание той общественной пустоты, которая его породила, "демоническій" протестъ противъ мелочности и ничтожества "свъта" съ его жалкими страстями и интересами; но онъ не въ силахъ противопоставить этой пустоть и мелочности ничего положительнаго, не можеть дать обществу ничего, кром' своего презрѣнія, и безплодно тратить, какъ и его старшій братъ, -- пушкинскій скиталецъ, свои силы въ мелочныхъ столкновеніяхъ съ окружающей его инертною средою...

Но въ дѣятельности Лермонтова отразилась только одна сторона пушкинской поэзіи—коношеское недовольство низменностью окружающаго быта и исканіе идеаловъ внѣ русской дѣйствительности. Въ болѣе зрѣломъ возрастѣ Пушкинъ, какъ мы вирѣли, отказался отъ этого безпочвеннаго идеализма и обратился къ русской жизни. Въ своихъ повѣстяхъ онъ явился бытописателемъ той самой обыденной дѣйствительности, которая такъ возмущала мыслящихъ людей, не находившихъ въ ней отвѣта на свои стремленія: онъ почувствоваль, что пристальное и

вдумчивое изученіе и художественное воспроизведеніе этой прежде отвергаемой и потому нев'ядомой среды представляеть единственное средство для того, чтобы узнать во вс'яхъ подробностяхъ нужды русскаго общества и отыскать пути для ихъ удовлетворенія. Преемникомъ Пушкина въ этой области выступиль Гоголь.

Гоголь дебютироваль въ литературт въ началт 30-хъ годовъ "Вечерами на хуторъ", въ которыхъ ярко проявилось необычное до того времени въ нашей литературт простое, добродушно-юмористическое отношение къ народному быту, върованіямъ и преданіямъ и удивительное умѣнье живописать этотъ бытъ во всѣхъ подробностяхъ. Продолженіемъ "Вечеровъ" явился "Миргородъ", въ которомъ сказались другія стороны таланта Гоголя. Въ первомъ изъ названныхъ сборниковъ авторъ заимствуетъ содержаніе своихъ разсказовъ изъ народныхъ преданій и повърій романтическаго характера и обработываетъ эти сюжеты въ стилъ нѣмецкихъ романтиковъ, особенно— Гофмана, которымъ онъ въ ту пору сильно увлекался; во второмъ сборникъ это направленіе сказывается только въ одномъ разсказъ— "Вій", между тѣмъ какъ остальныя произведенія, вошедшія въ составъ книги, — "Тарасъ Бульба", "Старосвътскіе помѣщики" и "Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ", обнаруживаютъ уже стремленіе къ реальному изображенію жизни, окрашенному тъмъ своеобразнымъ лиризмомъ, который составляеть отличительную особенность гоголевскаго "смѣха сквозь слезы". Такое же настроеніе мы видимъ и въ "Арабескахъ".

Около половины 30-хъ годовъ Гоголь выступилъ и на поприще драматическаго писателя. Глубоко скорбя о ничтожествъ и безжизненности тогдашняго нашего драматическаго репертуара, состоявшаго изъ напыщенныхъ и нелъпыхъ трагедій или переводныхъ мелодрамъ и водевилей, онъ мечталъ о созданіи національной комедіи съ широкимъ общественнымъ содержаніемъ. Въ пачаль

30-хъ годовъ имъ была задумана комедія изъ чиновничьяго быта; она не была окончена, но матеріаль ея послужиль для несколькихь отдельныхь эпизодовь. Затемъ были написаны "Женитьба" и "Игроки" и, наконепъ, въ 1836 г. явился въ печати и на сценъ "Ревизоръ". Впечатлѣніе, произведенное этой комедіей, было въ высшей степени сильно, такъ какъ здёсь впервые послъ "Горя отъ ума" съ необыкновенной яркостью и правдой выведена была на сцену настоящая русская дъйствительность. Эта комедія явилась для нашей литературы своего рода откровеніемъ, указаніемъ новаго пути, на которомъ она должна была стать серьезной общественной силой, оправданиемъ могучаго нравственнаго значенія сміха, котораго, по словамъ Гоголя, "боится даже тоть, кто уже ничего не боится на свътъ ". Впоследствіи Гоголь написаль "Театральный разъездь после представленія новой комедіи", въ которомъ м'ятко изобразилъ впечатлъніе, вызванное "Ревизоромъ" въ различныхъ кругахъ общества, и, вмёстё съ тёмъ, высказалъ свои мысли о высокомъ значеніи художественной правды въ литературъ и особенно-на сценъ. Эти идеи нашли себъ воплощение въ другомъ великомъ произведении Гоголя, — въ "Мертвыхъ душахъ", гдв онъ съ необыкновеннымъ мастерствомъ, живымъ юморомъ и страстнымъ лиризмомъ нарисовалъ широкую и правливую картину современнаго ему русскаго общества, вывель рядь типовъ, поражавшихъ своею яркостью и жизненностью, и окончательно упрочиль въ литературѣ натуралистическое направленіе, всего болье соотвытствующее простому и ясному складу русскаго ума. При этомъ Гоголь — какъ въ "Мертвыхъ душахъ", такъ и въ другихъ своихъ произведеніяхъ, -- довелъ до значительной степени совершенства весьма важный факторъ художественнаго творчества, психологическій анализь, мотивировку образа действій изображаемыхъ имъ лицъ какъ внутреннимъ развитіемъ ихъ характера, такъ и вліяніемъ внѣшнихъ усло-

вій ихъ жизни. Такимъ образомъ, его произведенія давали пищу критической мысли, обращая ее къ изследованію техъ причинь, отъ которыхъ зависель тогдашній свладъ русской жизни, и къ опредъленію степени разумности этихъ причинъ. Самъ Гоголь, однако же, не задавался въ своей писательской деятельности иными целями, кромъ чисто-художественныхъ, которыя подсказывались ему самой его натурой; только впоследствіи, во второй половина 40-хъ годовъ, подъ вліяніемъ все болає и болье развивавшагося въ немъ пістистическаго настроенія и мысли о высокомъ учительномъ призваніи писателя, онъ захотёль изъ художника-реалиста сдёлаться пророкомъ и проповъдникомъ нравственныхъ началъ; но попытка выступить въ этой новой роли оказалась неудачною, вслёдствіе отсутствія у Гоголя сколько-нибудь опредъленнаго философскаго міросозерцанія, и имъла последствіемъ полное разочарованіе его въ своей деятельности. Подъ вліяніемъ этого мрачнаго настроенія и усилившейся бользни Гоголь уничтожиль почти уже готовую къ печати вторую часть "Мертвыхъ душъ", въ которой, по его плану, изображение "бъдности и несовершенствъ русской жизни" должно было уступить мъсто изображенію положительныхъ типовъ и идеальныхъ личностей.

Дъятельностью Гоголя открывается новый періодъ нашей литературы, дальнъйшее развитіе которой совершается подъ вліяніемъ этого писателя, — или онъ является самымъ сильнымъ выраженіемъ охватившаго ее направленія. "Съ выходомъ "Мертвыхъ душъ" (1842) завершился періодъ созиданія національной литературы, подведены были итоги дъятельности цълаго ряда великихъ или замъчательныхъ писателей, какими были Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольповъ, Гоголь, — дарованій совершенно различнаго характера, настроеній, умственнаго и нравственнаго содержанія, но силы которыхъ направлены были къ одной цъли — раскрыть въ русской литературъ возможность развитія того богатель». національнаго духа, которое еще только угадывалось и проявленіе котораго ожидалось пока еще немногими восторженными умами. Дальнѣйшее развитіе должно было возбудить новую работу мысли и поэтическаго творчества. Такъ это и было впослѣдствіи ").

Самъ Гоголь въ своей литературной деятельности вовсе не задавался широкими общественными цёлями, и въ последніе годы жизни даже быль смущень и напуганъ теми выводами и применениями, какие делала изъ его произведеній болье дальновидная критика. Сльдуюписателей, усвоившихъ плодотворные щее поколѣніе пріемы Гоголя, пошло гораздо дальше своего учителя въ детальной разработкъ намъченныхъ имъ темъ и во-. просовъ. Съ этой точки зрвнія вліяніе автора "Мертвыхъ душъ" легко проследить въ деятельности всехъ выдающихся представителей нашей литературы, начавшихъ писать въ 40-хъ годахъ и даже позже, — у Гончарова, Тургенева, Достоевскаго, Островскаго, Писемскаго, Салтыкова, Л. Толстого и многихъ другихъ двятелей позднъйшей поры, — даже и до настоящаго времени. Эта зависимость лучшихъ нашихъ писателей второй половины въка отъ Гоголя, въ сущности, сводится къ зависимости ихъ отъ самой русской жизни, которая хотя и развивается, но въ основныхъ своихъ чертахъ и теперь еще не особенно удалилась отъ того склада, какой имъла она во времена "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ", такъ что многія страницы этихъ произведеній и въ наше время еще не утратили живой современности...

На переходѣ отъ третьяго десятилѣтія XIX вѣка къ четвертому дѣятельность Пушкина имѣла, какъ уже сказано, рѣшительное значеніе для нашей литературы. "Исторической задачей Пушкина,—говорить А. Н. Пыпинъ,—было завоевать въ русской жизни право искусства, достоинство поэзіи и нравственную независимость поэта,

^{*)} Пыпинъ. Ист. рус. лит., IV, 561.

потому что до тѣхъ поръ въ содержаніи нашей жизни для этихъ основъ искусства еще не было мѣста: было уже не мало поэтовъ, даже прославленныхъ, какъ нѣкогда Ломоносовъ, Державинъ, какъ самъ Жуковскій, но поэзія все еще не выходила въ понятіяхъ массы изъ своего служебнаго положенія; она должна была или воспѣвать эту жизнь какъ нѣчто совершенное, дополняя стихами реляцію, или доставлять пріятное и "невинное" развлеченіе, — и только съ Пушкинымъ поэзія поднялась сна высоту, которая подобала ей какъ независимой нравственной силь и вмѣсть — выраженію національнаго бытія"...

Необыкновенная популярность Пушкина, привлекшая къ литературъ массу читателей, прежде стоявшихъ далеко отъ нея, содъйствовала, между прочимъ, пробужденію литературныхъ интересовъ и наклонностей среди грамотнаго простонародья. Откликомъ этого последняго на поэтическую дъятельность Пушкина было появленіе поэта-самоучки Кольцова, котораго однако скоро сломила непосильная житейская борьба. Кольцовъ всёми силами стремился къ иной жизни, чъмъ та, какую ему приходилось вести; ему хотелось свободно отдаться темь трудамъ, къ которымъ лежало его сердце — дъятельности творческой въ кругу людей, способныхъ понимать и цѣнить его, хотълось учиться; но обстоятельства сложились такъ, что должны были обратиться для него въ непобъдимую судьбу, и онъ сдълался ея жертвой... Содержаніе лирики Кольцова, бывшее большою новостью для тогдашней литературы, одинаково съ содержаніемъ народныхъ прсенр: еа главными мотивами авляются горемычная любовь, тоска въ горькой дол'в и беззав'тное удальство; вивств съ темъ, въ его песняхъ выражаются и жажда простора и дъятельности, и чувство силы, которою человъкъ не можетъ воспользоваться... Иногда изъ элегическаго тона поэть переходить въ идиллію и рисуеть свътлыя картины сельскаго труда и довольства, въ которыхъ онъ видитъ идеалъ народной жизни...

Пъсни Кольцова вызвали въ образованной части общества интересъ и сочувствіе къ народному быту, хотя изображеніе этого быта, по разнымъ причинамъ, еще надолго сохранило тотъ односторонній идиллическій тонъ, которымъ отличаются нъкоторыя — немногія — изъ этихъ пъсенъ. Неръдко это выдуманное идиллическое спокойствіе и довольство простолюдина представлялось какъ бы противовъсомъ безпокойству и недовольству образованнаго общества, лишеннаго тъхъ твердыхъ основъ міросозерцанія, какія усматризались въ простонародномъ быту. Само собою разумъется, что фальшь этого взгляда не замедлила обнаружиться, какъ только литература стала ближе присматриваться къ дъйствительной жизни разныхъ слоевъ общества и народа.

Подъемъ національнаго духа, вызвавшій въ Западной Европъ и у славянскихъ племенъ обращение къ родной старинъ и народности, литературное возрождение и усиленную разработку вопросовъ исторіи и этнографіи, нашель себъ отголосокъ и въ русской литературъ. Первыя попытки обращенія къ народу, какъ матеріалу для изученія научнаго и художественнаго, были результатомъ пробудившагося въ обществъ интереса къ національной исторіи, - желанія уяснить свое положеніе въ прошломъ и настоящемъ и опредълить основныя начала своего существованія и развитія. Постановкі этихъ вопросовъ помогало также и увлечение нъмецкой философий, — сперва Шеллингомъ, потомъ Гегелемъ, ученіе которыхъ давало готовыя и стройныя формулы историческаго развитія народностей, такъ что нашимъ мыслителямъ оставалось только прилагать эти общія формулы къ данному частному случаю. Указанія западно-европейской науки, вліяніе которой на ходъ русской мысли становится особенно ощутительнымъ съ 30 хъ годовъ, — съ того времени, когда цълая группа молодыхъ и талантливыхъ университетскихъ профессоровъ получила возможность вступить въ непосредственное общение съ представителями этой науки въ

германскихъ университетахъ, — даютъ толчекъ развитію самостоятельнаго критическаго отношенія къ вопросамъ политическимъ и общественнымъ; историческимъ. внѣшнимъ условіямъ тогдашней литературы, она могла являться лишь очень слабымъ и неполнымъ, --- большею частью иносказательнымъ, --- отражениемъ того живого интереса къ указаннымъ вопросамъ, какой пробудился въ эту пору среди образованнаго русскаго общества и вскоръ вызваль въ немъ два различныя теченія, исходившія, однако, изъ одного общаго источника и имъвшія характерь болье отвлеченно-умозрительный, чвмъ реальный. Сравненіе современнаго положенія и историческихъ судебъ Европы и Россіи приводило мыслящих влюдей къ неодинаковымъ заключеніямъ: исходя изъ философскаго ученія о томъ, что каждая національность призвана Провидініемъ осуществить извёстную идею, одни, проникаясь безпредёльнымъ уваженіемъ къ европейской цивилизаціи и считая русскій народъ вполнъ способнымъ къ ея воспріятію, благоговъли передъ реформою Петра Великаго, который поставилъ Россію на путь европейскаго, общечелов'вческаго просвъщенія, и доказывали, что русскій народъ можеть и долженъ исполнить свое историческое предназначение не иначе, какъ окончательно отрекшись отъ старыхъ византійско-татарскихъ преданій, тормозящихъ умственный нравственный прогрессъ нашего отечества; другіе, утверждая, что каждому народу, съ самаго его зарожденія, присущи особыя апріорныя начала, въ осуществленіи которыхъ и заключается его историческое призваніе, противополагали Россію Западу, какъ совершенно особый, самостоятельный міръ, не имъющій необходимости ни въ европейскомъ просвъщеніи, ни въ европейскомъ политическомъ стров, и съ этой точки зрвнія осуждали реформу Петра, какъ своевольную изм'вну исконнымъ народнымъ началамъ, какъ насильственный разрывъ со стариной и искаженіе правильнаго національнаго развитія. Объ эти группы, оживленно спорившія между собою въ нескончаемыхъ частныхъ беседахъ, отголоски которыхъ едва проникали въ печать, — такъ называемые "западники" и "славянофилы", — одинаково были недовольны современнымъ положеніемъ дёлъ; но первые причину его видёли въ уклоненіи Россіи съ пути общечеловъческой цивилизаціи, а вторые, наобороть, - въ удаленіи оть стараго, истиннаго, народнаго пути развитія на ложный, — европейскій; одни источникомъ всего зла считали недостатокъ просвъщенія, другіе—скороспълую прививку къ русской жизни испорченныхъ западныхъ соковъ, принесшихъ пагубный плодъ бюрократіи, которая стала "средостѣніемъ" между народомъ и верховною властью. Соотвътственно этому, и политическіе идеалы объихъ сторонъ расходились между собою: для западниковъ идеаломъ являлась современная Европа съ ея государственнымъ строемъ, гарантирующимъ свободу личности, а для славянофиловъ — донетровская Русь, на которую они смотрели, какъ и на русскій народъ, сквозь романтическую призму, отыскивая въ ней всевозможныя добродетели. Споръ между представителями обоихъ этихъ направленій, неръдко увлекавшій объ стороны въ довольно ръзкія крайности, быль очень важнымъ симптомомъ пробужденія въ русскомъ образованномъ обществъ духа критическаго анализа и имълъ весьма серьезныя и плодотворныя послёдствія для русской науки и общественнаго самосознанія. Въ особенности славянофилы — братья Кир'вевскіе, братья Аксаковы, Юрій Самаринъ, Хомяковъ и др., — много содъйствовали изученію русской народности въ историческомъ и бытовомъ отношеніяхъ, собирая и разрабатывая касающійся этихъ вопросовъ и до того времени почти совстить нетронутый матеріалъ. Западники, съ своей стороны, старались сдёлать доступными русскому обществу методы и выводы европейской науки и дать ему возможность ближе познакомиться съ условіями европейской жизни, -- общественной, литературной и политической.

Такимъ образомъ, въ литературу, несмотря на стъснен-

ное ея положеніе, вносился политическій и общественный элементъ. Читатели привыкли серьезно вдумываться въ литературныя произведенія, дополнять недосказанное авторомъ и дълать выводы, примъняя ихъ къ русской жизни. На основъ философскихъ ученій, нашедшихъ воспріимчивую почву въ образованномъ русскомъ обществъ, развилась новая критика, главнымъ представителемъ которой въ первой половинь XIX стольтія явился Бълинскій: эта критика опредвляла философско-эстетическія и—насколько было возможно-общественныя основанія и задачи литературы, разъясняла значеніе великихъ писателей, безпощадно преследовала все бездарное, фальшивое и продажное, неутомимо боролась со всякимъ лицемъріемъ и обскурантизмомъ. Журналы, среди которыхъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ на первомъ планъ стояли "Московскій Телеграфъ" Полевого и "Телескопъ" Надеждина, а въ 40-хъ годахъ — "Отечественныя Записки" и потомъ — "Современникъ", старались, по мъръ возможности, знакомить читателей съ ходомъ европейской науки и литературы и помѣщать на своихъ страницахъ произведенія лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, словомъстремились сделаться своего рода общественной силой, несмотря на тотъ строгій и тяжелый контроль, который лежаль на выражении мысли...

Любопытно проследить быстрое развите пониманія существа и основныхъ задачь литературы въ пушкинскій и гоголевскій періоды, отъ Полевого до Белинскаго. Пушкинъ ставилъ литератору, какъ и ученому, общую просветительную цель и виделъ заслугу своей музы въ томъ, что она пробуждала добрыя чувства въ жестокій векъ. Почти такъ же смотрелъ на литературу и Полевой, видя въ ней священный нравственный долгъ и могучее средство для распространенія въ обществе здравыхъ понятій. Боле осторожный и тяжеловесный Надеждинъ не сочувствовалъ новымъ литературнымъ формамъ и, отчасти въ угоду старымъ классикамъ, преувеличивалъ свое отумъ

цательное отношение къ юному романтизму, отыскивая пятна даже и въ пушкинской поэзіи; но въ сущностии у него сказывалось то же восторженно-идеалистическое отношение къ литературъ, которымъ проникнуты были лучшіе люди 30-хъ годовъ и которое находило себъ теоретическую основу и оправдание въ увлекательной философіи Шеллинга. Практическое примѣненіе теорій къ явленіямъ русской жизни, къ русской, какъ тогда говорили, общественности, было, однако, еще слабо и лишено яснаго и опредъленнаго характера. Критическія разсужденія отличались, по большей части, отвлеченностью, — и виною этого были не столько внёшнія условія журналистики, сколько тѣ общія философскія построенія, которыя служили для тогдашнихъ писателей руководящею нитью при оцънкъ разныхъ сторонъ русской действительности. Передовые умы 30-хъ годовъ слишкомъ безусловно принимали на въру догматы сначала Шеллинга, потомъ Гегеля, видя въ нихъ непреложныя истины, такъ что даже славянофилы, пов'єдуя самобытность Россіи и отрицая Западъ, самое это отрицаніе строили по шаблону западной-же философской мысли, - по Шеллингу и особенно по Гегелю. Прошло еще нъсколько времени прежде, чъмъ "послъднее слово" европейской науки возбудило самостоятельную дъятельность русской мысли, которая стала спускаться съ заоблачныхъ теоретическихъ высотъ въ кругъ реальной жизни съ ея нуждами и требованіями. Властитель думъ покольнія 40-хъ годовъ, Бълинскій, въ началь своей литературной дъятельности явился ръшительнымъ последователемъ знаменитаго гегелевскаго положенія: "все дъйствительное разумно" и страстнымъ защитникомъ этого положенія въ самыхъ крайнихъ его логическихъ послідствіяхъ и особенно — въ примѣненіи къ дѣйствительности русской. Бълинскій и его друзья въ ту пору, можно сказать, жили одной только философіей, на все смотръли и все ръшали съ философской точки зрънія; восторгъ, возбужденный новизною и глубиною идей Гегеля, бралъ верхъ надъ всъми остальными стремленіями передовыхъ представителей молодого покольнія, сознавшихъ въ себъ обязанность быть провозвъстниками невъдомой у насъ истины, которая, въ пылу перваго увлеченія, казалась имъ все объясняющей, все примиряющей и дающей человъку твердыя основы для сознательной дъятельности. Органомъ этой философіи и явился журналь "Московскій Наблюдатель" въ рукахъ Бълинскаго и его друзей. Его характерными особенностями были: пропов'єдь полнаго признанія "дъйствительности" и примиренія съ нею, какъ съ фактомъ законнымъ и разумнымъ; теорія чистаго искусства, имъющаго цълью не воспроизведеніе жизни, а лишь художественное воплощение "въчныхъ идей"; преклоненіе передъ нъмцами, въ особенности—передъ Гете, за такое именно пониманіе искусства, и ненависть или презрѣніе къ французамъ за то, что они, вмѣсто культа въчной красоты, вносять въ поэзію временную и преходящую злобу дня. Всѣ эти идеи и развивались Бѣлинскимъ на страницахъ "Московскаго Наблюдателя" съ тѣмъ увлекательнымъ краснорвчіемъ "наивной и страстной души", съ которымъ онъ всегда выступалъ на защиту того, во что искренно върилъ; мечтательная проповъдь личнаго внутренняго самосовершенствованія внѣ всякаго отношенія къ вопросамъ внѣшней жизни скоро смѣнилась у него преклонениемъ передъ существующими порядками. Онъ утверждаль, что дъйствительность значительнье всъхъ мечтаній, но смотръль на нее глазами идеалиста, не столько старался ее изучать, сколько нереносиль въ нее свой идеалъ и върилъ, что этотъ идеаль имфеть себъ соотвътствие въ нашей, русской действительной жизни, или что, но крайней мѣрѣ, важнѣй-шіе элементы русской дѣйствительности сходны съ тѣми идеалами, какіе найдены были для нихъ въ системѣ Гегеля. Но эта увъренность была лишь временнымъ и переходнымъ увлечениемъ системой и скоро должна была

поколебаться. Этому содъйствовали, главнымъ образомъ, два обстоятельства: во-первыхъ, жаркіе споры Бѣлинскаго и его друзей съ кружкомъ Герцена и Огарева, уже оставившихъ теоретическое философствование ради изучения вопросовъ общественныхъ и политическихъ и оттого постоянно указывавшихъ на ръзкія и непримиримыя противоръчія русской дъйствительности съ идеалами, и вовторыхъ, болье тъсное и непосредственное соприкосновеніе Білинскаго съ русской общественной жизнью того времени, которая привела его въ ужасъ. Со времени переселенія критика въ Петербургъ старые вопросы, занимавшіе его мысль, мало-по-малу стали являться передъ нимъ въ иномъ свътъ. Весь запасъ стремленій къ высокому, пламенной любви къ правдъ, направлявшійся прежде на идеализмъ личной жизни и на искусство, обратился теперь на скорбь о дъйствительности, на борьбу съ ея зломъ, на защиту попираемаго ею достоинства человъческой личности. Съ этого времени критика Бълинскаго пріобр'єтаеть огромное общественное значеніе; она все болье и болье проникается живыми интересами русской жизни и вследствие этого становится все более и более положительною. Съ каждымъ годомъ въ статьяхъ Бълинскаго мы находимъ все меньше и меньше разсужденій объ отвлеченныхъ предметахъ; все ръшительнъе становится преобладание въ его мысли элементовъ, данныхъ жизнью, все яснее-признание жизненности главной задачей литературы. Съ этой точки зрвнія Белинскій теперь уже высоко ценить французскихъ писателей, въ особенности — представителей соціальнаго романа, каковы Жоржъ Сандъ, Бальзакъ, Эжень Сю, къ которымъ прежде онь относился пренебрежительно. Эти писатели и, наряду съ ними, Диккенсъ становятся теперь любимымъ чтеніемъ наиболье талантливыхъ русскихъ романистовъ и оказывають сильное вліяніе на характерь и направленіе новой русской пов'єсти и романа. Русскій писатель самой важной своей задачей начинаеть считать воспитаніе въ обществъ добрыхъ чувствъ, правдивое изо-браженіе жизни и гуманное отношеніе ко всъмъ уни-женнымъ и обездоленнымъ. Бълинскій въ "Отечественныхъ Запискахъ" является уже не отвлеченнымъ эстетикомъ, а публицистомъ; онъ безпощадно разоблачаетъ всякую фальны въ литературъ, отсутствіе умственныхъ интересовъ, рутинные взгляды, узкій мѣщанскій эгоизмъ, самодовольное филистерство, патріархальную распущенность провинціальных в нравовь, недостатокъ гуманности и азіатское звърство въ отношеніи къ низшимъ, рабство женщинъ и дътей подъ гнетомъ семейнаго деспотизма и пр. отъ литературы онъ требуетъ возможно полнаго изображенія и возможно яркаго освъщенія дъйствительной жизни, ибо — "свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности; для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себъ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни". Такимъ образомъ, Бѣлинскій ясно установилъ правильныя понятія о ціляхъ искусства и указаль тоть путь, по которому должна идти литература, чтобы исполнить свою общественно-воспитательную задачу; онъ явился учителемъ и руководителемъ молодого поколѣнія писателей, начавшихъ свою дѣятельность въ 40-хъ годахъ, и ему больше всего обязаны эти писатели идейною стороною своихъ произведеній. Съ восторгомъ привътствуя каждое вновь появлявшееся дарованіе, Бълинскій почти всегда безошибочно угадываль будущій путь его развитія и своею искреннею, увлекательною и страстною пропов'єдью неотразимо вліяль на направленіе молодыхь д'ятелей литературы. Выработанныя имъ теоретическія положенія стали общимь достояніемь и въ большинствъ сохранили свою силу и до настоящаго времени,

а благородное и неустанное исканіе истины и возвышенный взглядъ на просв'єтительное и освободительное назначеніе литературы навсегда останутся его дорогимъ зав'єтомъ для новыхъ литературныхъ покол'єній.

Такимъ образомъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ Бълинскаго, въ половинъ 40-хъ годовъ завершились "годы ученія" нашей новой литературы, которая теперь вступила на опредъленный путь уже съ яснымъ сознаніемъ своихъ просвётительныхъ цёлей. Въ эту пору одни раньше, другіе нъсколько позже — начали свою дъятельность многіе писатели, — прозаики и поэты, составившіе цілую "плеяду" и въ теченіе слідующихъ десятильтій занявшіе въ литературь первостепенное положеніе. Это были: Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, гр. Л. Толстой, Салтыковъ, Островскій, Писемскій, Григоровичъ, Потъхинъ Некрасовъ, Плещеевъ, Майковъ, Полонскій, Фетъ, гр. А. Толстой и мн. др. Въ новомъ романъ и повъсти русское искусство стремится подойти какъ можно ближе къ жизни, понять и объяснить ее, и все болѣе и болье становится выражениемъ общественнаго самосознанія. Правдивое, простое и задушевное изображеніе дъйствительности, — тотъ реализмъ, который какъ нельзя больше отвъчаетъ особенностямъ русскаго національнаго характера и простому, конкретному складу русской рѣчи, -- послѣ Гоголя занимаеть въ литературѣ исключительно господствующее положение и, постоянно расширяя кругъ своихъ наблюденій, стремится сдёлать предметомъ художественнаго воспроизведенія всё области, всё проявленія русской жизни. Вліяніе французскаго и англійскаго содіальнаго романа и, наряду съ нимъ, увлеченіе, хотя и совершенно безобидное и теоретическое, французскимъ соціализмомъ 40-хъ годовъ, въ особенности же — ученіемъ Фурье, сказались въ общественномъ направленіи новой русской литературы, въ протестъ противъ всякаго рода насилій и злоупотребленій и въ готячемъ сочувствій жертвамъ тогдашняго общественнаго

строя. Обращение къ народу и народности выдвинуло на первый планъ вопросъ о ноложении крестьянской массы. объ измѣненіи условій общественнаго быта, основаннаго на рабствъ. При томъ положении, въ какомъ тогда находилась литература, вопросъ этотъ не могъ быть поставленъ прямо; его можно было касаться только въ видь болье или менье ясных намековь — или въ ученыхъ изследованіяхъ, которыя по своему характеру не могли расчитывать на обширный кругь читателей, иливъ повъстяхъ и романахъ, авторы которыхъ старались по возможности правдиво изображать жизнь и типы крестьянства и, такимъ образомъ, возбуждать сочувствие къ судьбъ кръностного народа. Идиллическия повъсти изъ народнаго быта Григоровича, въ которыхъ сильно чувствовалось вліяніе Жоржъ Сандъ, нѣкоторые разсказы Даля, "Три повъсти" Павлова и еще нъсколько произведеній въ томъ же родь, время отъ времени появлявшихся въ журналахъ, разбивали то оффиціальное представленіе о "народности", по которому крівпостное право считалось залогомъ благоденствія Россіи и незыблемой основой ея величія. Но самымъ крупнымъ — и по таланту, и по общественному значенію — произведеніемъ, сдёлавшимъ, можно сказать, эпоху въ литературной борьбѣ противъ крѣпостного права, были, конечно, "Записки Охотника" Тургенева. Недаромъ ихъ сравнивали, по силь вліянія, съ знаменитой "Хижиной дяди Тома". Сопоставляя, въ рядѣ художественныхъ и тъмъ правдивыхъ очерковъ, крестьянина и помъщика, изображая типическія разновидности того другого класса, Тургеневъ рисовалъ сильную, аркую картину безправія однихъ и произвола другихъ и, такимъ образомъ, приводиль въ исполнение свою "аннибаловскую клятву" бороться до конца противъ ненавистнаго рабства, клятву, которую, по его словамъ, не онъ одинъ далъ себъ тогда.

окончательно выясняются задачи и цѣли нашего литературнаго движенія: реализмъ въ изображеніи жизни и критическое къ ней отношеніе, а въ связи съ этимъ — психологическій анализъ личности въ ея отношеніяхъ къ важнѣйшимъ общественнымъ вопросамъ. Сила русской повѣсти и романа, по справедливому замѣчанію А. Н. Пыпина *) была выработана собственнымъ трудомъ общественнаго сознанія, волненіями нравственнаго чувства и искреннимъ стремленіемъ къ общественному благу въ единеніи съ народомъ. Отсутствіе политической жизни заставляло сосредоточиваться въ литературѣ, и здѣсь была основа сильнаго художественнаго и общественнаго дѣйствія. Въ большой мѣрѣ именно вліяніямъ литературы была обязана своимъ успѣхомъ "эпоха великихъ реформъ".

Достоевскій сказаль однажды о себ'в и своихъ литературныхъ сверстникахъ: "Всв мы вышли изъ-подъ гоголевской Шинели". И въ самомъ дёлё, въ теченіе послёдующихъ десятилётій наша повёсть и романъ являются дальнъйшимъ развитіемъ основныхъ пріемовъ и точекъ зрѣнія, установленныхъ Гоголемъ и примѣняемыхъ теперь къ болве широкому кругу наблюденій въ разныхъ сферахъ русской жизни. Строго-реальное отношение искусства къ дъйствительности, отсутствие сложной "выдумки" сюжетовъ и внёшнихъ эффектовъ—соотвётственно простотъ самой жизни, подробный анализъ внутреннихъ чувствъ изображаемыхъ лицъ, проповѣдь не отвлеченная, а такъ сказать — наглядная, практическая, высокихъ правственныхъ идеаловъ и сочувственнаго отношенія ко встиъ униженнымъ и обездоленнымъ русской жизнью, особенности — къ народу, какъ наиболъ страждущему и обремененному, — таковы характерны у черты русской повъсти и романа въ послъ-гоголевскій періодъ, черты, замътно проступающія не только въ поэзіи, но и въ на-

^{*)} Энцикл. Слов. Брокгауза-Ефрона, т. 23, стр. 619 (ст. "Россія").

учныхъ изследованіяхъ историческаго и экономическаго содержанія, и въ публицистикъ, и въ критикъ, и въ другихъ областяхъ литературы, не исключая и церковнаго проповѣдничества. То, что у Гоголя было только намѣчено или брошено мимоходомъ, получаетъ дальнъйшее развитіе у Гончарова, Тургенева, Достоевскаго и у другихъ писателей младшаго покольнія. Гончаровъ въ первомъ своемъ большомъ романъ "Обыкновенная Исторія" явился эпически-объективнымъ изобразителемъ стараго помъщичьяго быта въ его различныхъ отношеніяхъ къ начинавшемуся въ обществъ броженію новыхъ идей и стремленій. Въ этомъ романь, по словамъ самого автора, "отразилась тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ, сентиментальность, карикатурное увеличеніе чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ... словомъ, - вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ. Все это отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, делового, нужнаго..." Главное достоинство этого романа заключается въ широкой и яркой детальной картинъ нравовъ, которая по силъ и върности не имъла себъ подобныхъ въ литературъ того времени (1847) и давала ценный матеріаль для размышленій и обобщеній. Тургеневь, какь уже сказано выше, даль въ "Запискахъ Охотника" живые типы крестьянъ и помъщиковъ въ ихъ соотношение между собою и рядъ правдивыхъ картинъ кръпостного быта. Достоевскій уже къ первомъ своемъ произведении, — небольшомъ разсказъ "Бъдиме люди" (1846), — развилъ основной мотивъ гоголевской "Шинели", сдълавшійся впоследствіи преобладающимъ во всъхъ его произведеніяхъ: разсказъ проникнуть мягкою, сердечно-участливою жалостью къ людямъ, обиженнымъ судьбой, и стремленіемъ отыскивать высокія душевныя качества въ самой неприглядной внішней обстановкъ. Этимъ же мотивомъ опредъляется и все позднъйшее настроение автора "Бъдныхъ людей".

Другіе писатели, начавшіе свою д'ятельность одновременно съ названными, или нъсколько позже, пошли по той же дорогъ. Бытописателями простонародья, вслъдъ за Григоровичемъ, выстугили гораздо лучше него освъдомленные съ этой средой и боле строгіе реалисты-Писемскій и А. Потехинъ; своеобразный быть русскаго преимущественно московскаго-купечества, еще хранившаго въ своихъ нъдрахъ преданія въковъ давно минувшихъ, нашелъ талантливаго наблюдателя и изобразителя въ лицѣ Островскаго. Само собой разумѣется, что примёръ, данный этими писателями, вызвалъ многочисленныя подражанія, хотя иногда и невысокой литературной цѣнности, но проникнутыя тѣми же основными идеями. Совокупность всёхъ этихъ произведеній дала нашей литературъ прочную національную основу, на которой она и могла построить дальнъйшее свое развитіе.

Это развитіе, однакоже, затормозилось на несколько лёть подъ вліяніемъ внешнихъ событій, которыя очень неблагопріятно отразились на литературів. Революціонное движение въ 1848 г. вызвало въ Россіи преувеличенныя опасенія "бунта", которыя, въ свою очередь, сказались чрезвычайнымъ усиленіемъ цензурнаго надзора, устранившимъ изъ литературы всякое обсуждение вопросовъ политическихъ и общественныхъ. Красноръчивымъ памятникомъ этой поры, названной, нёсколько лёть спустя. оффиціально "эпохой цензурнаго террора", остался простой разлинованный листь, съ надписью: "Транспоранть" и съ пометой внизу: "Печатать дозволяется. Цензоръ Елагинъ". Запрещеніе касаться въ печати сколько-нибудь живыхъ темъ привело къ полному обезличенію журналистики; критическія статьи конца 40-хъ и первой половины 50-хъ годовъ отличаются сухостью, безцвътотсутствіемъ идейной полемики, заміняемой ностью. просто перебранками; отдёль такъ называемыхъ "Наукъ"

расширяется на счеть прочихъ журнальныхъ отдъловъ и наполняется скучнъйшими и никому не нужными спеціальными статьями; повъствовательная литература, въ массъ, утрачиваетъ свою прежнюю жизненность и состоитъ почти исключительно изъ переводныхъ и подражающихъ имъ оригинальныхъ романовъ и повъстей фельетонно-сказочнаго содержанія, каковы, напримъръ, произведенія Вонлярлярскаго, Ахшарумова, Евгеніи Туръ, графини Ростопчиной и другихъ т. п. писателей и писательницъ, самыя имена которыхъ въ настоящее время извъстны только библіографамъ...

Одновременно съ усиленіемъ цензурнаго надзора подвергается личному гоненію цёлый рядь писателей, дёятельность которыхъ вынужденно прекращается на болъе или менве продолжительный срокъ. Послв смерти Бълинскаго и молодого, подававшаго большія надежды, критика Валеріана Майкова, изъ литературнаго строя выбывають сосланные по дёлу Петрашевскаго-Достоевскій и Плещеевъ; эмигрируетъ за границу Герденъ; серьезныя непріятности приходится претерпъвать только что начавшему свою литературную дѣятельность Салтыкову, который быль сосланъ въ Вятку за повъсть "Запутанное дъло",— Тургеневу, высланному въ деревню послѣ ареста въ части за некрологь Гоголя, --Островскому, отданному подъ надзоръ полиціи за свою первую большую комедію "Банкротъ" ("Свои люди-сочтемся"), причемъ не только самая комедія безусловно запрещена была для сцены, но не дозволялось даже ничего писать о ней въ журналахъ... Славянофилы — братья Кирвевскіе, Аксаковы, Хомякові лишаются возможности высказывать свои мысли въ печати и также подвергаются различнымъ полицейскимъ мфропріятіямъ. Словомъ, разгромъ идеть по всей линіи и отражается общею запуганностью и приниженностью литературы...

Но не смотря и на такое положение литературы, движение, однажды начавшееся, уже не могло остановиться.

Лишенные возможности изображать жизнь общества и говорить объ ея условіяхъ, писатели обращаются къ изученію жизни личной, внутренней и психологическому анализу современнымъ типовъ. "У насъ, русскихъ, нѣтъ другой жизненной задачи, какъ разработка нашей личности ", — говорить одинь изъ тургеневскихъ героевъ. И дъйствительно, въ литературъ начинаетъ преобладать личный, лирическій элементь, — элементь такъ называемой "рефлексіи". "Отличительная черта нашей эпохи, — говорить Герценъ въ одной изъ своихъ статей, — есть grübeln. Мы не хотимъ шага сдълать, не выразумъвъ его, мы безпрестанно останавливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ... Мы переживаемъ безпрерывно прошедшее и настоящее, все, случившееся съ нами и другими, -- ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины..." Это вынужденное господство анализа душевныхъ состояній личности надъ анализомъ общественныхъ вопросовъ сказалось въ цёломъ рядё крупныхъ и мелкихъ произведеній повъствовательной литературы, посвященныхъ почти исключительно изображенію любовныхъ отношеній, — большею частью неудачныхъ, безрадостныхъ; оно было прекрасно подмъчено чуткимъ талантомъ Тургенева и нашло себъ воплощение въ типъ, къ которому романистъ возвращался нёсколько разъ и подходиль съ разныхъ сторонъ, — въ типъ "лишняго человъка", одареннаго недюжинными силами и способностями, которыя, однако, должны гибнуть безплодно, потому что не находять себѣ въ условіяхъ русскаго быта никакого примененія. Изображенію этого типа Тургеневъ посвятиль цълый рядъ этодовъ,--"Гамлетъ Щигровскаго увзда", "Дневникъ лишняго человъка", "Яковъ Пасынковъ", "Рудинъ", "Дворянское гньздо", "Отчаянный"... Можно даже сказать, что основныя черты этого характера болье или менье присущи встмъ тургеневскимъ героямъ, даже и позднъйшаго времени, когда условія жизни и строй мысли окружающаго

ихъ общества успѣли уже въ значительной степени измѣниться...

Исканіе "безобидныхъ" сюжетовъ, которые не возбуждали бы усиленной подозрительности тогдашней цензуры, привело, съ другой стороны, къ расширенію круга тахъ явленій русской жизни, которыя стали находить себъ выраженіе въ литературь: мало-по-малу вь ней получили извьстное право гражданства быть провинціальный, купеческій, народный, раскольничій и т. д. Такъ называемая "молодая редакція" погодинскаго "Москвитянина", — журнала, бывшаго до начала 50-хъ годовъ складочнымъ мъстомъ всякаго литературнаго хлама, а теперь вдругь оживившагося, благодаря случайно собравшемуся кружку молодыхъ и пылкихъ сотрудниковъ (Островскій, Писемскій, Потехинъ, Мельниковъ, Аполленъ Григорьевъ, Тертій Филипповъ и др.), поставила на своемъ знамени "правду въ искусствъ", т. е. стремленіе къ возможно в рному, безпристрастному и всестороннему изображенію разныхъ сторонъ русской жизни, преимущественно - такихъ, которыя до того времени еще мало или совствить не затрогивались нашей литературой. Само собою разумъется, что при тогдашнихъ условіяхъ справиться съ такой задачей было вовсе не легко; но молодые, талантливые писатели в рили въ свои силы и не отступали передъ трудностями. Островскій въ рядъ комедій— "Въдная невъста", "Не въ свои сани не садись", "Бъдность не порокъ" и др. — далъ простыя, искреннія бытовыя картины, взятыя прямо изъ жизни, и сумълъ поставить русскую сцену на новый, вполнъ національный путь, о которомъ мечталь для нея Гоголь. Въ разсказахъ и повъстяхъ Писемскаго появились хотя и грубовато, но очень реально изображенныя и также новыя для тогдашней литературы черты быта провинціальнаго пом'вщичества и крестьянства. Къ нимъ примкнули повъсти изъ народнаго быта Алексъя Потъхина, этнографическіе очерки Даля и Мельникова, разсказы изъ жизни московскихъ захолустій рано умершаго талантливаго Ивана Тимофъевича Кокорева и др. Интересъ къ изображенію народной жизни, вызванный деревенскими повъстями Григоровича и "Записками Охотника" Тургенева, продолжаль поддерживаться въ литературу, хотя критика и указывала въ этомъ изображении существенные недостатки, въ особенности — отсутствие естественности и върности дъйствительной жизни: дъло въ томъ, что авторы большинства повъстей и разсказовъ изъ народнаго быта обыкновенно применяли къ обработке своихъ сюжетовъ, и къ самому ихъ изобретенію, — те же самые пріемы, какіе всёми применялись къ сюжетамъ, почерпаемымъ изъ совсемъ иного общественнаго круга; такимъ образомъ, неръдко получалось не жизненное литературное произведеніе, а болье или менье искусственная литературная выдумка", прикрашенная особеннымъ, сентиментальнымъ отношеніемъ къ "мужичку". Но это были только пробы пера новаго, "народническаго" писательства, для котораго не настало еще время, — тъмъ болье, что и внъшнія условія тогдашней литературы не допускали еще иного, болье серьезнаго и правдиваго отношенія къ мужицкимъ дъламъ. Важенъ былъ уже самый фактъ сознанія, что народная жизнь должна быть введена въ литературу въ возможной полнотъ, и что вопросъ объ измънении существенных условій этой жизни, -объ отміні кріпостного права, есть коренной вопросъ русской общественной мысли. Этому сознанію, его развитію и укрыпленію въ обществъ, и старалась служить литература, насколько это было тогда въ ея силахъ.

Критика, послѣ смерти Бѣлинскаго, вынуждена была отказаться отъ примѣненія къ литературнымъ произведеніямъ общественныхъ идей и ограничилась почти исключительно вопросами эстетическими и историко-литературными. Выдающееся мѣсто въ ней занялъ въ 50-хъ годахъ представитель "молодой" редакціи "Москвитянина", Аполлонъ Григорьевъ, писатель очень безпорядочный и за все время своей дѣятельности не успѣвшій договориться до

сколько - нибудь систематическаго, связнаго изложенія своихъ основныхъ взглядовъ, но за то въ высокой степени обладавшій искренностью сужденій и несомніно талантливый. Его статьи, полныя лирическихъ отступленій, проникнуты горячей любовью къ искусству и литературъ. Онъ не быль приверженцемь началь чисто-эстетической критики и высказывался противъ теоріи "искусства для искусства", отвлеченность которой, по его мненію, была намъ "не ко двору"; его идеаломъ была критика "органическая", въ которой литературное произведение разсматривалось бы какъ нъчто растущее на почвъ жизни даннаго въка и народа. Отсюда выводъ, что искусство должно быть прежде всего національно. "Всякій талантливый писатель есть неизбъжно голосъ извъстной почвы, мъстности, имъющій право на свое гражданство, на свой отзывъ и голосъ въ общенародной жизни, — какъ типъ, какъ цветь, какъ отливъ, какъ оттенокъ". Съ этой точки врвнія двятельность писателя, поскольку она самостоятельна, является, такъ сказать, стихійнымъ выраженіемъ "почвы", и личная его заслуга сводится къ тому, что онъ своими произведеніями завоевываеть для литературы новыя, еще не извъданныя ею области жизни. Такое завоеваніе сдёлано было Островскимъ, который раскрылъ въ своихъ комедіяхъ невёдомый до того времени бытъ московскаго купечества со всёми его характерными особенностями и, такимъ образомъ, сказалъ въ нашей литературѣ сильное "новое слово". Григорьевъ и оставилъ по себъ слъдъ въ нашей критикъ преимущественно какъ восторженный поклонникъ и панегиристъ Островскаго. Онъ не быль, да по условіямь времени и характеру своего дарованія и не могь быть, руководителемъ литературы, какимъ былъ Бълинскій; въ тяжелую пору первой половины 50-хъ годовъ его голосъ звучалъ слишкомъ подъ сурдиной отвлеченныхъ метафизическихъ разсужденій, къ тому же всегда безпорядочныхъ, а въ эпоху позднъйшую его заглушили другіе голоса, болье смылые и рышительные, болье подходившие къ настроению новаго времени.

Еще менѣе Григорьева могъ быть руководителемъ современной литературы Дружининъ, авторъ нѣсколькихъ совершенно ничтожныхъ "великосвѣтскихъ" повѣстей, въ критическихъ статьяхъ своихъ, скучныхъ и вялыхъ, какъ сама тогдашняя русская жизнь, выступавшій защитникомъ "чистаго" искусства противъ послѣдователей такъ называемой "натуральной" школы, которые думали идти по слѣдамъ Гоголя, фотографируя въ мелкихъ очеркахъ разныя мелочи столичнаго быта...

Русскій театръ въ ту эпоху, о которой мы теперь говоримъ, также стоялъ на очень невысокой ступени литературнаго достоинства. Таланту Островскаго, только что начинавшему заявлять себя, поставлены были предёлы: его первая и лучшая комедія "Банкроть" не могла появиться на сценъ, а полное его развитіе относится къ позднъйшему времени. Во второй половинъ 40-хъ и первой половин 50-хъ годовъ наша драматическая литература не блистала оригинальными дарованіями; на русской господствовали переводныя — преимущественно французскія-мелодрамы или русскія топорныя имъ подражанія, водевили, да напыщенныя, неестественныя, пропитанныя крикливымъ "кваснымъ" патріотизмомъ драмы Кукольника, — и талантливымъ артистамъ, которыхъ было гораздо больше, чемъ талантливыхъ драматурговъ, не на чемъ было показать и развернуть свои силы...

Вообще, въ эпоху Крымской войны застой и уныніе дошли въ литературѣ до крайней степени. Но огонекъ мысли еще теплился подъ густымъ слоемъ пепла — и разгорѣлся яркимъ пламенемъ, какъ только повѣяла на него струя свѣжаго воздуха.

Восточная война 1853—55 гг. обнаружила полную несостоятельность принциповъ, считавшихся до того времени краеугольными камнями нашего общественнаго строя; новое, либеральное правительство, одушевленное лучшими

намѣреніями, рѣшило вступить на путь преобразованій; литература получила небывалую раньше свободу въ обсуждении общественныхъ вопросовъ, и не замедлила отразить въ себъ то возбужденное, полное ожиданій состояніе, въ какомъ находилось тогда все русское общество. Первымъ и важнъйшимъ шагомъ на новомъ пути было освобождение крестьянъ; на этотъ вопросъ и направлено было все вниманіе правительства, общества и литературы; въ немъ нашли себъ, наконецъ, практическое воплощеніе тѣ идеи, которыя въ теченіе предшествовавшихъ десятильтій могли быть только предметомъ келейнаго обсужденія. Охватившій лучшую часть общества юношескій восторгъ, полный оптимизма и самыхъ радужныхъ надеждъ, готовъ быль видеть въ будущемъ и дальнейшие шаги къ освобожденію—не одного только крестьянства, но и всего общества, отъ того крипостного состоянія, въ которомъ оно жило столько въковъ, --- свободу общественнаго почина, свободу мысли и слова и т. д. Литература получила возможность высказать то, что накопилось въ душ'в за долгіе годы вынужденнаго молчанія, —и общее оживленіе сказалось въ ней стремленіемъ подвергнуть критическому анализу всё основы русской жизни и опредълить принципы разумнаго существованія и д'ятельности. Непродолжительный періодъ съ конца 50-хъ годовъ до первыхъ лътъ слъдующаго десятильтія, — это, по выраженію поэта, "благодатное время надеждъ", время реформъ, существенно измѣнившихъ прежнія общественныя отношенія, было временемъ горячаго порыва къ новой жизни, къ возможно более широкой деятельности общественныхъ силь, впервые получавшихь возможность заявить себя на почвъ практическаго дъла. Самымъ сильнымъ и върнымъ орудіемъ прогресса признана была гласность, --- и, благодаря сравнительной свободъ печати, скоро развилась такъ называемая "обличительная" литература, освъщавшая и въ серьезныхъ изследованіяхъ, и въ беллетристическихъ произведеніяхъ разныя темныя стороны русской жизни. Недоскаванное на родинѣ договаривалось за границей, въ очень вліятельной въ ту пору литературу русской эмиграціи, во главѣ которой стоялъ одинъ изъ наиболѣе талантливыхъ нашихъ писателей, Герценъ, и которая, при своей страстности и понятныхъ увлеченіяхъ, много содѣйствовала рѣшенію важнѣйшихъ вопросовъ русской жизни, въ особенности—вопроса крестьянскаго. Что касается "обличительной" литературы въ самой Россіи, то ея удары направлялись преимущественно на беззаконіе и продажность стараго суда и администраціи, на казнокрадство и взяточничество, яркіе примѣры которыхъ можно было обѣими руками черпать изъ недавняго прошлаго и даже изъ жизни современной, еще не успѣвшей перестроиться на новый ладъ.

Первое мъсто въ ряду произведеній этой литературы—и по времени, и по значенію, и по таланту автора—занимають "Губернскіе очерки" Щедрина, появив-шіеся въ передовомъ журналѣ той эпохи— "Русскомъ Въстникъ" (1856). Эта живая и правдивая картина административныхъ порядковъ дореформенной провинціи не замедлила вызвать цёлый рядъ подобныхъ же произведеній, выводившихъ на св'єть Божій все то, что до т'єхъ поръ было "шито и крыто" въ нашей общественной жизни. Таковы, напр., были разсказы изъ стараго помъщичьяго быта, въ которыхъ ярко рисовался произволъ "отцовъ народа" и полное порабощение ими человъческой личности; изъ довольно многочисленныхъ разсказовъ этой категоріи сл'ядуеть вспомнить "Старые Годы" Мельникова, —писателя, по характеру своему вовсе не склоннаго сгущать мрачныя краски дъйствительности. Таковы, далье, быль обличительные разсказы Селиванова, "Откупное Дъло" Елагина и мн. др. Во многихъ изъ произведеній этого рода не было "творящаго искусства", но въ нихъ кипъла "живая кровь", и это живое отношеніе къ передовымъ идеямъ своего времени обусловливало силу обличенія и литературное ихъ вліяніе. Въ обществъ пробудилось сознаніе необходимости знать о Россіи всю правду, которую оть него такъ долго скрывали, — и литература отвъчала этой потребности. Стремленіе къ реальному, правдивому изображенію жизни, ставшее въ нашей литературѣ господствующимъ еще со временъ Гоголя, теперь даеть тонъ дъятельности всъхъ сколько-нибудь выдающихся писателей и находить себъ обильный матеріаль въ такихъ областяхъ русской действительности, которыя раньше оставались, по разнымъ причинамъ, въ сторонъ отъ литературнаго освъщенія. "Обличительные" мотивы все сильнее слышатся въ журналистикъ ("Искра"), проникають на сцену ("Доходное Мъсто Сстровскаго, "Свъть не безъ добрыхъ людей" Льгова, комедіи А. Потвхина и др.), наконець, находять себь отзвукь и въ поэзіи, которая все болье и болъе усвоиваетъ "гражданское" содержаніе. Общественные интересы, общественные вопросы, крупные и мелкіе, прежде совершенно изъятые изъ области публичнаго обсужденія, выдвигаются теперь на первый плань-и вся литература, естественно, принимаеть публицистическій характерь. Общими усиліями писателей старшаго покольнія, стоявшихъ на нервомъ ряду, и множества второстепенныхъ дъятелей, среди которыхъ были люди съ выдающимися дарованіями, литература становится в рнымъ и полнымъ выражениемъ светлыхъ и темныхъ сторонъ русской жизни, руководящихъ идей и стремленій общества. Вмъсть съ тъмъ, она все болье и болье демократизируется-какъ по своему характеру, такъ и по личному составу, захватывая въ свою область все общество, сверху до низу. Въ первой половинъ въка почти всъ наши писатели принадлежами къ дворянской средъ; такія лица, какъ купецъ Полевой, семинаристъ Надеждинъ, штабълъкарскій сынъ Бълинскій и немногіе другіе, являлись исключеніями, и самое ихъ появленіе въ литературъ встръчалось недружелюбно, какъ своего рода вторженіе въ область, не соотвътствующую ихъ званію, а на вышедшаго изъ еще болье низменнаго слоя мъщанина Кольцова смотръли какъ на курьезъ. Во второй половинъ въка положеніе дъла существенно измънилось: теперь дворянскій элементь въ литературъ все болье и болье сокращается, она быстро утрачиваетъ свой прежній сословный характеръ и пополняется приливомъ свъжихъ силъ изъ среды такъ называемыхъ "разночинцевъ", которые въ 60-хъ годахъ занимаютъ въ ней уже первое мъсто. Это преобладающее значеніе демократическаго элемента въ литературъ второй половины въка имъетъ очень существенное культурное значеніе: благодаря ему, не только углубилось содержаніе литературы и значительно расширился кругъ ея дъйствія и вліянія, но и образовался многочисленный классъ писателей, для которыхъ литература стала исключительной профессіей.

Можно даже сказать, что этоть такъ называемый "мыслящій пролетаріать" сдёлался, начиная съ послёднихъ 50-хъ годовъ, настоящимъ хозяиномъ литературы и-естественно-усилиль ту демократическую окраску, которою она отличалась и ранбе оть другихъ европейскихъ литературъ. Возвышенный, но отвлеченный идеализмъ и "чистое", далекое отъ злобы дня, искусство, служащее источникомъ только эстетическаго наслажденія, у насъ и въ прежнее время были "не ко двору": олимпійское созерцаніе в'яной красоты слишкомъ різко расходилось съ непосредственными впечатлѣніями родной, русской действительности, —и поэть, будь онъ самъ Пушкинъ, не могъ расчитывать на сочувствіе широкаго круга читателей, если уклонялся отъ задачи "глаголомъ жечь сердца людей". Довольно вспомнить, какъ нападалъ на Пушкина за эти уклоненія еще Полевой, и какъ псклонники поэта старались снять съ него упрекъ презрительномъ отношении къ "черни", увъряя, что слова: "Подите прочь! какое дёло поэту мирному до васъ?" относятся къ "черни литературной". Въ пору, когда наше общественное самосознание только

еще пробуждалось и гражданская мысль, не находя себф возможности яснаго выраженія въ литературь, изливалась въ болъе или менъе отвлеченныхъ "вольнолюбивыхъ мечтаніяхъ" въ стилѣ Шиллера, или въ болѣе или менъе туманныхъ философскихъ разсужденіяхъ, которыя надо было привыкнуть читать "между строкъ", чтобы уразумьть скрытый въ нихъ смыслъ, -- литература, конечно, не могла всецъло отдаться своимъ демократическимъ симпатіямъ, не говоря уже о томъ, что ей часто недоставало близкаго, непосредственнаго внакомства не только съ народомъ, но и съ низшими классами городского населенія, по отсутствію въ писательскихъ рядахъ людей, вышедшихъ изъ. этой среды и, такъ сказать, на своихъ плечахъ выносившихъ всѣ тяжести ея существованія. Но когда настало иное, болье свободное время и когда въ литературу хлынулъ приливъ свъжихъ силъ именно изъ этой среды, — если еще не изъ народа, то изъ классовъ, ему близкихъ и родственныхъ, —изъ духовенства, изъ мъщанства, -- и пульсъ общественной жизни, возбужденной реформами и возможностью гласнаго обсужденія важнъйшихъ жизненныхъ вопросовъ, забился сильнее, тогда эти демократическія симпатіи нашли сильное выражение во встхъ обласебѣ яркое и стяхъ печатнаго русскаго слова. Историки новаго покольнія, отказавшись отъ традиціонныхъ карамзинскихъ возэрѣній, положили въ основу своихъ изслѣдованій изученіе умственнаго, нравственнаго, экономическаго состоянія народной массы, ея быта, поэзіи, старинной письменности; экономисты, много потрудившіеся для выясненія условій современнаго положенія крестьянства и освобожденія народа отъ крѣпостной зависимости, сосредоточили свое вниманіе на изученіе подробностей матеріальнаго быта русской деревни; деятели въ области изящнаго слова, поэты и прозаики, старались освѣщать художественнымь воспроизведеніемъ самые темные и до тъхъ поръ недоступные, или извъстные только по слухамъ, уголки русскаго быта... Понятно, что въ такую пору общаго подъема гражданскихъ чувствъ, общаго порыва къ иной, новой жизни, муза "чистаго" искусства и отвлеченныхъ поэтическихъ созерцаній не могла найти себъ мъста въ литературъ: ея неземной голосъ звучалъ слишкомъ ръзкимъ диссонансомъ въ общемъ хоръ голосовъ, отзывавшихся на требованія живой современности; ея пъсни казались не только "невиннымъ вздоромъ", но вздоромъ даже постыднымъ:

"...стыдно спать! Еще стыднъй въ годину горя Красу долинъ, небесъ и моря И ласку милой воспъвать!".

Жестокому гоненію подвергся Пушкинъ; стихотворенія Фета объявлены были безсмысленными; слова: "шопоть, робкое дыханье" употреблялись какъ синонимъ "чепухи". Мало того: это банкротство "чистой" поэзіи признано было злостнымъ, и она провозглашалась служанкой реакціи и обскурантизма. Какъ бы въ подтвержденіе этого суроваго приговора, голоса въ защиту "свободныхъ вдохновеній" раздавались преимущественно въ лагеръ, болъе или менъе открыто враждебномъ всъмъ новымъ общественнымъ начинаніямъ...

Такимъ образомъ, споръ о "чистомъ" искусствъ и общественныхъ задачахъ поэзіи и вообще литературы получилъ значеніе, такъ сказать, политическое. Разрушительные удары критики направлялись на всю ту эпоху нашей общественной жизни, въ продолженіе которой "чистое" искусство одно только и могло существовать въ нашей литературъ, — и въ усиленномъ отрицаніи выражалось горячее желаніе какъ можно скоръе, окончательно и безповоротно отръшиться отъ всъхъ преданій этой эпохи, навсегда уничтожить всякую связь современности съ тяжелымъ, недавно отжитымъ прошлымъ. Этоть порывъ къ новымъ идеаламъ былъ проявленіемъ, можетъ быть, слишкомъ наивной, слишкомъ пылкой, но безу-

словно искренней юношеской самоувъренности, — въры въ свъжія силы новаго времени, которыя должны создать для общества новую жизнь, не похожую на прежнюю; эта новая жизнь — казалось тогда — не должна имъть съ прошлымъ ничего общаго, должна безъ оглядки навсегда отъ него отвернуться и, во имя будущаго, отказаться даже и отъ того, что было дорого и свято для покольнія 40-хъ годовъ...

При такомъ характеръ новой эпохи, публицистика и критика, естественно, получили въ литературъ преобладающее значеніе. Критика, въ лицъ Чернышевскаго и Добролюбова, на мъсто стараго принципа самодовлъющаго "искусства для искусства" поставила новый принципъ-"искусства для жизни". Чернышевскій говориль, что искусство должно быть для мыслящаго челов ка "учебникомъ жизни". Его область не ограничивается однимъ прекраснымъ, а обнимаеть собою все, что въ дъйствительности-въ природъ и жизни-интересуетъ человъка не какъ ученаго, а просто какъ человъка: "общенитересное въ жизни-вотъ содержание искусства". Но кромъ воспроизведенія этого интереснаго въ жизни, искусство имъетъ еще и другую цъль — объяснение жизни, такъ какъ человъкъ, интересуясь жизненными явленіями, не можеть не произносить надъ ними извъстнаго приговора. "Поэтъ или художникъ, не будучи въ состояніи перестать быть челов комъ вообще, не можеть, если бы и хотъль, отказаться отъ произнесенія своего приговора надъ изображаемыми явленіями; приговоръ этотъ выражается въ его произведении: вотъ новое значение произведеній искусства, по которому искусство становится въ число нравственныхъ дъятельностей человъка". Добролюбовъ главное достоинство художественнаго произведенія видълъ въ жизненности и правдивости; по его мнънію, художникъ долженъ стоять на высотъ современной науки и мысли- и тогда дъйствительность, ярче и живъе отражаясь въ его произведеніяхъ, легче приведеть мыслителя къ полезнымъ для жизни выводамъ. Вследствіе этого, задачею критики у Чернышевскаго и особенно-у Добролюбова ставилась оцънка не литературнаго произведенія самого по себъ, а тъхъ явленій русской жизни, которыя въ данномъ произведеніи изображаются: это была критика жизни "по поводу" выдающихся явленій литературы. Пользуясь этими явленіями, Добролюбовь подвергь анализу всв наши семейныя и общественныя отношенія, всегда указывая высокій идеалъ справедливости и человъческаго достоинства, въ которыхъ онъ справедливо видълъ единственное прочное основание общественнаго прогресса. Наивное увлечение громкими фразами и показными успъхами, бывшее для него только признакомъ нашей незрълости, встръчало съ его стороны строгое осуждение: серьезное дѣло общественнаго возрожденія должно было совершаться серьезно...

Смёлая, талантливая, прямолинейная въ своихъ увлеченіяхъ, критика и публицистика давала опредъленный тонъ начавшемуся въ эпоху реформъ броженію идей. Освобожденіе крестьянь и другія, связанныя съ нимь, преобразованія русскаго общественнаго строя, поставили на очередь рядъ вопросовъ политическаго, гражданскаго и нравственнаго значенія. "Свобода перестала быть идеальной формулой, лишенной практического содержанія: она уже начинала получать нъкоторое реальное примъненіе въ жизни, — и задача новаго поколънія, естественно, опредълялась стремленіемъ расширять фактическія рамки нарождавшейся свободы. Въ понятномъ пылу перваго увлеченія эта задача ставилась очень сміло, — очень многое казалось не только возможнымъ, но и достижимымъ въ ближайшемъ будущемъ: всв нити, связывавшія новую жизнь съ недавнимъ прошлымъ, представлялись порванными навсегда... Опыть показаль, что это тороплипредставление было слишкомъ преждевременно, и тирокіе замыслы, переходя на почву практическаго примѣненія, вынуждены были все больше и больше ограничиваться. Такая судьба постигла, прежде всего, вопросы политическаго характера; затѣмь—и очень скоро—и другія задачи общественнаго возрожденія сошли на почву личнаго самосовершенствованія: преобладающее значеніе получила мысль о томь, что выработка новаго общественнаго строя можеть быть дѣломъ только такого поколѣнія, которое прежде само воспитаеть себя въ духѣ новыхъ идеаловъ и усвоить новое, разумное міросозерцаніе.

Такимъ образомъ, первостепенными вопросами, на которые болье всего направлена была мысль 60-хъ годовъ, явились, прежде всего, вопросы освобожденія и признанія правъ личности въ обществъ и семьъ (свобода слова, совъсти, женская эмансипація и пр.), а затьмъ-вопросы воспитанія и развитія разумной личности, способной самостоятельно и критически относиться ко всёмъ явленіямъ жизни. Стремленіе къ критицизму и "реальному" мышленію вызвало войну съ "метафизикой" и отрицаніе авторитетовъ и всякаго рода традицій, которыя новое покольніе провозгласило отжившими свой въкъ и потому вредными. Это отрицание составляло одну изъ характерныхъ особенностей тогдашнихъ "новыхъ людей", за которыми, съ легкой руки Тургенева, въ противномъ лагеръ утвердилась кличка "нигилистовъ" и которые, не гнушаясь этимъ названіемъ, предпочитали называть себя, по примъру Писарева "мыслящими реалистами". Широкое развитіе естественныхъ наукъ на Западъ и появленіе въ русской литературъ большого количества переводовъ сочиненій выдающихся европейскихъ популяризаторовъ вызвали увлечение естествознаниемъ, которое было провозглашено самой животрепещущей потребностью нашего общества, — и популяризація естественныхъ наукъ была признана высшимъ назначениемъ "мыслящихъ людей", какъ наилучшее вспомогательное средство для выработки "трезваго" міросозерданія. Это міросозерданіе, по опредавленію Писарева,—наиболье краснорычиваго и вліятель-

наго въ свое время проповъдника новыхъ идеаловъ, --заключается, прежде всего, въ "строгомъ и послъдовательномъ реализмъ" и "экономіи умственныхъ силъ", путемъ направленія къ полезному труду, къ тому, что нужно. Въ основу личной нравственности полагается трудь полезный и производительный, направленный къ удовлетворенію самыхъ существенныхъ потребностей общества: "вся наша надежда, -- говорилъ Писаревъ, -- покоится на тъхъ людяхъ, которые сами себя кормятъ". Трудовая независимость мыслящаго человъка приводитъ его къ независимости отъ всякихъ кастовыхъ и общественныхъ предразсудковъ; следовательно, любовь къ труду должна быть единственнымъ принципомъ "новаго человъка", въра въ умъ-единственной его върой; а кто любить трудь, тоть сознательно любить самого себя и научается глубоко уважать собственную личность и отстаивать ея права. Производительный трудъ исключаеть всѣ "вздорныя" потребности, которыя для Писарева ревюмируются въ одномъ понятіи: "эстетика"; общество, которое имъетъ въ своей средъ бъдныхъ и голодныхъ и при этомъ стремится развивать искусства, Писаревъ сравниваеть съ голымъ дикаремъ, украшающимъ себя драгоцѣнностями. Отсюда, - какъ логическій выводъ, -- отрицаніе искусства, какъ безполезнаго и даже вреднаго элемента въ общественной нашей жизни, "разрушение эстетики", выразившееся въ ожесточенныхъ нападкахъ на Пушкина и въ той проповъди крайняго утилитаризма, которая нашла свою формулу въ знаменитой фразъ: "сапоги выше Шекспира". Понятно, что всв эти крайности, изъ которыхъ многія вызваны были только полемическимъ задоромъ, не могли не встрътить болье или менъе сильнаго противоръчія въ другомъ, менье рышительномъ литературномъ лагеръ. Начавшаяся полемика, при всъхъ своихъ преувеличеніяхъ, много помогла росту критической мысли, а время успъло сгладить ръзкости и выдълить изъ шелухи здоровое ядро.

Такимъ образомъ, въ 60-хъ годахъ наша литература все больше и больше проникается сознаніемъ той учительной роли, которая указывалась ей всёмъ ея историческимъ прошлымъ. Руководящіе взгляды критики находять практическое примънение въ дъятельности выдающихся нашихъ писателей какъ эпохи 60-хъ годовъ, такъ и послъдующаго времени. Простое, реальное, правдивое отношеніе къ жизни и стремленіе всь ен области сделать предметомъ художественнаго воспроизведенія и литературнаго анализа составляють важнъйшую характерную особенность новой нашей литературы. И чемъ сильне быль писатель по своему таланту и уму, темь ближе подходиль онь къ русской действительности, не уклоняясь въ ту или иную сторону подъ вліяніемъ предвзятыхъ идей или вкусовъ какой-либо партіи. Нельзя не видъть замъчательнаго и, можно сказать, пророческаго для всей нашей литературы факта въ томъ, что изъ всёхъ крупныхъ и имъвшихъ въ свое время большой успъхъ произведеній пережили своихъ авторовъ и навсегда остались украшеніемъ русскаго слова только такія, въ которыхъ элементъ идеальнаго отношенія къ жизни и внушаемыя этимъ отношеніемъ попытки создавать идеальные образы или совстви отсутствують, или не имтють преобладающаго значенія; тъ же произведенія, въ которыхъ авторы старались изображать жизнь не такою, какова она въ самомъ деле, а такою, какова она, по ихъ понятіямъ, должна быть, конечно, сыграли извъстную роль, отразивъ въ себъ тотъ или иной моментъ нашего умственнаго, нравственнаго, общественнаго роста, но для позднъйшихъ покольній уже утратили свое учительное и руководящее значение. Выработка новыхъ идеаловъ, перестройка міросозерданія, конечно, были важнымъ діломъ; но этому дълу гораздо больше помогало знакомство съ живой, неподкрашенной действительностью, чемъ попытки воплощенія отвлеченныхъ понятій: путь аналитическій оказывался надежніе и плодотворніе синтетическаго.

Въ первой половинъ стольтія преобладающее мъсто и значеніе въ нашей литератур'в принадлежало поэзіи въ тъсномъ смыслъ слова, преимущественно лирикъ: слишкомъ силенъ былъ тонъ, данный Пушкинымъ, и слишкомъ ограничена та сфера, которую могли разрабатывать русскіе пов'єствователи, --- сфера личнаго чувства, почти исключительно — любовнаго. Во второй половинъ стольтія, наобороть, на первое мьсто выдвигаются романъ и драма. По выраженію одного писателя 60-хъ годовъ, въ ту пору "мысль бъгала по улицъ; все кипъло, ждало, рвалось и металось, отыскивая, — и въ исканіяхъ наталкиваясь на сотни идей", для которыхъ свободныя и широкія рамки романа, повъсти, драмы являлись наиболъе удобною формою. Изображение типовъ и характеровъ былого и настоящаго времени, анализъ чувствъ и душевных в движеній на фонъ широкой и богатой разнообразными эпизодами картины русской жизни становится обычнымъ пріемомъ русскаго романа и ділаеть эту литературную форму самымъ върнымъ и поучительнымъ отраженіемъ не только матеріальной, но и духовной стороны быта, - в врованій и надеждъ, стремленій и разочарованій, всего душевнаго склада русскихъ людей. Такое именно значение приобрътаетъ романъ подъ перомъ лучшихъ мастеровъ русскаго художественнаго слова, -Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевскаго, Писемскаго и др. Что касается лирики и вообще поэзіи въ тъсномъ смысль слова, то и въ ней на первый планъ выступають мотивы общественные и гражданскіе, которые начинають звучать въ произведеніяхъ даже поэтовъ, по характеру своего таланта склонявшихся скорбе въ сторону чистаго искусства. Въ драмъ и комедіи Островскій, начавшій свою д'вятельность пьесами изъ быта московскаго купечества, стремится къ широкому захвату всъхъ слоевъ городской жизни и притомъ-не только въ настоящемъ, но и въ историческомъ прошломъ. Онъ является творцомъ обширнаго и вполнѣ самобытнаго русскаго драматическаго репертуара, съ помощью котораго наша сцена роднится съ литературой и получаетъ возможность въ своей сферѣ заняться разработкой тѣхъ же идей, какими живетъ русскій романъ.

Вообще, въ ту эпоху, о которой мы говоримъ, сильный подъемъ общественной жизни сказался небывалымъ до тёхъ поръ оживленіемъ во всёхъ областяхъ литературы. Писатели старшаго покольнія, начавшіе свою дьятельность еще въ 40-хъ годахъ, теперь явились во всемъ блескъ и силъ своего таланта; къ нимъ присоединилось младшее покольніе также очень даровитыхъ литературныхъ работниковъ, изъ которыхъ многіе, несмотря на свою непродолжительную (по большей части) жизнь, успъли оставить по себъ очень замътные слъды. Самое содержаніе литературы стало несравненно шире и глубже, чъмъ прежде, и ея общественное значение проявилось съ особенной силой. Если вообще каждое великое литературное имя вызываеть рядь вполнъ опредъленныхъ мыслей и представленій, которыми характеризуется та или иная эпоха, то въ нашей литературъ это сказывается съ особенной рельефностью, потому что у насъ каждое великое имя есть, вмъстъ съ тъмъ, и знамя, вокругъ котораго собираются носители идей не эстетическихъ, а преимущественно общественныхъ и просвътительныхъ, въ широкомъ смыслѣ этого слова. Произведенія русскихъ писателей гораздо тёснёе связаны съ горестями и радостями, надеждами и стремленіями общества, чёмъ произведенія любой иной литературы: это-трюизмъ, который даже какъ-то неловко повторять, хотя въ последнее время о немъ и стали, какъ будто, забывать... Историку нашей литературы меньше всего приходится говорить о томъ "идеализмъ", который блестящею игрою яркихъ красокъ старается отвлечь мысль и чувство отъ "низкой" и "пошлой дъйствительности" въ ту очарованную область, гдъ "обитаеть геній чистой красоты"; цённость русскаго писателя опредёляется не совершенствомъ литературной техники или вдохновеннымъ полетомъ творческой фантазіи, а большею или меньшею отзывчивостью его къ біенію пульса общественной жизни. Въ этой отзывчивости заключается основной національный элементъ нашей литературы съ первыхъ сознательныхъ ея шаговъ, и благодаря этому качеству, мы можемъ по выдающимся литературнымъ произведеніямъ проследить всю внутреннюю, душевную исторію цёлаго ряда поколёній русскихъ мыслящихъ людей.

Старъйшимъ изъ нисателей, стоявшихъ въ, 60-е годы во главъ нашей "изящной" литературы, — старъйшимъ не только по возрасту, но и по стилю, по манеръ письма, — былъ Гончаровъ.

Горячій поклонникъ Пушкина, Гончаровъ быль въ своихъ произведеніяхъ върнымъ последователемъ той объективной простоты, съ какою поэтъ относится къ жизни въ "повъстяхъ Бълкина",—тъмъ болъе, что эта простота вполнъ отвъчала его собственному созерцательно-спокойному, уравновъшенному складу. Среди бурныхъ волнъ внезапно и высоко поднявшагося прилива общественной мысли и дъятельности Гончаровъ оставался невозмутимо въренъ этому основному эпическому настроенію и медленно работаль надъ тщательной отдёлкой своихъ большихъ романовъ, захватывая въ нихъ нашу жизнь такъ широко, цъльно и правдиво, какъ это не удавалось еще ни одному изъ его предшественниковъ. Эти три обширные романа, поражающіе въ особенности обиліемъ мелкихъ, съ необыкновеннымъ вниманіемъ и любовью выписанныхъ, подробностей повседневной жизни действующихъ лицъ и внутренней, психологической стороны ихъ существованія, воплощають въ себъ основныя характерныя черты культурнаго развитія трехъ покольній—40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годовъ. "Обыкновенная исторія" рисуеть старый пом'єщичій складъ жизни, еще прочно стоящій

на своихъ въковыхъ основахъ, надъ которымъ только слегка, едва заметнымъ дуновеніемъ, проносится разлагающее начало новой мысли, — стремление къ жизни самостоятельной, разумной, деятельной; общество уже начинаеть не столько сознавать, сколько инстинктивно чувствовать духъ времени, идущій наперекоръ традиціонному чужеядству; но новыя стремленія еще не успъли вылиться въ прочно определенную форму, и старая закваска все еще сильна. Въ "Обломовъ" старые устои русскаго быта уже покачнулись; Россія стоить наканунъ великихъ событій, изм'єнившихъ условія нашей общественной жизни, — и противоположность старыхъ привычекъ и новыхъ требованій сказывается сильно и рѣзко. Наконецъ, въ "Обрывъ" мы подвинулись уже за грань, отдъляющую Россію новую отъ старой: герой романа, воспитанный въ атмосферъ стариннаго барства, уже сознательно разрываеть съ его традиціями и ищеть для себя новыхъ путей; но онъ не въ состояни стряхнуть съ себя "ветхаго человъка", и жизнь его проходить въ безплодныхъ порывахъ, потому что въ немъ силенъ еще мертвый духъ стараго покольнія, а новое время требуетъ новыхъ, свъжихъ людей. Историческая роль дворянства завершена; оно дошло до края "обрыва" и въ недоумъній стоить надь нимъ; оно слишкомъ тесными кровными узами связано съ отжившимъ временемъ, къ которому нътъ поворота, — и не въ силахъ порвать эту связь и приспособиться къ инымъ условіямъ жизни. На смѣну старому "барину" идеть "разночинець", — представитель той безличной "толпы", которая еще вчера была "ничвмъ", а сегодня уже сознаеть себя "чвмъ-то", призваннымъ, въ свой чередъ, играть историческую роль...

Изображая русскую действительность со всею тщательностью наблюдателя-жанриста, не упускающаго изъ виду ни малейшей характерной обстановки быта и пейзажа, Гончаровъ во всёхъ своихъ произведеніяхъ является наблюдателемъ, такъ сказать, ретроспективнымъ, онъ какъ бы подводить итоги прошлому, смотрить назадъ, а не впередъ; его интересуютъ не столько новыя идеи и вызываемое ими брожение на поверхности общества, сколько осадки стараго быта, мало-по-малу опускающіеся на дно. Въ этомъ отношеніи онъ представляеть противоположность Тургеневу, который всегда чутко следиль за нашимъ общественнымъ ростомъ и старался уловить его признаки въ видъ типовъ, воплощающихъ въ себъ, такъ сказать, послъдній шагъ общественнаго движенія. Этою разницею въ характерѣ таланта обоихъ романистовъ объясняется и различное ихъ отношеніе къ изображаемой жизни. Гончаровъ смотрить на нее съ высоты эпическаго содержанія, "не въдая ни жалости, ни гивва"; онъ, прежде всего — бытописатель, и основное его качество заключается въ любви къ быти, какъ предмету изображенія; люди для него-только воплощенія этого быта; хороши они или дурны сами по себъ, — ему все равно: разобраться въ ихъ относительныхъ качествахъ-дъло читателя. Тургеневъ, наобороть, почти всегда именно къ изображаемымъ въ его произведеніяхъ модямо относится вполнѣ опредѣленно: онъ или любить ихъ, или ненавидить, --- рисуеть ихъ или со-чувственно, или отрицательно. Уже первое крупное его произведеніе — "Записки охотника" — было результатомъ "аннибаловской клятвы", непримиримой ненависти къ кръпостному праву: выведенные здъсь типы крестьянъ и пом'єщиковъ ясно говорили читателю, на чьей сторон'є все сочувствіе автора. Въ посл'ядующихъ произведеніяхъкрупныхъ романахъ и мелкихъ разсказахъ — мы видимъ то же личное, субъективное отношение художника къ жизни: изображая картины и типы времени давно отжитаго или только еще переживаемаго, онъ вездъ самымъ тономъ изображенія, то негодующимъ, то ироническимъ, то грустнымъ, указываетъ на свою личную оденку того, Тургеневъ пишетъ. При **ЭТОМЪ** обладаетъ чемъ мастерствомъ изложенія, въ которомъ до сихъ поръ еще

не сравнялся съ нимъ ни одинъ изъ русскихъ писателей; образцовый стилисть, онъ соединяеть полноту содержанія съ художественнымъ лаконизмомъ, при которомъ каждое слово пріобретаеть въ разсказ особенную ценность и необходимость; этой сжатостью формы, тщательчной отдёлкой и устраненіемъ всего лишняго, замедляющаго дъйствіе или ослабляющаго впечатльніе, достигается необыкновенная ясность и рельефность всъхъ очертаній, - какъ въ описаніяхъ природы, такъ и въ изображеніяхъ и характеристикахъ отдёльныхъ действующихъ лицъ. Всв эти лица являются типическими представителями той или иной стороны русской жизни, русской культуры, въ последовательной смене ея разнообразныхъ теченій и направленій. Первое и самое важное м'єсто въ ряду этихъ типовъ занимаетъ такъ называемый "лишній человъкъ", название и опредъление котораго впервые даны были Тургеневымъ, но который, въ сущности, является главнымъ героемъ всей русской литературы XIX въка, отъ Онъгина и Чапкаго до пропойцы-босяка, изображеннаго Максимомъ Горькимъ, —проходитъ черезъ цѣлое стольтіе, измыняясь вы частностяхы сообразно сы условіями той или иной эпохи, воплощаясь въ целомъ ряде покольній и въ разныхъ общественныхъ кругахъ. Этотипъ человъка, мыслящаго и чувствующаго "не такъ, какъ всь", который не въ силахъ примириться съ окружающей его действительностью, не въ состояни къ ней пристроиться и должень оть нея бъжать. Но - , куда бъжать, тоску дъвать? На этотъ вопросъ въ разныя эпохи отвъчали разно. Дворянинъ, - по условіямъ нашей общественности, раньше другихъ почувствовавшій угрызеніе этого червяка, бѣжаль въ масонство, въ мистицизмъ, въ іезуиты, на "губительный" Кавказъ, въ гегелевскую философію, въ безшабашное "прожиганіе" жизни на манеръ тургеневскаго "отчаяннаго" Миши Полтева, въ сонное бездъйствіе; "разночинецъ" шелъ въ эмиграцію, "въ народъ", въ "станъ погибающихъ"; мѣщанинъ-въ монастырь; мужикь—въ разбой или въ раскольничій скить, и люди всякихъ званій—въ кабакъ.

> «Да спасибо же тебъ, синему кувшину,— Ты размыкалъ-разогналъ злу тоску кручину!»

Эта горькая пъсня, въ которой вылился весь трагизмъ русской "почвы", пълась и поется "всякихъ чиновъ людьми", которые хотя и выросли на этой почвъ, но, придя въ сознаніе, не смогли съ ней помириться и оказались "лишними", "безпокойными", ненужной помѣхой для благоденственнаго и мирнаго житія. Пересмотрите всю нашу литературу, отъ Радищева до Горькаго, -- и всюду вы увидите только эти типы, только этихъ героевъ "не ко двору", на сторонъ которыхъ всегда сочувствіе и писателя и читателя. Картины изъ жизни благополучно "пристроившихся" всегда отличаются болье или менве иронической окраской: эти картины служать только фономъ для изображенія "лишнихъ" людей, само же по себъ изображение мъщанского счастья и довольства, основаннаго на принципъ "моя хата съ краю", только противно. Вотъ причина, почему въ нашей литературѣ даже и любовные романы получають особенную "общественную сокраску и безъ нея не имѣютъ никакой литературной ценности.

Такимъ образомъ, тѣ "лишніе люди", наименованіе которыхъ пошло съ Тургенева, какъ съ его же легкой руки получило право гражданства и другое слово,—"нигилистъ", представляютъ, въ сущности, только разновидность, только моментъ въ развитіи вѣкового, исторически сложившагося русскаго типа искателя "правды" и носителя "тоски". Это—человѣкъ идеала, въ противоположность "человѣку въ футляръ", желающій жить сознательной, а не растительной жизнью и именно по этой причинѣ отрывающійся отъ такъ называемой "почвы", съ которою у него нѣтъ ничего общаго. Съ этой точки зрѣнія романы Тургенева, независимо отъ художественнаго

ихъ достоинства, являются яркими картинами нравственной, душевной исторіи русскаго общества въ наиболже знаменательную и возбужденную эпоху нашей общественной жизни, — съ половины 50-хъ до начала 80-хъ годовъ. Представители до-реформенной Россіи, — увздные "Гамлеты" и Рудины, осужденные нести въ невъжественномъ обществъ тяжелый кресть развитого ума и чувства и страдать онъгинской хандрою бездъйствія; добрый, благородный, но страдающій свойственной его покольнію слабостью характера птенецъ стариннаго "дворянскаго гивада" Лаврецкій, въ сорокъ льть чувствующій себя уже изломаннымъ жизнью и выброшеннымъ за бортъ старикомъ; разночинецъ Базаровъ, ръшительно разбивающій кумиры стараго покольнія и выступающій проповъдникомъ новой морали, которая, однако, еже не имъетъ подъ собою практической почвы; фанатикъ освобожденія, Инсаровъ, болгаринъ, являющійся приміромъ для "дітей" Россіи, которая стоить "наканунь" появленія такихъ же, какъ онъ, самоотверженныхъ патріотовъ; представители разочарованнаго похмелья, наступившаго вследъ за первыми ударами реакціи послѣ юношески-преувеличенныхъ ожиданій начала 60-хъ годовъ, — Литвиновъ и Потугинъ ("Дымъ"); идеалисты-народники 70-хъ годовъ, гибнущіе неудачныхъ попыткахъ привить народу чуждыя его понятіямъ идеи ("Новь"), -- цълая галлерея типовъ, связанныхъ между собою духовнымъ родствомъ. Наряду съ ними стоить такая же галлерея женщинь и дввушекъ, въ душевной жизни которыхъ первое мъсто занимаютъ вопросы личнаго чувства, но которыя, вмёстё съ темъ, понемногу уже начинають ощущать смутные порывы къ дъятельности внъ тъснаго круга семейныхъ интересовъ и привязанностей. Общая картина дополняется множествомъ второстепенныхъ фигуръ, изъ которыхъ каждая живеть своей особенной жизнью, отражая въ себъ ту или иную сторону жизни общественной. Такимъ образомъ, Тургеневъ является въ своихъ произведеніяхъ изобразителемъ внутренней, идейной стороны русскаго быта, аналитикомъ души русскаго человѣка, стремящагося сознательно къ общественной дѣятельности,—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поэтомъ любви въ ея многоразличныхъ модуляціяхъ, отъ простѣйшихъ до самыхъ сложныхъ. Эта сторона его романовъ и повѣстей придаетъ имъ особенный, поэтическій характеръ и своеобразный жизненный интересъ.

Изображеніе русскаго общества и характеристика роли мыслящаго человъка въ русской средъ въ разныя эпохи ея исторической жизни, данная Тургеневымъ, существенно дополняется произведеніями другого крупнаго писателя, начавшаго свою дъятельность также въ 40-хъ годахъ, — Достоевскаго.

Достоевскій, какъ и Тургеневъ, быль прежде всего художникъ; но по свойству своей природы, страстной, нервной, глубоко чувствительной, онъ не могь стать художникомъ объективнымъ, который спокойно создаеть своихъ героевъ и спокойно следить за всеми перипетіями думанной имъ романической интриги. Уже первую свою повъсть— "Бъдные люди" — онъ писалъ, по собственному сознанію, со страстью, со слезами; создавая то или другое лицо, онъ, такъ сказать, самъ воплощался въ него, жиль его жизнью, радовался его радостями, мучился его муками, близко принимая все это къ сердцу и показывая читателю самые сокровенные тайники души героя, самыя неуловимыя черты въ развитіи извъстнаго чувства или идеи. Въ этомъ-его сила и его слабость: сила-потому, что ни одному изъ нашихъ писателей, кромъ Достоевскаго, не удавалось такъ ясно, отчетливо и подробно анализировать душевныя движенія, подм'вчать въ данномъ характеръ новыя, какъ бы неожиданныя черты и объяснять ихъ такимъ образомъ, что онъ становятся вполнъ логичнымъ и естественнымъ выводомъ изъ основного положенія, —слабость —потому, что Достоевскій, сживаясь съ своими героями, редко достигаеть возможности ихъ объективировать, отдёлять ихъ отъ собственной личности; отъ этого почти всв они являются, въ сущности, чрезвычайно похожими другь на друга, представляя какъ бы разныя стороны одного и того же главнаго, основного типа. Все это — натуры бользненныя, нервныя, односторонне направленныя, исковерканныя жизнью, унижающею и оскорбляющею человъка въ самыхъ дорогихъ, самыхъ святыхъ его чувствахъ. Достоевскій быль самъ униженъ и оскорбленъ, самъ до дна выпилъ горькую чашу русскаго развитого "лишняго" человека; его вере въ жизнь, его любви къ людямъ, готовности служить благу родины, быль нанесень, съ первыхъ же шаговъ, тяжкій ударъ, отразившійся на всей его последующей жизни и литературной дізтельности. Писатель, выступившій въ литературъ съ яркимъ изображениемъ жертвъ грубой общественной среды, самъ былъ поставленъ въ положеніе такой жертвы, самъ вынесъ на себъ всю тяжесть безправія и произвола: понятно и естественно его предпочтеніе типамъ именно этой категоріи. Какъ въ каторжной тюрьмъ, среди отверженцевъ общества, онъ искалъ и находиль людей, сохранившихъ въ себъ образъ и подобіе Божіе, несмотря на свое паденіе, — такъ и въ остальномъ обществъ, среди жизненныхъ условій, "обращающихъ человъка въ грязную ветошку", и даже въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки онъ умълъ находить драгоденные перлы. Въ этомъ-мораль его романовъ, въ которыхъ общественный вопросъ поставленъ быль хотя и односторонне, но глубоко и ръзко. Изображая, съ одной стороны, "униженныхъ и оскорбленныхъ", а съ другой - людей "съ судорожно напряженной волей и внутреннимъ безсиліемъ", Достоевскій болье всего руководился в рой въ челов ка, въ чистоту его сердца, сохраняющаго, несмотря ни на какія испытанія, искру живой і любви, которая когда-нибудь разгорится могучимъ пламенемъ, согръеть душу людей и испепелить зло въ міръ.

Явившись въ ранпихъ своихъ произведеніяхъ прямымъ послѣдователемъ Гоголя, Достоевскій, по возобнов-

леніи своей литературной дізтельности въ конці 50-хъ годовъ, сразу занялъ выдающееся мъсто въ литературъ романомъ "Униженные и Оскорбленные" и "Записками изъ Мертваго Дома". Эта последняя книга произвела впечатльніе неизгладимое: ужасающее своей правдивостью изображение острожной каторжной жизни, пережитой и передуманной самимъ авторомъ, раскрыло передъ глазами общества совершенно новый, до того времени никому невёдомый мірь и вызвало интересь къ такимъ вопросамъ, надъ которыми еще никто не задумывался. Не менъе сильно было впечатлъніе появившагося вслыть затымь большого романа "Преступленіе и Наказаніе". Въ этомъ произведеніи въ первый разъ съ необыкновенной силой сказалась другая сторона таланта Достоевского, - исканіе правды въ глубокомъ анализѣ болѣзненныхъ состояній души русскаго мыслящаго человъка, искалъченнаго суровой, безпощадной действительностью и пытающагося выбиться на свътъ и вольный воздухъ изъ окружающей его мрачной и удушливой атмосферы. Въ дальнъйшихъ своихъ произведеніяхъ, художественно менте выдержанныхъ, въ романахъ "Идіотъ", "Бѣсы" и "Подростокъ", —Достоевскій, слідуя той же методі психологического анализа, пытается дать картину бользненных блужданій русской души въ эпоху того сильнаго нервнаго возбужденія, которое явилось результатомъ разочарованія въ оптимистическихъ идеалахъ 60-хъ годовъ. Обычными лицами его романовъ становятся люди, одаренные тонкой и сложной натурой, --- люди по большей части "одержимые" какой-нибудь идеей, сверхъ-нормальные действующие всегда въ лихорадочномъ состояніи, припадочные, галлюцинирующіелюди, тяжкім душевныя страданія которыхъ раскрывають передъ нами весь ужасъ ихъ внутренней жизни. Этихъ героевъ Достоевскаго, конечно, нельзя назвать типичными въ общепринятомъ смыслъ слова; но, при всей своей психологической исключительности, они, все-таки, намъ не чужіе: въ ихъ безконечныхъ монологахъ и разговорахъ, въ ихъ страстномъ бредѣ всегда есть много такого, что, близко душѣ каждаго русскаго читателя, что, въ большей или меньшей степени, каждымъ изъ насъ переживалось. Собственно внѣшняя жизнь русскаго общества въ романахъ Достоевскаго всегда занимаетъ оченъ второстепенное мѣсто; но въ сферѣ внутренней, идейной жизни эти романы многое объясняютъ лучше всякаго ученаго изслѣдованія, имѣющаго дѣло не съ живыми людьми, а только съ логическими построеніями.

Позже Лостоевскаго, — въ половинъ 50-хъ годовъ, выступилъ на литературное поприще графъ Л. Н. Толстой, начавшій свою ділтельность удивительными по эпической простоть и силь "Военными разсказами" о севастопольской оборонъ и мемуарами: "Дътство, Отрочество и Юность", въ которыхъ съ "поэзіей" тъсно сливается "правда" его собственной жизни. За этими произведеніями, сразу поставившими имя Толстого въ первомъ ряду литературы, следовало несколько разсказовъ и повъстей, отличающихся изящной простотой и глубокимъ психологическимъ анализомъ. Но всѣ эти произведенія, хотя и не имъвшія себъ равныхъ въ то время по свъжести, правдивости и выразительности, были, въ сущности, не больше, какъ только "пробами пера", подготовительными этюдами для единственнаго во всемірной литературъ повъствованія— "Война и Миръ", которое подняло Толстого на недосягаемую высоту. Это быль первый нашъ историческій романъ въ настоящемъ значеніи слова, -- ибо "Капитанская Дочка" Пушкина захватывала только очень ограниченный кругь лиць и событій, а псевдо-историческія пов'єствованія Полевого, Загоскина, Лажечникова и другихъ писателей 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ, навъянныя Вальтеръ-Скоттомъ, даже въ сравненіи съ пушкинскою пов'єстью представляются чімьто "допотопнымъ". Романъ Толстого даетъ широкую эпическую картину русской жизни въ знаменательную эпоху

"Отечественной" войны; онъ воспроизводить эту жизнь во всемъ ея объемъ, отъ дворца до крестьянской лачужки, - и воспроизводить не свысока, не издали, путемъ отвлеченных соображеній, а въ непосредственной къ ней близости, такъ что читатель становится лицомъ къ лицу со всёми малейшими ея подробностями. Это — жизнь не столько природы, сколько человъка: въ противоположность Тургеневу, великому мастеру пейзажа, Толстой очень скупъ на описанія; для него природа — не болье, какъ рамка, въ которой живуть и действують люди, --- и за этими живыми и действующими людьми, которыхъ въ его романъ множество, онъ слъдитъ съ неослабъвающимъ вниманіемъ, подміная малітінія черты, сколько-нибудь характерныя для данной личности, и изображая ихъ съ точностью очевидца; читатель становится какъ бы участникомъ жизни всвхъ этихъ лицъ, сживается съ ихъ радостями и печалями, проникаетъ въ глубь ихъ души и начинаетъ къ нимъ относиться не какъ къ вымышленнымъ образамъ, а какъ къ дъйствительно существующимъ людямъ. И этотъ эффектъ достигается безъ всякаго лиризма. безъ всякихъ искусственныхъ ораторскихъ пріемовъ, къ которымъ нередко прибегаеть Тургеневъ и почти всегда-Достоевскій, а только силою реальнаго возсозданія жизни внъшней и внутренней въ томъ самомъ порядкъ или, върнъе, безпорядкъ, въ какомъ она на самомъ дълъ должна была проходить. При этомъ Толстой почти никогда не прибъгаетъ къ подробному анализу дъйствующихъ у него лицъ, предоставляя читателю самому дълать выводы изъ ихъ поступковъ. Эта чисто-эпическая манера писателя и та острая наблюдательность, благодаря которой во всёхъ его произведеніяхъ такъ сильно чувствуется біеніе пульса настоящей, подлинной жизни, имъла огромное вліяніе на позднійшій русскій романь, въ которомь эпическое спокойствіе и стремленіе къ правдѣ мало по малу начинаетъ рѣшительно преобладать надъ нервновозбужденнымъ, лирическимъ отношеніемъ къ

Такимъ образомъ, для эпохи нашихъ 60-хъ годовъ Толстой явился, до извъстной степени, писателемъ будущаго. Въ ту пору онъ стоялъ далеко отъ современныхъ треволненій и уходилъ отъ нихъ въ далекое прошлое или въ сферу изображенія чисто-личной жизни, въ которой почти не отражалась жизнь общественная. Въ этомъ отношеніи онъ одинаково далеко былъ и отъ Тургенева, и отъ Достоевскаго, къ которому только впослъдствіи подошелъ уже на иной, идейной почвъ.

Среди другихъ писателей, начавшихъ свою литературную дѣятельность въ 40-хъ или въ первой половинѣ 50-хъ годовъ, видное мъсто заняли въ 60-хъ годахъ Писемскій, А. А. Потвхинъ, Мельниковъ. Первый изъ нихъ выступилъ еще въ 1846 г. съ романомъ "Боярщина", который въ ту пору, однако, не могъ быть напечатанъ и долго ходилъ по рукамъ въ рукописи. Въ печати же первыя произведенія Писемскаго стали появляться только съ 1850 года. Эти произведенія, зам'вчательныя силой и правдивостью таланта и до сихъ поръ не утратившія своего значенія, — "Тюфякъ", "Бракъ по страсти", "Батмановъ", — сразу обратили вниманіе публики на молодого писателя и доставили ему извъстную репутацію. Вслъдъ за тъмъ Писемскій напечаталь комедію "Ипохондрикь", нъсколько разсказовъ изъ народной жизни и романъ "Богатый женихъ". Въ 1858 г. имъ написана была драма "Горькая судьбина", —одна изъ выдающихся сильныхъ пьесъ нашего драматического репертуара, и теперь еще не утратившая художественнаго и общественнаго интереса, не смотря на то, что ея содержаніе взято изъ эпохи крѣпостныхъ нравовъ. Въ то же время онъ сдѣлался редакторомъ "Библіотеки для Чтенія", въ которой напечаталь, между прочимь, свою "Боярщину", — широкую картину нравовъ цълаго дворянскаго гнъзда въ пору самаго дикаго крупостничества.

Съ 1863 года начинается другой періодъ литературной дѣятельности Писемскаго. Въ этомъ году онъ наме-

чаталъ въ "Русскомъ Въстникъ" большой романъ "Вабаламученное море", въ которомъ хотълъ дать картину современнаго русскаго общества, увлеченнаго прогрессивнымъ движеніемъ и горячею пропов'ядью передовыхъ людей 60-хъ годовъ. Картина вышла отрицательная, фальшивотенденціозная, — и Писемскій сразу потеряль прежнюю свою репутацію: романъ уронилъ его въ глазахъ его поклонниковъ и доставилъ торжество его литературнымъ противникамъ. Въ этомъ же году Писемскій переселился въ Москву и поступилъ тамъ на службу; какъ романистъ, онъ подвелъ итоги эпохъ своей молодости въ романъ "Люди сороковыхъ годовъ" и изобразилъ современную Москву въ двухъ большихъ романахъ: "Въ водоворотъ" и "Мъщане". Въ этихъ произведеніяхъ, изъ которыхъ последнее прошло почти незамеченнымъ, уже чувствовался человъкъ, ушедшій въ сторону отъ литературнаго и общественнаго движенія: манера застыла въ однихъ и тъхъ же пріемахъ, пониманіе дъйствительности ограничивалось нъсколькими удачными картинами и характерами среди тягучаго и старомоднаго письма; личная жизнь, обстановка, развивающійся нессимизмъ сдѣлали дѣло...

Общее впечатлѣніе отъ произведеній Писемскаго и общій отзывъ о нихъ критики сходятся въ томъ, что это былъ талантъ непосредственный и искренній, одна изъ тѣхъ русскихъ "черноземныхъ силъ", которыя все схватываютъ чутьемъ, инстинктомъ, не подчиняясь никакому идейному контролю. Начавъ съ изображенія простонародной русской жизни, хорошо ему знакомой изъ непосредственнаго наблюденія, онъ сразу выступилъ реалистомъ, художникомъ, правдиво изображающимъ дѣйствительность. Въ изображеніи современнаго общества, къ которому онъ перешелъ въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ, онъ всегда оставался вѣрнымъ этой чертѣ своего таланта. Характеры дѣйствующихъ лицъ въ его произведеніяхъ выходили всегда довольно блѣдными, а за психологическій

анализъ онъ браться не любилъ; но взамънъ этого онъ даваль яркія, рельефныя, правдивыя картины и сцены изъ повседневной жизни. Эти картины и сцены не отличались изяществомъ отдёлки, обиліемъ тонко подмёченныхъ подробностей, и нередко вызывали упреки въ грубости, топорности и т. п.; освъщение, придаваемое имъ авторомъ, иногда, --особенно въ последнемъ періоде его дъятельности, — бывало не вполнъ върно; но именно эта грубость, простота, отсутствие чего-либо блестящаго, быощаго на эффектъ, производили неотразимое впечативніе неподкрашенной правды. Этимъ то свойствомъ таланта писатель и привлекъ вниманіе публики: желаніе и умѣнье прямо глядьть въ глаза окружающей насъ действительности и живописать ее такою, какова она на самомъ дълъ есть, сослужило обществу, только что вступавшему въ періодъ самосознанія, не малую службу и составило заслугу Писемскаго какъ романиста. Для роли публициста, въ которой онъ выступилъ со своимъ Взбаламученнымъ моремъ", у него не оказалось ни достаточной подготовки, ни правильнаго критерія для классификаціи общественныхъ стремленій, —и поученіе вышло крайне неудачнымъ, не смотря на то, что романъ былъ, въ сущности, нисколько не хуже прочихъ произведеній Писемскаго. Новое время требовало новыхъ силъ, а старыя должны были отойти въ сторону, потому что онъ уже не могли стать на уровень новыхъ понятій и требованій...

А. А. Потъхинъ — романистъ и драматургъ. Какъ романистъ, онъ явился въ особенности изобразителемъ крестьянскаго и помъщичьяго быта эпохи, непосредственно предшествовавшей освобожденію и непосредственно слъдовавшей за нимъ. Основательное знаніе бытовыхъ особенностей, языка, характеровъ, обычаевъ, при внъшней занимательности сюжетовъ, придавали произведеніямъ Потъхина очень важное для своего времени значеніе, такъ какъ изъ нихъ читатель ближе знакомился съ крестьянствомъ, которое въ ту пору только что начинало пріобрътать

права гражданства и въ жизни, и въ литературѣ. При этомъ произведенія Потѣхина были чужды тенденціознаго изображенія народной жизни: писатель всегда стояль одинаково далеко и отъ тѣхъ фальшивыхъ представленій о "мужичкѣ", которыя въ старое время подсказывались кваснымъ патріотизмомъ и, въ сущности, сводились къ апологіи рабства, какъ одной изъ основъ русскаго общественнаго строя, — и отъ той идеализаціи мужика, которая старалась противопоставить цѣльные нравственные устои деревни развращенному эгоизму города. "Выдумка" у Потѣхина замѣчается только въ сюжетахъ, — въ желаніи придать разсказу возможно большую занимательность; изображеніе же дѣйствующихъ лицъ и окружающей ихъ бытовой обстановки всегда остается объективнымъ и неподкрашеннымъ.

Въ драматическихъ своихъ произведеніяхъ Потѣхинъ также иногда обращался къ народному быту; но лучшія изъ его пьесъ посвящены жизни городской—помѣщичьей и чиновничьей—и отличаются въ сильной степени сатирическимъ характеромъ.

П. И. Мельниковъ (псевдонимъ "Андрей Печерскій") пріобр'яль изв'ястность своими разсказами изъ стариннаго помъщичьяго быта, а затъмъ-изъ жизни приволжскихъ старообрядцевъ, съ которою онъ былъ хорошо знакомъ по личнымъ наблюденіямъ во время своей продолжительной службы чиновника особыхъ порученій по раскольничьимъ деламъ. Эти разсказы, точно такъ же, какъ два большіе романа: "Въ льсахъ" и "На горахъ", дають рядь этнографически върныхъ бытовыхъ картинъ раскола и, конечно, не мало содъйствовали распространенію въ читающемъ кругу интереса къ этому своеобразному явленію русской жизни, которое только въ 60-хъ годахъ впервые стало доступнымъ для научнаго изслъдованія. Но, сообщая цінныя этнографическія подробности, Мельниковъ окружаетъ ихъ, ради занимательности, целою сетью вымышленных лиць, характеровь и

событій романическаго склада. Его отношеніе къ народу—совершенно чиновничье, поверхностное и высокомѣрное. По мѣткому выраженію А. Н. Пыпина, Мельниковъ быль просто "бывалый человѣкъ", видавшій всякихъ людей и всякіе закоулки жизни и въ своихъ разсказахъ нерѣдко готовый жертвовать строгой правдой
ради краснаго словца...

Говоря объ этнографически-художественномъ изученіи и изображеніи народнаго быта, нельзя пройти молчаніемъ оригинальную литературную экспедицію, выполненную въ 1856 г. по мысли в. кн. Константина Николаевича, предложившаго литераторамъ посттить побережья важнъйшихъ нашихъ ръкъ, морей и озеръ для изследованія быта местнаго населенія. Въ этой экспединіи приняли участіе выдающіеся писатели того времени. которымъ она дала богатый матеріалъ для многихъ произведеній: Островскому предоставлено было описаніе верхней Волги, Потехину — средней, отъ Нижняго до Саратова, Писемскому—низовьевъ Волги и береговъ Каспійскаго моря; С. В. Максимовъ былъ отправленъ на съверъ, А. С. Аванасьевъ-Чужбинскій на югъ, — на Дибпръ и Дибстръ, М. Л. Михайловъ — на Уралъ, Н. Н. Филипповъ — на Донъ. Въ трудахъ этихъ писателей даны были основы для реальнаго изученія народной жизни, ближайшее знакомство съ которою въ эпоху упраздненіж кръпостного права не могло не представляться дъломъ первостепенной важности.

Вниманіе литературы и ея представителей къ быту крестьянской массы, какъ уже говорено было выше, ведеть свое начало еще съ той поры, къ которой относятся первыя, еще робкія, попытки нашей литературы выбиться на путь самостоятельнаго развитія, — съ половины XVIII вѣка. Почти сто лѣть спустя, въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ XIX столѣтія, въ темную и тяжелую для писателей эпоху, всетаки не переводились люди, втихомолку работавшіе для будущаго. Они

шли ощупью, наугадъ, постоянно наталкиваясь на препятствія, на затрудненія, но все поб'єждая см'єлой в'єрой въ лучшіе дни, которые уже чуялись въщимъ сердцемъ и действительно скоро настали. Этихъ людей поддерживала, ихъ согрѣвала душевная любовь къ народу, — не къ тому отвлеченному "народу", съ которымъ поэты обыкновенно риемовали "свободу", наряжая его въ красивыя лохмотья, взятыя напрокать изъ заграничныхъ мастерскихъ, — и не къ тому также, въ которомъ наши философы усматривали, по Гегелю, сосудъ исконныхъ національных в началь и откровеніе "народнаго духа", а къ самому обыкновенному, но за то дъйствительно существующему представителю деревенской, въ ту пору еще крвпостной, Руси. Этого настоящаго мужика только что затронуль тогда Тургеневъ въ своихъ "Запискахъ Охотника", — затронуль, однако, только съ внёшней стороны, въ его отношеніяхъ къ властвующему барству; внутренняя сторона жизни крестьянской массы, ея быть и міросозерцаніе, оставались еще книгой за семью печатями. Были, правда, попытки заглянуть въ эту книгу, проникнуть въ этотъ особый міръ, — но это были или классицизмомъ выдумки навѣянныя "славяно-русской минологіи", или приторныя разглагольствованія, насквозь пропитанныя кваснымъ патріотизмомъ (какъ, напр., у Сахарова), или разсказы, написанные хотя и для взрослыхъ читателей, но совершенно въ томъ же тонъ, въ какомъ пишутся книжки "для добрыхъ и послушныхъ детей", — разсказы не о мужике, а о "мужичке", который пашеть "землицу", косить "травку", кормить "лошадку ... Таковы были, напр., произведенія Даля, который на эти пустячки размёняль свое действительно серьезное знаніе народной жизни и недюжинное литературное дарованіе.

Но въ этихъ, пока еще неумѣлыхъ и неловкихъ, попыткахъ-подойти къ народной жизни уже чувствовалось, хотя, быть можетъ, еще безсознательное, вѣяніе того могучаго демократическаго духа, который съ такою силою проявился впослъдствіи въ нашей литературъ и сообщилъ ей особый, своеобразный характеръ, ръзко отличающій ее отъ другихъ европейскихъ литературъ. Этотъ демократическій духъ, это влеченіе къ массъ, къ простому быту, и особенная воспріимчивость къ получаемымъ отъ него впечатлъніямъ, —явленіе, вполнъ естественное въ нашемъ, по извъстному выраженію Кавелина, "мужицкомъ" царствъ; но прошло немало времени прежде, чъмъ оно изъ безсознательной стихіи нашей литературы стало вполнъ ясно сознаваемымъ творческимъ ея началомъ.

Сильный и, можно сказать, ръшительный толчекъ проявленію сознательнаго интереса къ народному быту данъ быль уничтожениемь криностного права. Въ пору, непобыль уничтоженіемъ крѣпостного права. Въ пору, непо-средственно предшествовавшую великой реформѣ, новая обширная область русской жизни была открыта не только научному изслѣдованію, но и художественному воспроиз-веденію. По слѣдамъ писателей, вступившихъ на путь, указанный Тургеневымъ и Григоровичемъ, — по слѣдамъ Писемскаго, Потѣхина и другихъ народныхъ бытописа-телей, идутъ въ 60-хъ годахъ нѣкоторые представители молодого литературнаго поколѣнія, какъ напр. Николай Успенскій и В. А. Слѣпцовъ. Надо, впрочемъ, огово-риться, что молодое поколѣніе 60-хъ годовъ, въ сущ-ности, мало интересовалось внутреннею жизнью русской ности, мало интересовалось внутреннею жизнью русской деревни; оно ставило себъ другія задачи, имъло въ виду иныя цёли, въ которыхъ народъ являлся более или менъе отвлеченнымъ понятіемъ; конкретно же мужикъ представлялся только со стороны своей дикости и необразованности. Такимъ онъ и является въ сценахъ изъ народнаго быта названныхъ двухъ писателей, имѣвшихъ въ виду главнымъ образомъ вызвать смѣхъ, безъ малѣй-шей примъси тѣхъ "невидимыхъ міру слезъ", которыя все сильнъе и сильнъе стали слышаться въ этомъ смъхъ въ послъдующее десятильтие и, наконецъ, совсъмъ устранили изъ изображенія народной жизни все не только

смѣшное, но и просто веселое. Далѣе, въ 60-хъ годахъ о "народѣ" много разсуждали славянофилы: но ни одинъ славянофильскій писатель не обращался къ изображенію подлинной народной жизни и къ выясненію того, каковы въ дѣйствительности понятія и идеалы деревенскаго люда. Эту задачу взяло на себя позднѣйшее поколѣніе, причемъ въ числѣ этихъ новыхъ "народниковъ" не оказалось ни одного, который раздѣлялъ бы славянофильскія воззрѣнія; напротивъ, всѣ они, въ большей или меньшей степени, являлись "западниками"...

Впрочемъ, и въряду писателей 60-хъ годовъ было нѣсколько человъкъ, явившихся въ своихъ произведеніяхъ изобразителями народной жизни съ болъе глубокимъ и серьезнымъ къ ней отношеніемъ, чемъ то, какое мы видимъ у Слепцова и Н. Успенскаго. Таковы были: Решетниковъ, Нефедовъ, Левитовъ. Близкіе къ народу по своему происхожденію, эти писатели на самихъ себѣ испытали всю тяжесть неприглядной жизни "мыслящаго пролетарія", и, вращаясь почти постоянно въ средъ простонародья, естественно. могли явиться бытописателями этой, имъ хорошо извъстной и близкой, среды. Суровый, флегматичный Рашетниковъ въ своихъ неумало (въ смысла литературнаго стиля), но сильно написанныхъ разсказахъ: -- "Подлиповцы", Между людьми", "Гдъ лучше?", "Свой хлібъ" и др. рисуеть яркую картину безпомощнаго въ матеріальномъ и нравственномъ отношеніи житьябытья сераго люда разныхъ сортовъ: и бурлаковъ, и заводскихъ рабочихъ, и вообще мелкаго пролетаріата, картину, отличающуюся всей непосредственностью "протокольной правды; мягкосердечный и глубоко чувствующій народное горе Левитовъ съ лирическимъ одушевленіемъ пересказываетъ хватающія за сердце подробности безысходной нужды бъдняковъ ("Степные очерки", "Горе сель, дорогь и городовь"); Нефедовь занимаеть какь бы среднее мъсто между названными двумя писателями, посвящая свои незамысловатые очерки быту разныхъ "пасынковъ судьбы" въ деревенскихъ и городскихъ захолустьяхъ и особенно-изображенію розни между деревней и фабрикой, причемъ его сочувствие всецъло принадлежить патріархальному земледельческому быту. Но у этихъ троихъ писателей мы не видимъ какого-либо заранъе установленнаго отношенія къ народной жизни какой-либо программы для ея описанія: они просто изображають то, на что имъ самимъ приходилось наталкиваться въ ихъ постоянныхъ скитаніяхъ, -- передаютъ собственныя впечатлівнія безъ всякихъ выводовъ и обобщеній: они почти еще не знаютъ идеализаціи "народа", который для нихъ еще не выдълился въ особое понятіе съ болѣе или менъе ръзко опредъленными признаками. Для нихъ на первомъ планъ стоитъ не столько "мужикъ", сколько человъкъ, — существо, созданное по образу и подобію Божію и отъ жестокой жизни получившее образъ и подобіе жалкаго звъря; они и рисують именно эту жестокую жизнь и ея безответных паціентовь, не вдаваясь въ анализъ и не пытаясь подводить изображаемые факты, ради ихъ объясненія, подъ какія-нибудь заранве придуманныя или выведенныя изъ наблюденій общія категоріи. "Вопроса" о народъ въ тъсномъ смыслъ этого слова, т. е. вопроса объ экономическомъ и умственномъ бытъ освобожденнаго крестьянства и объ отношеніи къ нему "интеллигенціи въ 60-хъ годахъ, можно сказать, еще не существовало; вопросъ этотъ былъ поставленъ во весь рость только позднейшимь поколеніемь.

Выше было замѣчено, что молодое поколѣніе писателей 60-хъ годовъ держалось вообще далеко отъ народной жизни, потому что имѣло въ виду другія литературныя задачи. Въ ряду этихъ задачъ на первомъ мѣстѣ стояла, какъ мы уже говорили въ свое время, выработка новаго міросозерцанія; по воззрѣніямъ той поры, литература должна была проводить въ жизнь новыя идеи, указывать новые пути, что и выразилось въ рядѣ романовъ и повѣстей изъ жизни воображаемыхъ новыхъ людей, которые "тво-

рять благое дело среди царюющаго зла". Некоторыя изъ этихъ произведеній были написаны талантливо, занимательно и, при существовавшемъ въ то время спросъ на дидактическую литературу, доставили своимъ авторамъ довольно широкую популярность, - преимущественно, конечно, въ кругу юныхъ читателей; но по существу это были, все же, детскія книжки: коренной ихъ недостатокъ заключался въ томъ, что въ нихъ изображалась жизнь не настоящая, а наивно сочиняемая съ поучительною цёлью. Таковы были, напримёрь, романы А. К. Шеллера ("А. Михайловъ"), повъсти Бажина ("Холодовъ"), даже нъкоторыя вещи впрочемъ очень талантливой Н. Д. Хвощинской (псевдонимъ "В. Крестовскій"). Этому направленію отдаль дань, въ своемь "Молотовь", даже такой строгій реалисть, какъ Н. Г. Помяловскій, съ поразительною яркостью и правдивостью раскрывшій, въ "Очеркахъ Бурсы", язвы старой семинарской педагогіи, имъ самимъ выстраданной. Интересомъ къ этого рода произведеніямъ объясняется также огромная популярность у насъ въ 60-хъ годахъ романовъ Шпильгагена ("Одинъ въ полъ не воинъ", "Молотъ и Наковальня" и др.): герои этихъ романовъ представлялись родственными по духу тъмъ "свътлымъ личностямъ", которыхъ старались изображать отечественные наши романисты. Въ той части литературы, которая не сочувствовала демократическому и освободительному движенію 60-хъ годовъ и желала повернуть общество назадъ, романы о новыхъ людяхъ, естественно, вызвали негодующую реакцію: и въ этомъ лагеръ тоже явился рядъ писателей, также иногда талантливыхъ, которые стали сочинять свои романы о новыхъ людяхъ, -- только навыворотъ: "свътлыя личности и либеральных повъствователей представлялись въ реакціонной беллетристикъ исчадіями ада, а "отжившіе буржуи" первыхъ-носителями всевозможныхъ доблестей. По существу это были тоже дътскія книжки, только не наивно-оптимистическія, а злобныя, намфренно сгущавшія черную краску въ картинахъ ненавистнаго имъ прогрессивнаго движенія и не отступавшія передъ сознательной клеветой на молодое покольніе. Къ этому разряду произведеній относятся, напр., романы Льскова ("Стебницкій"), Клюшникова, Авсьенка и др., печатавшієся почти исключительно въ "Русскомъ Въстникь" Каткова, — журналь, который во второй половинь 60-хъ гг. сдълался, вмысть съ "Московскими Выдомостями", главнымъ центромъ все болье и болье ожесточавшейся реакціи. Главные журналы противоположнаго лагеря— "Современникъ", "Русское Слово", юмористическая "Искра" и др.— вели упорную борьбу съ разроставшимся къ концу 60-хъ годовъ обскурантизмомъ, но борьба эта была для нихъ нерыдко непосильною, и скоро имъ пришлось умолкнуть...

Вообще, вторая половина 60-хъ годовъ принесла съ собою немало разочарованій для оптимистовъ. Отъ излишняго увлеченія оптимизмомъ предостерегалъ Добролюбовъ, издѣваясь надъ излюбленной въ его время газетной фразой: "Въ настоящее время, когда..." Ставшій еще при жизни Добролюбова однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ "Современника" М. Е. Салтыковъ-Щедринъ въ рядв сатирическихъ очерковъ насмвшливо рисоваль картины "глуповскаго возрожденія" и того "размазисто-стыдливо-пустопорожняго" витійства, которое ограничивалось одними только предисловіями и никакъ не могло отъ звонкихъ либеральныхъ фразъ перейти къ дъйствительному движенію впередъ. Чэмъ далье, тымъ все более и более язвительною становилась сатира Салтыкова, — и эта язвительность въ самомъ деле оправдывалась ходомъ нашей общественной жизни.

Въ поэзіи 60-хъ годовъ, какъ и вообще во всей тогдашней литературъ, ръшительно преобладаютъ "гражданскіе" мотивы. Вліяніе эпохи реформъ въ этомъ отношеніи сказалось съ такой силой, что даже поэты представители "чистаго искусства", — напр. Майковъ,

Полонскій, гр. Алексви Толстой, — и тв не могли не отзываться, такъ или иначе, на злобу дня; воздерживался отъ этого одинъ только Фетъ, никогда не отзывавшійся на тв мысли и настроенія, которыми его современники больше всего волновались, — но за то онъ и быль изъ всвхъ тогдашнихъ поэтовъ едва ли не самымъ гонимымъ. Выше говорилось объ отношеніи критики 60-хъ годовъ къ вопросамъ художественнаго творчества вообще и поэзіи — въ частности; по характеру той эпохи, "чистая" поэзія не могла имъть мъста въ литературъ.

Во главѣ цоэтовъ 60-хъ годовъ, безспорно, стоялъ Некрасовъ. Его стихи, которые онъ самъ называлъ "тяжелыми" и "неуклюжими" за ихъ дъйствительно часто невыдержанную форму, своимъ содержаніемъ производили чрезвычайно сильное впечатленіе; они шли прямо къ сердцу читателей, потому что поэть "мести и печали" въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ являлся пъвцомъ крестьянской массы, "печальникомъ народнаго горя", въ изображеніи котораго онъ нерѣдко возвышается до истиннаго паноса. Во многихъ сильныхъ стихотвореніяхъ Некрасова чувствуется риторически-приподнятый тонъ, къ которому поэтъ, очевидно, прибъгалъ намъренно, съ цълью усилить впечатльніе; но этоть риторизмь быль и вообще однимъ изъ замътныхъ качествъ нашей литературы того времени, которая пользовалась имъ какъ полемическимъ пріемомъ; только въ стихахъ онъ сказывается сильнье, ярче, нежели въ произведеніяхъ прозаиковъ-романистовъ или публицистовъ. Другой элементъ поэзіи Некрасовасатирическое изображение какъ отдъльныхъ отрицательныхъ явленій, такъ и общаго хода современной русской жизни. Стихотворенія этого рода также производять сильное впечатленіе, но уже не паеосомъ, который въ нихъ проявляется только изр'вдка, а т'вмъ, что поэту удалось мътко схватить и, такъ сказать, пригвоздить самыя характерныя явленія окружающей его действительности.

Наконецъ, мы находимъ у Некрасова и простыя, лишенныя всякой тенденціи, картины народной жизни. природы, передачу разнообразныхъ впечатленій, воспринятыхъ отзывчивымъ лирикомъ. Такимъ образомъ, содержание его поэвіи представляется очень богатымъ и разностороннимъ. Но преобладающимъ въ ней мотивомъ, не только въ 60-хъ годахъ, но и въ позднъйшее время, до самой смерти поэта, является гражданская скорбь вмѣстѣ съ горячею любовью къ народу и не менѣе горячимъ сочувствіемъ ко всему, что поможетъ Правді и Свъту одольть Ложь и Тьму. Некрасовъ въритъ въ торжество Правды, -- и эта въра, которою вдохновлены лучшія его стихотворенія, производить впечатлівніе сильное и глубокое. Если иногда "изъ лиры звукъ невърный извлекала его рука", то все же онъ принадлежалъ къ числу тёхъ избранниковъ, которымъ дано "глаголомъ жечь сердца людей", и во многихъ воспріимчивыхъ сердцахъ его поэзія оставила глубокій слёдъ.

Вліяніе Некрасова на современниковъ было очень замѣтно: явился цѣлый рядъ поэтовъ, изъ которыхъ одни были прямыми его подражателями, а другіе, одаренные талантомъ болбе сильнымъ и самостоятельнымъ, все-таки черпали свои вдохновенія изъ того же круга идей, который служиль источникомъ вдохновенія и для Некрасова. Съ одной стороны, къ нему тесно примыкають поэты. самородки, вышедшіе изъ мало-культурной среды мелкаго мъщанства, -- Никитинъ, Суриковъ, -- у которыхъ лирика сфренькой, будничной жизни окрашивается гражданскою скорбью; съ другой стороны, некрасовскіе мотивы слышатся и у талантливыхъ поэтовъ-представителей образованнаго общества, которые сильнее другихъ чувствовали разладъ между идеалами и дъйствительностью, - у Плещеева, Жемчужникова и др. Въ ихъ поэзіи гражданская скорбь проявляется преимущественно въ элегической, а иногда-и въ сатирической формъ; но некрасовское "народничество" имъ совершенно чуждо. Указанное элеги-

чески-сатирическое настроеніе Некрасова и примыкавшей къ нему плеяды объясняетъ популярность у насъ въ ту пору однородныхъ по настроенію поэтовъ "Молодой Германіи" и въ особенности-Гейне, пъсни котораго появляются въ образцовыхъ переводахъ М. Л. Михайлова, Плещеева, Вейнберга и др. Другимъ, также очень популярнымъ, изъ иностранныхъ поэтовъ былъ у насъ въ 60-хъ годахъ Беранже, благодаря превосходному переводу его пъсенъ, исполненному В. С. Курочкинымъ. Вмъстъ съ тъмъ, 60-е годы были порой процвътанія юмористическиобличительнаго стихотворства, которое никогда, ни раньше, ни позже, не имъло у насъ столькихъ даровитыхъ и оригинальныхъ представителей, какъ именно въ эту пору, А. М. Жемчужниковъ, вмёстё съ своимъ братомъ Владиміромъ и гр. Ал. Толстымъ, создали еще въ 50-хъ годахъ типъ "Козьмы Пруткова", —нечто вроде стихотворнаго "мосье Прюдома"; Добролюбовъ и Чернышевскій, при участіи Некрасова, открыли въ "Современникъ" особый отдълъ — "Свистокъ", посвященный юмористическому "обличенію" въ прозъ и стихахъ; завелись и самостоятельные сатирическіе журналы, среди которыхъ первое мъсто сразу заняла "Искра" В. С. Курочкина; здѣсь кромѣ самаго редактора, бывшаго неутомимымъ поставщикомъ юмористическихъ пъсенъ и куплетовъ, дъятельно сотрудничали Д. Д. Минаевъ, авторъ множества тутокъ, пародій, сатиръ, всегда отличавшихся остроуміемъ и оригинальностью формы ("минаевскія риемы"), П. И. Вейнбергъ и мн. др.

Къ концу 60-хъ годовъ общественное движеніе, возбужденное реформами, мало по малу затихаетъ, и характеръ литературы мѣняется соотвѣтственно измѣнившимся условіямъ общественной жизни. Центральное событіе предшествующей эпохи, — освобожденіе крестьянъ, — имѣло огромное вліяніе на весь строй нашей жизни и выдвинуло на первый планъ много новыхъ и существенно важныхъ вопросовъ, въ ряду которыхъ особенное вниманіе было

обращено на жизнь освобожденнаго народа и на отношенія къ нему образованнаго общества. Критика и публицистика стали указывать на необходимость изученія быта деревни, - изученія не этнографическаго, а реальнаго, близкаго знакомства съ нуждами народной массы, въ цъляхъ придти ей на помощь. Образованное общество должно, наконецъ, признать свой неоплатный долгъ передъ народомъ и своими заботами о народномъ благв хоть нвсколько облегчить сознаніе своей тяжелой вины передъ крестьянской массой. "Сыны народнаго бича" могуть искупить эту вину только самоотверженной любовью къ народу и безкорыстнымъ служениемъ его интересамъ-его духовному просвъщенію и экономическому благосостоянію. Эта идея порождаеть въ литературъ особый типъ "кающагося дворянина", основныя черты котораго мы встречаемъ уже у Некрасова и который, затъмъ, разрабатывается беллетристикой и публицистикой "Отечественныхъ Записокъ 70-хъ годовъ.

Но что же представляеть собою тоть народь, которому "кающійся дворянинь" несеть свои заботы и жертвы?

Отвъта на этотъ вопросъ, конечно, можно было ждать только отъ непосредственнаго наблюденія народной жизни, отъ изученія во всѣхъ подробностяхъ быта деревни, перешедшей изъ крѣпостного состоянія къ условіямъ "свободнаго труда". Такое изученіе и становится литературною задачею цѣлаго ряда талантливыхъ писателей, которые группируются преимущественно въ "Отечественныхъ Запискахъ", ставшихъ главнымъ органомъ нашего "народничества" 70-хъ годовъ. Первое мѣсто среди этихъ писателей занимаютъ Глѣбъ Успенскій и Н. Н. Златовратскій.

Произведенія Гл. Успенскаго, какъ по формѣ, такъ и по содержанію, вовсе не подходять подъ обычное понятіе повъсти или разсказа. Это—рядъ живыхъ, не связанныхъ

никакими шаблонными условіями, очерковъ, въ которыхъ авторъ передаетъ свои наблюденія и впечатлівнія иногда отъ своего лица, иногда-отъ лица какого-нибудь дъйствительнаго или воображаемаго собесъдника. Картинка съ натуры, эпизодъ, выхваченный прямо изъ жизни, служать ему точкой опоры и дають матеріаль для болье или менье обобщенных выводовъ и заключеній. Кругь его наблюденій и въ хронологическомъ, и въ общественномъ смыслѣ довольно обширенъ: въ первыхъ своихъ очеркахъ онъ изображаетъ время, непосредственно следующее за крестьянской реформой, когда захваченные врасплохъ этимъ хотя и ожидавшимся, но все же быстрымъ переворотомъ люди терялись отъ неумвнія приспособиться къ новымъ требованіямъ жизни. Въ этихъ очеркахъ передъ нами проходять представители мелкой "разночинной" толпы, — захолустные мъщане, мастеровые, торговцы и т. п. люди, старающіеся уяснить себ' смысль новой эпохи и войтч въ новую колею. Въ дальнъйшихъ очеркахъ авторъ приводить нась уже въ деревню и показываеть, какъ слагается тамъ новый жизненный обиходъ и какія мало по малу проступають въ немъ характерныя особенности; какъ на почвъ "свободнаго труда" развивается погоня за наживой и плодятся обезсиливающіе деревню паразиты-кулаки; какъ мужикъ мъняетъ свой исконный земледъльческій трудъ на фабричные заработки или на "купецкія харчи" и какія происходять оть этого для деревни последствія; какъ относится деревня къ просвещенію вообще, каковы ея умственные и нравственные запросы и понятія, и въ частности, -- какъ смотрить она на тъхъ представителей "интеллигенціи", которые, желая успокоить свою заболъвшую совъсть, въ сознании своей наслёдственной вины передъ народомъ, стремятся къ сліянію съ нимъ въ общей полезной работв. Этотъ рядъ наблюденій, отрывочныхъ, непоследовательныхъ, но связанныхъ между собою внимательнымъ и сердечнымъ отношениемъ ко всемъ мелочамъ наблюдаемаго обихода,

нерѣдко проникнутъ горькимъ юморомъ: неразрѣшимыя противорѣчія, съ которыми встрѣчается въ деревенской жизни человѣкъ, ищущій точекъ соприкосновенія съ нею и возможности такъ или иначе на нее воздѣйствовать, — противорѣчія, обусловленныя какъ внутреннимъ ея складомъ, такъ и внѣшними обстоятельствами, нерѣдко порождаютъ мрачное, почти безвыходное настроеніе...

Окончательные выводы Успенскаго, изложенные въ обширномъ его произведеніи "Власть земли", сводятся къ тому, что уже ранѣе предчувствовалъ Нефедовъ, а именно—къ убѣжденію, что основа деревенскаго быта и народнаго характера заключается въ тѣсной связи крестьянства съ землею, съ земледѣльческимъ трудомъ и вытекающими изъ него житейскими нормами; ослабленіе этой связи, уменьшеніе "власти земли" надъ мужикомъ, ведетъ къ матеріальному и нравственному оскудѣнію деревни, радѣтели которой должны, поэтому, направить всѣ свои усилія къ сохраненію и упроченію земледѣльческаго быта, къ борьбѣ съ тѣми отрицательными сторонами "цивилизаціи", которыя разрушительно на него дѣйствуютъ.

Если Успенскій въ своихъ очеркахъ народной жизни останавливается преимущественно на темныхъ, отрицательныхъ ея проявленіяхъ, то Златовратскій подходитъ къ ней съ другой стороны и ищетъ въ ней такихъ положительныхъ фактовъ, которые отвѣчали бы его идеальнымъ воззрѣніямъ на народъ. Такимъ положительнымъ фактомъ представляется ему, прежде всего, община и затѣмъ—какъ дальнѣйшее ея видоизмѣненіе—артель. Въ своихъ произведеніяхъ— "Деревенскія будни", "Устои" и др., гдѣ онъ, такъ же, какъ и Успенскій, является не столько разсказчикомъ, сколько публицистомъ, онъ старается дать въ рядѣ живыхъ, типичныхъ картинъ подробный, до мелочей доходящій анализъ этихъ основныхъ устоевъ народной жизни, изслѣдовать общину и артель въ ихъ существѣ и современныхъ условіяхъ суще-

ствованія и показать, что обособленіе личности изъ этого общинно-артельнаго строя, точно такъ же, какъ и уходъ мужика изъ-подъ власти земли, приводитъ къ оскудѣнію, если не экономическому, то нравственному.

Вообще надо зам'втить, что община, артель и другія тому подобныя формы кооперативнаго труда въ нашей народной жизни обращали на себя очень серьезное вниманіе народнической публицистики, которая въ развитіи и обобщении этихъ особенностей народнаго бытового строя видела одну изъ основныхъ задачъ русскаго прогресса. Въ этомъ взглядъ отчасти отразились старыя славянофильскія понятія объ отличительныхъ особенностяхъ русской національной жизни. Буржуазія, въ лицѣ деревенскихъ и городскихъ "кулаковъ", только что зарождалась и была еще далека отъ какой-либо сплоченности и сознанія общихъ своихъ интересовъ. Постепенный рость этой новой буржуазіи, живо очерченный, между прочимъ, у Гл. Успенскаго, изображался и другими писателями 70-хъ годовъ. Дворянство, лишенное дарового крестьянского труда, всячески пытается приспособиться къ новому строю жизни, изыскивая способы создать себъ возможность привольнаго существованія; но большинство. вступившее въ эту борьбу за существование съ совершенно негодными средствами, такъ какъ не обладаетъ никакими знаніями и никакой способностью къ труду сколько-нибудь производительному, должно сознать свою неумъстность въ новыхъ условіяхъ жизни и отдать за безцинокъ свои насиженныя родовыя гийзда нарождающимся "буржуямъ", Леруновымъ и Разуваевымъ, которые на развалинахъ дворянскаго оскудения создають свое благополучіе. Типы "приспособившихся" рѣзко очерчены Щедринымъ въ сатирахъ: "Господа Ташкентцы", "Помпадуры и Помпадурши"; типы такъ называемыхъ "культурныхъ людей", претендующихъ на даровые хлъба во имя своей будто-бы "культурности", но, въ концъ концовъ, выбрасываемыхъ вонъ за ненадобностью, представлены въ "Влагонамфренныхъ Рфчахъ", "Дневникъ Провинціала", "Убъжищъ Монрепо" и др. Рядъ подобныхъ же типовъ далъ и другой писатель, С. Н. Терпигоревъ ("Сергъй Атава") въ талантливыхъ очеркахъ "Оскудъніе". Но, разумъется, добродушный юморъ Терпигорева не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ желчными сарказмами Щедрина, который безпощадно бичевалъ плотоядныя вождельнія всевозможныхъ ташкентцевъ и ихъ приспъшниковъ и духовную нищету жалкой обывательской толпы, совершенно напрасно называющей себя обществомъ.

Центральной фигурой въ литературъ 70-хъ годовъ, при всемъ разнообразіи созданныхъ ею типовъ, все-таки, оставался "мужикъ", потому что представители всъхъ прочихъ общественныхъ классовъ изображались преимущественно съ точки зрвнія ихъ отношеній къ народу и къ различнымъ сторонамъ народной жизни. Демократическія стремленія, какъ это всегда и вездѣ бываеть, сильнее всего проявились среди чуткой и воспріимчивой молодежи. Были въ ея средъ такіе, которые шли въ народъ ради изученія его жизни, не задаваясь при этомъ никакими практическими цълями; еще больше было такихъ, которые въ сліяніи съ народомъ и служеніи ему видьли нравственный долгь, вытекающій изъ сознанія многовъковой вины образованныхъ классовъ передъ крестьянскою массою, и ставили себъ цълью просвъщение темнаго люда и посильную защиту униженныхъ и обиженныхъ отъ неправды и притесненій. Бывали, далее, въ числъ ушедшихъ въ народъ и чистъйшіе идеалисты не отъ міра сего, убъжденные въ томъ, что жить "по правдви можно только отказавшись отъ растлевающихъ условій жизни такъ называемаго культурнаго общества, въ которомъ они видели только отрицательныя стороны, и поставивъ себя въ условія трудовой жизни земледельца.

Различные типы и эпизоды этого движенія отрази-

лись и въ литературѣ: отголоски его мы находимъ и у Гл. Успенскаго, и у Щедрина, и во многихъ произведеніяхъ другихъ, менѣе выдающихся писателей; отзывалась на него и поэзія — въ лицѣ Некрасова и его послѣдователей; одну его сторону, съ ея болѣзненнымъ нервнымъ подъемомъ, обрисовалъ Достоевскій въ своемъ романѣ "Бѣсы"; та же тема разработана и Тургеневымъ въ "Нови".

Къ концу 70-хъ годовъ ужъ ясно намѣчается то направленіе, которое становится господствующимъ въ слѣдующемъ десятилѣтіи: прежніе "гражданскіе" мотивы мало по малу замолкаютъ, и на первый планъ выступаютъ интересы не общественные, а личные, — вопросы индивидуальной нравственности, личнаго совершенствованія, которое въ будущемъ должно привести къ установленію болѣе совершеннаго общежитія. Вопросы эти рѣшаются различно, и къ нимъ съ разныхъ сторонъ подходитъ какъ публицистика и критика, такъ и "изящная" литература, въ лицѣ самыхъ выдающихся своихъ представителей.

Указанный переходъ совершился, однако, не сразу. Какъ уже было указано выше, наша литература всегда ставила себъ цълью жизненное учительство, -- содъйствіе мыслящему читателю въ его стремленіи разобраться въ окружающей жизни и установить то или иное отношение къ ней; вотъ почему она всегда отражала въ себъ тъ "логические романы", которые переживались въ разныя эпохи мыслящими русскими людьми. Публицистика и критика, — эта литература для подготовленныхъ читателей, — у насъ всегда играли роль не менъе важную, чъмъ поэвія, — литература для толны: и та, и другая, въ лицъ своихъ лучшихъ представителей, всегда шли рука объ руку и одна другую дополняли; и та, и другая одинаково помогали воспитанію въ обществъ высшихъ стремленій; если Пушкинъ гордился тімь, что "чувства добрыя онъ лирой пробуждалъ", то и Бълинскій съ неменьшею гордостью могь сказать о себь, что онъ "своей лопатой счищаль съ рассейской публики грявь". Передовые представители критики и публицистики 70-хъ годовъ могли бы съ полнымъ правомъ повторить о себъ эти слова Бълинскаго; этимъ писателямъ выпала на долю нелегкая задача очищать мозги читательскіе отъ разнаго сора и сумбура, накопившагося въ нихъ подъ вліяніемъ противоположных въяній эпохи 60-хъ годовъ, когда рядомъ съ доброй пшеницей стали идти въ ростъ и разные плевелы. Разобраться въ этомъ вихрѣ мыслей, который поднялся вследствіе решительнаго измененія въ строб нашей жизни, привести ихъ въ ясность, доказательно отбросить все лишнее и вредное, отдёлить истинныхъ друзей прогресса отъ его враговъ и "друго-враговъ" и указать болье или менье опредъленно тоть путь, который отвъчалъ бы задачамъ новаго времени и новаго покольнія, — такова была программа выдающихся представителей критики и публицистики 70-хъ годовъ. Люди младшаго покольнія, только что сошедшіе со школьной скамьи и начинавшіе сознательную умственную жизнь, горячо искали сколько-нибудь твердаго, "научнаго" основанія для техъ "принциповъ", которые подсказывались имъ юношески-восторженнымъ чувствомъ и на которыхъ они хотъли строить всю свою жизнь; они стремились занять такую прочную позицію, съ которой противникамъ нелегко было бы сбить ихъ логическими аргументами, — и инстинктивно чувствовали извъстную долю преувеличенія, а пожалуй — и фальши, въ томъ идейномъ наслъдствъ, которое досталось имъ отъ предшествующихъ поколъній. Въдь однимъ только "отрицаніемъ" да "разрушеніемъ эстетики" долго не продержишься, — надо имъть за душой что нибудь и положительное, необходимо своимъ идеальнымъ порывамъ дать живую плоть и кровь, — не только ихъ перечувствовать, но и продумать; а молодежь того времени, въ большинствъ случаевъ, уподоблялась тъмъ демократамъ, о которыхъ Кромвель говориль, что они знають только то, чего они ме хотять, а чего они собственно хотять, — того не знають. Необходимо было установить и положительную задачу, и помочь ея выясненю не страстнымъ призывомъ чувства, — чувства и нервности и безъ того было много, — а спокойными и убъдительными доводами логики, опирающейся на факты. Такую задачу и взяла на себя публицистика и критика 70-хъ годовъ, въ лицъ Михайловскаго, Шелгунова и другихъ выдающихся представителей этой области литературы.

Молодежь — всякая, а наша, можеть быть, въ особенности, — склонна увлекаться тымъ, ЧТО она данное время считаеть за "последнее слово науки", даже не всегда отдавая себъ отчеть въ достоинствахъ этого "послѣдняго слова" и въ настоящемъ его значеніи. Можеть быть, это - результать еще не выв'трившейся школьной привычки къ авторитетамъ; такъ или иначе, несомнънно, что въ извъстную пору жизни у всъхъ у насъ есть желаніе избрать себъ излюбленнаго писателя и признать его своимъ руководителемъ. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, — въ концъ 60-хъ и въ началъ 70-хъ годовъ, — "послъднимъ словомъ науки" были для нашей молодежи Дарвинъ и Спенсеръ. Но идеи, извлекаемыя изъ того и другого, далеко не всегда мирились съ тъмъ наслъдіемъ предшествовавшей эпохи, въ которомъ для молодого поколенія было такъ много решительныхъ откровеній. Не мирился съ этими идеями и Михайловскій. Онъ ставиль вопрось о томъ, какъ возможно практически устроить свою жизнь по Дарвину и Спенсеру и чъмь опредъляются отношенія личности къ обществу: сльдуеть ли махнуть на все рукой, въ сознаніи "жельзныхъ" законовъ необходимости, которое неизбъжно ведетъ къ фатализму и квістизму, —или следуєть попытаться этой жестокой философіи противопоставить какое-нибудь живое и дъятельное отношение къ окружающему насъ міру?

И національныя наши особенности, и весь истори-

ческій ходъ нашего развитія не укладывались въ рамки европейскаго "последняго слова науки"; въ этомъ "словъ" намъ чего-то не хватало: съ одной стороны оно были слишкомъ узко, а съ другой — слишкомъ широко и неопредъленно. Дать выводамъ европейскаго знанія русскую плоть и кровь, примънить ихъ къ условіямъ нашей жизни и указать тъ поправки, которыя этимъ примъненіемъ вызываются, — вотъ въ чемъ была ближайшая задача общественной критики 70-хъ годовъ. Въ своихъ попыткахъ установить основы разумнаго отношенія мыслящаго человъка къ окружающей его жизни, личности-къ обществу, эта критика явилась решительной защитницей "индивидуальности" противъ фатализма и безвольнаго, обезличеннаго отношенія къ дъйствительности или преклоненія передъ фактомъ. Нравственный и общественный идеаль этой критики сводился къ гармоническому развитію личности, къ заботъ о личномъ человъческомъ достоинствъ, т. е. о развити въ человъкъ чувства "чести и совъсти", чувства отвътственности передъ собою и себъ подобными, вмъстъ съ сознаніемъ отвътственности за счастье, пріобрътенное ценою чужого страданія.

Это индивидуалистическое направление руководящей критики и публицистики 70-хъ годовъ отвъчало и общему ходу нашей художественной литературы того времени, въ которой все больше и больше выступають на первый планъ личные, психологические вопросы.

Страстное, юношески - одушевленное желаніе во что бы то ни стало найти и осуществить новый жизненный идеаль, искоренить зло и водворить на землв "Царство Божіе",—и мучительное сознаніе безплодности всѣхъ порывовъ, направленныхъ къ этой мечтательной цѣли, столкновенія съ неразрѣшимыми противорѣчіями, неизбѣжно возникавшими при переводѣ отвлеченныхъ идей и теорій на языкъ практической дѣйствительности, порождало жестокую душевную смуту, крайнее нервное напряженіе, которое нерѣдко выражалось въ истерическихъ, болѣзненныхъ проявле-

ніяхъ. Да и самый идеалъ представлялся въ слишкомъ общихъ, туманныхъ очертаніяхъ, — подсказывался не столько анализирующимъ умомъ, сколько требованіями чувства, жаждущаго выполнить нравственный долгъ человъка.

Самыми полными и сильными выразителями этого нарушеннаго душевнаго равновъсія явились въ 70-хъгодахъ Достоевскій и Толстой.

Натура въ высшей степени впечатлительная, нервная до бользненности и полная внутреннихъ противоръчій, Достоевскій самъ переживаль мучительную борьбу върованій и сомнѣній и не могь не отозваться на тоть душевный процессъ, которымъ мучилось современное ему общество. Мы уже говорили объ его романахъ, посвященныхъ изображенію разныхъ сторонъ больной русской души. Во второй половин 70-хъ годовъ (1876-77) онъ сталь издавать свой "Дневникъ Писателя", посвященный всевозможнымъ разсужденіямъ на темы, волновавшія въ ту пору наше общественное мнѣніе. Это изданіе имѣло огромный успёхъ, потому что въ немъ слышалось задушевное, горячее слово честнаго человъка, который ни у кого не заискиваль, ни передъ къмъ не сгибался, -- слово страстнаго искателя правды, внушающаго къ себъ уваженіе даже и въ тъхъ случаяхъ, когда онъ ошибается. Впечатленіе, производимое иными страницами "Дневника", такъ же сильно и глубоко, какъ и то, которое остается послѣ прочтенія лучшихъ романовъ Достоевскаго. Годъ войны и подъема патріотическаго чувства сильно подъйствоваль на писателя, который всецьло отдавался этому чувству и высоко держаль его камертонь. Это не быль, однако, щовинизмъ, -- хотя защитники догмата "закидыванія шапками* не разъ злоупотребляли именемъ Достоевскаго въ своихъ полныхъ воинственнаго азарта статьяхъ; это быль, по мёткому выраженію одного критика, "мессіанизмъ", —въра въ то, что Россіи, а вмъстъ съ нею и всему славянству, предназначено спасти весь міръ, - въра "униженныхъ и оскорбленныхъ". Въ этомъ пунктъ Достоевскій близко подошель къ славянофиламъ, которые признали въ немъ "духовнаго вождя" русскаго народа. Жалость и милосердіе къ падшимъ, стремленіе найти и указать другимъ искру Божью, тлінощую въ самой безнадежной, повидимому, душф, -- этотъ основной нравственный мотивъ его художественнаго творчества получаль, такимъ образомъ, широкое политическое обобщеніе, обращаясь въ поклонение народу, народной душъ, съ ея непосредственною в рою и кроткою, всепрощающею любовью. Та же нравственная идея легла въ основаніе последняго романа Достоевского "Братья Карамазовы": люди, битые изъ колеи порывами своевольно - гордаго ума, необузданнаго чувства, жестокаго эгоизма, могутъ возвратить себъ душевное спокойствіе только путемъ всеочищающаго страданія, которое ведеть къ религіозному признанію "народной правды" и смиренію передъ нею. Личное совершенствованіе человіка на этомъ пути и есть то "самое главное" къ которому должно стремиться, такъ какъ личное совершенствование приведетъ и къ общему.

Являясь, такимъ образомъ, въ позднейшихъ своихъ произведеніяхъ все болье и болье рышительнымь индивидуалистомъ, Достоевскій сосредоточилъ всю свою огромную художническую силу на изображеніи мучительнаго душевнаго состоянія людей, страдающихъ отъ внутренняго разлада, возмущенныхъ и протестующихъ, оскорбляемыхъ жизнью и въ свою очередь ее оскорбляющихъ. Сознаніе необходимости во что-нибудь върить, напряженное исканіе идеи, за которую можно было бы ухватиться, чтобы удержаться въ этомъ страшномъ водоворотъ тревогъ и сомнъній, и въ то же время — удручающее сознаніе невозможности отыскать такую правду, которая помирила бы взволнованный умъ и возмущенное чувство,--все это въ произведеніяхъ Достоевскаго, отвічавшихъ тревожному нервному подъему тогдашняго нашего общества, находило себъ яркое, ръзкое выражение. Писатель

"удариль по сердцамъ съ невъдомою силой", — и даже ть, кто не сходился съ нимъ во многихъ частностяхъ, не могли не отозваться сочувственно на это стремленіе, если не умомъ, такъ чувствомъ ръшить "проклятые вопросы", отъ окончательнаго разръщенія которыхъ далекъ быль и самъ проповедникъ христіанскаго всепрощенія... Вліяніе Достоевскаго на современниковъ и на посл'ядующія покольнія было громадно: слишкомь сильно чувствовался въ душт каждаго мыслящаго человтка тоть болтаненный надрывь, который такъ безтрепетно обнажиль писатель въ своихъ произведеніяхъ; слишкомъ близко было каждому то душевное состояніе, которое у героевъ Достоевскаго доведено было до самой крайней напряженности. И, какъ мы увидимъ ниже, это вліяніе не ограничилось предвлами нашей родины: широкой волной пошло оно дальше, - по всему свъту.

Къ проповъди личнаго совершенствованія, начатой Достоевскимъ, присоединился и Толстой. И онъ также. въ "Аннъ Карениной" и позднъйшихъ своихъ произведеніяхъ, сталъ призывать къ смиренію передъ народной правдой, умиляясь передъ простымъ бытомъ народа, его нехитрыми, но искренними върованіями, его смиренной покорностью "власти земли", и осуждая искусственную, извращенную, суетную жизнь высшихъ классовъ съ ея фальшивою цивилизацією, которая только отуманиваеть умъ и заглушаеть совъсть. Но у Толстого не было того мистически-религіознаго отношенія къ народу, которымъ быль проникнуть мессіанизмь Достоевскаго; напротивъ, считая сближение съ простою жизнью трудящихся классовъ единственнымъ путемъ къ установленію правильнаго общественнаго строя, Толстой ясно видълъ и темныя стороны народной жизни, которыя онъ склоненъ быль объяснять растиввающимь вліяніемь городской культуры, мишурной и безнравственной. Отв'вчая на вопросъ: какъ жить?, Толстой указываеть свой идеаль въ складъ жизни простого народа, работающаго только ради удовлетворенія насущныхъ потребностей и сохраняющаго живую, непосредственную связь съ природой. Только на этой почві возможно, по его мнінію, то обновленіе нравственности, въ которомъ боліє всего нуждается современное общество,—то духовное перерожденіе, которое приведеть къ водворенію царства Божія на землі. Нравственная задача опреділяется евангельскою моралью: это — любовь къ Богу и ближнему, воздержаніе, ціломудріе, непротивленіе злу. При этомъ у Толстого, въ противоположность ріштельному индивидуализму Достоевскаго, мы видимъ полное отрицаніе личной воли и энергіи: благо—не въ "гармоническомъ развитіи" личности, а въ добровольномъ ея самоподчиненіи общему и въ сліяніи съ нимъ.

Въ своемъ исканіи новой правды Толстой приходить къ слишкомъ широкой постановкъ вопроса объ идеалъ жизни: онъ говорить не о томъ, каковы должны быть основы разумнаго существованія личности въ современномъ обществъ, а о томъ, какъ слъдовало бы жить вообще, и какъ могла бы сложиться жизнь, "если бы всь" пришли къ сознанію необходимости установить для себя одинаковую норму поведенія. Это предположеніе о томъ, что было бы, "если бы всѣ" стали думать и дѣйствовать одинаково, составляеть, какъ извъстно, существенную часть всякаго рода утопій, которыя, поэтому, если и имъють цънность, то не съ положительной, а съ отрицательной своей стороны. Действительно, проповедь Толстого, взятая въ цъломъ, представляеть очень сильную и во многомъ справедливую критику современнаго строя и поддерживающихъ его традиціонныхъ понятій; но положительныя его построенія, въ большинствъ случаевъ, страдаютъ произвольностью и мотивированы очень слабо. Если ученіе Толстого и нашло себ' много приверженцевъ въ разныхъ слояхъ общества, такъ это объясняется, во-первыхъ, обаяніемъ геніальной личности великаго писателя, во-вторыхъ, -- искренностью и убъжденностью его решительной и горячей критики и, вътретьихъ, тѣмъ общимъ крушеніемъ болѣе широкихъ общественныхъ идеаловъ, которое наступило у насъ въ началь 80-хъ годовъ и среди котораго человъку съ еще не заглушенными душевными запросами надо было хоть за что-нибудь ухватиться, чтобы не погрязнуть въ тинъ пошлаго житейскаго обихода, не утратить остатковъ въры и интереса къ жизни. Дъйствительно, въ началъ 80-хъ годовъ въ нашей общественной жизни ръзко обозначается переломъ. Никакіе нервы не въ состояніи были выдержать того страшнаго напряженія, какимъ отличалась вторая половина 70-хъ годовъ; реакція была неизбъжна, -- и сказалась общимъ утомленіемъ, равнодушіемъ къ широкимъ задачамъ и общественнымъ вопро- самъ; при отсутствіи руководящихъ началъ и общихъ интересовъ, жизнь становится все болье и болье безформенною: на первый планъ выступаетъ удовлетвореніе мелкихъ эгоистическихъ вождельній и самодовольное торжество узкаго мъщанства, съ его легкомысленнымъ равнодушіемъ ко всему, что превышаеть его ограниченный кругозоръ. Это состояние общества не замедлило, конечно, отразиться и на литературъ.

Съ начала 80-хъ годовъ наша художественная литература принимаетъ все болъе и болъе мрачный характеръ; въ ней все сильнъе и сильнъе чувствуется апатія, уныніе, мрачное разочарованіе, все чаще появляются типы людей, утратившихъ въру въ идеалы и интересъ къ жизни. Искаженіе новыхъ общественныхъ стремленій подъ вліяніемъ осадковъ стараго невъжества и кръпостничества нанесло этой въръ тяжелый ударъ. Съ тъмъ страшнымъ юморомъ, который похожъ на смъхъ приговореннаго къ смерти, Щедринъ характеризовалъ эту эпоху какъ торжество "свиньи", т. е. "шкурныхъ" инстинктовъ и интересовъ, надъ "правдой" возвышенныхъ идеальныхъ стремленій и, отвернувшись отъ современнаго общества, которое при напоминаніи о "забытыхъ словахъ"—чести,

совъсти, добръ, , , , разбъгалось но подворотнямъ", нарисоваль въ своей "Пошехонской Старинъ" эпически широкую и яркую картину криностного быта, о которомъ многіе все еще продолжали вздыхать какъ о потерянномъ рав... Молодые романисты и поэты 80-хъ годовъ являются въ своихъ произведеніяхъ преимущественно психологами: ихъ вниманіе обращено не столько на изображеніе дъйствительности, сколько на объясненіе внутренней, душевной жизни болье или менье типичныхъ представителей современнаго общества. Въ большинствъ произведеній новой литературы чувствуется сильное вліяніе Толстого и Достоевского и особенно-страшной нервной напряженности автора "Карамазовыхъ". Главными "героями" новой эпохи являются неудачники, раздраженные, больные, съ развинченными нервами, изломанные тяжелой рукой жизни и гибнущіе трагически въ непосильной борьбъ. Таковы герои Гаршина, Новодворского ("Осиповичъ)", Альбова; та же нота слышится въ лирическихъ изліяніяхъ Минскаго и Надсона, — у последняго еще не совствить исчезла сентиментальная надежда на лучшее будущее, но это, такъ сказать, надежда отчаянія, соломенка, за которую хватается утопающій; вообще какъ въ прозъ, такъ и въ поэзіи воображенію рисуется только "тьма безпросвътная, грусть безысходная ...

Съ другой стороны, важнымъ элементомъ художественной литературы 80-хъ годовъ становится изображеніе мелочей повседневной, будничной жизни и съренькихъ существованій почти растительнаго характера. Чудовище пошлости, словно огромный полипъ, во всъ стороны простираетъ свои щупальцы и безпощадно втягиваетъ подхваченныя жертвы въ свое ненасытное чрево. Напрасенъ всякій протестъ, безплодна борьба, безполезны крики отчаянія: чудовище глухо и слъпо; въ немъ воплощается сила стихійная. Притомъ же, люди, поставленные лицомъ къ лицу съ этимъ страшнымъ врагомъ, обыкновенно очень скоро теряютъ сознаніе и, по-

коряясь своей участи, лишь изрёдка вспоминають, что когда-то они мечтали жить иною, разумною и полезною жизнью... Такое безотрадное впечатлёніе производять разсказы и пьесы Чехова, Баранцевича и другихъ писателей современнаго имъ поколёнія. И здёсь, какъ у писателей первой группы, мы попадаемъ въ очень узкій кругъ наблюденій, причемъ на первомъ планё психологія, а не дёйствіе, жизнь внутренняя, а не внёшняя, проявляющаяся только въ рядё мелочей самаго зауряднаго свойства.

На ряду съ этими писателями въ литературъ 80-хъ годовъ выступають и последніе представители прежняго "народничества", — Наумовъ, Эртель, Петропавловскій ("Каронинъ"). Первый въ своихъ разсказахъ, содержаніе которыхъ взято почти исключительно изъ жизни сибирскихъ крестьянъ ("Сила солому ломитъ", "Въ тихомъ омутъ", "Въ забытомъ краю"), рисуетъ печальныя картины эксплуатаціи безправнаго населенія разными міровдами-кулаками, при содвиствіи містных властей; второй въ "Запискахъ Степняка" останавливается преимущественно на изображении оффиціальныхъ отношеній, объектомъ которыхъ является мужикъ, а въ другихъ своихъ произведеніяхъ, особенно — въ романв "Гарденины", противополагаетъ "дряблую" и безсильную "интеллигенцію", съ ея пессимизмомъ и разочарованіемъ, здоровому крестьянству, съ его близкимъ къ природъ, простымъ и цъльнымъ міросозерцаніемъ. Что касается Петропавловскаго, то его изображенія народной жизни не отличаются оригинальностью: въ нихъ литературное народничество обратилось уже въ шаблонъ; притомъ, кругъ наблюденій автора очень узокъ, и самыя наблюденія большею частью случайны. Въ лицъ Гл. Успенскаго и Златовратского народничество сказало свое последнее слово, и запоздалые голоса позднъйшихъ представителей этого направленія уже не внесли въ литературу ничего новаго. Притомъ, среди новаго круга читателей не было

уже прежняго внимательнаго отношенія къ вопросамъ народной жизни; интересъ къ мужику уступилъ мъсто другимъ интересамъ, да и вообще прежнія широкія общественныя задачи смѣнились гораздо болѣе узкими вопросами личной жизни и индивидуальной нравственности; оть изображенія общества литература все больше и больше переходить къ изображенію личности въ ея простышихъ житейскихъ, преимущественно семейныхъ, отношеніяхъ. Быть можетъ, этотъ анализъ личности глубже и правдивъе, чъмъ бывало прежде, --- но онъ не даетъ матеріала для какихъ-нибудь общихъ построеній, для решенія общихъ задачъ. Если изъ романа и пов'єсти мало по малу исчезаетъ прежняя тенденціозность (хотя крупные наши писатели никогда не грѣшили намъреннымъ искаженіемъ действительности ради предвзятой идеи), то, съ другой стороны, въ литературъ все больше и больше водворяется сухой, почти фотографическій "протоколизмъ", навъянный вліяніемъ французскихъ "натуралистовъ", пріемы которыхъ-и далеко не лучшіе усвоивались многими нашими писателями 80-хъ годовъ въ качествъ "послъдняго слова искусства".

Вторая половина 80-хъ годовъ представляетъ уже картину полнаго упадка литературы. Старые дѣятели почти всѣ сошли въ могилу, куда послѣдовали за ними и многіе представители младшаго поколѣнія, не совладавшіе съ тяжелыми условіями жизни (Гаршинъ, Новодворскій, Надсонъ и др.); уцѣлѣли только немногіе, — но они или совсѣмъ замолкли (Гончаровъ), или лишь изрѣдка отзывались на злобы дня; одинъ только Толстой, окончательно повернувшій на путь проповѣди нравственнаго и религіознаго возрожденія, не ослабѣвая, а напротивъ, словно съ свѣжими силами продолжалъ свою проповѣдническую дѣятельность, которая, однако, все больше и больше удаляла его отъ художественной литературы. На молодомъ литературномъ поколѣніи все яснѣе

и яснѣе сказывалось растлѣвающее вліяніе той мертвой схоластики, которая царила въ нашей средней школѣ и проникала уже въ университеты, убивая въ зародышѣ живую любознательность и проблески самостоятельной мысли; неудивительно поэтому, что приливъ въ литературу свѣжихъ, оригинальныхъ дарованій сталъ очень скуденъ: удивительно то, какъ при наличности такихъ условій могли еще появляться молодые писатели, обладающіе хоть какимъ-нибудь (а иногда — и очень замѣтнымъ) дарованіемъ...

Общій упадокъ литературы сказался также и въ паденіи критики, которая все больше и больше теряетъ свое прежнее руководящее значеніе живого учительнаго слова и обращается или въ личный памфлетъ, нерѣдко довольно грязнаго свойства (г. Буренинъ), или въ сухое схоластическое доктринерство, съ претензіями на глубокомысліе, выражающееся въ мнимомъ "развѣнчиваніи" прежнихъ критическихъ авторитетовъ, начиная съ Бѣлинскаго (г. Волынскій).

Прежній романь съ болье или менье широкимь общественнымъ содержаніемъ, — романъ въ стилъ Тургенева, Толстого, Достоевскаго, —почти совствить исчезаеть изъ литературнаго обихода и все больше и больше замъняется романомъ "романическимъ", чернающимъ свое содержаніе изъ жизни личной или семейной, имъя въ виду почти исключительно внътнюю занимательность разсказа. Имена талантливыхъ "фабулистовъ", — Немировича-Данченко, Каразина. Потапенко, Станюковича и др. — привлекаютъ широкій кругь читателей; къ той же группъ примыкаетъ цълый рядъ писательницъ, — г-жи Смирнова, Микуличъ, Шапиръ, Крестовская, Дмитріева и др., которыя въ своихъ произведеніяхъ вращаются въ еще болье узкихъ рамкахъ любовныхъ отношеній, очень ръдко переступая этотъ заколдованный кругъ для изображенія — хотя бы и очень поверхностнаго — тѣхъ или иныхъ явленій общественной жизни. Темъ же заколдованнымъ кругомъ, за весьма немногочисленными исключеніями, ограничивается и наша новая драматическая литература: въ ряду ея представителей можно назвать писателей, безспорно, очень даровитыхъ, но среди ихъмногочисленныхъ произведеній мы напрасно стали бы искать пьесы, которая по своему общественному значенію напомнила бы "Горе отъ ума", "Ревизора" или лучшія комедіи Островскаго, "Горькую Судьбину" Писсемскаго или "Власть Тьмы" Толстого...

Интересъ читателей къ "фабулистическимъ" повъствованіямъ вызвалъ появленіе довольно значительнаго количества историческихъ романовъ и повъстей. Въ этой области беллетристики очень усердно работали Мордовцевъ, Данилевскій, Карновичъ, графъ Саліасъ, Вс. Соловьевъ, П. Полевой и др. Обладая внъшними литературными достоинствами — правильнымъ слогомъ и занимательностью разсказа, произведенія названныхъ писателей вполнъ удовлетворяють вкусу той нетребовательной публики, для которой они преимущественно и назначаются и которая нуждается въ популярной передачъ важнъйшихъ событій русской исторіи. Дъйствительно же художественный историческій романь у нась до сихь поръ есть только одинъ: "Война и Миръ", съ которымъ даже и въ отдаленное сравнение не могутъ идти всъ прочія произведенія нашей исторической беллетристики.

Что касается собственно общественнаго романа, то почти единственнымъ его представителемъ въ новъйшей нашей литературф остается П. Д. Боборыкинъ, — писатель стараго поколфнія, начавшій свою дфятельность еще въ 60-хъ годахъ. Впечатлительный и чуткій къ тому, что на метафорическомъ языкф принято называть "пульсомъ общественной жизни", Боборыкинъ являлся въ продолженіе слишкомъ сорока лфтъ бытописателемъ нашего общества, отражая въ своихъ многочисленныхъ романахъ и повъстяхъ пережитыя имъ за это долгое время настроенія. Наблюденія Боборыкина рфдко идутъ въ глубь

и большею частью ограничиваются только внёшнею стороною, поверхностью описываемых имъ явленій; притомъ, дёйствующія лица его произведеній обыкновенно отличаются не столько типичностью, сколько фотографическимъ сходствомъ съ болёе или менёе извёстными представителями того общества, въ которомъ вращается романистъ; но въ общихъ своихъ очертаніяхъ нарисованныя имъ картины нашей жизни безусловно вёрны дёйствительности и достаточно ярко отражаютъ въ себе ея измёнчивый складъ. Благодаря этому качеству, произведенія Боборыкина служать прекраснымъ литературнымъ матеріаломъ для знакомства съ различными "теченіями" нашего житейскаго моря.

Въ 80-хъ годахъ выступають въ литературф нфсколько писателей старшаго поколенія. Писатели эти, съ Короленко и Маминымъ-Сибирякомъ на первомъ мёсть, тономъ и характеромъ своихъ произведеній замътно выдъляются въ особую группу: у нихъ нътъ того мрачнаго, безнадежнаго пессимизма, который все сильнье и сильнье овладываеть представителями младшаго покольнія; напротивь, одинь изь любимыхъ мотивовъ въ ихъ произведеніяхъ — бодрая вфра въ вую душу, которая сможеть постоять за себя всякихъ испытаніяхъ. Витстт СЪ тъмъ. невзгоды и разочарованія не заглушили у этихъ писателей живого, непосредственнаго чувства природы и любовнаго къ ней отношенія. Разсказы Короленка. отличающіеся всегда прекрасной, строго выдержанной литературной формой (качество, которымъ могутъ похвалиться лишь немногіе изъ позднійшихъ нашихъ писателей 80-хъ годовъ, нередко въ этомъ отношени страдающіе небрежностью), дають яркія по своей изобразительности и согрътыя неподдъльнымъ чувствомъ описанія природы и рядомъ съ ними-рядъ своеобразныхъ фигуръ и типовъ, взятыхъ прямо изъ жизни. Продолжительныя скитанія писателя по разнымъ угламъ, въ которые рѣдкопо доброй вол'в попадаеть культурный человыкь, -- по захолустнымъ мъстечкамъ юго-западнаго края, по якутскимъ кочевьямъ въ сибирской тайгъ, по глухимъ городкамъ съвернаго Пріуралья, —отслоились въ его душъ разнообразными наблюденіями, полными живого интереса. Изображаемые имъ типы относятся большею частью къ разряду людей, стоящихъ "внъ общества": это --- разные бродяги, воры, бъглые каторжники, словомъ-люди болъе чвиъ "подозрительные"; авторъ относится къ нимъ сочувственно, умъя находить въ ихъ огрубълой душъ глубокочеловѣчныя черты; но это сочувствіе нельзя назвать тенденціознымъ. Было время, когда простонародье представлялось просвещенному человеку только полудикимъ стадомъ, рабочій пролетаріать — только грубой силой, населеніе тюремъ-только подонками и отбросами человъчества. Затъмъ настало другое время, когда, во имя гуманности и въ противовъсъ этому жестокому презрительному отношенію къ "униженнымъ и обиженнымъ", стали идеализировать мужика, возведя его чуть ли не въ святые (вспомнимъ извъстное выражение la sainte canaille), рабочаго изображать мученикомъ, преступника — жертвой общественнаго строя. Короленко стоить одинаково далеко отъ объихъ этихъ точекъ зрънія: онъ видитъ не однъ только темныя или светлыя стороны изображаемыхъ имъ лицъ и явленій, - въ его наблюденіи, какъ и въ самой дъйствительности, и темное, и свътлое рисуется съ одинаковой правдой и прямотой. Онъ, по выраженію одного нъмецкаго критика, охотно выбираеть для своихъ произведеній "бользненные" сюжеты, но обрабатываеть ихъ какъ здоровый челов вкъ, въ противоположность Достоевскому и его последователямъ, которые проявляютъ "болевненность" какъ въ выборъ своихъ сюжетовъ, такъ и въ ихъ обработкв.

Въ романахъ и разсказахъ Мамина мы также знакомимся съ пріуральскою и сибирскою жизнью,—только съ другой стороны; этотъ писатель не беретъ такихъ "острыхъ"

сюжетовъ, какъ Короленко; его герои, въ большинствъ случаевъ, вовсе не "выкинутые" изъ общества люди, а самые мирные обыватели разныхъ сибирскихъ центровъ, живущіе мъстными интересами, которые и даютъ матеріалъ для повъствованій то забавныхъ, то трогательныхъ, чаще всего—грустныхъ по своему содержанію и по характеру той жизни, какая въ нихъ рисуется. Мъстный бытъ хорошо извъстенъ писателю, который умъетъ выбирать изъ него типичныя черты и изображать ихъ правдиво и рельефно, не навязывая читателю какихъ-либо заранъе придуманныхъ выводовъ и заключеній; они являются сами собой, какъ результатъ знакомства съ его наблюденіями.

Короленко является въ нашей художественной литературъ первымъ представителемъ того (отчасти-вынужденнаго) "хожденія въ Сибирь", которое познакомило русскую публику съ невѣдомыми ей до того времени сторонами жизни въ этой отдаленной окраинъ. Также и Л. Мельшинъ (псевдонимъ) въ своей книгъ "Въ міръ отверженныхъ" далъ если не равное по художественному достоинству съ "Записками изъ Мертваго Дома", то не уступающее имъ по яркости и силъ впечатлънія изображеніе каторги-35 льть спустя посль Достоевскаго; Сърошевскій, Тань, Елпатьевскій и др. познакомили насъ съ совершенно неизвъстнымъ ранъе бытомъ сибирскихъ инородцевъ, якутовъ, чукчей и т. д., и съ картинами своеобразной природы дальняго съверовостока. Этого рода произведенія внесли въ нашу литературу посл'єдняго десятильтія новые мотивы и такимъ образомъ расширили нашъ литературный кругозоръ.

Въ половинѣ 80-хъ годовъ произведенія нашихъ великихъ писателей, въ особенности — Толстого и Достоевскаго, получаютъ право гражданства и широкое распространеніе въ западно-европейской литературѣ, прежде всего— во Франціи; такимъ образомъ, сфера нашего литературнаго вліянія переходитъ за предѣлы Россіи. Многое

изъ нашей художественной литературы было извъстно на Западъ и раньше; но въ прежнее время западный читатель интересовался русскими произведеніями почти исключительно съ этнографической точки зрвнія; теперь эти произведенія вызывають уже и общечелов вческій интересь. Въ 1886 году вышла извъстная книга о русскомъ романъ Мельхіора де-Вогюэ. Она составилась изъ ряда статей, напечатанныхъ раньше въ Revue des deux Mondes,—съ прибавленіемъ вновь написаннаго предисловія, которое, по силъ и смълости, многіе сравнивали съ знаменитымъ предисловіемъ Виктора Гюго къ "Кромвеллю", манифестомъ романтической школы. Статьи имёли цёлью "открыть" французской публикъ Толстого, Достоевскаго, Тургенева, а предисловіе указывало, въ самыхъ решительныхъ выраженіяхъ, на полное банкротство французскаго натурализма. Моментъ появленія этой книги многіе французскіе критики считають началомь новой эры въ своей литературъ, -- началомъ возрожденія религіознаго чувства, мистицизма и "ново-христіанства". Д'виствительно, на каждой страницѣ книги мы въ изобиліи встрѣчаемъ восклицанія, риторическія фигуры и патетическія фразы о "невидимомъ", "невъдомомъ", о "міровой тайнът", о той "безпредвльной дали", которая такъ влечеть къ себв въ русскомъ романъ, объ "евангельской жалости къ униженнымъ, оскорбленнымъ и страждущимъ" и, наконецъ, даже о "міровой слезв". Авторъ уподобляеть современныя души-ласточкамъ, которыя кружатся въ поискахъ вождя, низко летая надъ землей во время бури и теряясь въ холодъ, мракъ и шумъ вътра. "Попробуйте сказать этимъ душамъ, что есть такое убъжище, гдъ подбираютъ и согръваютъ иззябшихъ и раненыхъ птичекъ, — и вы увидите, какъ всв онв встрепенутся, воспрянуть и стрвлой полетять къ тому писателю, который позоветь ихъ къ себѣ призывомъ сердца"... Всѣ эти риторическія украшенія пришлись по вкусу читателямъ, уже настроеннымъ въ смыслѣ мистицизма, -хотя Вогюэ вовсе не имѣлъ

въ виду проповъдовать новую религію, а только желаль открыть своимъ соотечественникамъ новую Америку въ видь русской литературы, которой они до того времени совствить не знали. Конечно, Тургеневъ, постоянно жившій въ Парижь, пользовался извъстностью въ литературномъ французскомъ кругу, горячо рекомендовалъ своимъ парижскимъ друзьямъ Толстого, содъйствовалъ изданію, въ 1880 году, перевода "Войны и Мира"; но переводъ этотъ праздно валялся на полкахъ у издателя и, во всякомъ случав, некоторое знакомство съ русскими писателями не шло дальше очень ограниченнаго литературнаго кружка. Для того, чтобы все сразу измѣнилось, надо было, чтобы литературный аристократь заговориль о русскихъ писателяхъ въ старъйшемъ и авторитетнъйшемъ журналъ, и заговорилъ въ томъ приподнятомъ риторическомъ тонъ, который всегда такъ увлекательно действуеть на французскихъ читателей. Вогюэ ввель нашихъ романистовъ въ свътскіе салоны Парижа-"и съ тъхъ поръ русские стали существовать", какъ замвчаеть одинь критикъ. Не только спеціалисты, но и свътская публика стала читать Толстого и Достоевскаго, и даже готова была признать ихъ геніальными писателями, повёривъ на слово блестящему критику, который повъдалъ о нихъ міру въ звучныхъ и красиво обточенныхъ лирическихъ фразахъ. Появленіе книги Вогюэ совнало съ оживленіемъ франко-русскихъ симпатій; это былъ своего рода литературный "Кронштадтъ".

Но Колумбъ русской Америки, обращаясь къ парижскимъ салонамъ, являлся не столько критикомъ, сколько патетическимъ ораторомъ и, повторяемъ, ему и въ голову не приходило выступать пророкомъ какой-нибудь новой вѣры. Онъ рекомендовалъ нашихъ писателей не больше, какъ интересную литературную новинку, желая кстати уязвить несимпатичныхъ ему послѣдователей Золя; прошло нѣсколько лѣтъ, — и онъ съ такимъ же ораторскимъ экстазомъ сталъ рекомендовать въ тѣхъ же салонахъ, въ ка-

честв представителя "латинскаго возрожденія", изломаннаго и самодовольнаго эстета д'Аннунціо,—совершеннаго антипода нашихъ романистовъ. Стало быть, до самой-то сути дѣла, до "души", онъ совсѣмъ и не доходилъ; и если въ душѣ французскихъ реалистовъ и литературныхъ "аеинянъ" дѣйствительно произошелъ нѣкоторый переворотъ, приведшій ихъ къ "ново-христіанству", такъ случилось это оттого, что въ ихъ душу запали слова не Вогюэ, а самихъ нашихъ писателей.

Почва для такого воздъйствія русскихъ романистовъ на направленіе французской—а за нею и вообще евронейской—мысли была уже подготовлена Ренаномъ.

Обыкновенно Ренана считають человъкомъ мало того, что невърующимъ, но даже ръшительнымъ врагомъ христіанства. Одинъ католическій критикъ в'яжливо называеть такое мнвніе, "беотійскимъ", т. е. по-просту глупымъ: Ренанъ былъ прежде всего ученый, спокойный, объективный искатель истины, у котораго не было и тым вольтеровского здобного издывательства надъ религіей, а напротивъ, было много самой широкой вфротерпимости; это быль идеалисть, въ значительной степени проникнутый тою самою жалостью къ униженнымъ и оскорбленнымъ, которая открылась французскимъ читате-• лямъ въ русскомъ романъ, — человъкъ, въ душъ котораго никогда не умирали истинно христіанскія начала. Дилеттантизмъ овладель только одной, более яркой стороной его мысли, но не въ состояни быль постичь эту мысль во всей ея глубинъ. Чтеніе Ренана во многихъ вызвало тревожное исканіе новой віры, въ которой могь бы исчезнуть разладъ между умомъ и чувствомъ. Въ эту-то именно пору и подосивлъ русскій романъ.

Въ какіе-нибудь три-четыре года были переведены на французскій языкъ почти всё произведенія Толстого и Достоевскаго, восторженно встреченныя новой для нихъ публикой. Адріенъ Ремакль и Эдуардъ Родъ основали журналъ Revue Contemporaine, въ которомъ выступили

пророками "русскаго генія" съ тѣмъ же пламеннымъ энтузіазмомъ, съ какимъ впослѣдствіи они стали преклоняться передъ геніемъ скандинавскимъ. Родъ велъ въ этомъ журналѣ періодическую хронику русской литературы, отмѣчая, по мѣрѣ ихъ появленія, всѣ сколько-нибудь выдающіяся произведенія послѣднихъ лѣтъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что при всѣхъ добрыхъ намѣреніяхъ, въ этомъ дѣлѣ было много и неопытности, и непониманія; гораздо важнѣе было то, что "Современное Обозрѣніе" напечатало цѣлый рядъ стихотвореній Лермонтова, разсказовъ Гоголя, писемъ Тургенева, "Свѣчку" Толстогои, наконецъ, "Кроткую" и "Карамазовыхъ" Достоевскаго.

Странный, необычный для французскаго читателя характерь этихъ произведеній, отсутствіе въ нихъ того, что принято считать "искусствомъ", ихъ глубокая психологія и совершенно новое міросозерцаніе—все это смутило публику, такъ что даже среди поклонниковъ нашихъ писателей нерѣдко встрѣчались люди, вовсе ихънепонимавшіе.

Тогда молодой талантливый критикъ Эмиль Эннекенъ, въ своей книгъ Ecrivains francisés, задался цълью разъяснить внутренній смысль этихъ произведеній. Въ его лицъ французская литература сознательно восприняла основныя идеи нашихъ писателей, ихъ міросозерцаніе и направленіе. И вотъ, когда эти писатели были, такимъ образомъ, прочитапы, изучены и поняты литературной молодежью, тогда вліяніе Толстого— "толстоизмъ", —даже противъ желанія и ожиданія первоначальных его поклонниковь, всецьло охватило французскую литературу, искусство, философію. Подъ непосредственнымъ воздействиемъ русскихъ писателей, молодое поколиніе французских в литераторовь выступило въ походъ противъ натурализма и скоро устранило господствовавшее значеніе этого направленія въ литературь. Грубая дьйствительность освътилась духовными и душевными идеалами въ цёломъ рядё новыхъ произведеній; прежнія узко-индивидуалистическія рамки французскаго романа

раздвинулись и восприняли въ себя новое содержаніе—психологическое и общественное.

Но-словно по какой-то ироніи судьбы-именно въ то время, когда наша литература, въ лицъ своихъ великихъ писателей, стала пріобр'втать всемірное, общечеловъческое значение, у себя на родинъ, въ лицъ эпигоновъ, она все больше и больше мельчала, утрачивая серьезное содержаніе и то руководящее положеніе, которымъ она нъкогда пользовалась. Ея широкое теченіе точно было внезапно остановлено какимъ-то препятствіемъ. Теченіе это не было настолько сильно, чтобы проложить себъ путь черезъ возникшую передъ нимъ преграду, но не было и настолько слабо, чтобы совствить изсякнуть, а потому и разлилось въ разныя стороны, просачиваясь сквозь плотину мелкими, тонкими ручейками. У насъ и теперь ньтъ недостатка въ талантливыхъ и трудолюбивыхъ писателяхъ, - по крайней мъръ, такихъ, которые подавали въ началъ своей дъятельности кое-какія надежды; но въ ряду ихъ произведеній, появившихся въ послёднее время, нёть ни одного, которое могло бы расчитывать сколько-нибудь прочный литературный успъхъ. Преграда, мѣшающая свободному теченію нашей литературы, слагается изъ разнородныхъ элементовъ, въ числъ которыхъ на первое мъсто надо поставить непомърное развитіе общественнаго индифферентизма, отыскивающаго себъ даже теоретическія оправданія—въ извращенныхъ философскихъ ученіяхъ Ницше и его последователей и въ насильственно примъняемыхъ къ русской жизни доктринерскихъ теоріяхъ такъ называемыхъ "марксистовъ". Далье, --- какъ это всегда бываеть въ литературъ, лишенной выдающихся производительныхъ силъ, въ последнее время у насъ развилось неразборчивое увлечение разными модными теченіями европейской поэвіи, и нерѣдко даже ея отбросами, которыя въ наивномъ поклоненіи моді принимались за откровенія какого-то новаго искусства. Молодое поколініе литераторовь и поэтовь, вышедшее изь печальной

школы, которая не давала своимъ питомцамъ ни знанія русской жизни, ни разумнаго къ ней отношенія, ни жи вого научнаго и художественнаго интереса, усвоило эту пагубную привычку "чужебесія", привычку жадно хвататься за всевозможные чужіе образцы, не подвергая ихъ критическому анализу. Вследствіе этого наша литература постоянно теряеть нить своего некогда органическаго развитія; новые писатели не знають, продолжать ли имъ Тургенева и Толстого, или идти по следамъ Золя, или подражать Ибсену, или пересаживать на русскую почву гнилые побъги французского декадентства, эстетизма и т. п.; создать же что-нибудь собственное, самобытное, они не въ силахъ по отсутствію таланта, сила котораго всегда заключается въ оригинальности. Эта злополучная подражательность, это заискивающее вилянье не только передъ сильными представителями европейского литературнаго міра, но даже и передъ всякой макулатурой, лишь бы она помъчена была вчерашнимъ заграничнымъ штемпелемъ, развращаеть нарождающіяся дарованія и лишаеть ихъ возможности правильнаго развитія. А такъ какъ сильные таланты всегда и всюду составляютъ маленькое меньшинство, за которымъ идетъ толпа среднихъ и мелкихъ подражателей, то и выходитъ, что великіе русскіе писатели своими вдохновенными произведеніями убили французскій натурализмъ, а французскіе рыночные романисты и бездарные стихотворцы, словно въ отместку за это, убивають русскій національный литературный геній...

Мы не станемъ останавливаться на подробностяхъ нашей литературы последняго десятилетія: они у всёхъ въ памяти и не представляютъ сколько-нибудь серьезнаго интереса... Изображеніе мелочныхъ, нерёдко нравственно изломанныхъ натуръ, прикрывающихъ свою внутреннюю пустоту и неискренность заемнымъ философскимъ и эстетическимъ идеализмомъ; обиліе подражательныхъ любовныхъ романовъ, въ которыхъ действующія

лица на протяжени сотенъ страницъ занимаются "милыми пустяками"; вымученное, убогое по мысли и формъ, стихотворство, утрачивающее зачастую даже чувство ритма и неръдко склонное къ порнографіи; наконецъ, маленькіе и безсодержательные разсказики съ большими претензіями, всв эти жалкіе, эфемерные продукты литературнаго безвременья, отсутствія идеаловъ и торжества узкаго эгоизма, -- способны вызывать только грустное чувство. Національная литература и родной языкъ-великія драгоцённости, которыя должно оберегать и развивать съ любовью и за которыя намъ придется дать отвътъ потомству. И когда потомство спросить нынвшнее поколвніе писате лей: что сдёлало ты съ своей литературой, что сдёлало ты съ этимъ "великимъ, могучимъ, правдивымъ и свободнымъ" русскимъ языкомъ, который данъ былъ тебъ на утвшеніе, куда растратило ты высокіе идеалы, которымъ такъ долго и славно служили твои предшественники, одушевлявшеся ими въ пору самыхъ мрачныхъ взгодъ, -- найдется ли, въ отвъть на эти неизбъжные вопросы, слово защиты и оправданія?...

Мы разсмотрѣли, въ самыхъ общихъ чертахъ, ходъ нашего литературнаго развитія въ теченіе XIX вѣка. Нисколько не претендуя на исчерпывающую полноту этого очерка, мы старались указать только самыя выдающіяся, существенныя черты пройденнаго періода, въ теченіе котораго наша литература сдѣлалась художественною выразительницею національнаго самосознанія. Сравнивая только что минувшій вѣкъ съ предшествующимъ, мы видимъ, какой громадный шагъ впередъ сдѣланъ былъ на этомъ пути, какъ окрѣпли и развились тѣ слабые ростки самостоятельной мысли, которые достались намъ отъ XVIII столѣтія, и какъ много достигнуто литературой и въ отношеніи внѣшней формы, и въ отношеніи внутренняго содержанія. Оглядываясь на пройден-

ный путь, мы съ гордостью можемъ сказать, что русскій XIX вѣкъ оставилъ XX-му богатое литературное наслѣдство, участниками котораго являются не одни только русскіе люди, но и все образованное человѣчество. Это сознаніе, правда, нѣсколько омрачается литературнымъ упадкомъ послѣдняго десятилѣтія; но историческое прошлое нашей литературы даетъ право надѣяться, что этотъ упадокъ — только временное, скоропреходящее болѣзненное явленіе, обусловленное ненормальнымъ состояніемъ общества, зеркаломъ котораго служитъ литература. Кризисъ уже миновалъ, и уже показались признаки нравственнаго подъема, который, конечно, отзовется и литературнымъ возрожденіемъ.

Какія же задачи поставлены XIX-мъ вѣкомъ своему преемнику?

Одною изъ самыхъ важныхъ задачъ, ясно сознанныхъ, но еще далекихъ отъ осуществленія, является возможно болѣе широкое распространеніе литературы въ народной массѣ, наряду съ заботой о просвѣщеніи народа, составляющемъ самую насущную и неотложную потребность нашего времени. Углубленіе литературы въ самые низшіе слои общества, до самой почвы, на которой это общество ростетъ, несомнѣнно, могло бы вызвать приливъ въ литературу новыхъ, свѣжихъ силъ и значительно расширило бы литературный кругозоръ, — подобно тому, какъ это уже наблюдалось въ пору демократическаго обновленія нашей литературы на пути къ всестороннему развитію явился бы достойнымъ завершеніемъ ея поступательнаго движенія въ XIX вѣкѣ.

Другая, не менъе важная, задача, также указанная прошлымъ и временно только затемненная настоящимъ, заключается въ стремленіи, сознательномъ и послъдовательномъ, къ выработкъ широкаго міросозерцанія и къ высшимъ идеаламъ. Учительная роль нашей литературы въ отношеніи къ обществу далеко еще не можетъ счи-

таться законченной; условія нашей жизни все еще таковы, что литература и искусство не могуть спокойно сказать: "нынѣ отпущаеши"; по извѣстному выраженію Пушкина, дружина литераторовь и ученыхъ все еще должна стоять впереди во всѣхъ набѣгахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности. Но поддерживать въ обществѣ высокій строй мысли литература можетъ только тогда, когда она будеть свободна отъ всякихъ случайныхъ вліяній, отъ увлеченія чужими модными направленіями, несродными русскому складу ума и характера, — когда въ ней національные элементы явятся въ гармоническомъ сочетаніи съ общечеловѣческими, и она станетъ органомъ общественнаго самопознанія. Такого будущаго мы горячо желаемъ нашей литературѣ—и вѣримъ, что его уже не долго ждать.

Изъ исторіи русской литературной критики.

I.

Первыя попытки критики появляются въ нашей литературѣ одновременно съ первыми попытками установить правила грамматики и теоріи прозаической и стихотворной річи, — въ конці сороковых годовъ XVIII віка. Въ ту пору вся наша литература была представлена только тремя писателями, и эти трое-Ломоносовъ, Сумароковъ, Тредьяковскій—въ своихъ заботахъ о составленіи законовъ россійской версификаціи и ореографіи постоянно между собою ссорились и другъ друга обличали—не только въ отсутствіи знаній или литературнаго вкуса, но иногда и въ разныхъ личныхъ недостаткахъ и неблаговидныхъ поступкахъ. Бывали случаи, когда, въ пылу полемики, наши первые литераторы уже совсвиъ забывали о литературъ и, поддаваясь духу времени, осыпали противника грубою бранью или — еще хуже — выискивали въ его произведеніяхъ "слово и дёло"...

Воть, для примъра, нъсколько вопросовъ, особенно волновавшихъ въ тъ времена писателей и служившихъ поводомъ къ ожесточенной полемикъ ихъ между собою:

Объ окончаніяхъ множественнаго числа именъ прилагательныхъ; о риомахъ мужескихъ и женскихъ; объ

употребленіи въ русскомъ явыкѣ церковно-славянскихъ выраженій; о строфахъ сафической и гораціанской, и т. п.

Въ настоящее время намъ совершенно непонятно то страстное ожесточеніе, съ какимъ почтенные и, повидимому, серьезные ученые — Ломоносовъ и Тредьяковскій набрасывались другь на друга по поводу этихъ и имъ подобныхъ мелочей. Но не следуетъ забывать, что такіе вопросы, при младенческомъ въ ту пору состояніи нашего литературнаго языка, имъли гораздо болъе существенное значеніе, чімь теперь, когда они уже давно отошли изъ области литературы въ область элементарнаго учебника. Затымь, при общей грубости нравовь этой "допотопной" эпохи нашей литературы, раздраженное самолюбіе писателей выражалось въ гораздо бол е ръзкихъ формахъ, и споры ихъ между собою неръдко напоминали знаменитыя препирательства мольеровскихъ Триссотеновъ и Вадіусовъ. Такъ, напримъръ, Ломоносовъ, по поводу вонроса объ окончаніяхъ именъ, написалъ противъ Тредьяковскаго длинное стихотвореніе, въ которомъ выразилъ увъренность, что

> Языка нашего небесна красота Не будеть никогда попранна отъ скота.

Василій Кирилловичь не остался въ долгу и посвятиль своему антагонисту не менће длинное и язвительное стихотвореніе, въ которомъ называеть его "рыжей тварью" и заключаеть такими словами:

Въ небесной красотъ—не твоего лишь зыка, Нелъпостей гдъ тьма—россійскаго языка, Когда по твоему сова и скотъ ужь я, То самъ ты нетопырь и подлинно свинья.

Читая эту своеобразную полемику, вызванную грамматическимъ вопросомъ, мы видимъ, что вовсе не далекъ отъ истины былъ Сумароковъ въ извъстномъ споръ педантовъ въ своей шутовской комедіи "Трессотиніусъ": Трессотиніуст. Я содержу, что твердо объ одной ногѣ правильняе: ибо у Грековъ, отъ которыхъ мы литеры получили, оно объ одной ногѣ, а треножное твердо есть нѣкакой уродъ, не имущій съ греческимъ твердомъ ни малаго свойства.

Бомбембіусъ. Мое твердо о трехъ ногахъ, и для того стоитъ твердо; а твое твердо не твердое, твое твердо слабое, ненадежное, а потому презрительное, гнусное, позорное, скаредное...

Недаромъ же Тредьяковскій, сочиняя, въ форм'в письма отъ неизвъстнаго друга, "критику на нъкоторыя сочиненія Александра Петрова сына Сумарокова", отзывается объ этой комедіи съ особенною чувствительностью: "Извъстный Господинъ Пінть такой намъ всьмъ представиль на театръ гостинець, который по всему не можеть не быть названъ достойнымъ остробуйныя его музы... Комедія сія недостойна имени комедіи, и всеконечно неправильная, да и вся противна регуламъ театра... Она сочинена только для того, чтобы ей быть не язвительною токмо, но и почитай убійственною чести сатирою, или лучше---новымъ, но точнымъ насквилемъ, чего, впрочемъ, на театръ во всемъ свътъ не бываетъ: ибо комедія дълается для исправленія нравовъ въ цёломъ обществі, а не для убіенія чести въ нікоторомъ человікі... При представленіи ея въ немалое пришель я удивленіе, слыша нъкоторые ръчи въ ней, о которыхъ я такъ разсуждалъ, хотя впрочемъ и не по охотъ,... что или авторъ имъетъ пытливый духъ, или толь его піитическій жаръ, называемый энтузіазмомъ, есть силенъ, что онъ можетъ все то знать, въ чемъ ему нътъ и нужды"... Другъ разсказываеть потомъ, что Тредьяковскій хотёль молчать и терпъть, по словамъ евангельскимъ, до конца: "Послъ сихъ его словъ оба мы замолчали; онъ не знаю какъ печальнымъ и смущеннымъ видомъ на меня смотрелъ; а я разсуждаль о семь его намфреніи, что онь себя ни самъ оборонять не хотель, ни требовать себе отъ другихъ защиты ...

Сумароковъ написалъ на Тредьяковскаго анти-критику, проникнутую сознаніемъ собственнаго превосходства надъ противникомъ и чрезвычайнымъ самохвальствомъ, которымъ, впрочемъ, отличались всѣ тогдашнія наши знаменитости. Между прочимъ, Сумароковъ тамъ говоритъ: "Меня онъ (Тредьяковскій) всъхъ пуще не любить за нѣкоторые въ одной моей эпистолѣ стихи и за комедію, которые онъ береть на свой счеть. Пускай его беретъ, а я въ томъ, что не къ нему то сдълано, клясться причины не имбю. Я то писаль такъ, какъ вездъ писать позволено, хотя бы то и о немъ было; однако, я не говорю, что то о немъ писалъ: можетъ быть и о немъ, а можетъзбыть и не о немъ... Жестоко озлобясь и браня меня, говорить онъ, что Трессотиніусь мой изъ Гольберга. Какимъ же образомъ подъ именемъ Трессотиніуса находить онъ себя, если сія комедія взята изъ Гольберга? Или онъ думаетъ, что у нихъ такой же русской незнающій педанть быль, какой подъ именемь Трессотиніуса у меня представленъ?"

Личные счеты раздраженных самолюбій первыхъ нашихъ писателей проявлялись съ неменьшимъ ожесточеніемъ и въ тѣхъ оффиціальныхъ критическихъ статьяхъ и разборахъ, которые составлялись ими по порученію Академіи Наукъ. Слѣды этихъ взаимныхъ пререканій остались на память потомству въ протоколахъ засѣданій Академіи, составлявшихся, по обычаю того времени, на ученой "кухонной" латыни. Такъ, въ протоколѣ 12 іюля 1755 г. записано рѣшеніе напечатать въ "Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ" представленную Сумароковымъ эпистолу, въ которой онъ опровергаетъ разсужденіе Тредьяковскаго о древнемъ, среднемъ и новомъ стихосложеніи россійскомъ, — по поводу неправильныхъ объясненій тамъ нѣкоторыхъ стиховъ. Тогда же было предоставлено на волю Тредьяковскому сообщить свой отвѣтъ. 19 іюля

Тредьяковскій прочиталь въ академическомъ засѣданіи возраженіе свое противъ Сумарокова, но послѣ того состоялось опредѣленіе: для прекращенія дальнѣйшихъ распрей, запретить и эпистолу, и отвѣть на нее. Это распоряженіе, однако, не помѣшало Сумарокову помѣстить въ августовской книжкѣ "Ежемѣсячныхъ Сочиненій" свою эпистолу съ выходками противъ дурныхъриемоплетовъ и, кромѣ того, — "Сонеть, нарочно сочиненный дурнымъ складомъ для показанія, что если мысль и изрядна, стихи порядочны, риемы богаты, однако при неискусномъ, грубомъ и принужденномъ сложеніи все то сочинителю никакого плода, кромѣ посмѣшества, не принесетъ".

Кромѣ стихотворныхъ эпиграммъ и сатиръ, литературные враги писали еще тугъ другу письма критическаго и полемическаго содержанія, предназначавшіяся для печати. Такъ, Сумароковъ сочинилъ письмо, въ которомъ доказывалъ неправильность сафической и гораціанской строфъ Тредьяковскаго, а этотъ отвѣчалъ длинною статьею, также въ формѣ письма. Здѣсь сначала доказывается правильность его строфъ, а затѣмъ слѣдуетъ порицаніе стиховъ Сумарокова, помѣщенныхъ въ "Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ". Особенно характерно заключеніе письма Тредьяковскаго:

"Но не полно-ль, Государь Мой, вамъ безъ причинъ на меня нападать? Я усталъ, отражая ваши обвиненія. Болье поистинь не хочу; и сіе письмо есть посльдній мой вамъ отвьть, въ чемъ по христіанству и по честности клянусь, что хотя вы ни будете по семъ на меня взводить и чьмъ и какъ ни станете впредь язвить. Я уже въ льтахъ, и не болье пекусь о красномъ разумъ, сколь о добромъ нъсколько житіи. Я то хочу позабывать, что вы нынъ столь благоуспъшно знаете. Върьте, я васъ отъ всего сердца признаваю, — понеже вамъ, какъ видно, того только и желается, — первенствующимъ нашимъ Вольтеромъ, хотя и не ругаюсь по знающимъ

въ томъ силу. Позабудьте, прошу, меня; оставьте человъка, возлюбившаго уединение, тишину и спокойствие своего духа. Дайте мнв препровождать безмятежно остаточные мои дни въ нѣкоторую пользу общества по званію моему и по діламъ, положеннымъ на меня отъ главныхъ моихъ. Попустите мнв несмущенно размышлять иногда и о совъсти моей: настаетъ время и мнъ туда явиться, куда должно всёмъ человекамъ. Тамъ не спросять меня, зналь ли я хорошую силу въ сафической и гораціанской строфахъ, но быль ли добродётельный христіанинъ. Сжальтесь обо мнъ, умилитесь надо мною, извергните изъ мыслей меня. Еслибъ я не опасался, что вы меня назовете малодушнымъ, то бъ вамъ донесъ; но даромъ, позвольте донесть: я сіе самое вамъ пишу истинно не безъ плачущія горести. Отчего я вамъ кажусь толь негоднымъ, чтобъ мнв отъ васъ, Государь Мой, претерпъвать незаслуженныя обиды? Паки и паки прошу, — оставьте меня отнынь въ поков. Впрочемъ, будь по волѣ вашей..."

Искренность этого смиреннаго обращенія Тредьяковскаго къ своему литературному антагонисту едва ли можно заподозръть; но оскорбленный стихотворецъ не въ силахъ былъ долгое время выдерживать этотъ кроткій тонъ и вскоръ опять возобновилъ свои литературныя схватки, прибавивъ къ прежнимъ полемическимъ пріемамъ новые, — уже совсьмъ не литературные. Въ академическомъ протоколъ 4 октября 1755 г. Миллеръ занесъ, что за разногласіемъ академиковъ представлены были на усмотръніе президента Академіи стихи Сумарокова и басня Тредьяковскаго; первые графъ Разумовскій вельль напечатать въ "Ежемъсячныхъ Сочиненіяхъ"; о басиъ же Тредьяковскаго ни запрещенія, ни разрѣшенія отъ графа не последовало, а такъ какъ въ ней есть жестокія выходки противъ русскихъ поэтовъ, которые, по малочисленности своей, всв могли счесть это себв за оскорбленіе, то и признано за лучшее не пропускать басню

въ печать. При подписаніи протокола этого засѣданія Тредьяковскій протестоваль, утверждая, что никакого разногласія между академиками не было и что Миллеръ не пропускаеть басни самовольно, а онъ, Тредьяковскій, не признаеть его власти надъ собою.

Послѣ такого протеста Тредьяковскій, раздраженный и осмѣянный, придумаль другой способъ къ отмщенію: онъ ръшился подать на Сумарокова доносъ въ Синодъ. "Читая сентябрьскую книжку "Ежем всячныхъ Сочиненій сего 1755 года, нашель я, именованный — писаль онь въ этой "критической стать в "-, оды духовныя, сочиненныя г. полковникомъ Александромъ Петровымъ сыномъ Сумароковымъ, между которыми и оду, надписанную "Изъ псалма 106"; а въ ней увидълъ, что она съ осьмыя строфы по первую на десять включительно говорить отъ себя, а не изъ псаломщика, о безконечности вселенныя и действительномъ множестве міровъ, а не о возможномъ по всемогуществу Божію. И понеже Ежемъсячныя книжки обращаются многихъ читателей руками, изъ которыхъ иные могутъ и въ соблазнъ придти, — того ради, по ревности и въръ моей истинному слову Божію, въ Священномъ Писаніи въщающему, о такой помянутыя оды лжи на псаломщика покорнъйше донося, извѣщаю"...

Извътъ остался безъ послъдствій; но Сумароковъ узналъ о немъ и настоятельно просилъ Академію не позволять Тредьяковскому критиковать его сочиненія.

Эта литературная война не ограничилась взаимными пререканіями и доносомъ; около того же времени къ Ломоносову подкинуто было "подметное письмо", заключавшее въ себъ, "подъ видомъ критики на нъкоторыя сочиненія, жалобы великія на г. Академіи президента, злодъйскія ругательства на совътника Теплова, полковника Сумарокова, профессора Миллера и на всъхъ чужестранныхъ, въ Академіи служащихъ, злобную клевету". Тепловъ, въ сочиненной имъ по этому поводу

особой запискъ, представилъ доказательства, что авторомъ подметнаго письма быль не кто иной, какъ Тредьяковскій. "Въ многоръчіи своемъ", —писалъ онъ между прочимъ, — "онъ столь особливъ, что едва ли можно въ родь человьческомь быть другому Тредьяковскому. Школьныя фигуры риторическія онъ употребляеть во всёхъ своихъ сочиненіяхъ и не кстати, и почти безпрерывно, которыми и сію песу начиниль. Эпитеты его обыкновенные, репетиція безпрестанная, амплификація—также, за которую уже от многих бить не единожды; плеоназмы всв ть, которые обыкновенно мы слышимъ въ его ръчахъ и читаемъ во всъхъ его сочиненіяхъ... Аргументаціи коварныя и софистическія тъ же самыя въ сей піесъ, которыя и во многихъ другихъ изданныхъ Тредьяковскимъ, а особливо-когда онъ хочеть навести коварно изъ простой ръчи зло или церковное, или гражданское, къ чему онъ во многихъ предисловіяхъ, челобитныхъ, протестахъ и извътахъ склонность свою оказалъ... Самолюбіе его столь видимо въ сей піесъ, что хотя и опасался, дабы не подпасть какому пороку за сей пасквиль, однакожь не могь себя преодольть, чтобъ не предпочесть своихъ стиховъ другимъ. Всв тв мъста, въ которыхъ онъ научить хотълъ чистому стихосложенію, просвъщаеть въ сей піесъ своими собственными стихами, думая, что тоть, на котораго пасквиль изблеваль, не найдеть въ его печатныхъ или писанныхъ піесахъ оригинала... Что бы за нужда была брать его сложенія стихи въ образецъ, когда по сіе время, кромъ его самого, еще никто въ образецъ для показанія красоты стихотворческой ихъ не принималъ? По сіе время всть русские стихотворцы персонально нама выдомы. Ни единаго изъ нихъ нётъ, у котораго бы таковымъ густымъ изо всёхъ школьныхъ наукъ числомъ набита была голова, какъ у Тредьяковскаго... На всякаго сочинителя толкъ безбожія наводить изъ маловажныхъ словъ... Въ таковой силъ на г. полковника Сумарокова писалъ критику и подалъ въ

Синодъ доношеніе, а въ Академію извѣтъ... А напослѣ-

За этой письменной критикой следовала и устная: "Г. Тепловь", — разсказываеть Тредьяковскій, — "призваннаго меня въ домъ Его Графскаго Сіятельства *), не обличивъ и не доказавъ ничемъ, ругалъ какъ хотель... и грозилъ шпагою заколоть. Тщетная моя была тогда словесная жалоба; и какъ я на другой день принесъ письменное прошеніе Его Графскому Сіятельству, то одинъ изъ лакеевъ, увидевъ меня въ прихожей, сказалъ мне, что меня пускать въ камеры не велено. А понеже я съ природы не имею нахальства, смею похвалиться, то, услышавъ такое запрещеніе отъ лакея, тотчасъ вонъ побежаль, чтобъ скоре уйти домой и съ собой унесть свой стыдъ, а о прошеніи уже моемъ, хотя и законномъ, позабыль и помышлять..."

Можеть быть, мы долее, чемь следовало бы, остановились на этихъ печальныхъ воспоминаніяхъ изъ ранняго дътства нашей литературы; но приведенные факты кажутся намъ очень характерными для сужденія о понятіяхъ и взаимныхъ отношеніяхъ нашихъ первыхъ писателей и, безъ сомнънія, многое объясняють... **). Что касается собственно литературныхъ взглядовъ Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковскаго, то взгляды эти всецёло опредёлялись господствовавшею въ ту пору во всёхъ европейскихъ литературахъ французскою классическою теорією поэзіи, или, върнъе, - стихотворства. Иначе, разумбется, и быть не могло: въ это время не только у насъ, но и въ литературахъ гораздо болъе развитыхънъмецкой, англійской — ученически повторялись школьные уроки французской "теоріи словесности". Типичнымъ для тогдашней нашей критики является, напри-

^{*)} Президента Академіи графа К. Разумовскаго. **) Подробности читатель найдетъ въ исторіи Академіи Наукь Пекарскаго, т. П. С.-Пб., 1873.

мѣръ, слѣдующій отзывъ Тредьяковскаго о трагедіи Сумарокова "Гамлетъ":

"Въ ней, по моему мивнію, не видно ничего предосудительнаго никому доброму; но напротивъ того, кажется она мив довольно изрядною... Здвсь всв, - въ чемъ главнъйшая польза отъ трагедіи, - пороки истреблены, а добродътели торжество, съ великимъ удовольствиемъ сердцу читателеву, себъ получили. Что-жь до существенныхъ свойствъ трагедіи, а именно-до ужаса и жалости,-въ сей не инако они господствують, т. е. съ такимъ же возбужденіемъ пристрастій, какт и въ Софокловой трагедіи, названной Едипъ; но характеръ сея новыя больше сходенъ съ оною французскою, которой имя Поліевктъ. Впрочемъ, какъ въ первой авторовой трагедіи, такъ и въ сей новой, вездъ разсъяна неравность стиля, т. е. индъ весьма по-славенски сверхъ театра, а индъ очень по-илощадному ниже трагедій; также находятся многія грамматическія неисправности... Но я думаю, что во всемъ томъ надлежитъ показать автору нѣкоторое снисходительство для многихъ благородныхъ и нравоучительныхъ разуміній, и притомъ еще христіанскихъ, въ сей трагеліи...".

Инымъ характеромъ, однако, отличается отзывъ того же Тредьяковскаго о двухъ стихотворныхъ эпистолахъ Сумарокова, представленный въ Академію Наукъ:

"...Сколь онъ ни изрядны и ни достойны свъта, однако еще бъ изряднъе и достойнъе того быть могли, ежели-бъ въ нихъ, особливо жь въ первой, меньше было сатиры, а больше бъ она походила на эпистолу. Въ ней толь великое чтется язвительство, что не пороки пишущихъ больше пятнаются, сколько сами писатели, такъ что и звательный падежъ одного употребленъ, и только что не собственное имя, по примъру такъ называемыя древнія Аристофановы комедіи, которая, впрочемъ, въ Авинахъ тогда накръпко запрещена была начальствующими, какъ мы видимъ изъ исторіи. Но можеть быть, что сему моему

мнѣнію воспротивляется привилегія піитическія вольности; однако опасно, чтобъ сія вольность не возросла въ своевольность... Того ради, видя, что онѣ самымъ дѣломъ злостныя сатиры, а именемъ токмо эпистолы, поносительныхъ тѣхъ сочиненій по самой безпристрастной совѣсти аппробовать не могу ".

Такое отношеніе къ эпистоламъ объясняется опятьтаки личными причинами: въ одной изъ этихъ эпистолъ Сумароковъ, говоря о бездарныхъ стихотворцахъ, восхваляетъ Ломоносова и неодобрительно намекаетъ на Тредьяковскаго:

"Онъ (Ломоносовъ) нашихъ странъ Мальгербъ, онъ Пиндару подобенъ,

А ты, Штивеліусь (Тредьяковскій), лишь только врать способень".

Съ своей стороны, Ломоносовъ, удостоенный такого лестнаго сравненія, писаль объ эпистолахъ, что въ "нихъ содержится много игрядныхъ стиховъ, правдивыя правила о стихотворствѣ въ себѣ имѣющихъ; сатирическіе же стихи, которые въ нихъ находятся, ни до чего важнаго не касаются, но только содержать въ себѣ критику нѣ-которыхъ худыхъ писцовъ безъ ихъ наименованія. А понеже таковые стихи, касающіеся до исправленія словесныхъ наукъ, не взирая на такія сатиричества, у всѣхъ политическихъ народовъ позволяются, и въ россійскомъ народѣ сатиры князя Кантемира съ общею аппробаціею приняты, хотя въ нихъ всѣ страсти всякаго чина людей самымъ острымъ сатирическимъ жаломъ проницаются, для того разсуждаю я, что упомянутыя эпистолы по желанію авторову напечатать можно".

Приведенные отзывы относятся къ области оффиціальной критики: они составлены академиками, которымъ поручалось "свидътельствовать" сочиненія, предназначавшіяся для печати—обыкновенно, въ "Ежемъсячныхъ Сочиненіяхъ", — этомъ первомъ нашемъ литературномъжурналъ, выходившемъ подъ редакціей академика Миллера

и подъ оффиціальнымъ контролемъ Академіи. Въ "Еж. Соч. " иногда помъщались, подъ общимъ заглавіемъ: "Извъстія о ученыхъ дълахъ", коротенькіе отзывы о новыхъ книгахъ, отличавшіеся, впрочемъ, совершенною безцевтностью и незначительностью, такъ какъ редакція строго держалась правила никого не обижать своею критикою и предупреждала читателей, что "для сохраненія благопристойности и для отвращенія противныхъ слёдствій вноситься не будуть никакіе явные споры или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ниже что иное съ обидой написанное противъ кого бы то ни было". Гораздо охотнъе печатались въ этомъ журналъ переводныя и совершенно безобидныя статьи теоретическаго содержанія, какъ, напр., "Авторъ" И. П. Елагина или "Разсужденіе" неизвъстнаго автора о началъ стихотворства. Въ такихъ статейкахъ сообщались самыя элементарныя и подчасъ очень наивныя свёдёнія о "піитическомъ искусствъ", съ прибавкою неизбъжныхъ по тому времени нравоученій *).

Воззрѣнія того времени собственно на критику опредѣлялись тѣми сужденіями объ этомъ предметѣ, какія можно было вычитать въ журналахъ французскихъ или англійскихъ,—особенно въ извѣстномъ аддисоновскомъ "Зрителѣ" (Specṭator), который долго служилъ для нашей журналистики однимъ изъ главныхъ источниковъ идей и остроумія, не смотря на то, что со времени его появленія прошло уже добрыхъ полвѣка. Болѣе новыя и болѣе серьезныя произведенія западно-европейской литературной критики или вовсе до насъ не доходили, или доходили очень поздно, въ жалкихъ, искаженныхъ невѣжественными переводчиками обрывкахъ. Знаменитыя "Литературныя Письма" Лессинга, появившіяся въ 1759 г., и его

^{*)} См. В. А. Милютина, въ Современникъ 1851 г. тт. XXV и XXVI "Очерки русской журналистики" и Пекарскаю, въ "Прилож. къ XII т. Записокъ Имп. Ак. Наукъ" № 6, 1867 г.: "Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналъ 1755—1764 г.".

"Гамбургская Драматургія" (1768—69 гг.) стали у насъ несколько извёстны лишь въ концё столетія и почти не имели заметнаговліянія на развитіе литературнаго вкуса и здравыхъ понятій о критике. Поэтому неудивительно, что въ нашей журналистике долго держалось совершенно младенческое представленіе о критике, какъ о чемъ-то позорномъ для подвергающагося ей писателя, и самое слово "критика" чаще всего употреблялось какъ синонимъ "брани". "Опасно быть въ те времена писателемъ", — говорилъ Ломоносовъ, — "когда больше критиковъ, чемъ сочинителей, больше ругательства, чемъ доказательствъ". И разыгравшаяся на заре нашей литературы полемика, не отделявшая критики отъ грубой брани, пасквиля и даже доноса, подтверждаетъ этотъ безотрадный взглядъ.

Въ № 592 "Зрителя" 1714 г. находимъ, между прочимъ, слѣдующія строки, выясняющія воззрѣнія этого руководящаго для нашей журналистики XVIII вѣка́ изданія на современную критику:

"Я весьма уважаю истинныхъ критиковъ, подобныхъ Аристотелю и Лонгину у грековъ, Горацію и Квинтиліану—у римлянъ, Буало и Дасье—у французовъ. Но, къ несчастью, у насъ тв немногія лица, которыя выдають себя за профессіональныхъ критиковъ, такъ тупоумны, что не въ состояніи связать даже десятка словъ съ изяществомъ или хоть бы просто съ здравымъ смысломъ, и при этомъ до такой степени необразованы, что не имъють понятія о древнихъ языкахъ и судять о древнихъ писателяхъ изъ вторыхъ рукъ, -- по тому, что сказано о нихъ другими. Громкія фразы, произносимыя съ авторитетнымъ видомъ, поддерживаютъ ихъ обаяніе среди необразованныхъ читателей, считающихъ ихъ за людей очень глубокомысленныхъ потому только, что они говорять непонятно. Древніе критики относились къ своимъ современникамъ съ величайшею похвалою: они отыскивали въ ихъ произведеніяхъ такія красоты, которыя ускользали отъ вниманія тодпы, и весьма часто находили

основанія для извиненія тѣхъ немногихъ и неважныхъ ошибокъ и недосмотровъ, которые встрѣчаются даже у наиболѣе знаменитыхъ писателей. Наоборотъ, большинство современныхъ нашихъ критиковъ стараются прежде всего обругать и опозорить всякое новое произведеніе, которое нравится публикѣ, осмѣять его мнимые недостатки и хитро сплетенными доводами доказать, что то, что въ знаменитомъ произведеніи принимается за красоту, есть не болѣе, какъ порокъ. Словомъ, писанія этихъ господъ въ сравненіи съ древними критиками—то же, что сочиненія софистовъ въ сравненіи съ твореніями истинныхъ философовъ.

"Естественными плодами лѣности и невѣжества являются зависть и клевета. Въ языческой миоологіи Момусъ—богъ глупости—считается сыномъ Ночи и Сна; многіе изъ нашихъ сыновъ Момуса, хвастливо именующіе себя критиками, являются достойными потомками этихъ двухъ знаменитыхъ предковъ…"

Подобныя-же сужденія о критик' находимъ и у французскихъ писателей XVIII вѣка, пользовавшихся у насъ особенной авторитетностью, - у Буало, Батте и др. Отъ зависти до критики — одинъ только шагъ" — эта фраза, обратившаяся въ пословицу, часто повторялась во французской и въ нашей литературъ. Батте высказываль, что "духъ критики, желаніе порицать и язвить, есть качество, непохвальное въ гражданинъ". Такимъ образомъ, понятіе о критикъ смъщивалось съ понятіемъ о сатиръ, и источникомъ той и другой считалось злосердечіе, недоброжелательство, даже личная непріязнь. Самое слово "критика" въ нашей литературъ XVIII стольтія употребляется какъ синонимъ сатиры: говорили-, критиковать нравы", "критиковать родню", "критика на лица", а также—"сатира на стихи". Въ одномъ нашемъ журналь 70-хъ годовъ разсказывается даже, какъ гдъ-то въ собраніи одинъ пріятель "покритиковала другого доброю великороссійскою пощечиною—и сія *критика* весь балъкончила".

Понятно, что при такомъ предубъждении противъ критики занятіе этимъ дѣломъ (или, какъ выражались въ XVIII вѣкѣ, "должность" критика) было и неблагодарно, и тяжело. На такое незавидное положеніе жалуется одинъ изъ извѣстныхъ въ то время французскихъ поэтовъ, Gilbert:

"Chacun, vous dénonçant à la haine publique, S'é rie: Fuyez cet homme,—il mord, c'est un critique"!

также, что Ломоносовъ, въ разсужденіи своемъ "О должности журналистовъ", отнесся къ критикъ совершенно отрицательно, и что высказанныя имъ по этому вопросу мысли долгое время были въ нашей литературь, можно сказать, ходячею монетою. "Журналы могли бы много способствовать къ приращенію челов'ьческихъ знаній, "-говорить Ломоносовь, - "если бы издатели ихъ въ состояніи были точно выполнить принятую на себя задачу... Дело дошло до того, что неть столь дурного сочиненія, котораго бы не расхвалиль и не превознесь какой-нибудь журналь, и наобороть, — какъ бы превосходенъ ни былъ трудъ, его непремънно очернитъ и растерзаетъ какой-нибудь ничего не знающій или несправедливый критикъ... Журналистъ сведущій, проницательный, справедливый и скромный сделался чемъ то врод'в феникса. Отдавая такимъ образомъ отчетъ о сочи. неніяхъ ученыхъ, критикъ не только вредитъ ихъ репутаціи, на которую онъ не имбеть никакого права, но и уничтожаеть истину, предлагая читателямъ мысли, не им'тющія съ нею ничего общаго; поэтому естественно противод вйствовать всеми силами столь несправедливымъ проделкамъ. Продолжая такъ поступать съ людьми, которые стараются быть полезными ученому міру, можно лишить ихъ всякой охоты къ труду"... "Журналистъ никогда не долженъ имъть слишкомъ высокаго мнънія о своемъ превосходствъ, авторитетъ и достоинствъ своихъ

сужденій. Выполняемое имъ дѣло уже само по себѣ непріятно для самолюбія тѣхъ, кого онъ затрогиваетъ; было бы съ его стороны очень неблагоразумно оскорблять ихъ намѣренно".

Грамматическій и элементарно-теоретическій характерь, приданный нашей критик в ея первыми представителями, сохранялся ею впродолжение всего XVIII стольтія. Вообще, этотъ періодъ нашей литературы, -- неріодъ самой робкой подражательности, — быль неблагопріятень для развитія сколько-нибудь самостоятельныхъ критическихъ сужденій; притомъ же, критика была заподозрѣна и по существу, какъ дело неблагонамеренное, чему способствоваль, конечно, и резкій, грубо-неприличный тонъ, иногда прорывавшійся въ полемикъ. Новые наши журналы 60-хъ, 70-хъ и 80-хъ годовъ XVIII стольтія, начиная свою деятельность, считали первымъ долгомъ предупреждать читателей, что они будуть старательно избътать всякихъ осужденій и порицаній въ отзывахъ своихъ о текущей литературѣ; и въ самомъ дѣлѣ, отзывы эти, въ огромномъ большинствъ случаевъ, имъютъ ръшительно хвалебный характерь, устанавливая въ глазахъ мало свъдущей публики преувеличенныя репутаціи россійскихъ Гомеровъ, Вольтеровъ, Пиндаровъ и Гораціевъ. "О друзья мои, писатели!" — говорится, напримфръ, въ предисловіи къ журналу "Вечера" (1772): "Ежели кто изъ насъ пишеть худо, то вы еще хуже делаете, злословя сочинение и сочинителя; напишите лучше — и вотъ ему отмщеніе; прощайте погрѣшности, ибо сами погръшностямъ подвержены; истребляйте ядъ изъ сердецъ вашихъ и любите похвальное намфреніе распространять письмена въ нашемъ отечествъ; почитайте дарованія, отъ природы вамъ даваемыя; исправляйте безъ смъха и ругательства, и ежели вы хотите быть почтены,--почитайте тъхъ, которые въ равныхъ вамъ упражненіяхъ обращаются". Темъ же правиломъ руководился Новиковъ въ своемъ знаменитомъ "Историческоми Словири о Россійских Писателяхъ", прося въ предисловіи позволить ему "вольность благодарной критики" и объщая соблюдать "великую умфренность и сохраненіе предъловь благопристойности и благообразія". Какъ извъстно, отзывы Словаря отличаются крайне хвалебнымъ характеромъ, вызвавшимъ въ свое время даже эпиграммы.

Другое изданіе Новикова, им'ввшее главною своею цілью сообщать свідінія о выдающихся новостяхь литературы, — "С.-Петербургскія Ученыя Відомости", — также очень недалеко ушло отъ Словаря.

Рядъ довольно дёльныхъ, хотя и краткихъ, замёчаній о новыхъ книгахъ находимъ въ "Спб. Въстникъ" 1778— 81 гг., издателемъ котораго быль некій Брайко. Отказываясь отъ критики въ настоящемъ смыслѣ этого слова и заявляя, что "не будеть поставлять себя ръшительными судьями писателей, ниже дерзновенными наставниками почтеннаго общества", редакція ставила себ'в гораздо болъе скромную задачу — "сохранение россійскихъ кармановъ отъ покупки дурныхъ книгъ — дабы обманчивыми титулами не прельщались". При особенномъ изобиліи появлявшихся въ то время переводовъ, весьма важны были указанія на ихъ недостатки, — а этихъ недостатковъ было очень много, и они бывали очень курьезны и даже печальны, иногда совершенно извращая смыслъ произведенія, переводимаго доморощеннымъ знатокомъ языка. Внутреннимъ основаніемъ для критики журналъ принималъ нравственное чувство: если произведеніе удовлетворяло изв'єстнымъ нравственнымъ требовапіямъ, то его рекомендовали, не смотря на его аляповатость, --- совсёмъ такъ, какъ герой извёстной крыловской басни хвалилъ своихъ пъвцовъ за прекрасное поведение. Особенное значение придавалось романамъ, потому что они "вводять въ глубь человъческого сердца, поселяютъ уваженіе къ добродѣтели и отвращеніе къ пороку"; кромъ того, романы пріохочивають къ чтенію, хотя въ то же время отрывають читателя оть действительности и

пріучають къ мечтательности. Театръ также должень служить нравственной цёли — исправленія общества, а не тому, чтобы производить скуку, тоску и отвращеніе.

Вообще, по господствовавшимъ въ нашей литературъ XVIII стольтія взглядамъ, "изящныя письмена" должны были имъть въ виду прежде всего нравоучительную цъль, — внушать любовь къ добродътели и отвращение къ пороку. Эта мысль, постоянно повторявшаяся во всѣхъ европейскихъ литературахъ того времени и вошедшая, такъ сказать, въ пословицу особенно подъ вліяніемъ Дидро, проходить черезъ всю нашу литературуотъ Сумарокова и Тредьяковскаго до Карамзина и Крылова; всв писатели, въ большей или меньшей степени, ставять своею задачею "исправление правовь". При той патріархальной дикости, примеры которой нередки были тогда даже и въ литературныхъ отношеніяхъ, эта задача далеко не была излишнею или наивною. Сознание ея важности вызвало цёлый рядъ сатирическихъ журналовъ, комедій и другихъ произведеній наиболье живого и жизненнаго отдела нашей литературы — обличительнаго.

Съ вопросомъ объ исправленіи нравовъ тёсно связывался другой очень важный вопрось — объ отношеніи литературы къ національной жизни. Въ пору самаго полнаго господства подражательности уже начинаетъ понемногу проявляться сознаніе, что тё иностранные — преимущественно французскіе — образцы, которыми болёе всего руководилась наша литература, не соотв'єтствуютъ требованіямъ русской жизни. Уже первый изънашихъ сатирическихъ журналовъ—екатерининская "Всякая Всячина" — зам'єчаетъ, что "не въ одн'єхъ книгахъ должно держаться сего правила, чтобъ русскимъ представлять русскія умоначертанія, но и въ позорищахъ. Ибо маркизъ на русскомъ театр'є уши деретъ, а ко свадебному контракту тетушка моя смысла не привязываетъ". Съ особенною силою и выразительностью національное на-

правленіе проявилось не въ сатирическихъ журналахъ, въ которыхъ, за немногими исключеніями, обличительныя картины русской жизни часто заимствовались изъ сочиненій Рабенера, Гольберга или изъ "Англинскаго Смотрителя" (Spectator), а именно въ драматической литературъ, --- въ комедіяхъ императрицы Екатерины, Фонвизина и особенно Лукина, который въ предисловіяхъ къ своимъ пьесамъ съ настойчивою нослёдовательностью проводилъ мысль о необходимости оставить подражанія и перейти къ изображенію своей, русской жизни. Для того, чтобы примънить свою теорію на практикъ, Лукинъ выступилъ на сценъ какъ авторъ комедій или оригинальныхъ, или передъланныхъ на русскіе нравы съ иностранныхъ образцовъ. "Мнъ всегда несвойственно казалось", говорить онъ,--слышать чужестранныя реченія въ такихъ сочиненіяхъ. которыя долженствують изображеніемь нашихъ нравовъ поправлять не только общіе всего свъта, но болье частные нашего народа пороки, и неоднократно слышаль. я отъ нъкоторыхъ зрителей, что не только ихъ разсудку, но и слуху противно бываеть, ежели лица, хотя поскольку на наши нравы походящія, называются въ представленіи Клитандрами, Дорантами, Клодиною, и говорять ръчи, не наши поведенія знаменующія".

Являясь, такимъ образомъ, въ тогдашней подражательной литературъ проповъдникомъ народности, Лукинъ требовалъ отъ комедіи русскаго содержанія и высказывалъ надежду, что "народный театръ можетъ произвесть у насъ не только зрителей, но современемъ и писцовъ (т. е. писателей), которые сперва хотя и неудачны будутъ, но впослъдствіи исправятся... Сіе для народа упражненіе весьма полезно и потому великія похвалы достойно".

Лукинъ не имѣлъ литературнаго таланта, и потому его комедіи не пользовались успѣхомъ на сценѣ; современники — въ особенности сатирическіе журналы — не сумѣли оцѣнить по достоинству его оригинальныя стремленія и видѣли въ его произведеніяхъ один только не-

достатки, за которые жестоко издъвались надъ нимъ. Всего больше доставалось ему за то, что онъ не хвалитъ "славныхъ русскихъ сочинителей", — и даже самого "Россійскаго Вольтера" Сумарокова, — за его крайне неправильный языкъ. Мало по малу, однако, литература пришла къ сознанію необходимости и плодотворности народнаго содержанія, и произведенія другихъ писателей, болѣе Лукина талантливыхъ, положили прочную основу развитію въ ней національнаго элемента. Но это сдѣлалось какъ-то само собой, силою вещей, не только безъ участія тогдашней нашей критики, но даже вопреки ея указаніямъ...

Въ 90-хъ годахъ, главнымъ образомъ – благодаря Карамзину, первому нашему литератору по профессіи и одному изъ первыхъ русскихъ образованныхъ людей, сколько-нибудь основательно знакомыхъ съ нъмецкой литературой, —замъчается въ нашей критикъ повороть отъ исключительнаго пользованія французскими образцами къ образцамъ нъмецкимъ, которые, впрочемъ, по существу не представляли особенной новости, такъ какъ въ нѣмецкой литературъ того времени, не смотря на разрушительную діятельность Лессинга, французскій классицизмъ все еще быль въ большомъ почеть. Въ началь своей литературной дъятельности Карамзинъ явился горячимъ сторонникомъ серьезной критической одънки художественныхъ произведеній и въ предисловіи къ "Московскому Журналу" объщаль читателямь особый критическій отдёль. "Неужели вы хотите, чтобы совсемь не было критики?" спрашиваеть онь въ одной изъсвоихъ статей. "Что была пъмецкая литература за тридцать льтъ передъ симъ и что она теперь? И не строгая ли критика произвела отчасти то, что немцы начали такъ хорошо писать?" Указывая на Лессинга и Мендельсона, Карамзинъ старался отстоять необходимость критики; но старанія эти не отв'ячали понятіямъ большинства нашихъ тогдашнихъ писателей и въ самомъ же "Московскомъ Журналъ" вызвали ожесточенное возражение со стороны одного изъ обиженныхъ строгою рецензіею переводчиковъ. "Частныхъ людей сужденія, въ газетахъ, журналахъ и пр. сообщаемыя ", писаль этоть критикь, "никогда от людей умныхз уважаемы не были; извъстно, что они за подарки истощевають хвалы, по пристрастію, самолюбію, личной ссоръ или зависти выискивають всъ способы унизить труды чуждые... Ученые, не для самолюбія, но для пользы наукъ трудящіеся, чтуть сотрудниковь товарищами и стараются ихъ погрѣшности исправлять или сообщеніемъ своихъ примъчаній въ письмахъ, или въ сочиненіяхъ печатныхъ, о которыхъ они увърены, что будуть въ рукахъ того, чьего они желають исправленія или съ къмъ въ недоумъніяхъ объясниться хотять, и все сіе дълають съ наблюденіемъ учтивости... ". Другой литераторъ того времени высказываль мнвніе, что критическія статьи "по правиламо чести должны быть сообщаемы писателямъ прежде изданія въ свёть ихъ сочиненій, а не тогда уже, когда правительство терпить ихъ печатаніе".

Очевидно, Карамзинъ не считалъ себя настолько сильнымъ, чтобы идти въ разрѣзъ съ подобными мнѣніями большинства: критическій отдёль "Московскаго Журнала" быль очень необширень и не отличался какими-нибудь выдающимися статьями; а въ "Въстникъ Европы", основанномъ въ 1802 г., Карамзинъ уже и совсемъ отказался отъ намфренія давать отзывы о литературныхъ новостяхъ. Въ статъ в этого журнала — "О книжной торговл и любви къ чтенію въ Россіи" говорится, что при ограниченномъ числъ всъхъ выходящихъ въ Россіи книгъ и плохая книга не заслуживаеть осужденія, потому что она составляеть лишь ничтожное эло; у насъ нужно поощрять литературную деятельность, а не запугивать писателей жесткими приговорами. "Кто плъняется Никаноромъ, злосчастнымъ дворяниномо, тотъ на лестнице умственнаго и моральнаго образованія стоить еще ниже его автора и хорошо ділаеть, что читаеть сей романт, ибо, безъ всякаго сомнинія,

чему-нибудь научится или въ мысляхъ, или въ ихъ выраженіи. Какъ скоро между авторомъ и читателемъ великое разстояніе, то первый не можеть сильно действовать на последняго, какъ бы онъ уменъ ни былъ. Надобно всякому что-нибудь поближе: одному Ж. Ж. Руссо, другому-Никанора. Какъ вкусъ физическій ув'єдомляеть о согласіи пищи съ нашею потребностью, такъ вкусъ моральный открываеть человъку аналогію предмета съ его душою...". Въ другой стать в того же журнала Карамзинъ уже прямо не признаетъ критику за насущную потребность литературы. "Хорошая критики есть роскошь литературы", -- говорить онъ: "она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему мивнію, нежели оцінивать его... Другой журналь того же времени — "Московскія Ученыя Віздомости" — также прямо исключиль критику изъ своей программы. — "ибо рецензіи нер'єдко превращаются въ продолжительныя разсужденія, въ которыхъ рецензенть своею критикою поучаеть и забавляеть более себя, нежели публику, не имъющую ни времени, ни терпънія читать пустыя умозрѣнія его". — "Пусть другіе хвалять критику, говориль третій журналь, а по нашему критика есть дъло весьма непріятное; мы сами не разъ жалъли, что принялись за сей журналь". Эти цитаты можно было бы еще значительно увеличить.

Съ другой стороны, въ нашей журналистикъ начала XIX-го стольтія иногда слышались голоса и въ пользу серьезной критики; такъ, напр., неизвъстный авторъ письма къ издателю журнала "Московскій Зритель" 1806 г. говорить: "Я желаю, чтобы критика непремънно была въ журналъ вашемъ; старайтесь только быть истиннымъ критикомъ, —будьте судьею безпристрастнымъ. Доказывайте, ибо критика никогда не должна хвалить или хулить ръшительно, не сказавъ, почему хорошо или дурно". Въ "Съверномъ Въстникъ" 1805 г., редакція жаловалась, что "мы въ словесныхъ разсужденіяхъ своихъ наблюдаемъ

неумъстную умъренность. Таковое снисхождение послужить только къ большей порчъ множества людей, которые, будучи удерживаемы строгостью здравой и просвъщенной критики, занялись бы полезнъйшими упражненіями. Мы им въ которой разсуждается о сочинителяхъ нашихъ: она называется "Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ", изданная Новиковымъ въ 1772 г. Во всю мою жизнь я не читываль смытье сей книги ... Въ томъ же журналь, письмъ къ издателю, спрашивають, отчего печатается такъ мало критическихъ рецензій, и высказывается мньніе, что критика способствуеть развитію вкуса, литературнаго умьнія, говорится о той важной роли, какую она играеть во Франціи и въ Германіи, и перечисляются нъкоторыя важныя сочиненія, которыхъ не коснулась паша критика, между тъмъ, какъ ими интересуются даже иностранные газеты и журналы. Но, вообще, такихъ благопріятныхъ для критики отзывовъ было еще очень немного.

При такой боязни и отсутствіи самостоятельнаго развитія литературныхъ взглядовъ, понятно, что взгляды эти были не болье, какъ отражениемъ теорій, господствовавшихъ въ XVIII-омъ стольтіи въ западно-европейскихъ литературахъ, а при общей нашей тогдашней запоздалости, когда мы сплошь и рядомъ подбирали изъ Европы то, что тамъ уже выбрасывалось вонъ за негодностью, это отражение чаще всего бывало и устарълымъ, и искаженнымъ. Основными руководствами въ сужденіяхъ нашихъ писателей XVIII-аго и начала XIX-го въка о литературъ служили: извъстная дидактическая поэма Вуало—"Art poétique" (1672), переведенная у насъ еще Тредьяковскимъ, и сочинение аббата *Батте*— "Les beaux arts réduits à un même principe" (1746). Въ началъ XIX-го стольтія къ этимъ двумъ именамъ, пользовавшимся у насъ безусловнымъ авторитетомъ, прибавилось еще имя Лагарпа, котораго лекціи, подъ заглавіемъ:

"Лицей или курсъ литературы", были переведены въ 1810—16 гг. Какъ извъстно, эти писатели были прежде всего строгими систематиками и отъ поэтическаго про-изведенія прежде всего требовали соблюденія разработанныхъ ими до послъднихъ мелочей "правилъ стихотворства". Въ 1802 г. у насъ является особый журналъ, поставившій себъ почти исключительною цълью изложеніе теорій этихъ законодателей французской словесности, — подъ вычурнымъ заглавіемъ: "Корифей или Ключъ Литтературы". О характеръ и понятіяхъ этого своеобразнаго журнала можно судить по слъдующимъ примърамъ.

"Слово Литтература будеть на русскомъ не столько словесность, сколько любословіе, наука пасьмень, или ближе къ переводу, если позволять сказать, письменность: наука, которая посредствомъ литтеръ, т. е. буквъ или письмень, изображаетъ заимственные (sic!) предметы изъ природы усовершенствованной, вкуса, воображенія... Образцы во всѣхъ родахъ словесности предшествовали правиламъ: Жени (!) разсматривалъ природу и, стараясь потрафить подлинникъ, украсилъ списокъ. Примѣчательные умы разсматривали жени со всѣхъ сторонъ и раскрыли чрезъ анализъ тайны его чудесъ. Увидя, что уже сдѣлано было, они пересказали другимъ, что надлежало дѣлатъ; такимъ образомъ, стихотворство и краснорѣчіе предупредили піитику и риторику".

Читая такія разсужденія, думается, что не совсѣмъ неправъ былъ Карамзинъ въ своемъ рѣзкомъ отзывѣ объ этомъ журналѣ: "Галиматья подъ именемъ Корифея печатается на счетъ казны" (издатель получилъ субсидію).

Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ, болѣе самостоятельныхъ, статьяхъ "Корифея" встрѣчаются совсѣмъ неглупые и любопытные отзывы о старыхъ нашихъ писателяхъ. Мы позволимъ себѣ привести здѣсь нѣкоторые изъ нихъ, въ виду того, что журналъ этотъ уже давно сдѣлался библіографическою рѣдкостью.

Тредьяковскій. "Потомство худо заплатило ему за неусыпное, образцовое прилежание. Одна Телемахида заглушила всё его достоинства; мы забыли, что онъ самъ быль ученикь Ролленя, первый профессорь нашего краснорѣчія, первый знатокъ древнихъ авторовъ, человѣкъ необыкновеннаго, глубокаго знанія въ наукахъ, человікъ, который едва ли являлся съ тъхъ поръ съ такимъ обширнымъ ученіемъ; забыли мы, что онъ одинъ написалъ болье полезныхъ книгъ, нежели десять его современниковъ, и обезславили память его за одну смълую идею ввести въ россійскій языкъ стихосложеніе греческое. Въ то самое время вводилъ Ломоносовъ германскія стопы и риемы, которыя нимало не превосходнее сами по себь, и имъли только предстателемъ великое лично-особенное дарованіе. Ему надобно было идти противъ воды: упаль подъ бременемъ сего великаго предпріятія, силы языка были еще слабы, необразованы въ толь ранніе годы нашей словесности. Соперникъ его былъ сильнъе, восторжествоваль, —и мы забыли память его! Свидетельствуюсь его безсмертнымъ духомъ, его твореніями, что это неблагодарно. Время отмстить некогда сію обиду, и родятся нікогда щастливійшія дарованія, которыя отважатся по проложенной имъ дорогъ возвыситься до красотъ сказанія Гомерова, ввести величественное теченіе героическаго древняго стиха, такъ свойственнаго природному нашему стихотворству ..

Драматическая литература. "Что касается до трагиковъ русскихъ, — мы не имъли еще такого, котораго бы приняла Европа на свой театръ. Мы еще ученики. Будутъ въки, въ которые какой-либо жени, возбужденный благороднымъ восторгомъ Мельпомены, украситъ театръ россійскій новою славою; будутъ въки, въ которые и у насъ родятся свои Софоклы; но теперь мы должны довольствоваться одною посредственностью. "Темира и Селимъ", также "Демофонтъ" Ломоносова, — высоковыйныя чада Мельпомены, неудовлетворительны и неспособны

для театра: долготы ихъ монологовъ никакая грудь не вынесеть; это больше поэмы, нежели трагедіи; но стихотворство ихъ носить отпечатокъ великаго дарованія. Сумарокова, болье извъстный ученому свъту, первый началь писать трагедіи по правиламь театральнаго искусства и быль, можно сказать основателемь нашего театра; но онъ не Расинъ съверный, какъ прежде думали... Публика часто видить его "Цимитрія Самозванца". Почитають эту трагедію за лучшую; но для меня она слишкомъ скудна не только предъ вымысломъ поэта, но даже предъ самымъ дъйствіемъ исторіи. Если хотъть критиковать, то такой ли ходь, такую ли завязку, такой ли конецъ можно бы вывести изъ сего дійствія страшнаго, могущаго быть великимъ наставленіемъ народу? и если бы окомъ Шекспира взглянуть на сію сцену въ исторіи, -- одною любовью къ Ксеніи занять должно партеръ, и довольно ли для тирана, который ръками проливалъ кровь своихъ подданныхъ, заколоть себя?.. Поистинъ, любовь здъсь не у мъста; и почему Маріанна Сендомирская, которая действовала тираномъ и Россіею, для которой дёлались торжества и встрёчи, какъ тріумфы Помпеевы, которая, наконецъ, можетъ доставить самый разительный характерь для сцены, — даже не упомянута? Представимъ, если бы Сумароковъ изобразилъ злодъя, брошеннаго народомъ на распутіи (сцена, достойная Софокла), котораго скитающаяся твнь являлась устрашеннымъ очамъ москвитянъ, подымала бури и жалостные вошли къ мимоходящимъ, котораго кости, наконецъ, вырыты и сожжены предъ народомъ, трепещущимъ еще при сихъ бездушныхъ остаткахъ тирана, -- то сіе заключеніе конечно бы возбудило больше высокихъ чувствованій, нежели кинжаль, спасающій злод'я!...

"Кияжнинг быль бы хорошимь сочинителемь, если бы не родился онъ только переводчикомъ или, лучше,— списателемь: увъряють, что цълыя тирады изъ Расина, Корнеля и другихъ извъстныхъ авторовъ находять въ его

"Дидонъ", "Титовомъ милосердіи", въ его "Софонизбъ"... Онъ не имълъ никакого изобрътательнаго духа, и въ котурнъ своемъ всегда ходилъ на помочахъ. Стихи его, однакожъ, не сравнительны съ первымъ: во многихъ мъстахъ они превосходны, и еслибъ былъ у насъ какойнибудь бомондъ (sic! т. е. Бъюмонтъ, Веаимопt, англійскій комикъ XVII въка), то Княжнинъ былъ бы нашимъ Флетчеромъ...".

Такимъ образомъ, въ первые годы XIX въка уже замъчается въ нашей литературной критикъ нъкоторый, хотя слабый и еще робкій, прогрессъ: прежнее безусловное преклоненіе предъ авторитетами старыхъ нашихъ писателей уже начинаетъ уступать мъсто критическому отношенію къ ихъ достоинствамъ и указанію на ихъ недостатки. Ссылки на англійскую литературу и признаніе Шекспира великимъ писателемъ, впервые провозглашенное Карамзинымъ, показываютъ, что прежнему нераздъльному господству французскихъ теоретиковъ уже настаетъ конецъ. И въ самомъ дълъ, въ карамзинскія времена все больше и больше начинаетъ чувствоваться въ нашихълитературныхъ понятіяхъ вліяніе нъмецкой критики.

Π.

Критическія статьи, появлявшіяся въ нашихъ журналахъ первой четверти XIX стольтія, проникнуты руководящими идеями французской классической школы; съ другой стороны, въ этихъ статьяхъ отражаются философскоэстетическія воззрѣнія конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Проводникомъ классическихъ воззрѣній была преимущественно Франція, проводникомъ философскихъ идей— Германія.

Продолжительное господство классицизма, объясняемое могучимъ вліяніемъ французской литературы на европейскую мысль вообще, и на русскую—въ особенности, является весьма характернымъ для нашей критики. На-

правленіе это, какъ изв'єстно, им'єло въ основ'є сочувствіе къ древнему міру, но получило своеобразный характеръ вследствіе причинь какъ литературныхъ, такъ и общественныхъ. Исходнымъ пунктомъ эстетической теоріи французскихъ законодателей литературнаго вкуса служили сочиненія преимущественно Аристотеля и Горація, а также-Платона и Цицерона. Характерныя особенности направленія выразились въ разд'вленіи поэзіи на роды и виды, въ возэръніяхъ на сущность и задачи поэтическаго произведенія, въ пріемахъ литературной критики. На первомъ планъ является теорія "подражанія природь", иінпос. Слово это, какъ философскій терминъ, обозначаетъ отношеніе явленія къ его сущности. Такъ, напримъръ, по ученію шинагорейцевь, вселенная управляется числами, и все существующее есть не что иное, какъ иінпос числа. Однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ теоретиковъ древности быль Платонъ. По его ученію, ранве внвшняго міра существовали идеи, которыя затымь облеклись въ матеріальныя формы и такимъ образомъ возникла вселенная; следовательно вселенная есть имилос идей; поэзія же, въ свою очередь, есть μίμησις вселенной. При такомъ взглядь на вещи, поэзія является, конечно, чъмъ-то весьма несовершеннымъ, какъ бы "твнью твни" міровыхъ первообразовъ; нотому Платонъ и смотрълъ на поэтовъ весьма недоброжелательно и даже изгналь ихъ изъ своей республики. По понятіямъ другого первостепеннаго учителя древности — Аристотеля, искусство отчасти подражаеть природь, отчасти же совершенствуеть ее, изображая то, чего сама природа не въ состояніи произвести, — и изъ всёхъ животныхъ подражаеть преимущественно человъку. Такимъ образомъ, величайшій идеалисть древняго міра является противникомъ поэзіи, а величайшій реалисть ея защитникомъ. По ученію Аристотеля, поэзія возникла отъ двухъ причинъ: отъ врожденнаго стремленія человъка къ подражанію и отъ врожденнаго же стремленія къ наслажденію подражаніемъ. Лессингъ справедливо назвалъ великаго Стагирита "Эвклидомъ поэтики", потому что его трактать о поэтическомъ искусствъ дъйствительно изложенъ съ истинно-математическою ясностью, опредъленностью и строгой последовательностью. Аристотель отличался удивительной способностью во всёхъ областяхъ знанія точно различать и определять основныя понятія; передъ его умомъ все являлось въ ясныхъ и рёзкихъ очертаніяхъ, и каждая наука приведена была имъ въ точную систему. Въ своей "Поэтикъ" онъ до такой степени върно и съ такою полнотою указалъ коренное различіе между эпосомъ и драмой, что всв позднайшіе теоретики, въ сущности, только повторяли высказанныя имъ положенія. Но именно эта строгая систематичность и философская энергія сжатыхъ и краткихъ опредёленій Аристотеля и сделались, какъ известно, источникомъ недоразуменій и заблужденій новейшихь его последователей. Изучение Аристотеля давалось не легко, требовало большихъ умственныхъ усилій; имъ дорожили, но больше по наслышкъ; на него чаще ссылались, чъмъ на самомъ дълъ читали его. Новъйшимъ теоретикамъ гораздо больше пришелся по плечу Горадій съ своимъ изв'єстнымъ Посланіемъ къ Пизонамъ о поэтическомъ искусствъ, -- и высказанныя въ этомъ произведении теоретическия возэрънія, въ сущности-очень неглубокія, были приняты за аксіому. Основное требованіе римскаго поэта-единство, порядокъ, соразмърность: необходимо, чтобы всв части поэтическаго произведенія были одинаково отдёланы и составляли одно цёлое; притомъ, части эти должны быть расположены въ извъстной послъдовательности и строго соответствовать одна другой. Цель поэзіи, по ученію Горація, заключается въ томъ, чтобы поучать и нравиться; тайна успъха поэтического произведенія — умъніе соединить пріятное съ полезнымъ:

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

При той безусловной преданности формализму, какою отличалась схоластическая наука, съ ея исключительной

приверженностью къ буквѣ, къ мертвому слову, нѣтъ ничего страннаго въ томъ, что позднѣйшіе теоретики стали выводить изъ Горація самыя нелѣпыя литературныя мелочи, вродѣ, напримѣръ, указанія сочинять второй стихъ прежде перваго, не выпускать произведенія въ свѣтъ раньше девяти мѣсяцевъ со дня его написанія, и т. п. Конечно, Горацій былъ тутъ ни при чемъ, а все дѣло заключалось въ томъ буквализмѣ, который надолго обратилъ, подъ перомъ новыхъ классиковъ, поэзію въ стихотворство, а изслѣдованіе ея законовъ—въ простой учебникъ версификаціи.

Цидеронъ, въ своемъ сочинении "Объ изобрътении", является, какъ и во всъхъ своихъ философскихъ разсужденіяхъ, совершеннымъ эклектикомъ: онъ говорить, что ошибочно было бы держаться какого-нибудь одного образца, а следуеть брать у всехъ писателей то, что у нихъ есть самаго лучшаго, подобно тому, какъ знаменитый Зевксисъ рисовалъ свою Елену — типъ женской красоты съ пяти натурщицъ, выбранныхъ имъ изъ цълой толпы Кротонскихъ красавицъ. Этотъ-то именно разсказъ о художникъ, механически соединившемъ въ одинъ образъ. отдъльныя части красивыхъ женскихъ лицъ, приставивъ, такимъ образомъ, губы одной къ носу другой и подбородку третьей, въ особенности, понравился позднъйшимъ теоретикамъ и былъ ими положенъ въ основу ученія о поэтическомъ творчествъ: подражая природъ, поэтъ долженъ былъ, по ихъ мненю, именно выбирать наилучшія частности и связывать ихъ въ одно целое. Между темъ, и у Цицерона разсказъ о Зевксисъ пришелся только къ слову и вовсе не имълъ въ его глазахъ значенія теорегическаго принципа: въ другомъ своемъ сочинении — "Объ ораторъ - Цицеронъ высказываетъ совершенно иную мысль, а именно, --- что художникъ создаетъ идеалъ, который не списывается съ внёшняго предмета, а является отраженіемъ отвлеченнаго образа, заключеннаго въ душъ

его творца. Но эта мысль Цицерона новоклассической критикой совершенно оставлена была безъ вниманія.

Въ эпоху возрожденія классицизма во Франціи, посл'я совершенно схоластической пінтики Скалигера, во главъ законодателей литературнаго вкуса является Eyano. Въ наше время, когда старинные писатели гораздо больше извъстны по слухамъ, чъмъ по непосредственному внакомству съ ихъ произведеніями, на Буало привыкли смотръть, какъ на теоретика-формалиста, который въ своихъ понятіяхъ и требованіяхъ недалеко ушелъ отъ заурядныхъ учителей схоластической науки стихотворства". Взглядъ этотъ, однако же, совершенно несправедливъ. Буало выступилъ съ своимъ "Art poétique" въ 1672 году, въ пору полнаго расцвъта своихъ умственныхъ и физическихъ силъ, когда онъ пользовался общимъ уваженіемъ какъ писатель и когда его слово имъло большой въсъ. Ему было тогда 38 лътъ. Вопросъ о возможности изложить въ поэтической форм в теорію поэзіи нерѣдко бывалъ предметомъ серьезныхъ бесѣдъ между Буало и его друзьями; нъкоторые въ этой возможности сомнъвались, — и ближайшею цълью Буало было убъдить ихъ въ противномъ.

Попробуемъ перенестись въ то время, — время кипучей литературной дѣятельности, когда геніальныя комедіи Мольера имѣли еще всю прелесть новизны, когда Расинт создаваль свои блестящія трагедіи, Лафонтенъ изумляль своимъ повѣствовательнымъ талантомъ, романъ прокладываль себѣ новые пути и краснорѣчіе достигало классической высоты и изящества. Въ такую оживленную эпоху и въ такой дѣятельной литературной средѣ Буало выстунилъ вожакомъ передовой группы кисателей и захотѣль указать поэзіи путь, который онъ считалъ единственно законнымъ и правильнымъ. Единственнымъ идеально высокимъ образцомъ представлялась ему классическая древность грековъ и римлянъ, въ особенности — художественное творчество древней Эллалы. Та спокойная величавость,

какою отличаются произведенія греческой скульптуры и архитектуры и наряду съ ними—произведенія греческой поэзіи, та прелесть изящной формы, благозвучной рѣчи, словомъ,—та гармонія, какою проникнуты созданія эллинскаго творчества, должна была, по мысли Буало, перенестись въ новый міръ и возродиться въ новой поэзіи. Такъ понималь онъ свою задачу, такъ ставиль онъ ее передъ своими друзьями, — и классическая французская литература, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, послѣдовала данному имъ толчку.

Чтобы связно и послъдовательно изложить свои понятія о поэзіи и, такимъ образомъ, оставить завѣщаніе для будущихъ покольній, Буало написаль "Art poétique", произведение небольшое (всего около 1100 стиховъ), но потребовавшее несколькихъ летъ упорнаго труда. Въ схоластической оболочкъ дидактического стихотворенія здъсь являются передъ нами живыя и здоровыя сужденія человъка, понимавшаго поэзію не только умомъ, но и сердцемъ, - не только какъ науку, но и какъ искусство, какъ плодъ вдохновенія. Образдомъ для него, конечно, служиль Горацій; но Буало вовсе не рабски подражаль ему, а только заимствоваль у него некоторыя идеи. Въ прежнее время Ронсаръ и Тассо также составили своего рода руководства для поэтовъ (но въ прозѣ); но произведеніе Буало им'єть съ ними такъ же мало общаго, какъ и съ поэтикой итальянскаго патера и шахматнаго поэта Джироламо Виды (XVI в.). Въ XVI веке одинъ норманскій дворянинъ, Jean Vauquelin de la Fresnaye, также сочинилъ "Art poétique"; Буало зналъ эту книгу, но не воспользовался ею, потому что Воклэнъ исходилъ изъ совершенно иныхъ принциповъ, высказывался противъ преобладанія въ поэзіи языческаго духа и рекомендоваль поэтамъ обработывать христіанскія темы—изъ библейской исторіи, житій святыхъ и т. п. Такимъ образомъ, о воздъйствіи Воклэна на Буало не можеть быть и ръчи, и мы можемъ сравнивать его произведение только съ однороднымъ трудомъ Горація. У римскаго поэта Буало нашелъ симпатичныя ему возэрвнія и подходящія идеи; но этимъ и ограничивается сходство его поэтики съ гораціевскою, если не считать пяти-шести десятковъ стиховъ, заимствованныхъ французскимъ поэтомъ у своего латинскаго образца. Горацій вовсе не имъль въ виду дать полное изложеніе правиль поэтическаго творчества; его "Ars Poetica" есть не болье, какъ посланіе въ стихахъ, въ которомъ онъ говорить о всевозможныхъ вопросахъ піитики вполнъ непринужденно и не стъсняясь какой-бы то ни было системой, между тъмъ какъ Буало прежде всего ляется именно систематикомъ. Въ самомъ началв онъ даетъ общія наставленія для молодыхъ поэтовъ, предостерегая людей, не обладающихъ рёшительнымъ поэтическимъ талантомъ, чтобы они не вступали на тернистый путь, ведущій на Парнассъ. Человъкъ долженъ строго испытать себя, чтобы не ошибиться въ выборъ жизненной задачи. Въ особенности рекомендуется всъмъ поэтамъ уваженіе къ здравому смыслу. Пыль творческаго одушевленія или лирическій полеть мысли никогда не должны вредить ясности выраженія. Le bon sens—вотъ главное требованіе Буало: "Aimez donc la raison!"-восклицаеть онъ и, ставя эту запов'єдь на первое м'єсто, тімь самымь обличаеть сухую дёловитость своей натуры. Онъ выступаеть сторонникомъ строгаго чувства мъры и предостерегаетъ отъ всякихъ преувеличеній и многословія, въ особенности же совътуеть съ уважениемь относиться къ языку и слогу, допуская ничего низкаго, обыденнаго, пошлаго: Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse!

Surtout qu'en vos écrits la langue révérée

Dans vos plus grands excès vous soit toujours sacrée. То, можно сказать, религіозное уваженіе къ языку, пропов'єдникомъ котораго выступиль, за стол'єтіе передътымь, Joachim du Bellay въ своей Défense et illustration de la langue française и которое поддерживалось Малербомъ и Бальзакомъ, нашло себ'є горячаго адвоката

въ лицѣ Буало. Онъ старался провести въ общее сознаніе то, что прежде было достояніемъ лишь немногихъ литераторовъ, большинствомъ же оставлялось безъ вниманія, именно — идею о языкѣ, какъ о священномъ достояніи, съ которымъ должно обращаться въ высшей степени уважительно и бережливо. Въ этомъ уваженіи къ языку заключалась основа продолжительнаго господства классической поэзіи; исходя изъ этого принципа, Буало даетъ рядъ практическихъ указаній для поэта. Повторяя старыя правила Малерба касательно стихосложенія, онъ особенно настаиваетъ на ясности, безъ которой не можетъ быть хорошаго стиля:

Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement.

Далѣе, Буало рекомендуетъ старательную работу надъ произведеніемъ, постоянную внимательную шлифовку и строгую самокритику. Только невѣжда всегда готовъ восторгаться самимъ собою, и глупецъ всегда отыщетъ еще большаго глупца, который будетъ его хвалить...

Послѣ этихъ общихъ наставленій Буало переходитъ къ краткому обзору и характеристикъ отдъльныхъ родовъ и видовъ поэзіи. Образдами для эпическаго поэта, по его мнънію, должны служить исключительно Гомерь и Виргилій; введеніе миоологическаго элемента необходимо, такъ какъ только при его участій природа получаетъ душу живую. Въ драматической поэвіи образдами служать древніе трагики, въ комедіи — Плавть и Теренцій; теорія трагедіи у Буало основана на Аристотель, причемъ на первый планъ поставлено требование знамени-"трехъ единствъ", такъ много содъйствовавшее формальному окостентнію французской трагедіи. Комедія должна заниматься изученіемъ и изображеніемъ нравовъ "двора и города" ("la cour et la ville"),—но не ниже; какъ на образцоваго ея представителя среди своихъ современниковъ Буало указываетъ на Мольера. Въ заключеніе снова дается рядъ общихъ правилъ и замічаній,

причемъ Вуало говорить, что поэтомъ можно и должно быть только по призванію и что поэзія не должна противоръчить жизни.

Въ отношени къ своимъ современникамъ Буало являлся строгимъ и нелицепріятнымъ критикомъ, не щадившимъ авторскаго самолюбія многочисленныхъ бездарностей; онъ быль действительно, по меткому выраженю Пушкина, "французскихъ риемачей суровый судія". Но эта сторона его дъятельности всего менъе отразилась на развитів нашей литературной критики, усвоившей преимущественно формальную сторону наставленій "Искусства поэзіи", особенно усердно и до мелочей разрабо-танную продолжателями Буало въ XVIII стольтіи. Одинъ изъ этихъ продолжателей, уже упомянутый нами Батте, старался объяснить всв "изящныя искусства", въ томъ числѣ и поэзію, изъ одного общаго начала. Это начало подражаніе, но не простой природь, а природь украшенной, — la belle nature. Поэзія д'ялится на роды и виды соотвътственно тъмъ средствамъ, какія употребляетъ поэть для подражанія природь, и тымь предметамь, которые служать образцами для подражанія. Такими образцами могуть служить боги, цари, простые смертные, пастухи и животныя; соотвётственно этому и являются различные виды ноэзіи: опера, трагедія, комедія, пастораль и басня: въ оперъ дъйствують боги, въ трагедіицари, и т. д.

Наряду съ сочиненіемъ Буало большимъ вниманіемъ и авторитетомъ пользовался у насъ въ XVIII стольтіи—"Опыть о критикъ" ("Essay on criticism") Попа (или, какъ называли его наши предки, "славнаго англинскаго піиты господина Попія"). Въ этомъ дидактическомъ стихотвореніи, написанномъ съ большимъ изяществомъ и остроуміемъ, авторъ указываетъ задачи и характеръ критики, какою она, по его мысли, должна быть. Необходима критика систематическая; дурно судить о чужихъ произведеніяхъ — такъ же не слъдуетъ, какъ и дурно

писать самому; наилучшій руководитель поэта — природа, если только она не испорчена ложнымъ образованіемъ; правильное образованіе писатель можетъ пріобръсти, изучая древнихъ, въ особенности — Гомера, и извлекая изъ ихъ твореній, какъ зерно изъ скорлупы. методу поэтическаго творчества. Врагами правильнаго литературнаго вкуса являются гордость, недостатокъ знанія, излишнее увлеченіе подробностями вмісто цілаго, поверхностность, пристрастіе, зависть. Попъ юмористическими чертами изображаеть притязательнаго критика, который "читаетъ всв книги только затвиъ, чтобы всв ихъ бранить", и противопоставляеть ему хорошаго критика, честнаго, скромнаго, разсудительнаго и искренняго, свободнаго и отъ тупыхъ предубъжденій, и отъ слъпой справедливости, — "Not dully prepossess'd, not blindly right". Такой критикъ читаетъ каждое сочинение съ тъмъ же чувствомъ, съ какимъ авторъ писалъ его, не гоняется за незначительными ошибками тамъ, гдъ слъдуетъ искать вдохновенія, и благосклонно отмічаеть всі, даже и самыя мелкія, достоинства разбираемаго произведенія. Такими хорошими критиками были Аристотель, Горацій. Петроній, Квинтиліанъ, Лонгинъ и въ новъйшее время— Эразмъ, Вида и Буало. Въ заключение нравоучительный поэть съ изящнымъ смиреніемъ характеризуеть собственную музу. "не свободную отъ ошибокъ, но не настолько гордую, чтобы не учиться".

Конечно, по своимъ литературнымъ понятіямъ Попъ является настоящимъ сыномъ своего вѣка,—классикомъ, для котораго въ поэзіи на первомъ планѣ стоитъ "стихотворство" и соблюденіе предписанныхъ теоріею условій; но, не смотря на это, въ его "Опытѣ" много мѣткихъ сужденій и остроумныхъ замѣчаній, которыя надолго сдѣлались ходячей монетой въ англійской литературѣ и охотно цитировались критиками.

Мы уже имъли случай замътить, что сочиненія французскихъ теоретиковъ, въ особенности — Буало, Батте и

потомъ — Лагарпа, легли въ основу нашихъ литературныхъ понятій XVIII и первой четверти XIX въка. Но наряду съ ними къ началу XIX стольтія все больше и больше проникають въ нашу литературу новыя философскія ученія німецких теоретиковь, благодаря которымъ наша критика получаетъ преимущественно эстетическій характерь. Первымъ представителемъ эстетики въ Германіи явился одинъ изъ замічательній шихъ послѣдователей знаменитаго Вольфа, Александръ Баумгартень (1714-62), профессоръ философіи во Франкфуртв-на-Одерв. Онъ первый разработалъ эстетику, какъ систематическую науку о прекрасномъ, хотя трактовалъ о ней чрезвычайно сухо, въ слишкомъ сжатой, схематической формъ. Его идеи были подробнъе развиты однимъ изъ его учениковъ, 3ульшеромъ (1720-79), въ сочиненіи "Всеобщая теорія изящныхъ искусствъ". Новая отрасль знанія очень скоро привилась въ нівмецкой и русской литературь. Въ 80-хъ годахъ прошлаго стольтія эстетику считали однимь изъ главныйшихъ предметовъ университетского курса, — что объясняется, главнымъ образомъ, непосредственнымъ вліяніемъ нѣмецкихъ профессоровъ (Швардъ, Шаденъ и др.).

Въ чемъ же заключается сущность эстетики, какъона является въ сочиненіяхъ Баумгартена?

Какъ мы уже сказали, Баумгартенъ былъ послѣдователемъ Вольфа, слава котораго основывалась преимущественно на томъ, что онъ былъ величайшій систематикъ. По его ученію, философія есть наука о возможномъ, т. е. о томъ, что не заключаетъ въ себѣ противорѣчія; двумъсиламъ или двумъ основнымъ способностямъ души,—способности познавательной и способности желательной, уму и волѣ,—соотвѣтствуютъ двѣ отрасли философіи: теоретическая и практическая. Теоретическая философія разсматриваетъ или чистыя идеи, или міръ внѣшній, или міръ души человѣческой, или божество. Чистыя идеи,—идеи бытія, времени, пространства и т. д.,—составляютъ

предметь онтологіи; мірь внішній предметь космологіи; міръ души-предметь психологіи; Божество-предметь естественнаго богословія. Практическая философія разсматриваеть діятельность или человіка въ самомъ себі, какъ существа разумнаго и нравственнаго, или человъка какъ члена семьи, или, наконецъ, человъка какъ члена общества; отсюда являются: этика, экономика и политика. Введеніемъ въ опредёленный такимъ образомъ кругь философскихъ наукъ служитъ логика, излагающая теорію познавательныхъ способностей. Такихъ способностей двъ: высшая, обнимающая ясныя, опредвленныя представленія души, пріобр'втаемыя посредствомъ разума, - и низшая, имъющая дъло съ неясными, сбивчивыми впечатлівніями, получаемыми отъ чувствъ. Теорію высшей познавательной способности изагаеть логика; теорія низшей познавательной способности излагается въ наукъ, которая отъ чувстви получила название эстетики. Такимъ образомъ, согласно основному ученію Вольфа, Баумгартенъ опредвляеть эстетику, какъ теорію познанія, пріобретаемаго при посредстве чувствъ. Какъ и все науки, она имбетъ цълью истину, но эта истина не особенно высока. Истина есть совершенство; но только совершенство, усвоенное разумомъ, можетъ называться истиной въ собственномъ смыслё этого слова. Совершенство, усвоенное волею, есть добро; совершенство, сознаваемое чувствомъ, есть красота. Такимъ образомъ, тремъ основнымъ силамъ души: уму, волъ и чувству соотвътствують три вида совершенства: истина, добро и красота. Этими тремя идеями исчерпывается весь духовный мірь человека. Эстетика изучаеть красоту, какъ зиждущее начало искусства. Красота сама по себъ есть ни истина, ни добро; но она стремится стать и тъмъ, и другимъ. Это стремление проявляется какъ въ мір'в вн'вшнемъ, такъ и въ мір'в внутреннемъ. Въ отношеніи міра внішняго-природа, какъ совершенное твореніе Божества, заключаеть въ себъ истину и добро: въ

отношеніи міра внутренняго является необходимость подражанія природь, какъ откровенію истины и добра. Этимъ обусловливается нравственное значеніе произведеній искусства: они должны оцтниваться по степени ихъ нравственнаго вліянія, и только такое произведеніе можеть и должно быть признано действительно художественнымъ, которое одинаково сильно и благотворно дъйствуетъ какъ на умъ, такъ и на сердце. Человъкъ обладаеть двумя независимыми одна оть другой силами, на которыхъ основана прочность общественнаго союза и народное благо; эти силы-разумъ и нравственное чувство. Разумъ привелъ людей къ образованію обществъ, даль имъ законы и просвътиль ихъ науками; но только развитіе нравственнаго чувства ділаеть общественную жизнь действительнымъ благомъ. Высокое призвание изящныхъ искусствъ и заключается именно въ томъ, чтобы поддерживать и развивать нравственное чувство, поселяя въ сердцахъ любовь къ доброму и ненависть къ злому. Отсюда-требованіе, чтобы въ произведеніяхъ поэтическихъ порокъ былъ непременно паказанъ, а доброде. тель торжествовала.

При такомъ направленіи эстетической теоріи, въ первое время ея появленія у насъ, она получила отчасти мистическій характеръ. То была пора отчаянной борьбы вольтеровскаго натурализма съ религіозностью масоновъ, — и у насъ первымъ проводникомъ эстетическихъ воззрѣній выступилъ именно масонъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей Новикова, профессоръ Московскаго университета Шваризъ. Читая курсъ нѣмецкой литературы и философіи, онъ разбиралъ писателей на основаніи теоріи Баумгартена; въ его лекціяхъ былъ и мистическій оттѣнокъ; но именно этотъ мистицизмъ болѣе всего былъ способенъ увлечь тогдашнюю русскую молодежь, такъ какъ на его знамени было написано стремленіе къ истинъ и добру и распространеніе знаній въ Россіи. Мистическій элементъ получалъ у Шварца оттѣнокъ эстетически-религіознаго,

возвышеннаго чувства. Въ 1782 г. Швардъ четалъ публичныя лекціи "О трехъ познаніяхъ: любопытномъ, пріятномъ и полезномъ". Познаніе любопытное, по его опредёленію, есть такое, которое питаеть нашъ разумъ, но не есть необходимо для пользы въчной будущей жизни или для спокойствія духа. Познаніе пріятное удовлетворяеть нашъ слухъ, наше зрвніе и воображеніемь питаетъ нашъ разумъ. Познаніе полезное есть самое необходимое для человъка: оно научаетъ насъ любви, молитвъ и стремленію духа къ высшимъ понятіямъ. "Къ сему-то последнему познанію и стремится человъкъ для своего блага, ибо онъ въ сей жизнитолько путешественникъ, а въ будущей-гражданинъ". Эта тройственность обусловливается тремя силами души и порождаеть идеи добра, истины и красоты. Человъкъ заключаеть въ себъ три сущности, - три главныхъ фактора всёхъ его действій: совёсть—въ сердце, вкусъ или волю-въ утробъ (и преимущественно-въ печени), и разумъ-въ головъ. Такимъ образомъ, человъкъ имъетъ чувство добра или совъсть, чувство красоты или вкусъ, и ощущение истины или общій смысль разума. Эти три чувства и составляють внутреннее бытіе человъка. Въ мірозданіи также проявляются три начала: небо или міръ ангельскій, земля или хаось, и воздухь или тончайшій хаосъ. Ту же тройственность Шварцъ видълъ и въ химическихъ элементахъ, такъ какъ, по его ученію, прежде всего явились три основные элемента: соль, съра и меркурій, изъ которыхъ затъмъ образовались всъ остальные...

Такимъ образомъ, Щварцъ въ своихъ лекціяхъ являлся поборникомъ высокаго нравоучительнаго направленія въ литературѣ; его эстетическая оцѣнка поэзіи сводилась къ примѣненію строгаго нравственнаго критерія.

Нравоучительное направленіе составляеть, какъ изв'єстно, отличительную черту вс'яхъ литературныхъ произведеній екатерининской эпохи. Профессора Московскаго университета *Сохации*й (1796—1809) и университетскаго

пансіона— Подшивалова проводили это направленіе въ своихъ журналахъ: "Чтеніе для вкуса, разума и чувствованій" (1791—93) и "Пріятное и полезное препровожденіе времени" (1794—98), гдѣ они, между прочимъ, печатали нѣкоторыя статьи по исторіи и теоріи словесности. Сохацкій, для руководства своимъ слушателямъ при изученіи эстетики, издалъ въ 1803 г. "Мейнерсово начертаніе и исторію изящныхъ наукъ", прибавивъ къ этому переводному сочиненію собственный "Чертежъ системы эстетики".

Любопытно, что въ концѣ XVIII столѣтія изученіе эстетики признавалось у насъ мыслящими людьми не только существеннымъ предметомъ, но и вънцомъ университетского образованія: въ 80-хъ годахъ, когда поднятъ быль вопрось объ учреждени университетовъ въ разныхъ мъстахъ русской земли, составлена была особая коммиссія, которая и выработала планы и программы университетскаго преподаванія; въ этихъ планахъ эстетика считается вънцомъ словесныхъ наукъ и философскаго образованія вообще. Приготовленіемъ къ ней служать другія науки и чтеніе писателей; одною изъ приготовительныхъ наукъ является исторія, такъ какъ въ университетскомъ курсф исторіи должны указываться нравственныя начала человъческаго общества. Для эстетическаго образованія рекомендуется чтеніе писателей: для теоретической философіи — Цицеронъ и Горацій, для физики — натуральная исторія Плинія и Георгики Виргилія, для исторіи—Ливій и Геродотъ. При чтеніи писателей главною цёлью коментатора должно быть возбуждение стремления къ истинному и прекрасному. Это возвышение духа и составляеть настоящій предметь эстетики, — ея выстую цель и задачу.

Въ такомъ видъ проникали къ намъ въ XVIII столътіи эстетическія нъмецкія теоріи. Въ XIX въкъ эти ученія, уже воспринятыя рядомъ покольній съ университетской канедры, находять себъ примъненіе къ литературъ становятся основой критики, и притомъ — критики не

только содержанія литературныхъ произведеній, но и ихъ формы.

Значительное вліяніе на развитіе нашей литературной критики имълъ Эшенбурга, сочинение котораго: "Опытъ теоріи и литературы изящныхъ наукъ" (1783) пользовалось въ Германіи громкой изв'єстностью. По ученію Эшенбурга, эстетика есть теорія чувствейнаго познанія добра и красоты, а красота заключается въ познаваемомъ чувствами единствт во разнообразии. Это объястяя тымь же философскимь воззрынемь на космосы, вако мы видели у Баумгартена: такъ какъ міръ, созданный Богомъ, есть наилучшій изъ всёхъ міровъ, такъ какт душу міра составляеть порядокь, единство, и такъ какъ вселенная заключается въ разнообразнъйшихъ явленіяхъ, то во всёхъ этихъ явленіяхъ дёйствуеть общій міродержав ный законъ, сводящій ихъ въ одно цізлое. Сліздовательно, въ природъ мы всюду видимъ "единство въ разнообразіи"; а такъ какъ поэтическое произведение должно подражать природъ, то его достоинство опредъляется именно проявленіемъ этого "единства въ разнообразіи". Изящное отличается отъ истиннаго и добраго: истина и добро невидимы и сверхчувственны; они составляють содержаніе; изящное, или красота, проявляется въ предметахъ видимыхъ и составляеть форму. Следовательно, задачей литературной критики въ отношении содержанія поэтическихъ произведеній является выраженіе въ нихъ истины и добра; въ отношеніи же красоты критика должна обращать вниманіе на форму, т. е. на языкъ и на слогъ произведеній. Поэтическое произведение должно имъть цъль нравственную, должно поччать, но вмёстё съ тёмъ оно должно заботиться и объ изяществъ формы, — должно нравиться читателямъ, привлекать ихъ своею прелестью. Такимъ образомъ, наряду съ критикой эстемической находитъ себъ оправдание и критика стилистическая.

Наша критика въ XIX въкъ опять, какъ во времена Ломоносова, прежде всего остановила свое вниманіе на

вопросахъ языка и слога. Это было вполит естественно, такъ какъ съ развитиемъ литературы въ ней все болье и болѣе настойчиво стало проявляться стремленіе подойти ближе къ русской жизни, изучать и изображать ее, а старыя ломоносовскія формы литературной рѣчи стояли стъной между книгой и живымъ разговорнымъ языкомъ. Карамзинъ, — первый русскій писатель, свободный отъ схоластического образованія, основанного на сліпомъ подчиненіи классическимъ образцамъ, и въ то же время хорошо знакомый съ европейскою, въ особенности - французскою и нѣмецкою литературою, рѣшился открыто признать ломоносовскій стиль "цикимъ, варварскимъ и вовсе не свойственнымъ нынъшнему въку и выступилъ съ заявленіемъ, что "должно писать какъ говорять". Началась продолжительная полемика "о старомъ и новомъ слогъ" междупоследователями смелаго новатора и защитниками литературныхъ авторитетовъ, — полемика, въ которой опять повторились тъ же пріемы, какіе въ свое время пущены были въ ходъ Ломоносовымъ, Сумароковымъ и Тредьяковскимъ, начиная учеными разсужденіями, продолжая эпиграммами и кончая доносомъ и обвинениемъ въ политической неблагонадежности...

Прежде всего на защиту авторитетовъ поднялась Россійская Академія, въ лицѣ знаменитаго адмирала Шишкова, издавшаго въ 1803 г. свое "Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка". Вызовъ, брошенный новой литературной школѣ ревностнымъ, но плохо подготовленнымъ къ борьбѣ за свое дѣло, старцемъ, тотчасъ же былъ подхваченъ молодыми журналами,— "Московскимъ Меркуріемъ" и "Сѣвернымъ Вѣстникомъ": въ первомъ явилась обширная и убѣдительная статья Макарова, во второмъ — болѣе сдержанная, но все-таки строгая, критика неизвѣстнаго рецензента. Шишковъ, а за нимъ и другіе члены Россійской Академіи, чувствуя себя обиженными, вступили на путь горячей полемики, скоро охватившей то тогдашнюю періодическую нашу печать. Брошюры

стараго адмирала и статьи его сторонниковъ въ "Журналъ Россійской Словесности" Брусилова вызвали уничтожающую, язвительную критику Дашкова ("Цвътникъ» 1810 г.), а основанное Шишковымъ въ 1811 г. литературное общество "Бесъда любителей русскаго слова", тотчасъ же приступившее къ изданію своего органа ("Чтеніе", 1811—15 гг.), было встрвчено цвлымъ залпомъ насмъщекъ, пародій и эпиграммъ, въ прозъ и стихахъ. Въ литературномъ обиходъ появилось слово "словенофилъ". впервые придуманное В. Л. Пушкинымъ въ его игривомъ стихотвореніи "Опасный Сосёдъ" и означавшее въ ту пору приверженца церковно-славянскихъ или "словенскихъ" формъ и оборотовъ въ литературной русской рѣчи. Въ выходившемъ подъ редакціей Макарова "Журналъ Драматическомъ" (1811) помъщена была комедія "Обращенный Словенофилъ"; Батюшковъ, пародируя Жуковскаго, написаль остроумную шутку "Павець въ Бесадъ словено-россовъ", которую всѣ въ то время знали наизусть такъ же, какъ и злую сатиру Воейкова — "Сумасшедшій Домъ", гдв самое видное мъсто отведено Шишкову и его сторонникамъ. Наконецъ, Наръжный, въ своемъ роман'ь "Русскій Жилблазъ", въ лиць педанта Трисмегалоса, вывель въ комическомъ видъ любителя "словенщизны". Изъ воспоминаній С. Т. Аксакова мы узнаемъ, что споръ карамзинистовъ съ шишковистами проникъ даже въ ствны училищъ и интересовалъ школьниковъ...

Чувствуя свое безсиліе въ полемикѣ на почвѣ чистонаучной и литературной, защитники "стараго слога" обратились къ инымъ пріемамъ спора и старались связать вопросъ объ языкѣ съ вопросомъ о вѣрѣ и нравственности. "Словенофильству" противопоставили "галломанію", какъ пагубное увлеченіе французскимъ духомъ, т. е. якобинствомъ, безвѣріемъ, отсутствіемъ патріотизма. "Гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъявляетъ чувствъ отечественныхъ",—писалъ Шишковъ:— "гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкъ не возсіяеть истина". Одинь изъ членовь "Бесѣды", попечитель Московскаго университета П. И. ГоленищевьКутузовь, много разъ, съ упорствомъ, достойнымъ лучшаго
дѣла, подавалъ министрамъ, гр. Аракчееву и даже самому
государю бѣшеные доносы на Карамзина, въ которыхъ
писалъ, что сочиненія его "исполнены вольнодумческаго
и якобинческаго яда", что въ нихъ "явно проповѣдуется
безбожіе и безначаліе", что "не хвалить, а сжечь ихъ
слѣдовало бы" и что авторъ ихъ "цѣлитъ не менѣе, какъ
въ Сіесы или въ первые консулы"...

Сторонники "новаго слога", по своему образу мыслей, не могли послъдовать за своими литературными противниками по этому пути, но не могли, въ то же время, не видьть, что защита старины переходить такимъ образомъ уже въ явный обскурантизмъ, и считали долгомъ отстаивать идеи европейского просвышения противь ретроградства "раскольниковъ-славянъ". "Намъ нужны не слова", - говорили они: "намъ нужно просвъщение. Истинный сынъ отечества стыдится утопать во мракъ невъжества и въ старинъ не видить ничего хорошаго". Можно сказать, что "Бесъда" вырыла себъ могилу руками своихъ собственныхъ членовъ и воителей, которые при полной бездарности оказались еще и крайне неразборчивыми въ средствахъ литературной борьбы. Но вмісті съ тімь она принесла и свою долю пользы: она сплотила всвхъ сторонниковъ просвъщенія и литературнаго прогресса въ дружную когорту "Арзамаса", весело хоронившую старыя традиціи, идя навстрічу новымъ візніямъ въ жизни и литературв.

Наряду съ вопросомъ о слогѣ, и теперь, какъ во времена Ломоносова, поднятъ былъ вопросъ о стихосложеніи. Реакція противъ ломоносовскахъ понятій о стилѣ привела къ пересмотру установленной имъ теоріи русскаго стиха. Въ критикѣ высказано было мнѣніе, что введенные Ломоносовымъ въ нашу версификацію размѣры и формы не соотвѣтствуютъ духу русскаго языка и требуютъ замѣны

новымъ стихомъ, который ближе подходилъ бы къ складу народной пѣсни; появилось нѣсколько стихотвореній, написанныхъ этимъ новымъ размѣромъ; возникъ споръ о возможности русскихъ гекзаметровъ—по поводу перевода "Иліады" Гнѣдичемъ—и т. д.

Въ то же время все больше и больше начинаетъ чувствоваться потребность въ серьезной критикъ. Редакторъ "Съвернаго Въстника", горячо вступившагося за карамзинскую реформу стиля, еще въ 1804 году писалъ: "Многіе говорять, что какъ наша словесность едва вышла изъ колыбели, то не лучше ли ей дать время еще развить, такъ сказать, свои способности? На это можно отвъчать, что помощью спасительныхъ совътовъ рецензіи словесность наша можеть скорбе и надежное укрвпляться при своемъ усовершенствованіи; рецензія пролагаеть ей дорогу, по которой она смёлыми шагами идеть къ своей цъли. Безъ рецензіи словесность долгое время скиталась бы по излучистымъ дорогамъ и едва ли бы дошла до желаемаго предмета совершенства". Этотъ редакторъ, одинь изъ самыхъ умныхъ писателей своего времени, Ив. Ив. Мартыново, въ своихъ литературныхъ взглядахъ върнымъ поклонникомъ французской былъ Батте и Лагарпа, хотя и решался иногда высказывать мижнія болже свободныя и не вполиж согласныя съ этой теоріей. Понятія свои о задачахъ и цёляхъ критики онъ изложиль въ стать между прочимъ, указываетъ на обязанность критика нападать на варварское введеніе нікоторых новых словь въ наши разговоры, въ наши речи и книги. "Рецензія", писалъ онъ, — "не всегда есть дъйствіе зависти; она неръдко бываетъ дъломъ правосудія, иногда-урокомъ вкуса и всегда противится лести. Льстить-преврительно, молчать — невозможно. Хвилить не безг изгятія, цензировать съ благопристойностью-воть достоинство, воть долгъ періодическаго изданія, принявшаго званіе сколь трудное, столь почтенное: судить своихъ сверстниковъ и

современниковъ ... Эти оговорки, напоминающія пріемы XVIII стольтія, показывають, что Мартыновь не сознаваль себя достаточно сильнымъ для строгой критики, -конечно, потому, что чувствовалъ недостаточность односторонней французской теоріи, но не могь оть нея отръшиться и замънить ее чъмъ-нибудь другимъ, болъе подходящимъ къ требованіямъ новаго литературнаго движенія. На второй годъ изданія журнала критическія статьи стали появляться въ немъ гораздо ръже, что и вызвало запросъ со стороны одного любителя литературы: "Рецензія на книги у васъ совстить замолкла", писалъ этоть любитель. — "Чего вы испугались, г. журналисть? личныхъ неудовольствій? но можеть ли какая-нибудь личность входить въ благонам вренную критику? роптанія писателей, переводчиковъ, собирателей? но надобно ли уважать видъ ихъ самолюбія, надобно ли бояться ихъ возраженій, когда діло идеть о вкусі, объ очищеніи слога въ нашей литературъ, о прямыхъ выгодахъ нашего просвещенія? Везде критика уважается, и она одна только, говоря справедливо, можеть служить наградою хорошему писателю. Безъ нея не можеть быть правосудія въ ученой республикъ". Вообще, условія нарождавшейся въ то время у насъ критики были очень тяжелы; ее встрвчали недружелюбно не только писатели, но и общество. Въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ по этому поводу говорится: "Человъкъ благонамъренный, видя кучи печатныхъ книгъ, безпокоющихъ честныхъ людей, принимается издавать критическій журналь, чтобы хотя мало обуздать сію ученую челядь-но что жъ? Тысячи невъждъ возстають противъ него, бранять, терзають, и онъ же остается въ дуракахъ!..."

Мало по малу, однако же, это предубъждение противъ критики, выражавшееся въ постоянномъ напоминании о "благонамъренности", "благопристойности" и умъренности рецензій, а также и въ той неустойчивости и невыра-ботанности взглядовъ, которая всего болье мъшала раз-

витію критическаго пониманія литературныхъ явленій, начинаеть смёняться болёе твердымь и сознательнымъ отношеніемъ журналистики къ своей просвитительной задачъ. Представителями именно такого отношенія къ новымъ запросамъ литературы являются петербургскіе журналы 1809—10 и 1812 гг.—"Цвътникъ" и "С.-Петербургскій Въстникъ", издававшіеся Вл. Измайловымъ. Молодые редакторы "Цвътника", Беницкій и Никольскій, въ своихъ критическихъ статьяхъ, не смотря на все еще продолжающуюся зависимость отъ старыхъ традицій, обнаруживають уже смутное предчувствіе будущаго и ставять литератур'в такія требованія, которыя въ то время были совершенной новостью. Такъ, напр., Беницкій, въ разборъ теперь забытой, но въ свое время обратившей на себя вниманіе, драмы "Суліоты", говорить: "Въ драмъ сей нёть идеальных добродетелей, нёть мечтательных в пороковъ, пустыхъ призраковъ, подкрепляемыхъ несобытными деяніями, чувствами, страстями; все въ ней естественно: люди показываются въ своемъ видъ, а не въ заимствованномъ изъ царства воображенія. Въ драмъ "Суліоты" видите вы не китайскія твни, а настоящихъ человъковъ, то есть такихъ, каковыми они по природъ своей всегда были, есть и будуть". Во имя этой жизненности Беницкій безпощадно преследоваль те никуда негодные романы и пьесы, которыми такъ богата была тогдашняя "изящная словесность". По литературнымъ понятіямъ и по той ръшительности, съ какою онъ ихъ заявляль, его можно считать непосредственнымъ предшественникомъ Надеждина. Что касается его товарища по журналу-Никольскаго, умершаго слишкомъ рано,всего 25-ти лътъ (1816), то о немъ мы имъемъ восторженный отзывъ Греча: "Когда вспомню о Никольскомъ", говорить онъ, --- по смълыхъ, здравыхъ и свободныхъ отъ всякаго предразсудка мысляхъ его въ литературъ, когда приведу себ'в на память его сужденія о писателяхъ, тогда намъ современныхъ, а нынъ выслушивающихъ при-

говоръ потомства, тогда мнв кажется, что нынвшніе лучи проистекли отъ искры, таившейся въ душт этого необыкновеннаго юноши. Не знаю, быль ли бы онъ самъ производителемъ, но увъренъ, что русская литература имъла бы въ немъ нынъ своего Джонсона, Лессинга, Шлегеля, - что его ясный, критическій, безпристрастный умъ быль бы лучезарнымъ светиломъ въ пустой храминъ нашей словесности". Трудно сказать, насколько этоть отзывъ соотвътствуеть дъйствительному значенію Никольскаго; но несомнівню, что критика "Цвітника" и "С.-Петербургскаго Въстника", находившаяся въ рукахъ этого молодого писателя, составляла главное достоинство обоихъ журналовъ. Въ последнемъ изъ нихъ, кромъ Никольскаго, выдающимся сотрудникомъ быль Д. В. Дашковъ, напечатавшій здёсь замічательную статью "О журналахъ", гдъ между прочимъ, высказываются такія сужденія о задачахъ журнальпой критики: "У насъ такъ мало хорошихъ литературныхъ журналовъ, что всякое подобное изданіе будеть успъшно, только имъ займутся люди свъдущіе и безпристрастные. Словесность наша не совствить еще образовалась; молодые наши писатели не имъютъ еще довольно образдовъ передъ собою, не знають, чего избъгать имъ должно и чему следовать... Главною целью журнала должна быть критика. Издатель знакомить читателей своихъ съ новъйшими произведеніями отечественной словесности, показываеть ихъ красоты и недостатки, сравниваеть и проч. Судъ его долженъ быть всегда умфренъ и безпристрастенъ; смѣло и съ удовольствіемъ хвалить онъ, что есть хорошаго въ посредственныхъ писателяхъ, - смъло, но съ прискорбіемъ и уваженіемъ, замічаетъ недостатки въ извъстныхъ. Онъ никого не оскорбляетъ язвительными словами или презрѣніемъ и весьма осторожно употребляеть опасное оружіе насмѣшки; но ничто не удерживаетъ истиннаго литератора возставать противъ злоупотребленій и расколовъ, вводимыхъ въ нашъ языкъ...«

Согласно этой программѣ, въ "С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ" критика занимала весьма выдающееся мѣсто, и критическія статьи отличались рѣдкою въ тѣ времена серьезностью и дѣльностью. Вотъ, для примѣра, два-три отзыва журнала о нѣкоторыхъ произведеніяхъ, бывшихъ тогда въ модѣ у нашей публики.

"Августъ Лафонтенъ могъ бы сравняться съ лучшими романистами, если бы писалъ менъе. Чрезмърная его плодовитость вредить успъхамъ и совершенству трудовъ Въ новыхъ его сочиненіяхъ находимъ безпрестанно повтореніе старыхъ; вездів одно и то же разсказывается иногда одними и тъми же словами; характеры однообразны и потому не занимательны"... По поводу перевода романа Радклиффъ "Таинства черной башни" Никольскій писаль: Романь г-жи Радклиффъ, "Таинства башни", да еще и "черной"! — воскликнутъ охотники до сего рода романовъ, который въ газетныхъ объявленіяхъ книгопродавцы называють ужаснымъ, — какъ это хорошо! Тутъ върно есть разбойники, убійства, темницы, подземелья, мертвецы, черти! Все это, мм. гг., все это есть въ "Таинствахъ черной башни"; недостаетъ только бездълицы, которой, впрочемъ, и не ищуть никогда въ безсмертныхъ твореніяхъ г-жи Радклиффъ и г. Дюкре-Дюмениля, — сущей бездвлицы: здраваго смысла, пріятнаго слога, хорошихъ мыслей и связи въ происшествіяхъ; это — такія маловажныя достоинства въ романъ, что ихъ одинъ разбойникъ, — а ужъ о мертвецъ и говорить нечего, -- совершенно замънить можетъ..."

Эти немногіе примѣры, которые можно было бы еще значительно дополнить другими, показывають, что къ началу второго десятилѣтія XIX вѣка въ литературѣ уже довольно настойчиво проявлялась потребность въ иной, болѣе серьезной и дѣльной, критикѣ, чѣмъ та, которая до этого времени наполняла наши журналы. Полемика

о старомъ и новомъ слогѣ, тянувшаяся лѣтъ пятнадцать, была разрѣшена практически и должна была окончиться съ появленіемъ Исторіи Карамзина; полемика о старомъ и новомъ стихѣ также практически разрѣшилась съ появленіемъ Пушкина. Съ 20-хъ годовъ XIX столѣтія вопросы стиля и формы все болѣе и болѣе отходятъ въ литературной критикѣ на второй планъ, на первомъ же планѣ является уже анализъ содержанія литературныхъ произведеній на основаніи общихъ теоретическихъ принциповъ, добытыхъ изученіемъ преимущественно нѣмецкой эстетики. Первымъ серьезнымъ представителемъ такой критики въ нашей литературѣ былъ профессоръ Московскаго университета Мерзляковъ (1778—1830).

Мераляковъ соединялъ въ себъ условія, которыя ставили его на высоту, недоступную для большинства его современниковъ: онъ безспорно обладалъ истиннымъ поэтическимъ чувствомъ и талантомъ и солидною ученою эрудицією; воспитавшись въ литературномъ кругу университетскаго благороднаго пансіона, онъ усердно изучалъ иностранныхъ поэтовъ и ученыхъ теоретиковъ, къ произведеніямъ которыхъ всегда обращался въ своихъ критическихъ статьяхъ. Онъ принималъ дъятельное участіе въ дружескомъ литературномъ обществъ, однимъ изъ основателей котораго былъ Жуковскій (1801) и предметомъ котораго было "очищать вкусъ, развивать и опредълять понятія обо всемъ, что изящно, что превосходно", а средствами для этой цёли признавались "занятія теоріею изящныхъ наукъ, критическіе разборы переводовъ и оригинальныхъ сочиненій, чтеніе полезныхъ книгъ и произнесение о нихъ своего суждения и, наконедъ, трудъ надъ собственными своими произведеніями и рачительная ихъ обработка". Здъсь развилась та взаимная дружба которая соединяла Мерзлякова съ Жуковскимъ до конца его жизни, не смотря на различіе ихъ взглядовъ. Еще въ 1815 году Мерздяковъ, въ письмъ къ Жуковскому

(въ журналѣ "Амфіонъ"), съ благодарностью вспоминалъ объ этомъ обществъ, "гдъ мы", — говорить онъ, — "въ цвътъ юности, въ жару пылкихъ лътъ, одушевленные единымъ благороднымъ чувствомъ дружества, не отравленнымъ частными выгодами самолюбія, учили и судили другь друга въ первыхъ нашихъ занятіяхъ и, жертвуя, повидимому, своимъ удовольствіемъ, между тімъ, нечувствительно и скромно, исполненные патріотизма и любви къ изящному, приготовляли себя на будущее свое служеніе"... Съ открытіемъ въ 1810 г. "Общества любителей россійской словесности", Мерзляковъ сдёлался однимъ изъсамыхъ ревностныхъ его членовъ, и каждая книжка "Трудовъ" Общества заключала въ себъ его статью по теоріи изящныхъ искусствъ, или критику, или, по крайней мъръ, стихотворение. Въ 1812 и 1818 гг. онъ читаль въ Москвъ публичныя лекціи о русской литературь, которыя, какъ интересная и небывалая до того времени новинка, привлекали многочисленную публику. На этихъ лекціяхъ, какъ и въ своемъ журналь "Амфіонъ" (1815), Мерзляковъ подробно разбиралъ произведенія нашихъ старинныхъ знаменитостей, приміняя къ нимъ строгія теоретическія требованія, и, преклоняясь передъ Ломоносовымъ, Сумароковымъ, Херасковымъ, Державинымъ, Озеровымъ, въ то же время указывалъ этимъ приводилъ въ и на ихъ недостатки И малое смущение ихъ усердныхъ почитателей. Критика Мерзлякова, отчасти сохранявшая стилистическій характеръ, была по преимуществу эстетическою. Онъ обращаль большое внимание на языкъ, исходя изъ мысли, что выраженія должно соотвътдостоинство ствовать достоинству идеи; слово онъ разбираль какъ оболочку мысли, а мысль — какь выражение души. Въ основъ критики, по его убъжденію, должны были жать законы или правила, имѣющіе свою основу въ природъ человъческой и существовавшіе въ сердцахъ

прежде, нежели явились въ книгахъ. Поэтическія произведенія находятся въ прямомъ отношеніи къ дъйствительной жизни, т., е. беруть изъ нея краски и обстановку. Такъ, напримъръ, у Гомера всъ люди, имъ выведенные, --- не только люди, но и греки. Эта необходимая и безусловная связь поэзіи съ жизнью объясняется "подражаніемъ природъ", подъ которою Мерзляковъ разумъетъ какъ природу физическую, такъ и нравственный мірь челов ка. Поэть долженъ вникать въ смыслъ вселенной, въ историческую жизнь народовъ, въ свойства природы и человъка, — долженъ изучать ихъ и затъмъ воспроизводить. Лостоинство подражанія именно въ томъ и состоить. чтобы сохранить смыслъ, основныя начала, духъ какъ жизни вселенной, такъ и жизни человъка. Непремънныя свойства художественности заключаются въ стройности, правильности и точности подражанія поэта природь. Не въ томъ дело, хороша ли вещь сама по себе, а въ томъ, какъ она на насъ дъйствуетъ. Поэзія, имъя предметомъ природу, должна изображать ее на пользу и удовольствіе человъка; ея цъль-нравиться и поучать; нравиться она должна расположеніемь, ходомь действія, характерами и т. д., а поучать—дъйствуя на наше сердце. Поэтому при критикъ литературпыхъ произведеній прежде всего сльдуеть обращать внимание на намърения автора: что написано съ добрымъ намфреніемъ, что съ дурнымъ, что вовсе безъ намфренія. Мерзляковъ высоко ценить Овидія и Виргилія, но отдаеть преимущество последнему за его нравственныя намфренія; самъ Вольтеръ, говорить онъ, цъниль свою Генріаду выше "Орлеанской Дъвственнипы"...

Эти общіе взгляды, заимствованные Мерзляковымъ отчасти у німецкихъ теоретиковъ, отчасти же у французовъ (особенно у Батте), и положенные имъ въ основу своей критики, часто стісняли его въ сужденіяхъ опроизведеніяхъ современной литературы. Онъ инстинктивно понималъ

всю односторонность классическихъ правилъ и не любилъ системъ, основанныхъ на условныхъ умозрѣніяхъ: "вотъ гдъ система! поворилъ онъ своимъ ученикамъ, указывая на сердце. Непосредственное художественное чутье неръдко подсказывало ему правильныя сужденія; но эти сужденія шли въ разръзъ съ теоріей, которую онъ, все-таки, исповъдывалъ, -- и онъ не сознавалъ въ себъ настолько силы, чтобы съ нею разорвать. Иногда ему сильно хотълось осудить то, что ему нравилось, и оправдать то, что не нравилось; но, какъ правовърный рабъ чужой теоріи, онъ не могъ сбросить ея ценей... "Мераляковъ", говоритъ Шевыревъ въ его біографіи, "былъ теоретикомъ и критикомъ перваго періода нашей литературы, --- ломоносовскаго. Школа, основанная Карамзинымъ и Жуковскимъ, не входила въ область его критическаго сознанія, а тімь менъе поэзія Пушкина. Чувство Мерзлякова при чтеніи произведеній Пушкина выражалось только слезами: читая Кавказскаго Пленника, онъ. говорять, плакаль, онъ чувствоваль, что это прекрасно, но не могь отдать себъ отчета въ этой красотъ — и безмолвствовалъ"... Оффиціально же, въ своихъ критическихъ статьяхъ и лекціяхъ, онъ называлъ произведенія новой романтической поэзіи "уродливыми плодами нѣмецкой фантавіи", продуктами какого-то юродствующаго воображенія, которые вовсе не дъйствують ни на умственный, ни на нравственный міръ человъка, а, напротивъ, являются дерзкимъ оскорбленіемъ того и другого. Этоть непримиримый разладъ между книжной ученостью Мералякова и его поэтической натурой сдёлаль изъ него, по выраженію Бёлинскаго, "одну изъ умилительнъйшихъ жертвъ духа времени. Онъ преподавалъ теорію изящнаго, а между темъ эта теорія оставалась для него неразгаданною загадкою во все продолжение его жизни; онъ считался у насъ оракуломъ критики, и не зналъ, на чемъ основывается критика; наконецъ, онъ всю жизнь свою заблуждался насчетъ своего таланта, ибо, написавши нѣсколько безсмертныхъ пѣсенъ, въ то же время написалъ множество одъ, въ коихъ гдѣ-гдѣ блистаютъ искры могучаго таланта, котораго не могла убить схоластика, а остальное—голая риторика. Онъ рожденъ былъ практикомъ поэзіи, а судьба сдѣлала его теоретикомъ; пламенное чувство влекло его къ пѣснямъ, а система заставила писать оды и переводить Тасса"...

Какъ ни справедлива эта характеристика, за Мерзляковымъ все-таки остается та несомнънная заслуга, что онъ впервые въ нашей критикъ выступиль съ вполнъ опредъленными требованіями и, примъняя ихъ къ изученію русскихъ писателей прежняго времени, заміниль безсознательные дътскіе восторги передъ ними разумнымъ отношеніемъ къ ихъ достоинствамъ и недостаткамъ. Въ этомъ отношеніи онъ явился піонеромъ на томъ новомъ пути, по которому пошли вследъ за нимъ Надеждинъ и Бълинскій. Вліяніе Мерзлякова особенно сильно чувствовалось его слушателями: его блестящія критическія импровизаціи, проникнутыя горячей любовью къ литератур'ь, къ поэзіи, глубоко западали въ молодыя сердца и внушали будущимъ литературнымъ дъятелямъ сознательную любовь къ родному слову. Эта сторона дъятельности Мерзлякова, конечно, не поддается точному учету; но ея значеніе, по свидътельству всъхъ современниковъ, было несравненно важнье, чьмъ всь его печатныя статьи...

III.

Заслуги Мерзлякова въ русской критикъ и его мъсто въ ея исторіи опредъляются тьмъ, что онъ быль первымъ нашимъ критикомъ въ современномъ смыслъ этого слова, такъ какъ онъ первый въ своей оцънкъ литературныхъ произведеній руководился извъстными, строго опре-

дъленными, взглядами и принципами. И въ лекціяхъ, и въ статьяхъ своихъ Мерзляковъ постоянно вооружался противъ легкихъ и поверхностныхъ занятій словесностью, постоянно призываль русскихъ писателей къ серьезному изученію науки изящнаго. "Уважимъ самихъ себя", -- говорилъ онъ, — "уважимъ науку и талантъ стихотворца изъ любви къ самимъ себъ, и тъмъ очистимъ наши собственныя наслажденія". Но подъ наукою въ данномъ случав Мерзляковъ разумвлъ внимательное изучение образцовъ ложно-классической словесности и сочиненій теоретиковъ ложно-классической школы, — Буало, Батте и, въ особенности, Лагарпа, котораго "Лицей" считался началь XIX стольтія своего рода литературной библіей. Хотя Мерзляковъ въ своихъ критическихъ сужденіяхъ руководился также и німецкими эстетическими теоріями, но въ основъ этихъ теорій также лежали принципы и требованія ложпо-классическаго вкуса. Такимъ образомъ, кругъ литературныхъ понятій московскаго профессора быль строго замкнуть и ограничень положеніями извъстной школы, которыя были имъ усвоены съ юношескихъ лѣтъ, и отъ которыхъ отступить онъ не могъ, потому что для этого нужно было обладать большимъ запасомъ самостоятельности. Смутно чувствовалъ старый классикъ, что истины, которымъ онъ всю жизнь служилъ и поклонялся, уже отжили свое время, что новая литература уже далеко обогнала старую теорію, которая остается какимъ то безжизненнымъ наростомъ и должна быть удалена... Но чёмъ замёнить эти старые, издавна казавшіеся священными, принципы словесности, --- какими новыми "правилами", взамѣнъ псевдо-аристотелевскихъ и гораціевскихъ, оправдать новыя литературныя явленія, достоинство которыхъ ему было очевидно, и которыя, однако, представлялись самымъ варварскимъ нарушеніемъ всъхъ статей прежняго литературнаго кодекса, — этого онъ не зналъ и терялся. Онъ не могъ, напр., оцънить

ноэмы Пушкина: сердце подсказывало ему, что онѣ прекрасны,—но умъ отказывался понять и подвести ихъ подъ завътныя школьныя категоріи. Ни Мерзляковъ, ни его сверстники, вскормленные ложно-классическими теоріями, не въ состояніи были выйти изъ заколдованнаго круга школьныхъ понятій и сказать въ литературѣ новое слово. Оно было сказано только молодымъ поколѣніемъ второго десятилѣтія XIX вѣка, — ровесниками XIX столѣтія, воспитавшимися среди свободолюбивыхъ вѣяній новаго царствованія, видѣвшими "дней Александровыхъ прекрасное начало", небывалый подъемъ національнаго духа въ эпоху отечественной войны и тріумфальное шествіе русскихъ войскъ черезъ всю Европу до Парижа.

Это новое слово было --- "романтизмъ". Въ чемъ сущность романтизма, какъ литературнаго направленія — этого не въ состояніи были толково и обстоятельно разъяснить даже самые ревностные его приверженцы и защитники: для нихъ "романтическимъ" было все то, что не подходило подъ рубрику "классическаго", - въ чемъ чувствовалась не столько теоретическая, сколько практическая пропов'т свободы поэтического творчества, независимости вдохновенія отъ признанныхъ литературныхъ авторитетовъ какъ въ выборъ содержанія для поэтическихъ произведеній, такъ и въ пріемахъ его обработки. За этой литературной свободой смутно чуялась другая, болье широкая, свобода, бывшая предметомъ неопредыленныхъ мечтаній и юношескихъ порывовъ, — свобода общественная и политическая, это завъщание умиравшаго XVIII въка рождавшемуся XIX-му, которое Наполеонъ такъ долго держалъ подъ спудомъ... Недаромъ повсюду въ Европъ все молодое, свъжее, либеральное стало полъ знамя "романтизма", а всв сторонники стараго режима продолжали упорно цъпляться за истрепанныя мишурныя дохмотья классической мантіи...

Въ нашей литературной критикъ первые признаки

поворота къ новому направленію обнаруживаются одновременно съ появленіемъ въ печати первыхъ произведеній Пушкина, имя котораго сразу становится какъ бы лозунгомъ, объединяющимъ литературныя силы "юной Россіи". Полемическая перестрълка между представителями старой и новой школы разгорёлась въ особенности послѣ появленія "Руслана и Людмилы", и въ началѣ 20-хъ годовъ уже охватила всю литературную линію. Въ 1823—25 гг. главными органами новаго направленія были "Сынъ Отечества" и особенно—альманахъ Бестужева и Рылбева "Полярная Звезда", представлявшій, по своему времени, явленіе весьма замівчательное: вокругъ его молодыхъ, талантливыхъ и любимыхъ публикой редакторовъ соединились почти всв передовые представители нашей тогдашней литературы, включая и Пушкина, который изъ Одессы, а потомъ — изъ своей псковской деревни поддерживаль съ Бестужевымъ оживленную переписку по литературнымъ вопросамъ и посылаль ему свои стихи. Статьи Бестужева, посвященныя обзору старой и современной изящной литературы и журналистики, обратили на себя всеобщее вниманіе и вызвали оживленную полемику. Не было изданія; гдт бы не появилось по нескольку заметокъ и "антикритикъ", вызванныхъ небольшими по объему, но чрезвычайно содержательными и смёлыми обзорами молодого писателя, который выступиль горячимъ и ревностнымъ защитникомъ "романтизма". Бестужевъ резко и вместе съ темъ остроумно нападаль на псевдоклассицизмъ, доказывая, что въкъ этого направленія, какъ и создавшая его эпоха париковъ, миновалъ безвозвратно, пудреныхъ литературные старовфры, продолжающіе загромождать словесность этой мертвечиной, приносять ей только вредь, мѣшая свободному развитію дарованій. Основными положеніями критики Бестужева было отрицаніе классическихъ правилъ и пріемовъ, какъ уже никому ненужнаго стараго

хлама, и требованіе полной, ничімь не стісняемой свободы для поэтического вдохновенія и творчества. Идеальными типами поэтовъ-художниковъ были въ его глазахъ Шекспиръ. Шиллеръ, въ особенности-Байронъ и впослелствіи — Викторъ Гюго. Эти четыре имени надолго заняли первое мъсто въ святцахъ нашихъ "романтиковъ" не только пушкинской, но и позднейшей эпохи. Критическія статьи Бестужева не отличались особенною глубиною сужденій, но производили сильное впечатлівніе своей живостью, пылкостью и оригинальностью; онъ всегда вызывали оживленный обмёнь мнёній, всёми читались и обсуждались и, такимъ образомъ, будили въ нашей литературъ критическую мысль въ ту пору, когда литературная критика была у насъ еще только въ зародышъ. Бълинскій призналь за этими статьями "неотьемлемую и важную услугу русской литературб и литературному образованію русскаго общества", прибавивъ къ этому, что Бестужевъ "былъ первый, сказавшій въ нашей литературъ много новаго", -- такъ что критика второй половины 20-хъ годовъ была, во многихъ отношеніяхъ, только повтореніемъ литературныхъ обозріній "Полярной Звѣзлы ...

Въ числъ сверстниковъ и сподвижниковъ Вестужева въ началъ 20-хъ годовъ были: кн. Вяземскій, "шутившій отмънно тонко и остро" надъ пудреными париками
классиковъ "съ Васильевскаго острова или Выборгской
стороны", издатель "Сына Отечества" Гречъ, небезъизвъстный въ тъ времена "обозръватель" Орестъ Сомовъ,
напечатавшій въ 1823 г. цълую книжку— "О романтической поэзіи", и др. Но полемика, усердно и горячо
поддерживаемая этими литераторами, въ сущности, сводилась къ вопросу о формальной сторонъ поэзіи и по
содержанію и пріемамъ во многомъ напоминала споръ
шишковистовъ съ карамзинистами "о старомъ и новомъ
слогь"; употребляя старинную семинарскую терминоло-

гію, можно сказать, что во времена Шишкова русская словесность была въ классахъ "грамматики" и "риторики", а десять лёть спустя перешла въ классъ "піитики"; классъ "философіи" быль еще впереди: онъ начался съ появленіемъ въ 1825 году новаго журнала "Московскій Телеграфъ".

Въ нашемъ петербургскомъ Пантеонв, -- на "литераторскихъ" мосткахъ Волкова кладбища, есть одна скромная, почти уже забытая могила, въ которую, слишкомъ полвъка тому назадъ, ранней весной 1846 года, опустили тъло измученнаго, изстрадавшагося, сломленнаго тяжкими невзгодами и непосильнымъ трудомъ человъка, едва прожившаго на свътъ 49 лътъ. Въ груди этого человъка билось когда-то пылкое сердце, полное любви къ человъчеству, къ добру и правдъ; въ его головъ роились широкіе планы и замыслы; природа надёлила его свётлымъ умомъ и богатымъ талантомъ, котораго онъ не зарылъ въ землю: онъ горълъ жаждою знанія и полезной дъятельности; чувствуя въ себъ призваніе публициста, онъ старался поддерживать просв'ятительныя стремленія русскаго общества, только что начинавшаго жить сознательной умственной жизнью, --- будить общественное сознаніе, указывать литератур'в высшія, идеальныя ціли... Но ему суждено было жить и действовать въ эпоху, которую великій поэть не напрасно назваль "жестокимъ въкомъ", —и суровая рука тогдашней русской дъйствительности сломила его энергію, раздавила его душу и безжалостно отбросила прочь, какъ выжатый лимонъ, среди почти совершеннаго равнодушія и даже злорадныхъ насмъщекъ въ томъ обществъ и литературъ, которымъ онъ принесъ лучшіе дары своего ума и сердца и отдаль всю свою трудовую жизнь. Только немногіе современники помянули навшаго бойца добрымъ словомъ и теплымъ участіемъ, — а безпристрастная оцінка явилась только тогда, когда его могила начала уже "заростать травой забвенья"...

Человъкъ этотъ былъ—Николай Алексъевичъ *По*левой.

Вся его жизнь, съ первыхъ лътъ дътства и до последней минуты, когда перо выпало изъ его безжизненно опустившейся руки, была истиннымъ подвижничествомъ на тернистомъ пути русскаго просвъщенія. Еще ребенкомъ почувствовалъ онъ въ себъ неудержимое стремленіе къ наукъ и образованію, и среди условій, далеко не благопріятныхъ для развитія ума и пріобретенія знаній, съ неутомимой энергіей сталь работать надъ собою. Въ 24 года мы видимъ его уже настоящимъ литераторомъ, и съ техъ поръ, въ продолжение четверти века, Полевой, не смотря ни на какія испытанія, которыя такъ часто посылала ему судьба, трудится въ литературъ, не покладая рукъ, съ удивительной выносливостью и мужествомъ, которыя оставили его только въ последніе годы жизни, подъ вліяніемъ пережитыхъ имъ тяжелыхъ ударовъ судьбы.

Влестящимъ и плодотворнымъ періодомъ литературной діятельности Полевого было десятиліте съ 1825 по 1834 годь, когда онъ издавалъ "Московскій Телеграфъ", — журналь, несомнітно оставившій яркіе и глубокіе сліды въ нашей литературів. Журналистика была истиннымъ призваніемъ Полевого; по замічанію Білинскаго, во всемъ, что онъ ни написаль, даже въ "Исторіи русскаго народа", онъ былъ прежде всего журналистомъ. Мысль объ изданіи журнала была его завітною мечтою съ юныхъ літь, и какъ только онъ получиль, наконецъ, возможность осуществить ее, — онъ даль яркій примітрь того, что можеть сділать энергія одного человіка, твердо вірующаго въ свое призваніе и въ высокое значеніе своихъ идеальныхъ задачъ. Въ продолженіе цілыхъ десяти літь, въ самое смутное и тяжелое время

для русской литературы, журналъ Полевого былъ единственнымъ органомъ независимой и смѣлой мысли, за права которой ему приходилось вести неустанную, упорную борьбу не только съ внѣшними препятствіями, но и съ многочисленной группой "внутреннихъ непріятелей" — собратій по литературѣ, которые ожесточенно нападали на него, попрекая его купеческимъ происхожденіемъ, водочнымъ заводомъ, обвиняя въ невѣжествѣ, въ верхоглядствѣ, и въ своемъ полемическомъ увлеченіи осыпая бранью не только самого Полевого и его сочиненія, но даже и улицу, въ которой онъ жилъ.

"Московскій Телеграфъ", — говорить Білинскій, — "быль явленіемъ необыкновеннымь во всёхъ отношеніяхъ. Съ первой до последней книжки издавался онъ съ тою постоянною заботливостью, съ темъ вниманиемъ, съ темъ неослабъвающимъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ можеть быть только призвание и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началь онъ развивать съ энергіею и талантомъ, которые постоянно одушевляли его, была мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти впередъ, избъгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвъщенія, образованія, литературы... Полевой показаль первый, что литература — не игра въ фанты, не дътская забава, что исканіе истины есть ея главный предметь, истина — не такая бездёлица, которою можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдёлать страшную дерзость и выказать себя челов вкомъ "безпокойнымъ", т. е. хуже, чвмъ безнравственнымъ... Полевой быль литераторомъ, журналистомъ и публицистомъ не по случаю, не изъ разсчета, не отъ нечего дълать, не по самолюбію, а по страсти, по призванію... Онъ владълъ тайною журнальнаго дъла,

быль одарень для него страшною способностью. Онъ постигь вполнѣ значеніе журнала, какъ зеркала современности, и "современное" и "кстати" были въ рукахъ его поистинѣ два волшебные жезла, производившіе чудеса... "Телеграфъ" былъ полнымъ представителемъ своей эпохи. Въ немъ было много силы, энергіи, жару, стремленія, безпокойства, тревожности; онъ неусыпно слѣдилъ за всѣми движеніями умственнаго развитія въ Европѣ и тотчасъ же передавалъ ихъ такъ, какъ они отражались въ его понятіи".

Прибавимъ къ этимъ словамъ Бѣлинскаго отзывъ другого, позднѣйшаго критика, Аполлона Григорьева, по собственному сознанію, многимъ обязаннаго Полевому въ своемъ литературномъ развитіи:

"Популярный купчишка-публицисть, жадный и смьлый ловець всёхь свёжихь вённій жизни, зоркій сторожъ прогресса, громитель всяческой рутины, авторъ разсказа "Симеонъ Кирдяпа", этого смѣлаго по тому времени протеста за удъльныхъ и удъльщину, еще съ большей энергіею выражающагося скоро послів въ романъ "Клятва при Гробъ Господнемъ", авторъ "Исторіи русскаго народа", которая имветь важное, даже и положительное во многихъ отношеніяхъ зпаченіе... Полевой — вовсе не западникъ: онъ дорожить, какъ святынею, всякою старою грамотою, всякою песнію народа, печатая ихъ въ своемъ "Телеграфъ": въ одномъ фельетоновъ своего журнала онъ показываетъ Москву завзжему пріятелю съ фанатической любовью, съ полнымъ историческимъ знаніемъ... Статьи о Гете, о Байронъ и другихъ корифеяхъ тогдашней литературы, ознакомленіе читателей съ судьбами литературъ романскихъ, культъ Шекспира, Данта и пр., переводы Гофмана, разборы всего новаго въ юной французской словесности, смълое благоговъніе передъ Гюго, наконецъ, всевозможные толки о государственныхъ устройствахъ цивилизованныхъ народовъ

и посильные—положимъ, хоть и по Кузену, — толки о Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегелъ; перехватъ всякой новой, живой мысли, сочувстве всякому новому явленію въ жизни и искусствъ, азартное увлеченіе всякимъ новымъ міровымъ въяніемъ, —вотъ что такое "Телеграфъ". Мудрено ли, что имъ увлекалось все молодое и свъжее... а старцыкотурны и старцы-бланжевые горячились, изъ себя вонъ выходили и въ "Въстникъ Европы", и въ "Галатеъ" и въ еще бояъе нъжномъ "Дамскомъ журналъ" князя Шаликова?.."

Въ журналъ Полевого, какъ и слъдовало ожидать, самое важное мъсто было отведено литературной критикъ, которой онъ придавалъ первостепенное значение, при условіи, что она будеть "умна, правдива и дільна". Критика Полевого была первой у насъ попыткой отнестись къ явленіямъ литературы съ точки зрѣнія общаго руководящаго начала. Такимъ началомъ являлся для Полевого "романтизмъ", за который въ то время ратовали передовые представители нашей словесности, съ Пушкинымъ во главъ. Основныя требованія, съ которыми обращался "Телеграфъ" къ современнымъ писателямъ съ этой точки зрѣнія, заключались, во-первыхъ, въ искренности и непосредственности поэтического вдохновенія, во-вторыхъ, — въ независимомъ отношении поэта къ окружающей его жизни и, въ-третьихъ, --- въ народности. Прилагая эту мърку къ явленіямъ нашей литературной жизни, минувшей и современной, Полевой, по выраженію Марлинскаго, "вызываль на неумытный судь недостойныхь изъ толпы прославленныхъ и обрываль съ нихъ незаслуженное сіяніе лучъ по лучу; за то съ горячностію прозелита сдуваль онъ черную пыль клеветы съ чела праведниковъ, брошенную на нихъ пристрастіемъ современниковъ или ошибками позднейшихъ историковъ". Проще сказать, Полевой въ своей критикъ всего больше заботился о безпристрастіи и, какъ настоящій романтикъ, выступившій, притомъ, въ

самый разгаръ литературной распри классицизма и романтизма, прежде всего проповѣдывалъ освобожденіе отъ всякихъ авторитетовъ, такъ торжественно утвержденныхъ старою литературною школою. Съ своей идеальной точки зрѣнія, онъ считалъ своею обязанностью многимъ изъ нихъ сказать: "Твои права на славу очень хрупки",— и хотя иногда въ этомъ отношеніи бывалъ, можетъ быть, и черезчуръ суровъ и послѣдователенъ, но и самыя его ошибки и увлеченія приносили несомнѣнную пользу, потому что возбуждали и поддерживали живой интересъ къ литературѣ, вызывали толки, споры, словомъ,—будили мысль, до тѣхъ поръ мирно дремавшую въ повиновеніи "старцамъ-котурнамъ" и "старцамъ-бланжевымъ"...

Въ своихъ эстетическихъ понятіяхъ Полевой быль последователемъ такъ назыв. "эклектической" философіи Кузена, который, въ противоположность классикамъ, отрицаль простое подражание искусства природъ и проповъдывалъ идеализмъ. Кузенъ считалъ поэзію основой всякаго искусства, а поэта и художника-избранниками являющимися, въ моменты вдохновеннаго экстаза, орудіями откровенія и причастниками творческой силы. Искусство имъетъ задачей выражать идеи; чувственное имбеть въ немъ право гражданства лишь настолько, насколько сквозь него просвёчиваеть духъ. На лице природы, какъ и на лицъ человъка, художникъ долженъ уловить черты Божества, чтобы поэтически ихъ изобразить. Чувство есть необходимый посредникъ искусства, но именно только посредникъ. Свободнымъ и безкорыстнымъ поклоненіемъ красот искусство возвышаеть душу и, такимъ образомъ, споспътествуетъ высшей цъли жизни, --- нравственному совершенствованію рода человъческаго. Практическимъ осуществленіемъ этихъ общихъ эстетическихъ принциповъ являлся для Полевого романтизмъ Байрона и особенно -- Виктора Гюго, передъ которымъ онъ положительно благоговълъ. Съ именемъ романтизма Полевой

привыкъ соединять все героическое, свътлое, прогрессивное, возвышающее духъ; въ образъ классицизма, наоборотъ, представлялось ему все отжившее, гнилое, обскурантное... Романтизмъ былъ для него не просто эстетической теоріей, а всеобъемлющимъ прогрессомъ времени, не только художественнымъ, но и нравственнымъ и общественнымъ. По его мнѣнію, поэзія должна была бытъ небеснымъ откровеніемъ, исполненнымъ грандіозныхъ образовъ, которые отвлекали бы людей отъ мелочныхъ житейскихъ дрязгъ въ высшую сферу чистой красоты, показывали бы имъ въ необыкновенныхъ личностяхъ образцы величія, котораго могутъ достигать люди, и, такимъ образомъ, возбуждали бы въ людяхъ чувство гражданскаго героизма...

Съ этой идеальной точки врвнія Полевой находиль, что въ нашей литературв было всего только два инстинныхъ поэта, — Державинъ и Пушкинъ, потому что только у нихъ однихъ поэзія составляла необходимость жизни, всю душу, все бытіе ихъ "Державинъ былъ поэтъ; характеръ его былъ поэтическій, въ самомъ обширномъ смыслв, поэтическій преимущественно. Кромв Пушкина, не было у насъ другого столь исключительно поэтическаго характера, со времени преобразованія Россіи, ни прежде, ни послв Державина. Въ душахъ всвхъ другихъ поэтовъ русскихъ поэзія только отсввчивалась, а не сввтила самобытно, не наполняла собою, не сжигала, такъ сказать, всего бытія ихъ. Оттого направленія ихъ были либо слишкомъ развлечены и разнообразны...

"Поэзія требуеть всего человіка... Это—голось души. Вні поэзіи Державинь и Пушкинь уничтожаются; съ нею они—исполины нравственнаго и вещественнаго міра. Да, только тоть истинный поэть, кто весь поэть. Существуя вполні развитою жизнію вь душахь только преи-

мущественныхъ поэтовъ, поэзія въ то же время есть удель всехь: въ душе каждаго изъ насъ хранится искра ея, и нъть сердца, которое никогда не отозвалось бы на божественные ея звуки... Проницая собою самыя высшія истины ума, поэвія согрѣваеть душу философа и украшаеть подвиги законодателя и героя; но, собственно, она не есть ни умъ, ни разумъ. Поэтому ничъмъ не могутъ выразить сущности поэзіи, кром' названія оной безотчетнымо восторгомо, вдохновениемо. Читайте изъясненія самихъ поэтовъ, писавшихъ о теоріи своего искусства. Сказавши намъ о вещественныхъ формахъ поэтическихъ созданій, они начинають говорить темно, неопредёленно о тайнъ души, непонятной для нихъ самихъ. Въ это святилище воспрещенъ входъ холодному уму и испытующему разуму человъческому. Сами поэты вступаютъ въ него въ редкія минуты вдохновенія и, вышедши оттуда, ничего не помнять, ничего не знають, что тамъ съ ними было... Поэть родится; сдёлаться имъ. выучиться быть поэтомъ-нельзя. Отличенный небеснымь знаменіемъ поэзіи, онъ является въ міръ съ гармоническими звуками, съ поэтическимъ взглядомъ, съ особеннымъ устройствомъ души. Горе ему, если міръ обхватить его жельзными своими когтями и не дасть ему расцвъсти поэтическою жизнію; еще болье горе, если онъ не пойметъ самого себя! Среди людей онъ будетъ странное, уродливое созданіе, жертва страстей своихъ и чужихъ; жизнь его будеть борьба между небомъ и землею. Безсмертный минъ слепца Омира, испрашивающаго милостыни, ведомаго отрокомъ, вотъ истое изображение поэта въ борьбъ съ міромъ! Напрасно, подобно Данте и Мильтону, онъ вмѣшивается въ политическія событія; напрасно любовь, какъ Камоэнсу, улыбается ему на заръ жизни; напрасно, какъ Тассъ, онъ призванъ ко двору властителей; какъ Шиллеръ или Байронъ, хочетъ подчинить себя тихому счастію семейной жизни: тревожный, безпокойный, снёдаемый внутреннимъ огнемъ, поэтъ никогда не уживется съ людьми, не помирится съ условіями жизни ихъ! Но если онъ покорился имъ, увлекся ими, тогда — Прометей, прикованный къ скалѣ Кавказа —зачѣмъ при рожденіи своемъ похищалъ онъ небесный огонь и оживлялъ имъ бренное свое существо?...«.

Съ такими взглядами на задачи поэзіи, съ такими требованіями оть поэтовь выступиль "Московскій Телеграфъ". ярымъ бойцомъ въ защиту новаго романтизмавъ широкомъ смыслъ этого слова — противъ всего, что держалось старыхъ ложно-классическихъ традицій, требовало преклоненія передъ авторитетами и строгаго соблюденія литературныхъ и иныхъ ранговъ. Понятно то ожесточеніе, съ какимъ встрѣтили Полевого консервативные элементы въ литературъ и обществъ, — понятно также и то увлеченіе, съ какимъ привътствовала его молодежь и стголоскомъ котораго служитъ приведенный выше отзывъ Ап. Григорьева. Въ глазахъ этой молодежи, только что начинавшей вдумываться въ окружающее и сознательно искать основъ для разумной жизни и дъятельности, Полевой явился не только глашатаемъ литературнаго романтизма: его смълыя по тому времени ръчи звучали призывомъ къ самостоятельной мысли, къ самосознанію, къ просвъщенію; его живыя, пылкія, юношески восторженныя статьи будили общественную мысль, вызывали критическое отношение къ жизни, поддерживали бодрость духа въ тяжелое для общества и литературы время... Часто онъ увлекался, у него не хватало знаній, а иногда-и безпристрастія, которое такъ трудно сохранить въ пылу полемики; но во всъхъ его увлеченіяхъ и ошибкахъ, все-таки, чувствовался человъкъ честный и върный своимъ нравственнымъ принципамъ. Вотъ почему "Телеграфъ" во все время своего существованія пользовался такимъ вліяніемъ и такою популярностью, какихъ не имълъ до него ни одинъ русскій журналъ.

Но тоть "романтизмъ", за который съ такою силою убъжденія и такъ красноръчиво ратоваль Полевой, быль только мимолетнымъ, переходнымъ моментомъ въ исторіи нашего литературнаго и общественнаго роста. Обращеніе къ философіи, которому первый толчокъ данъ быль все тъмъ же "Телеграфомъ", вскоръ выдвинуло на первый планъ иные, болъе глубокіе вопросы, на которые у Полевого уже не находилось ответа; послышались иныя требованія отъ поэзіи, иныя воззрѣнія на задачи и цѣль литературы; Байронъ и Гюго переставали уже быть единственными властителями думъ молодого покольнія; явился Диккенсъ съ его реальной правдой въ юмористическомъ изображеніи обыденной жизни; въ романахъ Жоржъ-Сандъ послышались первые признаки соціальнаго направленія литературы... И наша передовая публика перестала уже восторгаться запоздалыми отголосками крикливаго Sturmund Drang'a въ повъстяхъ Марлинскаго и предпочла имъ простыя повъсти пушкинскаго Бълкина, "Ревизора" и "Мертвыя Души"... Вопрось о классицизмъ и романтизмъ, по удачному выраженію А. Н. пина, провалился сквозь землю. Школьные годы нашей литературы окончились, и она выступила на новый, самостоятельный путь. Создавалась новая эстетическая теорія, которая главными условіями художественнаго творчества ставила не "священный трепеть вдохновенія" и не отръшенность отъ дъйствительности, а наоборотъ, простоту и одушевление вопросами дъйствительной жизни. И самъ глава нашего "романтизма" 20-хъ годовъ-Пушкинъ, а за нимъ и Гоголь, уже смъялись надъ взвинченными романтическими героями и страстями,--- надъ тъмъ "поэтомъ на скалъ", идеальный образъ котораго все еще рисовался воображенію Полевого. Сторонникъ романтической эстетики, оставаясь върнымъ самому себъ, не могъ отнестись къ этимъ новымъ явленіямъ въ евронейской и нашей литературь иначе, какъ отрицательно;

отказаться же отъ своихъ старыхъ теорій, которыми опредълялось все его міросозерданіе, у него не хватало умственной силы, тъмъ болъе - въ такую пору, когда запрещеніемъ "Телеграфа" (1834) ему быль нанесенъ тяжкій нравственный ударь, отъ котораго онъ уже не могь оправиться... Выработавъ себъ опредъленныя основныя убъжденія, онъ уже не въ состояніи быль отрѣшиться оть нихъ; литературное развитіе далеко опередило критика и публициста, еще такъ недавно стоявшаго въ первомъ ряду "на приступахъ просвъщенія", и онъ оказался отсталымъ, сбитымъ съ позиціи, чужимъ и враждебнымъ новому движенію. Прежнее одушевленіе не покидало Полевого и иногда вспыхивало яркими искрами ума и таланта; но въ последнее десятилетие его литературной дъятельности этотъ умъ и талантъ служили уже старымъ богамъ, призывали въ разрушенный храмъ поклоняться поверженнымъ кумирамъ... Полевой конца 30-хъ и первой половины 40-хъ годовъ, —писатель, ніжогда столь чуткій ко всімь свіжимь візніямь европейской мысли, — уже не понимаеть и не признаеть новыхъ запросовъ времени; онъ исключаетъ Диккенса и Жоржъ-Сандъ изъ области изящнаго и съ решительнымъ отрицаніемъ ръзко осуждаетъ Гоголя и Лермонтова, "Ревизора" и "Мертвыя Души" заурядъ съ "Героемъ нашего времени". Роли мѣняются: писатель, бывшій въ началь свой литературной карьеры предметомъ ожесточенныхъ нападокъ со стороны всякихъ обскурантовъ, теперь является жертвой не менъе ожесточенной полемики со стороны передовыхъ представителей новаго покольнія, которые, въ пылу спора, бросаютъ ему въ лицо обвиненія въ пропов'єди застоя и обскурантизма... Положеніе Полевого въ эти последние годы его жизни было поистинъ трагическое, тъмъ болъе, что онъ не могъ не сознавать его безвыходности, — и тяжелые полемическіе удары, конечно, острою болью отзывались на всемъ его нравственномъ существъ. Глубокою скорбью звучить его загробное слово, — это литературное завъщание писателя, которому суждено было такъ много выстрадать и подъ конецъ—пережить самого себя:

"Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслухъ, что никогда не увлекался я ни злобою, чувствомъ для меня презрительнымъ, ни завистью, чувствомъ, котораго я не понимаю; никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убъжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великаго, полезнаго и добраго. Сміно прибавить, что такое постоянное стремленіе доставляло мнв минуты прекрасныя, усладительныя, награждавшія меня за горести и страданія жизни моей. Сколько разъ слышалъ я искреннюю благодарность и привътъ юношей, говорившихъ, что мпъ одолжены они нравственнымъ наслаждениемъ; и върою въ добро. Не скажеть обо мнв, кто приметь на себя трудь познакомиться съ тъмъ, что было мною писано,--не скажеть, чтобы я чёмъ-либо обезславиль званіе, которое всегда высоко ценю и цениль, - званіе литератора. Мои слова не самохвальство, но искренній голось человъка и литератора, который дорожить названіемь честнаго.

"Между твит, какъ человъкъ, я платилъ горькую дань несовершенствамъ и слабостямъ человъка... Пусть вержетъ за то на меня камень тотъ, кто самъ не испыталъ обмана и разочарованія въ окружающихъ его и— что еще грустнъе—въ самомъ себъ! Если ты еще юнъ, собратъ мой,—ты не судья мнъ: дай пробиться съдинъ въ головъ твоей, дай похолодъть сердцу твоему, дай утомиться силамъ твоимъ отъ труда и времени—и тогда говори и суди меня.

"Я не судья самъ себъ. Но никто не оспоритъ у меня чести, что первый я сдълалъ изъ критики постоянную часть журнала русскаго, первый обратилъ критику

на всѣ важнѣйшіе современные предметы. Мои опыты были несовершенны, неполны, и последователи мои далеко меня обогнали въ сущности и самомъ образъ воззрънія. Пусть такъ. Да и стыдно было бы новому поколенію не стать выше насъ... Многое обновляеть для меня въ настоящемъ чувство утъшительное, но еще большее внушаеть чувство грустное, сознаніе недостигнутой мечты, невыраженныхъ идеаловъ. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто жилъ сколько-нибудь и мыслилъ. Только невъжество, только глупость получили на сей землъ -- впрочемъ, не знаю, счастливую ли -- участь самодовольства. Есть другая награда, более драгоценная, которою благословляеть насъ Провиденіе; мысль, что если Богь даль намъ что-нибудь, сильно горввшее въ душъ нашей, сильно тревожившее насъ въ дни нашей юности, еще безсознательнымъ, теплымъ ощущеніемъ, -- мы не погубили его въ суетв и бъдствіяхъ жизни, не зарыли таланта въ землю... Пусть мы не достигли искомыхъ нами идеаловъ, -- по крайней мъръ, порадуемся, что не безплодно утраченная протекла жизнь наша"...

Только послѣ смерти Полевого настала пора безпристрастнаго сужденія о немь—и признанія его великой заслуги передъ нашимъ обществомъ и литературой. Онъ не удержался на той высотѣ, на которую успѣлъ подняться, онъ "отсталъ отъ вѣка"... Но мысль о его судьбѣ невольно вызываетъ въ памяти слова поэта:

Богъ на-помочь! Бросайся прямо въ пламя—
И погибай...
Но—кто твое держалъ когда-то знамя,—
Тъхъ не пятнай:
Не предали они,— они устали
Свой крестъ нести;
Покинулъ ихъ духъ Гнъва и Печали
На полпути...

Середина 20-хъ годовъ характеризуется, между прочимъ, пробуждениемъ въ нашемъ образованномъ обществъ интереса къ отвлеченной мысли, къ философіи. При невозможности въ тв времена для мыслящаго человъка сколько-нибудь раціональной практической діятельности, умственныя силы находили себъ единственный исходъ въ теоретическихъ разсужденіяхъ, въ попыткахъ разрѣшенія отвлеченныхъ философскихъ задачъ. Вскоръ философія сдѣлалась предметомъ все болѣе и болѣе усиливавшагося восторженнаго увлеченія: въ ней видъли "науку наукъ", дающую возможность познанія всёхъ тайнъ бытія и опредъленія "краеугольныхъ камней" жизни умственной, нравственной и общественной. Въ примънени къ литературѣ это увлеченіе философіей выразилось, главнымъ образомъ, въ изучени новыхъ теорій искусства и въ стремленіи основать литературную критику на болье или менъе прочномъ эстетическомъ фундаментъ. Мы видъли, что именно такъ понималъ свою задачу литературнаго критика Полевой, избравшій своими руководителями Кузена и Гюго; вследь за появленіемь "Московскаго Телеграфа", благодаря которому философскія ученія впервые становились достояніемъ "большой" публики, проявляются въ образованныхъ кружкахъ запросы и на болье серьезныя, болье глубокія философскія доктрины. Этимъ запросамъ въ концѣ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ удовлетворяетъ философія Шеллинга, пріобретающая горячихъ приверженцевъ и поклонниковъ преимущественно въ кругу московскихъ ученыхъ и литераторовъ. Въ системъ Шеллинга искусству отведено было весьма высокое мъсто, какъ откровенію "абсолютнаго принципа", которое даетъ человъку чувство въчной тождественности безсознательной природы и сознательной свободы. Съ одной стороны, вдохновенный художникъ сознаетъ свою творческую дѣятельность, но съ другой — онъ не сознаеть употребляемыхъ имъ средствъ. Когда мы анализируемъ произведение

искусства, намъ кажется, что сознательная обдуманность создала вст его части, —настолько совершенно ихъ координированіе; а между тімь, мы имінемь передь собою произведение чистой самопроизвольности. Шеллингъ замвчаеть по этому поводу, что искусство учить насъ тайнъ природы, которая такъ же безсознательно производить объекты, въ коихъ наблюдается порядокъ, мудрость и сознательная обдуманность. Изъ этого философъ считаетъ себя въ правъ сдълать выводъ, что эстетическая интуиція есть откровеніе тождества, существующаго въ абсолють между сознаніемъ и безсознательностью. "Воть почему", говорить онъ, --- , для философа нъть ничего болъе возвышеннаго, чъмъ искусство: оно открываеть ему святилище, въ которомъ блистаетъ ровнымъ свётомъ въ первоначальномъ и въчномъ единствъ то, что существуетъ раздъльно въ природв и въ исторіи, - то, что постоянно убъгаетъ отъ насъ въ жизни и въ мышленіи. То, что мы называемъ природой, есть поэма, пониманіе которой невозможно, потому что она написана таинственными письменами, но въ которой, --если бы мы только могли понять ее. -- мы признали бы Одиссею духа, который, предаваясь чудесной иллюзіи, непрестанно ища себя самого, непрестанно бізжить оть себя... Природа для художника-то же, что и для философа, идеальный мірь, непрестанно проявляющійся въ конечныхъ формахъ, блідное отраженіе того міра, который пребываеть не вні его мышленія, а въ самомъ этомъ мышленіи "... "Искусство есть само Божество " говориль Шеллингь. "Поэзія есть Богь въ святыхъ мечтахъ земли", -- повторялъ вследъ за нимъ Жуковскій.

Этотъ идеальный взглядъ на искусство и творчество какъ нельзя болъ соотвътствовалъ тому пылкому юношескому одушевленію высокими идеалами свободнаго
духа, которое звучить господствующею нотою въ произведеніяхъ романтической поэзіи:

Въ струнахъ золотыхъ вдохновенье живетъ! Пъвецъ о любви благодатной поетъ, О всемъ, что святого есть въ міръ, Что душу волнуетъ, что сердце живитъ.

Такимъ образомъ, философія Шеллинга вполнѣ подходила къ идеямъ и чувствамъ представителей нашей молодой поэзім 20-хъ годовъ. Ея вліяніе слышится въ произведеніяхъ Пушкина, Жуковскаго и ихъ последователей; ея положенія становятся основою критическихъ сужденій о произведеніяхъ искусства вообще и поэзіивъ частности. Талантливый юноша Веневитиновъ, одинъ изъ самыхъ восторженныхъ поклонниковъ Пушкина и пушкинскаго романтизма, задумывая въ 1826 г. изданіе журнала "Московскій Въстникъ", въ статьъ, которая должна была служить руководящимъ "исповъданіемъ" этого журнала ("Нъсколько мыслей въ планъ журнала"), писаль, что "философія и приміненіе оной ко всімь эпохамъ наукъ и искусствъ-вотъ предметы, заслуживающіе особеннаго нашего вниманія, предметы тімь боліве необходимые для Россіи, что она еще нуждается въ твердомъ основаніи изящныхъ наукъ и найдеть сіе основаніе, сей залогь своей самобытности и следственно своей нравственной свободы въ литературъ, въ одной философіи, которая заставить ее развить свои силы и образовать систему мышленія. Воть подвигь, ожидающій тъхъ, которые возгорять благороднымъ желаніемъ въ пользу Россіи, и следственно-человечества, осуществить силу врожденной дъятельности и воздвигнуть торжественный памятникъ любомудрію, если не въ літописяхъ цёлаго народа, то по крайней мёрё—въ нёсколькихъ благородныхъ сердцахъ, въ коихъ пробудится свобода мысли изящнаго, и отразится лучъ истиннаго познанія".

Первыя статьи "Московскаго Въстника"—журнала, основаннаго, такъ сказать, съ благословенія Пушкина и поддерживаемаго его участіемъ, отличались именно этимъ

юношескимъ увлеченіемъ философіею, благсгов вніемъ передъ нею, стремленіемъ подвести всв познанія подъ одинъ философскій уровень; самый языкь этихь статей, дышавшихъ лирической восторженностью, долженъ былъ производить оригинальное и сильное впечатлёніе. Въ нихъ чувствовался уже повороть къ иной, болье серьезной критикъ, которая состояла бы не изъ однихъ только безотчетныхъ восторговъ передъ произведеніями новой поэзіи, а старалась бы, основываясь на общихъ философскихъ началахъ, разъяснять, между прочимъ, и общественное значеніе и назначеніе произведеній изящнаго слова. Для Веневитинова поэзія не была только "смутнымъ бредомъ" или "горячкой ума", а потому онъ и не смотрѣлъ на романтическую поэзію какъ на залетную гостью, случайно и какъ бы безъ всякаго повода слетввшую на землю. Поэзія въчна и присуща человъческому духу; но ея временныя проявленія во многомъ зависять отъ усп'яховъ современной философіи, понимая подъ нею различныя отношенія общества къ тімь или другимь вопросамь. Веневитиновъ даже прямо говорилъ, что "для общества безполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слъдовательно, уклоняется отъ цъли всеобщаго усовершенствованія". Полемизируя съ Полевымъ, Веневитиновъ указываль на отсутствие въ его критик в единой основной мысли, настаиваль на необходимости исторической точки зрвнія въ оцвнкв произведеній искусства и требоваль, чтобы явленія словесности цінили "степенью философіи времени, по отношеніямъ мыслей каждаго писателя къ современнымъ писателямъ о философіи". Онъ находилъ, что "началомъ и причиной медленности нашихъ успъховъ въ просвъщени была та самая быстрота, съ которою Россія приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое зданіе литературы безъ всякаго основанія, безъ всякаго напряженія внутренней силы. Уму человівческому сродно дъйствовать, и если-бъ онъ у насъ слъдоваль естественному ходу, то характерь народа развился бы собственной своей силою и приняль бы направление самобытное, ему свойственное; но мы, какъ будто предназначенные противоръчить исторіи словесности, — мы получили форму литературы прежде самой ея сущности. У насъ прежде учебныхъ книгъ появляются журналы, которые обыкновенно бывають плодомъ учености и признакомъ общей образованности, и эти журналы до сихъ поръ служатъ пищею нашему невъжеству, занимая умъ игрою ума, увъряя насъ, нъкоторымъ образомъ, что мы сравнялись просвъщеніемъ съ другими народами Европы и можемъ безъ усиленнаго вниманія следовать за успехами наукъ, столь быстро подвигающихся въ нашемъ въкъ, тогда какъ мы еще не вникли въ сущность познанія и не можемъ похвалиться ни однимъ памятникомъ, который бы носиль печать свободнаго энтузіазма и истинной страсти къ наукъ ... Другими словами, Веневитиновъ видълъ въ нашей литературъ отсутствие руководящей идеи, основного принципа, который, по его мнвнію, могь появиться только съ развитіемъ философскаго мышленія; онъ находиль, что нужно было бы "совершенно остановить ходъ нашей словесности и заставить ее болье думать, нежели производить! «

Мы съ намѣреніемъ привели эти обширныя выписки изъ немногочисленныхъ статей юнаго, рано умершаго поэта: выраженныя имъ мысли о задачахъ литературы уже, такъ сказать, носились въ воздухѣ; прошло нѣсколько лѣтъ—и онѣ получили полное выраженіе и многостороннее развитіе въ критикѣ Бѣлинскаго.

Но въ ту пору, когда писалъ Веневитиновъ, положение нашей критики и ея отношение къ литературъ далеко еще не опредълились. Потребность въ философскихъ основанияхъ уже чувствовалась; но на практикъ эта потребность очень ръдко находила себъ какое-нибудь

удовлетвореніе. Веневитиновъ рано сошелъ со сцены, а другіе члены пушкинскаго кружка не имѣли охоты и желанія поддержать "Московскій Вѣстникъ", который скоро опустился на степень самаго зауряднаго и мертвенно скучнаго изданія... Пушкинъ и его ближайшіе друзья относились къ журнальной критикѣ съ нескрываемымъ аристократическимъ презрѣніемъ и нисколько не интересовались ея развитіемъ: въ ихъ глазахъ журнальные судьи литературы были тою "чернью", которой поэтъсчиталъ себя въ правѣ сказать:

Подите прочь! какое дъло Поэту мирному до васъ?

Въ одномъ изъ черновыхъ своихъ отрывковъ онъ говоритъ о себъ: "Пріятель мой, имъя поминутно нужду въ деньгахъ, печаталъ свои сочиненія и имълъ удовольствіе потомъ читать о нихъ печатныя сужденія, что называль онъ въ своемъ энергическомъ простонаръчіи—подслушивать у кабака, что говорять объ насъ холопъя". Если онъ, въ разгаръ полемики между сторонниками классицизма и романтизма, и отзывался иногда на критику, такъ только эпиграммами,—всегда язвительными и часто грубыми до неприличія; въ общемъ же его отношеніе къ современнымъ литературнымъ спорамъ можно назвать юмористически-пренебрежительнымъ:

...Таборъ свой съ классическихъ вершинокъ Перенесли мы на толкучій рынокъ, И тамъ себъ мы возимся въ грязи, Торгуемся, бранимся такъ, что любо, Кто въ одиночку, кто съ другимъ въ связи, Кто просто вретъ, кто вретъ еще сугубо...

Въдь нынче время споровъ, брани бурной: Другъ на друга словесники идутъ, Другъ друга ръжутъ и другъ друга губятъ И хоромъ про свои побъды трубятъ!

"Въстникъ Европы", — органъ отсталыхъ теорій "старца-

котурна" Каченовскаго, и грязная "Сѣверная Пчела" продажнаго Булгарина чаще всего служили предметомъ раздраженныхъ насмѣшекъ поэта и, какъ будто, своею литературною негодностью опредѣляли его общее воззрѣніе на современную русскую критику. Такъ, въ одной изъ его замѣтокъ читаемъ:

"Критика въ нашихъ журналахъ или ограничивается сухими библіографическими извѣстіями, сатирическими замѣчаніями болѣе или менѣе остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается въ домашнюю переписку издателя съ сотрудниками, съ корректоромъ и проч.—"Очистите мѣсто для новой статьи моей",—пишетъ сотрудникъ. "Съ удовольствіемъ",—отвѣчаетъ издатель. И это все напечатано. Недавно въ одномъ журналѣ было упомянуто о порохъ. "Вотъ ужо вамъ будетъ порохъ!"—сказано въ замѣчаніи наборщика; а самъ издатель возражаетъ на сіе:

"Могущему пороку—брань, Безсильному—презрънье".

"Эти семейственныя шутки должны имъть свой ключъ и, въроятно, очень забавны; но для насъ онъ покамъстъ не имъютъ никакого смысла".

"Скажуть, что критика должна заниматься единственно произведеніями, имѣющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочиненіе само по себѣ ничтожно, но замѣчательно по своему успѣху или вліянію, и въ семъ отношеніи нравственныя наблюденія важнѣе наблюденій литературныхъ. Въ прошломъ году напечатано нѣсколько книгъ, между прочимъ Иванъ Выжишинъ, о коихъ критика могла бы сказать много поучительнаго и любопытнаго. Но гдѣ же онѣ были разобраны, пояснены? Не говоря уже о живыхъ писателяхъ, — Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ ожидаютъ еще египетскаго суда. Высокопарныя прозвища, безусловныя похвалы, пошлыя восклица-

нія уже не могуть удовлетворить людей здравомыслящихъ"...

Въ другой замъткъ, изложенной въ формъ разговора между двумя лицами, одинъ изъ собесъдниковъ высказываетъ мнъніе, что въ неудовлетворительномъ состояніи критики виноваты сами выдающіеся писатели наши, которые, видимо, не интересуются правильнымъ направленіемъ литературныхъ сужденій:

"Если бы всѣ писатели, заслуживающіе уваженіе, довѣренность публики, взяли на себя трудъ управлять общимъ мнѣніемъ, то вскорѣ критика сдѣлалась бы не тѣмъ, чѣмъ она есть. Не любопытно ли было бы, напримѣръ, читать мнѣнія Гнѣдича или Катенина объ нынѣшней элегической поэзіи? Не пріятно ли было бы видѣть Пушкина, разбирающаго трагедію Хомякова? Эти господа въ связи между собою и, вѣроятно, другъ другу передаютъ взаимныя замѣчанія о новыхъ произведеніяхъ. Зачѣмъ же не сдѣлать и насъ участниками въ ихъ критическихъ бесѣдахъ?

— Публика довольно равнодушна къ успѣхамъ словесности, —возражаетъ на это другой собесѣдникъ: истинная критика для нея не занимательна; она изрѣдка смотритъ на драку двухъ журналистовъ, мимоходомъ слушаетъ монологъ раздраженнаго автора или пожимаетъ плечами... Критика не имѣетъ у насъ никакой самостоятельности".

Такимъ образомъ, упрекъ, посланный какъ бы изъ среды публики, возвращается ей же самой... Но поэтъ былъ несовсъмъ правъ въ своихъ ръшительно отрицательныхъ приговорахъ: уже и въ концъ 20-хъ годовъ среди безплодныхъ, болъе грамотъйскихъ, чъмъ дъйствительно критическихъ пререканій между классиками и романтиками, высказывались о литературъ сужденія иногда очень здравыя и, какъ показало ближайшее время, очень

плодотворныя. И—что въ особенности замъчательносужденія эти шли не столько изъ лагеря друзей и поклонниковъ Пушкина и "романтизма", сколько изъ лагеря его противниковъ...

Пушкинъ.

Въ нашей литературъ высказано было о Пушкинъ, какъ о поэтт, столько самыхъ разнообразныхъ сужденій, что теперь къ его характеристикъ въ этомъ отношеніи, едва ли уже можно прибавить что-нибудь существенно новое: эстетическіе вопросы, возбужденные его ділельностью и такъ или иначе съ нею связанные, болъе или менте уже исчерпаны. Но для историка литературы, при анализъ писателя, — а тъмъ болье писателя первой величины, какимъ былъ Пушкинъ, представляется, наряду съ выяснениемъ его художественныхъ качествъ, еще другая, очень важная задача: указать живую связь литературнаго дъятеля съ его современностью, съ окружавшими его людьми, съ состояніемъ литературы и общества въ его время; опредълить его роль и значеніе, какъ дъятеля общественнаго; показать, какъ самъ онъ смотръль на литературу, въ чемъ видъль ея обязанности, какія ставиль ей требованія; словомь, представить писателя не какъ отвлеченную величину, а какъ органическій продукть даннаго общества и данной эпохи. Только такое изучение можеть привести къ правильному уразумѣнію заслугь писателя передъ его современниками

и потомствомъ и къ върному опредъленію мъста, какое долженъ опъ занимать въ исторіи литературы и общественнаго развитія своей страны. Въ этомъ именно отношеніи опънка Пушкина представляется намъ далеко еще не законченной, а потому, можетъ быть, нелишнею будетъ попытка взглянуть на поэта, какъ на живого человъка въ кругу современныхъ ему живыхъ людей.

До сравнительно недавняго времени наша критика разсматривала дъятельность Пушкина почти исключительно съ художественной стороны, обращая мало вниманія на его отношеніе, какъ литератора, къ современной ему жизни. Эта односторонность анализа находить себъ объяснение какъ въ общихъ условіяхъ нашей литературы, такъ и въ той особенной судьбъ, какая выпала на долю произведеній поэта. Первый изъ нашихъ критиковъ, задавшійся цёлью подробно прослёдить литературную діятельность Пушкина, Білинскій, не иміль возможности говорить о ней иначе, какъ съ точки эрънія чистой поэвіи, чистаго искусства, и высказаль даже такое мнініе, что Пушкинь, по самой натурів своей, и не могъ быть ничемъ инымъ, какъ великимъ мастеромъ художественнаго русскаго слова, учителемъ изящнаго. Впрочемъ, критикъ тутъ же прибавляеть, что къ особеннымъ свойствамъ пушкинской поэзіи принадлежить ея способность развивать въ людяхъ не только чувство изящнаго, но и чувство гуманности, разумъя подъ этимъ словомъ безконечное уважение къ человъческому достоинству. "Придеть время, говорить онъ, --- когда Пушкинъ будеть въ Россіи поэтомъ классическимъ, но твореніямъ котораго будуть образовывать не только эстетическое, но и нравственное чувство".

Въ этихъ последнихъ словахъ лишь въ виде слабаго намека указано то высокое значение, какое иметъ Пушкинъ въ истории не только нашей поэзии, но и нашего общественнаго развития. Признание его воспитателемъ эстетическаго и нравственнаго (хотя прежде всего эстетическаго) чувства въ русскомъ обществъ, художе-, ственнымъ выразителемъ русскаго духа, -- легло въ основу дальнъйшихъ сужденій о немъ нашей критики. Слова Бълинскаго стали, такъ сказать, ходячей монетой и повторялись, съ незначительными измѣненіями всякій разъ, когда заходила рѣчь о значеніи Пушкина въ руской литературь. Можно было бы указать цылый рядь статей, которыя, въ сущности, представляють только распространеніе мыслей знаменитаго критика, и притомъраспространеніе именно въ сторону эстетическую, между тёмъ какъ другая сторона, нравственная и общественная, все больше и больше оставлялась въ твни. Произведенія чистаго искусства, какъ изв'єстно, могуть быть разсматриваемы совершенно отвлеченно, внѣ всякихъ условій м'єста и времени, потому что это-произведенія въчныя и общечеловъческія; съ такой отвлеченной точки зрвнія, чисто художественной и вовсе не исторической, и смотрела на деятельность Пушкина почти вся наша критика 50-хъ и 60-хъ годовъ. Даже писатели, безусловно и восторженно поклонявшіеся Пушкину, видёли въ немъ только великаго художника. Такое поклоненіе поэту, какъ жрецу чистаго искусства, по справедливому замѣчанію Аполлона Григорьева *), "лишаеть поэта его великой личности, его пламенныхъ, но обманутыхъ жизнью сочувствій, его высокаго общественнаго значенія, и низводить его на степень кимвала звенящаго и мъди бряцающей, громкаго и равнодушнаго эха, сладко поющей птицы". Сознавая всю недостаточность этого односторонняго взгляда, Ап. Григорьевъ старался его устранить и доказываль, что въ лицѣ Пушкина наша литература имбеть "перваго и полнаго представителя нашей народной физіономіи въ мірѣ всѣхъ нашихъ сочувствій, не только художественныхъ, но общественныхъ и нрав-

^{*)} Сочиненія (1876), І, 238.

ственныхъ". Развивая и во многомъ существенно дополняя сужденія Бѣлинскаго, Ап. Григорьевъ первый категорически формулировалъ положеніе, что "всѣ истинныя, правдивыя стремленія современной нашей литературы находятся въ духовномъ родствѣ съ пушкинскими стремленіями, отъ нихъ по прямой линіи ведутъ свое начало". Въ этихъ словахъ, конечно, прежде всего подразумѣвалось стремленіе нашей литературы къ жизненной, реальной правдѣ и къ народности, составляющее ея историческую основную задачу и ея могучую силу.

Но Ап. Григорьевъ не успълъ развить своихъ взглядовъ съ тою определенностью и полнотою, какія необходимы были для того, чтобы упрочить эти взгляды въ литературномъ сознаніи, — и его голосъ остался въ его время одинокимъ голосомъ вопіющаго въ пустынъ. Напротивъ, передовые представители нашей критики 60-хъ годовъ все болъе и болъе ограничивали даже приговоръ Бълинскаго и въ самомъ дълъ низводили поэта на степень сладко поющей птицы. Наиболее умеренные между ними признавали, что Пушкинъ усвоилъ одну только форму русской народности, а не духъ ея, и, говоря объ общественныхъ стремленіяхъ поэта, договаривались до странной мысли, будто Пушкинъ совсвиъ не понималъ насущныхъ потребностей современнаго ему общества и даже все больше и больше съ нимъ расходился, такъ что смерть его явилась, будто бы, какъ нельзя болье кстати: она "избавила поэта отъ печальной необходимости видъть себя живымъ мертвецомъ среди того самаго общества, которое еще недавно рукоплескало каждому его слову". Лругіе шли еще дальше, отрицая уже всякое значеніе Пушкина въ литературъ, такъ какъ область чистаго искусства, представителемъ котораго онъ считался, въ настоящее время, будто бы, "не имфетъ уже никакого жизненнаго смысла". Самыя вдохновенныя созданія поэта презрительно обзывались "стишками", побрякушками, въ которыхъ воспъваются мелкія чувствица никуда не годныхъ шалопаевъ, и т. д.

Это безусловное, безпощадное отрицание поэта, доходившее даже до шутовского глумленія надъ нимъ, было, какъ ни страннымъ можеть это показаться на первый взглядь, последовательною reductio ad absurdum сужденій критика, благогов вшаго передъ созданіями пушкинской музы. Въ Пушкинъ, по старой памяти, продолжали видеть исключительно художника, совершенно чуждаго действительной жизни съ ея тревожными запросами, съ ея радостями и горемъ, поэта-созерцателя, олимпійца, который съ заоблачныхъ высотъ своего творчества равнодушно и презрительно смотрить на окружающую его "чернь" и не дорожить народною любовью. Въ немъ не замъчали, да, можетъ быть, и не хотъли замівчать других всторонь, кромів этой аристократической. брезгливости къ толпъ съ ея житейскими треволненіями, кромъ этого суроваго отталкиванія отъ себя общественныхъ вопросовъ:

«Подите прочь! Какое дѣло Поэту мирному до васъ?»

Эти слова приняты были за безусловную аксіому чистаго искусства и послужили исходнымъ пунктомъ для отрицательнаго взгляда на Пушкина. Въ ту эпоху общаго напряженнаго оживленія, чисто юношескаго увлеченія насущными интересами дня,—въ эпоху, про которую сложилась знаменитая фраза: "Въ настоящее время, когда..."—поэтъ, повидимому чуждый этой злобъ дня, все и всъхъ поглотившей, долженъ былъ казаться отжившимъ свое время, архивнымъ. Если поэтъ отвернулся отъ общественныхъ, житейскихъ треволненій, то общество считаетъ себя въ правъ отвернуться отъ него и, въ свою очередь, сказать ему: "Иди прочь, ты намъ не нуженъ, твоя пъсня безплодна, какъ вътеръ,—иди въ свою могилу, и чъмъ скоръе поростетъ она травой забвенья, вмъстъ со всъмъ твоимъ временемъ,—тъмъ лучше.

Наше время ръшаетъ основныя задачи жизни практической, -- наслаждение созданиями чистаго искусства для него не нужно, и даже вредно. Намъ нуженъ теперь иной поэть, муза котораго была бы "музою мести и печали"... И воть, посреди общаго развенчиванія старыхъ боговъ, среди торопливаго низверженія прежнихъ кумировъ, которымъ еще недавно всв поклонялись, долю Пушкина выпадають самые жестокіе удары. У него. да и вообще у всей области искусства, представителемъ котораго онъ быль признанъ, стараются отнять всякое значеніе для современности; его имя вызываеть даже враждебныя чувства; за нимъ не хотятъ признать никакихъ заслугъ, хотя бы даже чисто литературныхъ; словомъ, Пушкинъ "упраздняется" изъ литературы точно такъ же, какъ въ 1837 году онъ былъ "упраздненъ" изъ жизни, — за ненадобностью. По пословицъ: "крайности сходятся", передовые представители нашей отрицательной критики 60-хъ годовъ могли бы подать руку тъмъ гонителямъ поэта, которые надъ еще не закрывшейся его могилой не скупились на слова отрицанія и осужденія, говоря, что "писать стишки—не значить проходить великое поприще", или "много этой дряни, сочиненій-то вашего Пушкина, было напечатано при его жизни; зачёмъ еще понадобилось отыскивать и печатать неизданное?" (выговоры графа С. С. Уварова и Л. В. Дуббельта-Краевскому). Сходство характерное, хотя, разумъется, только внъшнее: тамъ, въ "доброе старое время", мы видимъ полное отрицание литературы вообще, какъ органа общественнаго самосознанія; здёсь; въ эпоху "бурныхъ стремленій", разрушительные удары критики направляются на всю ту полосу нашей гражданственности, среди которой жилъ и действовалъ Пушкинъ, и въ усиленномъ отрицаніи сказывается горячее желаніе какъ можно скорве, окончательно и безповоротно, отрвшиться отъ всякихъ преданій той поры, навсегда уничтожить связь современности съ тяжелымъ, недавно отжитымъ прошлымъ. "Вина" Пушкина была въ томъ, что онъ стояль въ первомъ ряду литературы своего времени, что его имя было какъ бы символомъ цёлаго періода нашего умственнаго развитія; оттого-то ему и пришлось вынести наибольшее количество нападеній. Нападенія были жестоки, несправедливы, — критика знала только отвлеченнаго Пушкина и не хотъла знать реальнаго, живого литературнаго деятеля; но въ ея заблужленіяхъ едва ли было что-нибудь неискреннее: въ нихъ сказалась только черезчуръ пылкая и молодая самоувъренность, мечта о свъжихъ силахъ новаго времени, которыя должны создать для общества новую жизнь, совстить несхожую съ прошлымъ; эта новая жизнь, казалось тогда, не должна имъть съ прежнею ничего общаго, должна безъ оглядки и навсегда отвернуться отъ прошлаго и отказаться, во имя будущаго, даже и отъ того, что было дорого прежнему поколѣнію.

Таково, повидимому, было основное зерно отрицательнаго отношенія нашей критики 60-хъ годовъ къ Пушкину. Невърное въ принципъ, поддерживаемое только горячимъ увлеченіемъ молодости, отрицаніе не могло остаться въ литературъ надолго; но брошенное имъ съмя сомнѣнія, все-таки, принесло свой плодъ. Пушкинъ, такъ сказать, былъ "оставленъ въ подозрѣніи"; къ нему обращались уже неохотно, считая его отжившимъ свое время, и въ лучшемъ случаъ не безъ нъкоторой снисходительности повторяли все тъ же сужденія Бълинскаго, которыя (косвенно) послужили поводомъ къ нападкамъ на поэта за его, будто бы, исключительно художественное міросозерцаніе...

Между тъмъ, время шло впередъ и все болъе и болъе отдаляло живущее поколъніе отъ Пушкина и его эпохи; историческое изученіе мало-по-малу вступало въ свои права и начинало уже настойчиво требовать пересмотрастарыхъ приговоровъ. Съ другой стороны, и живая душарусскаго общества все больше и больше чувствовала потребность вернуться къ оставленному поэту, все яснѣе и яснѣе сознавала свое духовное съ нимъ родство и убѣждалась, что истинная красота не находится въ противорѣчіи ни съ высшимъ благомъ, ни съ высшею правдою. Россія, по прекрасному выраженію Тютчева, не забыла Пушкина, какъ первую свою любовь, —и пѣвецъ народной скорби, поэтъ мести и печали, на склонѣ своей литературной дѣятельности, явился чуткимъ выразителемъ этой сердечной привязанности:

«Прости слъщамъ, художнивъ вдохновенный, И возвратись!.. Волшебный факелъ свой, Погашенный рукою дерзновенной, Вновь засвъти надъ гибнущей толпой! Вооружись небесными громами, Нашъ падшій духъ взнеси на высоту, Чтобъ человъкъ не мертвыми очами Могъ созерцать добро и красоту!..»

И, какъ бы въ отвътъ на этотъ вдохновенный призывъ, мы были свидътелями величаваго проявленія національнаго чувства къ Пушкину, какъ великому народному поэту и одному изъ передовыхъ представителей русской національной мысли. Открытіе памятника и незабвенные "пушкинскіе дни" 1880 года были торжественнымъ, всенароднымъ возведеніемъ Пушкина на ту высоту, на которой онъ долженъ стоять, какъ наша національная, общерусская гордость и слава и какъ поэтъ всемірный. Съ этого времени и въ отношеніяхъ нашей критики къ поэту начинается рёшительный поворотъ. Для Пушкина наступила исторія, —и тв "беззаконные рисунки" и "чуждыя краски", которые были наложены на его произведеніяхъ и біографіи, стали, мало по малу, "спадать ветхой чешуей"; величавый образь поэта, съ его задушевными идеями и стремленіями, съ его высокими нравственными завѣтами литературѣ и обществу, среди котораго онъ жилъ, мыслилъ и страдалъ, все яснъе и яснъе выступаетъ передъ потомствомъ, уже не затемняемый прежними фальшивыми представленіями, и изученіе этого подлинисто Пушкина становится главной задачей историка литературы и общественной жизни. Но это изученіе имбеть не историческій только интересь: путь, пройденный нами съ той поры, когда жилъ и дъйствовалъ Пушкинъ, конечно, во многихъ отношеніяхъ измѣнилъ условія нашей жизни; но нельзя не замѣтить также, что во многихъ отношеніяхъ Пушкинъ все еще представляется нашимъ современникомъ, — что эпоха, когда онъ жилъ и умеръ, намъ понятнѣе, ближе, родственнѣе, чѣмъ покажется, вѣроятно, наше время—нашимъ внукамъ.

Въ самомъ дѣлѣ, только ли поэта-художника, великаго, но безстрастнаго, видъли въ Пушкинъ люди, среди которыхъ онъ жилъ, которые, въ дни его предсмертной агоніи, съ утра до ночи огромною толпою стекались къ его дому, и чувства которыхъ, раздъляемыя всею грамотною Россіею, съ такою мощью вылились въ желѣзномъ стихв Лермонтова, - въ этомъ воплв ужаса, скорби и негодованія? Поэта ли только видёль въ немъ, съ другой стороны, тотъ малочисленный, но сильный своимъ общественнымъ положениемъ кружокъ людей, которые при его жизни "такъ долго гнали его свободный, чудный даръ", всеми силами старались, по обычному въ тв времена выраженію, "убрать" его-и, наконецъ, достигнувъ своей цъли, не перестали преслъдовать его даже и за гробомъ? Поэзія, сама по себъ, едва ли могла бы послужить достаточнымъ поводомъ къ такому небывалому и поразительному для того времени проявленію общественнаго сочувствія и, конечно, еще менте могла бы вызвать такое озлобленное отрицание. Нътъ, — въ лицъ Пушкина одни высоко чтили, а другіе ожесточенно преследовали не только вдохновеннаго певца, величайшаго изъ художниковъ родного слова, а одного изъ техъ, весьма въ то время немногочисленныхъ, представителей дружины ученыхъ и литераторовъ, которые, по выраженію поэта, "всегда стоять впереди во всёхъ набёгахъ просвъщенія, на всъхъ приступахъ образованности, и не должны малодушно негодовать, что въчно имъ опредълено выносить первые выстрёлы и всё невзгоды, опасности ремесла" (V, 120) *), благороднаго общественнаго дъятеля и руководителя. Въ лицъ Пушкина, въ эпоху мрачную, которую онъ самъ назвалъ "жестокимъ въкомъ", духъ общества открыто заявлялъ свое сознательное бытіе, свою неустрашимость и свое право на жизнь. Пушкинъ не только быль творцомъ нашей новой литературы, въ которой, при отсутствіи въ ту эпоху иныхъ сферъ общественной дъятельности, исключительномогло проявляться наше самосознаніе, -- литературы, которой такъ долго, по выраженію Достоевскаго, было-"наше все", —но онъ всегда умълъ и стремился пробуждать въ обществъ "добрыя чувства" и ту жажду правды, свободы и просвещенія, которая всегда жила въ собственной его душъ. Съ этой именно стороны личность и поэзія Пушкина заслуживають самаго подробнаго и внимательнаго изученія, которое дало бы возможность правильно понять и оцёнить человека и поэта.

Напомнимъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, основные факты біографіи Пушкина, въ связи съ его литературною двятельностью и развитіемъ его идей.

Воспитанный въ семъв, которой были близки умственные и литературные интересы своего времени, съ дътства знакомый съ Дмитріевымъ, Карамзинымъ, Жуковскимъ, какъ друзьями своего отда и поэта-дяди, еще ранве поступленія въ Царскосельскій Лицей уже успъвшій съ жадностью перечитать почти всъхъ старыхъ французскихъ поэтовъ, начиная съ Мольера и продолжая Вольтеромъ, Шенье, Грессе и Парни, Пушкинъ въ отроческіе годы, на школьной скамъв, пробуетъ писать стихотворенія, ко-

^{*)} Всъ ссылки на произведенія Пушкина сдъланы по изданію Литературнаго фонда, С.-Пб. 1887.

торыя по своему содержанію представляють подражанія названнымъ поэтамъ, а по формъ- отголоски стиховъ-Батюшкова, Жуковскаго, Державина, Дмитріева и даже Карамзина. Стихъ его мало по малу вырабатывается, пріобр'втаеть гладкость и звучность; это еще "переп'ввы", но уже такіе, въ которыхъ иногда слышатся самостоятельныя, своеобразныя нотки; игривыя эротическія темы Парни и Батюшкова обрабатываются Пушкинымъ легкои оригинально; томная мечтательность Жуковскаго и напыщенная риторика Державина воспроизводятся имъ одинаково върно и выдержанно, --- хотя, въ сущности, уже ни та, ни другая не привлекають его сочувствій. Окруженный въ Лицев даровитыми товарищами, изъ которыхъ многіе также очень рано начали пробовать свои литературныя силы и въ прозъ, и въ стихахъ, посреди постоянныхъ споровъ и разсужденій о современной литературь, юноша Пушкинъ сразу всеми своими симпатіями становится на сторону того литературнаго лагеря, во главъ котораго стояли тогда Карамзинъ и его сподвижники,--того новаго литературнаго движенія, къ которому примкнули Жуковскій и князь Вяземскій. Это движеніе было направлено противъ стараго классицизма, котораго рутинность и бездарное педантство успъли уже всъмъ надоъсть; но и оно само заключало въ себъ прогрессивные элементы лишь чисто-формальнаго характера: покуда это быльтолько еще споръ "о старомъ и новомъ слогв"; старинный узкій взглядь на поэвію оставался еще неприкосновеннымъ; понятія о литературномъ вкуст все еще вырабатывались на основаніи Лагарпа и Батте; даже старыя "правила стихотворства" еще не утратили своей обязательности, хотя ихъ фальшивость уже чувствовалась; лицейскія стихотворенія Пушкина полны миноологическихъ именъ и сравненій совершенно во вкусть анакреонтическихъ пьесъ Державина; но въ то же время онъ уже подсмъивается надъ похвальными одами и "бъщеными" трагедіями отечественныхъ рифмачей. Насмінки надъ

бездарными стихотворцами, которых классическая манера окрестила Бавіями и Мевіями, надъ литературными старовърами. Шишковымъ и его "Бесъдой", и съ другой стороны — преклоненіе передъ литературнымъ авторитетомъ Карамзина и Жуковскаго и прямо заявленное желаніе идти по ихъ слъдамъ, — таковы характерныя черты литературныхъ взглядовъ лицеиста-Пушкина. Въ этомъ признаніи передовыхъ дъятелей нашей литературы того времени своими руководителями заключалось, вмъстъ съ тъмъ, и признаніе впервые ими провозглашеннаго принципа свободы, знамя которой было поднято извъстнымъ "арзамасскимъ" кружкомъ молодыхъ писателей. Будущій литературный путь Пушкина былъ, такимъ образомъ, уже намѣченъ въ то время, когда юный поэтъ еще "безмятежно расцвъталъ въ садахъ Лицея".

Но кромѣ поэтовъ-руководителей, произведеніями которыхъ вдохновлялся молодой Пушкинъ, кромъ чуткихъ и даровитыхъ товарищей, съ которыми делилъ онъ свои поэтические досуги, кромъ лицейскихъ преподавателей, которые умёли зажигать пламя въ сердцахъ своихъ юныхъ учениковъ, немалое вліяніе на Пушкина имѣлъ и тотъ кругъ военной молодежи, съ которымъ онъ близко сошелся нь Царскомъ Сель. Военное сословіе того времени, безспорно, было самымъ передовымъ въ нашемъ обществъ. Военная служба, еще недавно обязательная для всёхъ дворянъ, считалась единственно-возможною для порядочнаго человъка, такъ что лицейскому другу Пушкина, Ив. Ив. Пущину, дъйствительно, было нужно немало самоотверженія, чтобы, отказавшись оть мундира, занять приказную должность надворнаго судьи. Молодые гвардейцы, аристократы не только по рожденію, но и по воспитанію, выросшіе среди либеральных візній первыхъ льть александровского царствованія, затьмь близко и непосредственно познакомившіеся съ европейскимъ обществомъ и его идеями во время памятнаго похода Россіи въ Европу, - вернулись на родину съ готовымъ запасомъ новыхъ возгреній, совершенно чуждыхъ и враждебныхъ старинному складу нашего общества. То было время политическаго романтизма, юношески-пылкихъ, но смутныхъ и черезчуръ отвлеченныхъ мечтаній о всеобщей свободъ и братствъ народовъ, когда низвержение наполеоновской тираніи казалось только прологомъ къ окончательному разрушенію среднев ковых в традицій въ политической жизни европейского общества. Друзья Пушкина, царскосельскіе лейбъ-гусары, также съ увлеченіемъ предавались этимъ вольнолюбивымъ мечтамъ и надеждамъ, и беседы съ ними оставили глубокій слёдь въ воспрічмчивой душё молодого поэта. Въ числъ этихъ офицеровъ находился одинъ изъ образованнъйшихъ людей своего времени, П. Я. Чаадаевь, къ которому Пушкинъ навсегда сохранилъ дружеское чувство и искреннее уваженіе, какъ къ своему "учителю". Чаадаевъ былъ всего на три года старше Пушкина; но его блестящій умъ, обширная начитанность, ъдкое, парадоксальное остроуміе, не могли не дъйствовать на его младшаго друга обаятельнымъ и подчиняющимъ образомъ. Въ политическомъ воспитании Пушкина, ему, конечно, принадлежить видная роль. Юношеская въра въ возможность осуществленія свободныхъ идеаловъ на русской почвъ была темою безконечныхъ бесъдъ объ этомъ предметь среди людей, осужденных тогдашним строемъ русскаго общества на безплодную праздность, людей, которые, получивъ возможность общественной деятельности, дъйствительно, могли бы проявить богатыя умственныя и нравственныя силы. Чаадаевъ, который, по словамъ Пушкина, "въ Римъ былъ бы Бруть, въ Асинахъ-Периклесъ", въ тогдашней Россіи долженъ быль оставаться только гусарскимъ офицеромъ; геттингенскій студенть Каверинъ, который, подобно Ленскому, также "изъ Германіи туманной привезъ вольнолюбивыя мечты", тратилъ свои силы на гомерические кутежи; другие, болье энергичные, вродъ М. О. Орлова, Никиты Муравьева, Н. И. Тургенева, пытались поставить политические и общественные вопросы на практическую почву и уже задумывали "Союзъ Благоденствія". Между тімь, новое время становилось все менъе и менъе похожимъ на недавнее прошлое. "Дней Александровыхъ прекрасное начало" быстро приближалось къ концу; вопреки убъжденію поэта, что "на поприщъ ума нельзя намъ отступать", —мы усиленно отступали, и изъ въка свободы и просвъщенія уже готовы были переселиться въ средніе въка. Принципы "Священнаго Союза , послужившіе фундаментомъ для общей европейской реакціи, получали широкое прим'єненіе и на русской почв'я; вліяніе ханжей и обскурантовъ усиливалось, Аракчеевъ стоялъ уже очень высоко... Въ такую-то пору Лушкинъ, 18-ти лѣтнимъ юношей, вышелъ изъ стѣнъ Лицея. Въ обществъ онъ сразу занялъ мъсто въ кругу тогдашней "золотой молодежи", которая единственною цълью жизни ставила безшабашное ея прожиганіе. Разсвянная свытская жизнь, такъ живо описанная въ первой главъ "Онъгина", холостыя пирушки, театральныя похожденія, дружескій кружокъ "Зеленой Лампы", съ его вычурными затъями по части веселаго препровожденія времени, —все это поглотило значительную часть первыхъ трехъ лътъ петербургской жизни поэта. Но, не смотря на такую обстановку, таланть его рось и развивался, быстро освобождаясь отъ постороннихъ вліяній и приводя въ изумленіе прежнихъ его руководителей. "Стихи чертенкаплемянника чудесно хороши", —писаль въ 1818 году кн. Вяземскій къ Жуковскому. "Этотъ бішеный сорванецъ насъ всёхъ зайсть, насъ и отцовъ нашихъ". Безъ преувеличенія можно сказать, что пушкинскіе стихи, появляясь въ журналахъ того времени, --- въ этихъ тощихъ книжечкахъ, напоминающихъ ученическія тетрадки, -- одни давали имъ гораздо больше содержанія, чёмъ всё остальныя статьи, которыя едва-ли къмъ и читались. Вмёсть съ тьмъ, Пушкинъ былъ близокъ и къ "обществу умныхъ" или, какъ онъ ихъ называлъ, "молодыхъ якобинцевъ". — будущихъ декабристовъ, и сохранялъ прежнюю тъсную

связь съ Жуковскимъ и Карамзинымъ, какъ своими литературными руководителями. Среди эротическихъ стихотвореній этой эпохи поражаютъ изяществомъ мысли и формы поэтическія обращенія къ Жуковскому, этому "глубоко вдохновенному пѣвцу всего прекраснаго"; наряду съ ними стоитъ знаменитое стихотвореніе "Деревня", въ которомъ такъ ярко выразился благородный образъ мыслей поэта и его политическій идеалъ:

«Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный И рабство, падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвъщенной Взойдеть ли, наконець, прекрасная заря?»

Въ этихъ словахъ заключается, можно сказать, программа, которой Пушкинъ не измѣнялъ во всю свою жизнь: уничтоженіе крѣпостного рабства царскою властью и установленіе тою же властью гражданской свободы, основанной на просвѣщеніи. Прочитавъ эти стихи, императоръ Александръ сказалъ: "Поблагодарите Пушкина за добрыя чувства, внушаемыя его поэзіей (I, 306), слова, о которыхъ поэтъ вспомнилъ семнадцать лѣтъ спустя, говоря о своихъ заслугахъ передъ родиной:

«И долго буду тёмъ любезенъ я народу, Что *чувства добрыя* я лирой пробуждаль, Что въ мой жестокій вёкъ возславиль я свободу И милость къ падшимъ призываль».

"Вольнолюбивыя" мечты и надежды, вмѣстѣ съ вѣрою въ лучшее будущее, жили въ душѣ поэта и разгарались тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе сгущался мракъ, нависшій надъ умственною жизнью русскаго общества. Въ 1818 г. онъ писалъ Чаадаеву:

«Мы ждемъ, съ волненьемъ упованья, Минуты вольности святой, Какъ ждетъ любовникъ молодой Минуты сладкаго свиданья»...

а въ 1820 г., въ то самое время, когда Магницкій, Руничъ и ихъ достойные сотрудники уже совсёмъ приго-

товились погасить русское просвещение и настойчиво советовали такъ "оградить Россію отъ Европы, чтобы и слухъ происходящихъ тамъ неистовствъ не достигалъ до нея",—изъ-подъ пера Пушкина выливается восторженный гимнъ свободъ. Въ эпоху общей реакціи, которан особенно тяжело отозвалась у насъ, въ такую эпоху, когда поэтъ повсюду видитъ "бичи, жельзы, законовъ гибельный позоръ, неволи немощныя слезы",—онъ смъло возвышаетъ голосъ въ защиту законности (I, 220):

Лишь тамъ
Не слышится людей стенанье,
Гдѣ крѣпко съ вольностью святой
Законовъ мощныхъ сочетанье,
Гдѣ всѣмъ простертъ ихъ крѣпкій щитъ..

Онъ не лукавить самъ съ собой и не боится бросать убійственныя эпиграммы въ лицо властнаго временщика и ханжей-гасильниковъ просвещения. Известно, что эти эпиграммы и вольнолюбивыя стихотворенія Пушкина, столь же ръзко противоръчившія тогдашнему настроенію, сколько они были согласны съ идеалами первыхъ дътъ александровскаго царствованія, навлекли на него тяжедую кару. О немъ стали говорить, будто онъ "наводнилъ всю Россію возмутительными стихами", и ему уже грозила ссылка въ Сибирь, или даже заточение въ Соловецкомъ монастырь, отъ котораго онъ былъ спасенъ только хлопотами Чаадаева и заступничествомъ Карамзина и благороднаго графа Каподистріи. Карамзинъ, говоря его собственными словами, "спасъ несчастнаго, обреченнаго Року и Немезидамъ", — и грозившее поэту наказание было замънено ссылкой въ далекій, дикій Кишиневъ.

Такъ закончился первый періодъ жизни и д'вятельности Пушкина.

Въ числ'в людей, им'ввшихъ несомн'вное вліяніе на Пушкина въ первомъ період'в его петербургской жизни, мы назвали два имени—Чаадаева и Карамзина. Отношенія поэта къ этимъ людямъ, столь непохожимъ одинъ

другого, заслуживають вниманія. При тёхъ особенныхъ, еобразныхъ условіяхъ, въ какія было поставлено разе нашей литературы въ первой половинъ минувшаго стольтія, въ русскомъ обществъ никогда не переводились люди, которые своею высокою личностью имели на современниковъ чрезвычайно сильное и благотворное вліяніе, а между темъ въ литературе оставляли по себе лишь весьма скромный и невыразительный следъ. Это, говоря словами Некрасова, тѣ два-три человъка, которые выносять на своихъ плечахъ все покольне. Таковъ быль Н. В. Станкевичъ; таковъ былъ Т. Н. Трановскій; первымъ по времени въ ряду этихъ людей стоить Н. Я. Чаадаевъ. Просвъщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, открытое для всего высокаго, воть тъ качества, которыя всъхъ къ нему привлекали; по словамъ писателя совершенно иной школы, - по словамъ Хомякова, —*) Чаадаевъ былъ особенно дорогъ тъмъ, что въ "такое время, когда мысль, повидимому, погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ и самъ бодрствоваль, и другихъ пробуждалъ, -- тъмъ, что въ сгущающемся сумракъ того времени онъ не давалъ потухать лампадъ и игралъ въ ту игру, которая извъстна подъ именемъ "живъ курилка". Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга... "Съ Чаадаевымъ Пушкинъ близко сошелся еще въ бытность свою въ Лицев, и съ техъ поръ на всю жизнь сохранилъ къ нему чувство самаго искренняго дружескаго расположенія. Продолжительныя и горячія бесёды, несомнінно оставившія слідь въ душі Пушкина, романтическія мечты о свобод и о служеніи благу родины, одинаковые литературные вкусы-воть что соединяло обоихъ друзей, и вотъ какъ самъ Пушкинъ говорить о значеніи этой дружбы въ знаменитомъ посланіи къ Чаадаеву изъ Кишинева, 1821 г. (І, 242):

^{*)} Сочиненія, І, 720.

Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживлялъ ее совътомъ иль укоромъ, Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; Терпънье смълое во мнъ рождалось вновь; Ужъ голосъ клеветы не могъ меня обидъть: Умълъ я презирать, умъя ненавидъть.

Во-время узнавъ объ угрожавшей Пушкину опасности, Чаадаевъ бросился къ Карамзину и успѣлъ уговорить его вступиться за поэта. Воспоминаніе объ этой дружеской услугѣ также, конечно, было дорого Пушкину:

Въ минуту гибели, надъ бездной потаенной Ты поддержалъ меня недремлющей рукой...

На листкъ, случайно сохранившемся отъ дневника, который Пушкинъ велъ въ Кишиневъ, набросаны слъдующія строки: "Получиль письмо оть Чаадаева. Другь мой, упреки твои жестоки и несправедливы: никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мнв замвнила счастье, одного тебя можетъ любить холодная душа моя". По всей въроятности, дъло идеть объ отвътъ Чаадаева на одно изъ писемъ Пушкина, который именно въ это время жаловался, что петербургскіе друзья относятся къ нему слишкомъ невнимательно. Изъ дальнвишаго видно, что Чаадаевъ не получилъ несколькихъ писемъ Пушкина; подобные случаи неръдко бывали въ это время въ почтовой перепискъ поэта, и однажды даже вызвали у него энергическое восклицание по адресу любопытныхъ читателей чужой переписки (VII, 28). Весьма въроятно, что именно къ Чаадаеву относится и отрывокъ письма, сохранившійся на томъ же листкъ кишиневскаго дневника: "Мой достойный наставникъ, смѣлый, ѣдкій, злой, но этого еще не достаточно: нужно быть жестокимъ, тираномъ, мстительнымъ; къ этому-то я и прошу васъ привести меня", и т. д. (VII, 25).

Съ своей стороны и Чаадаевъ, уже долгое время спустя послъ смерти поэта, съ теплымъ чувствомъ вспоминалъ о дружбъ Пушкина. "Эта дружба, говорилъ онъ,

принадлежить къ лучшимъ годамъ жизни моей, къ тому счастливому времени, когда каждый мыслящій человъкъ питалъ живое сочувствіе ко всему доброму, какого бы цвъта оно ни было, когда каждая разумная, безкорыстная мысль чтилась выше самаго безкорыстнаго поклоненія прошедшему и будущему **).

Инымъ характеромъ отличались отношенія Пушкина къ Карамзину и Жуковскому. Молодой поэтъ съ дътства привыкъ уважать этихъ людей, какъ друзей своего отца и какъ даровитыхъ писателей, внесшихъ новое слово въ русскую литературу. Въ Карамзина онъ видалъ прежде всего — преобразователя русскаго языка и слога и, вмъстъ съ другими членами "Арзамаса", ратовалъ противъ его литературныхъ антагонистовъ; затъмъ, когда въ 1818 году появились первые восемь томовъ "Исторіи государства россійскаго", Пушкинъ высоко оціниль въ этомъ труді "не только созданіе великаго писателя, но и подвигь честнаго человъка, уединившагося въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившаго цълыхъ 12 лътъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ" (V. 41). Впоследствіи Пушкинъ горячо отстаивалъ Исторію Карамзина противъ нападокъ Полевого и посвятиль памяти исторіографа свою "Комедію о царъ Борисъ", — "трудъ, геніемъ его вдохновленный". Озлобленіе противъ редактора "Въстника Европы", Каченовскаго, вызвавшее у Пушкина столько ръзкихъ эпиграммъ, въ значительной степени объясняется нападками придирчиваго критика на исторію Карамзина.

Впрочемъ, уже при появленіи "Исторіи" Пушкинъ видѣлъ ея слабыя стороны и далеко не безусловно передъ нею преклонялся. Въ отрывкахъ изъ своей автобіографіи, говоря о толкахъ, вызванныхъ появленіемъ "Исторіи", Пушкинъ вспоминаетъ, что основная мысль карамзинскаго труда возбудила негодованіе среди "молодыхъ яко-

^{*)} Письмо къ С. П. Шевыреву, "Въстн. Евр"., 1871, ХІ, 343.

бинцевъ" — будущихъ декабристовъ, которые пародировали Тита Ливія слогомъ Карамзина. Конечно, подъ вліяніемъ этихъ якобинцевъ Пушкинъ написалъ извъстную свою эпиграмму: "Въ его исторіи изящность, простота", о которой онъ замъчаетъ: "Мнъ приписали одну изг лучших русских эпиграммъ". Впрочемъ, онъ тутъ же и сознается, что эта эпиграмма-не лучшая черта его жизни: конечно, потому, что она была написана въ минуту личнаго неудовольствія противъ исторіографа. "Карамзинъ меня отстраниль оть себя, глубоко оскорбивь и мое честолюбіе (самолюбіе?), и мою сердечную къ нему привязанность", —писалъ Пушкинъ по этому поводу, много лътъ спустя: "до сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить" (VII, 182). Размолвка, можеть быть, была вызвана однимъ изъ тъхъ споровъ, о которыхъ Пушкинъ разсказываль въ своихъ запискахъ: Карамзинъ защищалъ "свои любимые парадоксы" о русской государственности, противъ которыхъ Пушкинъ горячо возражалъ...

Вообще, Карамзинъ относился къ молодому Пушкину благосклонно и снисходительно, смотрълъ на него какъ на увлекающагося юношу, въ шутку называль либераломъ, но при случат не прочь былъ "отечески" пожурить его за ту или другую выходку, показавшуюся слишкомъ неумъстной. Большая разница въ годахъ и въ общественномъ положеніи не могла не сказываться, не смотря на добродушіе и сдержанность Карамзина. Заступаясь за Пушкина по просьбѣ Чаадаева, Карамзинъ объявилъ, что дълаетъ это "въ послъдній разъ", и взяль съ поэта слово - по крайней мъръ два года ничего не писать противъ правительства. Этимъ и закончились личныя сношенія Пушкина съ Карамзинымъ, который, по словамъ Пушкина, въ послъдніе годы быль ему уже совершенно чуждъ (VI, 258). Высоко уважая его какъ писателя, Пушкинъ все болъе и болъе отдалялся отъ него какъ отъ человъка.

Обстоятельства, непосредственно предшествовавшія

ссылкъ Пушкина, довольно извъстны; мы напомнимъ здъсь только то, что говорилъ объ этомъ времени, пять лѣтъ спустя, онъ самъ, въ черновомъ наброскъ прошенія къ Государю (VII, 131—132). Въ обществъ распространился слухъ, приведшій поэта въ крайнее отчаяніе. "Я считаль себя погибшимъ въ глазахъ общества, -- говоритъ онъ, -- я готовъ быль на все, и думаль, —не должень ли я убить себя"... Чаадаевъ совътовалъ своему молодому другу оправдаться передъ правительствомъ; но Пушкинъ, сознавая безполезность оправданій, рішиль, напротивь, поступать такъ, чтобы вызвать со стороны правительства суровыя мёры: "я жаждаль Сибири или крёпости, какъ возстановленія чести", --- говориль онь, объясняя свое тогдашнее поведеніе. Благодаря Карамзину и Жуковскому, дело кончилось иначе: Пушкина отправили на югъ, къ генералу Инзову, причемъ даже въ оффиціальной, Высочайше утвержденной, бумагь похвалили "величайшія красоты концепціи и слога" въ той самой "Одъ на вольность", которая была одной изъ причинъ ссылки поэта!..

Первое время ссылки было для Пушкина вовсе не тягостно. Случайная встрёча съ семействомъ Раевскихъ, путешествіе съ ними на Кавказъ, жизнь въ Крыму и у Давыдовыхъ въ Каменкъ, все это дало поэту много новыхъ впечатленій, а новые люди, встреченные имъ здёсь, скоро заставили его позабыть своихъ петербургскихъ пріятелей изъ "золотой молодежи" — добрыхъ малыхъ, но совершенно беззаботныхъ по части литературныхъ и умственныхъ интересовъ; къ тому же, и сами эти пріятели не особенно старались напоминать ему о себъ: "преданный мгновенью, мало заботился я о толкахъ петербургскихъ", писалъ Пушкинъ объ этомъ времени. "Общество наше -- разнообразная и веселая смёсь умовъ оригинальныхъ, людей, извъстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ ... Но послѣ этого оживленнаго интермеццо еще болѣе мрачною и душною должна была показаться юношѣ-поэту жизнь въ пустынной для него Бессарабіи, гдѣ онъ скоро почувствовалъ всю тяжесть одиночества. Единственнымъ развлеченіемъ становятся для него шутки надъ полуазіатами, молдавскими "куконами", и разныя шалости, за которыя Инзовъ такъ часто сажалъ его подъ арестъ; единственною отрадою—переписка съ петербургскими друзьями изъкруга литературнаго, съ братомъ, съ княземъ Вяземскимъ, Гнѣдичемъ, Дельвигомъ, Плетневымъ. Литературные интересы пробуждаются въ немъ съ новою силою; онъ начинаетъ внимательно слѣдить за журналами и вообще много читаетъ, стараясь

вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы, И въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравнъ.

Онъ перечитываетъ критическія статьи, вызванныя появленіемъ "Руслана и Людмилы", пишетъ на нихъ замѣчанія, задаетъ вопросы, освѣдомляется о судьбѣ своихъ стихотвореній, посланныхъ въ Петербургъ, безпокоится насчетъ цензуры, проситъ высылать ему журналы, книги, стихи. Грустное чувство одиночества, горькое разочарованіе въ людяхъ, для которыхъ поэтъ пѣлъ свои вольнолюбивыя пѣсни, и которые съ такимъ робкимъ эгоизмомъ отвернулись отъ него, когда "средь оргій жизни шумной его постигнулъ остракизмъ, презрѣніе къ этому пустому обществу, связанному предразсудками, состоящему изъ людей корыстныхъ или самодовольныхъ глупцовъ—вотъ преобладающій мотивъ душевнаго настроенія Пушкина въ годы его кишиневской жизни:

Пиры, любовницы, друзья Исчезли съ милыми мечтами; Одинъ, одинъ остался я! Померкла молодость моя Съ ея невърными дарами...

Я говориль предъ хладною толпой; Но для толпы ничтожной и глухой Смѣшонъ гласъ сердца благородный, — Я замолчалъ...

Вездъ яремъ, съкира, иль вънецъ, Вездъ злобный иль малодушный, Предразсужденья—
Тиранъ, — льстецъ, —
Предразсужденій рабъ послушный... (I, 287).

Этому настроенію вполн'я соотв'ятствоваль мрачный, разочарованный тонъ поэзіи Байрона, съкоторою Пушкинъ познакомился въ это время и которая слишкомъ сильно задъвала струны его собственнаго сердца, чтобы не отразиться въ его произведеніяхъ. Въ эту пору быль написанъ "Кавказскій Пленникъ", первая поэма Пушкина, въ которой заметно сказалось байроновское вліяніе и, вмъсть съ тъмъ, выразились личныя чувства самого автора. Пушкинъ самъ указываеть на эту личную сторону поэмы. "Характеръ Пленника неудаченъ, — говоритъ онъ въ письме В. П. Горчакову (VII, 25): - это доказываетъ, что я не гожусь въ герои романтического стихотворенія. Я въ немъ хотълъ изобразить равнодушіе къ жизни и ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души"... Признавая всв недостатки своего произведенія, поэть всетаки прибавляеть: "люблю его, самъ не зная за что; въ немъ есть стихи моего сердца". И дъйствительно, нельзя не признать именно такими стихами, напримъръ, слъдующіе:

Въ сердцахъ друзей нашедъ измъну, Въ мечтахъ любви—безумный сонъ, Наскучивъ жертвой быть привычной Давно презрънной суеты, И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы, Отступникъ свъта, другъ природы, Покинулъ онъ родной предълъ И въ край далекій полетълъ Съ веселымъ призракомъ свободы. Свобода! онъ одной тебя Еще искалъ въ подлунномъ міръ;

Страстями сердце погубя, Охолодъвъ къ мечтамъ и къ лиръ, Съ волненьемъ пъсни онъ внималъ, Одушевленныя тобою, И съ върой, съ пламенной мольбою Твой гордый идолъ обнималъ. (II, 280).

Байронизмъ и романтическія мечты о свободѣ отразились также и въ отношеніяхъ Пушкина къ греческому возстанію, въ то время только что начавшемуся, и къ карбонарскому движенію итальянцевъ. Восторженно привѣтствуя эти политическія движенія, Пушкинъ готовъ былъ видѣть въ нихъ, по примѣру Байрона, зарю новой жизни для Европы, воскресеніе свободы, повсюду подавленной реакціей Священнаго Союза:

> Ужель надежды лучь исчезь? Но нъть, — мы счастьемъ насладимся, Кровавой чашей причастимся, И я скажу: Христосъ Воскресъ! (VII, 21).

Скоро, однако же, присмотръвшись поближе къ греческому возстанію и его вождямъ, Пушкинъ сталъ разочаровываться. "Дело Греціи меня живо трогаеть, писаль онъ въ 1823 году: вотъ почему я и негодую, видя, что на долю этихъ мизераблей выпала священная обязанность быть защитниками свободы" (VII, 67). А еще годъ спустя, онъ отзывался о грекахъ еще ръзче: "Греція мнъ огадила... Іезуиты натолковали намъ о Өемистоклъ и Периклъ, и мы вообразили, что пакостный народъ, состоящій изъ разбойниковъ и лавочниковъ, есть законнорожденный ихъ потомокъ и наследникъ ихъ школьной славы"... (VII, 80). Съ отъйздомъ изъ Одессы, Пушкинъ, какъ будто бы, совсъмъ пересталъ интересоваться греческимъ всзстаніемъ; по-крайней мъръ, ни въ его сочиненіяхъ, ни въ перепискъ мы не встръчаемъ уже ни слова о Греціи, даже и тогда, когда она завоевала себъ свободу и политическую самостоятельность. Такимъ образомъ, мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что увлечение Грепіей было только подсказано Пушкину Байрономъ,

отъ котораго онъ, по собственному его выраженію, въ то время "съ ума сходилъ" (V, 121), и прошло безслѣдно, когда Пушкинъ пережилъ свой байронизмъ.

Годы кишиневской и затыть одесской жизни поэта были для него вообще эпохою "бурныхъ стремленій", своего рода Sturm- und Drangperiode противорьчій и рагочарованій. Сближеніе съ Александромъ Раевскимъ, который своимъ холоднымъ, скептическимъ умомъ напоминалъ Чаадаева, конечно, немало содъйствовало развитію въ Пушкинъ отрицательнаго взгляда на жизнь; недаромъ же поэтъ посвятилъ своему другу стихотвореніе "Демонъ":

Онъ звалъ прекрасное мечтою, Онъ вдохновенье презиралъ, Не върилъ онъ любви, свободъ, На жизнь насмъшливо глядълъ...

Въ объяснении къ этому стихотворению онъ говоритъ, что въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго, легковърно и нъжно; мало-по-малу въчныя противорьчія существенности (т. е. противорѣчія дѣйствительности съ идеаломъ) рождаютъ въ немъ сомнъніе, - чувство мучительное, но не продолжительное. Оно исчезаеть, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души"... (II, 292). Неудовлетворенность окружающею жизнью и, вмёстё съ тёмъ, исканіе какихъ-нибудь положительныхъ нравственныхъ основъ для дальнъйшаго существованія-вотъ сущность того душевнаго процесса, какой переживаль въ то время Пушкинъ на переходъ отъ юношества къ болъе зрълому возрасту, -- сущность этого "логическаго романа", который неизбъжно переживается каждымъ мыслящимъ человъкомъ. Эти блужданія оставили яркій следь въ литературной дъятельности поэта. Онъ то увлекается байроновскими героями и рисуетъ Гирея, надъ которымъ такъ ядовито смінялся А. Раевскій (V, 121), то возвращается къ темі "Руслана" и создаетъ планъ фантастической поэмы изъ древне-русскаго міра, на манеръ Аріосто (дійствующія лица — Илья Муромецъ, Мстиславъ и косожская царевна-амазонка Армида), то мечтаеть о поэмь или драмь "Вадимь". на этотъ разъ, конечно, подъ вліяніемъ своихъ друзей, будущихъ декабристовъ (и въ особенности-Рыльева), которые идеализировали легендарнаго представителя древне-славянской вольности; задумываеть другую поэму (а можеть быть-драму) изъ эпохи стрълецкаго бунта, но вовсе не политическаго содержанія (ІІ, 320-321); издіваясь надъ вошедшимъ въ моду ханжествомъ, пишетъ поэму въ стилъ. Вольтера и Парни, полную крайняго религіознаго вольнодумства, и въ то же время обаятельную по прелести стиха (II, 342); наконецъ опять возвращается къ Байрону и сначала въ лицъ Онъгина изображаетъ "москвича въ гарольдовомъ плащъ", а затъмъ даеть, въ лицъ Алеко, типъ, въ которомъ съ особенною рельефностью отразились наиболье характерныя черты байроновскихъ героевъпрезрѣніе къ людямъ съ ихъ рабскою и безнравственною цивилизаціей и стремленіе къ простой, безъискусственной природъ. Приномнимъ монологъ Алеко, -- его обращеніе къ сыну:

> Расти на волъ, безъ уроковъ, Не знай стъснительныхъ палатъ И не мъпяй простыхъ пороковъ На образованный развратъ...

Поэтъ не пожалѣлъ мрачныхъ красокъ для этой ничтожной и пустой толпы, называющейся "обществомъ", для этихъ людей, которые "любви стыдятся, мысли гонятъ—и просятъ денегъ да цѣпей": это—не болѣе, какъ стадо, которому не нужны дары свободы, котораго не пробудитъ призывъ чести, и среди котораго "сѣятель свободы" только напрасно сталъ бы терять время, благія мысли и труды. Если и упѣлѣла гдѣ-нибудь, случайно, "капля блага", то она все-таки недоступна: "тамъ на стражѣ—иль просвѣщеніе (т. е. образованный развратъ), иль тиранъ"...

Тотъ же безотрадный взглядъ высказывается и въ

наставленіяхъ Пушкина своему младшему брату: "будь о людяхъ самаго худшаго мнѣнія; не суди о нихъ по внушеніямъ своего добраго и благороднаго сердца, которое еще очень молодо; презирай ихъ какъ можно вѣжливѣе... Со всѣми будь холоденъ", и пр. (VII, 43).

Впрочемъ, поэтъ уже сознавалъ, что въ этомъ отчужденіи отъ людей главная роль принадлежитъ эгоизму, и высказалъ это въ ноучительномъ обращеніи стараго цыгана къ Алеко:

Ты для себя лишь хочешь воли...

Отрицательное міровоззрѣніе не удовлетворяло Пушкина; онъ чувствоваль, что оно оставляеть пустоту въ сердцъ, и что жизнь безъ положительныхъ цълей и стремленій не имбеть ціны; что если человінь дійствительно хочеть воли, то должень хотъть ея не для себя только, но и для другихъ. Но что значитъ хотъть воли, и что можетъ дать ее? Воть основной вопросъ, отъ ръшенія котораго зависить вся дальнейшая деятельность на поприще общественномъ, —а поэтъ уже сознавалъ себя общественнымъ дъятелемъ, и во время своихъ вольныхъ и невольныхъ скитаній по Россіи могь воочію уб'ядиться, какъ высоко его ценять и какъ много оть него ждуть все грамотные люди. Идеалъ "просвъщенной свободы", о которомъ онъ мечталь въ юности, подсказываль ему средство для достиженія этой высокой ціли—въ просвіщеніи, въ "пробужденіи добрыхъ чувствъ"; работать въ этомъ направленіи на поприщъ, на которое онъ быль призванъ, на поприщъ литературы, -- Пушкинъ и считалъ нравственною обязанностью писателя, который, по его словамъ, долженъ быть всегда впереди, и не впадать въ малодушіе при неудачахъ. Этому идеалу онъ и остался въренъ въ продолженіе всей своей жизни. Но по свойствамъ своего характера онъ далеко не былъ тъмъ, что называется "цѣльной натурой": русская жизнь вообще, а въ его время въ особенности, вовсе не благопріятствовала выработкъ такихъ цъльныхъ натуръ, людей aus einem Guss

(много ли подобныхъ типовъ представляетъ и теперь наша литература?). Оттого-то, въ минуты вдохновеннаго творчества, въ немъ часто пробуждались прежнія сомнінія, вносили въ его душу разладъ, приводили къ разочарованію, заставляли замыкаться въ самомъ себъ, и съ презръніемъ, подобно Алеко, отвертываться отъ толпы, равнодушной къ усиліямъ литературы.

Затъмъ въ поэтъ снова воскресала въра и снова звала его "въ набъги просвъщенія, на приступы образованности", къ борьбъ на литературной аренъ, которую онъ такъ сильно желалъ и такъ тщетно старался расширить. Такихъ противоръчій, приливовъ и отливовъ, у Пушкина было немало. Чтобы правильно понять и опънить ихъ, необходимо имъть въ виду характеръ поэта, событія его личной жизни и общій духъ того времени, въ особенности же—тъ условія, въ какія было поставлено тогда развитіе нашей литературы. Постараемся же взглянуть на тогдашнюю литературу съ точки зрънія Пушкина.

Тяжелымъ временемъ для русскихъ писателей была первая половина дваццатыхъ годовъ. "Литераторы", — говоритъ Пушкинъ, вспоминая объ этой эпохѣ, — "были оставлены на произволъ цензурѣ своенравной и притѣснительной; рпокое сочинение доходило до печати. Весь классъ писателей (классъ важный у насъ, ибо, по крайней мѣрѣ, составленъ онъ изъ грамотныхъ людей) перешелъ на сторону недовольныхъ. Правительство его не хотѣло замѣчать, отчасти изъ великодушія, отчасти изъ непростительнаго небреженія"... (VII, 278). Между тѣмъ, въ обществѣ "либеральныя идеи сдѣлались необходимой вывѣской хорошаго воспитанія; подавленная литература превратилась въ рукописные пасквили на правительство

и въ возмутительныя пъсни" (V, 43). Подобно тому, какь университетская наука связана была изумительными требованіями обскурантовъ, — и печати старались указать самые тъсные предълы и подчинить ее самой тягостной опекъ. По мъткому выраженію поэта, литературу обратили въ гаремъ, а цензора-въ докучнаго евнуха. Извъстный Магницкій ревностно сочиняль и проводиль въ практику свои проекты "борьбы съ лжеумствованіями", - проекты, благодаря которымъ изъ скуднаго умственнаго обихода русскаго общества безпощадно вычеркивались цёлыя области знанія. Сатиру, какъ говорить поэть, называли пасквилемь, поэзію — развратомъ, гласъ правды — мятежомъ, Куницына — Маратомъ... Понятно, что при такихъ условіяхъ печатная литература не могла имъть значенія просвътительной общественной силы; тъмъ большее значение получала литература рукописная, въ которой самое видное место занимали произведенія Пушкина:

...Пушкина стихи въ печати не бывали, — Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали!

Любопытно, что рядомъ съ этими словами Пушкинъ поставилъ имя писателя, который впервые въ нашей литературъ выступилъ съ горячимъ протестомъ противъ кръпостного права:

Радищевъ, рабства врагъ, цензуры избъжалъ.

То же имя вспомнилось ему двънадцать лътъ спустя, когда онъ говорилъ о своихъ заслугахъ передъ русскимъ обществомъ:

Вслъдъ Радищеву возславилъ я свободу.

Дъйствительно, идеалы обоихъ писателей были одинаковы. Какъ въ свое время книга Радищева жадно читалась въ рукописи, такъ и теперь стихи Пушкина въ сотняхъ и тысячахъ списковъ расходились по всъмъ уголкамъ грамотной Россіи и, по свидътельству современниковъ, не было въ арміи прапорщика, который бы не зналъ ихъ наизустъ. Увлекательные по формъ, эти гармоническіе звуки, неслыханные до тъхъ поръ на русскомъ

языкъ, содержаніемъ своимъ отвъчали завътнымъ мечтамъ русскаго общества, и поэть едва ли много преувеличиваль, говоря, что въ последнія 5 или 10 леть александровскаго царствованія онъ им'яль на все сословіе литераторовъ гораздо болъе вліянія, чъмъ министерство народнаго просвъщенія, не смотря на неизмъримое неравенство средствъ. Цензура—это больное мъсто литературы того времени составляеть предметь постояннаго, хоть иногда и невольнаго, вниманія Пушкина. Еще въ самомъ раннемъ изъ напечатанных вего стихотвореній, въ посланіи "Къ другу стихотворцу (1814 г.), поэть, предостерегая своего друга отъ литературныхъ увлеченій, сов'туеть ему брать примъръ съ человъка, не чувствующаго охоты къ стихамъ и не гуляющаго "по высотамъ Парнасса": такой человъкъ счастливъ, между прочимъ, уже и потому, что "его съ перомъ въ рукахъ Рамаковъ не страшитъ". Въ имени Рамакова следуеть, кажется, видеть анаграмму: "Мараковъ" и намекъ на марающую цензуру. Въ пъсенкъ "Noel", въ числъ сказокъ, которыя разсказываетъ "отецъ". есть объщанія и насчеть цензоровъ:

> Лаврову дамъ отставку, А Соца—въ желтый домъ...

Имена Бирукова "Грознаго", Тимковскаго, впослѣдствіи Красовскаго, имѣвшія роковое значеніе для нашихъ писателей 20-хъ годовъ, можно сказать, не сходять у Пушкина съ языка:

Поклонникъ правды и свободы, Бывало, что ни напишу, Все для иныхъ «не Русью пахнетъ»,— О чемъ цензуру ни прошу, Ото всего Тимковскій ахнетъ...

"Пишу теперь новую поэму... Бируковъ ея не увидитъ, за то, что онъ фи—дитя, блажной дитя" (VII, 59). "Цензура наша такъ своенравна, что съ нею невозможно и размърить круга своего дъйствія. Лучше объ ней и не думать" (VII, 56). "Богатая мысль—напечатать "На-

полеона": да цензура... лучшія строфы потонуть" (VII, 122). "Vale, sed delenda est censura" (VII, 31)

Мелочныя придирки причиняли много непріятностей всімь писателямь, но Пушкину въ особенности, потому что за нимь, какь за человікомь, явно неблагонадежнымь, цензура считала нужнымь смотріть внимательніве, чімь за другими. Подозрительность ея простиралась даже на отдільныя слова: такь, напримірь, ей не нравилось слово "вольнолюбивый", не смотря на то, что, по замічанію Пушкина, "оно такь хорошо выражаеть нынішнее libéral, и притомь слово прямо русское" (VII, 24); не допускалось, въ стихотвореніи о земной любви, выраженіе: "небесный пламень" (VII, 33). Въ "Кавказскомъ Плінників" Бируковъ ни за что не соглашался пропустить два стиха о черкешенків:

Не много радостныхъ ночей Судьба на долю ей послала,

находя ихъ крайне неприличными и требуя, чтобы было напечатано: "Немного радостныхъ ей дней судьба на долю ниспослала". Такъ и напечатали въ первомъ изданіи поэмы, не смотря на возраженія Пушкина, что нельзя сказать ей дней въ концъ стиха, и что днемъ черкешенка не видалась съ плънникомъ. "И чъмъ же ночь неблагопристойнъе дня? — спрашивалъ поэтъ. — Которые изъ 24 часовъ именно противны духу нашей цензуры?" (VII, 53). Эти и другія подобныя придирки неръдко вызывали у Пушкина очень энергическія выраженія и заставляли его даже скрывать отъ цензуры свое имя; стихи его часто представлянись въ цензуру его друзьями, выдававшими ихъ за свои, и печатались безъ подписи: "старушку можно и обмануть, -- писалъ поэтъ Бестужеву (VII, 32): не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого угодно; главное дъло въ томъ, чтобы имя мое до нея не дошло, и все будеть слажено". Такимъ образомъ, поэтъ въ самомъ деле былъ последнихъ жалкихъ правъ безъ милости лишенъ", если для того, чтобы сберечь нѣсколько лишнихъ строчекъ въ томъ или другомъ стихотвореніи, ему приходилось отказываться даже отъ своего имени. Припомнимъ, наконецъ, его знаменитое "Первое посланіе къ цензору", въ которомъ онъ такъ ярко изобразилъ печальное положеніе литературы и такъ энергично заявилъ требованіе просвѣщеннаго писателя (I, 365):

На поприщъ ума нельзя намъ отступать!

Но вотъ, въ 1824 году, во главѣ министерства народнаго просвъщенія становится человъкъ, который хотя и слыветь старов ромь, но высказываеть рышимость разорвать съ прошедшимъ и энергически приняться за новое дъло. При всей исключительности взглядовъ и понятій Шишкова, онъ отличался неподкупною честностью своихъ убъжденій и, не смотря на крайнее, зловъщее раздраженіе обскурантовъ противъ пишущей братіи, требоваль огражденія литературы отъ нев'яжественнаго произвола ея суровыхъ опекуновъ. "Необходимо нужно, -- говорилъ онъ, чтобы цензура составлена была изъ немалаго круга людей ученыхъ, честныхъ, благоразумныхъ, отъ которыхъ бы никакіе цвёты не закрыли змёю и, напротивъ, простая травка не казалась бы имъ змеными жалами... Слабая цензура будеть пропускать вредныя внушенія, а строгая—не дастъ говорить ни уму, ни правдъ. Не довольно имѣть строгую цензуру, но надобно, чтобы она была умная и осторожная".

Подобныя мысли, естественно, располагали представителей тогдашней литературы въ пользу ветерана-писателя, которому было ввърено главное управленіе цензурою. Пушкинъ, во второмъ посланіи къ цензору, указывая на "Наказъ" Екатерины, какъ на лучшій законъ для цензуры, горячо привътствовалъ Шишкова именно какъ упълъвшаго свидътеля екатерининскаго времени, и вслъдъ за нимъ повторялъ своему оффиціальному цънителю: "Будь строгъ, но будь уменъ". Но, соглашаясь, что Шишковъ оживилъ нашу литературу, Пушкинъ, въ то

же время, не могъ скрыть своего недовърія къ ея силамь. "Жаль, —говорить онъ: la coupe était pleine. Бируковъ и Красовскій невтерпежъ были глупы, своенравны и притъснительны. Это долго не могло продолжаться... Я и радъ, и нътъ. Давно девизъ всякаго русскаго есть: чъмъ хуже, тъмъ лучше. Оппозиція русская, составившаяся изъ нашихъ писателей, какихъ бы то ни было, приходила уже въ какое-то нетерпъніе, которое я исподтишка поддразнивалъ, ожидая чего-нибудь. А теперь какъ позволятъ NN говорить своей любовницъ, что она божественна, что у ней очи небесныя и что любовь есть священное чувство, —вся эта сволочь опять утомится, журналы пойдутъ врать своимъ чередомъ, чины своимъ чередомъ, Русь своимъ чередомъ"... (VII, 79, 81).

Въ самомъ дѣлѣ, трудно было надѣяться на силы этой литературы, въ которой еще все нужно было творить, начиная съ языка и слога, и которой еще не доставало самосознанія въ видѣ критики.

"Мы не имъемъ ни единаго комментарія, ни единой критической книги", —писаль Пушкинъ въ 1825 году. "Литература кой-какая у насъ есть, а критики---нътъ". Эти слова въ примънени къ тъмъ жидкимъ и безсодержательнымъ обзорамъ "россійской словесности", какіе появлялись въ журналахъ двадцатыхъ годовъ, были совершенно справедливы, такъ какъ авторы этихъ обзоровъ стояли очень далеко позади литературнаго движенія. Представители стариннаго классицизма, строгіе литературные формалисты, ополчались на Пушкина за то, что онъ сразу и такъ ръшительно отказался отъ преданій школьной пінтики: они видёли въ немъ главу новаго литературнаго направленія, -- того нечестиваго "романтизма", отрицающаго пригодность тёсныхъ рамокъ творчества, который казался имъ порожденіемъ сатанинскаго, революціоннаго духа. Нежеланіе подчинять поэтическое вдохновеніе

мелочнымъ правиламъ допотопной "науки стихотворства" было въ глазахъ многихъ людей едва ли не равносильно отрицанію всякихъ правиль общественнаго порядка, то есть - полной нравственной распущенности, при которой, говоря словами одного изъ литературныхъ старов фровъ, поэзія обращается въ вертепъ разбойниковъ. Упорно замыкаясь въ тесномъ кругу отжившихъ теорій, критика 20-хъ годовъ, закоснълая въ сухомъ школьномъ педантизмъ, продолжала твердить литературные зады и послъдовательно договаривалась до положеній самыхъ комическихъ. Дальше чисто-формальной, внешней точки эренія она и не хотьла ничего видьть, да и не могла ничего разглядёть, и молодыя литературныя силы, сплотившіяся вокругь Пушкина (князь Вяземскій, А. Бестужевъ и др.), только напрасно тратили свое остроуміе на полемику въ защиту новаго литературнаго направленія въ защиту свободы поэтического творчества. Литературные "отцы и дъти" говорили на разныхъ языкахъ; они слишкомъ далеко расходились между собою въ воззркніяхъ на литературу-и какое бы то ни было соглашеніе представлялось, очевидно, невозможнымъ. Высокое художественное значеніе поэзіи Пушкина, точно такъ же какъ и его идеи, оставалось непонятымъ и неоцъненнымъ; поэтъ былъ совершенно правъ, говоря, что "у насъ критика не имфетъ никакой самостоятельности, и почти никакого вліянія на судьбу литературныхъ произведеній"; она "можеть представить нісколько отдільных в статей, исполненныхъ свътлыхъ мыслей и важнаго остроумія"; но эти статьи "являлись отдёльно, на разстояніи одна отъ другой, и не получили еще въса и постояннаго вліянія. Время ихъ еще не приспѣло". Какъ на характерную особенность литературныхъ сужденій своего времени, Пушкинъ указываетъ на отсутствіе общихъ руководящихъ началъ и на бездоказательность: "Критики наши говорять обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно; а это дурно, потому что скверно. Отселъ ихъ

никакъ не выманишь" (V, 108—112). Нътъ сомнънія, что русскіе читатели того времени въ отношеніи къ литературъ стояли далеко впереди критики, и своимъ непосредственнымъ чутьемъ умъли цънить выдающіяся произведенія гораздо върнъе своихъ журнальныхъ руководителей. То же явленіе повторилось, какъ мы увидимъ впослъдствіи, и въ 30-хъ годахъ, когда Пушкинъ выступилъ уже во всей силъ и эрълости своего генія, когда онъ явился, во главъ блестящей плеяды молодыхъ писателей, творцомъ нашей новой литературы, и когда остатки прежнихъ отжившихъ теорій были практически уже совершенно упразднены изъ литературнаго обихода.

При такомъ положеніи нашей критики, Пушкинъ, конечно, имълъ право не считаться съ ея мнъніями и требованіями, не обращать на нихъ серьезнаго вниманія, и если отвъчалъ своимъ "журнальнымъ пріятелямъ", то только эпиграммами. Гораздо внимательнее относится онъ къ русской литературъ, никогда не теряя въры въ ея будущее. Однимъ изъ важныхъ залоговъ будущаго развитія считаль онъ отсутствіе въ нашей литературъ той приниженности и лести, какою характеризуется, напримъръ, литература французская, про которую Пушкинъ говориль, что она "родилась въ передней". — "Мы можемъ праведно гордиться, - писалъ онъ Бестужеву: наша словесность, уступая другимъ въ роскоши талантовъ, тъмъ передъ ними отличается, что не носить на себъ печати рабскаго униженія... Наши таланты благородны, независимы... О нашей лирь можно сказать, что Мирабо сказаль о Ciech: son silence est une calamité publique (VII, 127).

Независимость—воть что больше всего цениль Пушкинь вы писатель и чего онь требоваль оты литературы вмёстё сы признаніемы свободы поэтическаго творчества. Но для того, чтобы писатель могы быть свободены и независимы вы своей дёятельности, необходимо, чтобы литература пріобрёла самостоятельное положеніе, чтобы она пере-

стала быть пріятнымъ препровожденіемъ времени "въ досужные отъ занятій часы", и сдёлалась бы жизненнымъ дёломъ и источникомъ существованія для цёлаго класса людей, всецёло отдающихъ ей свои силы.

Наша литература 20-хъ годовъ еще очень была отъ такой самостоятельности. "Не должно русскихъ писателей судить какъ иноземныхъ, — говоритъ Пушкинъ: тамъ пишуть для денегь, а у насъ, кромъ меня, -- изъ тщеславія. Тамъ всть нечего, такъ служи, да не сочиняй" (VII, 171). Расширить кругь читателей, вызвать въ обществъ интересъ къ литературъ, поставить ее, какъ службу общественную, наряду съ службой государственной, которая одна только и признавалась въ то время серьезнымъ дёломъ, вотъ въ чемъ видёлъ Пушкинъ ближайшую цёль литератора и, высоко цёня это званіе, самъ прежде другихъ и больше другихъ старался содъйствовать возвышенію литературы. Изъ всёхъ нашихъ писателей до Пушкина одинъ только Карамзинъ можетъ быть названъ литераторомъ въ нын в шне в пине в пин слова, потому что онъ посвятилъ себя исключительно литературному и научному труду, отъ котораго и получалъ средства къ жизни; онъ первый высказалъ мысль, что литература есть такое же серьезное и полезное занятіе, какъ и служба государственная, и вмёсте съ темъ, по выраженію Пушкина, "показаль опыть торговыхь оборотовъ въ литературъ . Пушкинъ въ этомъ отношении явился прямымъ продолжателемъ Карамзина: подобно Карамзину, онъ считалъ авторство единственнымъ своимъ занятіемъ, своими произведеніями значительно увеличилъ число читателей и, смотря на литературу, какъ на великую силу образовательную, въ то же время виделъвъ ней и "видъ частной промышленности, покровительствуемой законами" (VII, 279). Это покровительство законовь должно прежде всего выражаться въ огражденіи права литературной собственности, которое, по отношенію къ Пушкину, очень часто и самымъ бездеремоннымъ

образомъ нарушалось. Не говоря уже о мелкихъ стихотвореніяхъ, которыя безнаказанно перепечатывались "альманашниками со списковъ, часто искаженныхъ, одинъ чиновникъ III Отдъленія преспокойно перепечаталь всего "Кавказскаго Пленника", прибавивъ къ поэме немецкій переводъ: Пушкинъ лишился такимъ образомъ трехъ тысячь рублей, и нигдъ не могь найти управы на своевольнаго контрафактора. "Это быль, — говорить поэть — первый примъръ плутовства". За исключеніемъ "Исторіи" Карамзина, которой 3000 экземпляровъ было раскуплено въ одинъ мъсяцъ, ни одно сочинение не вызвало на нашемъ книжномъ рынкъ такого спроса, какъ произведенія Пушкина; такимъ образомъ, онъ практически содъйствоваль и оживленію книжной торговли, и установленію понятія о литературной собственности. "Ради Бога, не думайте, --- говорилъ онъ, --- чтобъ я сталъ смотръть на стихотворство съ дътскимъ тщеславіемъ риомача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго челов'єка; оно-просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, составляющая мив пропитание и домашнюю независимость... Кромъ независимости, я ничего не желаю, и увъренъ, что, при помощи мужества и терпънія, въ концъ концовъ добьюсь ея. Я поборолъ въ себъ неохоту писать стихи для продажи; самый важный шагь, такимъ образомъ, уже сдёланъ. Правда, я пишу подъ капризнымъ вліяніемъ вдохновенія; но разъ стихи написаны, —я смотрю на нихъ уже только какъ на товаръ, по стольку-то за штуку, и не понимаю, отчего друзья мои этимъ смущаются... Мнъ надобло вависъть отъ хорошаго или дурного пищеваренія того или другого начальника, —я хочу принадлежать самому себъ... (VII, 77). "Смущеніе" друзей Пушкина объясняется необычностью высказаннаго имъ взгляда на литературный трудъ, какъ на серьезную работу, которая должна быть оплачиваема. Они не могли понять, отчего Пушкинъ сердится на распространеніе его поэмъ въ рукописи раньше ихъ появленія въ печати; имъ казался страннымъ тонъ, какимъ дѣлалъ поэтъ свои предложенія журналистамъ: "Хотите ли вы у меня купить весь кусокъ поэмы ("Кавказскій Плѣнникъ")? Длиною въ 800 стиховъ, стихъ шириною—четыре стопы; разрѣзано на двѣ пѣсни. Дешево отдамъ, чтобы товаръ не залежался" (VII, 25). Въ то время писатели почти не знали гонорара, да и заводить о немъ рѣчь считали неприличнымъ, говоря, что цѣнить вдохновеніе на деньги значитъ—унижать драгоцѣнный даръ божества. Пушкинъ первый посмотрѣлъ на дѣло съ практической точки зрѣнія и прямо указалъ, что вдохновенное творчество—само по себѣ, а печать и книжная торговля—сами по себѣ:

«Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать»,—

и не только можно, но и должно, потому что писатель такимъ образомъ удовлетворяетъ спросу публики, даетъ доходъ книгопродавцу и пріобретаеть средства, доставляющія ему независимость. Всь эти положенія, теперь уже для всякаго азбучныя, въ то время нужно было еще серьезно доказывать и отстаивать, — и заслуга Пушкина въ этомъ отношеніи не подлежить спору. Онъ практически показаль, что русскій писатель имфеть возможность добиться независимаго и почетнаго положенія въ обществъ внъ той узкой служебной сферы, которая въ тъ времена считалась единственно возможнымъ поприщемъ дъятельности. Онъ сознавалъ, что для того, чтобы представители литературы могли упрочить за собою такое положение. необходимо прежде всего поднять уровень самой литературы и усилить интересъ къ ней въ обществъ, а слъдовательно, -- сдёлать это общество боле просвещеннымъ, развить въ немъ умственныя потребности. Въ этомъ и видълъ Пушкинъ ближайшую задачу русскаго писателя.

Такимъ образомъ, прежній романтически-мечтательный идеалъ "просв'ященной свободы" мало-по-малу принимаетъ для поэта опредъленныя очертанія, осязательную форму, соотв'ятствующую насущнымъ, жизненнымъ потреб-

ностямъ русской д'вйствительности; и высокая ц'вль, и средства для ея достиженія все болье и болье выясняются.

При такомъ взглядѣ на положеніе и значеніе поэта, Пушкинъ, конечно, не могъ ужиться съ графомъ Воронцовымъ, который не хотелъ видеть въ немъ ничего другого, кром в коллежского секретаря, своего подчиненного, присланнаго на югъ для исправленія, и нерадиваго къ служебнымъ обязанностямъ. Положение Пушкина въ Олессъ становилось все более и более тяжелымъ. Онъ, по собственнымъ его словамъ, "карабкался", просился хоть на нъсколько мъсяцевъ въ Петербургъ, -- но получилъ ръшительный отказъ. "О, други. Августу мольбы мои несите!" говорить онь въ письмъ къ брату, повторяя свой стихъ изъ посланія къ Овидію, —и тутъ же прибавляеть: "но августъ смотритъ сентябремъ" (VII, 43). "Ты не приказываешь жаловаться на погоду-въ августв мъсяцъ,такъ и быть; а въдь непріятно сидъть взаперти, когда гулять хочется" (VII, 48). Въ началъ 1824 года у поэта явилась даже мысль о побъгъ за границу: "Осталось одно, говорить онъ: писать прямо на его имя-такому-то въ 3. Дв., что напротивъ П. Кр., не то-взять тихонько трость и шляну и побхать посмотръть Константинополь. Святая Русь мив становится невтерпежь ... То же мы видимъ и въ строфахъ первой главы "Онъгина":

«Придеть ли чась моей свободы? Пора, пора! взываю къ ней... Пора покинуть скучный брегь Мнѣ непріязненной стихіи, И средь полуденныхъ зыбей, Подъ небомъ Африки моей, Вздыхать о сумрачной Россіи...»

Но исполненію этого плана помѣшала—любовь:

«Могучей страстью очаровань, У береговь остался я...»

Эта же могучая страсть, недолго оставившая слъдъ въ душъ поэта, повидимому, ускорила и перемъну въ

его судьбъ. Личныя отношенія Пушкина къ графу Воронцову сдѣлались совсѣмъ невозможными, и поэтъ долженъ былъ отправиться "въ далекій сѣверный уѣздъ".

Въ Михайловскомъ начинается для Пушкина новый періодъ дѣятельности. Заброшенный въ лѣсную глушь, лишенный общества, поэтъ отдаетъ все свое время занятіямъ литературнымъ, погружается въ книги, въ изученіе русской старины, русскаго народнаго быта, ведетъ съ своими петербургскими друзьями непрерывную переписку обо всѣхъ вопросахъ текущей литературы, часто споритъ съ ними, высказывая новыя мысли, чрезвычайно интересуется всѣмъ, что дѣлается въ литературѣ и, ничѣмъ не развлекаемый, посвящаетъ себя серьезному труду. Первое время жизни въ деревнѣ было для него крайне тяжело. "Я еще былъ молодъ", — говоритъ онъ, вспоминая объ этомъ времени десять лѣтъ спустя, —

«Но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я быль ожесточень...
Я быль одинь. Врага я видёль вь каждомь,
Мэмённика въ товарищё минутномь,
И бурныя кипёли въ сердцё чувства,
И ненависть, и грезы мести блёдной...»

Только упорный трудъ и поэтическое вдохновение помогли ему пережить эти тяжелые годы:

«Поэзія, какъ ангелъ-утѣшитель, Спасла меня...»

Талантъ поэта растетъ и крѣпнетъ съ каждымъ днемъ, пріобрѣтаетъ самобытность и къ концу изгнаннической жизни проявляется уже во всей своей силѣ и блескѣ. Біографы и критики Пушкина говорятъ обыкновенно, что, уѣзжая изъ Одессы на сѣверъ, поэтъ простился съ властителемъ своихъ думъ—Байрономъ. Дѣйствительно, въ его вдохновенномъ обращеніи "Къ морю" въ могучемъ аккордѣ слились характерные звуки байроновской лиры: любовь

къ природъ, разочарование въ людяхъ, ненависть къ тираннии и ложному просвъщению. Англійскій поэть, несомнънно, имълъ на Пушкина сильное вліяніе; но подражателемъ Байрона нашъ поэтъ въ это время уже не былъ. Выше мы отмътили приговоръ Пушкина надъ своимъ Алеко,—это ръшительное осужденіе безнадежнаго эгоизма байроновскихъ героевъ; съ каждымъ шагомъ впередъ, нашъ поэтъ все болъе и болъе отдалялся отъ Байрона, и при всемъ своемъ поклоненіи его генію никогда не былъ ни его послушнымъ кліентомъ, ни его паразитомъ.

Черта, глубоко раздѣляющая обоихъ поэтовъ, объясняется національными особенностями того и другого. Байронъ быль чистокровный англичанинь, а Пушкинъне менве русскій человъкъ "петербургскаго періода". Нашему поэту были близки и вполнъ понятны всъ страданія цивилизованнаго человъка, поставленнаго жизнью въ дикія условія, -- страданія, краснор вчивымъ выразителемъ которыхъ явился Байронъ; но среди всёхъ этихъ страданій его никогда не покидала втра во будущее, въра въ народныя силы, которой у Байрона совсъмъ уже не было. Байронъ, поэтъ великой и свободной человъческой личности, съ каждымъ шагомъ все больше и больше . удаляется отъ общества, замыкается въ самомъ себъ, въ своемъ гордомъ презръніи къ людямъ, становится все болье и болье мрачнымъ и безпощаднымъ въ своей ироніи надъ человъческой толпой. Онъ не видълъ въ будущемъ ничего свътлаго, никакой надежды, и, подавленный горькими думами, чувствуя отвращеніе къ европейскому обществу, для казни котораго онъ не находилъ достаточно сильныхъ словъ, пожертвовалъ своею народу "разбойниковъ и лавочниковъ", которыхъ онъ считаль достойными преемниками древнихь эллиновъ. Иушкинъ, напротивъ, все болве и болве сближается съ обществомъ, близко принимаетъ къ сердцу его интересы, становится выразителемъ его стремленій, привязывается къ своему родному, національному и въ немъ ищеть вдохновенія. Въ противоположность "поэту гордости", Байрону, Пушкинъ уже съ явною ироніей относится къразочарованному эгоизму:

«Мы почитаемь всёхь нулями, А единицами—себя; Мы всё глядимь въ Наполеоны; Двуногихъ тварей милліоны Для насъ—орудіе одно...»

Это не было "смиреніе" передъ дъйствительностью, которое наши славянофильскіе писатели старались возвести въ русскую національную добродетель, - потому что не могь же, въ самомъ дълъ, мыслящій человъкъ и геніальный поэть примириться съ окружавшей его действительностью и добровольно подчиниться ея дикому складу: нъть, это была только послъдовательная смъна прежняго отвлеченнаго, все отрицавшаго протеста другими, болъе реальными стремленіями; это было желаніе подойти поближе къ русской жизни, отыскать въ ней положительныя стороны, объщающія въ будущемъ переміну къ лучшему, уяснить самому себъ путъ, который могъ бы хоть несколько приблизить общество къ осуществленію все того же завътнаго идеала; это была надежда на возможность воспользоваться существующими условіями жизни для того, чтобы дружною работою на поприщѣ просвѣщенія возвысить и облагородить эту жизнь. Наконець, съ точки зрѣнія чисто литературной, это было все болѣе и болье прояснявшееся сознаніе той великой истины, что русская литература тогда только можетъ сдълаться могучею образовательною силою, когда она утратить свой отвлеченный характерь и посвятить себя правдивому и живому изображенію жизни національной и народной. Въ этомъ направлении Пушкинъ началъ работать еще съ 1822 года, когда онъ набрасываль первые очерки "Онвгина "-произведенія, глубоко жизненное и національное значение котораго было оценено только долгое время спустя послѣ смерти поэта.

Въ іюлѣ 1824 года Пушкинъ долженъ былъ переселиться изъ Одессы въ Михайловское,

въ глубь лесовъ Тригорскихъ,

Въ далекій сѣверный уѣздъ,

"и быль печалень мой прівздь", прибавляеть поэть. Двиствительно, первые мъсяцы пребыванія изгнанника подъ кровомъ отдовскаго дома были омрачены не только горькимъ чувствомъ одиночества и грустью по оставленной Одессъ, но и крайне ненормальными отношеніями, въ какія быль поставлень Пушкинь, когда отцу его предложено было содъйствовать полицейскому надзору за опальнымъ сыномъ и распечатывать его переписку. Бурная сцена съ отцомъ подъйствовала на поэта такъ сильно, что онъ хотъль уже обратиться къ правительству съ просьбою перевести его въ какую-нибудь крвпость. "Добрый . геній "Пушкина, Жуковскій, уладиль все діло: родители поэта перевхали въ Петербургъ и оставили опальнаго сына въ поков и одиночествъ. За исключеніемъ семейства Осиповыхъ, А. Н. Вульфа, да лицейскихъ своихъ товарищей — Лельвига и Пущина, прівзжавшихъ на короткое время въ Михайловское, Пушкинъ за всъ два года своей деревенской жизни не видаль, какъ говорится, ни одной живой души. Въ первое время онъ не въ силахъ быль примириться съ такимъ необычнымъ для его живой и общительной натуры положениемъ и снова сталъ подумывать о побътъ за границу, о которомъ серьезно переписывался съ братомъ и друзьями. "Стыжусь" говорилъ онъ, что досель не имъю духу исполнить пророческую въсть, что разнеслась недавно обо мнь; глупо часъ отъ часу вязнуть въ жизненной грязи" (VII, 97). Пушкинъ вполнѣ сознавалъ, что на чужой сторонѣ, среди чужого общества, ему придется встрётить мало радостей и, можеть быть, даже испытывать нужду; но жизнь на родинъ, въ тъхъ условіяхъ, въ какія онъ быль поставленъ, казалась ему невыносимой, и для того, чтобы отъ нея избавиться, онъ уже готовъ былъ сделать решительный шагъ:

Презръвъ и шопотъ укоризны, И зовъ обманутыхъ надеждъ, Иду въ чужбину, прахъ отчизны Съ дорожныхъ отряхнувъ одеждъ. Умолкни, сердца шопотъ сонный, Привычки и довольства гласъ...

Друзья, которымъ онъ довърилъ свою тайну, старались удержать его отъ этого опаснаго шага, — да и самъ онъ скоро убъдился въ неисполнимости своего замысла и ръшилъ дъйствовать иначе: съ тою паивностью, которая не оставляла его и въ позднъйшіе годы жизни, онъ обратился, лътомъ 1825 года, прямо къ государю и, ссылаясь на свою болъзнь, требующую серьезнаго лъченія (аневризмъ), просилъ дозволенія поъхать "куда-нибудь въ Европу" (VII, 131)—ему, ссыльному, не имъвшему права являться безъ особаго разръшенія даже въ ближайшій губернскій городъ!... Отвътомъ на эту наивную просьбу было разръшеніе лъчиться во Псковъ, гдъ въ тъ времена, кажется, и врачей-то не было, а были только ветеринары...

Итакъ, Пушкинъ опять остался "на безлюдномъ островъ", какъ называлъ онъ свое Михайловское (VII, 140). Въ этой новой для него обстановкъ, среди невольнаго досуга, поэть находить единственную отраду въ литературныхъ занятіяхъ; его творческій геній мужаеть и крвпнеть, пріобрѣтая новую силу и оригинальность; его требованія отъ жизни, его идеалы становятся опредёленнье; живя въ непосредственной близости съ простымъ народомъ, онъ начинаетъ интересоваться его бытомъ, возврѣніями, прислушивается къ его сказкамъ и пъснямъ, въ которыхъ открываетъ "много истинной поэзіи", -- наконецъ, обращается къ русской исторіи. "Вечеромъ слушаю сказки", пишеть онь брату, ,, и вознаграждаю тымь недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! « (VII, 88). Заинтересованный сказками и пъснями, поэтъ записываетъ тъ и другія и потомъ, время отъ времени, пользуется ими. вводя народные мотивы въ свою поэзію. Любопытно проследить это постепенное наростание народныхъ элементовъ въ творчествъ Пушкина. Первый отзвукъ народной поэзіи мелькомъ является въ одной изъ его кишиневскихъ тетрадей 1822 года, въ видъ очень короткой, всего въ нѣсколько строкъ, программы сказки о дарѣ Салтанѣ (эта сказка, гораздо подробне записанная Пушкинымъ шесть льть спустя, получила окончательную обработку только въ 1831 году); но затемъ, до второй половины 1824 года, мы не встръчаемъ въ поэзіи Пушкина ни малъйшаго намека на народность. Поворотнымъ пунктомъ въ этомъ отношении является 1824 годъ: записывая сказки и песни, поэть уже делаеть ихъ достояніемъ своего творчества: въ 3-й главѣ "Онѣгина" мы видимъ вполнъ выдержанный въ народномъ духъ разсказъ няни и затъмъ-ивсню дввушекъ. Любонытно, что въ первоначальной редакціи этой 3-й главы Пушкинъ заставиль дъвушекъ пъть прямо народную пъсню: "Вышла Луня на дорогу, не молившись Богу", -- но потомъ сочинилъ свою "Двицы-красавицы".

Начиная съ 1825 года, когда быль написанъ "Борисъ Годуновъ", Пушкинъ все болве и болве увлекается въ своей поэзіи народными мотивами. Въ то время онъ пытается переработывать пъсни о Разинъ, — этомъ, по его выраженію, единственномъ поэтическомъ лицъ русской исторіи (VII, 88). Мы знаемъ, что извъстный собиратель нашихъ народныхъ пъсенъ И. В. Киръевскій при самомъ началъ своего труда получилъ отъ Пушкина уже готовый, довольно обширный сборникъ. Впослъдствіи, въ 1836 году, по просьбъ французскаго писателя Леве-Веймарса, посътившаго Петербургъ и желавшаго познакомиться съ русской поэзіей, Пушкинъ перевелъ на французскій языкъ одиннадцать народныхъ пъсенъ; въ то же время онъ чрезвычайно интересовался легендами, внимательно читалъ Четіи-Минеи, слъдилъ за

работами извъстнаго археолога И. П. Сахарова... Такимъ образомъ, пробудившійся въ немъ интересъ къ народной жизни и поэзіи уже не покидаль его и нерѣдко заставляль его именно въ этой области искать вдохновенія. Начиная съ 1825 года, мы видимъ цёлый рядъ произведеній, созданныхъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ этого духовнаго общенія поэта съ народомъ. Въ 1825 году написана сказка "Женихъ"; затъмъ, въ слъдующемъ году, въ 5-й главъ "Онъгина" Пушкинъ даетъ рядъ поэтическихъ картинъ зимней деревенской жизни; къ 1828 г. относится "Утопленникъ" и прологъ къ "Руслану и Людмиль представляющій поэтическое переложеніе отрывка изъ няниной сказки: въ 1830 г. написаны "Бъсы", начало сказки "Какъ весенней теплой порою" и "Повъсти Бѣлкина" съ знаменитой "Исторіей села Горохина". Лалье, въ 1831 — 34 гг. являются переложенія народныхъ сказокъ, записанныхъ поэтомъ со словъ своей няни; въ 1832 году — "Русалка", 1833 — "Капитанская Дочка", и опять въ тетрадяхъ поэта попадаются народныя пъсни... Достаточно назвать эти произведенія, чтобы видеть, какъ вліяніе народной жизни и народной поэзіи постепенно ростеть въ творчествъ Пушкина и все болье его захватываетъ. Поэтъ категорически заявляетъ убъждение въ высокой поучительности народной поэзіи, которую писатель необходимо долженъ изучать, и старается опредёлить, въ чемъ именно заключается такъ называемая "народность" въ литературь (V, 31, 232): "Народность въ писатель, говорить онь, — есть достоинство, которое вполнъ можеть быть одънено одними соотечественниками; для другихъ оно или не существуеть, или даже можеть показаться порокомъ. Ученый нъмецъ негодуеть на учтивость героевъ Расина; французъ смъется, видя въ Кальдеронъ — Коріона, вызывающаго на дуэль своего противника и пр. Все это, однако же, носить печать народности. Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повърій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому нибудь народу. Климать, образь жизни, в ра дають каждому народу особенную физіономію, которая болье или менье отражается и въ поэзіи". Поэть замьчаеть далье, что Шекспирь "народень" въ Отелло и Гамлеть, Лопе-де-Вега и Кальдеронь—во всъхъ частяхъ свъта, гдъ дъйствують ихъ герои, Аріость—въ описаніи своихъ китайскихъ красавицъ и т. д. Изъ этого видно, что Пушкинъ придавалъ понятію о "народности" очень широкое толкованіе, отнюдь не ограничивая его "простонародностью".

Здесь уместно будеть сказать несколько словь по поводу періодически всплывающаго въ нашей критикъ вопроса о "народности" или "ненародности" Пушкина. Вопросъ этотъ, какъ уже давно замъчено однимъ изъ выдающихся русскихъ писателей, кажется не празднымъ, какъ и вопросъ о міровомъ содержаніи поэтовъ. Если судить о "народности" значеніи томъ основаніи, читаеть или не читаетъ сателя простой народъ, то мы едва-ли начтемъ больше двухъ народныхъ поэтовъ въ целой Европе, по той самой простой причинъ, что мужикъ одинаково мало читаетъ и въ Европъ, и у насъ. И здъсь, и тамъ онъ не имбеть доступа къ литературному образованію, --- большею частью потому, что ему некогда, что его время поглощено тяжелой поденной работой. Только случайныя обстоятельства знакомять народь съ его поэтами: для этого надо, чтобы поэтъ жилъ въ народной средъ, -чтобы народъ его не то что читала, а слушала. Такимъ былъ Бернсъ въ Шотландіи, жившій и півшій среди горныхъ пастуховъ, а потому и памятный имъ, заучиваемый и передаваемый изъ покольнія въ покольніе. Литература повсюду мало доступна массамь: Байронъ не знакомъ англійскому простонародью; Шексгородское населеніе, потому что быпира знаетъ ваеть въ театрахъ; Гете и Шиллера знаеть Германія, прошедшая черезъ гимназіи и университеты, а не та

Германія, которая шесть дней работаеть какъ воль, а на седьмой отдыхаеть за Библіей и катехизисомъ. Вездѣ литература—достояніе города, а не деревни,—и Пушкинъ въ нашемъ простонародьѣ имѣетъ такъ же мало читателей, какъ и Шевченко и Кольцовъ, которые, по складу своего ума и рѣчи, безъ сомнѣнія, были "народными" поэтами.

Но если судить о "народности" поэта по складу егоума и ръчи, то нельзя не сознаться, что Пушкинъ былъ, между прочимъ, и народнымъ поэтомъ, потому что его всеобъемлющая впечатлительность включала всякое содержаніе, отзывалась на всякое настроеніе и искала многоразличныхъ формъ, въ числѣ которыхъ также и народная форма, какъ было и народное содержаніе. Стоить припомнить его стихотворенія на народныя темы, чтобы не усомниться въ томъ, что онъ владълъ народной стихіей. Его такъ называемое "міровое" значеніе, по справедливому замѣчанію упомянутаго выше писателя, трудно опредёлить вслёдствіе неясности этоготермина: если онъ относится исключительно къ политическому содержанію и вліянію поэзіи, то изъ числа міровыхъ поэтовъ придется исключить Гете; если же онъ относится къ научному содержанію, то только одного Гете и можно будеть назвать міровымъ поэтомъ. Далье, если этотъ терминъ относится къ многоразличію, къ всеобщности содержанія, — въ противоположность той поэзіи, которая занята исключительно личнымъ чувствомъ, любовью къ женщинъ, описаніемъ природы или вообще чъмъ бы то ни было не общественнымъ и настроеннымъ только на одинъ тонъ, -- то нельзя Пушкина не назвать міровымъ поэтомъ. Наконецъ, если "міровое значеніе" относится вообще къ вліянію поэта на современный міръ, то вліяніе Пушкина на русскій мірь было ничуть не меньше, чёмъ вліяніе Гете и Шиллера на міръ германскій. Что онъ не им'єлъ вліянія на Европу, --- это вполн'є понятно: мы для Европы были въ ту пору "простонародьемъ"; изъ нашей среды

небольшая кучка людей читала европейское, а нашего Европа вовсе не читала; наши интересы были ей или чужды, или враждебны. Для насъ, русскихъ, Пушкинъ несомевно имбетъ "міровое" значеніе: въ немъ отозвался весь русскій міръ и все европейское вліяніе на него, всв данныя, изъ которыхъ этотъ міръ сотканъ, въ немъ выразился своеобразный, русскій взглядъ на жизнь, и языкъ выработался до художественной полноты. До сихъ поръ пушкинская форма и пушкинскій языкъ живуть въ нашей поэзіи и не замѣнились другими формами; Пушкинъ остается высшимъ представителемъ русскаго поэтическаго творчества въ XIX стольтіи,—сколько бы критика, въ дѣтской рѣзвости, ни колебала его треножникъ.

"Книгъ, ради Бога, книгъ, — это пища души!" — пишетъ Пушкинъ брату изъ Михайловскаго, чуть не каждую недълю требуя все новыхъ и новыхъ посылокъ съ книгами. Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Библія, произведенія французской литературы старой и новой, мемуары Фуше, сочиненія Сисмонди и Шлегеля, Шатобріанъ, Ламартинъ, Гюго, наконецъ Шекспиръ, вотъ чъмъ питалась душа нашего поэта въ долгіе осенніе и зимніе вечера деревенскаго одиночества. Въ эту пору окончательно сложились его взгляды на цёли и задачи литературной дёятельности вообще и поэтического творчества въ особенности. Въ своихъ сужденіяхъ о русскомъ языкъ, о старой и современной литературъ и о различныхъ литературныхъ направленіяхъ и вопросахъ, а также и объ отдёльныхъ писателяхъ русскихъ и иностранныхъ, поэтъ является передъ нами съ новой стороны, - въ роли критика, не всегда строго последовательнаго, не всегда и справедливаго, но всегда оригинальнаго, остроумнаго и живого. Какъ мы уже имъли случай замътить, къ Путкину нельзя относиться съ требованіемъ строгой теоретической выправки, нельзя искать въ его воззрѣніяхъ какой-нибудь опредъленной системы, которой онь быль бы верень оть начала до конца, во всёхъ подробностяхъ; нельзя относиться къ нему такимъ образомъ потому, что поэтъ, по самой природъ своей, всегда живетъ болъе сердцемъ, чъмъ умомъ, и въ своей дъятельности является воплощеніемъ не анализирующаго логическаго мышленія, а живого непосредственнаго чувства, синтезирующаго полученныя имъ впечатленія; человекъ богато одаренный, пылкій, впечатлительный, онъ легко поддается настроенію минуты, увлекается неожиданнымъ остроумнымъ сравненіемъ, или выводомъ, случайной комбинаціей мыслей, и тотчасъ же высказываеть ихъ со всею прямотою и откровенностью, не давая себѣ времени для ихъ методической провърки и ръдко возвращаясь къ одному и тому же предмету съ прежнимъ настроеніемъ. Въ тъхъ немногихъ случаяхъ, когда Пушкинъ, повидимому, принуждаеть себя къ строгой логической последовательности сужденій, эти сужденія являются какъ бы насильственнымъ развитіемъ первичной мысли: они холодны, сухи, вялы, не доказательны; но тамъ, гдъ онъ судить по первому впечатлѣнію, мы очень часто видимъ мысли удивительно мъткія и върныя; своимъ непосредственнымъ поэтическимъ чутьемъ онъ неръдко угадываетъ многое такое, до чего аналитическая критика договорилась только послъ цълаго ряда умозръній. Указывая литературъ высокую цёль-поучать и просвёщать общество, подготовляя его къ сознательному воспріятію высшаго изъ благъ, -свободы, Пушкинъ самъ не былъ способенъ къ роли учителя, наставника, последовательно развивающаго и доказывающаго опредвленный рядъ мыслей и логически убъждающаго въ ихъ правильности. Онъ ничего не доказываеть; онъ только бросаеть свои мысли въ видъ афоризмовъ, --- но эти афоризмы, часто брошенные мимоходомъ, дъйствуютъ иногда гораздо сильнъе и убъдительнее, чемъ целая цель хитроумныхъ логическихъ аргументовъ. Таково свойство синтетическаго ума; онъ даеть сразу полную, цёльную картину, которая неотразимо врѣзывается въ умѣ именно благодаря свой цѣикности и непосредственности; анализировать ее вы начинаете уже впослѣдствіи, и этотъ анализъ нерѣдко только еще больше подчеркиваетъ вѣрность перваго впечатлѣнія. Таково большинство сужденій Пушкина о рускихъ писателяхъ, старыхъ и современныхъ ему. Припомните его приговоры о Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Тредьяковскомъ, Державинѣ, о "Горѣ отъ ума",—и вы согласитесь, что непосредственному чутью поэта удавалось схватить самую суть дѣла, и что всѣ дальнѣйшія разсужденія анализирующей критики объ этихъ литературныхъ дѣятеляхъ и произведеніяхъ были только подтвержденіемъ случайныхъ афоризмовъ поэта.

Постараемся же сгруппировать эти афоризмы въ одно цълое, чтобы уяснить себъ критическое отношение Пушкина къ нашей литературъ.

Начнемъ съ того, что сказано поэтомъ объ органъ нашей поэзіи,— о русскомъ языкъ.

Какъ матеріалъ словесности, русскій языкъ, по мньнію Пушкина, имбеть неоспоримое превосходство предъ всъми европейскими; но ему много повредило общее пренебреженіе къ нему со стороны образованныхъ людей: "всѣ наши писатели на то жаловались, —но кто же виновать, какъ не они сами? Исключая тъхъ, которые занимаются стихами, русскій языкъ ни для кого еще не можеть быть довольно привлекателень; у наст нътт еще ни словесности, ни книго; всв наши знанія, всв наши понятія съ младенчества почерпнули мы въ книгахъ иностранныхъ; мы привыкли мыслить на чужомъ языкѣ; метафизического языка у насъ вовсе не существуетъ. Просвъщение въка требуетъ важныхъ предметовъ для пищи умовъ, которые уже не могутъ довольствоваться блестящими игрушками; но ученость, политика, философія порусски еще не изъяснялись. Проза наша еще такъ мало обработана, что даже въ простой перепискъ мы принуждены создавать обороты для понятій самыхъ обыкновенныхъ, и лѣность наша охотнѣе выражается на языкѣ чужомъ, коего механическія формы давно уже готовы и всѣмъ извѣстны $(V^*, 19)$. Дай Богъ русскому языку когда-нибудь образоваться на подобіе французскаго, — яснаго, точнаго языка прозы, т. е. языка мыслей (VII, 136). Много виноваты, конечно, сами же наши писатели (III, 416).

Сокровища родного слова, -Замбтять важные умы, — Для лепетанія чужого Пренебрегли безумно мы; Мы любимъ музъ чужихъ игрушки, Чужихъ нартчій погремушки, А не читаемъ книгъ своихъ. — Да гдѣ жъ онѣ? давайте ихъ! Конечно, съверные звуки Ласкають мой привычный слухь; Ихъ любитъ мой славянскій духъ; Ихъ музыкой сердечны муки Усыплены... но дорожить Одними ль звуками пінть? И гдѣ жъ мы первыя познанья И мысли первыя нашли? Гдѣ повѣряемъ испытанья? Гдъ узнаемъ судьбу земли? Не въ переводахъ одичалыхъ, Не въ сочиненьяхъ запоздалыхъ, Гдѣ русскій умъ и русскій духъ Зады твердить и лжеть за двухъ...

Поэты наши переводять Пли молчать; одинь журналь Псполненъ приторныхъ похвалъ, Тотъ—брани плоской; всѣ наводять Зъвоту, скуку, чуть не сонъ: Хорошъ россійскій Геликовъ!

Русскій языкъ еще ждеть своей европейской общежительности. Вифстф съ тфиъ, наши писатели совсфиъ напрасно замыкають свою рфчь въ узкія рамки книжнаго склада и не прислушиваются къ живому говору народа:

"разговорный языкъ простого народа, не читающаго иностранныхъ книгъ и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы своихъ мыслей на французскомъ языкъ, достоинъ глубочайшихъ изслъдованій. Альфіери изучалъ итальянскій языкъ на флорентинскомъ базаръ. Не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онъ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ" (V, 136).

Для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка необходимо изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п., и критики наши напрасно относятся къ нимъ съ пренебреженіемъ; нашъ языкъ богатъ и прекрасенъ, свободенъ, —и не должно мѣшать его свободѣ, тѣмъ болѣе, что въ этомъ языкъ, какъ и въ самой Россіи, "все должнотворить". Потому-то "только революціонная голова можетъ любить Россію, и только писатель можетъ любить ея языкъ".

Эти замечанія о языке приводять къ другому, близкому вопросу, -- о слогъ. Еще Карамзинъ высказалъ правило, что "писать следуеть такь, какь говорять, а говорить - такъ, какъ пишутъ"; Пушкинъ вполнъ раздъляеть это мивніе, которое въ его время далеко не было общимъ. Онъ подсмъивается надъ писателями, которые, "почитая за низость изъяснять просто вещи самыя обыкновенныя, думають оживить детскую прозу дополненіями и вялыми метафорами". Наша критика въ этомь отношеніи особенно отличалась мелочными придирками, которыя не разъ приходилось Пушкину испытывать на самомъ себъ. Строгій къ себъ поэть обращаеть вниманіе на тв изъ указаній критики, которыя представляются ему основательными, и въ своей записной книжкъ удъляетъ мъсто разнымъ грамматическимъ вопросамъ и сомнъніямъ (V, 135). Но противъ несправедливаго педантизма онъ всегда вооружается. Русскій писатель, которому такъ много нужно еще творить въ своемъ языкв, долженъ обладать смёлостью въ созданіи образовь и выраженій (V, 60), И, конечно, никто болъе Пушкина не имълъ права на такую смълость, -- и онъ пользовался этимъ правомъ со всею силою своего генія, которому такъ много обязанъ нашъ языкъ тѣмъ, что онъ есть теперь.

Переходя отъ формы нашей литературы къ ея содержанію, Пушкинъ не видить въ до-петровскомъ періодъ ничего - или почти ничего, что заслуживало бы вниманія современнаго писателя и было бы для него поучительно. Въ этомъ отношении нашъ поэтъ является представителемъ взглядовъ, которые въ его время раздълялись всъми образованными русскими людьми, воспитанными на классической риторикъ и пінтикъ. "Старой словесности у насъ не существуетъ, говорилъ онъ: за намистепь, и на ней возвышается единственный памятникъ, — Слово о полку Йгоревъ "Петръ создалъ войско, флотъ, науки, законы, но не могъ создать словесности, которая рождается сама собою отъ своихъ собственныхъ началъ. Покольніе преобразованное презрыло безграмотную, изусткую словесность, —и Кантемирь, одинь изъ воспитанниковъ Петра, въ путеводители себъ избралъ Буало". Въ первое время нашей новой литературы—"ничтожество общее: французская обмельчавшая словесность овладъваеть встмъ; знаменитые писатели не имтютъ ни одного последователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовь, - Дорать, Флоріань, Мармонтель и пр., -- овладъвають русскою словесностью "...

Самымъ крупнымъ представителемъ нашей литературы XVIII столътія, копечно, является Ломоносовъ. Соединяя необыкновенную силу воли съ необыкновенною силою понятія, онъ "обнялъ всъ отрасли просвъщенія и, между прочимъ, открылъ намъ истинные источники нашего поэтическаго языка". Но—"если мы станемъ изслъдовать жизнь Ломоносова, то найдемъ, что науки точныя были всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ, стихотворство же — иногда забавою, по чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы напрасно искали бы въ первомъ нашемъ лирикъ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія. Слогъ его, ровный, цвътущій и живописный,

заемлетъ главное достоинство отъ глубокаго знанія книжнаго славянскаго языка и отъ счастливаго сліянія онаго съ языкомъ простонароднымъ. Вотъ почему переложенія псалмовъ и другія сильныя и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ книгъ суть лучшія его произведенія. Они останутся вѣчными памятниками русской словесности; по нимъ долго еще должны мы будемъ изучаться стихотворному языку нашему ... (V, 28).

Позже, въ статъв "Мысли на дорогв", Пушкинъ посвятиль Ломоносову цёлую главу, въ которой, называя его "первымъ нашимъ университетомъ", замъчаетъ, что "въ семъ университетъ профессоръ поэзіи и элеквенціи не что иное, какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекательный... Въ Ломоносовъ нътъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ нъмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное, и до сихъ поръ въ ней отзывается: высокопарность, изысканность, отвращение отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности — вотъ слъды, оставленные Ломоносовымъ... Ломоносовъ самъ не дорожиль своею поэзіею и гораздо болье заботился о своихъ химическихъ опытахъ, чёмъ о должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоименитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говорить онъ о Сумароковѣ, страстномъ къ своему искусству, — объ этомъ челов вкв, который ни о чемъ, кромъ какъ о бъдномъ своемъ риомичествъ, не думаетъ... За то-съ какимъ жаромъ говориль онь о наукахь, о просвъщении!... (V, 221).

О Сумароковъ Пушкинъ, еще 17-лътній юноша, въ своемъ лицейскомъ посланіи къ Жуковскому, отзывается очень презрительно:

«Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, надутый Сумароковъ, Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ, Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?»

Въ статъв "О драмв" поэтъ называетъ Сумарокова "несчастнъйшимъ изъ подражателей", а его трагедіи находитъ "исполненными противосмыслія" (V, 144).

Что касается Тредьяковскаго, то онъ былъ "конечно, почтенный и порядочный человъкъ. Его филологическія и грамматическія изъясненія очень замѣчательны; онъ имѣлъ о русскомъ стихосложеніи обширнѣйшее понятіе, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. Любовь его къ фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха доказываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ Телемахидю находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ. Вообще, изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сумароковъ и Херасковъ вѣрно не стоятъ Тредьяковскаго" (V,225—226).

Приговоръ Пушкина о Державинъ извъстенъ своею ръзкостью, но едва-ли можно назвать его несправедливымъ: "Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни русскаго языка (воть почему онь и ниже Ломоносова); онъ не имълъ понятія ни о слогъ, ни о гармоніи, ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ почему онъ и долженъ бъсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаеть оды, но не можеть выдержать и строфы... Что же въ немъ? --- мысли, картины и движенія истиню поэтическія; читая его, кажется, читаешь дурной вольный переводъ съ какого-то чудеснаго подлинника. Ей-богу, его геній думаль по-татарски, а русской грамоты не зналь за недосугомъ... У Державина должно будетъ сохранитъ одъ восемь, да нъсколько отрывковъ, а прочее сжечь. Геній его можно сравнить съ геніемъ Суворова; жаль, что нашъ поэтъ слишкомъ часто кричалъ пътухомъ..." (VII, 133).

Вотъ какими являются въ характеристикахъ Пушкина

самые выдающіеся представители нашей литературы XVIII въка. Обращаясь къ сужденіямъ поэта объ его современникахъ, прежде всего остановимся на нѣкоторыхъ общихъ вопросахъ, поднятыхъ критикой 20-хъ и 30-хъ годовъ, отчасти по поводу произведеній самого же Пушкина. Здёсь на первомъ планё стоить споръ о классицизмё и романтизм'в, такъ сильно волновавшій тогдашнихъ словесниковъ и рѣшаемый ими вкривь и вкось, безъ всякаго руководящаго принципа. "Сколько я ни читаль о романтизмѣ, говоритъ Пушкинъ, -- все не то ". Собственной теоріи этого литературнаго направленія онъ нигдъ не излагаеть, --- конечно, потому, что считаль этоть вопросъ чисто формальнымъ, и уже личнымъ своимъ примфромъ проводиль въ литературу принципъ свободы поэтическаго творчества и поэтическаго реализма. Въ связи съ этимъ воззрѣніемъ стоить и приведенное выше мнѣніе его о народности въ литературъ, и мысль о поучительности народной поэзіи для образованнаго писателя.

Следующій затемь вопрось, также много занимавшій Пушкина, — вопросъ о приличіи и нравственности въ литературныхъ произведеніяхъ. Писатели старой классической школы особенно любили обвинять молодыхъ романтиковъ въ "потрясеніи основъ" нравственности, въ • крайнемъ неприличіи сюжетовъ и слога: Н. И. Надеждинъ, въ своей латинской докторской диссертаціи "О природъ такъ называемой романтической поэзіи", строго осуждая новъйшую литературную развращенность, говорить: "Волосы встають дыбомъ при видъ тъхъ ужасовъ, какіе подносить намь наша ново-романтическая поэзія. Неть преступленія столь ужаснаго, чтобы оно считалось недостойнымъ служить предметомъ поэтическаго вымысла; нътъ порока столь гнуснаго, чтобы онъ казался несоединимымъ съ эстетическою красотою. Можно даже сказать, что поэма не признается хорошо составленною, если она не склеена человъческою кровью, если она не основана, подобно тарпейскому вышгороду, на несколькихъ человъческихъ головахъ. Всевозможныя насилія, бъщенство, человъкоубійство, братоубійство, отцеубійство, самоубійство и самые гнуснъйшіе пороки-воть тъ украшенія, которыми тщеславно хвалится поэзія, незаконно присвоившая наименованіе романтической! "Тоть же критикъ, какъ изв'єстно, много разъ жестоко нападавшій на Пушкина, говоря о Байронь (celeberrimus Byron, vir ingenii summi, pietatis nullius) и сравнивая его съ Вольтеромъ, —по его мнънію, однимъ изъ самыхъ вредоносныхъ писателей, -- находить, что Байронъ представляетъ явление въ своемъ родъ единственное по крайней безнравственности-и, видя, какъмного у этого "чудовища" развелось подражателей, съгорестью восилицаеть "O tempora, o mores! " Свобода отъ-"пінтическихъ правилъ", которую проповъдуютъ романтики, есть въ его глазахъ не свобода, а отчаяніе, печальнъйшее рабство, симптомъ крайняго упадка, summa malorum omnium. Классическая поэзія есть свътлый полдень. романтическая-мрачная ночь... "Низкія страсти, разбойники, цыганы, убійства-воть чёмъ вдохновляются новъйшіе послъдователи британскаго изверга и противъ чего благомыслящая критика должна возставать всею силою своего убъжденія!".

Конечно, Пушкинъ не могъ оставить безъ вниманія этихъ обвиненій, которыя, между прочимъ и всего больше, касались и его собственной литературной дѣятельности. Онъ старается ввести вопросъ о литературныхъ приличіяхъ въ надлежащія рамки и зло подсмѣивается надъ современными Тартюфами, слишкомъ щекотливыми насчетъ благопристойности: "эти гг. критики нашли странный способъсудить о степени нравственности какого-нибудь стихотворенія. У одного изъ нихъ есть 15-лѣтняя племянница, у другого—15-лѣтняя знакомая, и все, что по усмотрѣнію родителей не дозволяется имъ читать, провозглашено неприличнымъ, безнравственнымъ, похабнымъ! Какъ будто литература и существуетъ только для 15-лѣтнихъ дѣвушекъ!... Безнравственное сочиненіе есть то, коего цѣлью

или дъйствіемъ бываетъ потрясеніе правиль, на коихъ основано общественное счастіе или достоинство человъческое. Стихотворенія, коихъ цъль—горячить воображеніе любострастными описаніями, унижаютъ поэзію, превращая ея божественный нектаръ въ воспалительный составъ, а музу—въ отвратительную колдунью. Но шутка, вдохновленная сердечною веселостію и минутною игрою воображенія, можетъ показаться безнравственною только тъмъ, которые о нравственности имъютъ дътское или темное понятіе, смъщивая ее съ нравоученіемъ, и видятъ въ литературъ одно педагогическое занятіе" (V, 122—123).

Впослѣдствіи, въ своемъ "Современникъ", Пушкинъ еще разъ коснулся этого же вопроса, разбирая академическую рѣчь Лобанова "О духѣ словесности", въ которой авторъ нагромоздилъ всевозможныхъ нелѣпостей о французской и русской литературѣ. Эта небольшая, спокойно написанная статья поэта даетъ вполнѣ ясное и опредѣленное понятіе объ его воззрѣніяхъ на задачи и пріемы изящной словесности (V, 299—306).

Не повторяя отзывовъ Пушкина о современной ему критикъ, которую онъ имълъ основание ставить очень невысоко, потому что она и въ самомъ дълъ имъла крайне смутное представление о своихъ задачахъ (ср. выше, стр. 317—320), остановимся на его мнфніяхъ объ институть, имъвшемъ такое ръшительное вліяніе на развитіе нашей литературы, именно — о цензуръ. Извъстно, въ какомъ положеній находились относительно цензуры современники Пушкина и онъ самъ: имена Тимковскаго, Красовскаго, Бирукова и другихъ охранителей тогдашней русской словесности удостоились безсмертія, благодаря пушкинскимъ эпиграммамъ. Поэтъ не пускался въ мечтанія о полной свободъ литературнаго слова: еще въ молодости, въ своихъ знаменитыхъ посланіяхъ "Къ цензору", онъ указываль на разницу въ этомъ отношеніи между Россіей и Европой:

Что нужно Лондону, то рано для Москвы.

Но, какъ вѣрный защитникъ просвѣщенія, онъ считалъ себя вправѣ желать и требовать разумнаго примѣненія мѣръ предосторожности; а этой-то разумности онъ и не находиль въ современныхъ литературныхъ условіяхъ. Въ статьѣ своей "Мысли на дорогѣ" (V, 236—237) онъ крайне осторожно и со всевозможными оговорками высказываль это простое, повидимому, вполнѣ естественное требованіе, и то опасаясь, какъ бы оно не было принято за проповѣдь революціи; и за эту же самую статью позднѣй-шая либеральная критика обвиняла поэта въ угодничествѣ и провозглашала его противникомъ свободы книгопечатанія! Понятны тѣ рѣзкія и горькія восклицанія, какія срывались въ минуты душевной тревоги съ устъ поэта, сознававшаго, что онъ "послѣднихъ жалкихъ правъ безъ милости лишенъ"...

Но въ то же время поэть сознаваль, что "дружина ученыхъ и писателей стоить всегда впереди во всёхъ набёгахъ просвёщенія, на всёхъ приступахъ образованности", и что "не должно имъ малодушно негодовать, если вёчно имъ опредёлено выносить первые выстрёлы и всё невзгоды, всё опасности ремесла".

Литература существуеть для публики. Мнѣніе Пушкина о современной ему публикѣ было очень невысоко: "Есть у насъ люди, которые выше ея,—этихъ она недостойна чувствовать; другіе ей по плечу,—этихъ она любитъ и почитаетъ" (VII, 31). Онъ любитъ повторять злой вопросъ Шамфора: "сколько нужно глунцовъ для того, чтобы составить публику?" Дѣло въ томъ, что тогдашніе критики, вродѣ, напр., Булгарина и ему подобныхъ, для оправданія своихъ словъ имѣли привычку обращаться къ "почтеннѣйшей" публикѣ или ссылаться на ея мнѣніе, говоря, что оно имъ извѣстно; разнаго рода передержки, сплетни, самыя грязныя инсинуаціи пускались въ ходъ подъ этимъ флагомъ; Булгаринъ, не стѣсняясь, кричалъ о небываломъ успѣхѣ своего "Выжигина" и о "полномъ паденіи" Бо-

риси Годунова. Эта "публика", литературные вкусы и общественныя понятія которой воспитывались "Сѣверной Пчелой" и "Сыномъ Отечества", отъ которой Пушкинъ не могъ ждать не только справедливой оцѣнки, но даже и простого пониманія, была для него "чернью", "толпой", отъ которой онъ желалъ замкнуться въ гордомъ уединеніи:

Ты-царь: живи одинъ.

Онъ выше всего цениль въ писателе независимость: "Настоящее мъсто писателя"—говорить онъ (V, 312), есть его ученый кабинеть; независимость и самоуважение одни могуть насъ возвысить надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы". Пушкинъ доволенъ твиъ, что это сознаніе замічается и у нась: "Наши поэты", — говорить Чарскій въ Египетских Ночахо, — , не ходять изъ дома въ домъ, выпрашивая себъ подаянія, а отъ своихъ меценатовъ (чортъ ихъ побери!) требують только одного, — чтобы они не входили на нихъ въ тайные доносы, -- и того не могутъ добиться!" (IV, 390). Меценатство и покровительство вообще унизительно: оно дёлаеть человёка рабомъ; въ отсутствіи у насъ покровительства поэтъ видитъ симпатичную черту литературныхъ нравовъ, но въ то же время не можеть не возмущаться тыми отношеніями, какія установились между писателями и литературной "чернью" — разными самозванными критиками и журналистами. "Покровительство до сей поры сохраняется въ англійской литературь. Почтенный Креббь, умершій недавно, поднесъ всв свои прекрасныя поэмы его милости герцогу и пр. Въ Россіи вы не встрътите ничего подобнаго. У насъ, какъ замътила м-мъ де-Сталь, словесностію занимались большею частію дворяне. Это дало особенную физіономію нашей литературь; у насъ писатели не могуть изыскивать милостей и покровительства у людей, которыхъ почитаютъ себъ равными, и подносить свои сочиненія вельмож'в или богачу, въ надежд'в получить отъ него пятьсотъ рублей или перстень, украшенный драгоцѣнными каменьями... Что жъ изъ этого слѣдуетъ? что нынѣшніе писатели благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, пежели мыслили и чувствовали Ломоносовъ и Костровъ? Позвольте въ томъ усомниться. Нынче писатель, краснѣющій при одной мысли посвятить книгу свою человѣку, который двумя или тремя чинами выше его, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному въ общемъ мнѣніи, но который площадной руганью можетъ повредить продажѣ книги или хвалебнымъ объявленіемъ заманить покупщиковъ. Нынѣ послѣдній изъписакъ, готовый на всякую приватную подлость, громко проповѣдуетъ независимость и пишетъ безыменные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ ихъ кабинетѣ"... (V, 226—228).

Въ одномъ изъ отрывковъ къ "Египетскимъ Ночамъ" Пушкинъ изображаетъ самъ себя подъ видомъ своего "пріятеля"—поэта:

"Мой пріятель быль самый простой и обыкновенный человъкъ, хотя и стихотворецъ. Когда находила на него такая дрянь (такъ называль онъ вдохновеніе), то онъ запирался въ своей комнатъ и писалъ съ утра до поздняго вечера, одъвался наскоро, чтобъ пообъдать въ рестораціи, выважаль часа на три; возвратившись, опять ложился въ постелю и писалъ до пътуховъ. Это продолжалось у него недели две-три, много месяць, и случалось единожды въ годъ, всегда осенью. Пріятель мой ув врялъ меня, что онъ только тогда и зналъ истинное счастіе; остальное время года онъ гулялъ, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбъжный вопросъ: скоро ли вы насъ подарите новымъ произведеніемъ пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннъйшая публика отъ моего пріятеля, если бы книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имъя поминутно нужду въ деньгахъ, пріятель мой печаталъ свои сочиненія и имъль удовольствіе потомъ читать о нихъ печатныя сужденія, что называль онь въ своемь энергическомъ просторъчіи—подслушивать у кабака, что говорять объ насъ холопья". (IV, 399).

Въ тъсной связи съ характеристикой "пріятеля" стоитъ такъ называемый "аристократизмъ" Пушкина, за который ему доставалось и отъ современниковъ (Рылбевъ, Полевой, Булгаринъ), а еще больше -- отъ потомства, въ лицъ тъхъ критиковъ, которые усвоили привычку хватать съ плеча по завътнымъ личностямъ всей ладонью. Пушкинъ, какъ извъстно, гордился своимъ "шестисотлътнимъ дворянствомъ", — любилъ разыскивать на страницахъ Карамзина имена своихъ предковъ, не разъ вспоминалъ объ ихъ судьбъ и изображаль ее въ своихъ произведеніяхъ ("Родословная моего героя", "Моя родословная", отрывки къ "Египетскимъ Ночамъ"). Все это должно было свидътельствовать объ его мелочности, тщеславіи, увлеченіи вещами, недостойными просвъщеннаго человъка, -- поэта и литератора. "Къ чему тебъ дворянство? - писалъ Рыльтевь: — будь просто поэтомь ". На самомь дыль, однако въ первой половинъ нашего въка быть только поэтомъ было совсвиъ не такъ "просто". Наше тогдашнее общество было воспитано на чинопочитании, всякія служебныя отличія—чины, ордена, шмёли въ его глазахъ огромное значеніе; люди, украшенные орденами, считали долгомъ выставлять ихъ напоказъ всюду, гдъ ни появлялись, — на гулянью, въ театрю, даже въ трактирю; въ этомъ обществъ не только встръчали "по платью", но по платью и провожали. Чинъ, -- хотя бы сенатскаго регистратора, —имълъ въ этой средъ свое опредъленное значеніе, потому что имъ указывалось на извъстное узаконенное общественное положеніе; званіе же литератора или поэта ровно никакого значенія не имъло, потому что и званія такого не было установлено: "поэть" самъ по себъ быль равенъ нулю, и даже менъе; на вопросъ: "кто таковъ?" онъ долженъ былъ отвътствовать указаніемъ на свою принадлежность къ одной изъ узаконенныхъ общественныхъ категорій. Державинъ, Дмитріевъ, Карамзинъ, Жуковскій имѣли вѣсъ въ обществѣ вовсе не потому. что они были талантливыми поэтами и литераторами, а потому, что первые двое были министрами, а двое последнихъ имъли по двъ звъзды. Передъ такими людьми широко растворялись всё двери, и никто въ салонахъ того времени не ставилъ имъ въ упрекъ, что они, въ свободное отъ болье важных занятій время, забавляются "пустяками" ибо эти "пустяки" нисколько не мѣшали имъ проходить свое чиновное поприще. Но Пушкинъ? что такое представляль собою Пушкинь въ глазахъ техъ Фамусовыхъ и Молчалиныхъ, которыми киштью окружавшее его общество? Молодой человъкъ изъ хорошей семьи, съ достаткомъ, со связями, получившій прекрасное воспитаніе въ привилегированномъ заведеніи, стоялъ на прекрасной служебной дорогь, -- быль причислень къ министерству иностранныхъ дълъ, — и вдругъ "вообразилъ себя умнъе всёхъ", сбился съ пути и отбился отъ рукъ: "чинъ следоваль ему, -- онъ службу вдругь оставиль (хотя и несовствить добровольно), — въ деревить книги сталъ читать "... Можно ли представить себъ что-нибудь болье неумъстное? Да еще, вдобавокъ, подружился съ такими сорванцами, которые потомъ затвяли бунть, "наводниль Россію возмутительными стихами ... "Вотъ молодость: читать! А послъ-хвать! - въ тридцать лътъ слишкомъ-только какой-то тамъ "коллежскій секретарь", пожалованный въ камеръ-юнкеры не за свои какія-нибудь заслуги, а единственно для того, чтобы дать его красавиць-жень право являться ко двору... Такого малочиновнаго и притомъ "безпокойнаго" господина тогдашніе Фамусовы не могли признавать челов комъ своего круга: "въ семью не включимъ, на насъ не подиви!" Въ ихъ глазахъ онъ былъ не больше, какъ случайный, и вдобавокъ-подозрительный рагуепи, которому они постоянно давали понять, что его только терпять, но отнюдь не поощряють. Геніальностью нельзя было побівдить этотъ кругъ, ибо геніальность вовсе не предусматривалась тогдашнимъ складомъ общественныхъ понятій; законодатели свътскихъ салоновъ, по складу своего ума и направленію мысли, въ сущности, недалеко ушли отъ того уральскаго казака, который разсказываль, какъ на Ураль пріважаль "сумасшедшій прусскій принць Гумплотъ" (Гумбольдтъ): для нихъ и генјальный поэтъ казался такимъ же сумасшедшимъ; они брезгливо морщились при упоминании о литературь, какъ о дълъ важномъ и серьезномъ, презрительно называли одного талантливаго публициста—кутейникомъ, другого—купишикой, —и этотъ купчишка не на шутку долженъ былъ опасаться, что въ одинь прекрасный день квартальный поведеть, его на жеревочкъ на събзжую... Вспомнимъ, какъ маменька пубернскаго секретаря Тургенева, столбовая дворянка, относилась къ литературнымъ занятіямъ своего сына, и какъ этого самаго губернскаго секретаря, черезъ пятнадцать лътъ послъ смерти Пушкина, свели на съъзжую за газетную статейку о покойномъ коллежскомъ секретаръ Гоголъ.

Вотъ среди какого общества по неволѣ приходилось вращаться Пушкину. Удивительно ли, что поэтъ, требуя къ себѣ уваженія, долженъ былъ говорить съ этимъ обществомъ на понятномъ ему языкѣ и указывать на свою дворянскую родовитость? Оставаясь "просто" поэтомъ, онъ не могъ расчитывать на вниманіе; богатства у него не было; что же онъ могъ бросить въ глаза этимъ людямъ, какъ не свое древнее историческое имя? Что же другое могло ихъ заставить смотрѣть на него, какъ на ровню? А заставить ихъ такъ смотрѣть было необходимо.

Могутъ сказать: онъ долженъ былъ съ презрѣніемъ отвернуться отъ этого общества, уйти въ себя, какъ это сдѣлалъ впослѣдствіи Лермонтовъ. Но и характеръ, и судьба Лермонтова были совсѣмъ иные. Пушкинъ глубоко презиралъ ту общественную среду, въ которой онъ былъ замкнутъ силою обстоятельствъ; но она была для

него ядромъ каторжника, — ядромъ, котораго стряхнуть съ себя у него не было ни силъ, ни возможности. Онъ чувствовалъ себя вполнъ самимъ собою только въ тъ немногіе недъли и мъсяцы, которые ему удавалось проводить въ деревенскомъ уединеніи, — въ Михайловскомъ или въ Болдинъ, — гдъ его посъщали и свътлыя мысли, и желанное вдохновеніе; а затъмъ ему опять приходилось возвращаться въ прежній постылый кругъ, изъ котораго не было выхода, который впивался въ него сотнями присосковъ — оффиціальныхъ, семейныхъ, свътскихъ, матеріальныхъ, литературныхъ и пр., — и безпощадно пилъ его кровь, доводя порой до отчаянныхъ выкриковъ душевной боли: "Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ! "...

Но именно потому, что онъ родился съ душою и талантомъ, — онъ не ушель бы отъ общества, даже если бы имѣлъ возможность. Глубоко вѣруя въ высокое просвѣтительное, очеловѣчивающее значеніе литературы, онъ считалъ своимъ призваніемъ служить этой высокой цѣли, — "глаголомъ жечь сердца людей", хотя и сознавалъ, насколько непосильна и неблагодарна эта задача въ его "жестокій" вѣкъ. Онъ надѣялся на дружную поддержку своихъ литературныхъ единомышленниковъ, той "дружины ученыхъ и литераторовъ", которая хотя была и очень немногочисленна, но оставалась вѣрною завѣту "стоять всегда впереди"; онъ расчитывалъ и на просвѣщенное вниманіе со стороны того, кто въ немъ почтилъ вдохновенье и освободилъ его мысль...

Минута освобожденія изъ Михайловскаго, откровенная бесёда съ новымъ государемъ, непохожимъ на своего предшественника, — показалась Пушкину призывомъ къ общественной дёятельности; онъ былъ увёренъ, что его "освобожденная мысль" получитъ возможность дёйствовать на общество, пробуждая въ немъ тё стреминенія къ изящной формё и разумному содержанію жизни, которыя усвоены были самимъ поэтомъ еще въ

ранней молодости, невредимо пронесены черезъ всѣ житейскія невзгоды и теперь получали болье опредьленное выраженіе, переходяцзь за облачныхь, отвлеченныхь, "вольнолюбивыхъ" надеждъ и мечтаній на реальную почву практической жизни. Воспитание общества путеми литературы-воть та формула, къ которой можно свести всъ начинанія Пушкина въ николаевокую эпоху: можное распространение образования, "пробуждение добрыхъ чувствъ", въ которыхъ болве всего нуждался "жестокій в'якъ", указаніе — хотя бы отдаленнымъ намекомъ на иные, высшіе идеалы, чёмъ тё чисто-животныя побужденія, какими жило тогдашнее большинство. Поэть наделяся достигнуть этой цели и вериль въ нее, не смотря на всѣ горькія разочарованія, которыя ежедневно приносила ему суровая дъйствительность. Изъ своего деревенскаго затворничества онъ самостоятельное творчество, интересъ къ родной исторіи и народной поэзіи; чтеніе л'єтописей и Карамзина вызвало "Бориса Годунова"; знакомство съ народной поэзіей сказалось переработкою пъсень о Стенькъ Разинъ; въ исторіи времени болье близкаго къ намъ поэтъ быль особенно увлечень колоссальною личностью Петра Великаго, творца новой Россіи и ея новаго государственнаго строя. Образованіе государственной силы подъ руководствомъ централизаціи, блескъ власти и патріотизмъ, развернувшійся въ концѣ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ подъ вліяніемъ политическихъ событій, производили на . поэта очень сильное впечатленіе: отъ сильной власти онъ ожидаль для Россіи всьхъ благь цивилизаціи, если только эта власть приметь себъ за образецъ "въчнаго работника на тронь", который "придаль мощно" быть державный кромв родного корабля". Личность царя-преобразователя являлась поэту съ разныхъ сторонъ, --- но всегда въ ореолъ славы и величія, какъ высокій идеаль для потомковъ ("семейнымъ сходствомъ будь же гордъ, --- во всемъ будь пращуру подобенъ... "): онъ изображалъ Петра и въ

поэмахъ, и въ мелкихъ стихотвореніяхъ, и въ разсказъ изъ жизни своего прадеда Ибрагима и, наконецъ, задумаль собирать матеріалы для исторіи этой геніальной личности, такъ сильно подъйствовавшей на воображение поэта. Вмёстё съ тёмъ, но уже въ гораздо меньшей степени, занимали Пушкина и другія историческія лица-Екатерина II, Пугачевъ... Но занятія исторіей Петра Великаго, точно такъ же, какъ и исторія пугачевскаго бунта, были только случайными эпизодами въ литературной дъятельности поэта. Не смотря на то, что съ перваго же прівада въ Москву ему пришлось убъдиться, что онъ совершенно напрасно считалъ свою мысль "освобожденною", — его неудержимо влекло къ непосредственному воздѣйствію на общество. Онъ видѣлъ всю мерзость запустьнія тогдашней литературы, съ ея знаменитымъ тріумвиратомъ изъ Булгарина, Греча и Сенковскаго, видълъ младенчество критики, дикость литературныхъ нравовъ, — и ему удалось уговорить лицейскаго товарища Дельвига, и кружокъ близкихъ людей выступить съ изданіемь "Литературной Газеты", которая должна была, какъ ему казалось, давать тонъ литературв и прививать ей всего болъе отсутствовавшую въ тогдашней періодической печати порядочность. Но ни у самого Пушкина, ни у его друзей не хватало выдержки и терпънія для того, чтобы спокойно и хладнокровно разбираться въ современной литературной жизни; люди благомыслящіе, съ которыми онъ могъ бы столковаться, не смотря на нъкоторую разницу въ убъжденіяхъ, Надеждинъ, Полевой, -- не дорожили его союзомъ какъ публициста и критика, и недальновидно раздражали его своими иногда ребическими нападками, играя въ руку шайкъ разбойниковъ пера; притомъ, Пушкинъ плохо считался и съ "независящими обстоятельствами", которыя въ то время имъли въ нашей литературъ первостепенное значеніе... "Литературная Газета" продержалась очень недолго... Но Иушкинъ, все-таки, не оставилъ мысли о необходимости создать въ нашей печати такой органъ, который могъ бы воспитательно д'виствовать на читателей, --- хотя и сознаваль, что "очищать русскую литературу есть — чистить нужники и зависять отъ полиціи". Ему все-таки казалось, что эта воспитательная задача можеть и должна быть посильнымъ трудомъ литератора уже въ силу самого его званія, какъ передового борца просвъщенія, - не взирая на вст трудности и непріятности "ремесла", — и онъ съ больщою горячностью и увлечениемъ принялся за издание своего "Современника". Количество и характеръ статей, написанныхъ Пушкинымъ для первыхъ томовъ этого журнала, показывають, какъ серьезно смотрель поэть на это новое свое дёло и съ какою осторожностью умёль онъ проходить мимо многочисленныхъ аргусовъ, зорко следившихъ за каждымъ его шагомъ... Но судьба, упорно удерживавшая поэта въ кругу Фамусовыхъ и Скалозубовъ, уже готовила ему "горе оть ума". Вопросъ о томъ, кто именно быль зачинщикомъ тёхъ пасквилей, которые привели Пушкина къ роковой дуэли съ Дантесомъ, -- по всей в роятности, никогда вполнъ не разъяснится; да это и не важно, -- дъло не въ личности, а въ томъ общественномъ кругъ, порожденіемъ котораго была эта интрига. Гнусное дело было задумано очень хитро; враги Пушкина били безъ промаха: каковъ бы ни былъ исходъ поединка, на личной судьбъ поэта онъ, все-равно, отразился бы крайне тяжело: его ждала если не смерть, то заточеніе и ссылка. Смерть была, можеть быть, еще лучшимъ исходомъ...

Характеризовать значеніе Пушкина для нашей литературы и общественности,—послѣ всего того, что объ этомъ написано,—трудъ совершенно лишній: въ настоящее время этоть вопросъ, кажется, уже не возбуждаетъ принципіальныхъ сомнѣній; разногласія могуть быть развѣ только въ мелочахъ,—и объясняются, большею частью, недостаточно внимательнымъ отношеніемъ къ эпохѣ Пушкина, къ окружавшимъ его людямъ, а также—и кълич-

ному его характеру. Пушкина упрекають въ недостаточной твердости и последовательности, --- въ томъ, что онъ въ своихъ общественныхъ убъжденіяхъ постоянно находился подъ двойнымъ и противоположнымъ впечатлѣніемъ ненависти къ насилію и обаянія сильной власти, -- постоянно колебался въ этомъ противоръчіи, подаваясь то на ту, то на другую сторону, въ зависимости оть впечатленія минуты. Это до известной степени справедливо, такъ какъ именно впечатлительность была основною чертою характера нашего поэта; въ ней была его сила и слабость; она подняла его до геніальности, и она же не разъ вовлекала его въ гръхъ, - и въ частной жизни, и въ литературной деятельности. Страстная потребность отозваться на всякое явленіе жизни, на все окружающее, дълала Пушкина жизнежаждущимъ человъкомъ и великимъ художникомъ. Въ немъ судьба соединила всъ условія, вст права на прямое наследство всего подготовленнаго въ русской литературѣ въ концѣ прошлаго и въ началь ныньшняго выка. Впечатленія дытства связывали его со встмъ объемомъ русской жизни, --- съ мирною красотою деревенской природы и сельскимъ бытомъ, съ барствомъ, процитаннымъ философіею XVIII стольтія, и съ кружкомъ людей, преимущественно занятыхъ литера турою; онъ принесъ въ лицей уже готовую жажду сочувствія, потребность вдохнуть въ себя все неизвъстное, что сулила ему жизнь, и неотступную чуткость къ ритму, который онъ ловилъ во всемъ окружающемъ. Онъ принесъ въ школу художественное чутье, благодаря которому всякое явленіе воспринималось имъ изящно. Сквозь всю его жизнь проходить и съ каждымъ годомъ растеть изящество формы его произведеній; содержаніе ихъ міняется, но сохраняеть и развиваеть всв задатки, вынесенные изъ дътства и отрочества, - задатки впечатлъній первоначальныхъ и потому-неизгладимыхъ. Такъ, онъ сохранилъ съ дътства воспринятый свътлый скептическій реализмъ просвътительной философіи XVIII въка, и пронесъ его сквозь

всв позднъйшія попытки усвоить мрачные идеалы байронизма; такъ, онъ въ одно время и проповъдывалъ любовь къ изяществу старинной аристократіи, вмість съ отвращениемъ къ вульгарному, - и глубоко уловилъ русскій народный мотивъ, и сумінь выразить и то, и другое съ геніальнымъ мастерствомъ. Его общественныя убъжденія были сбивчивы, лишены программной прямолинейности; но, во-первыхъ, надъ всеми его противоречиями всегда и неизмѣнно поднималось сочувствіе къ просвѣщенной свободъ и вражда къ рабству и насилію; во-вторыхъ, его принципіальныя ошибки раздёлялись въ его время многими передовыми представителями русскаго просвъщенія (напр., Бълинскимъ-въ первомъ періодъ его дъятельности), а въ третьихъ, -- и это самое главное, --Иушкинъ быль прежде всего и больше всего *поэта*, т. е. человъкъ впечатлънія и чувства, воплощаемыхъ въ художественномъ творчествъ, а не мыслитель и публицистъ. Онъ самъ мътко выразилъ это различие въ характеръ // поэта и мыслителя, когда на слова Рылбева: "Я не поэть, я-гражданинъ отвътилъ: "Если хочешь гражданствовать, то пиши прозою . Дъло тутъ было, разумъется, не въ формъ, а въ сущности: каждому свое. И въ томъ, что было своима для Пушкина, онъ до сихъ поръ не знаеть себъ равнаго въ нашей литературъ. Быть можеть, настанеть время (и будемъ върить, что настанеть), когда явится другой поэтъ, достойный преемникъ Пушкина, который соединить въ своемъ творчествъ объ эти стороны чувства и мысли, — и тогда исполнится вдохновенное : пророчество Гоголя, который вёриль, что "изъ дорогихъ металловъ выкуется иная, счльнейшая речь, и пройдеть эта рвчь уже насквозь всю душу, и не упадеть на безплодную землю. Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всемь струнамь, какія ни есть въ русскомъ человъкъ, внесеть въ самыя огрубълыя души святыню того, чего никакія силы и орудія не могутъ

А. А. Потъхинъ.

(Къ 50-й годовщинъ его литературной дъятельности).

Это было давно, -- цълыхъ полвъка тому назадъ.

Далеко на западъ пошелъ дождь, а у насъ поспъшили раскрыть зонтикъ, и этотъ зонтикъ безпросвътной свинцовой тучей навись надъ русской мыслью. Кажется, за все стольтие литература наша не испытывала, болье строгихъ стъсненій, чъмъ въ эту глухую пору конца 40-хъ и начала 50-хъ годовъ: русское слово было связано целой сетью цензурь, одна другой строже и придирчивъе, которыя, съ усердіемъ, достойнымъ лучшаго дёла, преслёдовали "вольный духъ" даже въ поваренныхъ книгахъ, --и, наконецъ, по словамъ современника, даже самая цензура пришла въ какое-то оцъпенъніе, не зная чего держаться. Министръ народнаго просвъщенія, нъкогда-членъ знаменитаго "Арзамаса", Уваровъ, громко выражаль надежду, что, наконець-то, русская литература совсемъ прекратится... И это была не пустая фраза: Вълинскій уже нежаль въ могиль, Гоголь медленно и мучительно умиралъ, представители младшаго литературнаго покольнія — Достоевскій, Салтыковь, Плещеевь и ихъ товарищи - были выбиты изъ строя, Тургеневъ сидълъ въ кутузкъ, Островскій за свою первую комедію отданъ быль подъ надзоръ полиціи и долженъ быль письменно доказывать свою благонамъренность; другіе просто замолкли, хотя въ ту пору и молчаніе не всегда считалось признакомъ смиренія и подчасъ могло вызвать грозный окрикъ: "Что слышу? вы молчите?"

Словомъ, литература была совсемъ на краю того идеала, къ которому велъ ее Уваровъ. Въ печати господствоваль духь бюрократического оппортюнизма; "изящная" словесность пробавиялась преимущественно переводами "съ иностраннаго", которые тоже надо было выбирать съ большой осмотрительностью; оригинальные романы и повъсти, очень немногочисленные, подъ русскими именами изображали какую-то фантастическую жизнь, полную пламенныхъ любовныхъ похожденій и разныхъ запутанныхъ приключеній; въ театръ господствовали переводныя мелодрамы, нелепые водевили да трескучія драмы Кукольника, въ которыхъ русскаго было такъ же мало, какъ и въ новинкахъ парижскихъ бульварныхъ театровъ, — и по прежнему все еще оставалось гласомъ вопіющаго въ пустынъ восклицание Гоголя: "Да когда же, наконецъ, будеть у насъ свой, народный русскій театръ? Журналистика, послѣ Бѣлинскаго совершенно опустившаяся, довольствовалась вмёсто критики библіографическими изследованіями о старинныхь, совсёмь забытыхь писателяхъ, и редакція "Отечественныхъ Записокъ" заботливо хранила въ своемъ портфелъ общирную статью "О ловлъ кондоровъ", — на случай, если бы вдругъ понадобилось замънить чъмъ-нибудь безъ въсти пропавшіе листы очередной книжки.

Чѣмъ то далскимъ, чуть не сказочнымъ, вѣетъ отъ воспоминаній объ этой глухой, тяжелой порѣ, когда человѣку съ умомъ и сердцемъ, казалось, некуда было податься, и жутко было, какъ въ темномъ лѣсу... Но— "живъ Богъ, жива душа человѣческая!" Въ самое темное время не перевелись люди, продолжавшіе работать если не для настоящаго, то для будущаго. Они шли ощупью, наугадъ, постоянно наталкиваясь на разныя

препятствія и затрудненія, но все поб'єждая смізлой візрой въ лучшіе дни, которые уже чуялись въщимъ сердцемъ... Ихъ поддерживала и согрѣвала душевная любовь къ народу, -- не къ тому отвлеченному народу, съкоторымъ поэты обыкновенно риомовали "свободу", наряжая его въ красивыя лохмотья, взятыя напрокатъ изъзаграничныхъ магазиновъ, и не къ тому, въ которомънаши философы усматривали, по Гегелю, сосудъ "исконныхъ" національныхъ началъ и откровеніе "народнагодуха", а къ самому обыкновенному, но за то дъйствительно существующему, мужику, представителю безправной крипостной Руси. Этого настоящаго мужика толькозатронули тогда Григоровичъ и Тургеневъ, - первый въ "Деревнъ" и "Антонъ-Горемыкъ", второй-въ "Запискахъ Охотника", попытавшись, насколько это было возможно, освётить его отношенія къ властвовавшему барству. Но внутренняя жизнь народа, -его быть, его міросозерцаніе, все еще оставались книгой за семью печатями. Были, правда, попытки заглянуть въ этотъ бытъ, въ народную душу, --- но это были или навъянные псевдоклассицизмомъ выдумки "словено-русской" минологіи, или приторныя разглагольствованія, насквозь пропитанныя кваснымъ патріотизмомъ (какъ, напр., у Сахарова), или разсказы, хотя и написанные для взрослыхъ читателей, но совершенно въ томъ же тонъ, въ какомъ пишутся повъстушки "для добрыхъ и послушныхъ дътей", разсказы не о мужикъ, а о "мужичкъ", который пашетъ "землицу", коситъ "травку", кормитъ "лошадку"... Въ этомъ родъ были, напр., разсказы Даля, который на эти пустячки размёнялъ свое дёйствительно серьезное знаніе народной жизни и недюжинное литературное дарованіе.

Но и въ этихъ, пока еще неумѣлыхъ и неловкихъ, попыткахъ подойти къ народной жизни уже чувствовалось—хотя, быть можетъ, еще и безсознательное—ъѣяніе того могучаго демократическаго духа, который про-

явился впоследствіи въ нашей литературе и сообщиль ей особый, своеобразный характерь, рызко отличающий ее отъ другихъ европейскихъ литературъ. Этотъ демократическій духъ, это влеченіе къ массъ, къ простому быту, и особенная воспріимчивость къ получаемымъ отъ него впечатлъніямъ - явленіе, вполнъ естественное въ нашемъ, по извъстному выраженію Кавелина, "мужицкомъ" царствъ но прошло немало времени, пока оно изъ безсознательной стихіи нашей литературы стало вполнъ ясно сознаваемымъ творческимъ ея началомъ. Въ ту пору, о которой мы теперь говоримъ, -- въ началъ 50-хъ годовъ, вниманіе и сочувствіе передовыхъ дѣятелей нашей литературы все яснъе и яснъе направлялись въ сторону народной массы; европейскія идеи сороковыхъ годовъ не могли пройти безследно; для вдумчиваго русскаго человека: интересъ къ народу, стремленіе защитить его права, поднять его изътого матеріальнаго и нравственнаго униженія, въ которомъ онь находился, -- воть въ чемъ заключался одинъ изъ самыхъ важныхъ стимуловъ литературнаго движенія, только что намѣчавшаго себѣ узенькую тропинку въ дремучемъ лъсу предразсудковъ и недоброжелательства... Много нужно было искренней любви къ своему дълу, много молодой силы и горячаго одушевленія идеей и много упорнаго труда для того, чтобы "дорогу проложить, гдъ не бывало следу". Недаромъ Аполлонъ Григорьевъ, вспоминая о первыхъ дъятеляхъ небольшого кружка талантливыхъ писателей, составившихъ такъ называемую "молодую редакцію погодинскаго "Москвитянина", такъ восторженно говориль объ этихъ людяхъ: "Явился Островскій, и около него, какъ центра, кружокъ, въ которомъ нашлись всв мои, дотоль смутныя, върованія... О, какъ мы тогда пламенно върили въ свое дъло, какія высокія, пророческія річи лились, бывало, изъ устъ Островскаго... какъ сознательно шли мы тогда къ великой и честной цъли! Пуста и гола жизнь послъ этого сна!.. " *).

^{*) &}quot;9noxa" 1864, № IX, стр. 45, 12.

Однимъ изъ піонеровъ этого новаго литературнаго движенія явился Алексъй Антиповичъ Потьхинъ.

По мъсту своего рожденія, Потьхинъ-костромечь (род. 1-го іюля 1829 г. въ Кинешмъ, Костромской губ.). Костромичамъ, вообще, выпала въ нашей литературъ особая и замёчательная роль: достаточно назвать Островскаго, Писемскаго, С. В. Максимова. Верхнее Поволжье, какъ исконное гивздо старой "кондовой" Руси, дольше другихъ русскихъ областей сохраняло и еще продолжаетъ сохранять старинные, въковые уклады народнаго быта, виечатльнія котораго воспринимаются и дыйствують эдысь съ особенной силой и, будучи усвоены въ детствъ, остаются на всю жизнь. У Писемскаго и Островскаго на всю жизнь остались даже следы костромского народнаго говора "съ оттяжкой"; у Потвхина этихъ следовъ уже ньть, какъ не было ихъ и у покойнаго Максимова; но оба эти представителя младшаго покольнія литературныхъ костромичей-родные братья старшимъ по своей органической связи съ народнымъ бытомъ и по своимъ отношеніямь къ народной жизни. Въ бытовыхъ пьесахъ Островскаго, въ драмахъ и разсказахъ изъ народной жизни Писемскаго и Потехина, въ разнообразныхъ и богатыхъ содержаніемъ путевыхъ впечатлівніяхъ Максимова слышится, такъ сказать, собирательный голосъ той среды въ которой выросли эти писатели: тутъ нътъ иделизаціи ни игрушечнаго "мужичка", ни "мужика вообще, что смиреньемъ великъ"; туть передъ нами-впечатленія, непосредственно воспринятыя чуткой душой и переданныя съ той любовью къ быту, во всъхъ его проявленіяхъ, которая составляеть отличительную, характерную черту названныхъ писателей. Если иногда эта непосредственность, такъ сказать, подрисовывается некорою наклонностью къ поученію, то это объясняется только требованіями избираемой писателемь литературной формы, --романа, повъсти, драмы, а также и внъшними условіями, въ какихъ приходилось дъйствовать литератору того времени, о которомъ теперь идетъ наша рѣчь. Другая характерная особенность этихъ писателей заключается въ ихъ языкѣ: это — не условная книжная рѣчь, а чисторусскій красивый и образный языкъ, простой и вмѣстѣ художественный, не сочиненный, а подсказанный самою жизнью; онъ выработался у нихъ какъ-то самъ собою, въ постоянномъ общеніи съ живыми источниками народнаго словеснаго творчества, и весь складъ мысли, этимъ языкомъ выражаемой, совершенно народный, бытовой, а не "городской". Оттого-то всѣ они и являются несомнѣнными мастерами русскаго слова, свободно отдаваясь своему художническому чутью, которое никогда ихъ необманывало.

Но обратимся къ Потехину. Въ 1849 г. онъ окончилъ курсь въ Ярославскомъ Демидовскомъ лицев и вскорв потомъ поселился въ Москвъ. При бъдности тогдашней литературы и при отсутствіи общественной жизни, огромное значеніе для всёхъ образованныхъ людей имёлъ театръ: это было единственное мъсто, гдъ еще можно было отвести душу, въ особенности благодаря превосходному составу московской труппы, которая своимъ исполнениемъ заставляла забывать о бъдности, а подчасъ и нелъпости тогдашняго нашего драматическаго репертуара. Знаменитая фраза Бълинскаго: "О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете! "болъе, чъмъ когда-нибудь, сохраняла свое значение въ то время, когда на московской сценъ дъйствовали Мочаловъ, Щепкинъ, Садовскій и ихъ знаменитые товарищи. Понятно, что театръ долженъ былъ произвести сильное впечатлъніе и на молодого Потвхина, который послв одного спектаклябенефиса тогда еще недавно выступившаго на сценъ Шумскаго не могъ удержаться, чтобы не послать въ "Московскія Вѣдомости" небольшую статейку объ этомъ театральномъ событіи. Статейка была напечатана 27-го сентября 1851 г., и редакція предложила молодому театралу писать постоянныя театральныя рецензіи. Такимъ образомъ Потехинъ сделался литераторомъ и получилъ

возможность сблизиться съ кружками своихъ собратій, бывшихъ, какъ и онъ, горячими поклонниками театра.

Но начавшаяся такъ случайно деятельность театральнаго хроникера не могла надолго удовлетворить молодого человъка, уже начинавшаго чувствовать въ себъ настоящій литературный таланть, который замічался въ немь и другими. Тогдашній редакторь "Московскихъ Въдомостей", Катковъ, настаивалъ на томъ, что Потехинъ долженъ попробовать свои силы въ какомъ-нибудь более серьезномъ и оригинальномъ произведении. Результатомъ этихъ настояній явились два небольшіе этнографическіе очерка изъ жизни родной Потьхину Костромской губерніи: "Путь по Волгв въ 1851 году" и "Увздный городокъ Кинешма", напечатанные въ "Московскихъ Въдомостяхъ" 1852 г. Вследъ затемъ въ "Современнике появился новый, уже гораздо болье общирный очеркъ нашего автора: "Забавы и удовольствія въ городкь а въ "Москвитянинь небольшой "Отрывокъ изъ романа" и первый разсказъ изъ народной жизни: "Тить Софроновъ Козонокъ". Въ эту пору Потехинъ успель уже близко сойтись съ кружкомъ "молодой редакціи Москвитянина", —съ Островскимъ, Эдельсономъ, Алмазовымъ, Ап. Григорьевымъ, и последній, въ своемъ обозрѣніи литературы 1852 года, горячо привътствовалъ начинающаго писателя, пророча ему литературную будущность. "Таланть г. Потехина возбудиль въ насъ большую симпатію уже и тогда, когда мы прочли "Забавы и удовольствія въ городкъ", —писаль критикъ, намъ было очень пріятно зам'втить въ этой статейк в совершенное отсутствіе претензій и насм'єшливаго тона, съ которымъ обыкновенно смотрять наши современные писатели на русскій провинціальный быть. Авторъ разсказа высказываеть теплое сочувствіе этому быту, смотрить безъ ироніи на его увеселенія, самъ желаетъ отъ души ему веселиться и приглашаеть читателей раздёлить съ нимъ это желаніе... Но особенно сильно выступаеть талантъ г. Потъхина въ его разсказахъ изъ крестьянскаго быта. Не говоримъ о надеждахъ, которыя мы возлагаемъ на талантъ г. Потъхина, не говоримъ также о недостат-кахъ, свойственныхъ всякому еще не установившемуся таланту. Дъло въ томъ, что въ лицъ г. Потъхина литература пріобрътаетъ новаго талантливаго, честнаго и плодовитаго дъятеля".

Ап. Григорьевъ совершенно вѣрно опредѣлилъ то направленіе, въ которомъ впослѣдствіи окрѣпъ и развился талантъ Потѣхина, именно народническое: содержаніе почти всѣхъ позднѣйшихъ романовъ и повѣстей нашего писателя, а также нѣкоторыхъ изъ его драмъ, взято изъ крестьянскаго быта. Небольшой разсказъ "Титъ Софроновъ Козонокъ" заслуживаетъ вниманія не только потому, что онъ былъ первымъ произведеніемъ Потѣхина въ этомъ родѣ, тогда еще совершенно новомъ въ нашей литературѣ, но и потому, что въ немъ уже болѣе или менѣе ясно сказались главныя особенности позднѣйшихъ произведеній писателя и его отношеніе къ народу.

Героемъ этого разсказа является сбившійся съ пути дворовый, лѣнтяй и пьяница. Расчитывая что-нибудь раздобыть, онъ отправляется въ увздный городокъ на ярмарку. На дорогѣ ему встрѣчается молодой паренекъ, единственный внукъ зажиточнаго крестьянина, посланный дъдомъ на ярмарку же продавать медъ. Тить Софроновъ пристаетъ къ этому пареньку, насильно вваливается къ нему въ тельту, пріважаеть вмысть съ нимь въ городь и тамъ старается его споить, чтобы поживиться на его счеть; когда же это не совсемъ удается, Титъ, стакнувшись съ двумя такими же забулдыгами, какъ и самъ, подстерегаеть пария, уже успъвшаго продать медь, на обратномъ мути и убиваеть его, чтобы ограбить. Но видъ убитаго приводить убійцу въ ужасъ, Тить безъ оглядки бъжить домой, предоставляя своимъ товарищамъ пользоваться плодами злого дёла, и скоро сознается въ своемъ преступленіи. Дідь убитаго, богобоязненный мужикь, прощаеть убійць, и даже береть кь себь въ домъ его несчастную жену, а Титъ, мучимый раскаяніемъ, скоро умираетъ въ острогъ.

Такимъ образомъ, въ этомъ первомъ разсказ в Потвхина изъ народнаго быта передъ нами обрисовываются два типа, различныя разновидности которыхъ нередко встречаются у нашего писателя и впоследствіи: положительный типъ мужика, крыпкаго земль, хозяйливаго, богобоязненнаго и добросердечнаго, который уметь переносить тяжелыя испытанія и помогать другимъ, стойко держаться противъ ударовъ судьбы, и отрицательный типъ человъка, лишеннаго прочныхъ нравственныхъ устоевъ, слабохарактернаго, испорченнаго развращающимъ вліяніемъ барской дворни или городской мастеровщины. Но и въ этихъ отрицательныхъ типахъ не совсвиъ еще погасла искра Божья: она все еще теплится, до поры, до времени, гдь-то глубоко на днь измызганной души, и въ рыштельную минуту можеть еще вспыхнуть яркимъ пламенемъ раскаянія и очищенія...

Кромѣ того, въ этомъ первомъ народномъ разсказѣ Потѣхина, какъ и во многихъ позднѣйшихъ его произведеніяхъ, довольно значительное мѣсто отведено чисто бытовому, этнографическому элементу,—повѣрьямъ, обычаямъ и т. п. (бесѣда бабъ о лихоманкахъ и о разныхъ способахъ лѣченія и пр.); авторъ даетъ здѣсь очень живое описаніе ярмарки въ маленькомъ городкѣ,—описаніе, которое собственно, въ разсказѣ не составляетъ необходимой части, но придаетъ ему бытовой интересъ, а для того времени, когда оно явилось, было, конечно, и новостью.

Въ то время, о которомъ мы говоримъ, Островскій уже успѣлъ занять выдающееся мѣсто въ литературѣ— своей первой комедіей "Свои люди—сочтемся" (1850) и на сценѣ—дальнѣйшими своими пьесами: "Бѣдная Невѣста" и "Не въ свои сани не садись" (1852—53). На сценѣ повѣяло новымъ духомъ, явились надежды на созданіе новаго, самобытнаго, русскаго драматическаго ре-

пертуара, расцвъли выдающіяся артистическія силы Садовскаго, Никулиной, Шумскаго... Вполнъ естественно, что и молодой талантливый писатель почувствовалъ влеченіе къ театру и решился попробовать свои силы въ драмъ. Примъръ Островскаго и собственный литературный вкусъ указали ему то направленіе, въ которомъ следовало теперь работать для русской сцены, --- направленіе бытовое. Въ первой же своей пьесъ Потехинъ вывель на сцену крестьянскій быть, съ его характерными особенностями и подлинной народной рѣчью. Это была драма въ 4-хъ действіяхъ "Судъ людской—не Божій", написанная въ 1853 году и поставленная весною 1854 года. Пьеса эта написана въ нъсколько приподнятомъ и отчасти мелодраматическомъ тонъ: отецъ проклинаетъ дочь за то, что она слюбилась съ парнемъ, и это проклятіе потрясающимъ образомъ дъйствуеть на разсудокъ нервной, впечатлительной девушки, къ ужасу для всехъ окружающихъ и самого отца, который, во всемъ себя обвиняя, не знаеть, какъ возвратить потерянную дочь, убъжавшую изъ дома. Вмъстъ съ женихомъ ея, старикъ идетъ на богомолье въ Кіевъ и на обратномъ пути, на постояломъ дворъ, находить дочь въ видъ странницы, прощаеть ее, благословляетъ... но дъвушка уже не хочетъ идти за своего суженаго: она будеть всю жизнь замаливать свой грѣхъ и служить Богу и отцу своему. Узнавъ о такомъ ея ръшеніи, и женихъ ея тоже рышается послужить царю и отечеству и идеть въ солдаты.

Эта пьеса представляеть любопытную психологическую попытку построить драматическую коллизію на сумасшествіи дѣвушки, пораженной отцовскимъ проклятіемъ, но въ цѣломъ производитъ тяжелое впечатлѣніе: роль героини во всѣхъ четырехъ дѣйствіяхъ—почти сплошная истерика, которой вторять, въ томъ же тонѣ, отецъ и женихъ злополучной дѣвушки. Аполлонъ Григорьевъ разсердился на автора за это "кликушество", но не замѣтилъ, что оно

объясняется желаніемъ писателя какъ можно рѣзче подчеркнуть ту мысль, которая положена въ основу и всёхъ прочихъ его пьесъ и разсказовъ изъ народнаго быта,что и въ деревнъ живуть такіе же люди, какъ и въ городъ, такъ же одаренные способностью тонко и глубоко чувствовать различныя движенія души. При тогдашнихъ общественныхъ и литературныхъ условіяхъ, при той грубой жестокости нравовъ, которая господствовала даже въ средъ, считавшей себя культурною и имъзшей непосредственное вліяніе на судьбу мужика, одна эта мысль была уже заслугой: она заставляла подумать о томъ, что и у людей, которыхъ привыкли звать даже не именами, а уничижительными кличками, не признавая въ нихъ образа и подобія Божія, также есть сердце. "Мое горе—отъ души да отъ сердца, говорить въ драмѣ Потѣхина молодой парень проѣзжему барину, который издъвается надъ крестьянской чувствительностью, — а по тебъ — какое-де у мужика сердце, какое-де чувствіе ... И баринъ побъжденъ неожиданной для него развязкой пьесы: "Трогательная исторія!—восклицаеть онъ, утирая слезы.-Именно наши крестьяне... удивительный народъ!.. съ душой!.. Раньше онъ объ этомъ, очевидно, не догадывался.

Почти одновременно съ этой первой драмой Потъхина изъ народнаго быта явился въ "Москвитянинъ" его романъ "Крестьянка". Здъсь представлена дъвушка крестъянскаго происхожденія, воспитанная, какъ родная дочь, въ семьъ добраго нъмца-управителя и получившая хорошее образованіе. Она влюбилась въ молодого барина, который, однако, хотълъ только "позабавиться" съ нею, не придавая этому увлеченію никакой важности. Подавленная разочарованіемъ въ своемъ первомъ чувствъ, измученная клеветой, дъвушка возвращается въ избу своихъ настоящихъ родителей и ръшается сдълаться крестьянкой. Родители окружаютъ ее недовърчивымъ надзоромъ, сватаютъ ей противнаго жениха, и жизнь ея въ родной семьъ становится невыносимою. Единственнымъ человъкомъ, ее понимающимъ, является ея братъ Зосима, уже взрослый, женатый мужикъ, котораго всѣ считаютъ глуповатымъ и который, не находя въ жизни никакой радости, частенько зашибается хмѣлемъ и потомъ съ дѣтской покорностью переноситъ брань жены и даже побои отца. Это—человѣкъ, съ самаго начала несправедливо обижаемый; и вотъ, подъ вліяніемъ сестры, также несправедливо униженной, въ немъ пробуждаются лучшія умственныя и нравственныя силы... Но дѣвушка уже не можетъ оставаться въ родной семъѣ, которая стала для нея совсѣмъ чужою, и уѣзжаетъ, чтобы поступить въ гувернантки въ помѣщичій домъ.

Продолжениемъ этого повъствования о "крестьянствъ", въ которомъ авторъ хотълъ сопоставить жизнь простонародную съ жизнью другихъ круговъ общества и показать ихъ взаимныя отношенія, явилась комедія "Брать и сестра", поставленная на сцену только черезъ 12 лътъ послъ ея появленія въ печати, подъ измъненнымъ главіемъ: "Хоть шуба овечья, да душа человъчья". Здъсь героиня пьесы-все та же "крестьянка" Аннушка-живеть у помъщицы въ качествъ гувернантки ея дочери и терпитъ всевозможныя униженія за стремленіе отстоять свое человъческое достоинство: помъщица, у которой она забрала впередъ деньги для того, чтобы выкупить на волю своего брата Зосиму, хочетъ ее насильно выдать замужъ за глупаго и пьянаго чиновника; одинъ изъ постоянныхъ гостей въ домѣ, грязный волокита, не даетъ беззащитной девушке покоя своими приставаньями; прислуга за ней шпіонить и доносить на нее барын и т. д. И только одинъ молодой помѣщикъ, искренно полюбившій Аннушку, выступаеть постояннымь ея защитникомь, и, въ концъ концовъ, ръшается пожертвовать дворянскими предразсудками и предлагаеть ей свою руку. Пьеса заключается словами Зосимы, изъ которыхъ видна и ея мораль: "Господи! кабы побольше было этихъ людей на бъломъ свътъ! Вотъ баринъ, такъ баринъ! ".

Такимъ образомъ, первыя повъствовательныя и драматическія произведенія Потехина изъ народнаго быта, въ которыхъ авторъ обнаружилъ не только серьезное знаніе народной жизни, но и теплое, вдумчивое къ ней отношеніе, проникнуты были желаніемъ пробудить въ читателяхъ доброе чувство къ народной массъ, униженной и безправной, указать въ этой массъ свътлыя стороны, заслуживающія вниманія и поддержки, вызвать интересь къ такому кругу явленій, который въ ту пору почти вовсе еще не быль тронуть литературой. Если молодой писатель явился въ этихъ произведеніяхъ не простымъ наблюдателемъ, а нъсколько тенденціознымъ изобразителемъ народнаго быта, то произошло это, во-первыхъ, оттого, что первые шаги нашего народничества по необходимости должны были быть цидактическими, такъ какъ иначе творчество въ этомъ направлени было бы безпъльнымъ, а во-вторыхъ-оттого, что тогдашняя критика, смотръвшая на литературу съ чисто эстетической точки эрвнія, постоянно твердила, что народная жизнь не можетъбыть предметомъ художественнаго изображенія въ силу своей "непосредственности". Это господствовавшее въ ту пору мибніе, очень опредъленно высказанное, напр.. Анненковымъ въ его рецензіи на "Крестьянку" ("Современникъ" 1853 г., т. 43, отд. 3, стр. 53-80), и окончательно разрушенное только Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, не могло, разумъется, не повліять на молодого писателя и побуждало еще более усиливать поучительный элементь въ своихъ произведеніяхъ, чтобы избѣжать упрека въ художественномъ изображеніи такихъ вещей и отношеній, которыя стоять внъ сферы художества. Съ другой стороны, слъдуя общераспространенному въ то время вкусу публики, которая отъ повъствователей требовала прежде всего "романа", т.-е. изображенія непремінно любовных приключеній и вызываемыхъ ими происшествій, Потехинъ долженъ быль и для своихъ повъстей изъ народной жизни придумывать "романическое" содержаніе, а это,

конечно, вело къ извъстной долъ преувеличенія сентиментальнаго элемента. Этимъ объясняются такія стороны произведеній Потъхина, которыя читателю нашего времени представляются недостатками, хотя въ свое время далеко не казались такими: въ пятидесятыхъ годахъ наша литература еще не отучилась отъ извъстной риторической приподнятости тона, отъ той придуманности, искусственности, благодаря которой самое понятіе "романа" противополагалось действительной жизни, какъ нечто съ нею мало схожее. "Романъ", по вкусамъ того времени, долженъ былъ быть занимательной выдумкой; о томъ, насколько вфрно отражается въ немъ настоящая жизнь, еще не привыкли справляться. Это надо помнить при оценке раннихъ произведений Потехина, въ которыхъ писатель отдаль дань своему времени, хотя нельзя не замётить, что стремленіе къ занимательности даже и въ этихъ раннихъ произведеніяхъ стоитъ у него далеко не на первомъ планъ, а впослъдствіи, по мъръ измъненія литературныхъ взглядовъ, мало по-малу и совсемъ перестаеть быть замѣтнымъ.

Дъятельность нашего писателя, какъ романиста и драматурга, на нъкоторое время была прервана его участіемъ въ знаменитой въ льтописяхъ нашей литературы экспедиціи 1856 г., выполненной по плану великаго князя Константина Николаевича и снова объединившей всёхъ нашихъ литературных костромичей въ одномъ общемъ дълъ. Правительство, вступая на путь преобразованій, почувствовало нужду въ содъйствіи тъхъ общественныхъ дъятелей, которымъ уже давно присвоено было обществомъ оффиціально не признанное и не утвержденное званіе "литераторовъ" и которые до той поры находились въ сильномъ подозрѣніи. Крутой переходъ къ вниманію, поощренію и исканію помощи въ кругу этихъ дъятелей былъ и достаточно неожиданнымъ, и знаменательнымъ послъ недавнихъ фактовъ совствъ иного рода... Однимъ изъ яркихъ симптомовъ этого поворота къ новому времени и явилась литературная экспедиція, въ которой отразилось уже давно созрѣвшее желаніе ближе познакомиться съ народною жизнью. Къ участію въ этой экспедиціи, прежде другихъ, приглашены были Писемскій и Потехинь; потомь самь предложиль свои услуги Островскій, а поздніве, вмість съ другими лицами, приглашенъ былъ и С. В. Максимовъ. Островскій, Писемскій и Потехинъ поделили между собою изученіе Поволжья такимъ образомъ, что первый принялъ на себя описаніе верхней Волги, до Нижняго, Писемскій — описаніе низовья, а Потехину досталось среднее Поволжье, отъ устьевъ Оки до Саратова. Результатомъ этой поъздки явились статьи нашего писателя, напечатанныя въ "Морскомъ Сборникъ", "Современникъ" и "Въкъ": "Ловъ красной рыбы въ Саратовской губерніи", "Ріка Керженецъ", гдъ въ прекрасной литературной формъ изложены данныя относительно лъсной торговли на одномъ изъ притоковъ Волги, прославленномъ раскольничьими скитами, и "Съ Ветлуги", гдв также идетъ рвчь о разныхъ лвсныхъ промыслахъ. Эти этнографическія изученія Потехина расширили кругъ его наблюденій надъ народною жизнью и, конечно, дали ему много новаго матеріала для повъстей изъ крестьянскаго быта, — матеріала, которымъ онъ и воспользовался въ позднъйшихъ своихъ произведеніяхъ.

Но прежде, чѣмъ снова перейти къ народному бытописанію, Потѣхинъ напечаталь еще большой романъ изъ
жизни провинціальнаго общества, "Крушинскій",—самое
крупное, по объему, свое произведеніе (1857). Собственно,
основной сюжетъ этого романа можно передать въ немногихъ словахъ: это—много разъ повторявшаяся въ разныхъ
романахъ исторія неудачной любви. Крушинскій, "полковой лѣкарь", сынъ сельскаго дьячка, случайно знакомится
съ семействомъ богатаго и чваннаго помѣщика Коркина
и влюбляется въ его дочь, Надю, которая скоро начинаетъ платить ему взаимностью. Но за Надей начинаетъ
ухаживать князь Бандуровъ, искатель богатой невѣсты, и
лаетъ ей предложеніе. Вопреки волѣ отца, Надя рѣши-

тельно отказываеть князю; тогда послѣдній распускаеть по городу сплетню объ ея предосудительныхъ отношеніяхъ къ Крушинскому. Искусный врачъ, два раза спасшій старика Коркина отъ смерти, Крушинскій рѣшается на откровенное объясненіе съ нимъ о Надѣ; но гордый старикъ наотрѣзъ отказываетъ ему, ссылаясь на неравенство происхожденія, которое, въ его глазахъ, не допускаетъ и мысли о родствѣ. Надю увозятъ въ Петербургъ, куда вслѣдъ за нею ѣдетъ и Крушинскій; здѣсь онъ безнадежно заболѣваетъ и умираетъ, а чванный отецъ, разрушившій счастье дочери, становится жертвой ловкаго проходимца, кавказскаго князя, который выманиваетъ у него крупныя деньги.

Сама по себъ эта исторія, конечно, не представляеть ничего особенно новаго и интереснаго, и главный интересъ романа заключается вовсе не въ ней, а въ томъ общемъ фонъ, на которомъ она разыгрывается, -- въ правдивомъ и яркомъ изображеніи убздной и губернской провинціальной жизни, со всею пустотою ея узкихъ понятій и мелочных побужденій, съ полнымъ отсутствіемъ какихъ-либо идеальныхъ стремленій, возвышающихъ человъка надъ повседневной пошлостью пьянства, картъ, сплетенъ и пересудовъ, въ которыхъ коротаетъ свои дни это общество, считающее себя "образованнымъ" и даже "аристократическимъ". Здъсь передъ нами — цълая галлерея типовъ, очерченныхъ съ непринужденнымъ юморомъ и большой наблюдательностью, множество мелкихъ, но характерныхъ подробностей, обрисовывающихъ избранную авторомъ общественную среду во всемъ ея "натуральномъ" видъ. Въ этомъ отношеніи "Крушинскій" былъ для своего времени, несомнънно, интереснымъ и поучительнымъ произведеніемъ. Недостаткомъ романа является отсутствіе художественной экономіи, которая исключаеть все лишнее, замедляющее дъйствіе; но этотъ недостатокъ искупается многими очень живыми и реальными сценами и положеніями.

Къ тому же разряду произведеній нашего писателя

относится и другой его романъ — "Бъдные дворяне", изданный въ 1863 году и тогда же очень сочувственно встрвченный критикой *). Здвсь авторъ изображаетъ провинціальное дворянское общество наканун' реформы. Героемъ этого романа является бедный однодворецъ Никаноръ Осташковъ, потомокъ нъкогда знатнаго, но уже давно совстви захудалаго рода, воспитанный совершенно по-крестьянски и ничъмъ не отличающійся отъ окружающихъ его мужиковъ. Онъ женится на дочери вольноотпущенной дворовой и скоро подчиняется вліянію своей тещи, которая постоянно твердить ему, что онъ дворянинъ, что ему следуеть идти въ дворянскій кругь, въ которомъ онъ имъетъ право быть принятымъ на равной ногъ и можеть пріобръсти сильное покровительство. И воть, онъ втирается въ помъщичью среду, ища въ ней милостивцевъ и благодътелей, а господа-дворяне начинаютъ всячески издѣваться надъ своимъ собратомъ, его робостью и мужицкою необразованностью, наряжають его въ шутовское платье, быють нагайками, травять собаками, однимъ словомъ-обращають его въ жалкаго прихлебателя и невольнаго тута. Такое недостойное положение сначала тяготить Осташкова, но потомъ онъ мало-по-малу къ нему привыкаеть и увлекается возможностью жить на чужой счеть, ничего не дълая и получая подачки, хотя бы и въ перемежку съ пинками. Картина постепеннаго превращенія Осташкова изъ скромнаго, честнаго труженика въ лънтяя и дармовда, пресмыкающагося у разныхъ благодътелей, исполнена въ романъ мастерски. Съ другой стороны, переводя своего героя отъ одного милостивца къ другому, авторъ рисуетъ цълый рядъ жизненныхъ типовъ и раскрываетъ передъ нами ужасающую картину праздности, пьянства, разврата, грубаго животнаго эгоизма, дикаго безчеловъчія и дряблой безхарактерности, — картину,

^{*) &}quot;Библ. для Чтенія", 1863 г., № 10. статья В. П. Острогорскаго: "Богатые и бъдные дворяне-собственники".

въ которой каждое изъ дъйствующихъ лицъ можетъ повторить про себя и про другихъ извъстные стихи:

Въ насъ подъ кровлею отеческой Не запало ни одно Жизни чистой, человъческой Плодотворное зерно...

Въ промежуткъ между этими двумя большими романами Потъхинъ написалъ свою третью драму изъ народнаго быта—"Чужое добро въ прокъ нейдетъ". Она была поставлена въ Петербургъ, въ 1856 г., и имъла огромный успъхъ, особенно благодаря геніальному Мартынову, исполнявшему роль забулдыги-ямщика, который подъ вліяніемъ своего пріятеля, лакея, совсьмъ сбивается съ пути и хочетъ убить отца, чтобы воспользоваться найденными имъ чужими деньгами, но во-время одумывается и раскаивается *).

Расцвъть "обличительной" литературы во второй половинъ 50-хъ годовъ не могъ пройти безъ вліянія на нашего писателя. Потъхинъ отозвался на это "въяніе" своего времени цълымъ рядомъ пьесъ, посвященныхъ изображенію разныхъ темныхъ и отрицательныхъ сторонъ тогдашней общественной жизни: въ промежутокъ 1858— 1869 гг. явились, одна за другою, его комедіи: "Мишура", "Виноватая", "Отрезанный ломоть", "Новейшій Оракуль", "Современные рыцари" ("Въ мутной водъ") и "Вакантное мъсто". Всъ эти пьесы, безукоризненныя въ отношеніи драматической техники, оставляють и на сцень, и въ чтеніи очень сильное и вполнъ опредъленное впечатленіе; въ нихъ въ полной мере проявился талантъ нашего писателя — драматическій по преимуществу. Въ самомъ дълъ, Потъхинъ, по характеру и манеръ письма, не столько повъствователь, сколько драматургъ; повъствовательная часть его романовъ и повъстей почти всегда

^{*)} Подробный разсказъ автора о представлении этой пьесы въ его "Театральныхъ воспоминанияхъ", въ журналъ "Театръ и Искусство", 1901 г., №М 40 и 41.

выходить сухою, блёдною; его описанія обыкновенно не богаты красками и лишены той поэзіи, того непосредственнаго чувства природы, какими пронивнуты, напримъръ, великолъпные тургеневские пейзажи. Писатель какъ будто торопится отбыть эту неизбежную для разсказчика повинность и поскорте перейти къ своей любимой стихіи, — къ дъйствію, которое у него всегда изображается ярко, живо, интересно, съ большимъ мастерствомъ въ выборѣ положеній и діалогѣ, нерѣдко достигающемъ настоящей драматической силы. Почему, не смотря на это явное преобладаніе въ талантѣ Потѣхина драматическаго элемента, онъ все-таки такъ много написалъ въ повъствовательномъ родъ, мы не беремся судить: можетъ быть, тутъ отчасти виноваты и тъ особенно неблагопріятныя внёшнія условія, въ какія поставлена была у насъ дёятельность серьезнаго драматическаго писателя и тяжесть которыхъ Потвхину неоднократно приходилось испытывать на самомъ себъ. Такъ, уже вторая его пьеса "Братъ и Сестра" цёлыхъ десять лётъ находилась подъ цензурнымъ запрещеніемъ; "Мишура" была допущена на сцену толькочерезъ четыре года послѣ ея напечатанія въ "Русскомъ Вѣстникъ"; "Отрѣзанный ломоть" былъ снять съ репертуара послѣ нѣсколькихъ представленій въ Петербургѣ и Москвъ; "Виноватая" явилась черезъ пять лътъ послъ написанія; "Вакантное мъсто" также долго не пропускалось драматической цензурой, а "Современные рыцари" и до сихъ поръ не могуть быть поставлены въ томъ видъ, какъ ихъ изобразилъ драматургъ: ему пришлось пожертвовать лучшими сценами пьесы, перемънить нъмецкую фамилію одного изъ главныхъ лицъ на русскую, совершенно выкинуть типы губернатора и исправника, которыми онъ особенно дорожиль, а также уничтожить всв народныя сцены и даже дать пьесъ другое названіе— "Въ мутной водь". Трудно было работать при такихъ условіяхъ драматургу, который, въдь, пишетъ не для читателей только, а, главнымъ образомъ, для зрителей... Но, какъ бы то

ни было, на нашъ взглядъ, драмы и комедіи Потвхина: ярче, выразительнее, сильнее его романовъ и повестей, и притомъ-гораздо разнообразне по содержанію, такъ какъ въ нихъ авторъ касается не одного только деревенскаго быта, но и различныхъ проявленій жизни городского образованнаго общества, и затрогиваетъ разные вопросы, очень близкіе большинству зрителей и вызывавшіе на серьезныя размышленія. Здёсь, въ рёзко очерченныхъ типахъ переходной поры, явились передъ нами представители ея темныхъ сторонъ: и "образцовые" безкорыстные чиновники, готовые, однако, все принести въ жертву своей карьерв ("Мишура", "Вакантное мъсто"), и разные дъльцы и рыцари наживы, привыкшіе ловить рыбу "въ мутной водъ", и печальная судьба дъвушки, проданной родителями ("Виноватая"), и та непримиримая рознь во взглядахъ на жизнь, которая не замедлила въ эту эпоху перелома обнаружиться между "отцами" и "дътъми" и повела объ стороны къ неизбъжному разрыву ("Отръзанный ломоть"). Написанныя въ тонъ, который господствоваль въ нашей литературѣ 60-хъ годовъ, эти пьесы теперь кажутся намъ носколько устаровшими, какъ, впрочемъ, и вся тогдашняя литература, въ которой многое для насъ, отъ многократнаго повторенія, обратилось въ привычное общее мъсто; но, тъмъ не менъе, по содержанію своему и по отношенію къ нему автора онъ и досихъ поръ далеко не утратили своего жизненнаго значенія. Это-пьесы общественныя въ настоящемъ смыслѣ слова, потому что въ нихъ основнымъ мотивомъ всегда является какой-нибудь общественный вопросъ или общественныя отношенія дійствующих лиць, потому что оні дають матеріаль для критики различныхъ сторонъ и условій жизни общества, все же остальное -- семейное положение дъйствующихъ лицъ, любовная интрига и пр. — является здёсь только на второмъ плань, ради сценической "интриги". Добролюбовъ, въ своей пространной статъв о "Мишурв" (Соч., т. II), отмѣтилъ у Потѣхина недостатокъ смъха,

т.-е. слишкомъ серьезное, слишкомъ желчное и негодующее отношение къ такимъ явленіямъ жизни, которыя слъдовало бы клеймить только насмёшкой; и въ самомъ дълъ, комедіи Потъхина — вовсе не комедіи въ обычномъ смыслѣ этого слова; въ нихъ нѣтъ ничего или почти ничего комическаго; напротивъ, изображаемыя въ нихъ положенія въ высокой степени драматичны и вызываютъ не смѣхъ, а ненависть къ той жизни и къ тѣмъ "герсямъ", которыхъ рисуетъ авторъ. Его обличение слишкомъ горячо, слишкомъ ръзко для того, чтобы разръшаться смѣхомъ, и хотя правъ Гоголь, сказавтій, что смѣхъвеликая сила, потому что его боится даже тоть, кто уже ничего не боится на свътъ, но правъ и нашъ писатель, давая полную волю своему благородному негодованію при видъ отрицательныхъ сторонъ окружающей насъ. дъйствительности. Комедіи Потехина — сатиры въ действіи, и въ этомъ ихъ большое литературное значение и достоинство.

Въ 60-хъ годахъ Потъхинъ напечаталъ, кромъ этихъ пьесъ, только одинъ небольшой разсказъ изъ народнаго быта—"Бурмистръ", написанный гораздо раньше, но въ свое время не пропущенный цензурою. Здѣсь изображается идеальный бурмистръ, печальникъ и радълецъ бъдныхъ и обиженныхъ крестьянъ, всегда выручающій ихъ изъ бъды. Онъ готовъ даже пожертвовать собственнымъ сыномъ и сдать его въ рекруты взамънъ несправедливо назначеннаго барыней бъдняка, но на этотъ разъ судьба помогаетъ ему: ему удается убъдить барыню измънить ръшеніе. Въ разсказъ интересны бытовыя сцены и, въ особенности, —отношеніе народа къ рекрутчинъ и причитанія матери надъ сыномъ, отправляемымъ въ солдаты.

Въ 70-хъ годахъ, наоборотъ, Потѣхинымъ написана только одна пьеса— "Выгодное предпріятіе" (1877), но за то цѣлый рядъ разсказовъ и повѣстей, и на этотъ разъ— уже исключительно изъ народнаго быта. Они собраны въ 1891 г. въ три небольшіе томика, подъ общимъ за-

главіемъ: "Послѣ освобожденія". Содержаніе этихъ разсказовъ взято исключительно изъ семейныхъ отношеній; таковы разсказы: "Хай-дввка", "Хворая" (впоследствий передъланная авторомъ въ драму), "Иванъ да Марья"; интересенъ въ психологическомъ отношении небольшой разсказъ "Порченая", въ которомъ изображается дъйствіе мистицизма на душу молодой дъвушки: характерно очерчены типы деревенскихъ міротдовъ... Въ болте широкихъ рамкахъ, захватывающихъ и общественныя отношенія современной деревни, происходить действие повести "На міру", основной сюжеть которой отчасти напоминаеть драму "Чужое добро въ прокъ нейдеть": это — своего рода деревенскіе "отцы" и "дъти", —представителемъ первыхъ является строгій, богобоязненный и патріархальный мужикъ Өедотъ Семенычъ, а представителемъ вторыхъего отбившійся отъ рукъ сынъ Кирила, который, подъ вліяніемъ строгихъ мірь отца не только не исправляется, а становится воромъ и поджигателемъ и, въ концъ-концовъ, попадаетъ въ тюрьму. Въ 1878—1879 гг., въ "Въстникъ Европы" Потъхинъ далъ продолжение этой повъсти, подъ заглавіемъ "Молодые побъги". Здёсь дъйствують отчасти тъ же лица, что и въ первой повъсти; но дъйствіе переносится изъ деревни на фабрику, и передъ нами мелькають новые типы энтузіастовъ рабочаго движенія...

Нъсколько раньше этой послъдней повъсти Потъхина, вышель его романъ, также изъ сельской фабричной жизни "Около денегъ", — исторія злополучнаго увлеченія богомольной старой дъвы продувнымъ плутомъ, ради котораго она обкрадываетъ своего отца. Этотъ романъ въ началъ 90-хъ годовъ былъ передъланъ авторомъ въ драму, которая съ большимъ успъхомъ исполнялась въ Петербургъ и Москвъ.

Объ этихъ произведеніяхъ второго періода дѣятельности Потѣхина, какъ повѣствователя, можно сказать вообще, что они во многихъ отношеніяхъ выше прежнихъ здѣсь авторъ имѣлъ возможность использовать свое знаніе

народнаго быта, міросозерцанія, языка, уже не стесняясь, какъ прежде, условными требованіями "выдумки" и романической занимательности, не имъя надобности обходить разные подводные камни, которые въ прежнее время на каждомъ шагу тормозили свободное творчество художника. Самая манера его письма, его стиль отражаеть въ себъ уже иныя литературныя условія: его пов'єствованія стали гораздо более сжатыми, сосредоточенными, и отъ этой сжатости, исключающей все лишнее, много выиграли въ своей жизненности и выразительности. Въ ряду представителей нашего литературнаго "народничества" Потехинъ, въ этихъ позднъйшихъ своихъ произведеніяхъ, выдъляется своею полною объективностью въ отношеніи къ народной жизни: онъ не заботится о томъ, чтобы непремънно вызвать въ умф читателя рядъ заранфе намфченныхъ мыслей, у него нътъ никакой "тенденціи"; онъ просто беретъ изъ народной жизни то, что показалось ему интереснымъ, и воспроизводить свои наблюденія въ ряд' живыхъ и правдиво обрисованныхъ лицъ и положеній. Въ то время, какъ другіе наши писатели-народники занимаются изученіемъ почти исключительно общественныхъ отношеній мужика или изображениемъ разныхъ сторонъ экономическаго строя деревни, Потехинъ сосредоточиваетъ свое внимание преимущественно на домашнемъ, семейномъ крестьянскомъ обиходъ и на внутренней, душевной жизни своихъ действующихъ лицъ. Благодаря этой своей особенности, онъ является, между прочимъ, большимъ мастеромъ въ изображении различныхъ женскихъ характеровъ; ни одинъ изъ нашихъ писателей не умфетъ такъ подробно вникать въ "бабьи" интересы, разбираться въ міровоззрѣніи этого въ полной мъръ темнаго царства, съ его грубымъ суевъріемъ и своеобразнымъ мистицизмомъ, съ неопредёленными порывами и запросами чувства, со всёми его отношеніями къ людямъ и жизни; ни у одного писателя нътъ такой полной галлереи женскихъ портретовъ изъ деревенской среды и такого разнообразія психологи-ческихъ этюдовъ по этой части.

Такимъ образомъ, Потѣхину по праву принадлежитъ въ нашей литературѣ почетное мѣсто, и какъ выдающемуся драматургу, всегда избиравшему для своихъ произведеній серьезныя общественныя темы, разработкою которыхъ не особенно богата наша драматическая словесность, и какъ одному изъ старѣйшихъ представителей народнаго бытописанія, всегда умѣвшему пробуждать въ читателяхъ не только интересъ къ народной жизни, но и человѣчное къ ней отношеніе. Это — большая заслуга, которая не забудется.

Литературные дебюты Островскаго.

Александръ Николаевичъ Островскій родился въ Москвѣ, 31-го марта 1823 года. Отецъ его, Николай Өедоровичъ, служилъ при гражданскомъ судѣ, потомъ занимался частною адвокатурою, доставлявшею ему весьма незначительныя средства къ жизни. Александръ Николаевичъ былъ третьимъ сыномъ въ семьѣ; но два старшіе его брата умерли въ раннемъ дѣтствѣ.

Систематическаго воспитанія А. Н. не получиль. Въ качествѣ воспитателя числился при дѣтяхъ неизвѣстный семинаристь, потомъ—учитель изъ малороссовъ, Тарасенко; но оба они не имѣли никакого вліянія на развитіе драматическаго таланта А. Н. Матери онъ лишился еще въ дѣтствѣ; отецъ былъ всецѣло поглощенъ своими дѣлами, и дѣтямъ предоставлялось рости на полной своболѣ.

Въ краткой біографіи А. Н., приложенной къ его портрету въ изданіи петербургскаго фотографа ІПапиро: "Галлерея русскихъ писателей" (вып. ІІ, Спб. 1880), находится слёдующій набросокъ когда-то начатой имъ автобіографіи, къ сожалёнію, остановившейся на этомъ единственномъ отрывкѣ. Отсюда видно, что самъ А. Н. приписывалъ важное воспитательное вліяніе чтенію журналовъ, къ которому онъ рано пристрастился и которое помогло ему осмысленно отнестись къ окружающей его жизни:

"Тогда еще тихое, Замоскворъчье, населенное богатыми купцами и вообще людьми достаточными, было особымъ міромъ; тамъ, въ просторныхъ домахъ, окруженныхъ всевозможными службами и большими садами, мирные обыватели вели совершенно-замкнутую, семейную жизнь. Въ этомъ мірѣ Островскій провель все свое дѣтство и часть юности и этотъ-то міръ населиль его воображеніе тіми представленіями и типами, которые онъ впоследствіи воспроизвель въ своихъ комедіяхъ. Благодаря большой библіотек в своего отца, который съ самаго начала журналистики въ Россіи выписываль всв появлявшіяся періодическія изданія и пріобрѣталь всѣ сколько-нибудь выходящія изъ ряду книги, Островскій весьма рано ознакомился съ русской литературой и почувствовалъ наклонность къ авторству. Но родительская заботливость готовила ему иной путь: по очень уважительнымъ соображеніямъ, изъ него хотели сделать юриста. Пробывъ три года на юридическомъ факультетъ, Островскій вышелъ изъ Московскаго университета, не окончивъ курса; затъмъ практическое изучение русскаго гражданскаго права ему также не удалось, и въ 1850 году онъ оставилъ службу въ Коммерческомъ судѣ, послѣ появленія въ свѣтъ своей комедіи "Свои люди—сочтемся", и сталъ работать въ редакціи "Москвитянина". Съ техъ поръ Островскій совершенно отдался литературной ділтельности".

Къ этому весьма сжатому автобіографическому очерку литературныхъ дебютовъ Островскаго мы можемъ прибавить и веколько хронологическихъ данныхъ. Выйдя изъ университета въ 1843 году (какъ говорятъ, вслъдствіе какихъто непріятностей съ профессоромъ Крыловымъ), Островскій по желанію отца, поступилъ на службу въ Коммерческій судъ, съ чиномъ коллежскаго регистратора. Этимъ положеніемъ опредълился характеръ первыхъ литературныхъ опытовъ Островскаго: здъсь онъ постоянно имълъ передъ собою неистощимый матеріалъ для наблюденій, постоянно

живьемъ видълъ тъ своеобразные типы "замоскворъцкаго міра", которыми впоследствіи населиль свои комедіи.

Литературная дізтельность Островскаго начинается въ 1846 году. Въ этомъ году (по собственному свидетельству А. Н.) имъ было написано "много сценъ" купеческаго быта, въ числѣ которыхъ была сцена, названная впоследствіи "Семейной картиной"; въ то же время была задумана комедія "Несостоятельный должникъ" (впослъдствія — "Свои люди — сочтемся"). Осенью 1846 года Островскій познакомился съ провинціальнымъ актеромъ Д. Горевымъ (настоящая его фамилія была Тарасенковъ), авторомъ двухъ-трехъ комедій, уже игранныхъ на сцень, прочель ему свои "Семейныя сцены" и разсказаль сюжетъ задуманной комедіи. Горевъ предложиль обработать этоть сюжеть вмёстё; Островскій согласился, и работа была начата, но вскоръ прекратилась за отъездомъ Горева изъ Москвы *).

Съ января 1847 года въ Москвъ стала выходить, подъ редакціею г. Драшусова, первая частная ежедневная газета, подъ названіемь: "Московскій Городской Листокъ". Изданіе имѣло характеръ преимущественно научно-литературный, и въ числъ его сотрудниковъ, болье или менье дъятельныхъ, находились самые выдающиеся писатели того времени: А. Ө. Вельтманъ, кн. П. А. Вяземскій, А. И. Герценъ, Ө. Н. Глинка, Т. Н. Грановскій, Д. В. Григоровичъ, К. Д. Кавелинъ, Е. Ө. Коршъ, Н. Х. Кетчеръ, В. П. Лешковъ, Н. Ф. Павловъ, Д. М. Перевощиковъ, К. Ф. Рулье, П. Г. Ръдкинъ, гр. В. А. Сологубъ, С. М. Соловьевъ, С. П. Шевыревъ и др. **). При такомъ составъ сотрудниковъ, газета велась бойко, живо и занимательно и была въ нашей журналистикъ пріятною новостью. Здъсь-то и появились первыя произведенія Островскаго.

^{*) &}quot;Литературное объясненіе" Островскаго въ "Моск. Въд." 1856, № 80.
*) "Листокъ" просуществовалъ только одинъ годъ. Всего съ 1-го января по 31-е декабря 1847 года вышло 283 №%, составившихъ томъ въ 1134 страницы.

Прежде всего, въ № 7 "Моск. Гор. Листка" (четвергъ, 9-го января 1847 года), въ фельетонѣ, были напечатаны: "Сцены изъ комедіи: Несостоятельный должникъ (Ожиданіе жениха)". Это—небольшой отрывокъ, въ заголовкѣ котораго поставлено: "Явленіе IV" и который впослѣдствіи, въ исправленномъ видѣ, былъ внесенъ въ комедію "Свои люди — сочтемся", какъ 1-е явленіе ІІІ дѣйствія. Подъ отрывкомъ поставлены буквы: А. О. и Д. Г. (Александръ Островскій и Дмитрій Горевъ); такимъ образомъ, первое появившееся въ печати произведеніе А. Н. было плодомъ совмѣстной работы съ его случайнымъ сотрудникомъ.

Затѣмъ, 14-го и 15-го марта (№ 60 и 61) было напечатано, безъ подписи, другое, уже вполнѣ самостоятельное произведеніе начинающаго писателя, подъ заглавіемъ: "Картины московской жизни. Картина семейнаго счастія". Эти сцены впослѣдствіи были перепечатаны, въ исправленномъ видѣ, съ именемъ автора и подъ заглавіемъ: "Семейная картина", въ Современникѣ 1856 года № 4 и въ сборникѣ: "Для легкаго чтенія" (Спб., 1858) т. VIII.

"Семейную картину" самъ Островскій не только считаль своимъ первымъ печатнымъ произведеніемъ, но именно съ этой пьесы велъ начало своей литературной дѣятельности. Самымъ памятнымъ и дорогимъ днемъ въ своей жизни онъ считалъ 14-ое февраля 1847 года, когда онъ посѣтилъ С. П. Шевырева и, въ присутствіи А. С. Хомякова и другихъ лицъ, профессоровъ и писателей, сотрудниковъ "Моск. Гор. Листка", прочелъ свои сцены, явившіяся въ печати ровно мѣсяцъ спустя. Шевыревъ и Хомяковъ, обнимая молодого автора, восторженно привѣтствовали его драматическій талантъ. "Съ этого дня, говоритъ Островскій, я сталъ считать себя русскимъ писателемъ и уже безъ сомнѣній и колебаній повѣрилъ въ свое призваніе" *).

^{*)} Рус. Стар., LI (1886), 245; Знакомые, альбомъ М. И. Семевскаго (Спб., 1888), 165.

Обдумывая свою первую большую комедію, Островскій пробоваль свои силы также и въ повъствовательномъ родъ,--въ фельетонныхъ разсказахъ изъ замоскворъцкаго быта. Въ томъ же "Моск. Гор. Листкъ" 3—5 іюня (№№ 119— 121) напечатанъ одинъ изъ этихъ разсказовъ: "Иванъ Ерофеичъ", подъ общимъ заглавіемъ: "Записки замоскворѣцкаго жителя" и опять безъ подписи, но съ замѣткою, что это произведение принадлежить автору "Картинъ московской жизни", напечатанных въ марть. Этотъ небольшой разсказъ явился въ печати съ значительными измъненіями и передълками сравнительно съ первоначальною рукописью; два другіе очерка, также, повидимому, приготовленные для "Записокъ замоскворъцкаго жителя". именно: "Сказаніе о томъ, какъ квартальный надзиратель пускался въ плясъ, или отъ великаго до смѣшного только одинъ шагъ" и "Двѣ біографіи", остались не напечатанными; последній изъ нихъ даже и не оконченъ.

Между тѣмъ, комедія понемногу обработывалась и въ концѣ 1849 года была уже готова. Въ это время Островскій читаль ее своему университетскому товарищу А. Ө. Писемскому; тогда же онъ познакомился съ внаменитымъ артистомъ П. М. Садовскимъ, который принялъ новую комедію прямо съ восторгомъ, какъ литературное откровеніе, и сталь читать ее въ литературныхъ кружкахъ. Въ 23-й (первой декабрьской) книжкѣ "Москвитянина" 1849 г. (отд. VI, стр. 48) явилось первое печатное извѣстіе о комедіи и ея авторѣ:

"Н. Н. Островскій, молодой писатель, изв'єстный московской публик'в н'єкоторыми живыми очерками, написаль комедію въ пяти д'єйствіяхъ, въ проз'є: "Банкрутъ",—превосходное произведеніе, которое, читаемое изв'єстнымъ артистомъ нашимъ П. М. Садовскимъ, производить общій восторгъ".

Судя по этой замѣткѣ, редакторъ "Москвитянина", М. II. Погодинъ, въ то время еще не былъ лично знакомъ съ Островскимъ. Вскорѣ они познакомились,—надо пола-

гать, у графини Е. П. Ростопчиной, гдѣ Садовскій читаль комедію и гдѣ въ теченіе многихъ лѣтъ собирался, обыкновенно—по субботамъ, литературный кружокъ. Въ слѣдующей, 24-й, книжкѣ "Москвитянина" (отд. VI, стр. 67) предыдущее сообщеніе было исправлено:

"Въ извъстіи о комедіи А. Н. Островскаго "Москвитянинъ" сдълаль въ послъднемъ нумеръ нъсколько ошибокъ. Во-первыхъ, комедія называется: "Свои люди — сочтемся", а не "Банкрутъ"; во-вторыхъ, комедія не въ пяти дъйствіяхъ, а въ четырехъ; въ-третьихъ, — принадлежитъ А. Н. Островскому, а не Н. Н. Въ томъ только не ошибся "Москвитянинъ", что комедія производитъ общій восторгъ: г. Садовскій не начичается, а слушатели не наслушаются" *).

^{*)} Какъ на образчикъ той мелочности, въ какую впала вслъдъ за смертью Бълинскаго наша журнальная критика, укажемъ на курьезную полемику, вызванную этой поправкой. Въ февральской книжкъ "Огечеств. Записокъ" 1850 (Смъсь, стр. 295) по поводу поправки было замъчено:

[&]quot;Итакъ, на три ошибки — одна не ошибка! Итогъ невыгодный для тъхъ, кому нужны върныя извъстія. Любопытно знать, какимъ образомъ редакція собираетъ литературныя новости? Не изъ десятыхъ ли рукъ? Кто самъ слушалъ прекрасное чтеніе Садовскаго, тотъ не приметъ четырехъ за пять. Совътуемъ редактору прибавить къ своему журналу особенный отдълъ, подъ названіемъ: "Поправки ошибокъ", сдъланныхъ въ предыдущемъ нумеръ; объемъ журнала отъ того значительно увеличится, и подписчики будутъ знать, по крайней мъръ, чему върить и чему не върить".

^{— &}quot;Что подумать объ этихъ замъткахъ, проникнутыхъ какою то тяжелою и непріятною иронією?" писалъ Дружининъ въ "Современникъ" (1850, январь. Письма иногороднаго подписчика; Соч. Дружинина, VI, 281): "Что въ "Москвитянинъ" очень много промаховъ, типографскихъ и корректорскихъ неисправностей, — это мы давно знаемъ, точно такъ же, какъ знаемъ, что при всъхъ этихъ и другихъ недостаткахъ, "Москвитянинъ", все-таки, журналъ порядочный. Промахи бываютъ и въ изданіяхъ, начавшихся ранъе "Москвитянина": и въ "Отечественныхъ Запискахъ" ихъ не оберешься. А Дойенъ Дауге? а разстояніе солнца отъ земли? а повъсть, въ которой герой ходитъ по петербургскимъ улицамъ, лътомъ, поутру и при свътъ фонарей? И, не смотря на эти промахи "Отечественныхъ Записокъ", я ихъ не назову безусловно плохимъ журналомъ, даромъ, что на ръдкой страницъ послъдней книжки не встръчается ошибокъ противъ грамматики. Даже въ замъткъ по поводу неисправности "Москвитянина" вкралась одна опечатка, и опечатка довольно значительная", и т. д.

Обычными субботними гостями графини Ростопчиной были, кромъ Погодина и Шевырева, молодые писатели, только что начинавшіе тогда свою литературную д'вятельность: Б. Н. Алмазовъ, Н. В. Бергь, Л. А. Мей, Т. И. Филипповъ, Н. И. Шаповаловъ, Е. Н. Эдельсонъ. Всъ они находились въ очень близкихъ, дружескихъ отношеніяхъ съ А. Н., и когда последній приняль приглашеніе Погодина участвовать въ "Москвитянинь", всь сгруппировались вокругь начинавшаго драматурга и составили такъ называемую "молодую редакцію", которая быстро оживила томительно-скучный журналь и сумъла придать ему оригинальную литературную физіономію. Наряду съ Островскимъ выдающееся положение въ этомъ кружкъ скоро заняль А. А. Григорьевь, бывшій свидітелемь первыхь дебютовъ Островскаго въ "Московскомъ Городскомъ Листкъ" и теперь явившійся передовымъ провозв'єстникомъ самобытнаго, русскаго направленія въ литературъ. Именно возможность теоретически и практически развивать это направленіе, не имѣвшее въ литературѣ своего органа, соединила молодой кружокъ съ редакціею журнала, которая, съ своей стороны, въ значительной степени поступилась своими прежними убъжденіями. Старый "Москвитянинъ" Погодина и Шевырева въ своей критикъ и беллетристикъ быль, можно сказать, складомъ всякой литературной ветоши и отличался тъмъ грубо-патріотическимъ направленіемъ, которое въ тѣ времена многими совершенно напрасно ставилось на одну доску съ славянофильствомъ, а въ настоящее время извъстно подъ названіемъ "оффиціальной народности", даннымъ ему А. Н. Пыпинымъ. Критическая сторона славянофильства, получившая такое блестящее развите въ трудахъ первыхъ представителей этого ученія, въ старомъ "Москвитянинъ" совершенно отсутствовала; все сводилось къ безусловному превознесенію и славословію всего русскаго и такому-же безусловному порицанію "гніющаго Запада". Въ беллетристикъ журналъ держался традицій 20-хъ годовъ, строго

осуждая произведенія такъ называемой "натуральной школы", въ которыхъ такъ ярко и талантливо проявилось плодотворное стремленіе сблизить литературу съ живою дъйствительностью. За все время своего существованія до 1850 года *) "Москвитянинъ" не напечаталь на своихъ страницахъ ни одного сколько-нибудь живого и талантливаго литературнаго произведенія; къ концу 40-хъ годовъ онъ все больше и больше падалъ, -- главнымъ образомъ (какъ говорилъ впоследстви Ап. Григорьевъ) отъ "адской" скупости Погодина, — и началъ заискивать у молодого кружка, представителями котораго были Островскій и Ап. Григорьевъ. Этотъ кружокъ, въ свою очередь, искаль возможности заявить печатно свои завътныя убъжденія о необходимости "правды и искренности въ искусствъ , т. е. непосредственно-реальнаго отношенія литературы къ жизни. Ап. Григорьевъ, вспоминая объ этомъ времени много летъ спустя, говорилъ: "Явился Островскій, и около него, какъ центра, кружокъ, въ которомъ нашлись всё мои, дотолё смутныя, вёрованія... Вопросъ о нашей умственной и нравственной самостоятельности въ допотопныхъ формахъ явился въ покойномъ "Москвитянинъ", — явился молодой, смълый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями. О, какъ мы тогда пламенно вършли въ свое дъло, какія высокія пророческія рвчи лились, бывало, на попойкахъ изъ устъ Островскаго, какъ безбоязненно принималъ тогда старикъ Погодинъ отвътственность за свою молодежь, какъ сознательно, не смотря на пьянство и безобразіе, шли мы всѣ тогда къ великой и честной цъли!.. Пуста и гола жизнь послѣ этого сна... **)

Къ этому можно прибавить, что Погодинъ, конечно, былъ очень радъ приливу свъжихъ талантливыхъ силъ, которыя давали ему возможность поднять и оживить жур-

^{*) &}quot;Москвитянинъ" началъ выходитъ въ 1841 году, въ концѣ 1845 года прекратился, а въ 1847 году былъ возобновленъ.

**) "Эпоха" 1864, № 9, стр. 45, 12.

наль, не требуя притомъ сколько-нибудь значительныхъ денежныхъ затратъ: мы знаемъ, напримъръ, что Ап. Григорьевъ получалъ за свои критическія статьи всего по 15 р. съ листа; молодой беллетристъ Кокоревъ, теперь всѣми забытый, но въ то время довольно извъстный, будучи постояннымъ сотрудникомъ "Москвитянина" и даже членомъ редакціи, жилъ въ нищеть. Но для "молодой редакціи" денежный вопросъ стояль не на первомъ планѣ; члены этого кружка, связанные между собою тесной дружбой и единствомъ убъжденій, больше всего дорожили возможностью работать въ собственномо литературномъ органъ и общими силами проводить въ общественное сознаніе свои идеи. Они предпочитали бъдствовать, но за то имъть полный просторъ для своей проповъди новаго литературнаго направленія; Погодину же было очень выгодно эксплуатировать этотъ юношескій идеализмъ своихъ безкорыстныхъ сотрудниковъ *).

Познакомившись съ Погодинымъ, Островскій въ самомъ началъ 1850 года, прочелъ у него свою комедію вмъстъ съ Садовскимъ и Щепкинымъ **) и затъмъ отдалъ ее для напечатанія въ "Москвитянинъ". Приведенная выше "поправка" заключаеть въ себъ одну неточность: комедія, дъйствительно, первоначально называлась: "Банкрутъ", и это заглавіе только впоследствіи было заменено другимъ. Печатаніе комедіи, однако же, затормозилось вслёдствіе цензурныхъ препятствій и доставило какъ автору, такъ и редактору не мало хлопотъ и треволненій. Цензура усмотрѣла въ "Банкрутъ" оскорбленіе всего купеческаго сословія (точно такъ же, какъ прежде въ "Горъ отъ ума" видъли оскорбление дворянства, а въ "Ревизоръ" -- оскорбленіе чиновничества) и не рішалась его пропускать. Пришлось обращаться съ ходатайствами къ высшему начальству. Припомнимъ, что въ цензурномъ отношеніи

^{*)} С. А. Венгеров. Молодая редакція "Москвитянина". "Вѣстн. Евр.", 1886, № 2, стр. 581—612.

**) "Москвитянинъ", 1851, т. І, кн. 2, "Соврем. Изв.", стр. 215.

время появленія новой комедіи было едва-ли не самой тяжелой эпохой, какую когда-либо приходилось переживать нашей литературь. Это было время, когда правительство, встревоженное событіями 1848 года, стало смотрьть на литературу съ крайнею подозрительностью, — когда, помимо общей цензуры, быль учреждень цьлый рядь цензурь спеціальныхь и сверхъ того — особый, негласный комитеть для высшаго наблюденія за печатью. Погодинь съ одной стороны и гр. Ростопчина съ другой принялись дъятельно хлопотать за молодого драматурга въ Москвъ и Петербургъ. Отъ Островскаго потребовались объясненія, которыя и были имъ даны и, повидимому, произвели впечатльніе благопріятное. Сохранилась записка Гоголя, наскоро написанная по этому поводу карандашемъ гр. Ростопчиной:

"Я тоже нахожу отвътъ Островскаго очень благоразумнымъ. Дай ему Богъ успъховъ во всъхъ будущихъ трудахъ и полнаго умънья выражать яснъй ихъ благонамъренность, чтобы ни въ комъ не оставалось какоепибудь на этотъ счетъ сомнънье. При внутреннемъ усовершенствовани это приходитъ само собою. Самое главное, что есть талантъ,—а онъ вездъ слышенъ".

Такимъ образомъ, авторъ "Ревизора", при концѣ своей литературной дѣятельности, сказалъ слово ободренія начинающему писателю, которому суждено было впослѣдствіи поставить свое имя въ исторіи нашей драматической литературы наряду съ именемъ Гоголя.

Изъ Петербурга, отъ гр. Д. Н. Блудова, предсёдателя всёхъ комитетовъ о цензурѣ, университетахъ, народномъ просвёщеніи, было получено письмо, повидимому, благопріятное для "Банкрута". Посылая Островскому копію съ этого письма, Погодинъ (2-го марта 1850) писалъ: "Надо воспользоваться этимъ расположеніемъ и ковать желѣзо, пока горячо. Я пошлю ее циркулярно къ своему цензору, потомъ къ попечителю и, подсмоливъ такую механику, не пустить ли тотчасъ "Банкрута"—если вы раз-

судите - въ печать? Въ корректурѣ легче будеть - психологически - ръшиться попечителю, который увидить, что дъло какъ будто уже кончено и печатный "Ванкрутъ" не кусается. Цензоръ отвезеть къ нему корректуру, я наподдамъ, и пр.". Два дня спустя, Погодинъ могъ уже сообщить автору комедіи объ удачномъ окончаніи встхъ мытарствъ:

"(Между нами!). Ура! ура! Я быль у попечителя. Говорили о "Банкрутв". "Если вы думаете, что его пропустить можно, то я полагаюсь совершенно на васъ. Я и самъ такъ думалъ". Онъ объщалъ послать тетрадь въ цензору".

Комедія, съ заглавіемъ: "Свои люди — сочтемся", явилась въ 6-й (2-й мартовской) книжкѣ "Москвитянина " *), разрѣшенной къ печати цензоромъ В. Лешковымъ 14-го марта. Вследъ за выходомъ книжки, попечитель Московскаго Университета, Вл. Ив. Назимовъ, "исполненный самаго дорогого расположенія къ автору комедіи и находившій ее и прекраснымъ, и нравственнымъ произведеніемъ", пригласилъ его, черезъ С. П. Шевырева, къ себъ, чтобы сообщить "замъчаніе, полученное изъ Петербурга относительно комедіи, въ видъ совѣта".

Журнальная критика встретила комедію молчаніемъ, и мы имфемъ полное основание считать это молчание вынужденнымъ: очень въроятно, что тогдашняя цензура, пропустивъ не безъ затрудненій комедію, решила — по крайней мфрф, въ первое время — не пропускать о ней въ печати никакихъ отзывовъ. Только въ объявленіи объ изданіи "Москвитянина" въ 1851 году было сказано, что "комедія Островскаго заняла почетное мъсто въ русской литературъ"; эти слова были затъмъ повторены "Отечественными Записками" **) — и только. Между тъмъ,

^{*)} Отд. I, стр. 33—136. **) "Отеч. Зап." 1851, т. 74, крит. стр. 149.

комедія несомнѣнно произвела въ литературномъ кругу сильное впечатлѣніе. Выразителемъ его явился А. Ө. Писсемскій.

"Достопочтенный нашъ авторъ Банкруга! (писалъ онъ Островскому изъ Костромы, 7 апръля 1850 г.) Если Вы хотя немного помните Вашего знакомца Писемскаго, которому доставили столько удовольствія чтеніемъ еще въ рукописи Вашей комедіи, то можете себѣ представить, съ какимъ истиннымъ наслаждениемъ прочитавъ я Ваше произведение вполнъ законченное. Впечатлъніе, произведенное Вашимъ Банкрутомъ на меня, столь сильно, что я тотчасъ же ръшился писать къ Вамъ и высказать нелицепріятно все то, что чувствовалъ и думалъ при чтеніи Вашей комедіи: основная идея ея развита вполнъ, -- необразованность, а всл'ядствіе ея совершенное отсутствіе вс'яхъ нравственныхъ правилъ и самый грубый эгоизмъ ръзко обнаруживается въ каждомъ лицъ, и всъ событія пьесы условливаются тъмъ же безчестнымъ эгоизмомъ, т. е. замысломъ и исполненіемъ ложнаго банкрутства. Вашъ глубокій юморъ, столь знакомый мнь, проглядываеть въ каждомъ монологъ. Драматическая сцена посаженнаго въ яму Банкрута въ домѣ его дѣтей, которыя грубо отказываются платить за него, превосходна по идей и по выполнению. Искусный актеръ въ этомъ мъстъ можетъ заставить плакать и смёяться. Самое окончаніе, гдё подъячій, обманутый тымь же Подхалюзинымь, инстинктивно сознавая свое безсиліе передъ оффиціально утвердившимся тъмъ же подлецомъ Подхалюзинымъ, старается хоть предъ театральной публикой оконфузить его, — придумана весьма удачно. Вотъ Вамъ то, что я чувствовалъ и мыслилъ при первомъ чтеніи Вашей піесы. Но потомъ я сталь вглядываться внимательнее въ каждую сцену и въ каждый характеръ: Липочка въ первомъ своемъ монологъ слишкомъ върно и ръзко знакомить съ самой собой; сцена ея съ матерью ведена весьма искусно безтолково, какт и должны быть сцены подобныхъ полудуръ; одно только: зачъмъ Вы мать заставили б'ёгать за танцующей дочкою? Мнв кажется, это не совсемъ верно: старуха могла дивиться на дочь, жалъть, бранить ее, но не бъгая. Вы, конечно, имъли въ виду театральную сцену и зрящій на нее партеръ. Безтолково-многоръчивая, и, въроятно, хлебнувшая достаточно пива Ооминишна очень върна. Про Устинью Наумовну и говорить нечего, — я очень хорошо помню этотъ глубоко сознанный Вами типъ изъ Вашихъ разсказовъ. Ея поговорки: серебряный, жемчужный, брилліантовый какъ нельзя лучше обрисовывають эту подлянку. Ризположенскій-и этоть типь я помню въ лиць безмъстныхъ титулярныхъ совътниковъ, стоящихъ обыкновенно у Иверскихъ воротъ и столь любезныхъ сердцу купеческому адвокатовъ, великолъпно описывающихъ въ каждомъ прошеніи доблестныя качества своего кліента и неимовърное количество дътей. Въ томъ мъстъ, гдъ Ризположенскій отказывается пить вино, а просить замінить его волкою, онъ обрисовываеть всю его многошумную, грязную жизнь, пріучившую его, наперекоръ чувству вкуса, исключительно къ одной только водкъ. Главное лицо пьесы — Большовъ, и за нимъ Подхалюзинъ; оба они похожи другь на друга: одинь-подлець старый, а другой — подлецъ молодой. Старость одурила Большова, затемнила его плутовскія очи, и онъ дался въ обманъ одному, думая обмануть и удачно обманывая прежде сотню людей. Сколько припомню, — у Васъ былъ монологъ Вольшова, въ которомъ высказывалъ онъ свой планъ, но въ печати его нътъ; а жаль: мнъ кажется, онъ еще яснъе могъ бы обозначить личность Банкрута, высказавъ его задушевныя мысли, и кромь того, уясниль бы самыя событія піесы. Но, какъ бы то ни было, кладя на сердце руку, говорю я: Вашъ Банкрутъ-купеческое Горе от ума, или, точнъе сказать, купеческія Мертвыя души". Добролюбовъ *) сообщаетъ, что авторъ "Своихъ

^{*)} Соч., Ш, 1-2.

людей немедленно быль всёми признань писателемь необычайно талантливымь, лучшимь послё Гоголя представителемь драматическаго искусства въ русской литературь. "Но по одной изъ техъ странныхъ для обыкновеннаго читателя и очень досадныхъ для автора случайностей, которыя такъ часто повторяются въ нашей бедной литературе, — пьеса не только не была играна на театре, но даже не могла встретить подробной и серьезной оценки ни въ одномъ журнале. "Свои люди" успели выйти отдельнымъ оттискомъ, но литературная критика не заикнулась о нихъ. Такъ эта комедія и пропала, — какъ будто въ воду канула, на некоторое время".

По словамъ А. Григорьева *), — "появленіе комедіи "Свои люди—сочтемся", какъ событіе слишкомъ яркое, выдвигавшееся далеко изъ ряда обычныхъ, надълало много шуму, но не вызвало ни одной дъльной критической статьи: "комедія изумила критику". Очевидно, Ап. Григорьевъ говорить здёсь не о печатной критикъ, которой въ то время не было, а о тъхъ толкахъ и спорахъ, какіе были вызваны комедіею въ различныхъ литературныхъ кружкахъ, московскихъ и петербургскихъ. Въ печать они проникли-и то въ аллегорической формъ и со многими умолчаніями уже болье года посль появленія комедіи, и вызвали нъкоторую полемику, впрочемъ, довольно слабую. Первымъ, кто отважился заговорить печатно о "Своихъ людяхъ", не упоминая, впрочемъ, ни заглавія комедіи, ни имени ея автора, быль Б. Н. Алмазовъ, напечатавшій въ "Москвитянинъ 1851 г. (ММ 7 и 10), подъ псевдонимомъ "Эраста Благонравова", пространный фельетонъ подъ заглавіемъ: "Сонъ по случаю одной комеліи" **). Сначала, въ "пред-

^{*)} Соч., І, 469.

^{**)} Сонъ по случаю одной комедіи. Драматическая фантазія, съ отвлеченными разсужденіями, патетическими мъстами, хорами, танцами, торжествомъ добродътели, наказаніемъ порока, бенгальскимъ огнемъ и великолъпнымъ спектаклемъ. "Москвит." 1851, т. П. смъсь, стр. 231—256 и т. III, стр. 97—121.

увъдомленіи", авторъ дълаетъ юмористическую характеристику двухъ своихъ "пріятелей", изъ которыхъ въ одномъ тогдашній читатель могь узнать "Новаго Поэта" (Ив. Ив. Панаева), фельетониста "Современника", всего болъе нападавшаго на "Москвитянинъ", а въ другомъ признавалъ нѣкоторое сходство съ собою самъ Погодинъ *); затѣмъ характеризуются критическіе пріемы журналовъ "западническаго" направленія, —пріемы, основанные на личностяхъ и на пересмѣханіи литературныхъ произведеній, чѣмъ. опять-таки, болье другихъ занимался Новый Поэтъ, по словамъ автора, -- "большой мастеръ трунить надъ писателями и бойко писать пародіи на ихъ произведенія". Наконецъ, (въ кн. 10) следуетъ и самый "Сонъ", въ драматической формъ, напоминающій гоголевскій "Разъъздъ". Дъйствіе происходить на арень, которая должна изображать собою русскую литературу. Здёсь сошлись представители всёхъ направленій: классики (ихъ уже очень мало), романтики, пересмъшники, западники и ученые люди. Является "большой любитель и знатокъ исторіи и литературы западныхъ народовъ" и сообщаеть, что "новая превосходная комедія нанесла последній ударь родовому быту, - источнику всяческихъ бъдствій на Руси: лица, выведенныя въ комедіи и живущія по началамъ родового быта, осм'яны въ ней жестоко и безпощадно". Противъ этого мивнія горячо возражаеть "страстный любитель славянскихъ древностей". Онъ находить, наобороть, что лица, выведенныя авторомъ комедіи, нарисованы имъ съ необыкновенною любовью; авторъ "старался показать, какъ размашиста, широка и глубока душа русскаго человъка", который "великъ и прекрасенъ даже во всехъ своихъ порокахъ", онъ глу-

^{*) &}quot;Прочитавъ Сонъ въ рукописи, признаюсь, я увидалъ нѣкоторыя свои черты", заявлялъ онъ въ 8-й книжкъ "Москвитянина" 1851 (т. П. смѣсь, стр. 387)... "Я заключилъ, что вся статья составлена изъ отдѣльныхъ чертъ, принадлежащихъ разнымъ лицамъ и возведенныхъ на такую степень гиперболы, которая никого уже оскорбить не можетъ; а между тѣмъ, статья забавна, и я отдалъ ее въ типографію, ничтоже сумняся".

боко проникъ въ русскую душу; онъ владветь такимъ языкомъ, который своею народностью вызываетъ "слад-кій трепетъ и слезы умиленія"; словомъ, авторъ новой комедін — великій писатель. Изъ-за этого опредъленія начинается споръ между двумя западниками, одинъ изъ которыхъ положительно утверждаетъ, что въ наше время не можеть быть великихъ писателей и великихъ личностей вообще: "нашъ въкъ-практическій, въкъ истинной цивилизаціи, истиннаго просвъщенія; а гдъ цивилизація и просвъщеніе, тамъ не можеть быть великихъ личностей. Скажу прямо: возможность появленія великой личности въ данной землъ есть признакъ плохой цивилизаціи, необразованія, невъжества, дурного тона, дикости. Въ геніи, т. е. въ великой личности, скопляется необыкновенное количество моральныхъ соковъ и силъ, въ ущербъ силамъ всего общества. Силы, скопляемыя въ великой личности, если бъ не было этой великой личности, были бы поровну разлиты въ людяхъ той страны, которой принадлежить геній... Для русской литературы не нужны великіе писатели... Намъ нужна беллетристика".

Въ споръ вмѣшивается "бѣдный молодой человѣкъ", и дальнъйшая бесъда принимаеть характеръ сравненія между авторомъ новой комедіи и Гоголемъ. "Молодой человъкъ утверждаетъ, что сходство между обоими писателями только внѣшнее: оба они изображають одного рода людей, — людей нравственно испорченныхъ; но каждый распоряжается этимъ матеріаломъ по своему: "одинь съ необыкновенной, ему только свойственной, яркостью и рельефностью выставляеть пошлость и недостатки своихъ дъйствующихъ лицъ; другой съ свойственной ему одному математической върностью изображаеть своихъ дъйствующихъ лицъ, не преувеличивая въ нихъ ихъ пошлости и недостатковъ... Новый комикъ изображаетъ дъйствительность върнъе, чъмъ Гоголь; за то у его творчества недостаетъ одной въ высшей степени привлекательной черты, которая именно мѣшаеть Гоголю быть математически вѣрну

дъйствительности: это—лиризмъ... Въ душъ Гоголя образы, характеры лицъ, имъ выводимыхъ, создаются совершенно върно дъйствительности, безо всякаго преувеличенія; но при изображеніи ихъ онъ прибъгаетъ къ гиперболамъ... Такимъ образомъ, Гоголь не только живописецъ окружающей его дъйствительности, но и живописецъ собственныхъ впечатлъній, рождающихся въ немъ при взглядъ на дъйствительность. Изображая въ своихъ гиперболахъ то впечатлъніе, которое овладъваетъ имъ при взглядъ на описываемый имъ предметъ, онъ сообщаетъ читателю это же самое впечатлъніе и такимъ образомъ ставитъ его на свое мъсто, — заставляеть его смотръть на предметъ съ одной съ нимъ точки зрѣнія.

"Не таковъ авторъ новой комедіи. Онъ математически въренъ дъйствительности. Скажу смъло: у насъ нътъ поэта, который бы такъ былъ въренъ дъйствительности, такъ конкретно изображалъ ее, какъ авторъ новой комедіи. Его творчество— художество въ истинномъ, самомъ тъсномъ значении этого слова. Цъль его-не выказывать выпукло людскіе пороки, не расписывать людскія добродьтели, но изображать дыйствительность, какъ она есть, — художественно воспроизводить ее... Чтеніе Гоголя мнь доставляеть гораздо болье наслажденія, чьмъ чтеніе новой комедіи. Но въ то же время авторъ ея представляеть мн осуществление того идеала художника, о которомъ я давно мечталъ. Гоголь въ моихъ глазахъ не подходить подъ этоть идеаль. Давно я мечталь о такомъ художникъ, давно я просилъ Бога послать намъ такого поэта, который бы изобразиль намъ челов вка совершенно объективно, совершенно искренно, математически вфрно дъйствительности. И вотъ, такой поэтъ явился. Признаюсь откровенно, что, услыхавъ въ первый разъ новую комедію, я очень больно себя ущипнуль, дабы ув'триться, сплю я или нъть, во снъ или на яву слушаю комедію, до такой степени натуральную, во снъ или на яву вижу

такого художника, котораго давно ожидала вселенная, по которомъ давно тосковала она!..«

Xopz (олицетворяющій собою безпристрастіе) пристально смотрить на молодого человіка.

..., Правда, и у Гоголя много такихъ лицъ, въ которыхъ нътъ ничего преувеличеннаго, которыя върны дъйствительности; но все-таки, дъйствующія лица новой комедіи върнъе ихъ дъйствительности: они конкретнъе, они еще более похожи на людей, чемъ лица, созданныя Гоголемъ. Эта конкретность действующихъ лицъ новой комедін заключается въ ихъ языки. Вспомните, какимъ языкомъ говорять даже тв лица Гоголя, которыя не утрированы. Неужели у него лакеи говорять точь-63-точь такимъ языкомъ, какимъ говорятъ лакеи: купцы-точь-63-точь такимъ языкомъ, какимъ говорятъ купцы, и т. д.? Содержаніе ихъ річей, ихъ мысли совершенно приличны каждому изъ нихъ, но имъ дана не та самая оболочка, которую они должны имъть. Въ ихъ языкъ мало выражаются особенности сословій. Они такъ же говорять не своимъ языкомъ, какъ не своимъ языкомъ говорятъ дъйствующія лида "Каменнаго Гостя" Пушкина. Языкъ ихъпереводный...

Xopo. Что жъ, по вашему мнѣнію, вѣрнѣе природѣ: новая комедія или "Каменный Гость"?

Молод. человтект. Разумфется—новая комедія. "Каменный Гость", во-первыхъ, уже потому хуже новой комедіи, что въ немъ есть несообразности, которыхъ въ ней нѣтъ. Такъ, въ немъ является и говоритъ статуя командора; а статуя, вѣдь, ходить и говорить не можетъ; кромѣ того, въ немъ еще тотъ недостатокъ, что дѣйствующія лица не конкретны въ отношеніи къ языку. Ихъ языкъ можно перевести по каковски вамъ угодно, и они отъ этого ничего не потеряютъ. Новая же комедія непереводима.

Хорг. Ну, а Шекспира можно переводить?

Мол. чел. Можно; но оттого его произведенія и ниже новой комедіи.

Хоръ. Что-о о-о?

Мол. чел. Ничего (скрывается).

Хорг. Воть каковы ныньче молодые люди!

Любитель славянских древностей. Воть до чего довела ихъ натуральная школа[†]

(Занавъсг опускается).

Такимъ образомъ, если видъть въ этой юмористической стать в Алмазова отражение толковь, вызванныхъ появленіемъ "Своихъ людей" (иначе статья не имъла бы никакого основанія), то следуеть признать, что комедія всеми литературными кружками была встречена очень сочувственно, и что даже крайности юношескаго увлеченія, представляемыя річами "молодого человіна", не находили себъ противовъса. Ап. Григорьевъ, въ одной изъ позднъйшихъ своихъ статей *), замъчая, что "Эрастъ Благонравовъ" подъ видомъ шутки удачно схватилъ существенную разницу между Гоголемъ и Островскимъ, прибавляеть, что эта шутка "привела тогдашнюю критику въ совершенное остервенвніе". Это утвержденіе, однако же, преувеличено. Въ "Современникъ" **) Новый Поэть, еще не читая самаго "Сна", посмъялся надъ "предувъдомленіемъ", замътивъ, что "молодая редакція "Москвитянина" отличается большою незрълостью: ея важный тонь, ничьмъ не оправдываемый, претензіи на новые взгляды въ искусствъ, желаніе прослыть основательницей новыхъ литературныхъ понятій, --- все показываеть, что эта редакція въ самомъ дель очень молода". Въ статъв Эраста Благонравова фельетонистъ "Современника видъль "плодъ долгихъ и добросовъстныхъ усилій автора создать что-нибудь острое"; прочитавъ, затъмъ, и вторую часть статьи, онъ ограничился замёчаніемъ, что

^{*)} Соч., 1, 472.

^{**) 1851,} т. 27, отд. VI. стр. 52—53, 151—153; т. 28, іюль, отд. V, 45.

"сны эти, кажется, пишутся для прославленія одной комедіи, которая въ самомъ дѣлѣ принадлежить къ замѣ-чательнымъ произведеніямъ русской литературы и вовсе не нуждается въ такого рода сонныхъ панегирикахъ". Другой журналъ, постоянно полемизировавшій съ "Москвитяниномъ", — "Отеч. Записки" *) отозвался, что "въ статьѣ нѣтъ ни складу, ни ладу", и что "въ авторѣ ея, при отсутствіи остроумія, есть величайшее наслажденіе своимъ остроуміемъ"; этотъ отзывъ заключался словами, которыхъ смыслъ, можетъ быть, и ясный для читателей того времени, для насъ остается крайне загадочнымъ:

"Причина интереса или замъчательности (этой статьи) заключается въ томъ, что авторъ, не имъя ни искорки таланта Гоголя, вздумаль подражать Гоголю, именно его повъсти "Записки Сумасшедшаго". Послъдній (?, послъ нъсколькихъ жизненныхъ процессовъ дошелъ до пониманія себя. Товарищи его тоже достигли этого благополучія. Они вполнъ были увърены, что собрать ихъ-чуть-чуть не Жюль-Жаненъ! Они до того навострились въ своемъ безумствъ, что каждую пошлость, сказанную въ кругу ихъ, возводили въ теорію, и съ высоты ея оправдывали себя и обвиняли здравомысиящихъ. Не то ли же самое въ человъкъ, видъвшемъ сонъ, и въ его товарищахъ? Ясное подражаніе! Впрочемъ, къ счастію здраваго смысла, смотритель (?) поспъшно унималь рьяность болтуновъ, то есть "Сумасшедшаго" съ братіей. Что жъ бы вышло, если-бъ онъ, вмъсто угрозы, вздумалъ самъ дурачиться съ ними и восхищаться ихъ бредомъ?"

Этимъ и покончились всв разсужденія тогдашней критики о "Снв" Эраста Благонравова. Эпилогомъ къ нимъ могутъ служить: полемическое письмо автора "Сна" въ № 12 "Москвитянина", направленное исключительно противъ Новаго Поэта и его критическихъ пріемовъ, но

^{*) 1851,} т. 77, отд. VI, стр. 141—142.

ничего не говорящее о комедіи, и заключительная замътка Погодина къ этому письму *):

_О статьяхъ г. Благонравова все еще ходять разные толки въ литературныхъ кружкахъ московскихъ. Авторъ хотълъ, кажется, показать, шутя, что всякое мнѣніе, всякое положеніе, всякое пристрастіе, всякое направленіе, бывъ доведено до крайности, становится смішнымъ, карикатурнымъ: въ этомъ смыслѣ онъ влагаеть въ уста Любителя славянскихъ древностей (гдв я нашель много своихъ мыслей и выраженій), Любителя западныхъ литературъ и пр., ръчи, коихъ первая половина похожа на правду, а вторая состоить почти изъ нелѣпостей. Точно такую же рычь говорить онь и оть себя, оканчивая утвержденіями, ни съ чемъ не сообразными. Такихъ утвержденій никто на свой счеть принять не можеть,-они выдуманы, -- и сердиться, следовательно, за статью такого рода не только странно, но смешно. Статья забавна, - чего же болье для Смьси? статья предостерегаеть отъ увлеченій, отъ крайностей, отъ утрировокъ, кактговорится по-варварски; чего же болье для литературной морали?"

Къ этимъ статьямъ и замѣткамъ, вызваннымъ комедіею "Свои люди", слѣдуетъ прибавить еще одно замѣчаніе о русской комедіи вообще, сдѣланное "Москвитяниномъ" **) по поводу письма гр. Соллогуба о новомъ театрѣ въТифлисѣ:

"Предметь комедіи — пороки, недостатки, слабости людскія. Чьи же пороки можеть выставить русскій комикь? — дворянства, купечества, чиновничества, военнаго сословія, высшаго сословія? Ничьи нельзя: всё разсердятся и возопіють... Бёдный комикь не найдеть себё нигдёмёста и наживеть только враговь. Слёдовательно, собственнаго театра, въ высшемъ смыслё, быть у насъ еще

^{*) &}quot;Москвит." 1851, т. III, смъсь, стр. 365-377.

^{**) 1851, № 12,} т. III, смъсь, стр. 127.

не можеть; мы не созрѣли еще для него; нѣть еще настоящей потребности для него; нѣть яснаго взгляда на искусство: а крича о театрѣ, выражая свое желаніе, лжесвидѣтельствуя о своей любви, мы все еще только подражатели, поемъ съ голоса и перенимаемъ только наружное..."

Эти грустныя и для того времени вполнъ върныя строки, очевидно, находятся въ тъсной связи съ литературною судьбою "Своихъ людей".

Сотрудничество Островскаго въ "Москвитянинъ", начатое пом'вщеніемъ комедіи, не замедлило, какъ мы уже говорили, отразиться и вообще на составъ этого журнала. Вмёстё съ Островскимъ въ "Москвитянинъ" вошла "молодая редакція", которая заняла прочное мъсто въ отдълъ критики и библіографіи и сообщила этому отдёлу особый, оригинальный характерь. Въ каждой книжкъ стали являться обстоятельные и живые отчеты обо всёхъ, сколько-нибудь выдающихся литературныхъ явленіяхъ, и притомъ, -- не случайно собранные, а составленные по одному, обдуманному плану, объединенные общей идеей, которая высказывалась со всею пылкостью молодого убъжденія. Изъ воспоминаній Ап. Григорьева мы знаемъ, что журнальныя обозрвнія составлялись иногда "общими силами"; въ 1-й книжкъ "Москвитянина" 1851 года *) "старая редакція" печатно заявила, что разборъ журналовъ порученъ ею, чтобы сохранить возможное безпристрастіе, "молодымъ литераторамъ, принадлежащимъ къ одному поколънію съ разбираемыми авторами". Изъ отдёльныхъ критическихъ статей и рецензій, которыя обыкновенно подписывались иниціалами, большинство помъчено буквою Г. и, слъдовательно, принадлежить Ап. Григорьеву. Другими деятельными сотрудниками критического отдела были Е. Н. Эдельсонъ и Т. И. Филипповъ, напечатавшій въ "Москвитянинъ",

^{*)} T. I, etp. 213.

кромѣ того, двѣ большія статьи—о "Пенденнисѣ" Тэккерея и о Жоржъ-Сандъ. Что касается до Островскаго, то онъ еще въ 1850 году вслѣдъ за комедіею, напечаталъ въ "Москвитянинѣ" критическую статью о повѣсти г-жи Евг. Туръ: "Ошибка" (Современникъ 1849, № 10). Эта статья *), впослѣдствіи ни разу не перепечатанная въ собраніяхъ сочиненій Островскаго замѣчательна въ особенности по глубоко вѣрному взгляду молодого автора на историческое развитіе новой русской литературы. Приводимъ изъ нея самое важное мѣсто, очень характерное для всей дальнѣйшей дѣятельности ея автора:

"Литература каждаго образованнаго народа идетъ параллельно съ обществомъ, слъдя за нимъ на различныхъ ступеняхъ его жизни... Нравственная жизнь общества, переходя различныя формы, даеть для искусства тѣ или другія задачи... Писатель или узакониваеть оригинальность какого-нибудь типа, какъ высшее выражение современной жизни, или, прикидывая его къ идеалу общечеловъческому, находить опредъление его слишкомъ узкимъ, и тогда типъ является комическимъ... Такъ бываеть во всъхъ литературахъ, съ тою только разницею, что въ иностранныхъ литературахъ, (какъ намъ кажется), произведенія, узаконивающія оригинальность типа, т. е. личность, стоять всегда на первомъ планъ, а карающія личность-на второмъ планъ и даже въ тъни, а у насъ въ Россіи—наоборотъ. Отличительная черта русскаго народа, -- отвращение отъ всего ръзко опредълившагося, отъ всего спеціальнаго, личнаго, эгоистически отторгшагося отъ общечеловъческаго, кладетъ и на художество особенный характеръ: назовемъ его характеромъ обличительнымо. Чемъ произведение изящите, чемъ оно народите, тъмъ больше въ немъ этого обличительнаго элемента. Исторія русской литературы имбеть двв ввтви, которыя, наконецъ, слились: одна вътвь прививная, и есть отпрыскъ иностраннаго, но хорошо укоренившагося сѣ-

^{*) &}quot;Москвит.", 1850, т. II, отд. IV, стр. 89—99; подписано: А. О.

мени; она идеть отъ Ломоносова, черезъ Сумарокова, Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго и пр., до Пушкина, гдь начинаеть сходиться съ другою; другая-оть Кантемира, черезъ комедіи того же Сумарокова, Фонъ-Визина, Капниста, Грибовдова, до Гоголя; въ немъ совершенно слились объ: дуализмъ кончился. Съ одной стороныпохвальныя оды, французскія трагедіи, подражанія древнимъ, чувствительность конца XVIII столътія, нъмецкій романтизмъ, неистовая юная словесность, а съ другойсатиры, комедіи, комедіи и комедіи и Мертвыя Души. Россія какъ будто въ одно и то же время въ лицв лучшихъ своихъ писателей переживала періодъ за періодомъ жизнь иностранныхъ литературъ и воспитывала свою до общечеловъческого значенія... Публика ждеть отъ искусства облеченія въ живую, изящную форму своего суда надъ жизнью, ждетъ соединенія въ полные образы подмъченныхъ у въка современныхъ пороковъ и недостатковъ, которые являются ей сухими и отвлеченными. И художество даеть публикъ такіе образы, и этимъ самымъ поддерживаеть въ ней отвращение отъ всего ръзко опредълившагося, не позволяеть ей воротиться къ старымъ, уже осужденнымъ формамъ, а заставляетъ искать лучшихъ, однимъ словомъ-заставляетъ быть нравственнъе. обличительное направленіе нашей литературы можно назвать нравственно-общественнымъ направлениемъ".

Постоянно заботясь о томъ, чтобы поднять свой журналь и доставить ему подобающее значение въ литературф, молодая редакція старалась привлекать новыхъ, талантливыхъ сотрудниковъ. Такъ, по приглашенію Островскаго дебютировальвъ "Москвитянинф" Писемскій—своимъ "Тюфякомъ" (1850) и "Бракомъ по страсти" (1851); вслъдъ за нимъ здъсь же явился и другой землякъ и то варищъ Островскаго— А. А. Потфхинъ. Для научнаго отдъла редакція очень желала заручиться сотрудничествомъ молодыхъ профессоровъ, нъкогда писавшихъ вмъстъ съ Островскимъ въ "Московскомъ Городскомъ Листкъ";

но это желаніе не могло осуществиться. Только одинъ изъ этихъ профессоровъ, П. М. Леонтьевъ, далъ въ "Москвитянинъ" рецензію на диссертацію М. М. Стасюлевича объ авинской гегемоніи. Изъ разсказовъ біографа Погодина, Н. П. Барсукова, объ эпохѣ изданія "Москвитянина" можно видъть, что "старая" и "молодая" редакціи не только не сходились, но и не могли сойтись между собою во взглядахъ на задачи журнала. Погодинъ нередко бываль недоволень мнёніями своихъ молодыхъ сотрудниковъ и не стёснялся высказывать это печатно, въ примъчаніяхъ къ ихъ статьямъ; иногда онъ пускалъ въ ходъ и другіе пріемы. "Старый хламъ и старыя тряпки подръзывали всв побъги жизни въ "Москвитянинъ" 50-хъ годовъ", писалъ впоследстви Ап. Григорьевъ въ своей автобіографіи *). "Напишешь, бывало, статью о современной литературь, -- ну, положимъ, хоть о лирическихъ поэтахъ, — и вдругъ, къ изумленію и ужасу, видишь, что въ нее къ именамъ Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Хомякова, Огарева, Фета, Полонскаго, Мея втесались въ сосъдство имена гр. Растопчиной, г-жи Каролины Павловой, г. М. Дмитріева, г. Өедорова... и-о, ужасъ!-Авдотьи Глинки! Видишь-и глазамъ своимъ не въришь! Кажется, и последнюю корректуру, и сверстку даже прочель, -а вдругь, точно по манію волшебнаго жезла, явились въ печати незванные гости! Или следить, бывало, зорко и подозрительно следить молодая редакція, чтобы какая-нибудь элегія г. М. Дмитріева или какой-нибудь старческій гріхъ какого-либо другого столь же знаменитаго литератора не проскочиль въ нумеръ журнала. Чуть немного поослабленъ надзоръ-и г. М. Дмитріевъ на лицо, и г-жа К. Павлова что-нибудь соорудила, и, наконець, къ крайнему отчаянію молодой редакціи, на видномъто самовъ мъстъ какая-нибудь инквизиторская статья г. Стурдзы красуется..."

^{*) &}quot;Эпожа" 1864, № 3. стр. 146.

Взаимное неудовольствіе поддерживалось также и денежными отношеніями. Безкорыстіе молодой редакціи, все-таки, имъло и должно было имъть свои предълы, которыхъ не знала "адская" (по выраженію Ап. Григорьева) скупость Погодина. И Островскій, и почти всё его товарищи по журналу жили въ это время исключительно литературнымъ трудомъ и поневолѣ должны были часто обращаться къ Погодину за гонораромъ, который выплачивался очень скромными дозами, да и то не по первой просьбъ. Отвъчая на подобныя просьбы своимъ сотрудникамъ (обыкновенно-на маленькихъ клочкахъ бумаги, зачастую оторванныхъ отъ конверта или отъ лавочнаго счета), Погодинъ постоянно жаловался на стъсненныя обстоятельства, на неудачи въ своихъ жлопотахъ достать денегь и т. п., и объщаль "на-дняхъ" прислать 10, 15, 25 р., или писаль: "Денегь, можеть быть, дамь; но прежде сдылайте счетъ прежнему долгу и приведите дело въ ясность. Я велълъ принести выписку изъ конторы". Мы уже знаемъ, что главный критикъ журнала, Ап. Григорьевъ, получалъ всего 15 р. за листь; Писемскому за "Тюфякъ" было ваплачено по 20 р.; Островскій за свои пьесы, віроятно, получаль такое же вознагражденіе, —и только впоследствіи, да и то подъ вліяніемъ сильнаго неудовольствія на остальную "молодежь", Погодинъ ръшился предложить ему нъсколько больше:

"Безъ всякихъ условій, узнавъ о вашемъ положеніи",— писалъ онъ, — "я готовъ, пока могу, выдавать вамъ по 50 р. с. въ мѣсяцъ. Статьямъ вашимъ, съ именемъ, полагаю вознагражденіе maximum Отечеств. Записокъ, платящихъ 50 р. с. за листъ вдвое болѣе нашего: слѣдовательно—25 р. с.

"Если васъ станетъ хоть на десять журналовъ, то я буду очень радъ за себя и литературу русскую; но считаю себя вз правп всякое ваше произведение видпти предварительно и отпускать на чужую сторону, когда мыста нътъ у себя или возможности.

"Журналь я отдаваль вамь вполнь; но эти господановаго понятія съ новою логикою хотять, видно, чтобъя платиль и клаль деньги, кромь положенныхь, и плясаль по ихь дудкь, молчаль подъ ихъ музыку, а они будуть делать, что хотять, получать будущія выгоды и настоящее вознагражденіе, да еще называть ихъ пожертвованіями. Да благословить ихъ Богь вмёсть со всёми благородными рыцарями Отеч. Зап. и Современника".

"Для журнала я долженъ самъ искать другихъ средствъ, новыхъ, но личное мое литературное обязательство остается, во всей силъ. Еже сказахъ, сказахъ".

Такимъ образомъ, матеріальное положеніе молодого драматурга, такъ блестяще начавшаго свою литературную дъятельность и уже успъвшаго привлечь къ участію въ журналь столько талантливых сотрудниковь, было далеко. не завидно. Погодинъ хорошо понималъ, что "Москвитянинъ только и держится Островскимъ и что, съ его уходомъ изъ редакціи журналу неминуемо наступить конецъ; потому-то онъ и ръшился нъсколько поступиться своими расчетами и увеличить гонораръ; но въ то же время, пользуясь стесненнымъ положениемъ ценнаго сотрудника, постарался связать его такими условіями, которыя лишали его всякой свободы итиствій и возможности печатать свои произведенія въ другихъ журналахъ, на болье выгодныхъ условіяхъ. До самаго прекращенія "Москвитянина" (1856) все, написанное Островскимъ, печаталось исключительновъ этомъ журналъ, — кромъ одного небольшого этюда: "Неожиданный случай", быть можеть, забракованнаго Погодинымъ и потому только отданнаго въ альманахъ Щепкина "Комета".

Таковы были трудные первые шаги на литературномъ поприщѣ писателя, скромно начинавшаго, среди самыхъ неблагопріятныхъ условій, свою высокопоучительную и плодотворную для нашего театра дѣятельность. Много нужно было душевныхъ силъ, много несокрушимой стойкости и энергіи, чтобы продолжать, не ослабѣвая, начатое

дѣло и отдать ему всю свою душу и всю свою жизнь. Неутомимо работая до послѣдней минуты, Островскій осуществиль ту задачу, о которой мечталь нѣкогда на редакціонныхъ собраніяхъ "молодого" Москвитянина: онъ создаль національный русскій драматическій репертуарь и образоваль національную школу актеровь и драматурговъ. Эта заслуга его не забудется въ исторіи нашей литературы,—"и долго будеть тѣмъ любезенъ онъ народу".

Герценъ.

"Мыслящій человікь въ Россіи—самый независимый и самый непредубъжденный человъкъ въ свътъ "-сказалъ однажды Герценъ. Эти слова въ полной мъръ примъняются къ нему самому, какъ къ человъку, который, соединяя энергическій характеръ съ геніальнымъ умомъ, никогда не отступалъ ни передъ какими умственными традиціями и философскими кумирами и умѣлъ безтрепетно. и безпощадно подвергать сомнинію и анализу самыя завътныя идеи, раскрывая ихъ изнанку и вступая съ ними въ борьбу во имя требованій ума и сердца. Человікь, одаренный такими свойствами, отличавшійся такою смілостью мысли, во всякой странъ заняль бы выдающееся положение въ первомъ ряду борцовъ за права свободной мысли: это быль прирожденный скептикъ, ръшительный противникъ всякаго авторитетнаго начала и поборникъ независимаго убъжденія, — убъжденія выстраданнаго, а потому и непобъдимаго. Особенныя условія, при которыхъ ему суждено было жить и дъйствовать, наложили на него свой характерный отпечатокъ. При всемъ своемъ космополитизмъ и свободолюбіи, онъ, все-таки, въ глубинъ души всегда оставался русскимъ патріотомъ, славяниномъ, который и вдали отъ родины не утратилъ тесной связи

со всвии насущными ея интересами. Повсюду, гдв ему ни приходилось жить, - въ Швейцаріи, Италіи, Франціи, Англіи, - онъ быстро освоивался съ окружающей его обстановкой, вживался въ нее, проникался ея злобой дня,но никогда не утрачивалъ своей независимости русскаго мыслителя, не затуманиваль своего критического взгляда на событія, которыя передъ нимъ развертывались и въ которыхъ онъ самъ нередко игралъ деятельную роль. Восторженное, можно сказать, --- мистическое одушевленіе идеями сначала великой революціи, а потомъ — всемірнаго благоденствія, объщаннаго Сенъ-Симономъ и его последователями, потерпело крушение въ потокахъ крови и грязи, залившихъ 48-й годъ; въ потянувшіеся за нимъ тяжелые годы реакціи Герценъ находиль утіменіе въ мечтахъ о великой роли, предназначенной Россіи въ дълъ обновленія дряхліющаго и разлагающагося европейскаго міра. Крымская война разрушила эти мечты; но въ то же время она вызвала паденіе нашего стараго режима, а Герцена привела къ сознанію его истиннаго призванія, опредълила смыслъ и цъль его изгнанничества. Онъ основываеть въ Лондонъ "Вольную русскую типографію" и посвящаеть всё свои силы и средства поддержке того преобразовательнаго движенія, которое началось освобожденіемъ крестьянъ. Вліяніе Герцена въ ту эпоху было необыкновенно: со временъ Вольтера еще ни одинъ политическій писатель не имъль такой ръшительной власти надъ умами и сердцемъ своихъ соотечественниковъ, какъ Герценъ, — и этою властью онъ быль обязанъ исключительно силъ своего слова и глубинъ убъжденія. Но, въ противоположность Вольтеру, Герценъ никогда не поступался своими убъжденіями ради сохраненія своего авторитета: онъ высказываль то, что считаль истиной, не смущаясь опасеніемъ за свою популярность, и безъ колебаній пожертвоваль этой популярностью, когда замітиль, что новыя идеи русскаго общества идуть въ разрѣзъ съ

тъмъ образомъ мыслей, который онъ считалъ для себя обязательнымъ...

Но и помимо своего политического значенія Герценъ является въ нашей литературѣ XIX вѣка одною изъ самыхъ крупныхъ силъ. Блестящій умъ, въ соединеніи съ обширною и многостороннею образованностью, увлекательный, оригинальный, художественный языкъ, живая наблюдательность въ соединении съ мъткимъ юморомъ и глубокой сердечностью-всь эти качества навсегда удержать за нимъ мъсто въ ряду лучшихъ русскихъ писателей. Недавно, по поводу тридцатой годовщины его смерти, въ нашей печати высказано было желаніе, чтобы сочиненія Герцена въ возможной полноть сдылались свободнымъ достояніемъ русской читающей публики. Къ этому желанію, конечно, можно только присоединиться. Особенно важно было бы осуществление этого желанія именно въ наше время литературнаго упадка: можетъ быть, Герценъ помогъ бы намъ подняться на ту умственную и нравственную высоту, на которой стояль онъ самъ и люди современнаго ему покольнія и о которой теперь мы знаемъ, кажется, только по книгамъ...

Александръ Ивановичъ Герценъ родился въ Москвѣ, 25 марта 1812 года. Онъ былъ сынъ богатаго аристократа Ивана Алексѣевича Яковлева и бѣдной дѣвушкинѣмки, Луизы Ивановны Гаагъ, которую Яковлевъ привезъ въ Москву изъ-за границы. Иванъ Алексѣевичъ воспитался подъ руководствомъ французскихъ гувернеровъ, внушавшихъ ему идеи "просвѣщенія" конца XVIII вѣка, служилъ нѣкоторое время въ гвардіи, потомъ вышелъ въ отставку и много лѣтъ странствовалъ по Европѣ. Незадолго до начала русско-французской войны, заставившей его поспѣшить возвращеніемъ на родину, онъ познакомился въ Штуттгартѣ съ молоденькой Луизой и влюбился въ нее. Его дворянская гордость не допускала

мысли о бракѣ съ нѣмецкой мѣщанкой; но онъ обѣщалъ ей, что никогда ее не оставить, — и, довѣрившись этому обѣщанію (которое онъ дѣйствительно сдержалъ), дѣвушка поѣхала съ нимъ въ Россію. Вскорѣ послѣ ихъ пріѣзда въ Москву, всего за нѣсколько мѣсяцевъ до нашествія наполеоновской арміи, родился у нихъ сынъ, получившій фамилію Герцена въ знакъ того, что онъ — "дитя сердца" (Herzenskind). Разсказы о пожарѣ Москвы, о бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа были его колыбельной пѣсней, его дѣтскими сказками, его Иліадой и Одиссей. Этими разсказами онъ и начинаетъ свои автобіографическія записки, изданныя подъ заглавіемъ "Былое и Думы".

"Моя мать и наша прислуга, мой отець и Въра Артамоновна (няня) безпрестанно возвращались къ грозному
времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и
такъ круто. Потомъ возвратившеся генералы и офицеры
стали наъзжать въ Москву. Старые сослуживцы моего
отца по измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто
бывали у насъ. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дълъ,
разсказывая ихъ... Тутъ я еще больше наслушался о
войнъ, нежели отъ Въры Артамоновны. Я очень любилъ
разсказы графа Милорадовича: онъ говорилъ съ чрезвычайной живостью, съ ръзкой мимикой, съ громкимъ смъхомъ, и я не разъ засыпалъ подъ нихъ за его спиной.

"Разумъется, при такой обстановкъ я быль отчаянный патріотъ и собирался въ полкъ"...

До отстройки сгоръвшей Москвы семья Яковлевыхъ жила въ тверской деревнъ, а потомъ обыкновенно зиму проводила въ Москвъ, а лъто—въ деревнъ. Герценъ въ своихъ запискахъ оставилъ удивительную по живости и художественности характеристику этой жизни и вообще—тъхъ условій, среди которыхъ онъ выросъ. Отецъ его по своимъ воззръніямъ навсегда остался скептикомъ-вольтерьянцемъ XVIII въка, и въ его образъ жизни иногда

ръзко проявлялось противоръчіе между западно-европейской образованностью и русской помѣщичьей дикостью стараго времени, отъ которой онъ, не смотря на свое вольтерьянство, не всегда въ состояни быль отделаться. Гордый сознаніемъ своего происхожденія и богатства. онъ не хотълъ унижаться до службы и жилъ съ самимъ собой, замкнувшись въ тесномъ кругу техъ умственныхъ интересовъ, какіе онъ успѣлъ пріобрѣсти во время своего заграничнаго путешествія. Понятно, что русская жизнь представляла для него мало привлекательнаго. Онъ и говорилъ по-русски не иначе, какъ только по нуждѣ, обращаясь къ прислугѣ или къ людямъ, стоявшимъ ниже его по общественному положению, а писалъ почти исключительно по-французски. Цълью его желаній было-вести мирную и роскошную жизнь въ полной независимости и уединеніи. Отъ окружающихъ онъ требоваль только подобающаго къ нему уваженія и соблюденія общественныхъ приличій. Но при этой эгоистической обособленности и вибшней холодной безучастности, старикъ-Яковлевъ не лишенъ быль и добрыхъ сердечныхъ качествъ. Его різкій умъ и проницательность, съ которою онъ умель разгадывать людей, выражались большею частью въ сухой, язвительной насмешке, онъ нередко мучиль окружающихъ своими причудами, сознавая, что и самъ онъ несчастливъ, и другихъ не можетъ сдёлать счастливыми. Угрюмо жилось въ его общирныхъ хоромахъ: "стъны, мебель, слуги – все смотръло съ неудовольствиемъ, изъ-потлости. псилсственная тишина, шопоть, осторожные шаги прислуги выражали не вниманіе, а подавленность и страхъ. Въ комнатахъ все было неподвижно, пять-шесть леть одне и те же книги лежали на однихъ и техъ же м'встахъ, и въ нихъ-те же заметки: въ спальной и кабинеть годы цвлые не передвигалась мебель, не отворядись окна. Убажая въ деревию, онъ бралъ вдючь отъ своей комнаты въ карманъ, чтобъ безъ него не вздумали « МИТЬ ПОЛОВЪ ИЛИ ПОЧИСТИТЬ СТЁНЪ"...

Но при этомъ Иванъ Алексвевичъ, все-таки, отличался и чувствомъ справедливости, и неуклоннымъ исполненіемъ своего долга. Примъромъ могуть служить хотя бы его отношенія къ матери своего сына: періодъ страстнаго увлеченія давно уже миноваль, но Яковлевь оставался въренъ ей до конца, и она въ его домъ пользовалась всеми правами законной жены. Конечно, это положение не было для нея большимъ счастьемъ; она жила одиноко, не имъя близкихъ друзей, потому что то немногочисленное общество, съ которымъ Яковлевъ еще сохранялъ старыя связи, --- общество разныхъ важныхъ генераловъ, губернаторовъ, сановныхъ особъ, -- было ей совсемъ чужое; но за то она на своей половинъ была совершенно свободна, и всѣ ея непріятности ограничивались столкновеніями изъ-за разныхъ житейскихъ мелочей, неизбъжными при капризномъ характеръ Ивана Алексъевича.

При такихъ-то условіяхъ росъ будущій писатель въ редительскомъ домъ. Въ разговорахъ съ отцомъ онъ играючи выучился по-французски, съ матерью—по-нъмецки, съ няней и прислугой - по-русски. Отецъ очень любилъ его, и мальчикъ почти всегда былъ при немъ, внимательно прислушиваясь къ беседамъ его гостей и получая изъ этихъ бесъдъ первыя понятія о русской и европейской жизни. Его первоначальное воспитание шло подъ руководствомъ гувернантокъ — нѣмокъ и француженокъ; потомъ были у него и учителя-иностранцы. Живое воображеніе, наблюдательность, сильная воля и стремленіе къ самостоятельности рано проявились въ даровитомъ мальчикъ. Пользуясь въ родительскомъ домъ значительной долей свободы, онъ имълъ возможность почти вполнъ самостоятельно располагать своимъ временемъ и скоро пристрастился къ чтенію:

"У отца была довольно большая библіотека, составленная изъ французскихъ книгъ прошлаго стольтія. Книги валялись грудами въ сырой, нежилой комнать нижняго

этажа. Мић было позволено рыться въ этихъ литературныхъ закромахъ, сколько я хотълъ,—и я читалъ-себъ да читалъ. Отецъ мой видълъ въ этомъ двойную пользу: во-первыхъ, что я скоръе выучусь по-французски, а сверхътого,—что я занятъ, т. е. сижу смирно, и притомъ,—у себя въ комнатъ. Къ тому же, я не всъ книги показывалъ или клалъ у себя на столъ: иныя прятались въ шифоньеръ.

"Что же я читаль? Само собою разумъется, — романы и комедіи. Я прочель томовь пятьдесять французскаго репертуара, въ каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверхъ французскихъ романовъ, у моей матери были романы Лафонтена, комедіи Коцебу; я ихъ читалъ раза по два. Не могу сказать, чтобы романы имъли на меня большое вліяніе: я бросался съ жадностью на всъ двусмысленныя или пъсколько растрепанныя сцены, какъ всъ мальчики, по онъ не занимали меня особенно.

"Гораздо сильнъйшее вліяніе имъла на меня пьеса, которую я любиль безъ ума, перечитываль двадцать разъ и которую до сихъ поръ люблю,—"Свадьба Фигаро"... Вертеръ занималь меня почти столько же; половины романа и не понималь и пропускаль, торопясь скорѣе дойти до страшной развязки: тутъ я плакаль какъ сумасшедшій. Въ 1839 году Вертеръ попался мнѣ случайно подъ руки; это было во Владимірѣ. Я разсказаль моей женѣ, какъ и мальчикомъ плакаль, и сталь ей читать послѣднія письма... и когда дошель до того же мѣста,—слезы полились изъ глазъ, и я долженъ быль остановиться".

Ото чтеніе, хотя и безпорядочное, сильно дъйствовало не только на воображеніе, но и на умъ впечатлительнаго мальчика и мало-по-малу расширяло его кругозорь, заставляя его присматриваться къ тъмъ противоръчіямъ между вычитанными идеалами и окружавшей его дъйствительностью, которыхъ онъ такъ много могъ видъть среди тогдашней помъщичьей жизни. Лътскія мечты о военной службъ и блестящемъ мундиръ скоро исчезли

безследно, и мысли мальчика приняли совсемъ иное направленіе. Уже въ самые ранніе годы юности онъ болъзненно поражался условіями жизни кръпостных вкрестьянъ и особенно-дворовыхъ людей, которыхъ ему часто приходилось видъть въ отцовскихъ деревняхъ и среди домашней челяди. Правда, отецъ его обращался съ своими крестьянами вообще хорошо, не позволяль себъ никакихъ жестокостей; тёлесныя наказанія были почти неизв'ёстны въ Яковлевскомъ домъ, и два-три случая, въ которыхъ баринъ прибъгалъ къ гнусному средству "частнаго дома", были до того необыкновенны, что объ нихъ вся дворня говорила цълые мъсяцы; сверхъ того, эти случаи и вывываемы были значительными проступками. Близкое знакомство съ положениемъ дворни, нъсколько характерныхъ фигуръ, промелькнувшихъ передъ вдумчивымъ мальчикомъ, връзались въ его память на всю жизнь, "Передняя, -- говорить онъ, — съ раннихъ лътъ развила во мнъ непреодолимую ненависть ко всякому рабству и къ всякому произволу. Бывало, когда я еще былъ ребенкомъ, Въра Артамоновна, желая меня сильно обидёть за какую-нибудь шалость, говорила миъ: "Дайте срокъ, выростете, такой же баринъ будете, какъ другіе". Меня это ужасно оскорбляло. Старушка можетъ быть довольна: такимз како другіе, по крайней мере, я не сделался".

Въ религіозномъ отношеніи юный сынъ стараго волтерьянца былъ совершенно предоставленъ самому себѣ и о церкви имѣлъ довольно смутное понятіе; но евангеліе читалъ много и съ любовью, и по-славянски, и въ лютеровскомъ переводѣ. Читалъ онъ безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ глубокое уваженіе къ читаемому. "Въ первой молодости моей, —говоритъ онъ, —я часто увлекался волтеріанизмомъ, любилъ иронію и насмѣшку, но не помню, чтобъ когда-нибудь я взялъ въ руки евангеліе съ холоднымъ чувствомъ; это меня проводило черезъ всю жизнь: во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ я возвращался къ чтенію евангелія, и всякій

разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на душу".

Первыя мысли и чувства политическаго характера зародились въ умѣ будущаго писателя подъ впечатлѣніемъ разсказовъ о событіяхъ 1825 года и ихъ послѣдствіяхъ. Эти разсказы сильно поразили впечатлительнаго юношу: "Мнѣ открывался, говоритъ онъ, новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего... политическія мечты занимали меня день и ночь".

Эти мечты поддерживались уроками учителя-француза, стараго якобинца, который разсказываль своему питомцу исторію революціи 1789 г. съ точки зрѣнія своей партіи. Мальчикъ тайкомъ читалъ политическія стихотворенія Пушкина и Рылбева; любимыми его писателями въ ту пору были Плутархъ и Шиллеръ. Къ этому же времени относится и начало его сближенія съ неизмѣннымъ впоследствии другомъ и сотрудникомъ, Н. П. Огаревымъ. Огаревъ приходился Гердену дальнимъ родственникомъ, по возрасту быль почти его ровесникомъ, и Герценъ впоследстви говориль, что оба они-, разрозненные томы одной поэмы", что они "сдъланы изъ одной массы", хотя и "въ разныхъ формахъ" и "съ разной кристаллизаціей". Юные друзья часто виделись между собою, вместе читали, вмъстъ работали, гуляли и мечтали о лучшихъ временахъ. Однажды, летнимъ вечеромъ 1828 года, во время прогулки на Воробьевыхъ горахъ, оба они вдругъ были охвачены мечтательнымъ восторгомъ, — "постояли, стояли, оперлись другь на друга и вдругь, обнявшись, присягнули въ виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу..."

Этотъ юношескій энтузіазмъ поддерживался "бурными" драмами Шиллера. Карлъ Мооръ, Фіеско, маркизъ Поза поочередно овладъвали сердцемъ и мечтами друзей,—и этотъ идеализмъ у Герцена былъ не однимъ только мимолетнымъ опьяненіемъ молодости: онъ остался у него на

всю жизнь, какъ неотъемлемая принадлежность его натуры, его мысли и чувства. Четверть въка спустя, онъ писаль, разсказывая объ этомъ давно минувшемъ времени въ своихъ запискахъ: "Языкъ того времени намъ сдается натянутымъ, книжнымъ; мы отучились отъ его неустоявшейся восторженности, нестройнаго одущевленія, сміняющагося вдругь то томной нежностью, то детскимь смехомь. Онъ быль бы смешень въ тридцатилетнемъ человеке... но въ свое время этоть отроческий языкъ,... эта перемъна психическаго голоса-очень откровенны; даже книжный оттънокъ естествененъ возрасту теоретическаго знанія и практического невъжества. Шиллеръ остался нашимъ любимцемъ, лица его драмъ были для насъ существующія личности, мы ихъ разбирали, любили и ненавидъли не какъ поэтическія произведенія, а какъ живыхъ людей. Сверхъ того, мы въ нихъ видели самихъ себя... Поэзія Шиллера не утратила на меня своего вліянія: нѣсколько мъсяцевъ тому назадъ, я читалъ моему сыну Валленштейна, --- это гигантское произведение. Тоть, кто теряеть вкусъ къ Шиллеру, тотъ или старъ, или педантъ, очерствълъ или забыль себя. Что же сказать о техь скороспелыхь altkluge Burschen, которые такъ хорошо знають недостатки его въ семнадцать льтъ?.."

Въ ту пору, о которой мы говоримъ, Герцену было 16 лѣтъ. Наступало время, когда онъ долженъ былъ избрать себѣ тотъ или иной жизненный путь. Военная служба, о которой онъ прежде мечталъ, теперь уже внушала ему отвращеніе, между тѣмъ какъ отецъ именно желалъ видѣть его военнымъ; юноша такъ энергично возсталъ противъ отцовскихъ плановъ, что старикъ, въ концѣ концовъ, сдался и рѣшилъ, что сынъ поступитъ въ университетъ, а затѣмъ, если удастся, будетъ служитъ по дипломатической части. Но это рѣшеніе осуществилось не сразу: московскій университетъ находился тогда въ опалѣ, его профессора и студенты подозрѣвались въ вольнодумствѣ, а, такъ какъ старикъ Яковлевъ, при всемъ своемъ

вольтеріанствѣ, пуще всего боялся какихъ-либо столкновеній съ властями, то онъ сначала рѣшилъ было вовсе не отдавать сына въ университетъ, а прямо опредѣлить его въ гражданскую службу; но Герценъ настоялъ на своемъ и съ наступленіемъ 17-го года своей жизни, въ 1829 г., сдѣлался студентомъ физико-математическаго факультета.

Этотъ выборъ факультета определился отчасти подъ вліяніемъ старшаго двоюроднаго брата Герцена, о которомъ онъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ, называя его "Химикомъ". Это быль человъкъ, не признававшій въ жизни ничего, кромъ естественныхъ наукъ, изученію которыхъ онъ всецъло отдалъ свою жизнь, уединившись и замкнувшись отъ людей въ неприхотливой обстановкъ одной маленькой комнатки своего огромнаго дома. Его холодный скептицизмъ и спокойное безвъріе находились въ ръзкой противоположности съ идеальными мечтаніями юнаго Герцена, и ихъ беседы нередко обращались въ ожесточенный споръ; но своеобразный складъ мыслей и независимыя сужденія "Химика", все-таки, им'єли большое вліяніе на настроеніе его молодого друга, и если "Химику" и не удалось совствить обратить Герцена въ свою въру, то, все-таки, онъ успълъ убъдить его въ важности изученія естественныхъ наукъ, какъ основы всякаго положительнаго знанія и поддержать въ немъ ръшеніе заняться именно этими науками въ университетъ. Вліяніе этого образовательнаго элемента на характеръ и міросозерцаніе Герцена не подлежить сомнению; онъ самъ засвидетельствоваль это, говоря впослёдствіи, что безь естественныхъ наукъ нътъ спасенія современному человъку: --- "безъ этой здоровой пищи, безъ этого строгаго воспитанія мысли фактами, безъ этой близости къ окружающей насъ жизни, безъ смиренія передъ ея независимостью гдё-нибудь въ душъ остается монашеская келья и въ ней-мистическое зерно, которое можеть разлиться темной водой по всему разумѣнію".

Московскій университеть того времени, когда въ него поступиль Герцень, въ научномъ отношении стояль очень не высоко. Профессора были по большей части старики, уже давно утратившіе св'яжесть мысли, или люди ограниченные, связанные семинарскимъ образованіемъ; молодыхъ профессоровъ было немного, — да и тъхъ студенты цънили не столько за ихъ научное достоинство, сколько за относительное свободомысліе. Къ этому надо еще добавить, что послѣ 1826 года университеть попалъ въ опалу и что вся университетская жизнь находилась подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ, причемъ высшее начальство гораздо больше заботилось о поддержаніи дисциплины, чвиъ о высотв научнаго образованія студентовъ. Но, не смотря на вст неблагопріятныя условія, опальный университеть рось вліяніемь; въ него, какь въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всъхъ сторонъ, изъ всёхъ слоевъ общества; въ его залахъ онё очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собой и снова разливались во всъ стороны Россіи, во всъ слои ея. "Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, съ юга и сввера, быстро сплавлялась въ компактную массу товарищества. Общественныя различія не имъли того оскорбительнаго вліянія, которое мы встрівчаемь въ англійскихъ школахъ и казармахъ... Вся эта молодежь, "семья трехсотголовая, шумная и неугомонная", была одушевлена мыслью, что въ университетъ осуществятся ея мечты. "Молодежь была прекрасная въ нашъ курсъ, говоритъ Герценъ. Именно въ это время пробуждались у насъ больше и больше теоретическія стремленія. Семинарская выучка и шляхетская лёнь равно исчезали, не замёняясь еще нъмецкимъ утилитаризмомъ, удобряющимъ умы наукой, какъ поля-навозомъ, для усиленной жатвы. Порядочный кругъ студентовъ не принималъ науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорве объвзжаютъ. въ коллежские ассесоры. Возникавшие вопросы вовсе неотносились до табели о рангахъ. Съ другой стороны, научный интересъ не успѣлъ еще выродиться въ доктринаризмъ, наука не отвлекала отъ вмѣшательства въ жизнь, страдавшую вокругъ. Это сочувствіе съ нею необыкповенно поднимало гражданскую нравственность студентовъ. Мы и наши товарищи говорили въ аудиторіи открыто все, что приходило въ голову; тетрадки запрещенныхъ стиховъ ходили изъ рукъ въ руки, запрещенныя книги читались съ комментаріями, — и при всемъ томъ, я не помню ни одного доноса изъ аудиторіи, ни одного предательства. Были робкіе молодые люди, уклонявшіеся, отстранявшіеся, — но и тѣ молчали.

"Учились ли мы при всемъ этомъ чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподаваніе было скуднѣе, объемъ его меньше, чѣмъ въ сороковыхъ годахъ. Университетъ, впрочемъ, не долженъ оканчивать научное воспитаніе: его дѣло — поставить человѣка, а продолжать на своихъ ногахъ; его дѣло — возбудить вопросы, научить спрашивать. Йменно это-то и дѣлали такіе профессора, какъ М. Г. Павловъ, а съ другой стороны—и такіе, какъ Каченовскій. Но больше лекцій и профессоровъ развивала студентовъ аудиторія, юнымъ столкновеніемъ, обмѣномъ мыслей, чтеній... Московскій университетъ свое дѣло дѣлалъ; профессора, способствовавшіе своими лекціями развитію Лермонтова, Бѣлинскаго, Ив. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могутъ спокойно играть въ бостонъ и еще спокойнѣе лежать подъ землей..."

Во главѣ профессоровъ, будившихъ пытливую мысль тогдашней молодежи, стоялъ уже названный М. Г. Павловъ, преподававшій по росписанію физику и сельское хозяйство, а на самомъ дѣлѣ излагавшій своимъ слушателямъ натуръ-философію Шеллинга и Окена "съ такою пластическою ясностью, какой никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ". Рядомъ съ нимъ стоялъ не менѣе вліятельный ботаникъ Максимовичъ, въ лекціяхъ котораго философскій элементъ также занималъ весьма важное

мѣсто. Все это для юныхъ, 17-ти и 18-ти лѣтнихъ студентовъ было совершенной новостью, своего рода откровеніемъ; университетская жизнь оставила у нихъ память "одного продолжительнаго пира идей, пира науки и мечтаній, непрерывнаго, торжественнаго, иногда бурнаго, иногда мрачнаго, разгульнаго, но никогда — порочнаго... Оживить это прошедшее время, сдѣлать его вполнѣ понятнымъ въ разсказѣ—невозможно; чтобы вспомнить всѣ мечты, всѣ увлеченія, надо очень многаго не знать, очень многаго не испытать, надобно перезабыть бездну фактовъ, стереть съ души бездну пыли, соскоблить пятна, заживить рубцы, освѣтить весь міръ алымъ свѣтомъ востока, всѣмъ предметамъ дать положительныя тѣни, утреннюю свѣжесть и разительную новость..."

Въ эту-то кипучую жизнь съ головой окунулся юноша-Герценъ, до тъхъ поръ вовсе не знавшій общества сверстниковъ. Товарищескія пирушки, сходки и безконечные сноры чередовались съ научными занятіями; интересы знанія шли рука объ руку съ вопросами политическими и общественными; юноши преклонялись передъ памятью дізтелей "дней Александровых прекраснаго начала", сравнивали Россію съ западной Европой, предавались мечтамъ и надеждамъ, вырабатывали опредъленные идеалы. Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между нісколькими мальвышедшими изъ дътства. чиками. только что были зародыши исторіи, незаметные, какъ зародыши вообще, слабые, ничтожные, ничъмъ не поддерживаемые; они легко могли бы погибнуть безъ слёда, — но они остаются, а если и умирають на полдорогь, то не все умираеть съ ними. Мало-по-малу зародыши развиваются, ростуть; изъ нихъ составляются группы; болье родственныя группы собираются около своихъ средоточій, другія отталкиваютъ другъ друга. Это расчленение даетъ имъ ширь и возможность многосторонняго развитія; распустивпіїяся вътки соединяются, -- какъ бы онъ ни назывались:

кружкомъ Станкевича, славянофиловъ, западниковъ, главная черта ихъ-глубокое чувство отчужденія отъ среды, ихъ окружающей, стремленіе выйти изъ нея. Возраженіе, что эти кружки представляють явленіе исключительное, постороннее, безсвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скоръе выражають переводь на русское французскихъ и нъмецкихъ идей, чъмъ что-нибудь свое, - неосновательно. Люди вообще трудно отръшаются отъ своего наслъдственнаго склада, — физіологическій предёль нельзя перейти: для этого надо исключить следы колыбельныхъ песенъ, родныхъ полей, горь, обычаевь и всего окружающаго строя. Если аристократы прошлаго въка, пренебрегая всъмъ русскимъ, въ самомъ дёлё оставались русскими, то тёмъ больше русскій характерь не могь утратиться у молодых влюдей оттого, что они занимались науками по французскимъ и нъмецкимъ книгамъ.

Нравственный уровень общества паль; развитіе было прервано; александровское покольніе заняло первое мьсто. Мало-по-малу оно утратило дикую поэзію кутежей, барстза, храбрости; люди служили и выслуживались, но это были не сановники,—время ихъ уже прошло.

Подъ этимъ "большимъ свѣтомъ" безучастно молчалъ "большой міръ" народа. Для него ничто не перемѣнилось: ему было не хуже и не лучше прежняго,—его время еще не пришло.

Между этой основой юноши, почти дѣти, первые приподняли голову, можетъ быть,—не подозрѣвая, какъ это опасно. Этими дѣтьми Россія частью начала приходить въ себя.

Ихъ вниманіе остановило противорѣчіе ученія съ жизнью: учителя, книги, университетъ говорили одно: это было понятно уму и сердцу; отецъ съ матерью, родные и вся среда—другое, съ чѣмъ согласны власти и денежныя выгоды. Противорѣчіе воспитанія съ нравами доходило до громадныхъ размѣровъ.

Число воспитывавшихся было мало, но и тѣ получали не то, чтобы объемистое воспитаніе, а довольно общее и гуманное; оно очеловѣчивало учениковъ всякій разъ, когда принималось. А человѣка-то именно въ ту пору и не было нужно! Приходилось или снова "расчеловѣчиться", — такъ толпа и дѣлала, — или пріостановиться и спросить себя: "Да надобно ли непремѣнно служить?" Для большинства наставало праздное существованіе въ отставкѣ, время деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина; для другихъ—время умственной работы. Жить въ нравственномъ разладѣ съ собой они не могли; возбужденная мысль требовала выхода, разрѣшеніе разныхъ вопросовъ мучило молодое поколѣніе и обусловливало распаденіе его на разные кружки.

Съ минуты поступленія въ университеть, можно сказать, начался для Герцена тоть неустанный трудь мысли, который сопровождаль его до гроба, не прекращаясь ни при какихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ его личной жизни. Этогъ трудъ направился главнымъ образомъ къ уясненію политическихъ и общественныхъ идеаловъ; живительнымъ его источникомъ была горячая юношеская въра въ свое предназначение къ чему-то великому. "Легкость, съ какою Герденъ (въ эту юношескую пору жизни) постоянно призывалъ само Провидение на вмешательство въ свои дъла-какъ бы въ видъ своего довъреннаго и уполномоченнаго лица, всего лучше объясняеть восторженное состояніе вообще той эпохи, замічаеть по этому поводу П. В. Анненковъ; Станкевичъ, Грановскій, В. Боткинъ, Бълинскій, такъ же точно, какъ А. Аксаковъ и др., одинаково считали себя орудіями высшихъ силъ и тщились содержать себя въ надлежащей чистотъ, приличной избранникамъ Промысла. Вся интеллигентная молодежь конца тридцатыхъ годовъ составляла какое-то подобіе не сформировавшейся, но, тъмъ не менъе, дъйствительно существовавшей общины, которая в ровала въ свое призваніе обновить міръ дёломъ и словомъ и была не ниже по своему моральному содержанію всёхь поздывішихь ново-христіанскихь общинь, являвшихся подь разными наименованіями: Божінхь людей, Послёднихь святыхь и проч. Изь этой энтузіастической общины нашей, не имівшей, повторяемь, фактическаго бытія, и члены которой узнавали другь друга только по одинаковости настроенія, вышла большая часть людей сороковыхь годовь, которые разошлись потомь по разнымь дорогамь и открыли эру новыхь идеаловь. Въ процессть переформированія ихь, дополненія и изміненія старыхь убіжденій, прежніе единомишленники уже часто сталкивались враждебно; но безпристрастный наблюдатель легко распознаеть на этихь борцахь печать одного общаго происхожденія, въ какія бы положенія они ни становились другь къ другу.

Однимъ изъ важившихъ событій въ жизни этого московскаго студенческаго кружка было извістіе объ іюльской революціи. Герценъ говоритъ, что онъ сто разъ перечитываль и зналь паизусть два листа газеты, принесшей эту вість. "Бто хочеть знать, прибавляєть онъ,— какъ сильно дійствовала эта вість на молодое поколініе, пусть тогь прочтеть описаніе Гейне, услышавшаго на Гельголанді, что великій языческій Панъ скончался. Туть ніть поддільнаго жара: Гейне тридцати літь быль такъ же увлечень, такъ же одушевлень до ребячества, какъ мы—восемнадцати. Мы слідили шагь за шагомь, за каждымь событіемь, за смільни вопросами и різкими отвітами, за генераломь Лафайетомь и за генераломь Лафайетомь и за генераломь Ламаркомь: мы не только знали, но горячо любили всіхь гогдашнихь діятелей"...

И въ тами моношей подниматись стими несоплод-

Вскорћ, однако, наступник повороть въ обратную сторону,—и студенты почувствовали это на себъ. Усиливись строгости надзора: произошло нъсколько случаевъ внезапнаго и безвъстнаго исчезновенія товарищей... Для самого Герцена, хотя онь и стояль въ первомъ ряду

тогдашняго студенчества, университетскіе годы прошли, однако же, безъ особенныхъ приключеній. Въ іюнъ 1833 г. онъ выдержалъ кандидатскій экзаменъ и получиль серебряную медаль за сочинение объ историческомъ развитіи Коперниковой системы. Оффиціально студенческая жизнь была кончена; въ дъйствительности же все продолжалось по-прежнему. Небольшая кучка университетскихъ друзей, окончившая курсъ, не разошлась и жила еще общими симпатіями и фантазіями; никто не думаль о своемъ матеріальномъ положеніи, объ устройствъ будущаго. Въ общемъ, умственное настроение этого тъснаго дружескаго круга стало теперь серьезнъе. Прежній восторженный и довольно безпредметный либерализмъ, поль вліяніемь событій европейскихь и русскихь, начиналъ терять свою чарующую силу. Часть молодежи бросилась въ изучение русской истории, другая - въ изучение нъмецкой философіи; Герценъ и Огаревъ искали чего-то другого, чего не могли найти ни въ Несторовой летописи, ни въ трансцендентальномъ идеализмѣ Шеллинга. Среди этого броженія, среди догадокъ, усилій понять пугавшія сомнънія, попались въ ихъ руки брошюры сенъ-симонистовъ, ихъ проповъди, ихъ процессъ. Это дало ихъ мыслямъ совершенно новый оборотъ. "Новый міръ толкался въ дверь, говоритъ Герценъ, — наши души, наши сердца растворялись ему. Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убъжденій и неизмънно остался въ существенномъ. Удобо-впечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тоть рубежь, на которомь останавливаются цёлые ряды людей, складывають руки, идуть назадь или ищуть по сторонамъ броду-черезъ море! Но не всв рискнули съ нами... Кругъ нашъ еще тъснъе сомкнулся"...

Въ ночь на 20 іюля 1834 г. Герценъ былъ арестованъ. Та же участь постигла и Огарева, и еще нѣсколькихъ товарищей. Ближайшимъ поводомъ къ этой мѣрѣ послужила устроенная однимъ изъ нихъ пирушка, во

время которой была проивта непочтительная пвсня; затвмъ, при домашнихъ обыскахъ найдена была переписка, въ которой товарищи поввряли другъ другу свои мечтательныя изліянія и которая заставила предполагать у нихъ намвреніе образовать тайное общество. Слёдствіе тянулось цвлыхъ восемь мвсяцевъ, до марта 1835 г., подъ руководствомъ особой комиссіи, составленной изъ высшихъ московскихъ сановниковъ, которые старались придать этому двлу очень серьезное значеніе... Въ частности, что касается Герцена, то его нельзя даже было обвинить и въ пвніи неприличной пвсни, потому что онъ въ пирушкв не участвовалъ. Но всв его доводы въ свое оправданіе остались втунв: его велвно было отправить на безсрочное время въ дальнія губерніи, — "на гражданскую службу и подъ надзоръ мвстнаго начальства".

Такъ обратились въ дъйствительность юношескія мечты Герцена о мученичествъ за свободу. Въ сопровождении жандарма, 10 апръля 1835 года, пустился молодой изгнанникъ въ далекій путь, -- въ Пермь. Его дружескій московскій кружокъ быль разсвянь во всв стороны, всв товарищи были поодиночкв разосланы по разнымъ дальнимъ городамъ... самъ онъ осужденъ былъ въ ссылку безъ срока, - и никто не могъ поручиться, что это наказаніе не продлится всю жизнь. На исторической "Владиміркъ", по которой Герцену пришлось такть къ мъсту своего невольнаго житья, онъ всюду встрвчалъ товарищей по несчастью, -- поляковъ, наказанныхъ за участіе въ возстаніи, крестьянъ, ссылаемыхъ на поселеніе, еврейскихъ мальчиковъ, вырванныхъ изъ семьи и отданныхъ въ кантонисты, которыхъ "гнали" въ дальніе уральскіе батальоны... Послъ продолжительнаго пути, онъ очутился, наконецъ, "на волъ", —въ маленькомъ городъ на сибирской границъ, безъ малъйшей опытности, не имъя понятія о средъ, въ которой ему приходилось теперь жить. "Изъ дътской я перешелъ въ аудиторію", говорить онъ, "изъ аудиторіи-въ дружескій кружокь, - теоріи, мечты, свои люди, никакихъ дѣловыхъ отношеній. Потомъ тюрьма, чтобы дать всему осѣсться. Практическое соприкосновеніе съ жизнью начиналось тутъ,—возлѣ уральскаго хребта"...

Не успѣль еще Герценъ осмотрѣться въ Перми, какъ ему объявили, что онъ долженъ ѣхать въ Вятку, потому что на его мѣсто въ Пермь будетъ присланъ другой "политическій ссыльный". Пришлось, разумѣется, покориться этой участи.

Въ Вяткъ губернаторомъ былъ въ ту пору Тюфяевъ, грубый и своевластный деспоть, одинь изъ питомцевъ "аракчеевской школы", котораго незабываемый портреть оставиль Герцень въ своихъ запискахъ. Тюфяевъ приказалъ новому подневольному чиновнику заниматься въ своей канцеляріи. Здісь Герцень, только что разставшійся съ кружкомъ юныхъ философовъ, оказался среди людей грубыхъ, умственно и нравственно совствъ не развитыхъ, съ которыми не только онъ не имѣлъ ничего общаго, но даже его крвпостной лакей избъгалъ трактира, гдв они собирались для поноекъ "въ свободное отъ служебныхъ занятій время". Обязанность ежедневно находиться въ обществъ подобныхъ людей и еще признавать ихъ своими начальниками-глубоко возмущала горячаго и чувствительнаго идеалиста и приводила его въ отчаяніе. Нужны были большія усилія воли для того, чтобы не упасть духомъ... Вскоръ, однако, судьба сжалилась надъ Герценомъ: одна счастливая случайность значительно улучшила его положение. Министерство внутреннихъ дълъ распорядилось повсюду завести статистические комитеты и разослало программы для обязательнаго исполненія, съ разными таблицами, средними числами и выводами, съ правственными отмътками и метеорологическими замъчаніями... Канцелярія Тюфяева поставлена была въ тупикъ: никто не зналъ, какъ взяться за это дъло. Выручилъ Герценъ: онъ пообъщалъ правителю канцеляріи приготовить введеніе и начало, очерки таблицъ, съ краснор вчивыми отмътками, съ иностранными словами, съ цитатами и

поразительными выводами,—если только ему разрѣшено будеть заниматься этимъ трудомъ не въ канцеляріи, а у себя дома. Губернаторъ на это согласился, остался чрезвычайно доволенъ представленной Герценомъ частью работы и отдалъ комитеть въ его завѣдываніе. Герценъ вздохнуль свободнѣе, получивъ возможность распоряжаться своймъ временемъ по собственному усмотрѣнію.

Вскоръ Герцену посчастливилось найти въ своемъ вынужденномъ одиночествъ человъка, съ которымъ онъ могъ говорить по душе и делиться заветными мыслями, при полномъ взаимномъ сочувствіи и разумѣніи. Это быль архитекторъ Александръ Лаврентьевичъ Витбрегъ, геніальный художникъ, творецъ удивительнаго плана храма Спасителя въ Москвъ, въ память освобожденія Россіи отъ Наполеона, человъкъ, оклеветанный врагами и поплатившійся за свою дов'єрчивость къ людямъ ссылкой, которая для него окончилась только вмёстё съ жизнью. Трагическая судьба этой благороднъйшей личности, задавленной тяжелою рукою своего "жестокаго въка", произвела на Герцена неизгладимое впечатленіе. Осужденный на бездъйствіе, напрасно ожидая улучшенія своей печальной участи, великій художникь тихо угасаль, находя утвшеніе только въ мистическихъ мечтаніяхъ... Близость съ Витбергомъ была большимъ облегчениемъ въ вятской жизни Герцена: это быль единственный человъкь, отъ котораго можно было услышать въ этомъ медвъжьемъ углу живое слово. Разставаясь съ нимъ, Герценъ объщалъ себъ когданибудь разсказать "Европъ" судьбу этого замъчательнаго человъка — и сдержалъ объщаніе, посвятивъ ему нъсколько трогательныхъ страницъ въ своихъ позднейшихъ занискахъ.

Однако, не смотря на дружескія отношенія къ Витбергу и на измѣнившееся къ лучшему служебное положеніе, Герцену, все-таки, жилось въ Вяткѣ вовсе не легко. Губернаторъ Тюфяевъ былъ имъ недоволенъ за то, что онъ сторонился отъ губернаторскаго дома, обѣдовъ и ужиновъ, — видѣлъ въ этомъ политическое фрондерство и уже готовъ былъ заслать непокорнаго чиновника въ какойнибудь заштатный городишко. Но счастливый случай и на этотъ разъ выручилъ Гордейа. Лии Тюфяева были уже сочтены.

Въ 1837 году Наследникъ Несаревият, бъдущій императоръ Александръ II, предпринять путечнествие по Россіи. Тюфяевь сталь готовиться къ пріему высокато гостя совсемъ на манеръ гоголевскаго городничаго, до Наследника дошли многочисленныя жалобы тнетенныхъ "самоварниковъ" и самосъкущихъ унтеръ-офицершъ. Разслѣдованіе раскрыло такіе подвиги, которые сдѣлали невозможнымъ оставление губернатора на службъ, -и Герценъ могъ опять вздохнуть свободне. Къ этому присоединилось еще и другое благопріятное для Герцена обстоятельство. По случаю прівзда Наследника, въ Вятке устроена была выставка мъстныхъ произведеній; за это дъло точно такъ же, какъ раньше за статистику — никто не сумъль взяться, и волей-неволей пришлось поручить его все тому же, хотя и опальному, Герцену. Показывая Наследнику выставку и давая объясненія на его вопросы, Герценъ обратилъ на себя вниманіе; Жуковскій и Арсеньевъ заинтересовались положеніемъ молодого человъка и доложили о немъ Наследнику. Передъ Рождествомъ того же года Герценъ получилъ увъдомленіе, что онъ переводится на службу во Владиміръ, — на цёлыхъ 700 верстъ ближе къ Москвъ. Не смотря на крайне суровую зиму, онъ сейчасъ же собрался въ путь, и 2 января 1838 г. быль уже во Владимірѣ.

Надежда на лучшія времена во Владимірѣ не обманула Герцена. Мѣстный губернаторъ оказался человѣкомъ умнымъ и образованнымъ; онъ тотчасъ понялъ положеніе Герцена и не дѣлалъ ни малѣйшей попытки его притѣснять. О канцеляріи не было и помину; губернаторъ поручилъ Герцену, вмѣстѣ съ однимъ учителемъ гимназіи, завѣ-

дывать мѣстными "Губернскими Вѣдомостями"; въ этомъ и состояла вся служба.

Дело это было Герцену уже знакомо, такъ какъ онъ и въ Вяткъ поставилъ на ноги неоффиціальную часть "Вѣдомостей" и напечаталъ въ нихъ нѣсколько этнографическихъ статеекъ — о вотякахъ и пр. Съ большимъ юморомъ разсказываеть онъ, какъ осуществлялся въ провинціи приказъ министра внутреннихъ дёлъ гр. Блудова о заведеніи Губернскихъ В'єдомостей, — какъ пятьдесять губернскихъ правленій рвали себ'в волосы надъ составленіемъ "неоффиціальной части", какъ начальство привлекало къ этой повинности всёхъ людей, состоявщихъ въ подозрѣніи образованія и умѣстнаго употребленія буквы "в". Понятно само собою, что при бъдности интеллигентными силами появленіе во Владимір' блестящаго кандидата московскаго университета было для губернатора настоящей находкой. Такимъ образомъ, по прихоти судьбы, политическій ссыльный Герценъ сталь редакторомъ казенной газеты. Работа была сама по себъ нетрудная, но. благодаря ей, Герценъ имълъ возможность ближе познакомиться съ разными сторонами русской жизни и русскаго быта и сильнее почувствовать невозможность для себя примириться съ условіями тогдашней нашей дійствительности. Конечно, онъ не зналъ, что готовить ему судьба въ будущемъ; но прежнія неопределенныя юношескія мечты теперь уже все болье и болье складывались въ твердыя убъжденія зрълаго человъка, и онъ зналь, что отъ этихъ убъжденій онъ уже не отступить...

Вскорѣ по прівздѣ во Владиміръ мысли Герцена обратились къ устройству своего личнаго счастья. Еще до отъвзда своего въ Вятку онъ близко подружился съ одной изъ своихъ двоюродныхъ сестеръ, Натальей Александровной, дочерью старшаго Яковлева и сестрою упомянутаго выше "Химика". Наканунѣ высылки Герцена молодые люди имѣли свиданіе и признались другъ другу въ любви. Это чувство поддерживалось съ тѣхъ поръ нѣжною пере-

пискою, въ которой влюбленные поверяли другь другу свои мечты и надежды. Близость Москвы, отстоявшей всего на одинъ день пути отъ Владиміра, вызвала въ Герценъ неодолимое желаніе увидъть свою возлюбленную, хотя бы и рискуя подвергнуться строгому наказанію за самовольную отлучку. Эта ръшимость поддерживалась еще и другими обстоятельствами. Родители Натальи Александровны умерли, и она была пом'вщена въ домъ своей тетки, княгини Хованской, черствой и упрямой старухи, которая совствить не одобряла сближенія молодой дтвушки съ опальнымъ молодымъ челов комъ и р вшила во что бы то ни стало поскорве выдать ее замужь, чтобы "въ корнв пресвчь преступленіемъ. Наталья Александровна наотръзъ отказалась ей повиноваться; тогда княгиня окружила ее строгимъ надзоромъ, стала перехватывать ея переписку съ Герценомъ и, время оть времени, все-таки представляла дъвушку то тому, то другому жениху. Тайкомъ пробравшись въ Москву для свиданія, Герценъ узналь все и решиль действовать энергично. Съ помощью Н. Х. Кетчера, прівхавъ вторично въ Москву, онъ увезъ Наталью Александровну и, съ благословенья владимірскаго епископа, обв'янчался съ нею, а затъмъ написаль письмо отцу, извъщая его о случившемся. Княгиня и другіе родственники посердились, пошумъли, но должны были примириться съ совершившимся фактомъ, и даже самовольная отлучка Герцена изъ Владиміра прошла какъ будто незамъченною, потому что губернаторша заинтересовалась романическимъ приключеніемъ молодой четы.

Такъ устроилось у Герцена во Владимір'в собственное семейное гнѣздо, въ которомъ онъ чувствовалъ себя счастливымъ и спокойнымъ. Годъ спустя, въ іюнѣ 1839 г., у него родился сынъ Александръ (извѣстный теперь профессоръ физіологіи въ Лозаннѣ), а въ концѣ года пришло позволеніе поселиться въ Москвѣ.

Не безъ грустнаго чувства простился Герденъ съ Вла-

диміромъ, гдѣ ему жилось такъ привольно. Послѣ почти пятильтняго отсутствія изъ Москвы, онъ нашель въ ней много перемънъ. Многіе изъ его старыхъ друзей, въ томъ числъ и Огаревъ, были также возвращены изъ ссылки и вновь собрадись вокругь него; но этоть новый кружокъ быль уже во многомь непохожь на прежній: вскорь между друзьями началь обнаруживаться принципіальный разладь, котораго не было въ пору пылкихъ юношескихъ мечтаній. . Въ тридцатыхъ годахъ, говоритъ Герценъ, убъжденія наши были слишкомъ юны, слишкомъ страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать кругъ Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философскія системы, занимались анализомъ себя и успокоивались въ роскошномъ пантеизмѣ, изъ котораго не исключалось христіанство. Мы мечтали о томъ, какъ начать въ Россіи новую жизнь...

"Въ 1835 году сослали насъ. Черезъ пять лѣтъ мы возвратились, — закаленные, опредѣлившіеся. Юношескія мечты сдѣлались невозвратнымъ рѣшеніемъ совершеннолѣтнихъ. Это было самое блестящее время кружка Станкевича. Его самого я не засталъ, — онъ быль въ Германіи, — но именно тогда статьи Бѣлинскаго стали обращать на себя вниманіе всѣхъ. Возвратившись, мы помирились. Бой быль неравенъ съ обѣихъ сторонъ: почва, оружіе и языкъ — все было разное. Послѣ безплодныхъ преній мы увидѣли, что пришелъ намъ чередъ серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и нѣмецкую философію. Когда мы довольно усвоили ее себѣ, — оказалось, что между нами и кругомъ Станкевича спора нѣтъ".

Именно въ кружкѣ Станкевича увлеченіе философіей Гегеля дошло въ ту пору до своего апогея. "Толковали о Феноменологіи и Логикѣ Гегеля безпрестанно; нѣтъпараграфа во всѣхъ трехъ частяхъ Логики, въ двухъ— Эстетики, Энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъсъ боя отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли,

не согласившись въ определени "перехватывающаго духа", принимали за обиды мнвнія объ абсолютной личности и объ ея "по себъ бытіи". Всъ ничтожнъйшія брошюры, выходившія въ Берлинъ и другихъ губернскихъ и уъздныхъ городахъ немецкой философіи, где только упоминалось о Гегель, выписывались, зачитывались до дырь, до пятень, до паденія листовь въ нісколько дней... "При этомъ" молодые философы приняли какой-то условный языкъ: они не переводили на русское, а перекладывали цёликомъ, да еще, для большей легкости, оставляя всё латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей... Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болье глубокая. Молодые философы наши испортили себъ не однъ фразы, но и пониманье; отношение къ жизни, къ дъйствительности сдёлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все, въ самомъ дълъ непосредственное, всякое пустое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, бледной, алгебраической тынью. Во всемы этомы была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогъ какой-нибудь солдать подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, --философъ не просто говорилъ съ ними, но опредъляль субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ проявленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на въкахъ, была строго относима къ своему порядку, -- къ "гемюту" или къ "трагическому въ сердив". То же въ искусствъ. Знаніе Гете, особенно второй части "Фауста", — оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что трудиће ея, - было столько же обязательно, какъ имтъ платье. Философія музыки была на первомъ планъ... Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще — все французское, а по дорогѣ — и все политическое ...

Такое страстное отношение къ отвлеченнымъ теоріямъ вполнъ понятно для той поры, когда образованный человъкъ былъ на Руси "лишнимъ", и ему закрыта была почти всякая возможность деятельности на какомъ-либо иномъ поприщъ, кромъ кабинетныхъ разсужденій, отголоски которыхъ только изръдка, да и то-съ большими умолчаніями, проникали въ университетскую аудиторію и въ печать. Но въ пылу этихъ безконечныхъ споровъ объ основныхъ вопросахъ мысли и жизни вырабатывалось опредъленное міросозерцаніе, складывались извъстные идеалы, твердо усвоивались тв принципы, которымъ большинство людей сороковыхъ годовъ оставалось вёрно всю жизнь. Ходъ этого умственнаго процесса, который Герценъ такъ удачно окрестилъ названіемъ "логическаго романа", неминуемо долженъ былъ привести недавнихъ единомышленниковъ къ раздёленію, къ расколу, въ которомъ обнаружились личныя свейства натуры каждаго изъ нихъ. "Пока пренія шли о томъ, что Гете объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда какъ Шиллеръ поэть субъективный, но его субъективность объективна, и наоборотъ, — все шло мирно. Вопросы боле серьезные не замедлили явиться "...

Мы не станемъ повторять здѣсь извѣстной исторіи о томъ, какъ дружескій кружокъ распался сначала на "славянофиловъ" и "западниковъ" и какъ затѣмъ среди послѣднихъ явились "правые" и "лѣвые" гегельянцы. Герценъ съ своимъ неизмѣннымъ Пиладомъ, Огаревымъ, оказался среди "лѣвыхъ"—и съ прежнимъ юношескимъ увлеченіемъ принялся за проповѣдь политической свободы. Старикъ Яковлевъ не раздѣлялъ мнѣній сына, но горячо любилъ его и, считая его участіе въ шумныхъ московскихъ кружкахъ небезопаснымъ, употреблялъ всѣ старанія, чтобы удалить его изъ Москвы, жертвуя ради этого даже своей

привязанностью къ нему. Старикъ все еще надѣялся доставить сыну возможность сдѣлать служебную карьеру... Герценъ долженъ былъ, наконецъ, уступить настояніямъ отца и переѣхать въ Петербургъ, гдѣ въ то время для человѣка сколько-нибудь независимаго условія жизни были несравненно тяжелѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Это переселеніе состоялось въ іюлѣ 1840 г.

Отецъ постарался насколько возможно облегчить сыну первые шаги на новомъ мъстъ. Старый другъ Яковлева, графъ Строгановъ, доставилъ Герцену мъсто въ министерствъ внутреннихъ дълъ. Но для Герцена эта новая дъятельность была, конечно, совершенно чужда, и онъ относился къ ней холодно; вообще, въ Петербургъ онъ чувствоваль себя еще болье одинокимь и безпріютнымь, чъмъ даже въ Вяткъ. Чуть ли не въ самый день своего прітада сюда онъ убъдился, что его окружаеть атмосфера лжи и обмана, среди которой повсюду нужно опасаться предательства. Остановившись въ гостиницъ и бесъдуя въ своей комнатъ съ пришедшимъ къ нему родственникомъ, онъ услышалъ отъ последняго строгій выговоръ за неумъстныя въ присутствіи слуги ръчи; то же повторилось и несколько дней спустя, когда Герценъ обедаль у одного изъ друзей своего отца и за столомъ, въ присутствіи прислуги, сталь разсказывать о своей ссылкъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ жизни Герцену пришлось до крайности ограничить кругь своихъ знакомствъ и довольствоваться почти исключительно семейною жизнью. Но, не смотря на всв предосторожности, онъ не долго оставался въ "городъ фасадовъ", --- какъ называеть онъ тогдашній Петербургь. Однажды поутру, въ декабръ 1840 г., его позвали къ "генералу", который объявиль ему, что, такъ какъ онъ "не оправдалъ довфрія", то ему, по всей вфроятности, придется возвратиться опять въ Вятку. На вопросъ удивленнаго Герцена, за что такая немилость, отв вчали, что онъ позволилъ себь, въ письмъ къ отцу, разсказать извъстный всему Петербургу случай съ городовымъ, ограбившимъ прохожаго. Благодаря вліятельному заступничеству, ему удалось избавиться отъ путешествія въ Вятку; его перевели на службу въ Новгородъ, совѣтникомъ губернскаго правленія, и при этомъ отдали, все-таки, подъ надзоръ полиціи. Иронія судьбы на этомъ не остановилась: въ Новгородѣ Герцену пришлось управлять именно тѣмъ отдѣленіемъ, въ которомъ вѣдались дѣла о поднадзорныхъ, такъ что онъ долженъ былъ скрѣплять своей подписью вѣдомости объ ихъ поведеніи, въ томъ числѣ—и о собственномъ, и, такимъ образомъ, очутился "самъ у себя подъ стражей"...

По бользни жены, Герцену позволено было остаться въ Петербургъ на полгода, такъ что онъ прітхаль въ Новгородъ только въ іюнъ 1841 г. Принятый губернаторомъ очень недружелюбно и недовърчиво, окруженный людьми, не внушавшими никакого сочувствія, онъ скоро убъился въ невозможности продолжать свою службу и ръшиль при первомъ удобномъ случат выйти въ отставку. Дъла губернскаго правленія познакомили его съ печальнымъ положениемъ кръпостного крестьянства и раскольниковъ; многія изъ этихъ дёлъ оставили въ его душё впечатленія болье глубокія, чемь все, до техь порь имь виденное. Такимъ образомъ, новгородскій опыть завершиль его практическое воспитаніе и еще болье укрыпиль въ немъ ранве пріобрвтенныя убъжденія. Наконецъ, его терпъніе переполнилось, и онъ подаль въ отставку. Сенать даль ему отставку, даже съ чиномъ надворнаго совътника; но III Отдъленіе сообщило губернатору, что Герцену запрещенъ въвздъ въ столицы и велено жить въ Новгородъ, подъ надзоромъ полиціи. Въ іюль 1842 г., по ходатайству родныхъ в друзей, ему, однако, разръшено было перевхать на жительство въ Москву.

Если бы Герценъ могъ вполнѣ свободно располагать собой, онъ уже давно уѣхалъ бы изъ Россіи. Но ему нельзя было покинуть отца, жизнь котораго и безъ того

съ каждымъ днемъ становилась все печальнъе и монотоннъе, - и потому онъ ръшилъ остаться въ Москвъ и посвятить себя семейнымъ обязанностямъ, стараясь по возможности избъгать всякаго соприкосновенія съ правительствомъ и обществомъ, въ которомъ онъ такъ напрасно искаль для себя достойной деятельности. Весну и лето 1843 г. онъ провель въ подмосковной отцовской деревнъ, почти въ полномъ уединени, среди научныхъ и литературныхъ занятій; на зиму перевхаль въ Москву. гдъ опять встрътился съ Огаревымъ и съ прочими старыми пріятелями и опять бросился въ словесную войну съ славянофилами. Расколъ между различными кружками успѣлъ къ этому времени значительно обостриться; отчасти полемика перешла и въ литературу; интересъ къ ней усиливался по мъръ развитія критической дъятельности Бълинскаго и, между прочимъ, вызвалъ къ литературной дъятельности и самого Герцена.

Первыя попытки Герцена въ литературъ относятся еще къ 1836 году, когда въ "Телескопъ" (№ 10) напечатана была его статья о Гофманъ, написанная еще въ 1834 году. Затъмъ, какъ мы уже говорили, въ Вяткъ онъ сталъ редактировать неоффиціальный отдёлъ местныхъ губернскихъ въдомостей и помъстиль тамъ нъсколько этнографическихъ замътокъ - о вотякахъ и пр. Переъхавъ во Владиміръ, еще подъ свъжимъ впечатльніемъ недавнихъ бесъдъ съ Витбергомъ, Герценъ "написалъ въ соціально-религіозномъ духѣ историческія сцены, которыя тогда принималъ за драмы": въ однъхъ онъ представляль борьбу древняго міра съ христіанствомъ; туть Павель, входя въ Римъ, воскрешалъ мертваго юношу къ новой жизни; въ другихъ-борьбу оффиціальной церкви съ квакерами и отъездъ Уильяма Пенна въ Америку. "Я эти сцены, не понимаю, почему, вздумалъ написать стихами — говоритъ Герценъ: — въроятно, я думалъ, что всякій можеть писать пятистопнымъ ямбомъ, если самъ Погодинъ писалъ имъ. Въ 1839 или 1840 году я далъ

объ тетрадки Бълинскому и спокойно ждалъ похвалъ. Но Бълинскій на другой день прислалъ мнъ ихъ съ запиской, въ которой писалъ: "Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмъчая стиховъ; я тогда съ охотой прочту; а теперь мнъ все мъшаетъ мысль, что это стихи".—Убилъ Бълинскій объ попытки драматическихъ сценъ!"

Тамъ же, во Владиміръ, написаны были Герценомъ отрывки воспоминаній о детстве, юности и "годахъ странствованія", т. е. пребыванія въ Вяткъ, подъ заглавіемъ: "Изъ записокъ одного молодого человъка". Эти отрывки появились въ 1840 г. въ "Отечественныхъ Запискахъ". Но настоящая писательская пъятельность Герцена началась. собственно, только послѣ его возвращенія въ Москву изъ Новгорода. Пройдя черезъ школу естествознанія, французскаго радикализма и соціализма, гегелевской философіи и, въ особенности, — черезъ школу суроваго житейскаго опыта, онъ почувствоваль въ себъ литературное призвание и съ первыхъ же своихъ шаговъ въ литературъ обнаружилъ сильный, всеми признанный таланть. Въ 1842 г. въ "Отеч. Запискахъ" явилась его статья "Дилеттантизмъ въ наукъ , обратившая на себя общее вниманіе. Статья эта была написана съ большимъ умомъ и юморомъ и обнаруживала въ авторѣ не только оригинальнаго, независимаго мыслителя, но и ловкаго діалектика и полемиста. Съ тъхъ поръ псевдонимъ Герцена "Искандеръ", съ которымъ онъ не разставался всю жизнь, сталъ все чаще и чаще появляться на страницахъ журналовъ и получилъ почетную изв'ястность среди читающей публики. За статьей о дилеттантизмѣ въ наукѣ послѣдовали—опять въ "Отеч. Запискахъ" — "Письма объ изучени природы", написанныя въ 1844 г. и заключающія въ себъ критику, съ гегельянской точки зрвнія, различныхъ натурфилософскихъ системъ и изложение выводовъ новъйшей философіи природы.

Вскоръ, однако, подъ вліяніемъ цензурныхъ условій того времени, литературная дѣятельность Герцена напра-

вилась въ другую сферу, гдв было больше просторадля выраженія общественной мысли, — въ сферу повъсти и романа. И въ этой области Герценъ сразу заявиль себя однимь изъ самыхъ выдающихся русскихъ художниковъ: обладая сильнымъ пластическимъ талантомъ и прекраснымъ, выразительнымъ и остроумнымъ языкомъ, онъ сумълъ вложить въ свои повъствовательныя произведенія глубокую идею и ярко освітить отрицательныя стороны современной русской жизни. Въ 1845 и 1846 гг. написаны были имъ романъ "Кто виноватъ?", повъсть "Сорока-ворона" и полу-беллетристическій отрывокъ "Изъ сочиненія доктора Крупова о душевныхъ болёзняхъ и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности". Эти превосходныя картины русскаго общества, полныя живой наблюдательности и тонкой психологіи, принадлежать къ числу замёчательнёйшихъ произведеній нашей литературы; здёсь впервые съ необыкновенной прозрачностью поставлены или подсказаны были нашему обществу тъ существенные вопросы, разработкою которыхъ занялась литература десять лътъ спустя.

Героемъ романа "Кто виноватъ" является типичный представитель образованнаго русскаго общества 40-хъ годовъ, — "отставной губернскій секретарь" и богатый пом'єщикъ Бельтовъ, воспитанный строгимъ женевцемъ, который старался, следуя заветамъ Руссо, стремился сделать своего питомца "человъкомъ вообще". Университетъ, съ его неопредъленно-идеальными стремленіями, довершаеть это воспитаніе, и Бельтовъ, вступая въ практическую жизнь, оказывается "въ странъ, совершенно ему не извъстной и до того чуждой, что ни къ чему не можетъ приладиться". Онъ не въ состояніи сочувствовать жизни, которую видить вокругъ себя, -- и въ то же время не можетъ съ нею активно бороться; словомъ, онъ — "лишній человъкъ", одинъ изъ тъхъ нашихъ "изгоевъ", которыхъ такъ часто рисовала литература со временъ Онъгина и Чацкаго. Не находя мъста на родинъ, онъ уъзжаеть за границу, но

и тамъ не можеть найти себѣ дѣла по душѣ; возвращается въ родной уѣздъ, чтобы служить по выборамъ, но и это ему не удается, и онъ снова отправляется безцѣльно мыкать по свѣту свою тоску, успѣвъ, по пути, только разбить жизнь влюбленной въ него женщины...

При своемъ блестящемъ стилѣ и крупномъ художественномъ дарованіи, Герценъ, безъ всякаго сомнѣнія могъ бы сдѣлаться однимъ изъ первостепенныхъ нашихъ романистовъ, если бы повѣствовательная форма вполнѣ удовлетворяла его рвущуюся на просторъ мысль. И впослѣдствіи, въ годы своей заграничной жизни, онъ не разъ обращался къ этой формѣ; но его интересъ къ важнѣйшимъ вопросамъ современности былъ слишкомъ силенъ и искалъ себѣ непосредственнаго выраженія, не довольствуясь обходными путями романа и повѣсти; притомъ, имѣя возможность свободно высказывать свои мысли, онъ и не нуждался въ этихъ обходныхъ путяхъ.

Въ эту пору познакомился съ нимъ въ Москвѣ нѣкто Вольфсонъ, извѣстный впослѣдствіи переводчикъ русскихъ повѣстей на нѣмецкій языкъ—и вотъ, какимъ показался ему Герценъ:

"Высокое идеальное и моральное содержаніе произведеній Герцена,—говорить онт,—еще яснте проявляется въ его личности. Нта правий возможность наблюдать его въ самыхъ различныхъ обстоятельствахъ жизни, выразился о немъ: "С'est un homme à toute épreuve". Основныя черты его характера—искренность и правдивость. У него нта никакихъ тайнъ. Какъ передъ друзьями, такъ и передъ цта писте на сердцт. Это не только ясный умъ, это—прозрачная душа. Онъ совствить не знаетъ притворства и ни подъ какимъ видомъ не допускаетъ его; онъ все высказываетъ рта пительно, иногда, можетъ быть,—слишкомъ ртзко. Одаренный пылкимъ, сангвиническимъ темпераментомъ, онъ нерта самому себъ. Ему ненавистно

все, что отзывается лицем'врной сентиментальностью; но трудно найти челов'я бол'я чувствительнаго, нежели онъ. Онъ съ величайшею живостью воспринимаетъ впечатл'я и ум'ветъ хранить ихъ въ душ'я своей в'ярно и прочно"...

Эта характеристика списана съ натуры: таковъ былъ Герценъ въ пору важнъйшаго перелома въ его личной жизни,—на порогъ Европы, гдъ начались для него годы странствованія и политической дъятельности; таковъ же былъ онъ и въ позднъйшее время своей жизни, когда тяжелыя испытанія наложили на него свою печать, но не сломили и, въ сущности, не измѣнили его...

Весною 1846 года умеръ отецъ Герцена. Онъ оставиль сыну довольно значительное состояніе, такъ что теперь для осуществленія давно задуманнаго плана повздки за границу не оставалось уже никакихъ препятствій, кром'в трудности полученія паспорта. Но какъ ни трудно было устроить это д'вло, въ особенности для челов'єка, политически заподовр'єннаго и находящагося подъ полицейскимъ надзоромъ, однако, въ конц'є концовъ, это ему удалось. Получивъ паспортъ, Герценъ, не смотря на вс'є неудобства тогдашняго зимняго путешествія на почтовыхъ, не хот'єлъ медлить ни минуты. Вечеромъ 21 января 1847 г. онъ простился съ друзьями, провожавшими его до подмосковной станціи, и десять дней спустя, вм'єст'є сь своей матерью, женой и д'єтьми, перебхалъ прусскую границу въ Тауроген'є.

Такъ кончился русскій періодъ жизни Герцена. Его первый отъёздъ изъ Россіи былъ и последнимъ. Близко познакомившись съ европейской наукой и философіей и пройдя практическую школу русской жизни, онъ не могъ примириться съ тогдашней Россіей, которая такъ резко противоречила всёмъ его идеаламъ и верованіямъ. Единственную надежду на лучшее будущее для своего отечества онъ основывалъ на существованіи крестьянской поземельной общины, съ ея выборнымъ управленіемъ и

правомърностью каждаго работника. "Все это, -- думалъ онъ, находится въ состояніи подавленномъ, искаженномъ, но все это живо и пережило худшую эпоху"; община представлялась ему словно какимъ-то прообразомъ осуществленія въ будущемъ мечтаній европейскаго соціализма. Какимъ образомъ выйдеть Россія изъ положенія, казавшагося Герцену безнадежнымъ, -- это было загадкой, надъ разръшениемъ которой онъ въ то время еще не задумывался: онь быль счастливь тёмь, что ему самому удалось-таки вырваться на волю и свободно располагать собой. Это чувство личной свободы въ первое время всецело охватило душу Герцена. Уже въ занесенномъ снъгомъ Кенигсбергъ онъ радостно привътствовалъ проявленія болье свободной жизни народа, съ которыми онъ здёсь впервые встрётился. Но его влекто не въ Германію: какъ ни высоко ценилъ онъ нѣмецкую литературу и философію, условія общественной и политической жизни Германіи представлялись ему мало привлекательными. Германія въ ту пору жила еще традиціями Священнаго Союза и въ политическомъ отношеніи представляла совершенное ничтожество. Признавая идеальныя достоинства нъмецкой классической литературы и освободительную силу немецкой философіи, Герценъ нигдъ не видълъ результатовъ ихъ прямого вліянія на современную німецкую жизнь. "Философія Гегеля, — говорить онъ въ одномъ мъстъ своихъ записокъ, это — алгебра революціи; но онъ ее формулироваль плохо и, повидимому, не безъ намфренія". Обфтованною страной прогресса для Герцена, какъ и для большинства не только русскихъ, но и западныхъ свободомыслящихъ людей того времени, была не Германія съ ея многочисленными пережитками средневъковыхъ учрежденій и понятій, а Франція, какъ страна, которая со времени великаго переворота 1789 года успъла уже не разъ встряхнуть старую, застоявшуюся Европу. Герценъ всей душой стремился въ Парижъ, какъ въ озаренную историческимъ ореоломъ столицу революціи, гдф съ каждой площадью, съ каждой

улицей связано столько воспоминаній... Онъ лишь на короткое время остановился въ Берлинѣ, Кельнѣ и Брюсселѣ и, только пріѣхавъ въ Парижъ, о которомъ онъ мечталъ съ дѣтства, почувствовалъ, что достигъ цѣли своихъ желаній, и съ восторгомъ вступилъ въ новый міръ и въ новую жизнь.

Начинающаяся съ этой минуты европейская жизнь Герцена распадается на три періода. Въ продолженіе перваго, странствуя по Европъ среди безпокойнаго, революціоннаго броженія умовъ, онъ близко знакомился съ условіями политической и общественной жизни Запада и изложиль свои впечатлёнія и сложившіяся подъ ихъ вліяніемъ уб'єжденія въ ц'єломъ ряді сочиненій, въ которыхъ въ особенности указывалъ на противоположность между Западомъ и Россіей, отъ которой онъ ожидаль въ будущемъ разръшенія европейскихъ затрудненій. Этотъ первый періодъ его заграничной жизни обнимаетъ собою шесть льть, оть его прівзда въ Парижъ до начала Крымской войны (1847—53). Въ продолжение слъдовавшаго затъмъ второго періода Герценъ, не разрывая своихъ европейскихъ отношеній, обращается главнымъ образомъ къ агитаторской дъятельности. Этотъ періодъ, продолжавшійся десять літь (1853—63), быль временемь наибольшей славы и вліянія Герцена. Со времени польскаго возстанія 1863 г. значеніе Герцена въ литератур'в и въ общественно-политической жизни начинаетъ падать, и для него снова настають годы европейского странствованія, продолжающагося до смерти его въ 1870 г.

Первое пребываніе Герцена въ Парижѣ продолжалось недолго: уже весной 1847 г. онъ уѣхалъ въ Италію и оставался тамъ до начала слѣдующаго года, посѣщая, одинъ за другимъ, главные города итальянскаго полуострова *). Это время было для него порою самой ожив-

^{*)} Изъ Парижа онъ написать четыре корреспонденціи въ "Современникъ", подъ заглавіемъ: "Письма изъ "Avenue Marigny". Эти корреспонденціи, съ добавленіемъ позднъйшихъ статей, были по-

ленной жизни, полной надеждъ и восторженнаго отношенія къ событіямъ, которыхъ ему пришлось быть свидетелемъ. Въ Риме онъ засталъ начало итальянской революціи. Затімъ, когда движеніе распространилось даліве на съверъ, низвергло іюльскую монархію во Франціи и охватило всю Европу, Герцена опять потянуло въ Парижъ, гдъ въ это время снова развернулось знамя республики и гдь, какъ ему тогда казалось, близко было время полнаго общественнаго переустройства. Съ апръля 1848 по іюнь 1849 г. онъ быль въ Парижъ свидътелемъ той безпорядочной смъны событій, той отчаянной й часто безсмысленной борьбы партій, которая медленными, но върными шагами вела вторую республику къ реакціонному режиму и къ имперіи Наполеона Ш. Герценъ стоялъ въ эту пору въ самомъ центръ событій, вращаясь въ кругу самыхъ видныхъ дъятелей революціи, отъ которой всѣ ждали гораздо больше, чѣмъ одной только перемѣны въ формѣ правленія, названія демократической республики и введенія всеобщей подачи голосовъ... Чёмъ восторжениве Герценъ и его друзья относились къ революціи, чемъ больше возлагали на нее надеждъ, темъ сильнее и глубже было ихъ разочарование, когда суровая дъйствительность разбила всъ мечты. Европейская цивилизація, въ которую Герценъ такъ горячо вірилъ, утратила въ его глазахъ весь свой блескъ, когда онъ личнымъ наблюденіемъ уб'єдился въ печальномъ положеніи европейскаго пролетарія... Страшные іюньскіе дни 1848 года окончательно уничтожили всв его надежды. Онъ увидёль всю слабость вождей революціи, ихъ неспособность выбиться изъ старой, натаженной колеи и создать что-нибудь новое, что помогло бы обновить дряхлиющий міръ. Идеи московскаго кружка, который изъ своего пре-

томъ перепечатаны въ книгъ: "Письма пзъ Франціи и Италіи", изданной Герценомъ въ Лондонъ въ 1858 г., и вошли также въ сборникъ статей Герцена пзъ русскихъ журналовъ, изданный въ Москвъ, въ 1870 г., безъ имени автора, подъзаглавіемъ: "Раздумье (разныя варіаціи на старыя темы)".

краснаго далека видѣлъ Европу и особенно Францію въ слишкомъ розовомъ освѣщеніи, уступили теперь мѣсто мрачному отчаянію человѣка, разочарованнаго въ самыхъ дорогихъ, самыхъ завѣтныхъ своихъ мысляхъ и чувствахъ. "Проклятье тебѣ, годъ крови и безумія, годъ торжествующей пошлости, звѣрства, тупоумія", — писалъ онъ въ статьѣ: Эпилогъ 1849, — "проклятье тебѣ! Отъ перваго до послѣдняго дня ты былъ несчастіемъ, ни одной свѣтлой минуты, ни одного спокойнаго часа нигдѣ не было тебѣ... И это—только первая ступень, начало, введеніе; слѣдующіе годы будуть и отвратительнѣе, и свирѣпѣе, и пошлѣе...

"До какого времени слезъ и отчаннія мы дожили! Голова идеть кругомъ, грудь ломится, страшно знать, что дѣлается, и страшно не знать, что еще за неистовства случились. Лихорадочная злоба подстрекаеть на ненависть и презрѣніе; униженіе разъѣдаетъ грудь... и хочется бѣжать, уйти, отдохнуть, уничтожиться безслѣдно, безсознательно... Душа остается безъ зеленаго листа,—все облетѣло... и все затихло... Мгла и холодъ распространяются".

Единственный, слабый лучъ надежды на лучшее будущее брежжился для Герцена среди этого мрака съ далекой родины, изъ Россіи. Можетъ быть, думалось ему, русскому народу, съ его запасомъ свѣжихъ, непочатыхъ силъ, суждено сыграть въ отношеніи къ дряхлѣющей Европѣ такую же роль, какую сыграли нѣкогда европейскіе варвары, обновившіе римскій міръ; можетъ быть, русская сельская община, въ связи съ западнымъ рабочимъ движеніемъ, образуетъ основу будущаго европейскаго общественнаго строя. Это была идея, основанная на историко-философскихъ аналогіяхъ,—идея патріота, сохранившаго горячую любовь къ своей родинѣ, не смотря на всю ненависть къ ея "фасаду". Общинное владѣніе землёю, міръ и выборы представлялись ему, въ эту пору тяжкаго раздумья и разочарованія, почвой, на которой легко можеть вырости новая общественная жизнь, "которой, какъ нашего чернозема, почти нѣтъ въ Европѣ". Воть почему,—писаль онъ тогда,—"я середь мрачнаго, раздирающаго душу реквіема, середь темной ночи, которая падаеть на усталый, больной Западъ, отворачиваюсь отъ предсмертнаго стона великаго бойца, котораго уважаю, но которому помочь нельзя, и съ упованіемъ смотрю на нашъ родной Востокъ, внутри радуясь, что я—русскій".

Въ это же время Герценъ окончательно разорвалъ свою оффиціальную связь съ Россіей. Въ концѣ революціоннаго года истекъ срокъ его паспорта; отъ него потребовали возвращенія въ Россію; друзья сов'єтовали ему поторопиться исполненіемъ этого требованія; но онъ уже ръшилъ не возвращаться. "Пожалуйста, не ошибитесь: не радость, не разсѣяніе, не отдыхъ, ни даже личную безопасность нашель я здёсь, да и не знаю, кто можеть находить теперь въ Европ'в радость и отдыхъ,--отдыхъ во время землетрясенія, радость во время отчаянной борьбы, Вы видёли грусть въ каждой строке моихъ писемъ; жизнь здёсь очень тяжела, ядовитая злоба примъшивается къ любви, желчь-къ слезъ, лихорадочное безпокойство точить весь организмъ. Время прежнихъ обмановъ, упованій миновало. Я ни во что не върю здась, крома въ кучку людей, въ небольшое число мыслей, да въ невозможность остановить движеніе; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалъю ничего изъ существующаго, ни ея вершинное образованіе, ни ея учрежденія... я ничего не люблю въ этомъ мірѣ, кромѣ того, что онъ преслъдуетъ, ничего не уважаю, кромѣ того, что онъ казнить, -- и остаюсь... остаюсь страдать вдвойнь, страдать отъ своего горя и отъ его горя, погибнуть, можеть быть, при разгромв и разрушеніи, къ которому онъ несется на всъхъ парахъ...

"Зачъмъ же я остаюсь?

"Остаюсь затымь, что борьба—здлесь, что, несмотря на кровь и слезы, здёсь разрёшаются общественные вопросы, что здёсь страданія болёзненны, жгучи... Горе побёжденнымь,—но они не побёждены прежде боя, не лишены языка прежде, чёмъ вымолвили слово; велико насиліе, но протесть громокь, бойцы часто идуть на галеры, скованные по рукамъ и ногамъ, но съ поднятой головой, съ свободной рёчью. Гдё не погибло слово,—тамъ и дёло еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту рёчь, за эту гласность—я остаюсь здёсь; за нее я отдаю все,—я вась отдаю за нее, часть своего достоянія, а можеть,—отдамъ и жизнь въ рядахъ энергическаго меньшинства "гонимыхъ, но не низлагаемыхъ"...

"Дорого мив стоило решиться... Вы знаете меня—и поверите. Я заглушиль внутреннюю боль, и перестрадаль борьбу и решился—не какъ негодующій юноша, а какъ человекъ, обдумавшій, что делаеть, сколько теряеть.. Месяцы целые взвешиваль я, колебался и, наконець, принесъ все въ жертву человеческому достоинству, свободной речи.

"До последствій мне неть дела: они не въ моей власти...

"Для русскихъ за границей есть еще другое дѣло: пора дѣйствительно знакомить Европу съ Русью; Европа насъ не знаетъ... Для этого знакомства обстоятельства превосходны: ей теперь какъ-то нейдетъ гордиться и величаво завертываться въ мантію пренебрегающаго незнанія; Европѣ не къ лицу das vornehme Ignorieren Россіи съ тѣхъ поръ, какъ отъ Дуная до Атлантическа-го океана она побывала въ осадномъ положеніи... Пусть она узнаетъ ближе народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ боѣ, гдѣ онъ остался побѣдителемъ; разскажемъ ей объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ, который втихомолку образовалъ государство въ шестъдесятъ милліоновъ, который такъ крѣпко и удивительно разросся, не утративъ общиннаго начала, и первый пе-

ренесъ его черезъ начальные перевороты государственнаго развитія; объ народѣ, который... сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкій разгулъ богатой натуры подъ гнетомъ крѣпостного состоянія и въ отвѣтъна царскій приказъ образоваться отвѣтилъ черезъ сто лѣтъ громаднымъ явленіемъ Пушкина. Пусть узнають европейцы своего сосѣда: они его только боятся,—надобно имъ знать, чего они боятся!

"До сихъ поръ мы были непростительно скромны и, сознавая свое положеніе, забывали все хорошее, полное надеждъ и развитія, что представляетъ наша народная жизнь...

"Успъю ли я что сдълать?—не знаю... надъюсь!"

Итакъ, жребій быль брошенъ, последняя свявь, соединявшая изгнанника съ родиной, была разорвана на всегда. Онъ поплатился за это потерей части своего имънія. которое было конфисковано, --- но за то чувствоваль себя вполнъ свободнымъ. Правда, это чувство свободы на первыхъ же порахъ было отравлено сознаніемъ своей безпріютности: въ Европ'в Герценъ не сознаваль себя дома, не могъ мириться съ твмъ, что его окружало. За революціоннымъ приливомъ 1848 года быстро слідоваль реакціонный отливъ... Но Герцену еще хотвлось сказать Европъ свое слово, — слово посторонняго пришельца и безпристрастнаго зрителя. Онъ началъ писать рядъ статей, явившихся впоследствіи на французскомъ и немецкомъ языкахъ, а затъмъ-и въ русскомъ переводъ подъ заглавіемъ: "Съ того берега". Въ это же время республиканское правительство запретило газету Прудона "Le Peuple". Прудонъ, — "упрямый безансонскій мужикъ", какъ называеть его Герценъ — не хотълъ положить оружія и тотчась затьяль издавать новую газету "La Voix du Peuple". Для изданія необходимо было внести валогь, и Герценъ далъ свои деньги, съ тъмъ, чтобы ему дано было право пом'вщать въ газет в свои и чужія статьи и завъдывать всею иностранною частью. Изданіе стало

выходить съ сентября 1849 г.; оно пользовалось огромнымъ успъхомъ, но черезъ полгода должно было прекратиться, такъ какъ весь внесенный Герценомъ залогъ къ этому времени былъ уже израсходованъ на штрафы за осужденныя правительствомъ статьи... Вскоръ послъ прекращенія газеты Прудона Герценъ былъ высланъ изъ Парижа. Онъ отправился въ ближайшее убъжище политическихъ неудачниковъ, — въ Швейцарію.

Швейцарія была тогда сборнымъ містомъ, куда сходились со всёхъ сторонъ уцёлёвшіе остатки европейскихъ движеній: представители всёхъ неудавшихся революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толпы ополченцевъ переходили Рейнъ, другія спускались съ С.-Готарда или шли изъ-за Юры. "Точно на смотру церемоніальнымъ маршемъ проходили по Женевъ, останавливались, отдыхали и шли дальше всв эти люди, которыми была полна молва, которыхъ я любилъ заочно и къ которымъ теперь торопился навстречу", -- говорить Герценъ. Желая не только на словахъ, но и на дълъ разорвать свою оффиціальную связь съ Россіей, Герценъ пріобрелъ права швейцарскаго гражданства. Деревенька Шатель, близь Муртена (неподалеку отъ озера, возлѣ котораго былъ разбить и убить Карль Смелый), за небольшой взнось въ пользу сельскаго общества согласилась принять семью Герцена въ число своихъ крестьянскихъ семей, и изъ русскихъ надворныхъ совътниковъ онъ обратился въ originaire du Châtel près Morat. Съ тъхъ поръ онъ довольно долго жилъ въ Швейцаріи, делая оттуда небольшія повідки во Францію и въ Англію. Отсюда же, съ береговъ Женевскаго озера, выпустиль онъ въ свъть и первую свою безцензурную книгу: "Сътого берега" (1850).

Книга эта, появившаяся одновременно на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, произвела очень сильное впечатлѣніе. Она представляетъ собраніе статей и писемъ, написанныхъ подъ свѣжимъ вліяніемъ событій 1848 и 1849 гг.; горькое разочарованіе въ революціонномъ

движеніи, убъжденіе въ неизбъжной гибели стараго государственнаго и общественнаго строя Европы и въ необходимости окончательнаго и полнаго разрыва со всёми старыми традиціями нашли здёсь себё такое энергичное, смълое и блестящее выражение, какого еще не знавала до тъхъ поръ европейская революціонная литература. Въ книгъ, — какъ сознавалъ и самъ ея авторъ, — было очень много спорнаго; но, не смотря на это, она не могла не привлечь къ себъ самаго серьезнаго вниманія всѣхъ мыслящихъ людей. Герценъ отрицаетъ здѣсь жизнеспособность не только традицій, унаслёдованныхъ отъ стараго времени, но и существующей демократіи, съ ея также традиціонными понятіями; свободному человѣку, говорить онь, не остается ничего иного, какъ возвъщать смерть гибнущаго феодализма и надъяться на водвореніе будущаго, покоящагося на новыхъ общественныхъ идеалахъ. Каково будеть это будущее, — онъ не можеть решить; но върить въ осуществление наличныхъ общественныхъ теорій значить, — думается ему, — не считаться съ ходомъ историческаго развитія человічества. Нікоторыя общія указанія относительно характера новой эпохи онъ дълаетъ на основаніи исторической аналогіи, припоминая времена паденія римской имперіи и торжество христіанства. "Будущее, — говорить онъ, — можеть представить неожиданное сочетание отвлеченнаго ученія съ существующими фактами. Жизнь осуществляеть только ту сторону мысли, которая находить себв почву, да и почва притомъ не остается страдательнымъ носителемъ, а даетъ свои соки, вносить свои элементы. Новое, возникающее изъ борьбы утопій и консерватизма, входить въ жизнь не такъ, какъ его ожидала та или другая сторона: оно является нереработаннымъ, инымъ, составленнымъ изъ воспоминаній и надеждъ, изъ существующаго и водворяемаго, изъ върованій и знаній, изъ отжившихъ римлянъ и нежившихъ германцевъ, соединяемыхъ одной церковью, чуждой обоимъ.

Идеалы, теоретическія построенія, никогда не осуществляются такъ, какъ они носятся въ нашемъ умъ".

Такимъ образомъ, возвъщаемая имъ смерть стараго міра представлялась ому, въ сущности, не полнымъ уничтоженіемъ. "Многіе, — говорить онъ въ другомъ мъстъ, только потому не видять этой смерти, что считають ее окончательнымъ разрушениемъ. Смерть не разрушаетъ составныхъ частей; она только освобождаеть ихъ отъ единенія, въ которомь он'в ран'ве находились, и даетъ имъ возможность продолжать свое существование при другихъ условіяхъ. Нътъ сомньнія, что цълая часть міра не можеть исчезнуть безследно. Ея существование будеть продолжаться, какъ продолжалось существованіе Рима въ средніе въка; она только растворится въ будущей Европъ и тамъ утратить свой нынъшній характерь, подчинившись новому и видоизмѣнивъ это новое своимъ вліяніемъ. Насл'єдство физіологическое и общественное, оставляемое отцомъ сыну, продолжаетъ существованіе отца и послѣ его смерти"...

Но Герценъ не останавливается на одномъ только провозглашеніи органической смерти и органическаго же возрожденія стараго міра къ новой жизни: вспоминая объ исторической завоевательной и разрушительной роли средневъковыхъ германцевъ, онъ предсказываетъ великій европейскій перевороть, въ которомь это обновляющее старый міръ призваніе германцевъ выпадаеть на долю, позже другихъ вступившаго на историческую почву, свъжаго и молодого народа - русскаго. Эти мечты объ историческомъ предназначении Россіи составляють другую характерную особенность книги "Съ того берега". Писатель, всёмъ своимъ существомъ, — умомъ и сердцемъ такъ страстно отдавшійся европейскому движенію, на своихъ напряженныхъ нервахъ вынестій всв радости и горести, надежды и разочарованія 48-го года и, въ конц'в концовъ, отвернувшійся не только отъ Европы, но и отъ Америки, въ которой онъ видълъ только "исправленное

изданіе стараго текста", — предсказываеть роль обновителя человъчества народу, на который Европа едва удостоивала смотреть съ высоты своей культуры, --- народу, который въ продолжение цёлаго тысячелётия жилъ почти одною растительною жизнью, прозябая "гдв то въ промежуткъ между геологіей и исторіей". Разумьется, европейская критика не могла пропустить такой еретической теоріи безъ самыхъ рёшительныхъ возраженій. Нёмцы, не взирая на всю свою растерянность и упадокъ духа послъ неудачъ революціоннаго движенія, все-таки, еще не чувствовали себя "достаточно соврѣвшими для гибели" и всего менте расположены были признать возможность или даже необходимость обновленія умирающаго Запада съ помощью Россіи. Они вооружились на Герцена всей тяжелой артиллеріей полемики, — упуская изъ виду, что онъ и самъ смотрелъ на свои фантазіи о новомъ мірѣ только какъ на гипотезу, какъ на вопросъ, обращенный къ будущему *). Несмотря, однако, на эту полемику, даже и литературные противники нашего писателя не могли не поддаться вліянію его книги. - ея

"Несмотря на это милое сознаніе, общій выводъ сужденій, оставшееся впечатлъніе, были скоръе противъ меня. Не выражаетъ ли это чувство раздражительности — близость опасности, страхъ передъ будущимъ, желаніе скрыть свою слабость, капризное, ока-

менълое старчество?

И Герценъ приводить безотрадную выдержку изъ "Писемъ русскаго путешественника".

^{*) &}quot;Меня обвиняли, -- говоритъ Герценъ, -- въ проповъдываніи отчаянія, въ незнаніи народа, въ dépit amoureux противъ революціи, въ неуваженіи къ демократіи, къ массамъ, къ Европъ... Второе декабря отвътило имъ громче меня. Въ 1852 г. я встрътился въ Лондон'в съ самымъ остроумнымъ противникомъ моимъ, — съ Зольгеромъ: онъ укладывался, чтобы скоръе ъхать въ Америку, — въ Европъ казалось ему дълать нечего. "Обстоятельства, — замътилъ я, — кажется, убъдили васъ, что я былъ не вовсе неправъ?" — "Мнъ не нужно было столько, — отвъчалъ Зольгеръ, — добродушно смъясь, чтобъ догадаться, что я тогда писалъ большой вздоръ".

^{...}Странная судьба русскихъ, -- видъть дальше сосъдей, видъть мрачные и смыло высказывать свое мныніе, прусскихь, этихь "нымыхъ", какъ говориль Мишле"...

свъжести, непосредственности, смълости и логической последовательности разсужденій, которыми невольно увлекается читатель, свободный оть черствости и узости мысли. Лля характеристики самого Герцена и современнаго ему настроенія эта книга представляеть чрезвычайно интересный документь. Самъ авторъ называеть ее своей логической испов'ядью, исторіей недуга, черезъ который пробивалась оскорбленная мысль. "Я въ себъ преслъдовалъ последніе идолы, --- говорить онь, -- я ироніей мстиль имъ за боль и обманъ: я не надъ ближнимъ издѣвался, а надъ самимъ собой и, снова увлеченный, мечталъ уже быть свободнымъ, — но туть-то и запнулся. Утративъ в ру въ слова и знамена, въ канонизированное человъчество и единую спасающую церковь западной цивилизаціи, я въриль въ нъсколько человъкъ, въриль въ себя. Видя, что все рушится, я хотёль спастись, начать новую жизнь, отойти съ двумя-тремя въ сторону, бъжать, скрыться отъ... лишнихъ. И я надменно поставилъ заглавіемъ последней статьи: "Omnia mea mecum porto".

"Внутри человъка есть постоянный революціонный трибуналь, есть безпощадный Фукье-Тэнвиль, главное,—есть гильотина. Иногда судья засыпаеть, гильотина ржавъеть... ложное прошедшее, романтическое поднимаеть голову, обживается,—и вдругь какой-нибудь дикій ударь будить оплошный судь, дремлющаго палача, и тогда начинается свирыпая расправа: малыйшая уступка, пощада, сожальніе ведуть къ прошедшему, оставляють цыи. Выбора ныть: или казнить и идти впередь, или миловать и запнуться на полдорогь...

"Кто не помнить своего логическаго романа? кто не помнить, какъ въ его душу попала первая мысль сомнвнія, первая смітость изслітдованія и какъ она закватывала потомъ все боліте и боліте и дотрогивалась до святьй шихъ достояній души? Это-то и есть страшный судъ разума. Казнить вітованія не такъ легко, какъ кажется: трудно разставаться съ мыслями, съ которыми

мы воросли, сжились, которыя насъ лелвяли, утвшали; пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но... переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собою"...

Какъ уже сказано выше, настроеніе, въ которомъ Герценъ писалъ эту книгу, было самое мрачное, самое тяжелое:

"Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидныя противорѣчія, хаосъ; снова ломка, снова ничего нѣть! Давно оконченныя основы нравственнаго быта превращались опять въ вопросы; факты сурово поднимались со всѣхъ сторонъ и опровергали ихъ. Сомнѣніе заносило свою тяжелую ногу на послѣднія достоянія, оно перетряхивало не церковныя ризницы, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена; изъ общихъ идей оно пробиралось въ жизнь...

"Что же, наконецъ, все это—шутка? Все завѣтное, что мы любили, къ чему стремились, чему жертвовали... Жизнь обманула, исторія обманула, обманула въ свою пользу: ей нужны для закваски сумасшедшіе, и дѣла нѣтъ, что съ ними будетъ, когда они придутъ въ себя; она ихъ употребила, — пусть доживаютъ свой вѣкъ въ инвалидномъ домѣ! Стыдъ, досада! А тутъ, возлѣ, простосердечные друзья жмутъ плечами, удивляются вашему малодушію, вашему нетерпѣнію, ждутъ завтрашняго дня и вѣчно озабоченные, вѣчно занятые однимъ и тѣмъ же, ничего не понимаютъ, не останавливаются ни передъчѣмъ, вѣчно идутъ—и все ни съ мѣста!.. Они васъ судятъ, утѣшаютъ, журятъ... какая скука, какое наказанье!

"Люди вѣры, люди любви" — какъ они называють себя въ противоположность намъ, людямъ сомнѣнья и отрицанья, — не знають, что такое нолоть съ корнемъ упованія, взлелѣянныя цѣлой жизнью; они не знаютъ болюзни истины, они не отдавали никакого сокровища съ тѣмъ громкимъ воплемъ, о которомъ говоритъ поэтъ:

Jch riss sie blutend aus dem wunden Herzen Und weinte laut, und gab sie hin.

"Счастливы безумцы, никогда не трезвѣющіе: имъ незнакома внутренняя борьба, они страдають отъ внѣшнихъ причинъ, отъ злыхъ людей и случайностей; внутри—все цѣло, совѣсть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащій другихъ, имъ кажется капризомъ, эпикуреизмомъ сытаго ума, праздной ироніей. Они видять, что раненый смѣется надъ своей деревяшкой—и заключаютъ, что ему операція ничего не стоила; имъ и въ голову не приходитъ, отчего онъ состарѣлся не по лѣтамъ, и какъ ноетъ отнятая нога при перемѣнѣ погоды".

Герценъ и самъ не могъ удовлетворяться тъмъ отношеніемъ, въ какое онъ сталъ къ современнымъ событіямъ; но иное отношеніе было для него въ ту пору невозможно, -- и онъ принялъ его съ "смиреніемъ передъ истиной", какъ практическій выводъ изъ своей философіи. "Помните ли вы римскихъ философовъ въ первые въка христіанства? — спрашиваеть онъ въ одномъ изъ своихъ разговоровъ. — Ихъ положение имъетъ много сходнаго съ нашимъ: у нихъ ускользнуло настоящее и будущее, съ прошедшимъ они были во враждъ, увъренные въ томъ, что они лучше и ясно понимаютъ истину, они скорбно смотръли на разрушающійся міръ и на міръ водворяемый, они чувствовали себя правъе обоихъ и слабъе обоихъ. Кружокъ ихъ становился тъснъе и тъснъе; съ язычествомъ они ничего не имъли общаго, кромъ привычки, образа жизни. Натяжки Юліана Отступника и его реставрація были также смѣшны какъ реставрація Людовика XVIII и Карла X; съ другой стороны, -- христіанская традиція оскорбляла ихъ свётскую мудрость, они не могли принять ея языкъ, земля исчезала подъ ихъ ногами, участіе къ нимъ стыло; но они умъли величаво и гордо дожидаться, пока разгромъ захватитъ когонибудь изъ нихъ, — умъли умирать, не покушаясь на смерть и безъ притязанія спасти себя или міръ; они

гибли хладнокровно, безучастно къ себѣ; они умѣли, пощаженные смертью, завертываться въ свою тогу и молча досматривать, что станется съ Римомъ, съ людьми. Одно благо, оставшееся этимъ иностранцамъ своего времени, была спокойная совѣсть, утѣшительное сознаніе, что они не испугались истины, что они, понявъ ее, нашли довольно силы, чтобъ вынести ее, чтобы остаться вѣрными ей. Будто этого не довольно? Впрочемъ, — нѣтъ: я забылъ, — у нихъ было еще одно благо, — личныя отношенія, увѣренность въ томъ, что есть люди, такъ же понимающіе, сочувствующіе съ ними, увѣренность въ глубокой связи, которая независима ни отъ какого событія. Если при этомъ—немного солнца, — море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климатъ, — чего же больше?... «

Въ этомъ настроеніи Герценъ провелъ нѣсколько льть, следовавших за изданіемь его книги. Спокойное убѣжище, теплый климать, солнце, горы и море онъ нашель въ Ницив, куда онъ переселился осенью 1850 года вийсть съ Карломъ Фогтомъ и поэтомъ Гервегомъ, съ которыми онъ близко сошелся въ Швейцаріи. Но судьба поразила тяжкимъ ударомъ самыхъ близкихъ къ нему людей: его мать и младшій сынъ погибли во время крушенія парохода, на которомъ они вхали изъ Марселя въ Ниццу, 16 ноября 1851 г.; друзья, которымъ онъ всего больше върилъ, ему измънили, а одинъ изъ нихъ, -Гервегъ, — сталъ причиной его разрыва съ женой. Вскоръ умерла и Наталья Александровна... Потрясенный этими несчастьями, Герценъ летомъ 1852 г. уехалъ изъ Ниццы, которая стала теперь для него мъстомъ невыносимыхъ воспоминаній. А между тімь, европейская реакція была уже въ полномъ разгаръ, Наполеонъ III уже отпраздноваль свое 2-е декабря, Франція оставалась республикой только по имени, Швейцарія, тіснимая со всіхъ сторонь, вызывала горькія чувства... Самые выдающіеся вожди политической эмиграціи собрались теперь въ Англіи, которая одна изъ всъхъ европейскихъ государствъ давала политическимъ выходцамъ върное убъжище. Туда же, послъ нъкотораго колебанія, отправился и Герценъ. Потерпъвъ кораблекрушеніе, "отдъленный туманомъ и пространствомъ" отъ всего остального міра, очутился онъ, осенью 1852 г., въ Лондонъ. Настоящее было для него мрачно, будущее представлялось еще болъе невърнымъ и безнадежнымъ, чъмъ прежде, — и онъ, ища утъшенія въ своемъ горъ, обратился къ прошлому и началъ писать свои знаменитыя воспоминанія—"Былое и Думы", въ которыхъ съ такимъ живымъ художественнымъ талантомъ воскресилъ пережитую жизнь.

Среди собравшихся въ Лондонъ представителей эмиграціи Герценъ занималь своеобразное положеніе. Онъ удалился изъ Россіи не вследствіе какой-либо неудавшейся революціонной попытки, а потому у него не былоникакой "партіи"; онъ самъ, добровольно сталъ въ ряды европейскихъ борцовъ за политическую свободу и посвоимъ спеціально-русскимъ возгрѣніямъ, по особенному характеру своего патріотизма быль, можно сказать, политическимъ отшельникомъ. Сочувствіе революціонному движенію вообще сближало его со многими выдающимися представителями и вождями европейской революціи; но самъ онъ не былъ такимъ вождемъ и не имълъ притязаній на эту роль. При этомъ, эмигранты другихъ національностей, конечно, вовсе не разділяли его мнівній о неизбъжной гибели старой Европы и о созданіи новаго міра при участіи русскаго народа. Въ то время европейская публика вообще была очень мало знакома съ внутренней исторіей Россіи вь XIX въкъ и не имъла никакого понятія объ умственномъ роств нашего отечества. Потому Герценъ и задался цёлью разъяснить европейскимъ читателямъ именно эгу, неизвъстную имъ, сторону русской жизни. Онъ особенно выдвигаетъ на первый планъ противоположность европейскихъ цивилизаторскихъ и славянскихъ народныхъ идей и борьбу между ними, начавшуюся со временъ Петра Великаго. Въ одномъ своемъ сочинении Герценъ отмъчаетъ противоположность между славянскимъ міромъ и Европой: "Въ міръ славянскомъ, --- говорить онъ, --- элементъ западной цивилизаціи держится только на поверхности, а въ мірт европейскомъ элементъ полнаго варварства составляетъ фундаменть... Народы германо-латинскіе произвели двъ исторіи, создали два міра во времени и два міра въ пространствъ. Они уже дважды использовали свои силы. Весьма возможно, что у нихъ осталось еще достаточно жизненной энергіи и для третьей метаморфозы; но эта метаморфова не можеть быть произведена посредствомъ нынъ существующихъ общественныхъ формъ, ибо эти формы находятся въ ръзкомъ противоръчіи съ идеей переворота. Мы уже видели, что великія европейскія идеи, для того, чтобы получить осуществленіе, должны переправиться за океанъ и искать себѣ почвы, менѣе загроможденной развалинами. Наобороть, все прошлое народовъ славянскихъ имфетъ характеръ начинанія, роста и способности. Они только что вступають въ великій историческій потокъ. У нихъ никогда не было развитія, соотвътствующаго ихъ природъ, ихъ духу, ихъ стремленіямъ... Эти стремленія не получили теоретической формулировки, но они существують въ народной жизни, въ народныхъ пъсняхъ и легендахъ, въ складъ всъхъ славянскихъ племенъ, --- существуютъ какъ инстинктъ, какъ природное влечение, сильное и прочноз, но еще смутное...

"Исторія славянства бѣдна событіями. За исключеніемъ Польши, славяне принадлежать больше географіи, чѣмъ исторіи. Есть одинъ славянскій народъ, который, собственно говоря, только и существовалъ, что во время борьбы, —войны таборитовъ. Есть другой народъ, который только очертилъ свои границы, поставилъ вѣхи, подготовилъ себѣ мѣсто въ исторіи и связалъ воедино шестую часть свѣта, горделиво избранную имъ ареной своего дѣйствія...

"Эти народы, столь мало замъченные въ прошломъ,

столь мало изв'єстные въ настоящемъ,—не им'єють ли они правъ на будущее?

"Мы далеки отъ мысли, что будущее должно принадлежать племенамъ, которыя ничего не сдѣлали, а только много страдали. Но оно весьма можетъ принадлежать тѣмъ племенамъ, которыя безъ всякаго приглашенія смѣло занимаютъ мѣсто въ великомъ совѣтѣ дѣятельныхъ націй,—племенамъ, которыя завоевываютъ себѣ выходъ на всемірно-историческую арену и, побуждаемыя жаждой дѣятельности, вмѣшиваются во всѣ дѣла... Въ появленіи нѣкоторыхъ народностей есть что-то такое, что останавливаетъ мыслителя, заставляетъ его задумываться, внушаетъ ему безпокойство,—словно онъ почувствовалъ присутствіе новой подземной мины, новой силы, того глухого броженія, которое готовится поднять земную поверхность,—словно онъ заслышаль въ невѣдомой дали шаги все ближе и ближе подступающихъ великановъ...

"Такова Роль Россіи со временъ Петра І-го.

"...Молодые люди тоже иногда умирають", — говориль мив въ Лондонв одинъ замвчательный человвкъ, съ которымъ мы бесвдовали о славянскомъ вопросв. — "Это вврно, — отввчалъ ему я, — но еще вврнве то, что старики умирають всегда".

"Я знаю, —писаль онь нѣсколько лѣть спустя, —что мое воззрѣніе на Европу встрѣтить у нась дурной пріемь. Мы, для утѣшенія себя, хотимо другой Европы и вѣримь въ нее такъ, какъ христіане вѣрять въ рай. Разрушать мечты — вообще дѣло непріятное; но меня заставляеть какая то внутренняя сила, которой я не могу побѣдить, высказывать истину, —даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она мнѣ вредна.

"Мы вообще знаемъ Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаемъ ея, а судимъ à livre ouvert по книжкамъ и картинкамъ, такъ, какъ дъти судятъ по Orbis pictus о настоящемъ міръ, воображая, что всъ женщины на Сандвичевыхъ островахъ держатъ руки надъ головой съ какими-то бубнами и что гдѣ есть голый негръ, тамъ непремѣнно, въ пяти шагахъ отъ него, стоитъ левъ съ растрепанной гривой или тигръ съ злыми глазами.

"Наше *классическое* незнаніе западнаго человъка надълаеть много бъдъ,—изъ него еще разовьются племенныя ненависти и кровавыя столкновенія.

"Во первыхъ, намъ извъстенъ только одинъ верхній, образованный слой Европы, который накрываеть собой тяжелый фундаменть народной жизни, сложившійся візками, выведенный инстинктомъ, по законамъ, мало извъстнымъ въ самой Европъ. Западное образование не проникаеть въ эти циклопическія работы, которыми исторія приросла къ землѣ и граничить съ геологіей. Евро-пейскія государства спаяны изъ двухъ народовъ, особенности которыхъ поддерживаются совершенно разными воспитаніями. Восточнаго единства, вследствіе котораго турокъ, подающій чубукъ, и турокъ-великій визирь похожи другь на друга, здёсь нёть. Массы сельскаго населенія, послі религіозных войнь и крестьянских возстаній, не принимали никакого действительнаго участія въ событіяхъ; он вими увлекались направо или нал вокакъ нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

"Во-вторыхъ, и тотъ слой, который намъ знакомъ, съ которымъ мы входимъ въ соприкосновеніе, мы знаемъ исторически, не современно. Поживши годъ-другой въ Европъ, мы съ удивленіемъ видимъ, что вообще западные люди не соотвътствуютъ нашему понятію о нихъ,— что они гораздо ниже его.

"Въ идеалъ, составленный нами, входять элементы върные, но или не существующие болье, или совершенно измънившиеся..."

Нынѣшній европейскій міръ — міръ мъщанства, всѣмъ овладѣвшаго, все забравшаго въ свои руки, и политику, и нравственность, и образованіе, — глубоко антипатиченъ Гердену и вызываетъ съ его стороны "на-

смёшку горькую обманутаго сына надъ промотавшимся отпомъ"...

Въ началѣ 1854 г. Герценъ основалъ въ Лондонѣ "Вольную русскую типографію" и сталъ печатать въ ней летучіе листки и брошюрки, посвященные, прежде всего, вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права ("Юрьевъ день", "Видѣнія Кондратія", "Крещеная собственность" и пр.). Но начавшаяся въ ту пору Восточная война отвлекала вниманіе русскаго общества отъ внутреннихъ вопросовъ, и голосъ Герцена съ дальняго берега почти не доходилъ до Россіи, а если и доходилъ, то терялся безслѣдно въ шумѣ военныхъ событій... Онъ сознавалъ свое безсиліе и съ горечью видѣлъ, какъ пораженіе, наносимое Россіи европейской коалиціей, разбиваетъ его завѣтныя мечты о возрожденіи умирающей Европы свѣжимъ притокомъ славянства...

Только съ окончаніемъ войны изъ Россіи стали приходить иныя, новыя въсти. Повъяло новымъ духомъ, и Герценъ почувствовалъ себя бодрымъ и сильнымъ, словно съ плечъ свалилась гора, такъ долго давившая своей тяжестью. Онъ поняль, что для Россіи началась новая, важная эпоха исторической жизни, и ръшилъ отдать всѣ свои силы и весь свой таланть дорогому дѣлу начавшихся тогда преобразованій. "Лучъ духовнаго света озарилъ нащъ народъ", писалъ онъ впоследствіи объ этомъ времени: -- "въ массахъ началось движеніе, -- смутное влеченіе къ реформъ... Скоро я убъдился, что вижу передъ собою не миражъ, а настоящую правду: корабль Россіи вышель изъ стоячей воды, гдв онъ такъ долго держался на якоръ, и пустился въ море. Суждено ли ему, въ самомъ дълъ, выйти на широкій просторъ океана? Признаюсь, я сомнъвался; но, видя сіяющія лица моихъ друзей, полныхъ надежды, не могь не повърить. Одушевленный чувствами, которыя редко приходится испытывать русскому человъку, я вспоминалъ Канта, который въ 1792 г., снявъ свою бархатную шапочку, благоговъйно произнесъ: "Нынъ отпущаеши"... Наконецъ, занялась заря,—заря того дня, о которомъ я мечталъ въ годы студенчества и въ годы ссылки, ради котораго я запасался знаніями, покинулъ родину, и который засталъменя теперь одиноко декламирующимъ лечальные монологи на англійскомъ берегу. Начинали сбываться мои юношескія мечты, видълся восходъ московскаго солнца. Прочь, праздный сонъ! за работу, за работу! Съ удвоенными силами принялся я за дъло; я зналъ, что съмя, брошенное въ такую пору, упадетъ не на безплодную почву"...

Въ 1855 г. Герценъ сталъ издавать сборникъ подъ заглавіемъ: "Полярная Звёзда", взятымъ въ память извъстнаго Бестужевскаго и Рыльевскаго альманаха (всего, за время съ 1855 по 1868 г., издано было 8 книгъ). Здёсь онъ сталь печатать отрывки изъ своихъ воспоминаній, статьи историческаго содержанія, неизданные стихи Пушкина и другихъ русскихъ поэтовъ, сохранившіеся въ завътныхъ тетрадкахъ чуть ли еще не дътскихъ временъ, и въ особенности — горячія статьи, посвященныя современному положенію діль въ Россіи. Восторженно привътствуя первыя начинанія реформъ императора Александра II, Герценъ старался выработать такую программу, въ которой были бы поставлены начавшемуся движенію достойныя цёли. Задача преобразованія представлялась чрезвычайно трудною; но, по убъжденію Герцена, одно дело должно было быть поставлено впереди и послужить фундаментомъ для всего дальнъйшаго, краеугольнымъ камнемъ возрожденія Россіи къ новой жизни, это-освобождение крестьянъ, и притомъ - съ землею. Теоретически и практически доказать необходимость неотложность этой важнъйшей реформы, разъяснить мыслящему русскому обществу все ея великое значение и побудить это общество къ самостоятельному участію въ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса-такова была главная

задача, на которой Герценъ сосредоточилъ все свое вниманіе. "Эпоха, въ которую Россія вступаеть теперь, необыкновенно важна, писаль онъ: вмъсто небольшихъ политическихъ реформъ, для которыхъ мы не опытомъ, а умомъ слишкомъ стары, мы стоимъ лицомъ къ лицу съ огромнымъ экономическимо переворотомъ, --- съ освобожденіемъ крестьянъ. И это-не все: вопросы наши такъ поставлены, что они могутъ быть разрѣшены общими соціально-государственными мірами безь насильственных в потрясеній. Мы призваны перебрать права поземельнаго владенія и отношеній работника къ орудію работы, не есть ли это торжественное вступленіе въ будущій возрасть нашь? Вся новая программа нашей исторической діятельности такъ проста, что туть не надобно генія, а просто-глаза, чтобы знать, что делать... Господи! чего нельзя сдёлать этой весенней оттепелью послё суровой зимы! Какъ можно воспользоваться темъ, что кровь въ жилахъ снова оттаяла и сжатое сердце стукнуло вольнѣе! " ...

Но высоко поднять знамя новой Россіи значило — объявить безпощадную войну Россіи старой, дореформенной, со всёмъ ея укладомъ, такъ долго тормозившимъ свободное развитіе силъ народныхъ и общественныхъ. Эта старая Россія, хотя и потрясенная въ своихъ устояхъ Крымской войной, все еще была очень сильна; открытая, смёлая, неумолимая критика, раскрытіе и обличеніе передъ цёлымъ свётомъ всёхъ тайныхъ язвъ, нелицепріятный и безстрашный судъ надъ прошлымъ, — вотъ что необходимо было въ ту пору, чтобы сломить темную силу и отнять у нея возможность сопротивляться новымъ, благимъ начинаніямъ. Это было то памятное въ исторіи нашего развитія время, о которомъ говорить поэтъ:

...«шумя и куда-то спѣша И какъ будто оковы сбивая, Русь! была ты тогда хороша! Какъ невольникъ, покинувъ тюрьму, Разгибается, вольно вздыхаетъ И, не въря себъ самому, Богатырскую мощь ощущаетъ,-Ты казалась сильна, молода, Къ правдъ, къ свъту, къ свободъ стремилась. Въ прегръшеніяхъ тяжкихъ тогда, Какъ блудница, ты громко винилась,-И казалось намъ въ первые дни: Повториться не могуть они... Приводя наше прошлое въ ясность, Проклиная безправье, безгласность, Произволъ и господство бича, Далеко мы зашли сгоряча! Между тъмъ, какъ народъ неразвитый Блъ кору и молчалъ какъ убитый, Мы сердечно больли о немъ. Мы взывали: «Даруйте свободу «Угнетенному нами народу! «Мы прошедшее сами клянемъ! «Посмотрите на насъ: мы-обжоры, «Мы-ходячіе трупы, гробы, «Казнокрады, народные воры, «Угнетатели, трусы, рабы!»

Громче всёхъ въ этомъ обличительномъ хорѣ слышался голосъ Герцена, не стѣсненный никакими цензурными условіями и скоро получившій въ Россіи огромную силу. Издатель "Полярной Звѣзды" очень хорошо зналъ тотъ міръ, съ которымъ онъ вступалъ теперь въ рѣшительную борьбу,—и его изданіе сдѣлалось той трибуной гласности, съ которой говорилось все, чего не смѣли сказать русскіе люди у себя дома. Привѣтствуя преобразовательныя начинанія государя онъ вызывалъ на гласный судъ всѣхъ враговъ народнаго освобожденія. "Имя Александра II,—писалъ онъ вскорѣ послѣ обнародованія знаменитыхъ рескриптовъ 1857 г., положившихъ начало оффиціальному разрѣшенію крестьянской реформы,—имя Александра II принадлежитъ исторіи; если бы его царствованіе завтра же окончилось,—все равно, начало освобожденія крестьянъ

сдълано имъ, грядущія покольнія этого не забудуть. Но изъ этого не следуетъ, чтобы онъ могъ безнаказанно остановиться. Нётъ, нётъ! Пусть онъ довершаетъ начатое, пусть полный вънокъ закроетъ его корону!.. Знаете, что? до помѣщичьяго права добираются, до вольности дворянской! Это мужичка-то не посъчь и не заставить поработать четвертый и пятый день, двороваго-то и не поколотить! Помилуйте!.. Выходите же изъ вашихъ тамбовскихъ и вологодскихъ берлогъ, Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины и пуще всего - Пъночкины, попробуйте не розгой, а перомъ, не въ конюшнъ, а на бъломъ свътъ высказаться. Помфряемтесь!.. Гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противодъйствіе закоснымих помыщиковь, ихъ волчій вой не опасенъ. Что они могутъ противопоставить, когда противъ нихъ-власть и свобода, образованное меньшинство и весь народъ, царская воля и общественное мнѣніе? И пуще всего --- общественное мнине. Лишь бы теперь нашимъ плантаторамъ и ихъ противникамъ дозволено было вполнъ высказаться, пом'вряться... И туть, какъ во всемъ, поневоль быешься въ другое великое искомое современной Россіи, —въ гласность. Гласность ихъ казнить прежде, нежели дело дойдеть до правительственнаго бича или крестьянскаго движенія " *).

Осенью 1856 года Герценъ радостно свидѣлся съ своимъ старымъ другомъ Огаревымъ, который въ это время рѣшилъ покинуть Россію и посвятить себя публицистической дѣятельности за границей. Огаревъ принялъ дѣятельное участіе въ "Полярной Звѣздѣ" и сталъ печатать здѣсь свои статьи по крестьянскому вопросу и стихотворенія. Вскорѣ для лондонской типографіи открылась возможность отправлять свои изданія въ Россію, гдѣ они принимались съ восторгомъ передовою частью общества. Къ лѣту 1857 г. вниманіе общества къ изданіямъ Герцена

^{*)} Цитата взята изъ книги Γ . А. Джаншіева: "Эпоха великихъ реформъ", изд. 7-е, М. 1898, стр. 23, 153.

сказалось до такой степени, что "Полярная Звёзда", выходившая всего двумя книжками въ годъ, уже не удовлетворяла спросу, и Герценъ съ Огаревымъ решили съ 1 іюля 1857 г. издавать еженедёльную газету подъ названіемъ "Колоколъ". Небольшія тетрадки "Колокола" было гораздо легче доставлять въ Россію, чёмъ толстыя книги "Полярной Звъзды"; кромъ того, еженедъльное изданіе давало возможность ближе следить за русскою жизнью и своевременно отзываться на все, заслуживающее вниманія публициста; такимъ образомъ, между редакціей и читателями газеты устанавливались болье тысныя отношенія. Таинственными путями, часто неизв'єстными и самому Герцену, "Колоколъ" проникалъ въ самые отдаленные уголки Россіи, и тъми же таинственными путями стали получаться въ Лондонъ достовърныя, неръдко документальныя данныя о состояніи Россіи, о настроеніи русскаго общества и о намфреніяхъ правительства. Въ Россіи съ нетерпъніемъ ждали выхода каждаго новаго листка "Колокола", платили за него иногда огромныя деньги и жадно поглощали каждое слово; разоблаченія "Колокола" были предметомъ оживленныхъ бесъдъ и грозою всёхъ тёхъ администраторовъ и общественныхъ дёятелей, поведеніе которыхъ вызывало суровое осужденіе лондонскихъ публицистовъ. "Колоколъ" неутомимо звонилъ обо всёхъ недостойныхъ продёлкахъ, обманахъ, подкупахъ, взяточничествъ, -- звонилъ на всю Россію, и отъ этого звона старались бъжать какъ можно дальше и прятаться въ недосягаемыя норы даже и такіе люди, которые еще недавно ничего не боялись и ничего не стыдились... Огромный успъхъ "Колокола" объясняется, впрочемъ, не только новостью и смёлостью предпріятія, не только безпощадными обличеніями разныхъ продёлокъ, о которыхъ прежде не смфли говорить иначе, какъ шопотомъ, но въ особенности-тьмъ, что Герценъ угадалъ насущныя потребности образованнаго русскаго общества и высказалъ его завътныя вождельнія. Онъ поставиль своимь девизомъ

возрожденіе Россіи, и ближайшую вадачу своего времени видълъ, -- такъ же, какъ и императоръ Александръ II, -въ освобождении крестьянъ съ землею. Въ сознании огромной важности наступавшаго для Россіи новаго историческаго періода, Герценъ горячо приветствоваль первые шаги правительства по пути освободительныхъ преобразованій и, опровергая митнія не только кртпостниковъ, но и многихъ робкихъ либераловъ о томъ, что крестьянская реформа можеть повести къ серьезному потрясенію общественнаго строя, доказываль, что напротивь, только правильное разръшение крестьянского вопроса и можеть тъсными узами, привязать народъ къ правительству. Время, когда онъ увлекался широкими идеалами всемірной республики и братства народовъ, прошло безвозвратно; суровый опыть 1848 года разбиль эти юношескія мечты и заставиль спуститься на землю. Въра во всемогущество "великихъ принциповъ" 89 года, потонувшихъ въ торжествъ мъщанства, - въра въ жизненныя силы старой Европы - была, какъ мы уже видъли, потрясена до основанія; возвращаться къ мысли о возможности быстрой перемъны могущественнаго мъщанскаго строя Герценъ не хотъль и не могь. Наобороть, въ немъ съ каждымъ днемъ росло и крѣпло завѣтное убѣжденіе въ томъ, что именно Россія, а не Европа, призвана исторіей къ разрѣшенію соціальнаго вопроса, и что она разр'єшить его мирно, безъ красныхъ призраковъ. Революціонныя воззванія съ ихъ декламаторской фразеологіей казались ему смѣшными, онъ сравнивалъ ихъ составителей съ дътьми, которыя восхищаются терроромъ сказокъ съ ихъ чародвями и чудовищами, и заявляль, что французскій террорь всего менъе возможенъ въ Россіи, такъ какъ у насъ нътъ ни новыхъ догматовъ, ни кровавыхъ катехизисовъ для оглашенія: наша "реформація" должна начаться съ сознательнаго возвращенія къ народному благу, къ тъмъ началамъ, которыя признаны народнымъ смысломъ и освящены въковымъ обычаемъ. Закръпляя право каждаго на землю,

т. е. объявляя землю темть, чемть она есть,—неотъемлемой стихіей, мы только пополняемть и обобщаемть народное представленіе объ отношеніи человека къ земле. Отрекаясь отъ формть, чуждыхть народу, навязанныхть ему полтора века назадъ, мы продолжаемть прерванное и отклоненное развитіе, вводя въ него новую силу мысли, науки...

Здоровымъ ядромъ, изъ котораго могло бы развиться для русскаго народа,—и не только для русскаго, но и для всѣхъ народовъ,—лучшее будущее, представлялась ему наша народная община; онъ былъ увѣренъ, что община, при правильномъ развитіи русскихъ народныхъ экономическихъ началъ, могла бы получить глубокій смыслъ, и противопоставлялъ ее европейскому соціализму, подчеркивая преимущество Россіи передъ Европой въ дѣлѣ соціальнаго обновленія. Но особенно высоко цѣнилъ онъ внутреннюю жизнеспособность русскаго народа, невредимо прошедшаго черезъ тяжкія испытанія своей исторіи:

"Мнѣ кажется, — писалъ онъ, — что есть нѣчто въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества; это нѣчто трудно уловить словами, а еще труднѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, но вполнѣ сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и западными капральскими палками, — о той внутренней силѣ, которая ссхранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія... о той силѣ и вѣрѣ въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій народъ, его непоколебимую вѣру въ себя, сберегла внѣ всякихъ формъ и противъ всякихъ формъ, — для чего? покажетъ время..."

Герценъ былъ глубоко убъжденъ въ томъ, что Россія является послѣднимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стремленій къ жизни въ то время, когда другіе чувствуютъ

себя усталыми и отжившими, -- и это убъждение поддерживало въ немъ тотъ энтузіазмъ, съ которымъ онъ относился къ своимъ обязанностямъ единственнаго свободнаго русскаго публициста. Съ гордою радостью онъ следилъ за каждымъ шагомъ крестьянской реформы, ръзко порицалъ ея противниковъ, ободрялъ нервшительныхъ ея защитниковъ; успъхъ его росъ съ каждымъ днемъ, и первые четыре года изданія "Колокола" (до 1863) были, можно сказать, зенитомъ его литературной деятельности. Въ эту пору газета Герцена удовлетворяла самой насущной потребности русскаго общества и особенно — молодежи. Герценъ получалъ множество сочувственныхъ писемъ со всъхъ кондовъ Россіи; многіе русскіе путешественники прівжали въ Лондонъ нарочно для того, чтобы лично познакомиться съ издателемъ "Колокола" и передать ему свои сообщенія. "Колоколь" — это большая сила, нисаль Катковъ: онъ лежитъ у генерала Ростовцева на столъ, и къ нему обращаются за справками при сочинении законовь объ устройствъ крестьянскаго быта... Дъйствительно, газета Герцена имъла читателей и читателей сочувствующихъ-во всъхъ кругахъ общества, не исключая и самыхъ высшихъ. Разсказываютъ, что одинъ министръ на жалобу просителя отвъчалъ: "Дълайте, что хотите, --- хоть государю жалуйтесь, хоть даже въ "Колоколъ" пишите, -- мнъ все равно! " И въ самомъ дълъ, многіе въ то время смотрели на "Колоколь", какъ на своего рода высшій трибуналь, какъ на посл'єднее прибъжище, куда можно было принести жалобу или заявить о несправедливости...

Торжественной манифестаціей отпраздноваль Герцень великій день 19 февраля 1861 г.,—день воскресенія русскаго народа. Домъ, гдѣ помѣщалась редакція "Колокола", быль украшень знаменами съ надписями: "Освобожденіе русскихъ крестьянъ" и "Вольная русская пресса"; вечеромъ въ домѣ и саду зажжена была яркая иллюминація и устроенъ быль концерть изъ русскихъ пѣсенъ.

На этотъ праздникъ собрались представители чуть ли не всёхъ европейскихъ народностей,—"здёсь можно было слышать всё языки, на которыхъ говорять люди отъ Урала до Пиренеевъ и отъ Сёвернаго моря до Іоническаго". Всё привётствовали Россію пожеланіями лучшаго будущаго...

Трудъ Герцена не ограничивался, однако, редактированіемъ "Колокола" и "Полярной Зв'єзды": онъ продолжаль обработывать свою автобіографію— "Былое и Думы" — и выпустиль еще цёлый рядь отдёльныхъ изданій: "Голоса изъ Россіи" (8 книгъ, 1858-60), "Историческій Сборникъ Вольной русской типографіи въ Лондонъ (2 книги, 1859-61), Записки Екатерины П, на русскомъ и французскомъ языкахъ, Записки кн. Дашковой въ русскомъ переводъ, Записки декабристовъ, Щербатовъ и Радищевъ, Сборникъ постановленій по части раскола, Записки Лопухина, и пр. Заслуживаетъ вниманія также его брошюра "Франція или Англія?". изданная въ 1858 г. одновременно на четырехъ языкахъ (русскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ) и посвященная обсужденію вопроса, о которомъ въ то время много говорилось въ политической печати, -- вопроса о союзъ между Россіей и Франціей. Близкое знакомство съ Франціей уже давно исцілило Герцена отъ того мечтательнаго преклоненія передъ всёмъ французскимъ, которое нъкогда заставляло его видъть во Франціи передовой оплоть европейского прогресса и всемірной свободы; торжество Наполеона Ш окончательно разрушило всв эти симпатіи. Герценъ совътоваль Россіи сохранять свое особенное положение на рубежъ между Европой и Азіей и не мъщаться въ европейскія дъла. "Всъ истинно-русскіе люди, писаль онь, благословляють парижскій миръ, ибо восточная война освободила Россію отъ опасныхъ заблужденій... Предоставимъ же Францію ея собственной судьбъ и, если понадобится намъ политическій союзь, - заключимь его сь Англіей. Англія любить миръ, потому что миръ даетъ просторъ для полезнаго труда. Англія-единственная школа, которая для насъ годится. Великій народъ съ маленькой арміей и огромными завоеваніями отучить нась оть мундировь и парадовъ, отъ полиціи, и отъ произвола. — Англія представляеть полную противоположность современной Франціи... И какая роль выпала ей на долю! Въ эпоху распаденія и вырожденія континентальной Европы она одна съ высоко поднятой головой, спокойно и увъренно взираетъ на этоть отвратительный шабашь вёдьмь, на пляску смерти съ полицейскими коммиссарами, — а Франція, подобно древнему Риму, падаеть жертвой принудительнаго правительства и навязанной власти. Каждая партія, которой удается захватить въ свои руки власть, тотчасъ же становится ортодоксальною церковью, —и горе еретикамъ! Для личности не остается ничего: в ра, доброд тели, убъжденія, —все это предписывается ей государствомъ; философскія идеи провозглашаются въ видъ законодательныхъ постановленій; даже Высшее Существо познается не иначе, какъ изъ правительственнаго декрета. Людей заставляють, подъ угрозой казни, быть подозрительными, говорить другъ другу "ты" и быть другь другу братьями; имъ повельвають въровать въ безсмертіе души... И это-еще не все: всъ эти вещи принимаются очень серьезно, и неповинующіеся подвергаются наказанію. При такихъ условіяхъ наполеоновская имперія находить себъ оправданіе: она-дъйствіе, а не причина..."

Герценъ недаромъ жилъ въ Англіи: здѣсь онъ научился цѣнить свободное органическое развитіе націи и благодаря одному изъ главныхъ рычаговъ этого развитія—свободной печати—пріобрѣлъ рѣшительное вліяніе у себя на родинѣ. Въ освобожденіи крестьянъ онъ видѣлъ основу для возрожденія Россіи къ лучшему будущему; но въ то же время онъ сознавалъ, что это—только первый камень фундамента будущаго зданія, и что остается еще очень много упорной работы во всѣхъ областяхъ

для того, чтобы создать новую Россію, отвъчающую нуждамъ народа и современнымъ идеямъ. Въ годы, предше ствовавшіе освобожденію крестьянь, въ русскомь обществъ проявилось замътное движеніе, печать получила значительную долю свободы, подготовлена была почва для дальнъйшихъ преобразованій; но недоставало широкой программы, которая могла бы придать начавшемуся движенію опредёленное направленіе. Герценъ считалъ своей обязанностью взять на себя смёлый починъ въ дёлё выработки такой программы. Основными ея пунктами онъ выставилъ расширение самоуправления, пересмотръ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ, отмѣну тѣлеснаго наказанія, введеніе гласнаго суда присяжныхъ, свободу в фроиспов фданія, печати и преподаванія, свободу торговли и промышленности, раздъление суда и администраціи, преобразованіе основъ государственной службы и установленіе контроля надъ исполненіемъ государственной росписи. Большинство пунктовъ этой программы, какъ извъстно, нашли себъ осуществление въ реформахъ императора Александра П...

Въ концѣ 1862 г. стало подготовляться польское возстаніе. Въ Лондонѣ все чаще и чаще являлись поляки,—ихъ языкъ дѣлался опредѣленнѣе и рѣзче, они шли къ взрыву прямо и сознательно. "Мнѣ съ ужасомъ мерещилось, что они идутъ на неминуемую гибель", говорить Герценъ въ своихъ воспоминаніяхъ. "Колоколъ" совѣтовалъ, даже умолялъ не выступать "преждевременно", отдѣльною силою, которая окажется слишкомъ слаба, чтобы держаться, и, сдѣлавъ ложный шагъ, погибнетъ напрасно. Но его совѣтовъ и предостереженій не послушались. Въ 1863 г. разразилось возстаніе, исторія котораго извѣстна. Герценъ сталъ на сторону поляковъ, и этой защитой польскаго дѣла вырылъ пропасть между "Колоколомъ" и русскимъ обществомъ...

Такъ окончился второй періодъ европейской жизни Герцена,—самый блестящій періодъ его публицистиче-

ской дъятельности. Долго онъ не могъ повърить въ неизбъжность этого ръшительнаго поворота своей судьбы; въ продолжение нъсколькихъ лътъ послъ возстания онъ старался поправить свою ошибку и возвратить себъ утраченное вліяніе, —но всв старанія были напрасны: русское общество не прощало ему заступничества за Польшу. Онъ продолжалъ издавать "Колоколъ" въ Лондонъ до 1864 г., а потомъ перенесъ изданіе въ Женеву, куда онъ въ это время переселился; здъсь газета продолжала выходить до декабря 1868 г., когда Герценъ, наконецъ, призналъ ея дальнъйшее существование безполезнымъ. Въ открытомъ письмѣ къ своему старому другу и сотруднику Огареву онъ указалъ на необходимость примириться съ этимъ неотвратимымъ концомъ: русская молодежь пошла инымъ путемъ и уже не нуждается въ его сотрудничествъ; ясно, что ему не остается ничего другого, какъ сойти со сцены. Можетъ быть, еще настанетъ время, когда вспомнять и о немъ, —и его найдуть всегда готовымъ служить родинъ...

Въ одной изъ своихъ посмертныхъ статей, говоря объотношеніяхъ "Колокола" къ Польшв и вообще къ революціонному движенію, Герценъ останавливается на грустномъ вопросв: какимъ образомъ, откуда взялась у него эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? "Съ одной стороны—достовърность, что поступать надо такъ, съ другой—готовность поступать совсъмъ иначе. Эта шаткость, эта неспътость, эта медлительность, надълали въ моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабой утъхи въ сознаніи ошибки,— невольной, несознанной; я дълалъ промахи à contre соеиг; вся отрицательная сторона была у меня передъглазами...

"Сколькими несчастіями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, еслибъ я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя! Меня упрекали въ увлекающемся характерѣ; увлекался и я,—

но это не составляетъ главнаго. Огдаваясь по удобовпечатлимости, я тотчасъ останавливался; мысль, рефлексія и наблюдательность почти всегда брали верхъ въ теоріи, но не на практикъ. Тутъ и лежитъ вся трудность задачи, почему я давалъ себя вести nolens-volens...

"Причиною быстрой сговорчивости быль ложный стыдь, а иногда—и лучшія побужденія любви, дружбы, снисхожденія; но почему же все это поб'яждало логику?

"Послѣ похоронъ Ворцеля, 5 февраля 1857, когда всѣ провожавшіе разбрелись по домамъ и я, воротившись въ свою комнату, сѣлъ грустно за свой письменный столъ, мнѣ пришелъ въ голову начальный вопросъ: не опустили ли мы въ землю вмѣстѣ съ этимъ праведникомъ и не схоронили ли съ нимъ всѣ наши отношенія съ польской эмиграціей?

"Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющимъ началомъ при безпрерывно возникавшихъ недоразумѣніяхъ, исчезла, а недоразумѣнія остались. Частно, лично, мы могли любить того или другого изъ поляковъ, быть съ ними близкими; но вообще одинаковаго пониманія между нами было мало, и оттого отношенія наши были натянутыми, добросовъстно неоткровенными; мы дълали другь другу уступки, т. е. ослабляли сами себя, умоньшали другь въ другв чуть ли не лучшія силы Договориться до одинаковаго пониманія было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ, и пути наши только пересъкались въ общей ненависти... Идеалъ поляковъ былъ за ними, они шли къ своему прошедшему, насильственно сръзанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У нихъ была бездна мощей, а у насъ-пустыя колыбели. Во всёхъ ихъ действіяхъ и во всей поэзіи столько же отчаянія, сколько яркой веры...

"Они ищуть воскресенія мертвыхь, мы хотимь поскорве схоронить своихь. Формы нашего мышленія, упованія—не тв; весь геній нашь, весь складь не имветь ничего общаго. Наше соединеніе съ ними казалось имъ то mésallianc'омъ, то разсудочнымъ бракомъ. Съ нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины: мы сознавали свою косвенную вину, мы любили ихъ отвагу и уважали ихъ несокрушимый протестъ. Что они могли въ насъ любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь съ нами; они дѣлали для нѣсколькихъ русскихъ почетное исключеніе.

"Въ острожной темноть, сидя на заперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали другь другу, чьмъ знали. Но когда окно немного пріотворилось, мы догадались, что насъ привели по разнымъ дорогамъ и что мы разойдемся по разнымъ. Послъ Крымской кампаніи мы радостно вздохнули, а ихъ наша радость оскорбила: новый воздухъ въ Россіи имъ напомнилъ ихъ утраты, а не надежды. У насъ новое время началось съ заносчивыхъ требованій, мы рвались впередъ, готовые все ломать; у нихъ—съ панихидъ и упокойныхъ молитвъ. Но правительство второй разъ спаяло насъ съ ними... Со слезами и плачемъ написалъ я тогда рядъ статей, глубоко тронувшихъ поляковъ..."

Герценъ припоминаетъ свой разговоръ съ Мартьяновымъ, который передъ началомъ польскаго возстанія уже страдаль по Россіи и носился съ мыслью о возвращеніи на родину:

" ... Пришелъ М., блѣднѣе обыкновеннаго, печальнѣе обыкновеннаго; онъ сѣлъ въ углу и молчалъ... Шелъ споръ о возстаніи. М. слушалъ молча, потомъ всталъ, собрался идти и вдругъ, остановившись передо мной, мрачно сказалъ мнѣ: "Вы не сердитесь на меня, Александръ Ивановичъ, —такъ ли, иначе ли, а "Колоколъ" то вы порѣшили. Что вамъ за дѣло мѣшаться въ польскія дѣла? Поляки, можетъ, и правы, —но ихъ дѣло шляхетное, не ваше. Не пожалѣли вы насъ, —Богъ съ вами, Александръ Ивановичъ! Попомните, что я говорилъ".

"Къ концу 1863 года расходъ "Колокола" съ 2500—

2000 сошелъ на 500, и ни разу не подымался далѣе 1000 экземпляровъ... Мы остались одни"...

Нужно было имъть огромный запасъ нравственной силы и съ давнихъ поръ привыкнуть смотръть правдъ прямо въ глаза, чтобы твердо перенести этотъ ударъ судьбы. При своей пылкой, легко воспламеняющейся природъ, которая подчинялась еще весьма сильно развитому воображению и бросала его съ силой неудержимаго потока всюду, гдв оказывалось движение или свътилось объщание новаго, еще не извъданнаго опыта, понятно, что Герценъ нередко делалъ промахи какъ въ частной, такъ и въ политической своей жизни. Онъ старался обмануть свёть надменнымь и пренебрежительнымъ отношеніемъ къ упрекамъ, которые порождали всв подобныя ошибки; но самого себя онъ обмануть не могъ. Мы, конечно, не знаемъ тайнъ его душевнаго состоянія; но что оно не было особенно радостно и спокойно,это доказывается многими глубоко грустными и трогательными признаніями въ его сочиненіяхъ. Веселость, юморъ, фосфорическій блескъ, разлитые на ихъ поверхности, не вполнъ заслоняють ту пучину горя, разочарованій, недовольства жизнью и самимъ собою, которая существовала за ними въ душт автора и давала иногда знать о себъ жалобами, неожиданными разоблаченіями. Всегдашнее противоръчіе между прямымъ моральнымъ созерцаніемъ, усвоеннымъ съ молодости, и основами нравственности, подсказываемыми для своего оправданія соображеніями по поводу случаевъ и обстоятельствъ, составляло тоть пыточный станокъ, на которомъ Герценъ томился много лётъ. Нужно ли говорить, что этимъ положеніемъ между двумя мірами, этою связью съ двумя разными созерцаніями, Герценъ и пробуждаеть наши симпатіи, отражая въ себ'в волненія и колебанія современности съ ея порывами къ далекому будущему и съ ея привязанностями къ родному и поэтическому въ прошломъ? У него не было и тъни той прямолинейности въ

характерѣ, которой онъ завидовалъ въ другихъ. Онъ робѣлъ и смирялся передъ людьми, которые, довѣряясь одной излюбленной ими идеѣ, слѣдуютъ за нею, закрывъ глаза на весь остальной міръ представленій и убѣжденій и духовныхъ нуждъ человѣчества. Люди этого закала грубо оттолкнули отъ себя Герцена, когда въ концѣ своего поприща онъ хотѣлъ съ ними сблизиться, полагая, что между ними можетъ установиться общность цѣлей и воззрѣній. И они были, по-своему, правы: многосторонность Герцена, его развитіе, его образованность и даровитость были имъ не нужны, — онѣ мѣшали, а не помогали имъ... *).

Резюмируя свои наблюденія надъ представителями "юной Россіи", "молодыми штурманами русской бури", Герценъ говорить, что они заслуживають изученія, потому что выражають временный типъ, очень опредѣленно вышедшій, очень часто повторяющійся, — переходную форму болѣзни нашего развитія изъ прежняго застоя:

"Большею частью, они не имѣли той выправки, которую даеть воспитаніе, и той выдержки, которая пріобрѣтается научными занятіями. Они торопились, въ первомъ задорѣ освобожденія, сбросить съ себя всѣ условныя формы и оттолкнуть всѣ каучуковыя подушки, мѣшающія жесткимъ столкновеніямъ. Это затруднило всѣ простѣйшія отношенія съ ними.

"Снимая все, до послѣдняго клочка, наши enfants terribles оставались какъ мать родила,—а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Вмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы обнаружились печальные слѣды наслѣдственнаго худосочія, слѣды застарѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ

^{*)} П. В. Анненковъ и его друзья, Спб. 1892, стр. 106—108.

между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противоположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія.

"Съ одной стороны — реакція противъ стараго, узкаго, давившаго міра должна была бросить молодое покольніе въ антагонизмъ и всяческое отрицаніе враждебной среды: туть нечего искать, ни міры, ни справедливости; напротивъ, тутъ дівлается на зло, тутъ дівлается въ отместку. Вы лицеміры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодівми; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, —мы будемъ грубы со всіми; вы кланяетесь, не уважая, —мы будемъ толкаться, не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличій и внішней чести, —мы за честь себі поставимъ попраніе всіхъ приличій и презрівне всіхъ роіпts d'honneur'овъ.

"Но, съ другой стороны, эта отрешенная отъ обыкновенныхъ формъ общежительства личность была полна своихъ насивдственныхъ недуговъ и уродствъ. Сбрасывая съ себя, какъ мы сказали, всѣ покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюмъ гоголевскаго Пътуха, и притомъ не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рвчь не имбетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много — съ пріемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской пом'вщичьяго дома. Народъ ихъ такъ же мало счель за своихъ, какъ и славянофиловъ въ мурмолкахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, захудалыми баричами, стрекулистами безъ мъста, нъмцами изъ русскихъ...

"Для полной свободы надобно забыть свое освобождение и то, изъ чего освободились, — бросить привычки

среды, изъ которой выросли. Пока этого не сдѣлано, мы невольно узнаемъ переднюю, казарму, канцелярію и семинарію по каждому ихъ движенію и по каждому слову.

"Бить въ рожу по первому возраженію, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть Стюарта Милля ракальей, забывая всю службу его, — развѣ это не барская замашка, которая "стараго Гаврилу за измятое жабо хлещеть въ усъ да въ рыло"? Развѣ въ этой и подобныхъ выходкахъ вы не узнаете квартальнаго, исправника, станового, таскающаго за сѣдую бороду бурмистра? Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и въ людяхъ, говорящихъ свысока и съ пренебреженіемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, — внучатъ Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго "дать фельдфебеля въ Вольтеры*?

"Все это переработается и перемелется; но нельзя не сознаться, странную почву приготовили... въ нашемъ "темномъ царствъ", — почву, на которой многообъщающіе всходы проросли съ одной стороны поклонниками Катковыхъ, съ другой — дантистами нигилизма и базаровской безпардонной вольницы... Много дренажа требуютъ наши черноземы!..."

Энергическая натура Герцена не позволяла ему оставаться празднымъ въ это тяжелое для него время. Все еще продолжая издавать "Колоколъ", онъ напечаталъ, подъ заглавіемъ "Сомісіа rossa", интересный разсказъ объ одномъ изъ послѣднихъ событій своей жизни въ Лондонѣ,—о посѣщеніи Гарибальди. Герценъ еще за много лѣтъ передъ тѣмъ дружески сошелся съ знаменитымъ итальянскимъ вождемъ, — въ самой Италіи; затѣмъ онъ опять встрѣтился съ нимъ въ лондонскихъ докахъ, куда Гарибальди прибылъ капитаномъ собственнаго корабля, бывшаго пловучей колоніей итальянскихъ эмигрантовъ; наконецъ, въ 1863 г. Гарибальди, вмѣстѣ съ Мадзини

и другими вождями итальянской эмиграціи, спова посътиль Герцена въ Лондонъ. Герценъ всегда отличался широкимъ русскимъ гостепримствомъ, и его домъ былъ всегда открыть "для званых» и незваных» представителей всесветной эмиграціи, между которыми иногда попадались и представители международнаго предательства... Въ 60-хъ годахъ въ его дружескомъ кругу преобладаль русско-польскій элементь; но Герцень вовсе не зналь исключительности, и на банкетъ, устроенномъ имъ въ честь Гарибальди, кром'в русскихъ, поляковъ и итальянцевъ, присутствовали также и французы, и нъмцы, и англичане. Въ продолжение многихъ лътъ, по воскресеньямъ, у него постоянно собиралось многочисленное общество, которое онъ умълъ одушевлять своимъ живымъ и остроумнымъ разговоромъ. Его открытый характеръ и изящество обращенія неотразимо привлекали всёхъ, кому приходилось заводить съ нимъ знакомство. Герценъ не быль выдающимся ораторомь, но обладаль большимь искусствомъ направлять и поддерживать споры, блестящимъ талантомъ разскащика и неистощимымъ остроуміемъ. При этомъ, отличаясь тонкой наблюдательностью, онъ прекрасно умълъ распознавать людей, видъть самыя мелкія ихъ слабости, и не стёснялся въ сатирическомъ бичеваніи чужихъ пороковъ. Инстинктивно чуждаясь всего мелочнаго и неблагороднаго, онъ былъ демократомъ въ лучшемъ смыслъ этого слова. Свътское воспитание и серьезная философская выучка заставляли его строго-критически относиться къ узкому фанатическому сектантству нѣкоторыхъ круговъ эмиграціи. Въ немъ не было и тѣни коварства или притворства; это быль человъкъ вполнъ откровенный и правдивый во всемъ, - въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, въ ненависти и въ любви; но въ нравственномъ смыслѣ онъ былъ очень осмотрителенъ и очень остороженъ. "Не то, чтобы онъ расчитывалъ свои поступки по указанію господствующихъ мніній въ обществъ или сообразовался съ тъми мърами поведенія,

какія предписываются дряхлыми обычаями и обветшалыми представленіями житейскихъ обязанностей, — нътъ, всъ эти условія фальшивой порядочности онъ нарушаль неоднократно, и даже считаль ихъ нарушение признакомъ независимаго характера. Подозрительность и оглядка, свойственныя ему, имъли другого рода основанія. Онъ инстинктивно чувствоваль приближение порока и нравственнаго безобразія, подъ какою бы формой они ни являлись, и отталкиваль ихъ отъ себя, какія бы доказательства прямого своего происхожденія отъ либеральной доктрины они ни представляли. Грубость въ словъ, какъ и въ поступкъ, одинаково возмущала его въ явленіяхъ чистаго произвола и въ дъйствіяхъ благонам вренной оппозиціи; ему противно было своеволіе такъ же точно въ нравахъ, какъ и въ мысляхъ. Идеалистическое воспитаніе, полученное въ первыхъ годахъ молодости, не пропало у него даромъ: оно оставило ему брезгливость къ нечистому оружію, къ ухищреннымъ способамъ вредить непріятелю; брезгливость эта впоследствіи принесла ему много огорченій и много враговъ. Его нельзя было увлечь ни на какое ръшеніе, противное гуманнымъ основамъ его мысли, хотя бы такое решеніе вызывалось назойливымь или дикимъ образомъ дъйствій самого противника. Онъ думаль, что свободныя начала налагають обязанности выше тъхъ, которыми руководствуются люди животныхъ страстей и инстинктовъ. Вотъ почему онъ постоянно предавалъ осмъннію литературныхъ и политическихъ рубакъ, которые представлялись ему съ планами крошить все вокругъ себя *).

Нравственная его физіономія опредѣляется критическимъ и полемическимъ настроеніемъ его мысли, не чуждавшейся и памфлета. Герценъ является неутомимымъ слѣдователемъ по части пороковъ мышленія, промаховъ развитія, несообразностей дѣйствій съ ихъ поводами. Поле-

^{*)} П. В. Анненковъ и его друзья, стр. 107.

мическая идея окрашиваеть его ученыя статьи такъ же, какъ и повъсти, являвшіяся въ промежуткахъ между ними, какъ самый его слогь и манеру выражаться.

Научные и художественные элементы его произведеній, при всемъ ихъ достоинствѣ, не составляютъ для него главной и важнѣйшей заботы; они постоянно употребляются имъ какъ вѣрные союзники, но не составляютъ главной силы, ядра его арміи въ борьбѣ съ заблужденіями и предразсудками. Не на нихъ возлагаетъ онъ надежды на успѣхъ той или другой выбранной имъ художественной или научной темы, а на яркость публицистической мысли, положенной въ ея основу. Разбудить общество, поднять его сознаніе на извѣстную высоту,—вотъ что составляло его цѣль. Въ немъ жилъ и имъ руководилъ— "духъ отрицанья",—

Не тотъ насмъщникъ черствый и больной, Но тотъ всесильный духъ движенья и созданья, Тотъ, въчно юный, новый и живой; Въ борьбъ безстрашенъ онъ; ему губить—отрада, Изъ праха онъ все строитъ вновь и вновь, И ненависть его къ тому, что рушить надо, Душъ свята,—такъ, какъ свята любовь...

При этомъ онъ является въ своихъ произведеніяхъ великимъ мастеромъ слова, однимъ изъ самыхъ сильныхъ русскихъ литераторовъ-художниковъ. Взявши въ руки любую его книгу или статью, невозможно ее оставить, не дочитавъ до конца и не пожалѣвъ о томъ, что она не продолжается. Эти неожиданные переходы отъ строгаго, серьезнаго разсужденія о самыхъ важныхъ вещахъ къ добродушному юмору и веселой шуткѣ, эти мѣткія, образныя сравненія, это неподражаемое умѣнье двумятремя чертами обрисовать во весь ростъ живую фигуру— и рядомъ съ этимъ—поразительная начитанность, острая память, удерживающая малѣйшія подробности событій и впечатлѣній, даются въ удѣлъ лишь немногимъ избраннымъ натурамъ...

До тёхъ поръ, пока Герценъ еще продолжалъ изданіе "Колокола", онъ жиль большею частью въ Женевъ. Посль прекращенія газеты онъ много путешествоваль, перевзжая изъ Швейцаріи — въ Бельгію, оттуда въ Голландію, Францію, Италію и особенно часто бываль въ дорогой для него по воспоминаніямъ, хотя и трагическимъ, Ниццъ. Къ этому времени относятся появившіяся только въ сборникъ посмертныхъ его статей "Письма къ старому товарищу", въ которыхъ онъ высказалъ свои последнія мысли о политических и общественных вопросахъ настоящаго и будущаго. Здёсь мы встрёчаемся сь той же силой строгой логической мысли, съ тою же ув тренностью и выразительностью ртчи, какою отличаются и прежнія произведенія Герцена; но, вмъсть съ тъмъ, здъсь ярко выражаются тъ убъжденія, которыя привели его къ разгыву съ прежними друзьями-соціалистами. Соціальный вопрось, по-прежнему, является для Герцена великимъ вопросомъ будущаго; но онъ уже окончательно отказывается отъ мысли о необходимости разрѣшенія этого вопроса насильственнымъ путемъ, отъ революціоннаго представленія разрушительной катастрофы, приводящей къ созданію новаго міра на обломкахъ стараго. Идеи этого рода, по его мненю, уже отжили свой векъ; онъ всецьло принадлежать прошлому: въ нихъ отразилась бурная и смутная юность европейскаго соціализма. Если исторія последнихь 20-ти леть чему-нибудь научила, такъ именно тому, что соціальный вопросъ еще далеко не созрълъ для разръшенія, что насильственное уничтоженіе существующихъ общественныхъ формъ, насильственное водвореніе какой-либо новой системы и нецівлесообразно, и невозможно, и что путь къ новой свобод можетъ быть открыть только продолжительнымъ умственнымъ трудомъ. "Вообще, говорить онъ въ одномъ изъ этихъ писемъ, въ соціальныхъ неліпостяхъ современнаго быта никто не виновать, и никто не можеть быть казненъ съ большей справедливостью, чёмъ море, которое сёкъ персидскій царь, или въчевой колоколь, наказанный Іоанномь Грознымъ. Винить, наказывать, отдавать на кошье-все это становится ниже нашего пониманія. Надобно проще смотръть, физіологичнъе, и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрѣнія; а она, по несчастью, прорывается и мешаеть понятія, вводя личныя страсти въ общее дъло... Обрушивать отвътственность за былое и современное на последнихъ представителей "прежней правды", дълающейся "настоящей неправдой", такъ же нельпо, какъ было нельпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы; и еще хуже, потому что мы за себя не имъемъ якобинскаго оправданія, -- наивной въры въ свою правоту, въ свое право... " "Новый, водворяющійся порядокъ, говорить онъ въ другомъ мъстъ, - долженъ являться не только мечемъ рубящимъ, но и силой хранительной. Нанося ударъ старому міру, онъ не только долженъ спасти все, что въ немъ достойно спасенія, но оставить на свою судьбу все не мѣшающее, разнообразное, своеобычное. Горе бъдному духомъ и тощему художественнымъ смысломъ перевороту, который изъ всего былого и нажитого сдёлаеть скучную мастерскую, которой вся выгода будеть состоять въ одномъ пропитаніи, и только въ пропитаніи! Но этого и не будеть. Человъчество во всв времена, самыя худшія, показывало, что у него potentialiter больше потребностей и больше силъ, чъмъ надобно на одно завоевание жизни; развитие не можеть ихъ заглушить. Есть для людей драгоценности, которыми они не поступятся... Уничтожать и топтать всходы-легче, чёмъ торопить ихъ ростъ. Тотъ, кто не хочеть ждать и работать, тоть идеть по старой колев пророковъ и прорицателей, ересіарховъ, фанатиковъ и цеховыхъ революціонеровъ. А всякое діло, совершающееся при пособіи элементовъ безумныхъ, мистическихъ, фантастическихъ, въ послъднихъ выводахъ своихъ непремънно будетъ имъть и безумные результаты рядомъ съ дъльными. Сверхъ того, - эти пути все больше и больше

заростають для насъ травой: пониманье и обсуживаньенаше единственное оружіе... Мы бьемся выйти въ ширь пониманья, въ міръ свободы во разумю. Всякія попытки обойти, перескочить сразу отъ нетерпънія, увлечь авторитетомъ или страстью, приведутъ къ страшнъйшимъ столкновеніямъ и, что хуже, -- къ почти неминуемымъ пораженіямъ. Обойти процессъ пониманья такъ же невозможно, какъ обойти вопросъ о силъ. Навязываемое предръшение всего, что составляет вопросъ, поступаеть очень безцеремонно съ освобожденнымъ веществомъ. Взять вдругъ человъка, умственно дремавшаго, и огорошить его въ первую минуту, съ просонья, рядомъ мыслей, сбивающихъ всѣ его нравственныя понятія и къ которымъ ему не поставлено лестницы, - врядъ ли много послужитъ развитію, а скорве смутить, собьеть съ толку оглушеннаго, или обратнымъ действіемъ оттолкнеть его въ свиреный консерватизмъ.

"Я нисколько не боюсь слова постепенность, опошленнаго шаткостью и невърнымъ шагомъ разныхъ реформирующихъ властей. Постепенность такъ же, какъ непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумѣнія. Математика передается постепенно; отчего же конечные выводы, мысли о соціологіи, могутъ прививаться какъ оспа или вливаться въ мозги такъ, какъ вливаютъ лошадямъ сразу лѣкарство въ ротъ? Между конечными выводами и современнымъ состояніемъ есть практическія облегченія, пути, компромиссы, діагонали. Понять, которые изъ нихъ короче, удобнѣе и возможнѣе, — дѣло практическаго такта, дѣло стратегіи. Идя безъ оглядки впередъ, можно затесаться, какъ Наполеонъ въ Москву и погибнуть, отступая отъ нея, не доходя даже до Березины...

"Ни ты, ни я—мы не измѣнили нашихъ убѣжденій, но розно стали къ вопросу. Ты рвешься впередъ попрежнему, со страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть, ломая препятствія и уважая исторію только въ будущемъ. Я не вѣрю въ прежніе революціонные пути и стараюсь понять uuas людской въбыломъ и настоящемъ для того, чтобы знать, какъ идти съ нимъ въ ногу, не отставая и не забъгая въ такую даль, въ которую люди не пойдутъ за мной,— не могутъ идти...

"То, что мыслящіе люди прощали Аттиль, Комитету общественнаго спасенія и даже Петру,—не простять намь. Мы не слыхали голоса, призывавшаго насъ свыше къ исполненію судебь, и не слышали подземнаго голоса, который указаль бы путь. Для насъ существуеть одчнъ голось и одна власть, — власть ризума и пониманья. Отвергая ихъ, мы становимся разстригами науки и ренегатами цивилизаціи."

Событія, послѣдовавшія уже послѣ смерти Герцена въ Европѣ и въ Россіи, показали, насколько этотъ человѣкъ 40-хъ годовъ былъ въ своихъ убѣжденіяхъ предусмотрительнѣе и дальновиднѣе младшихъ ноколѣній, не пережившихъ историческаго опыта такъ, какъ пережилъ его Герценъ на самомъ себѣ, всѣмъ своимъ духовнымъ существомъ...

Письма, изъ которыхъ мы привели эти знаменательныя цитаты, писаны были весной и лътомъ 1869 года частью въ Ниццъ, частью — въ Парижъ и Брюсселъ. Осенью того же года Герценъ рѣшилъ переселиться на постоянное жительство въ Парижъ, где у него уже давно быль куплень домъ. Онь и перевхаль туда въ октябръ, но прожиль тамъ недолго. Онъ уже нъсколько лъть страдаль хронической бользнью (діабетомь), которая медленно раврушала его крыпкій организмъ. Въ началы января 1870 г. онъ сильно простудился на одной изъ техъ бурныхъ сходокъ, которыя были вызваны извъстнымъ убійствомъ Виктора Нуара Пьеромъ Бонапартомъ. Эта простуда привела къ воспаленію легкихъ, которое и унесло Герцена въ могилу 21 (9) января 1870 года. Ему еще не было полныхъ 58 лътъ. Во время послъдней болъзни при немъ находились дъти и немногіе близкіе друзья.

Онъ былъ похороненъ временно на кладбищѣ Père Lachaise, а впослъдствіи его тъло, согласно выраженному имъ желанію, перенесено было въ Ниццу, гдѣ и находится теперь его могила, рядомъ съ могилою его жены. Въ концѣ 70-хъ годовъ, стараніями друзей, на могилѣ Герцена поставленъ памятникъ:

Отлитый изъ мъди, тяжелой стопою На мраморный цоколь ступивъ, Какъ будто живой онъ вставалъ предо мною Подъ темнымъ наметомъ оливъ. Въ чертахъ—величавая грусть вдохновенья, Раздумье—во взоръ нъмомъ, И руки на мъдной груди, безъ движенья, Прижаты широкимъ крестомъ...

(Надсонъ).

Въ судьбъ Герцена, которому пришлось въ самое горячее время поплатиться за свои увлеченія своей широкой популярностью, пережить свою славу и какъ бы вторично удалиться въ изгнаніе, было много трагическаго; но то спокойствіе, съ какимъ онъ встретиль и перенесъ этоть ударь судьбы, оставаясь по-прежнему вернымь самому себъ, еще болъе возвышаеть его личность въ глазахъ безпристрастнаго потомства. Жизнь писателя говорить сама за себя; простой разсказь о ней служить, въ то же время, и ея объяснениемъ. То, что было сдълано Герценомъ для пробужденія общественнаго сознанія и общественной совъсти въ Россіи, могло быть забыто или невърно одънено его современниками въ пору страстной борьбы, подъ вліяніемъ возбужденнаго чувства, которому и самъ онъ отдавался; но для насъ, потомковъ, пользующихся плодами той эпохи, его имя является неразрывно связаннымъ съ величайшимъ событіемъ нашей исторіи XIX въка, — съ уничтожениемъ кръпостного рабства, — и исторія, рано или поздно, воздасть ему должное за его благородныя усилія въ этомъ дёлё. "Смерть велитъ умолкнуть злобъ ,-и теперь, когда уже не осталось

мъста личному раздражению и полемическимъ преувеличениямъ, все ярче и ярче выдъляется то "въчное", чъмъ такъ привлекала и еще долго будетъ привлекать къ себъ личность Герцена, какъ одного изъ лучшихъ русскихъ писателей, какъ благороднаго борца за независимость мысли, за правду и человъческое достоинство.



.

PG 3011 .M62 Minuvshii viek

C.1

8 AMB ...

Stanford University Libraries

3 6105 034 067 475

PG 3011 M62

Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.		
		i

